



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

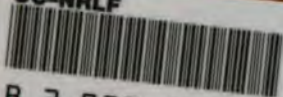
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

UC-NRLF



B 3 933 843

REESE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

836
Class N418
Z49



СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ

Н. А. НЕКРАСОВЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

1840—1864.

СОБРАЛЪ

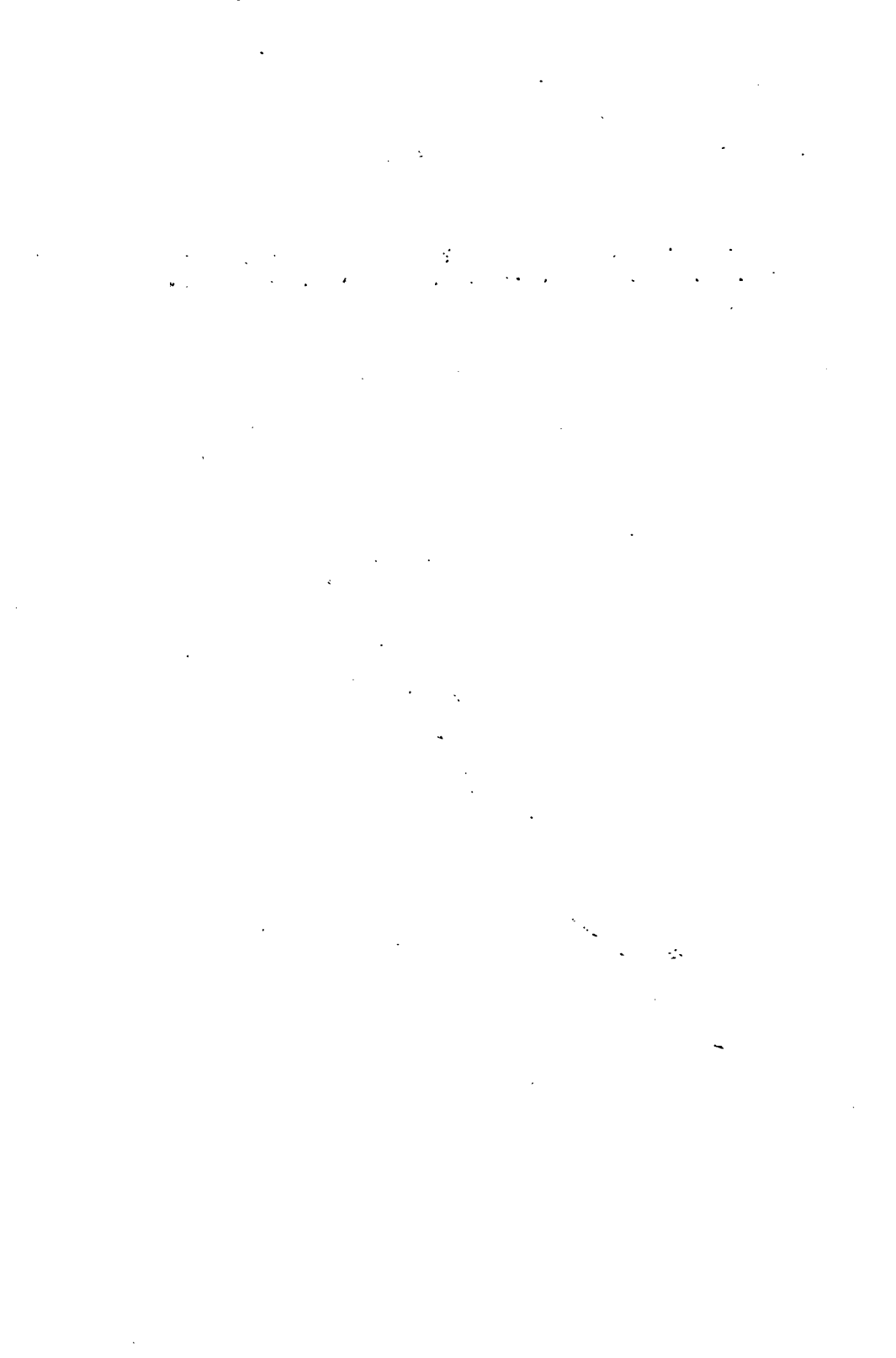
В. Зелинскій.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ.



МОСКВА.

Типо-Литографія І. И. Пашнова. Москва, Милютинскій пер., домъ Арбатской.
1906.



PG 3337
N4 Z98
1906
MAIN

Предисловіе къ первому изданію.

Цѣль и значеніе издаваемыхъ мною сборниковъ критическихъ статей о сочиненіяхъ нашихъ лучшихъ писателей уже настолько выяснились въ продолженіе двухъ лѣтъ составленными и изданными мною пятью выпусками ихъ (о Тургеневѣ и Достоевскомъ *), что говорить объ этомъ я уже не считаю необходимымъ.

Въ составъ настоящей первой части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“ вошло 34 отдѣльныхъ, большею частью полныхъ критико-библіографическихъ статьи, разбросанныхъ по разнымъ изданіямъ, въ періодъ времени отъ 1840 по 1864 годъ; кромѣ того, за невозможностью и безполезностью перепечатывать все, находящееся въ литературѣ о Некрасовѣ, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ этой книги только указано еще около 30-ти статей за тотъ же періодъ времени. Послѣднее сдѣлано мною въ интересахъ большей полноты и объединенія въ настоящемъ сборникѣ по возможности всей критической литературы о Некрасовѣ, такъ какъ желательно было бы, чтобы каждый изда-

*) До сего времени уже вышло изъ печати свыше сорока выпусковъ критическихъ статей о разныхъ писателяхъ; многіе изъ нихъ появились уже четвертымъ изданіемъ, а нѣкоторые, какъ, напримѣръ, «Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній Н. С. Тургенева», — отпечатаны пятымъ изданіемъ.

ваемый мною сборникъ критикъ служилъ бы въ свою очередь не только комментариемъ къ произведеніямъ того или другого писателя, но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ бы и полной справочной книгой по критической литературѣ того писателя, къ сочиненіямъ котораго онъ приуроченъ.

Такъ какъ произведенія Некрасова, по своему литературному роду относительно краткія, разсматриваются критикою преимущественно въ ихъ большей или меньшей совокупности, то, при распредѣленіи критическаго матеріала о нихъ въ настоящемъ сборникѣ, я уже не могъ пользоваться тѣмъ планомъ, по какому расположены статьи въ предшествовавшихъ моихъ сборникахъ; я нашелъ болѣе удобнымъ расположить критическія статьи о Некрасовѣ въ хронологическомъ порядкѣ, а для того чтобы въ сборникѣ сразу можно было найти различныя критическія воззрѣнія на одно какое-либо произведеніе Некрасова, я приложилъ въ концѣ книги *указатель*, съ помощью котораго легко можно ориентироваться въ этомъ отношеніи.

В. Зелинскій.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе къ первому изданію.

Николай Алексѣвичъ Некрасовъ (біографическій очеркъ).
Статья С. Венгерова 1

Критика сороковыхъ годовъ.

„Мечты и Звуки“.

Критическія статьи: О. Менцова	1
Изъ „Литературной Газеты“	15
В. Бѣлинскаго	17
Изъ „Современника“	19
— „Сѣверной Пчелы“	—
Л. Бранта	21
Изъ „Журнала Мин. Нар. Просвѣщ.“	23

„Статейки въ стихахъ“.

Разборы: В. Бѣлинскаго	23
(Z. Z.) изъ „Сѣверной Пчелы“	26

„Физиологія Петербурга“.

Отзывы: В. Бѣлинскаго	27
Его-же	28

„Петербургскій Сборникъ“.

Отзывъ В. Бѣлинскаго	30
--------------------------------	----

„О нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Некрасова“.

Статейка изъ „Отечественныхъ Записокъ“	31
--	----

„Три страны свѣта“.

Отзывы: Изъ „Отечественныхъ Записокъ“	32
Тоже	—

Критика пятидесятихъ годовъ.

„Мертвое Озеро“.

Разборы: Изъ „Москвитянина“. Статья (А.)	35
— „Библіотеки для Чтенія“. Статья И. П.	52

„Стихотворенія“.

Критическія статьи: Б. Алмазова	60
Ап. Григорьева	—

Критика шестидесятихъ годовъ.

1861 г.

Критическія статьи: А. Пятковского	67
Дм. Аверкіева	68
Изъ „Отечественныхъ Записокъ“	72
— „Русскаго Слова“	98
Вс. Крестовскаго	105

1862 г.

Критическіе разборы: Ап. Григорьева	125
Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомос- тей“. Статья В.	180
— „Сѣверной Пчелы“	191

1863 г.

Критическая статья изъ „Отечественныхъ Записокъ“	198
--	-----

1864 г.

Критическія статьи: Е. Эдельсона	202
Изъ газеты „День“. Статья Н. Б.	220
— „Эпохи“	230
Алфавитный указатель именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ	235



НИКОЛАЙ АЛЕКСѢВИЧЪ НЕКРАСОВЪ.

(Биографическій очеркъ).

*) Н. А. Некрасовъ — знаменитый поэтъ. Принадлежалъ къ дворянской, нѣкогда богатой, семьѣ Ярославской губ.; родился 22 ноября 1821 г. въ Винницкомъ уѣздѣ, Подольской губ., гдѣ въ то время квартировалъ полкъ, въ которомъ служилъ отецъ Некрасова. Это былъ человѣкъ, много испытавшій на своемъ вѣку. Его не миновала семейная слабость Некрасовыхъ—любовь къ картамъ (Сергѣй Некрасовъ, дѣдъ поэта, проигралъ въ карты почти все состояніе). Въ жизни поэта картамъ тоже принадлежала большая роль, но онъ игралъ счастливо и часто говаривалъ, что судьба дѣлаетъ только должное, возвращая роду чрезъ внука то, что отняла черезъ дѣда. Человѣкъ увлекающійся и страстный, Алексѣй Сергѣевичъ Некрасовъ очень нравился женщинамъ. Его полюбила Александра Андреевна Закревская, варшавянка, дочь богатаго посессионера Херсонской губ. Родители не соглашались выдать прекрасно воспитанную дочь за небогатаго, мало образованнаго армейскаго офицера; бракъ состоялся безъ ихъ согласія. Онъ не былъ счастливъ. Обращаясь къ воспоминаніямъ дѣтства, поэтъ всегда говорилъ о матери, какъ о страдальцѣ, жертвѣ грубой и развратной среды. Въ цѣломъ рядѣ стихотвореній, особенно въ „Послѣднихъ Пѣсняхъ“, въ поэмѣ „Мать“ и въ „Рыцарѣ на часъ“, Некрасовъ нарисовалъ свѣтлый образъ той, которая скрасила своей благородной личностью непривлекательную обстановку его дѣтства. Обаяніе воспоминаній о матери сказалось въ творествѣ Некрасова необыкновеннымъ участіемъ

*) С. Венгеровъ. „Энциклопедическій словарь“ Ф. Брокгауза и И. Ефрона, полутомъ 40-й.

его къ женской долѣ. *Никто* изъ русскихъ поэтовъ не сдѣлалъ столько для апоеоза женъ и матерей, какъ именно суровый и мнимо-„черствый“ представитель „музы мести и печали“. Дѣтство Некрасова протекло въ родовомъ имѣніи Некрасовыхъ, дер. Грешневѣ, Ярославской губ. и уѣзда, куда отецъ, вышедши въ отставку, переселился. Огромная семья (у Некрасова было 13 братьевъ и сестеръ), запущенныя дѣла и рядъ процессовъ по имѣнію заставили его взять мѣсто исправника. Во время разъѣздовъ онъ часто бралъ съ собою Николая Алексѣвича. Пріѣздъ исправника въ деревню всегда знаменуетъ собою что-нибудь невеселое: мертвое тѣло, выбиваніе недоимокъ и т. п.—и много, такимъ образомъ, залегло въ чуткую душу мальчика печальныхъ картинъ народнаго горя. Въ 1832 году Некрасовъ поступилъ въ Ярославскую гимназію, гдѣ дошелъ до 5-го класса. Учился онъ плоховато, съ гимназическимъ начальствомъ не ладилъ (отчасти изъ-за сатирическихъ стишковъ), и такъ какъ отецъ мечталъ всегда о военной карьерѣ для сына, то въ 1838 г. 16-тилѣтній Некрасовъ отправился въ Петербургъ для опредѣленія въ дворянскій полкъ. Дѣло было почти налажено, но встрѣча съ гимназическимъ товарищемъ, студентомъ Глушицкимъ, и знакомство съ другими студентами возбудили въ Некрасовѣ такую жажду учиться, что онъ пренебрегъ угрозою отца оставить его безъ всякой матеріальной помощи и сталъ готовиться къ вступительному экзамену. Онъ его не выдержалъ и поступилъ вольнослушателемъ на филологическій факультетъ. Съ 1839 по 1841 г. пробылъ Некрасовъ въ университетѣ, но почти все время уходило у него на поиски заработка. Некрасовъ терпѣлъ нужду страшную, не каждый день имѣлъ возможность обѣдать за 15 коп. „Ровно три года“, рассказывалъ онъ впослѣдствіи, „я чувствовалъ себя постоянно, каждый день голоднымъ. Не разъ доходило до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ на Морской, гдѣ позволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросилъ себѣ. Возьмешь, бывало, для вида газету, а самъ пододвинешь къ себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь“. Не всегда даже у Некрасова была квартира. Отъ продолжительнаго голоданія онъ заболѣлъ и много

задолжалъ солдату, у котораго снималъ комнатку. Когда еще полубольной, онъ пошелъ къ товарищу, то по возвращеніи солдаты, несмотря на ноябрьскую ночь, не пустили его обратно. Надъ нимъ сжалился проходившій нищій и отвелъ его въ какую-то трущобу на окраинѣ города. Въ этомъ ночлежномъ пріютѣ Некрасовъ нашелъ себѣ и заработокъ, написавъ кому-то за 15 к. прошеніе. Ужасная нужда закалила Некрасова, но она же неблагоприятно повліяла на развитіе его характера: онъ сталъ „практикомъ“ не въ лучшемъ значеніи этого слова. Дѣла его скоро устроились: онъ давалъ уроки, писалъ статейки въ „Литературныхъ прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду“ и „Литературной Газетѣ“, сочинялъ для лубочныхъ издателей азбуки и сказки въ стихахъ, ставилъ водевили на Александринской сценѣ (подъ именемъ *Перепельскаго*). У него начали появляться сбереженія, и онъ рѣшился выступить съ сборникомъ своихъ стихотвореній, которыя вышли въ 1840 г., съ инициалами Н. Н., подъ заглавіемъ „Мечты и Звуки“. Полевой похвалилъ дебютанта, по нѣкоторымъ извѣстіямъ къ нему отнесся благосклонно Жуковский, но Бѣлинскій въ „Отечественныхъ Запискахъ“ отозвался о книжкѣ пренебрежительно, и это такъ подѣйствовало на Некрасова, что, подобно Гоголю, нѣкогда скупавшему и уничтожавшему „Ганса Кюхельгартена“, онъ самъ скупалъ и уничтожалъ „Мечты и Звуки“, ставшія поэтому величайшею библиографическою рѣдкостью (въ собраніе сочиненій Некрасова они не вошли). Интересъ книжки въ томъ, что мы здѣсь видимъ Некрасова въ сферѣ совершенно ему чуждой—въ роли сочинителя балладъ съ разными „страшными“ заглавіями въ родѣ „Злой Духъ“, „Ангель Смерти“, „Воронъ“ и т. п. „Мечты и Звуки“ характерны не тѣмъ, что являются собраніемъ плохихъ стихотвореній Некрасова и какъ бы *нижней* стадіею въ творчествѣ его, а тѣмъ, что они *никакой* стадіи въ развитіи таланта Некрасова собою не представляютъ. Некрасовъ авторъ книжки „Мечты и Звуки“ и Некрасовъ позднѣйшій—это два полюса, которыхъ нѣтъ возможности слить въ одномъ творческомъ образѣ.

Въ началѣ 40-хъ гг. Некрасовъ становится сотрудникомъ

„Отечественныхъ Записокъ“, сначала по библиографическому отдѣлу. Бѣлинскій близко съ нимъ познакомился, полюбилъ его и оцѣнилъ достоинства его крупнаго ума. Онъ понималъ, однако, что въ области прозы изъ Некрасова ничего, кромѣ зауряднаго журнальнаго сотрудника, не выйдетъ, но восторженно одобрилъ стихотвореніе его: „Въ дорогѣ“. Скоро Некрасовъ сталъ усердно издательствовать. Онъ выпустилъ въ свѣтъ рядъ альманаховъ: „Статейки въ стихахъ безъ картинокъ“ (1843), „Физиологія Петербурга“ (1845), „1 апрѣля“ (1846), „Петербургскій Сборникъ“ (1846). Въ этихъ сборникахъ дебютировали Григоровичъ, Достоевскій, выступали Тургеневъ, Искандеръ, Ап. Майковъ. Особенный успѣхъ имѣлъ „Петербургскій Сборникъ“, въ которомъ появились „Бѣдные Люди“ Достоевскаго. Издательскія дѣла Некрасова пошли настолько хорошо, что въ концѣ 1846 г. онъ, вмѣстѣ съ Панаевымъ, приобрѣлъ у Плетнева „Современникъ“. Литературная молодежь, придававшая силу „Отечественнымъ Запискамъ“, бросила Краевскаго и присоединилась къ Некрасову. Бѣлинскій также перешелъ въ „Современникъ“ и передалъ Некрасову часть того матеріала, который собиралъ для затѣяннаго имъ сборника „Левіаѳанъ“. Въ практическихъ дѣлахъ „глупый до святости“, Бѣлинскій очутился въ „Современникѣ“ такимъ же журнальнымъ чернорабочимъ, какимъ былъ у Краевскаго. Впослѣдствіи Некрасову справедливо ставили въ упрекъ это отношеніе къ человѣку, болѣе всѣхъ содѣйствовавшему тому, что центръ тяжести литературнаго движенія 40-хъ годовъ изъ „Отечественныхъ Записокъ“ былъ перенесенъ въ „Современникъ“. Со смертію Бѣлинскаго и наступленіемъ реакціи, вызванной событіями 48 г., „Современникъ“ до извѣстной степени переимѣнился, хотя и продолжалъ оставаться лучшимъ и распространеннѣйшимъ изъ тогдашнихъ журналовъ. Лишившись руководства великаго идеалиста Бѣлинскаго, Некрасовъ пошелъ на разныя уступки духу времени. Начинается печатаніе въ „Современникѣ“ безконечно длинныхъ, наполненныхъ невѣроятными приключеніями романовъ „Три страны свѣта“ и „Мертвое Озеро“, писанныхъ Некрасовымъ въ сотрудничествѣ съ *Станицкинымъ* (псевдонимъ Головачевой-

Панаевой). Около середины 50-х гг. Некрасовъ серьезно, думали смертельно, заболѣлъ горловой болѣзнью, но пребываніе въ Италіи отклонило катастрофу. Выздоровленіе Некрасова совпадаетъ съ началомъ новой эры русской жизни. Въ творествѣ Некрасова также наступаетъ счастливый періодъ, выдвинувшій его въ первые ряды литературы. Онъ попалъ теперь въ кругъ людей высокаго нравственнаго строя; Чернышевскій и Добролюбовъ становятся главными дѣятелями „Современника“. Благодаря своей замѣчательной чуткости и способности быстро усваивать настроеніе и взгляды окружающей среды, Некрасовъ становится поэтомъ-гражданиномъ по преимуществу. Съ менѣе отдавшимися стремительному потоку передового движенія прежними друзьями своими, въ томъ числѣ съ Тургеневымъ, онъ постепенно расходился, и около 1860 г. дѣло дошло до полнаго разрыва. Развертываются лучшія стороны души Некрасова; только изрѣдка его біографа печалить эпизоды въ родѣ того, на который самъ Некрасовъ намекаетъ въ стихотвореніи: „Умру я скоро“. Когда въ 1866 г. „Современникъ“ былъ закрытъ, Некрасовъ сошелся съ старымъ врагомъ своимъ Краевскимъ и арендовалъ у него съ 1868 г. „Отечественныя Записки“, поставленныя имъ на такую же высоту, какую занималъ „Современникъ“. Въ началѣ 1875 г. Некрасовъ тяжело заболѣлъ и скоро жизнь его превратилась въ медленную агонію. Напрасно былъ выписанъ изъ Вѣны знаменитый хирургъ Бильротъ; мучительная операція ни къ чему не привела. Вѣсти о смертельной болѣзни поэта довели популярность его до высшаго напряженія. Со всѣхъ концовъ Россіи посыпались письма, телеграммы, привѣтствія, адреса. Они доставляли высокую отраду больному въ его страшныхъ мученіяхъ, и творчество его забило новымъ ключомъ. Написанныя за это время „Послѣднія Пѣсни“ по искренности чувства, сосредоточившагося почти исключительно на воспоминаніяхъ о дѣтствѣ, матери и совершенныхъ ошибкахъ, принадлежать къ лучшимъ созданіямъ его музы. Рядомъ съ сознаніемъ своихъ „винъ“, въ душѣ умирающаго поэта ясно вырисовывалось и сознаніе его значенія въ исторіи русскаго слова. Въ прекрасной колыбель-

ной пѣснѣ „Баю-баю“ смерть говорить ему: „Не бойся горькаго забвенья: ужъ я держу въ рукѣ моей вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья, даръ кроткой родины твоей... Уступить свѣту мракъ упрямый, услышишь пѣсенку свою надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой...“

Некрасовъ умеръ 27 декабря 1877 г. Несмотря на сильный морозъ, толпа въ нѣсколько тысячъ человѣкъ, преимущественно молодежи, провожала тѣло поэта до мѣста вѣчнаго его успокоенія въ Новодѣвичьемъ монастырѣ. Похороны Некрасова, сами собою устроившіеся безъ всякой организаціи, были первымъ случаемъ всенародной отдачи послѣднихъ почестей писателю. Уже на самыхъ похоронахъ Некрасова завязался или, вѣрнѣе, продолжался бесплодный споръ о соотношеніи между нимъ и двумя величайшими представителями русской поэзіи—Пушкинымъ и Лермонтовымъ. Достоевскій, сказавшій нѣсколько словъ у открытой могилы Некрасова, поставилъ (съ извѣстными оговорками) эти имена рядомъ, но нѣсколько молодыхъ голосовъ прервали его криками: „Некрасовъ выше Пушкина и Лермонтова“. Споръ перешелъ въ печать: одни поддерживали мнѣніе молодыхъ энтузіастовъ, другіе указывали на то, что Пушкинъ и Лермонтовъ были выразителями всего русскаго общества, а Некрасовъ—одного только „кружка“; наконецъ, третьи съ негодованіемъ отвергали самую мысль о параллели между творчествомъ, доведшимъ русскій стихъ до вершины художественнаго совершенства, и „неуклюжимъ“ стихомъ Некрасова, будто бы лишеннымъ всякаго художественнаго значенія. Всѣ эти точки зрѣнія односторонни. Значеніе Некрасова есть результатъ цѣлаго ряда условій, создавшихъ какъ его обаяніе, такъ и тѣ ожесточенныя нападки, которымъ онъ подвергался и при жизни и послѣ смерти. Конечно, съ точки зрѣнія изящества стиха Некрасовъ не только не можетъ быть поставленъ рядомъ съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ, но уступаетъ даже нѣкоторымъ второстепеннымъ поэтамъ. Ни у кого изъ большихъ поэтовъ нашихъ нѣтъ такого количества прямо плохихъ со всѣхъ точекъ зрѣнія стиховъ; многія стихотворенія онъ самъ завѣщалъ не включать въ собраніе его сочиненій. Некрасовъ не вы-

держанъ даже въ своихъ шедеврахъ: и въ нихъ вдругъ рѣзнеть ухо прозаическій, вялый и неловкій стихъ. Между стихотворцами „гражданскаго“ направленія есть поэты, гораздо выше стоящіе Некрасова по техникѣ: Плещеевъ изящень, Минаевъ—прямо виртуозъ стиха. Но именно сравненіе съ этими поэтами, не уступавшими Некрасову и въ „либерализмѣ“, показываетъ, что не въ однихъ гражданскихъ чувствахъ тайна огромнаго, до тѣхъ поръ небывалаго вліянія, которое поэзія Некрасова оказала на рядъ русскихъ поколѣній. Источникъ его въ томъ, что, не всегда достигая внѣшнихъ проявленій художественности, Некрасовъ ни одному изъ величайшихъ художниковъ русскаго слова не уступаетъ въ *силѣ*. Съ какой бы стороны ни подойти къ Некрасову, онъ никогда не оставляетъ равнодушнымъ и всегда волнуетъ. И если понимать „художество“ какъ сумму впечатлѣній, приводящихъ къ конечному эффекту, то Некрасовъ художникъ глубокій: онъ выразилъ настроеніе одного изъ самыхъ замѣчательныхъ моментовъ русской исторической жизни. Главный источникъ силы, достигнутой Некрасовымъ,—какъ разъ въ томъ, что противники, становясь на узко-эстетическую точку зрѣнія, особенно ставили ему въ укоръ: въ его „односторонности“. Только эта односторонность и гармонировала вполне съ напѣвомъ „неласковой и печальной“ музы, къ голосу которой Некрасовъ прислушивался съ первыхъ моментовъ своего сознательнаго существованія. Всѣ люди сороковыхъ годовъ въ большей или меньшей степени были печальниками горя народнаго; но кисть ихъ рисовала мягко, и когда духъ времени объявилъ старому строю жизни беспощадную войну, выразителемъ новаго настроенія явился одинъ Некрасовъ. Настоячиво, неумолимо бьетъ онъ въ одну и ту же точку, не желая знать никакихъ смягчающихъ обстоятельствъ. Муза „мести и печали“ не вступаетъ въ сдѣлки, она слишкомъ хорошо помнитъ старую неправду. Пускай наполнится ужасомъ сердце зрителя—это благодѣтельное чувство: изъ него вышли всѣ побѣды униженныхъ и оскорбленныхъ. Некрасовъ не даетъ отдыха своему читателю, не щадитъ его нервовъ и, не боясь обвиненій въ преувеличеніи, въ концѣ-концовъ

добивается вполне *активного* впечатлѣнія. Это сообщает пессимизму Некрасова весьма своеобразный характеръ. Несмотря на то, что большинство его произведеній полно самыхъ безотрадныхъ картинъ народнаго горя, основное впечатлѣніе, которое Некрасовъ оставляетъ въ своемъ читателѣ, несомнѣнно, бодрящее. Поэтъ не пасуетъ передъ печальною дѣйствительностью, не склоняетъ предъ нею покорно выю. Онъ смѣло вступаетъ въ бой съ темными силами и увѣренъ въ побѣдѣ. Чтеніе Некрасова будитъ тотъ гнѣвъ, который въ самомъ себѣ носить зерно исцѣленія.

Звуками мести и печали о народномъ горѣ не исчерпывается, однако, все содержаніе поэзіи Некрасова. Если можетъ идти споръ о поэтическомъ значеніи „гражданскихъ“ стихотвореній Некрасова, то разногласія значительно сглаживаются и порою даже исчезаютъ, когда дѣло идетъ о Некрасовѣ какъ объ эпикѣ и лирикѣ. Первая по времени большая поэма Некрасова „Сапа“, открывающаяся великолѣпнымъ лирическимъ вступленіемъ—пѣснью радости о возвращеніи на родину,—принадлежитъ къ лучшимъ изображеніямъ заѣденныхъ рефлексіей людей 40-хъ гг., людей, которые „по свѣту рыщутъ, дѣла себѣ исполинскаго ищутъ, благо наслѣдье богатыхъ отцовъ освободило отъ малыхъ трудовъ“, которымъ „любовь голову больше волнуетъ—не кровь“, у которыхъ „что книга послѣдняя скажетъ, то на душѣ сверху и ляжетъ“. Написанная раньше тургеневскаго „Рудина“, некрасовская „Сапа“ (1855 г.), въ лицѣ героя поэмы Агарина, первая отмѣтила многія существеннѣйшія черты рудинскаго типа. Въ лицѣ героини, Саши, Некрасовъ тоже раньше Тургенева вывелъ стремящуюся къ свѣту натуру, основными очертаніями своей психологіи напоминающую Елену изъ „Наканунѣ“. Поэма „Несчастные“ (1856 г.) разбросана и пестра, а потому недостаточно ясна въ первой части; но во второй, гдѣ въ лицѣ сосланнаго за необычное преступленіе Крота Некрасовъ, отчасти, вывелъ Достоевскаго, есть строфы сильныя и выразительныя. „Коробейники“ (1861 г.) мало серьезны по содержанію, но написаны оригинальнымъ слогомъ, въ народномъ духѣ.

Въ 1863 г. появилось самое выдержанное изъ всѣхъ

произведений Некрасова—„Морозъ Красный Носъ“. Это—апофеозъ русской крестьянки, въ которой авторъ усматриваетъ исчезающій типъ „величавой славянки“. Поэма рисуетъ только свѣтлыя стороны крестьянской натуры, но все-таки, благодаря строгой выдержанности величаваго стиля, въ ней нѣтъ ничего сентиментальнаго. Особенно хороша вторая часть—Дарья въ лѣсу. Обходъ дозоромъ воеводы-Мороза, постепенное замерзаніе молодежи, проносящаяся предъ нею яркія картины былаго счастья—все это превосходитъ даже съ точки зрѣнія „эстетической“ критики, потому что написано великолѣпными стихами и потому что здѣсь все образы, все картины. По общему складу къ „Морозу Красному Носу“ примыкаетъ раньше написанная прелестная идиллія: „Крестьянскія Дѣти“ (1861 г.). Ожесточенный пѣвецъ горя и страданій совершенно преобразался, становился удивительно нѣжнымъ, мягкимъ, незлобивымъ, какъ только дѣло касалось женщинъ и дѣтей. Позднѣйшій народный эпосъ Некрасова—написанная крайне оригинальнымъ размѣромъ огромная поэма „Кому на Руси жить хорошо“ (1873—76 г.) уже по однимъ размѣрамъ своимъ (около 5000 стиховъ) не могла удасться автору вполне. Въ ней немало балагурства, немало анти-художественнаго преувеличенія и сгущенія красокъ, но есть и множество мѣстъ поразительной силы и мѣткости выраженія. Лучшее въ поэмѣ—отдѣльныя, эпизодически вставленныя пѣсни и баллады. Ими особенно богата лучшая, послѣдняя часть поэмы—„Пиръ на весь міръ“, заканчивающаяся знаменитыми словами: „ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и безсильная, матушка Русь“, и бодрымъ возгласомъ: „въ рабствѣ спасенное, сердце свободное, золото, золото, сердце народное“. Не вполне выдержана и другая поэма Некрасова—„Русскія Женщины“ (1871—72), но конецъ ея—свиданье Волконской съ мужемъ въ рудникѣ—принадлежитъ къ трогательнѣйшимъ сценамъ всей русской литературы.

Лиризмъ Некрасова возникъ на благодарной почвѣ жгучихъ и сильныхъ страстей, имъ владѣвшихъ, и искренняго сознанія своего нравственнаго несовершенства. До извѣстной степени живую душу спасли въ Некрасовѣ именно его

„винъ“, о которыхъ онъ часто говорилъ, обращаясь къ портретамъ друзей, „укоризненно со стѣнъ“ на него смотрѣвшихъ. Его нравственные недочеты давали ему живой и непосредственный источникъ порывистой любви и жажды очищенія. Сила призывовъ Некрасова психологически объясняется тѣмъ, что онъ творилъ въ минуты искреннѣйшаго покаянія. Ни у кого изъ нашихъ писателей покаяніе не играло такой выдающейся роли, какъ у Некрасова. Онъ единственный русскій поэтъ, у котораго развита эта чисто-русская черта. Кто заставлялъ этого „практика“ съ такою силой говорить о своихъ нравственныхъ паденіяхъ, зачѣмъ надо было выставлять себя съ такой невыгодной стороны и косвенно подтверждать сплетни и расказы? Но, очевидно, это было сильнѣе его. Поэтъ побуждалъ практическаго человѣка; онъ чувствовалъ, что покаяніе вызываетъ лучшіе перлы со дна его души и—отдавался всецѣло душевному порыву. За то покаянію и обязанъ Некрасовъ лучшимъ своимъ произведеніемъ—„Рыцарь на часъ“, котораго одного было бы достаточно для созданія первоклассной поэтической репутаціи. И знаменитый „Власъ“ тоже вышелъ изъ настроенія, глубоко прочувствовавшаго очищающую силу покаянія. Сюда же примыкаетъ и великолѣпное стихотвореніе: „Когда изъ мрака заблужденія я душу падшую воззвалъ“, о которомъ съ восторгомъ отзывались даже такіе малорасположенные къ Некрасову критики, какъ Алмазовъ и Аполлонъ Григорьевъ. Сила чувства придаетъ непреходящій интересъ лирическимъ стихотвореніямъ Некрасова—и эти стихотворенія, наравнѣ съ поэмами, надолго обезпечиваютъ ему первостепенное мѣсто въ русской литературѣ. Устарѣли теперь его обличительныя сатиры, но изъ лирическихъ стихотвореній и поэмъ Некрасова можно составить томъ высоко-литературнаго достоинства, значеніе котораго не умретъ, пока живъ русскій языкъ.

С. Венгеровъ.

КРИТИКА Сороковых годовъ *).

„Мечты и Звуки“.

**) Вотъ два собранія стихотвореній, выходящихъ изъ ряду обыкновенныхъ книжекъ, являющихся почти каждый мѣсяцъ не только въ столицахъ, но и въ разныхъ губернскихъ городахъ нашего обширнаго отечества: въ Псковѣ, Харьковѣ, Ярославлѣ и проч., подъ заглавіемъ „Стихотворенія“ такого-то или такой-то. Какъ первая, такъ и вторая книга—первые опыты молодыхъ поэтовъ (едва ли достигшихъ еще двадцатилѣтняго возраста, опыты, проявляющіе значительный талантъ и подающіе лестныя надежды.—Само уже по себѣ разумѣется, что на подобныя произведенія литературы критика должна смотрѣть не столь строгимъ окомъ, какъ на собранія поэтическихъ твореній писателей или снискавшихъ уже себѣ нѣкоторую извѣстность частымъ помѣщеніемъ своихъ произведеній въ періодическихъ изданіяхъ, или хотя и не печатавшихъ ничего, но достигшихъ уже такого возраста, когда человѣку остается

*) Первое стихотвореніе Некрасова „Мысль“ было напечатано въ 1838 году въ „Сынѣ Отечества“. Въ 1839 году Некрасовъ помѣщалъ свои первые опыты въ „Литературной Газетѣ“ А. А. Краевского и въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Въ 1840 г. онъ выпустилъ въ свѣтъ собраніе первыхъ своихъ мелкихъ стихотвореній, подъ названіемъ „Мечты и Звуки“, съ подписью начальныхъ буквъ имени и фамиліи. Съ появленіемъ въ свѣтъ этой книжечки собственно и начинается критика о Некрасовѣ.

**) О. Менцовъ. „Журналъ Минист. Народн. Просвѣщенія“ 1840 г., часть XXV, отд. VI. (Въ этой статьѣ „Мечты и Звуки“ разбираются вмѣстѣ съ стихотвореніями Е. Шаховой, изданными въ 1839 г.).

Примѣч. В. Зелинскаго.

небольшое поприще для усовершенствованія, и когда критика не может уже ожидать отъ писателя такихъ сочиненій, которыя затмили бы произведенія лучшихъ лѣтъ его жизни. Писатели послѣдняго рода, издающіе въ свѣтъ собраніе своихъ сочиненій, какъ бы спрашиваютъ у критика: „Какое мѣсто займу я въ исторіи всеобщей или отечественной литературы?“ Между тѣмъ какъ молодые поэты, подобные г. Некрасову и г. Шаховой, какъ бы просятъ критику только рѣшить: „Есть ли у меня дарованіе и видитъ ли критика во мнѣ поэта, могущаго, если не составить прочное украшеніе той словесности, на языкѣ которой я начинаю писать, то, по крайней мѣрѣ, могущаго обогатить ее достойными вниманія и памяти произведеніями?“ Вотъ съ какой точки зрѣнія, полагаемъ мы, должно смотрѣть на книги, которыхъ названіе представлено въ началѣ этой статьи, и вообще на опыты молодыхъ людей, только начинающихъ свое литературное поприще. И потому да не дивятся читатели, если мы будемъ судить г. Некрасова и г. Шахову снисходительнѣе, нежели, можетъ быть, слѣдовало бы: похвалами умѣренными и справедливыми мы имѣемъ цѣлю ободрить ихъ прекрасные таланты и поощрить къ дальнѣйшимъ трудамъ въ пользу отечественной словесности.

Имя г. Некрасова съ выгодной стороны извѣстно уже нашимъ читателямъ изъ обзорнѣй русскихъ періодическихъ изданій, гдѣ его стихотворенія постоянно относились нами къ числу лучшихъ. Мы привели даже въ одной изъ книжекъ Ж. М. нѣкоторыя строфы изъ его прекрасной и даже, можно сказать, лучшей изъ всего изданнаго имъ нынѣ собранія, пьесы: *Смерть* (Ж. М. Н. П. Іюль, 1839). Присоединимъ теперь къ изъясненному уже нами мнѣнію о его стихотвореніяхъ, что мы не замѣтили въ нихъ исключительно подражанія никому изъ нашихъ поэтовъ; а это уже прежде всего свидѣтельствуетъ о самостоятельности его дарованія. Правда, въ нѣкоторыхъ пьесахъ видно вліяніе Бенедиктова (*Колизей, Незабвенная, Дни Благословенные*), въ другихъ — Подолинскаго (*Встрѣча Душъ, Ангелъ Смерти, Поэзія*) и проч., но возможно-ли, спросимъ мы, молодому человѣку, котораго память наполнена прекрасными тирадами

изъ поэтовъ, заслужившихъ уже всеобщее одобреніе и уваженіе, при самыхъ первыхъ своихъ вдохновеніяхъ, совершенно освободиться (въ отношеніи какъ къ мысли, такъ и къ формѣ) отъ ихъ могущественнаго вліянія?..

Итакъ, мы не хотимъ нисколько относить къ недостаткамъ стихотвореній г. Некрасова этого, можно сказать, невольнаго подражанія, тѣмъ еще болѣе, что у него встрѣчаются такія пьесы, которыя носятъ на себѣ печать поэтической независимости. Такими признаемъ мы: „*Два Мгновенія*“, „*Рукоятъ*“, „*Покойницу*“, и „*Пѣсню Замѣ*“. Эти стихотворенія, за исключеніемъ „*Смерти*“,—лучшія между изданными до нынѣ г. Некрасовымъ...

Достойны также одобренія слѣдующія: „*Ангель Смерти*“, „*Поэзія*“, „*Моя Судьба*“, „*Землетрясеніе*“, и „*Истинная Мудрость*“, гдѣ есть много прекрасныхъ мыслей *).

Θ. Менцовъ.

* * *

**) Стихотворенія г. Н. Н. принадлежатъ къ числу такихъ произведеній, которыя поставляютъ журналиста въ чрезвычайно-затруднительное положеніе, когда являются къ нему съ требованіемъ суда и приговора: объ нихъ рѣшительно не знаешь, что сказать, если хочешь, разбирая книгу, говорить именно объ этой разбираемой книгѣ. Простымъ „ни то ни се“ отдѣлаться не хотѣлось бы; положительно дурного, противъ чего могла бы возстать критика, въ этихъ стихотвореніяхъ ничего нѣтъ; положительно - хорошаго, что бы заставило прилѣпиться къ книгѣ, усладило бы скуку журналиста, который *долженъ* читать, волею-неволею, тоже ничего нѣтъ. Все въ этихъ „стихотвореніяхъ“ чинно, чисто, стихъ гладокъ, звученъ, видно воображеніе въ авторѣ, еще болѣе видна начитанность лучшихъ рус-

*) Въ концѣ своей критической замѣтки Менцовъ предракаетъ Некрасову завидную извѣстность въ отечественной литературѣ и почетное мѣсто въ ея исторіи, если только онъ будетъ стараться образовывать себя и развивать свое природное дарованіе изученіемъ твореній „Поэтовъ, признанныхъ великими отъ всего просвѣщеннаго міра, и чтеніемъ лучшихъ Теорій Изящнаго“.

Примѣч. В. Зелинскаго.

**) „Литературная Газета“ 1840 г., № 16. Изд. А. Краевского.

скихъ поэтовъ; вы прочтете книгу, если не съ удовольствіемъ, то съ терпѣніемъ, — а между тѣмъ какой результатъ этого чтенія? Пустота, безотчетность, неопредѣленность впечатлѣній; ничто васъ не взволновало, ни одинъ стихъ не запалъ въ душу такой, который обвился бы вокругъ вашего сердца, ни одно стихотвореніе такое, которое запечатлѣлось бы живо въ душѣ вашей, чтобы вы могли безъ усилій отыскать его между толпою другихъ, перечестъ его съ наслажденіемъ, и любоваться имъ, и подѣлиться наслажденіемъ вашимъ съ другими. Каждое изъ этихъ стихотвореній можетъ быть напечатано на страницахъ журнала, и не испортить журнала, хотъ и не придастъ ему особеннаго достоинства; многія изъ стихотвореній г. Н. Н. были напечатаны, и нѣкоторыя даже въ листахъ нашей газеты; но въ томъ-то и заключается особенность подобныхъ г. Н. Н. поэтовъ и вообще писателей, что они суть *ничто* до тѣхъ поръ, пока не издадутъ полного собранія своихъ сочиненій: тогда они становятся *ничто*. О, изданіе полного собранія сочиненій автора есть дѣло важное, приступъ рѣшительный, роковая битва на жизнь или на смерть, прочную славу или тихое забвеніе. Мы видали не разъ подобные примѣры; иной въ теченіе пятнадцати, двадцати лѣтъ, печатая въ какомъ-нибудь журналѣ и особенно ежедневной газетѣ странички, приноровленные ко времени, къ случаю, къ обстоятельствамъ, успѣвалъ такимъ образомъ составить себѣ колоссальную извѣстность, успѣвалъ убѣдить другихъ и самъ убѣдиться въ правахъ своихъ на званіе какого-то *опекуна* языка и словесности, но какъ скоро эти *странички* превращались въ *книгу*, несмотря на то, что въ книгѣ были и цѣлые романы, эта колоссальная извѣстность рушилась, и чадолюбивый опекунъ языка и словесности убѣждался на опытъ, что *слава* — *дымъ*. Такъ точно и нѣкоторые поэты, печатая стихотворенія свои отдѣльно въ журналахъ и альманахахъ, успѣли заставить затвердить имя свое, которое встрѣчалось ежегодно, ежемѣсячно, еженедѣльно по нѣсколько разъ; они пріобрѣтали такимъ образомъ извѣстность, которая составила какъ-то безотчетно; имъ бы и пользоваться спокойно этою извѣстностью и продолжать путь свой ров-

нымъ шагомъ, такъ какъ начали: никто бы не сталъ справляться, на чемъ основана эта извѣстность, и критика при всякомъ случаѣ отдѣлялась бы отъ нихъ общими выраженіями: „извѣстный поэтъ“, „милый поэтъ“, „любезный поэтъ“ и т. п.; но на бѣду эти господа ужасно какъ чадолюбивы и самолюбивы: чуть набралось десятка два, три стихотвореній, они тотчасъ издають собраніе ихъ отдѣльною книжкою—и тутъ-то рушится ихъ слава: критика обращаетъ на нихъ вниманіе, разбираетъ права ихъ на званіе поэта и на литературную извѣстность, и увы, бѣдныя! Они сходятъ съ пьедестала, на который взошли было, не замѣчаемые никѣмъ; они скидаютъ съ головы своей вѣнокъ, который лежалъ на ней покойно, пока они не выставляли ее напоказъ... Такихъ поэтовъ на Руси было, есть и, вѣроятно, будетъ еще много: гг. Якубовичъ, Раичъ, Тимошеевъ, Менцовъ, Стромилловъ, Бахтуринъ, Струйскій, Бернетъ, Сушковъ, Траумъ, Банниковъ, и проч., и пр., и пр.; къ числу такихъ поэтовъ принадлежитъ и г. Н. Н.....“ (Далѣе критикъ для примѣра приводитъ нѣкоторыя стихотворенія). „Названіе „*Мечты и Звуки*“ совершенно характеризуетъ стихотворенія г. Н. Н.: это не поэтическія созданія, а *мечты* молодого человѣка, владѣющаго стихомъ и производящаго звуки правильные, стройные, но не поэтическіе. Со временемъ, мы увѣрены, онъ самъ убѣдится въ этомъ, и, оставивъ перо стихотворца, не станетъ увлекаться *мечтами*, а скорѣе посвятить себя занятіямъ дѣльнымъ, предается наукамъ — и будетъ гражданиномъ полезнымъ. Что дѣлать! Кто молодъ не бывалъ? Лучше въ молодости писать стихи, какъ г. Н. Н., нежели... нежели бить баклуши, какъ другіе, напримѣръ“.

Изъ «Литературной Газеты» за 1840 г.

* * *

*) Точно такъ же, какъ повѣсть, въ сравненіи съ другими родами поэзіи, есть самый благодарный родъ для людей, не одаренныхъ художническою фантазіей, но одарен-

*) В. Бѣлинскій. „Сочиненія В. Бѣлинскаго“. Первоначально напечатано въ „Отечеств. Запискахъ“ 1840 г., т. IX, № 3, отд. VI.

ныхъ воображеніемъ, чувствомъ и способностію владѣть языкомъ — точно такъ же проза вообще благодарнѣе для нихъ, чѣмъ стихи. Если въ прозѣ нѣтъ даже и чувства и воображенія, то можетъ быть умъ, остроуміе, наблюдательность, или хоть гладкій языкъ; но если въ стихахъ не видно положительнаго художническаго дарованія, нѣтъ поэзіи, — то уже нѣтъ ровно ничего, даже гладкость и звучность стиха въ нихъ не достоинство, а скорѣе порокъ, ибо возбуждаетъ въ читателѣ не удовольствіе, а досаду. Стихи рѣшительно не терпятъ посредственности. Конечно, и въ лишенныхъ поэтической жизни стихотвореніяхъ тотчасъ можно отличить въ авторѣ человѣка-фразера, наклепывающаго на себя разныя ощущенія, чувства и мысли, которыхъ въ немъ и не было, и нѣтъ, и не будетъ, отъ человѣка съ душою, но обманывающагося въ своемъ призваніи. Однако въ томъ и въ другомъ случаѣ итогъ для поэзіи и для славы автора одинъ и тотъ-же — нуль. Вы видите по его стихотвореніямъ, что въ немъ есть и душа, и чувство, но въ то же время видите, что онъ и остался въ авторѣ, а въ стихи перешли только отвлеченныя мысли, общія мѣста, правильность, гладкость и — скука. Душа и чувство есть необходимое условіе поэзіи, но не ими все оканчивается: нужна еще творческая фантазія, способность внѣ себя осуществлять внутренній міръ своихъ ощущеній и идей, и выводить вовнѣ внутреннія видѣнія своего духа. Но если этой способности въ васъ нѣтъ, то сколько вы ни пишете, и какъ красиво не издавайте вашихъ стихотвореній, вы не дождетесь отъ читателей ни восторга ни сочувствія, и много-много, если иной, закрывъ вашу книгу, чтобы уже не открывать ее больше, скажетъ, зѣвая и потягиваясь, какъ бы послѣ тяжелой работы: „Должно быть, авторъ прекрасный человѣкъ!“ Если стихи пишетъ человѣкъ, лишенный отъ природы всякаго чувства, чуждый всякой мысли, не умѣющій владѣть стихомъ и речью, — онъ, подъ веселый часъ, еще можетъ позабавить читателя своею бездарностію и ограниченностію: всякая крайность имѣетъ свою цѣну, и потому Василій Кирилловичъ Тредіаковскій, „профессоръ элоквенціи, а паче хи-

тростей пѣтическихъ—есть безсмертный поэтъ; но прочесть цѣлую книгу стиховъ, встрѣчать въ нихъ все знакомыя и истертыя чувствованія, общія мѣста, гладкіе стишки и много-много если наткнуться иногда на стихъ, вышедшій изъ души въ кучѣ рѣмованныхъ строчекъ, — воля ваша, это чтеніе или, лучше сказать, работа для рецензентовъ, а не для публики, для которой довольно прочесть о нихъ въ журналѣ извѣстіе въ родѣ „выѣхалъ въ Ростовъ“. Посредственность въ стихахъ нестерпима. Вотъ мысли, на которыя навели насъ „Мечты и Звуки“ г. Н. Н.

В. Бѣлинскій.

* * *

*) Собраніе стихотвореній („Мечты и Звуки“) занимательное. Здѣсь не только *мечты и звуки*, какъ выразился поэтъ, но и мысли, и чувства, и картины. Книжка, заключающая въ себѣ почти одни лирическія стихотворенія, исполнена разнообразія. Въ каждой пьесѣ чувствуешь созданіе мыслящаго ума или воображенія. Наша эпоха такъ скудна хорошими стихотвореніями, что на подобныя явленія смотришь съ особеннымъ удовольствіемъ. У г. Н. Н. замѣтна только нѣкоторая небрежность въ отдѣлкѣ стиховъ: есть неточность въ выраженіяхъ, неправильныя ударенія и другія мелочи, отъ которыхъ легко освободиться при малѣйшемъ вниманіи къ труду.

Изъ «Современника» за 1840 г.

* * *

**) Обязанность критика особенно трудна, когда приходится говорить о произведеніи писателя, только что вступающаго на литературное поприще. Разсматривая книгу писателя извѣстнаго, критикъ всегда можетъ и долженъ откровенно, смѣло высказать свое мнѣніе, основанное, разумѣется, не столько на личномъ впечатлѣніи, сколько на согласіи законовъ изящнаго съ разбираемымъ сочиненіемъ. Не выдержать книга такого строгаго разбора, критику

*) „Современникъ“ 1840 г., т. XVIII, № 2. (Приписываютъ Плетневу).

**) (Н. С.). „Сѣверная Пчела“ 1840 г., № 59.

нѣтъ дѣла: онъ обопрется на приобретенную авторомъ и заслуженную извѣстность и смѣло выскажетъ свой приговоръ, зная, что нисколько этимъ не повредитъ будущему развитію таланта, пользующагося авторитетомъ. Но если передъ вами первые труды юнаго дарованія, строгій приговоръ можетъ иногда совершенно убить въ зародышѣ талантъ, который не имѣетъ мужества не страшиться первыхъ неудачъ... Что же тогда прикажете дѣлать критику? Неужели молчать и хвалить все безъ разбора?.. Совсѣмъ нѣтъ: выскажите истину, вполне, безпристрастно, откровенно, справедливо и, прибавимъ, снисходительно. Тогда всѣ ваши замѣчанія будутъ хладнокровно разсмотрѣны авторомъ, и, навѣрное, онъ самъ постарается избѣгать замѣченныхъ ему недостатковъ. Критика, ограничивающаяся однѣми насмѣшками, равно ни для кого не можетъ быть полезно: автора она ничему не научитъ, потому что еслибъ въ ней нашлись и дѣльные замѣтки, все-же таки она станетъ почитать ее, вслѣдствіе самаго ея характера, несправедливою и пристрадною; читатели же посмѣются и забудутъ ее. Итакъ, снисходительность одно изъ главныхъ условій критики, если передъ нею еще первые опыты юношескаго пера, особенно когда въ авторѣ замѣтно дарованіе, которое впослѣдствіи можетъ болѣе развернуться.

Съ такими думами мы принялись читать „Мечты и Звуки“, стихотворенія Н. Н. — Имя автора намъ вовсе неизвѣстно; кажется, оно въ первый разъ является въ нашей литературѣ: тѣмъ пріятнѣе указать на нѣсколько пьесъ, обличающихъ въ авторѣ дарованіе несомнѣнное. Но этотъ самый признакъ таланта и заставляетъ высказать наше мнѣніе откровенно. Авторъ, видно, слишкомъ пристрастенъ къ прежней школѣ, которая думала находить поэтическое въ однихъ чувствахъ грусти, безнадежности, отчаянія. Это направленіе, къ сожалѣнію, довольно сильно отразилось въ стихахъ г. Н. Н. Далѣе внимательное чтеніе лучшихъ нашихъ поэтовъ оставило также слишкомъ замѣтные слѣды... (Далѣе критикъ приводитъ выдержки изъ стихотвореній „Непонятная Пѣснь“, „Истинная Мудрость“, „Къ Смуглянкѣ“, „Человѣкъ“, и заключаетъ такъ: „Въ г. Н. Н.

замѣтны всѣ признаки дарованія, но дарованіе должно быть образовано долгимъ изученіемъ искусства и непрерывнымъ наблюденіемъ за самимъ собою. Тогда только сбудутся пріятныя надежды, возбужденныя въ насъ книжкою г-на Н. Н. Желаемъ, чтобъ наши ожиданія вполне оправдались на дѣлѣ, и талантъ автора, съ каждымъ новымъ твореніемъ, болѣе и болѣе совершенствовался“).

Изъ «Сѣверной Пчелы» за 1840 г.

* * *

*) Мы слышали, что это первые опыты юнаго, очень юнаго поэта. Если такъ, то стихотворенія его болѣе нежели удачны. Кто въ семнадцать лѣтъ *можетъ* писать такіе прекрасные стихи, тотъ въ двадцать пять *долженъ* сдѣлаться поэтомъ въ высокомъ смыслѣ этого слова. Г. Н. Н. владѣеть стихомъ ловко и звучно; иногда въ пьескахъ его мелькаютъ мысли, свойственныя возрасту позднѣйшему, когда опыты и размышленія показываютъ намъ жизнь въ настоящемъ ея видѣ. Въ стихотвореніяхъ молодого поэта видно преобладаніе грустнаго, печальнаго, можетъ быть, оттого, что онъ рано встрѣтилъ суровость земныхъ испытаній и горькихъ лишеній, рано брошенъ въ міръ нужды и утраты всего, что дѣлаетъ прекрасными воспоминанія дѣтства: попеченія кровныхъ друзей, небо родины, счастливые, беззаботные дни отрочества. Говоримъ это не безъ основанія, не по однимъ догадкамъ—и потому нисколько не расположены порицать того грустнаго направленія фантазіи, которое замѣтили мы въ стихотвореніяхъ г. Н. Н. Нѣкоторые критики вообще нападаютъ на поэтовъ за то, что въ ихъ произведеніяхъ встрѣчаютъ иногда жалобы на жизнь, недовольство своимъ жребіемъ, ропотъ: если все это не вымыслено и если мирныя, кроткія жалобы поэтовъ выражены въ гармоническихъ стихахъ, излившихся изъ души, изъ сердца, ихъ тоскующіе звуки всегда найдутъ сочувствіе въ читателяхъ: не плясать же, не кривляться же передъ ними поэтамъ, когда горе давитъ грудь и сердце хочетъ раздѣлить съ другими свои тяжелыя ощущенія. Необходимо, од-

*) „Русскій Инвалидъ“ 1840 г., № 130. Библиографія Л. Бранта.

нако-жъ, условіе—обладать искусствомъ поэтическую печаль свою облекать въ образы и формы, возбуждающіе живой интересъ и участіе читателя, и если милый поэтъ нашъ желаетъ удостовѣриться въ искренности собственного участія нашего, принимаемаго въ его „Мечтахъ“, то мы замѣтимъ ему, что будь *больше* опредѣленности въ нихъ, иногда меньше какой-то странной, не совсѣмъ понятной аллегоріи, стихотворенія его имѣли бы и не одну цѣнность внѣшняго достоинства стиха. Не уносясь слишкомъ въ темный, загадочный міръ безотчетной фантазіи, можно отыскивать и на землѣ, близъ насъ, пищу для самой поэтической мечты, которая въ такомъ смыслѣ будетъ доступнѣе воображенію каждаго читателя, если только природа не отказала ему въ чувствительности и эстетическомъ вкусѣ. Еще нѣсколько болѣе оконченности художественной, болѣе обдуманной выдержанности въ идеѣ каждаго стихотворенія, съ устраненіемъ нѣкоторыхъ выраженій и словъ, иногда неизящныхъ, не одобряемыхъ поэтическимъ слухомъ: и опыты г. Н. Н. могли бы быть явленіемъ болѣе примѣчательнымъ на горизонтѣ нашей поэзіи, сиротѣющей послѣ Пушкина, такъ превосходно постигавшаго тайну того внутренняго участія читателей къ своимъ произведеніямъ, о которомъ мы говорили выше. Мы потому такъ далеко простираемъ требованія наши въ отношеніи къ г. Н. Н., что видимъ въ немъ дарованіе, способное, при дальнѣйшемъ развитіи, ученіи и художнической строгости къ самому себѣ, произвести что-нибудь болѣе совершенное, болѣе поэтическое, въ ожиданіи чего наши изящнолюбивыя соотечественницы, конечно, прочтутъ красиво изданную книжку, подъ скромнымъ названіемъ: „Мечты и Звуки“.

Л. Брантъ.

* * *

Въ 1841 году о „Мечтахъ и Звукахъ“ упоминается въ „Журналѣ Минист. Нар. Просвѣщенія“ (ч. XXXII, отд. VI). Въ пространной статьѣ, подъ заглавіемъ „Обозрѣніе книгъ, вышедшихъ въ Россіи въ 1838, 1839 и 1840 годахъ“, между прочимъ говорится: „Между оригинальными поэтическими

произведеніями, обогатившими въ минувшемъ трехлѣтіи русскую литературу, первое мѣсто безспорно занимаютъ „Сочиненія (9 томовъ) Пушкина“. Послѣ сихъ образцовыхъ твореній можно поставить отличныя стихотворенія Бенедиктова и Лермонтова. *Нельзя также пройти молчаніемъ прекрасныхъ опытовъ г. Некрасова „Мечты и Звуки“ и т. д.“* *).

Изъ „Журнала Мин. Нар. Просвѣщ.“.

„Статейки въ стихахъ“.

**) Авторъ этой микроскопической книжки, названной имъ *первымъ томомъ*, долженъ быть человѣкъ умный: это особенно доказывается тѣмъ, что онъ не выставилъ на ней своего имени. Стихи его — водевильная болтовня о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ,—болтовня, которая не можетъ не понравиться той многочисленной публикѣ, которая восхищается въ Александринскомъ театрѣ водевильнымъ остроуміемъ нашихъ доморощенныхъ драматурговъ. Мы убѣждены, что многіе найдутъ забавными такіе стишки:

Придетъ охота страстная
За чтеніе засѣсть—
На то у насъ прекрасная
Литература есть.
Цѣпями съ модой скованный,
Измѣнчивъ человѣкъ:
Насталъ *иллюстрированный*
Въ литературѣ вѣкъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ шутка съ „Нашими“
Пошла и удалась,
Тѣмъ книгъ съ политипажами
Въ столицѣ развелась.
Увидишь тутъ Суворова
(Извѣстный былъ герой),
Исторію котораго

*) Еще см. о „Мечтахъ и Звукахъ“: „Современникъ“ 1845 г., № 9, смѣсь, стр. 169—172; „Сынъ Отечества“ 1849 г., № 5.

Примѣч. В. Зелинскаго.

**) Бѣлинскій. „Отечественныя Записки“ 1843 г., т. XXVII.

Составилъ Полевой.
 Одѣтаго какъ барина,
 Во всей его красѣ,
 Увидишь тутъ Булгарина,
 Въ бекешѣ, въ картузѣ.
 Различныхъ тутъ по званію
 Увидишь ты гулякъ
 И цѣлую компанію
 Салопницъ и бродягъ.
 Рисунки чудно слажены,
 Въ нихъ каждый штрихъ хорошъ,
 Иные и раскрашены:
 Ну, нехотя возьмешь!
 Изданья тоже славныя,—
 Бумага такъ бѣла,—
 Но часто презабавныя
 Выходятъ тутъ дѣла.
 Чѣмъ книга наппигована
 Постигнуть нѣтъ ума:
 Въ ней все иллюминировано,
 Да въ текстѣ—мракъ и тьма!
 Въ рисункахъ отличаются
 Клодтъ, Тиммъ и *Неттельгорстъ*,
 Всѣ ими восхищаются...
 Художественный перстъ!

Впрочемъ, есть въ книжкѣ мѣста, даже слишкомъ высокія для публики, хлопающей пьесамъ въ родѣ „Федосыи Сидоровны“ и „Еще Русланъ и Людмила“, какъ, напр., вотъ они:

Я преданъ сокрушенію,
 Не пьется мнѣ, друзья:
 Міръ ближе къ разрушенію,
 Къ могилѣ ближе я.
 Льдомъ жизненнаго холода
 Не сковано еще,—
 Въ васъ сердце, други, молодо,
 Свѣжо и горячо.
 Еще вамъ свѣтъ корыстію
 Разсудка не растлилъ
 И жизни черной кистію
 Злой рокъ не зачернилъ.
 За счастьемъ безбоязненно
 Пока вы мчитесь вдалѣ

И гостей непріязненной
Не ходить къ вамъ печаль.
Увы!.. Она пробудится:
Часъ близокъ роковой!
И съ вами то же сбудется,
Что сталося со мной:
Въ дни возраста цвѣтущаго
Я также былъ готовъ
Взять грудью грядущаго
И славу и любовь,
Кипѣлъ чудесной силою
И рвался все къ тому,
Чего душой остылоу
Теперь и не пойму.
Въ житейскихъ тревоженіяхъ
Терпѣлъ и стыдъ и зло
И видѣлъ въ сновидѣніяхъ
Въ вѣнкѣ свое чело.
Любилъ—и имя чудное
Въ отчаяннѣ твердилъ,—
То было время трудное:
Насилу пережилъ!
Когда восторгъ лирическій
Въ себѣ я пробужу,
Я вамъ біографическій
Портретъ свой напишу.
Тогда вы все узнаете,—
Какъ глупъ я прежде былъ,
Мечталъ, какъ вы мечтаете,
Душой въ эфирѣ жилъ;
Бѣжать хотѣлъ въ Швейцарію,—
И какъ родитель мой
Съ ээира въ канцелярію
Столкнулъ меня клюкой.
Какъ гордъ преуморительно
Я въ новомъ былъ кругу
И какъ потомъ почтительно
Сталъ гнуть себя въ дугу.
Какъ прежде, чѣмъ освоился
Со службой, все краснѣлъ,
А послѣ успокоился,
Окрѣпъ и потолстѣлъ.
Какъ гнаться сталъ за деньгами,
Изрядно нажился,
Дѣтьми и деревеньками
И домомъ завелся...

Въ этихъ шуточныхъ стихахъ цѣлая исторія жизни многихъ людей... Жаль, что авторъ ихъ не наполнилъ всей книжки своей такими стихами и чрезъ то не придалъ ей другой цѣли и значенія, кромѣ удовольствія «почтениѣйшей» публики, составленной изъ разнаго мелкочиновнаго народа. Впрочемъ, вѣдь и этому народу надо же что-нибудь читать, и онъ будетъ читать и смѣяться, и даже запасется готовыми островами, чтобъ удивлять ими товарищей и плѣнять своихъ дамъ, а книжка, должно быть, очень недорогога...

В. Бѣлинскій.

* * *

*) «Въ Санктпетербургѣ есть и устерсы и раки», говорилъ покойный Рубанъ. Въ Санктпетербургѣ есть *литература*, а въ литературѣ есть также *устерсы* и *раки*, мошки и букашки, моль и тля. Вы не замѣчаете ея, но она есть, такъ какъ вы не замѣчаете тли и моли въ вашей мебели, а она въ ней есть. И она живетъ, существуетъ, любитъ, ненавидитъ, шевелится, движется! Да, да, милостивые государи. Видали ли вы каплю воды въ солнечномъ микроскопѣ? Вспомните, какой міръ водяной мелочи представлялся вамъ въ капелькѣ воды, міръ, который шевелится, живетъ, рождается, умираетъ, ѣстъ и пьетъ, даже ссорится, дерется, ѣстъ другъ друга! Хотите ли видѣть такой міръ въ *литературной капелькѣ*? Вотъ она передъ вами, крошечная капелька, едва замѣтная, въ розовой оберточкѣ, съ заглавіемъ: *Статейки въ стихахъ*.

Что невозможно человѣку?
И въ *часъ* онъ волею своей
Дать можетъ *жизнь* и *славу* вѣку!

говорятъ *Статейки въ стихахъ*. Почему знать: можетъ быть, думая, что въ *часъ* можно дать *жизнь* и *славу* вѣку, поэтъ рѣшительно увѣрился, что себѣ-то онъ ужъ рѣшительно можетъ дать *жизнь* и *славу*. И почему не такъ? Вѣдь, какова *жизнь*, какова *слава*! Авторъ *Статеекъ* думалъ приобрѣсть

*) (Z. Z.). „Сѣверная Пчела“ 1843 г., № 87.

то и другое книжечкой, гдѣ сначала встрѣчаются 1842 и 1843 годы и бранять добрыхъ людей. За что? Такъ имъ вздумалось—бранять, да и только! И негодяи они, и плуты, и то и се, и прочее, и прочее. Потому смѣняетъ ихъ какой-то *петербургскій житель Бѣлопяткинъ* и описываетъ разныя петербургскія диковинки, какъ, напримѣръ, онъ чуть не пустился въ плясъ съ цыганками; какъ при изданіяхъ съ картинками

Въ рисункахъ отличаются
Клодтъ, Тиммъ и Неттельгорстъ,
Всѣ ими восхищаются—
Художественный перстъ!

прибавляетъ г. Бѣлопяткинъ. Что за *перстъ*? спросите вы. Да то ли еще найдете вы въ *Статейкахъ*! Вы найдете тамъ описаніе, какъ

Прикрывъ одеждой *шкурочку*
Для смѣха и красоты,
Съ *мартышками мазурочку*
Выплясываютъ псы,
И самъ въ минуту *пьяную,*
По страсти иль нуждѣ,
Шарманщикъ съ *обезьяною*
Танцуетъ на де де...

Изъ «Сѣверной Пчелы» за 1843 г.

Сборникъ „Физиологія Петербурга“.

*) Разбирая статьи, помѣщенные въ I ч. сборника «Физиологія Петербурга», изданнаго Некрасовымъ, Бѣлинскій между прочимъ упоминаетъ о «Петербургскихъ Углахъ» Некрасова: «Петербургскіе Углы», говоритъ онъ, отличаются необыкновенною наблюдательностію и необыкновеннымъ мастерствомъ изложенія. Это живая картина особаго міра жизни, который не всѣмъ извѣстенъ, но тѣмъ не менѣе существуетъ, — картина, проникнутая мыслию. Одна газета выписала изъ этой статьи три строки, и всю статью

*) „Отечественныя Записки“ 1845 г., № 5. Замѣтка В. Бѣлинскаго.

обвинила въ грязи: любопытно было бы намъ услышать сужденіе этой газеты о романѣ *Счастье лучше Богатства*, который сооруженъ совокупными трудами гг. Полеваго и Булгарина и напечатанъ въ «Библиотекѣ для Чтенія» нынѣшняго года. Тамъ, видно, все чисто — даже и описанія подземныхъ тайнъ винныхъ откуповъ... но Богъ съ ней, съ этой газетой»...

В. Бѣлинскій.

* * *

При разборѣ статей II части сборника «Физиология Петербурга» Бѣлинскій говоритъ, что самая лучшая изъ всѣхъ статей этого сборника «Чиновникъ» — пьеса въ стихахъ г. Некрасова *). «Это есть одно изъ тѣхъ въ высшей степени удачныхъ произведеній, въ которыхъ мысль, поражающая своею вѣрностью и дѣльностью, является въ совершенно соответствующей ей формѣ, такъ что никакой, самый непримчивый критикъ не зацѣпится ни за одну черту, которую могъ бы онъ похулить. Пьеса эта написана въ юмористическомъ духѣ и вѣрно воспроизводитъ одно изъ самыхъ типическихъ лицъ Петербурга — чиновника»... (Далѣе слѣдуютъ выписки изъ стихотворенія). «Найдутся люди, которые, пожалуй, скажутъ: «что за предметъ! и какъ можно восхищаться пьесой, которая изображаетъ такой предметъ!» Такихъ людей мы отсылаемъ къ сочиненіямъ Марлинскаго, которыя изображаютъ все предметы высокіе и колоссальные. Что же касается до насъ, мы цѣнимъ литературныя произведенія прежде всего по ихъ выполненію, а потомъ уже по ихъ содержанію, предмету и цѣли. Последнее необходимо имѣть въ виду особенно при сравненіи двухъ одинаково хорошо выполненныхъ произведеній, чтобъ опредѣлить ихъ относительную другъ къ другу цѣнность. Поэтому, для насъ одна изъ лучшихъ басенъ Крылова лучше всѣхъ трагедій Озерова, хотя и трагедіи эти имѣютъ свое достоинство; но лучшей изъ басенъ Крылова нельзя, по важности, равнять, напримѣръ, съ «Онѣгиннымъ» Пушкина: тутъ огромная, неизмѣримая разница въ достоинствахъ «Онѣгина» предъ

*) Сочиненія В. Бѣлинскаго.

баснею, — и эта разница заключается въ содержаніи, въ предметѣ, а не въ формѣ, или, лучше сказать, выполненіи. Такъ какъ мы не имѣемъ въ виду сравнивать «Чиновника» г. Некрасова ни съ какимъ извѣстнымъ произведеніемъ, то и скажемъ просто, что эта пьеса — одно изъ лучшихъ произведеній русской литературы 1845 года»...

О самомъ сборникѣ Некрасова «Физиологія Петербурга», 2 ч., Бѣлинскій между прочимъ говоритъ, что онъ составляетъ собою всю собственно русскую лѣтнюю литературу 1845 года. «Мысль этой книги прекрасна. Это иллюстрированный альманахъ или сборникъ статей, относящихся только до Петербурга. Статьи должны быть не столько описательныя, сколько живописныя, нѣчто въ родѣ повѣстей и очерковъ, а иногда и взглядовъ, изложенныхъ въ формѣ журнальной статьи, мѣстами серьезныхъ, но всегда отгѣненыхъ легкимъ юморомъ. Цѣль этихъ статей — познакомить съ Петербургомъ читателей провинціальныхъ и, можетъ быть, еще болѣе читателей петербургскихъ. Какъ достигнута цѣль? — На этотъ вопросъ трудно было бы отвѣчать утвердительно. Не должно забывать, что «Физиологія Петербурга» — первый опытъ въ этомъ родѣ, явившійся въ такое время русской литературы, которое никакъ нельзя назвать богатымъ. Несмотря на то, можно сказать утвердительно, что это едва ли не лучший изъ всѣхъ альманаховъ, которые когда-либо издавались, — потому едва ли не лучший, что, во-первыхъ, въ немъ есть статьи прекрасныя и нѣтъ статей плохихъ, а во-вторыхъ, всѣ статьи, изъ которыхъ онъ состоитъ, образуютъ собою нѣчто цѣлое, несмотря на то, что онѣ писаны разными лицами. Первая часть «Физиологіи Петербурга» имѣла большой успѣхъ. И не удивительно: статьи — «Дворникъ» и «Петербургскіе Углы» могли бы украсить собою всякое изданіе; статья «Петербургскіе Шарманщики» не испортила бы никакого изданія; что касается до статьи «Петербургъ и Москва», ее прочли всѣ, многіе цѣнили выше, нежели чего она стоитъ въ самомъ дѣлѣ, а многіе не хотѣли замѣтить въ ней того хорошаго, что въ ней есть дѣйствительно, хотя и видѣли его: это, по нашему мнѣнію, успѣхъ»... Далѣе Бѣ-

линскій приводитъ отзывы нѣкоторыхъ журналовъ о сборникѣ «Физиологія Петербурга» и въ концѣ-концовъ оканчиваетъ свою критическую статью словами: «Въ заключеніе скажемъ, что такая книга, какъ «Физиологія Петербурга», была бы замѣчательнымъ явленіемъ, и не будучи первымъ опытомъ,— была бы хороша и для зимняго, не только для лѣтняго чтенія».

В. Бѣлинскій.

„Петербургскій Сборникъ“.

Въ подробномъ критическомъ разборѣ статей, помѣщенныхъ въ «Петербургскомъ Сборникѣ», Бѣлинскій между прочимъ упоминаетъ и о стихотвореніяхъ Некрасова, напечатанныхъ тамъ же. Онъ говоритъ: *) «Самыя интересныя изъ нихъ (стихотвореній) принадлежатъ перу издателя Сборника г. Некрасова. Они проникнуты мыслию; это — не стишки къ дѣвѣ и лунѣ; въ нихъ много умнаго, дѣльнаго и современнаго. Лучшее изъ нихъ «Въ дорогѣ»...

Въ отдѣльной же библиографической замѣткѣ о самомъ «Петербургскомъ Сборникѣ» Бѣлинскій говоритъ: «Всему читающему русскому міру извѣстно, что г. Некрасовъ сдѣлалъ страшное литературное преступленіе: не будучи знаменитымъ литераторомъ, т. е. лѣтъ двадцать не печатая своего имени подъ всякаго рода сочиненіями и, слѣдовательно, не пріобрѣтя права поправлять чужихъ сочиненій, хотя бы они были лучше его собственныхъ, онъ издалъ очень интересный сборникъ статей подъ именемъ «Физиологія Петербурга», гдѣ поправлялъ только свои собственные статьи, не касаясь чужихъ... Да гдѣ-жь тутъ преступленіе? Мы и сами не видимъ его; но есть люди, которые находятъ тутъ преступленіе, о чемъ и объявляютъ во всеуслышаніе. Но г. Некрасовъ не вѣритъ справедливости обвиненія, что будто для изданія сборника непременно нужно имѣть право поправлять чужія статьи, — и вотъ снова даритъ публику прекраснымъ сборникомъ, въ которомъ

*) Сочиненія В. Бѣлинскаго.

онъ опять-таки поправлялъ только то, что было написано имъ самимъ.

Такихъ альманаховъ, какъ „Петербургскій Сборникъ“, у насъ еще не бывало. По формату, числу листовъ и изящности изданія, онъ напоминаетъ собою „Сто Русскихъ Литераторовъ“, что же касается до содержанія, то съ этой стороны „Сто Русскихъ Литераторовъ“ нисколько не напоминаетъ собою „Петербургскаго Сборника“...

В. Бѣлинскій.

О нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Некрасова.

*) Пьесы г. Некрасова подраздѣляются на два отдѣла: одни, поэтически-невѣрные, берутъ стихотворную форму только для каприза или шутки; цѣль автора—выразить въ ней современную мысль, особенно поразить сатирическими выходками ложные взгляды на вещи, грубыя человѣческія заблужденія. Такова, на примѣръ, пьеса: „Нравственный Человѣкъ“, принадлежащая къ одному разряду съ „Колыбельной Пѣсней“, помѣщенной въ „Петербургскомъ Сборникѣ“. Другія пьесы чисто-поэтическія изъ лирическаго рода. Отличительная черта ихъ—рѣзкое, до глубины сердца проникающее обнаруженіе тѣлесныхъ и душевныхъ страданій, при которомъ нѣтъ никакой пощады чувствительности. Авторъ не прикрываетъ своихъ картинъ даже легкимъ покровомъ, изъ снисхожденія къ слабымъ глазамъ; не кладетъ сурдинки на вопли больного сердца, но позволяетъ ему кричать всею силою естественнаго крика. Намъ случалось слышать отъ нѣкоторыхъ, въ видѣ упрека стихотворцу, что чувство, такимъ образомъ выраженное, становится возмутительнымъ. Конечно, такъ; но для чего же употреблять во зло какой бы то ни было предметъ, даже пощадю слабымъ душамъ? Пускай слабо-нервные не смотрятъ на кровь, текущую изъ сердца, или пусть видятъ раны такими, какія онѣ есть: блаженной середины здѣсь

*) „Русская литература въ 1847 году“. „Отечеств. Записки“ 1848 г., № 1.

нѣтъ. Виновать-ли авторъ, что одинъ человѣкъ падаетъ въ обморокъ отъ того, что другой переноситъ мужественно, и что толпа вмѣняетъ первому въ заслугу его внѣшнюю чувствительность, не замѣчая у второго внутренней мужественной борьбы? Ко второму отдѣлу пьесъ принадлежатъ: „Тройка“, „Бѣду ли ночью по улицѣ темной“, и другія. Стихъ г. Некрасова не всегда выработанный, но всегда сильный.

Изъ «Отечеств. Записокъ» за 1848 г.

„Три страны свѣта“.

(Н. Некрасова и Н. Станицкаго).

*) О романѣ „Три страны свѣта“, гг. Некрасова и Станицкаго, не можемъ ничего сказать, пока романъ этотъ не будетъ оконченъ. Между тѣмъ, не можемъ не обратить вниманія на превосходную „Исторію мѣщанина Душникова“, въ третьей части этого романа, и на вторую главу („Деревенская Скука“): онѣ выдаются рѣзко изъ всего романа, написаннаго по образцу новѣйшихъ французскихъ романовъ, въ которыхъ легкій разговорный языкъ и занимательность внѣшнихъ происшествій играютъ главную роль. „Исторія мѣщанина Душникова“ замѣчательна и по самому характеру Душникова, живописца-самоучки, вызывающаго невольное сочувствіе читателя своимъ безвыходнымъ положеніемъ, и по мастерскому разсказу, который постоянно поддерживаетъ интересъ этой чрезвычайно-драматической исторіи. Вообще, обѣ главы, нами приведенныя, лучше всего, что написано до сихъ поръ изъ „Трехъ странъ свѣта“.

Изъ «Отечеств. Записокъ» за 1849 г.

* * *

**) Нѣтъ ничего тяжелѣе впечатлѣнія, произвѣдимаго твореніемъ, котораго вы никакъ не осмѣлитесь назвать литературнымъ и въ которомъ, однако, встрѣчаешь задатки

*) „Отечественныя Записки“ 1849 г., № 1.

**) „Отеч. Записки“ 1850 г., № 1.

чего-то хорошаго и талантливаго. Есть произведенія блестящія и въ высшей степени ложныя, которыя представляют собою рѣзкія уклоненія отъ дѣйствительной природы — чудовищныя сны гениальнаго таланта: таковъ извѣстный романъ Гюго „Notre Dame de Paris“, таковы романы Мечтурина. Сила созданія увлекаетъ васъ вопреки вашему здравому смыслу, вопреки вашему эстетическому такту; и вы же готовы бранить себя за увлеченіе. Но не таково дѣйствіе, производимое многотомными спекуляціями Дюма и компаніи, къ роду которыхъ мы съ крайнимъ прискорбіемъ должны отнести и „Три страны свѣта“. Не ложная или чудовищная мысль, но ложный и чудовищный вкусъ породилъ это произведеніе; онъ же далъ ему и минутный успѣхъ, вслѣдствіе котораго на изумленныхъ смѣлостью читателей хлынулъ цѣлый потокъ сказокъ, одна другой безсвязнѣе и нелѣпѣе, сказокъ, по большей части повторявшихъ одна другую, употреблявшихъ всегда одинакія и одинаково-вѣрныя средства успѣха, котораго основы не дѣлаютъ чести ни вкусу читателей ни совѣстливости производителей. Вообще эти компіляціи невѣроятныхъ похожденій, имѣютъ сходство съ тѣми сказками, которыми тѣшилось распадавшееся и пресыщенное до отупѣнія древнее общество: точно такъ же онѣ мертвы и безжизненны, точно такъ же чужды всякаго психологическаго анализа. Главное здѣсь — не лица, не образы, а пестрая канва романа, занимательная для празднаго и грубаго любопытства, утомительная для всякаго, кто способенъ къ наслажденію чѣмъ-нибудь повыше. Мѣстами, какъ оазисы въ пустынѣ, выдаются въ компіляціяхъ сцены, написанныя перомъ таланта, то вы не можете отдаться этимъ сценамъ, потому что вездѣ видите спивку на скорую руку, отсутствіе серьезныхъ цѣлей, отсутствіе уваженія къ дѣлу. И, можетъ быть, никогда не были вы такъ настроены понимать всю вопіющую справедливость требованія Гоголя, чтобы „съ словомъ обходились честно“, и звучитъ вамъ какъ бы чѣмъ-то новымъ эта простая истина, болѣе или менѣе сознаваемая всѣми.

Все, сказанное нами вообще о романахъ подобнаго рода,

вполнѣ прилагается къ роману „Три страны свѣта“. Въ немъ — три рода лицъ, если можно назвать лицами слабыя и блѣдныя тѣни: 1) приторно-идеальныя: Каютина, Полинька, Нѣмецъ-башмачникъ; 2) нелѣпо-чудовищныя: Сара, или Клеопатра, какъ она называется различно. Горбунъ; 3) просто-грязноватыя и притомъ грязноватыя безъ всякаго смысла: Кирпичевъ, уѣздная барыня, которая накидывается на Каютина; наконецъ 4) — и этихъ, къ сожалѣнію, очень мало — носящія на себѣ человѣческій образъ. Къ числу послѣднихъ принадлежать въ особенности Душниковъ, Хребтовъ, Никита. Вообще, лучшая изъ сторонъ романа и изъ странъ свѣта, въ которыхъ совершается его дѣйствіе — Новая-Земля; похождения героев здѣсь и проще и имѣютъ болѣе смысла, можетъ-быть, и отъ того, что многія здѣсь описанія заимствованы цѣликомъ изъ другихъ книгъ. Мы считаемъ излишнимъ рассказывать содержаніе „Трехъ странъ свѣта“; кто прочелъ это произведеніе, тотъ, по всей вѣроятности, не захочетъ безъ нужды вспоминать его; поэтому мы ограничимся нѣсколькими замѣчаніями... Доказывать неестественность Полиньки и Каютина съ Нѣмцемъ-башмачникомъ включительно — значило бы тратить по пустому время; вѣроятно, сами гг. Некрасовъ и Станицкій плохо вѣрятъ въ ихъ дѣйствительность, хотя, можетъ-быть, эти лица были ими задуманы и гораздо серьезнѣе, нежели какъ они вышли — и будь произведеніе ихъ не такъ рассчитано на успѣхъ и ложные эффекты, изъ добродушнаго, веселаго Каютина, исполненнаго сочувствія къ дѣйствительности, явилось бы лицо новое и оригинальное. Что касается до лицъ второго разряда: Сары, Горбуна и Правой-Руки, то изъ этихъ мелодраматическихъ чудовищъ, самый сильный талантъ не былъ бы въ состояніи ничего сдѣлать. Горбунъ по прямой линіи происходитъ отъ одного лица въ „Mistères de Paris“, а Сара (она же и Клеопатра) носить всѣ признаки родства съ однимъ женскимъ характеромъ въ романѣ Поля Феваля „Le fils du Diable“, и съ нѣкоторыми другими женщинами-пантерами, львицами, змѣями и тигрицами. Когда-то все это было ново, теперь же стало и старо, и смѣшно.

Изъ „Отчественныхъ Записокъ“ за 1850 г.

КРИТИКА ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

„Мертвое Озеро“.

(Н. Станицкаго и Н. Некрасова).

*) Романъ только что начинается, но уже самое начало его показываетъ, чего должны ожидать читатели. И канва и очерки характеровъ рѣзко напоминаютъ „Три страны свѣта“—первый романъ тѣхъ же самыхъ авторовъ. Есть произведенія блестящія, и въ высшей степени ложныя, въ которыхъ и событія и характеры отличаются странными уклоненіями отъ дѣйствительной природы, и на которыхъ лежитъ между тѣмъ яркое клеймо таланта: таковъ извѣстный романъ Гюго („Notre Dame de Paris“) — таковы романы Мечтурина. Сила созданія увлекаетъ васъ вопреки вашему здравому смыслу, вопреки эстетическому такту; вы, пожалуй, и браните себя за увлеченіе, а все-таки увлекаетесь. Но не таково впечатлѣніе, производимое многотомными спекуляціями Дюма и компаніи, къ роду которыхъ мы относимъ и „Три страны свѣта“ и „Мертвое Озеро“, судя по его началу. Не ложная или чудовищная мысль, но ложный и грубый вкусъ породилъ подобныя произведенія: онъ же далъ имъ и минутный успѣхъ, вслѣдствіе котораго на изумленныхъ смѣлостію читателей хлынулъ цѣлый потокъ сказокъ, одна другой безсвязнѣе и нелѣпѣе,—сказокъ, по большей части повторяющихъ одна другую, снабженныхъ всегда одинаковыми и всегда одинаково-вѣрными средствами успѣха, котораго основы не дѣлаютъ чести ни

*) (А). „Москвитининъ“ 1851 г., № 5 (мартовская книга).

вкусу публики, ни совѣстливости производителей. Въ такихъ сказкахъ, мертвыхъ и безжизненныхъ, чуждающихся психологическаго анализа, не ищите лицъ, образовъ; главное здѣсь—пестрая канва невѣроятныхъ похожденій, занимательная для празднаго любопытства, утомительная для всякаго, кто способенъ наслаждаться чтѣмъ-нибудь получше и повыше. Мѣстами, какъ оазисы въ пустынѣ, выдаются въ компиляціяхъ сцены, написанныя бойко и ловко, но вы не можете отдаться этимъ сценамъ, потому что вездѣ видите спивку на скорую руку, отсутствіе серьезныхъ цѣлей, отсутствіе уваженія къ дѣлу. Предвидимъ, что насъ обвинять въ слишкомъ строгихъ требованіяхъ: скажутъ, что такимъ образомъ мы уничтожаемъ значеніе всей такъ называемой беллетристики, что не могутъ же безпрестанно появляться художественныя произведенія. Признаемся откровенно, что мы дѣйствительно не видимъ и не можемъ видѣть никакого значенія въ такой беллетристикѣ, которая не имѣетъ другой цѣли, кромѣ удовлетворенія празднымъ и грубымъ потребностямъ, и думаемъ, что всякая литература, а тѣмъ болѣе наша, много бы выиграла, если бы обходилась безъ такого балласта. Есть различіе между роскошью изящною, позволительною во многихъ отношеніяхъ, и роскошью грубою, вредною всегда. Особенно непріятно видѣть подъ такими фабрикаціями имя литератора, какъ г. Станицкій, которому никто не откажетъ ни въ даровитости ни въ силѣ, котораго другія попытки если и мало удовлетворяютъ читателя, то по крайней мѣрѣ возбуждаютъ невольное сочувствіе многими блестящими сторонами. Въ его „Пасѣкѣ“, въ его „Необдуманномъ Шагѣ“—видна мысль и видна вѣра въ мысль, вѣра въ лица, оживляемая этою мыслию; но мы не смѣемъ думать, чтобы г. Станицкій дѣйствительно вѣрилъ въ существованіе приторно-идеальнаго нѣмца башмачника, — уродливаго Горбуна, Клеопатры и другихъ фантастическихъ призраковъ, являющихся въ „Трехъ странахъ свѣта“. Въ этомъ романѣ, о которомъ мы упоминаемъ только по родственной связи его съ „Мертвымъ Озеромъ“, все явнымъ образомъ написано по рецепту. Взять какого-нибудь физическаго или моральнаго уроды, сочинить

котораго не стоитъ большого труда, заставить его преслѣдовать неистойвой любовью или неистойвой враждой нѣсколько бѣдныхъ невинностей, которыя сочиняются такъ же легко, перепутать эту интригу безконечными похождениями разныхъ лицъ, связанныхъ судьбою съ уродомъ или съ невинностями, развести все это водою описаній разныхъ мѣстностей, сладкихъ изліяній и проч.,— и выйдетъ Вѣчный Жидъ, Мартынъ Найденышъ, Старый Домъ, Мертвое Озеро или Три страны свѣта: манера во всѣхъ такихъ произведеніяхъ всегда одинаковая; ее нельзя назвать иначе, какъ малеваньемъ на скорую руку; о созданіи тутъ не заботятся— все хорошо, что попадется подъ руку, что даетъ воображеніе. Извѣстное дѣло, что нѣтъ ничего легче, какъ придумать фантастическіе призраки или списывать повседневныя, часто грязноватыя явленія, не углубляясь въ ихъ смыслъ, не повѣряя ихъ анализомъ: въ первомъ случаѣ стоитъ только рисовать рѣзкими штрихами, брать черты поглубже, сочинять невѣроятныхъ злодѣевъ или разныхъ женщинъ—пантеръ, львицъ и тигрицъ; во второмъ—просто-на-просто рассказывать различныя происшествія, благо ихъ много бываетъ на свѣтѣ.

„Мертвое Озеро“ начато такъ, что авторы и не потрудились даже скрыть рецепта, по которому они его составляли. На первомъ же планѣ два молодыхъ, разумѣется, невинныхъ существа, которыя любятъ другъ друга, и различитель двухъ любящихъ сердецъ, неизбѣжный злодѣй *de rigueur*, разумѣется, старикъ, разумѣется, съ сумрачнымъ видомъ, съ неистовыми страстями. Несправедливо было бы, впрочемъ, сказать, чтобы только и было въ двухъ частяхъ перваго тома, что эти неизбѣжныя лица, съ ярлыками на лбу, — нѣтъ! иногда попадаются очерки характеровъ живыхъ, иногда проглядываютъ и умъ, и наблюдательность, и даже талантъ; но все это потрачено задаромъ, все это перемѣшано съ общими мѣстами.

Попытаемся рассказать содержаніе двухъ частей перваго тома романа, который, по всей вѣроятности, протянется на цѣлый годъ журнала. Мы будемъ слѣдить за нимъ постоянно и преимущественно обращать вниманіе на хорошія

его стороны, если таковыя будутъ, изъ уваженія къ дарованію одного изъ его авторовъ: выставивши нашъ общій взглядъ на подобныя фабрикаціи, мы, конечно, не отступимся отъ него, но желая сохранить все возможное безпристрастіе, не упустимъ изъ виду хорошихъ частныхъ.

Дѣйствіе романа начинается гдѣ-то въ глуши. Первыя лица, съ которыми знакомятъ насъ авторы,—дѣвушка, разумѣется, необыкновенно граціозная, по ихъ описанію, и не совсѣмъ похожая на Полинку „Трехъ странъ свѣта“,—старичокъ съ кроткимъ лицомъ, дѣдушка героини, высокая женщина, распространяющая вокругъ себя какой-то панический страхъ, злая и суровая въ отношеніи ко всѣмъ, нѣжная до болѣзненной раздражительности къ своему воспитаннику, и, наконецъ, этотъ воспитанникъ—высокій мальчикъ, повѣса и музыкантъ. Высокая женщина держитъ нѣсколько подъ гнетомъ старика и дѣвушку, высокий мальчикъ и дѣвушка сообща обманываютъ ее и безсознательно уже любятъ другъ друга. Настасья Андреевна—имя высокой женщины,—не всегда, впрочемъ, была такою злою и суровой, какой является она въ первой сценѣ романа; и для нея была пора надеждъ, пора расцвѣта, и она, можетъ быть, таила въ себѣ залоги лучшей жизни—даже и теперь, въ ея страсти къ музыкѣ, въ ея любви къ Петрушѣ отзываются воспоминанія прошедшаго. Авторы рассказываютъ ея исторію. Она выросла подъ властію скупой и злой мачихи: нѣмецъ-музыкантъ --лицо въ родѣ идеальнаго нѣмца-башмачника „Трехъ странъ свѣта“, безкорыстный до нелѣпости и снабженный всѣми возможными добродѣтелями, развилъ въ ней страсть къ искусству, мечталъ создать изъ нея великую артистку, влюбился въ эту мечту и вмѣстѣ, самъ того не зная и даже не подозрѣвая, влюбился въ свою ученицу. (Sic!) Настасья Андреевна тоже, сама того не подозрѣвая, влюбилась въ него: взаимное отношеніе разъяснилось для нихъ только при прощаньи, прощанье же произошло вслѣдствіе того, что мачеха видѣла яснѣе ихъ дѣло. Оторванная насильственно отъ первыхъ и притомъ свѣжихъ впечатлѣній, Настасья Андреевна быстро сошла въ грязь повседневной жизни, точно такъ же быстро, какъ

въ „Необдуманномъ Шагѣ“ Таня обращается изъ доброй и простой дѣвочки въ отвратительную бабу. Ясно, что всѣ подобные переходы возможны только въ повѣстяхъ, да притомъ только въ такихъ, которыя пишутся наскоро, а никакъ уже не въ дѣйствительности. Страшно обмелѣть, даже и совсѣмъ изсякнуть можетъ въ человѣкѣ источникъ лучшаго бытія — но много и нужно для того, чтобъ онъ обмелѣлъ и изсякъ. Кромѣ того, намъ не нравится здѣсь идеальное лицо нѣмца-музыканта и его приторная любовь, равно какъ и самая сцена прощанія, принадлежащая къ сентиментальному роду. Видно, однимъ словомъ, что нѣчто, не совсѣмъ старое и избитое, бродило въ головѣ авторовъ, когда они сочиняли исторію Настасьи Андреевны, но недостатокъ ли художнической любви къ задуманному образу, другое ли что помѣшало выполненію мысли, и вышла вся исторія какъ-то вялая, безцвѣтная.

Исторія другихъ лицъ, старика и дѣвушки, обработана нѣсколько поискуснѣе. Братъ Настасьи Андреевны, человѣкъ съ сумрачнымъ видомъ и нахмуренными бровями, идя за процессіей богатыхъ похоронъ, случайно попалъ въ провожатые бѣднаго гроба, за которымъ шла дѣвушка лѣтъ пятнадцати съ старухой кухаркой. Федоръ Андреевичъ тронулся ея горестью, выспросилъ у кухарки, кто онѣ такія, и узналъ, что дѣвушка доводится ему родственницей, что у нея есть дѣдушка, двоюродный братъ его по женской линіи. Онъ пріютилъ безпріютныхъ бѣдняковъ. Все, что слѣдуетъ уже дальше, совершенно сообразуется съ рецептомъ для сочиненія многотомныхъ романовъ. Дѣвушка, которую зовутъ Аня, любитъ Петрушу, воспитанника Настасьи Андреевны; Федоръ Андреевичъ влюбляется въ Аню любовью Горбуна къ Полѣ, или пожалуй извѣстнаго лица Парижскихъ Тайнъ къ Сесили, и когда Аня отказывается на-отрѣзъ выйти за него замужъ, онъ выгоняетъ ее изъ дому вмѣстѣ съ ея дѣдомъ, грозитъ имъ бѣдностью и провожаетъ ихъ, какъ обыкновенно заведено въ подобныхъ случаяхъ, язвительной улыбкой. Все, какъ видите, обстоитъ благополучно; первый актъ мелодрамы общается въ будущемъ много похожденій гонимой добродѣтели. Мертваго

озера покажѣтъ еще не видать даже и на самомъ заднемъ планѣ декорацій, но, что оно будетъ непременно, въ этомъ можно быть заранѣе увѣреннымъ.

Замѣтимъ только одно, что характеръ Ани, къ крайнему нашему удовольствію, не похожъ на характеръ Полинки „Трехъ Странъ“. Въ ней нѣтъ скучной сентиментальности, и напротивъ много капризной причудливости, много совершенно женскаго желанія повластвовать, выказать свое вліяніе на мужчину. Такою, по крайней мѣрѣ, является она въ борьбѣ съ Настасьей Андреевной, въ отношеніяхъ съ Федоромъ Андреевичемъ: вообще, кажется, въ созданіи этого характера не трудно признать манеру автора „Пасѣнки“. Есть что-то сходное съ Бѣлкою въ Анѣ новаго романа.

* * *

*) Въ третьей части романа мы знакомимся съ новыми лицами.—Въ городѣ NN живетъ прачка Настасья Кирилловна, у нея есть дочь Катя, изъ опасенія за судьбу которой она вышла замужъ за отставнаго унтеръ-офицера Купріяныча. Купріянычъ женился на прачкѣ по слухамъ, что у нея есть деньги, но, обманувшись въ расчетѣ, не оробѣлъ: онъ твердо сказалъ, „что знать ничего не хочетъ, женился для спокойствія, и не намѣренъ работать“. Единственный предметъ его любви, попеченія и нѣжности — коты, и въ особенности черный котъ, къ которому онъ обращается съ вопросами, восклицаніями, сужденіями насчетъ сварливой жены. Любовь прачки обращена, напротивъ, исключительно на дочь. „Прачка даже видѣла сонъ, что Катя ея выросла, и одѣтая въ богатое шелковое платье танцуетъ съ офицерами; сама же она сидитъ въ хорошемъ обществѣ и пьетъ самый крѣпкій чай“. Отношенія между ею и мужемъ очерчены прекрасно.

Между тѣмъ, на улицѣ, около чистенькаго дома бродитъ молодой человѣкъ въ шинели. Въ окно подвала прачки взглянули мы покажѣтъ случайно, вмѣстѣ съ нимъ. Молодой человѣкъ — актеръ провинціального театра, зани-

*) (А.) „Москвитянинъ“ 1851 г., № 6 (2-я мартовская книга).

мающій роли первыхъ любовниковъ, застѣнчивый и неловкій, отличающійся качествами своими отъ другихъ своихъ собратій: „На чужой счетъ онъ жить не умѣлъ. У него никогда не доставало духу навязываться въ трактиръ къ какому-нибудь купцу или театралу, и платить за угощеніе домашними тайнами актрисъ“. Онъ былъ сынъ богатаго купца, по смерти отца прожуировалъ состояніе, и, по совѣту актера Остроухова, вступилъ на сцену подъ именемъ Мечиславскаго. Характеръ странный и, къ сожалѣнію, нисколько не поясненный, тогда какъ Остроуховъ, напротивъ, совершенно поясненъ.

„Остроуховъ былъ талантливѣйшій актеръ въ городѣ и любимъ публикой, но невоздержность дѣлала его жалкимъ. Голосъ его былъ постоянно хриплый, память исчезла; роли онъ никогда не зналъ. Содержатель театра держалъ его единственно для обстановки пьесъ и дѣльныхъ совѣтовъ, которые онъ иногда давалъ молодымъ актрисамъ и актерамъ“.

День дебюта былъ замѣчательнымъ днемъ въ жизни Мечиславскаго. Театръ былъ полонъ. „Его вызвали нѣсколько разъ; вызывая и хлопая, друзья думали по квитаться съ погибшимъ черезъ нихъ, и радовались, что совѣсть ихъ теперь навсегда очищена“. Но жизнь за кулисами не любила Мечиславскому, онъ не охотно шелъ въ театръ, и скоро сталъ равнодушенъ къ вызовамъ и рукоплесканіямъ.

„Онъ проклиналъ своего друга Остроухова, зачѣмъ тотъ втянулъ его въ эту кипящую жизнь, гдѣ вѣчно шумъ, смѣхъ, клеветы, зависть, лицемеріе. Въ эти минуты, онъ сознавалъ вполнѣ свое ничтожество, и его отчаяніе доходило до страшной степени. Припадокъ оканчивался обморокомъ—а на другой день Мечиславскій, очнувшись, ничего не помнилъ; только тоска его душила, и онъ не выходилъ изъ дома“.

Такъ шло до тѣхъ поръ, какъ на театръ вступила новая артистка Любская. О ней никто ничего не зналъ; пріѣхавъ въ городъ, она явилась сама къ содержателю театра и объявила ему, что желаетъ дебютировать. Публика осталась отъ нея въ восторгѣ, но противъ нея начала интриговать первая любовница Ноготкова—лицо крайне напоминающее

Раису Минишну Сурмилову въ водевилѣ: „Левъ Гурычъ Синичкинъ“. Мечиславскій влюбился въ Любскую, играя съ нею вмѣстѣ—и сталъ учить свои роли. Онъ началъ даже ревновать ее, особенно, когда въ кофейной одинъ сочинитель указалъ ему на виднаго мужчину, который, проходя мимо, громко сказалъ, обращаясь къ двумъ молодымъ людямъ:—Господа! вечеромъ къ Любской: я дома.

На театральной пробѣ отношенія Любской къ ея соперницамъ обозначаются ясно. Надобно сказать, что всѣ сцены закулиснаго быта отличаются необыкновенною правдою въ романѣ. Соперницы Любской, разумѣется, всѣ бездарныя и устарѣлыя актрисы, имѣющія однако же и вѣсь въ театрѣ и толпу поклонниковъ. Изъ нихъ въ особенности рѣзко выдаются—Ноготкова, о которой мы уже упоминали, Деризубова, толстая и старая женщина, небрежно одѣтая, ухватками и лицомъ очень похожая на торговку, продающихъ картофель, съ наглыми движеніями и наглою рѣчью—и Орлеанская. Послѣдняя въ особенности обрисована удачно: она „имѣла единственный даръ такъ кричать, что за кулисами всѣ боялись ея: а на сценѣ, въ патетическихъ мѣстахъ, ей иногда удавалось даже голосомъ своимъ производить эффектъ. Она вмѣшивалась во всѣ сплетни, вѣчно ссорилась и черезъ своего мужа имѣла голосъ у содержателя театра и любителей. Она лестила тѣмъ, въ комъ видѣла выгоду, и тотчасъ начинала притѣснять ихъ, когда только добивалась своей цѣли. Несмотря на то, что у нея было огромное семейство, она имѣла претензію на молодость и красоту. Какъ драматическая актриса, играя часто герцогинь и разныхъ важныхъ дамъ, она пріобрѣла привычку ходить съ необыкновенной торжественностью—мѣрно, тяжеловѣсно, глядѣть важно; но не очень честные поступки и лстивыя слова не соотвѣтствовали ея величавой осанкѣ“. На пробѣ, гдѣ главный интересъ всѣхъ—новыя сплетни Ноготковой,—Мечиславскому дѣлается дурно, и его выносятъ безъ чувствъ.

Вслѣдъ затѣмъ мы знакомимся съ новымъ лицомъ—провинціальнымъ театраломъ Калинскимъ, разорившимся бариномъ пожилыхъ лѣтъ—наводящимъ разными искусственными

средствами румянецъ на лицо. Хотя это лицо напоминаетъ нѣсколько графа-покровителя искусствъ въ водевилѣ „Левъ Гурычъ Синичкинъ“—но въ романѣ „Мертвое Озеро“ оно вышло не такъ карикатурно. У Калинскаго, хоть онъ и разорился отъ *любви къ искусству*,— все дышитъ комфортомъ и привычками порядочнаго человѣка. Одинъ только столъ въ его кабинетѣ, „на которомъ стояло до десяти женскихъ портретовъ, въ характерныхъ костюмахъ и съ эффектными позами“ и на которомъ „башмаки танцовщицъ, браслеты, сухіе цвѣты, перчатки“ — свидѣтельствуешь о томъ, что онъ театралъ. Любская, отвергнувшая его искаательства, имѣла въ немъ самаго злѣйшаго врага; онъ былъ главною пружиною непріятностей Любской и Ноготковой; равно и въ публикѣ, гдѣ устраивалъ всегда такъ, „что если Любская играла вмѣстѣ съ Ноготковой, то послѣднюю непременно лишній разъ вызывали, а Любской даже шикали, хоть шиканьемъ могли только сердить публику, которая съ досады принималась рукоплескать Любской. Онъ также назначалъ содержателя театра раболѣпствовать передъ всѣми любителями театра, потому что они сдѣлали ему большія вспомошествованія, не давая пьесъ, въ которыхъ Любская имѣла успѣхъ. Ноготковой сшили для новыхъ ролей—новые костюмы, а Любской перешивали старые“. Калинскій, впрочемъ, не прочь и помириться съ Любской: случай скоро представляется. Любской измѣнилъ поклонникъ ея Данкевичъ, и первый, извѣстившій ее объ измѣнѣ, былъ Калинскій. Онъ писалъ ей, что одинъ господинъ, прикидывающійся преданнымъ ей, поднесъ Ноготковой въ день именинъ браслетъ съ надписью: „Завистницѣ имѣла—соперницѣ не знала“. Страшную пытку должна была вытерпѣть Любская на репетиціи, гдѣ ее дразнили этимъ браслетомъ;—между тѣмъ она совладѣла съ собою,—она разсматривала браслетъ, смѣялась, шутила... Но, разумѣется, она, провинціальная актриса и въ добавокъ еще полная женскаго самолюбія, внутри души не могла остаться равнодушною.

„Уходя съ пробы, Остроуховъ пожалъ Любской руку и съ гордостью сказалъ:—Если ты будешь такъ продолжать, вспомни меня—ты сдѣлаешься замѣчательною актрисой.

Эта похвала вызвала слезы, которые изобильно потекли по щекамъ Любской; выраженіе лица ея и всей фигуры было такъ убито, что Остроуховъ, сажая ее въ карету, строго сказалъ:

— Неужели ты не имѣешь гордости и приходишь въ отчаяніе отъ такихъ вещей, на которыя должно отвѣчать смѣхомъ, какъ ты и сдѣлала?.. Знаешь-ли, что веселость лучшее и самое вѣрное мщеніе?.. Будь весела, поѣзжай куда-нибудь, гдѣ бы тебя могли видѣть веселой,—однимъ словомъ, сдѣлайся актрисой сегодня не за кулисами, не на сценѣ, освѣщенной лампами, а при дневномъ свѣтѣ.

— Мнѣ скучно! мнѣ тяжело! — проговорила Любская, закрывая лицо руками.

— Вздоръ! Ты должна быть сегодня веселой.

И захлопнувъ дверцы, Остроуховъ велѣлъ кучеру ѣхать въ модный магазинъ на главной улицѣ города, сказавъ Любской:

— Ради Бога, купи къ завтраму себѣ какую-нибудь обнову. Проба въ двѣнадцать часовъ“.

Остроуховъ знаетъ окружающую его дѣйствительность: съ горемъ пополамъ онъ сжился съ нею; больше даже: онъ, такъ сказать, самъ окунулся въ нее по уши—но обиліе таланта и непосредственной доброты уберегло въ его натурѣ одно превосходное качество: способность привязываться собачьей привязанностью ко всему сколько-нибудь чистому и сколько-нибудь болѣе благородному, нежели всѣ его окружающіе. Вотъ почему привязался онъ горячо къ Мечиславскому и Любской, хотя не идеализируетъ себѣ ни того ни другой. Превосходенъ рассказъ его о томъ, когда онъ сдѣлался актеромъ. Въ этомъ чловѣкѣ — все непосредственно; — онъ самъ не знаетъ ни объема ни рода своего дарованія, — а между тѣмъ, такъ и видно, что въ немъ погибъ ни за копейку одинъ изъ яркихъ талантовъ. Прежде онъ былъ суфлеромъ. „Сначала—говоритъ онъ—я и не думалъ, что у меня есть талантъ, хоть часто, когда сидишь, бывало въ суфлерской будкѣ и подсказываешь роль, такъ вотъ и казалось бы, что самъ лучше бы сыгралъ. Ну вотъ разъ пріѣхала наша труппа въ одинъ городъ, наняла

сарай и стала ужъ превращать въ театръ. Все было ужъ готово: вотъ я разъ вышелъ съ пробы—у самыхъ сѣней меня останавливаетъ женщина, чисто одѣтая и въ шляпкѣ, но мнѣ совершенно незнакомая и очень красивая. „Не надо-ль вамъ актрисы?“—спросила она меня,—ну точь въ точь, какъ мужики, бывало, спрашивали, когда устраиваемъ сарай: не надо-ль плотника?“

Съ этой женщиной онъ разыгрывалъ роли—съ ней вступилъ онъ на сцену. Содержателю театра сначала не понравилось, что Остроуховъ хочетъ оставить суфлерство: потому что онъ отлично умѣлъ подсказывать актерамъ, которые, бывало, едва на ногахъ стоятъ—потомъ, онъ былъ внѣ себя отъ радости, когда дебюты Остроухова и его ученицы произвели фуроръ.

Остроуховъ любилъ по своему—грубо, но страстно, и рассказъ его о двухъ женщинахъ, изъ которыхъ одну побилъ въ припадкѣ неистовой ревности, а другая, надоѣвши ему своею ревностью, заблагоразсудила бѣжать съ почтовой станціи—проникнуть правдою и страстью. Много еще вѣры сохранилось въ этой сильной натурѣ, вѣры дѣтской, вѣры наивной. Вотъ, напримѣръ, какъ рассуждаетъ онъ, спившійся съ кругу актеръ, презирающій самого себя, не уважающій даже искусства, сидя надъ спящимъ Мечиславскимъ: „И сонъ-то твой лишенъ пріятности: солнце рѣжетъ тебѣ глаза, если думаетъ освѣтить нашу каморку. Развѣ такъ надо ему жить? Надо, чтобъ его окружала роскошь, чтобъ онъ могъ весь погружаться въ искусство; я дѣло другое—на сценѣ я разыгрываю людей ничтожныхъ или погибшихъ; публика аплодируетъ мнѣ за вѣрное изображеніе ихъ, не зная того, что сойдя со сцены, я сниму только лохмотья и шапку паяца, смою бѣлила, а возвращусь домой все такимъ же погибшимъ человѣкомъ. Онъ же занимается роли людей чистыхъ, съ гордою душой, не знающихъ другихъ страданій, кромѣ страданій своего сердца. Онъ долженъ быть совершенство и нѣжность, предъ нимъ всѣ преклоняются, онъ герой на сценѣ“.

Между тѣмъ, Остроуховъ нисколько не идеалистъ—и въ людей онъ не вѣритъ, не вѣритъ даже въ Любскую. Робко

и нерѣшительно говорить онъ ей, что Мечиславскій въ нее влюбленъ,—и когда показалось ему, что Любская этимъ оскорбилась, онъ готовъ проклинать себя за опрометчивое слово.

— „Я, дуракъ, вовсе не думалъ, что говорилъ, прости, ну прости. И онъ съ искренностью протянулъ руку. Любская подала ему свою.

— *Ну, вотъ люблю, не злющая*,—тихо произнесъ онъ и, сказавъ: прощай, ушелъ въ большомъ волненіи“.

Онъ доволенъ даже и тѣмъ, что Любская не озлилась на него — такъ уже привыкъ онъ къ грязи всего окружающаго!

Любская точно такъ же хорошо очерчена въ романѣ. Она горда и самолюбива. Она готова ѣхать даже къ Калинскому, котораго искательства она отвергла, и ѣдетъ къ нему просить за дочь прачки, съ которой домашнимъ бытомъ познакомились мы въ началѣ третьей части романа, — но при свиданіи съ Калинскимъ, она не можетъ удержаться отъ злой ироніи надъ пожилымъ обожателемъ. Она добра и благородна по натурѣ—не любя Мечиславскаго, она однако рѣшается принимать его, и вооружаетъ этимъ противъ себя всѣхъ театраловъ. Противъ нея и Мечиславскаго составляется заговоръ: они опиканы. Мечиславскій съ горя заболѣваетъ опасно—и въ болѣзни рассказываетъ, что знавалъ въ Петербургѣ дѣвушку, жившую со старикомъ, хотѣлъ на ней жениться, но она говорила: „Нѣтъ, этого нельзя: я васъ не люблю, какъ должна будетъ любить васъ жена“. Вы догадываетесь, что эта дѣвушка — Аня, что она же и Любская.

Зачѣмъ эти мелодраматическіе эффекты? Зачѣмъ ходульность въ характерѣ Мечиславскаго? Зачѣмъ вообще вся эта смѣсь самыхъ обыденныхъ пошлостей или приторнаго идеализма съ очерками смѣлыми, живыми, новыми—съ частностями, изъ которыхъ многія въ полномъ смыслѣ прекрасны—начиная отъ домашняго быта прачки до закулисныхъ сценъ и до горничной Любской, исполненной чувства собственного достоинства и не хотящей служить у Любской,

потому что та принимаетъ Мечиславскаго, — отъ которъ Купріяныча до ласкательствъ, расточаемыхъ актерами Ногтковой.

* * *

*) Романъ, какъ видно, пишется приемами—долженъ быть читаемъ приемами, и разбираемъ такимъ же способомъ. О внутренней связи, о психологической задачѣ авторы не заботятся; произведеніе ихъ весьма удобно можетъ быть начато съ какой угодно части, или прочтено, какъ восточныя рукописи, отъ конца къ началу.

Волею судебъ, замѣняемыхъ въ настоящихъ случаяхъ гг. Станицкимъ и Некрасовымъ—мы перенесены въ деревню Овинищи, и знакомимся съ нѣсколькими новыми героями. Это бы еще ничего, да вотъ бѣда въ чемъ: вмѣсто ловкихъ очерковъ характеровъ, вмѣсто лицъ, взятыхъ изъ дѣйствительной жизни, какія попадались часто въ предшествовавшихъ отдѣлахъ „Мертваго Озера“, показываются безобразныя, странныя фигуры, которыхъ дюжины найдутся въ дюжинныхъ произведеніяхъ гг. Сю, Дюма, Феваля. Значить, наблюдательность авторовъ истощилась, и принужденные прибѣгнуть къ источникамъ изобрѣтенія, они прямо обращаются къ *loci topici*. Замѣтимъ прежде всего, что образъ слагается не изъ однѣхъ только внѣшнихъ чертъ, что напутайте вы сколько угодно этихъ чертъ, возьмите у одного человѣка носъ, у другого глаза, у третьяго руки, у четвертаго походку, привычки и т. д.—выйдетъ—не личность, а составъ, и между тѣмъ, насилуемое воображеніе ничего другого дать не можетъ. Самое легкое дѣло — сочинять такихъ оригиналовъ, которые всѣ состоятъ изъ странныхъ и рѣзкихъ чертъ, не связанныхъ никакимъ внутреннимъ единствомъ, или сцѣпленныхъ чужою мыслію. Процессъ такого рода *творчества* можетъ быть объясненъ весьма легко. Есть, напримѣръ, въ романѣ Сю: „Вѣчный Жидъ“—старикъ Дагоберъ, честный солдатъ, всю жизнь заботящійся о преслѣдуемыхъ судьбою и людьми малюткахъ: отъ чего

*) (А). „Москвитянинъ“ 1851 г., № 9 и 10 (Майская книжка).

же не быть ему и въ сочиняемомъ по рецепту романѣ? Давайте же сочинять сызнова Дагобера, даже двухъ Дагоберовъ, если одного мало. Сочинить же весьма удобно: взять ту же самую моральную основу характера, изобрѣсти странныя привычки, и все, что слѣдуетъ, перенести склеенныя лица въ деревню Овинищи, рассказать ихъ образъ жизни, домашнія занятія, сообщить имъ интересъ посредствомъ какой-нибудь тайны—и вотъ готова шестая часть романа—три съ половиною печатныхъ листа въ новую книжку журнала.

Въ селѣ Овинищахъ живутъ помѣщикъ Алексѣй Алексѣичъ Кирсановъ, да управляющій его Иванъ Софронычъ Понизовкинъ, да староста ихъ Епифанъ Стефановъ—лица, которыя преимущественно заботятся о полномъ удовольствіи проѣзжающихъ, строятъ разныя зданія и красятъ ихъ всеми возможными красками для того, чтобы проѣзжающіе подивились, и чтобы заѣхавшій засѣдатель назвалъ подобный способъ крашенія рококо, — чѣмъ неимовѣрно утѣшаются Алексѣй Алексѣичъ и Иванъ Софронычъ.

„И съ той поры часто, Алексѣй Алексѣичъ, любуясь дивнымъ зданіемъ, или наслаждаясь эффектомъ его на проѣзжающихъ, вдругъ улыбнется, оглянется и выразительно, протяжно произнесетъ:

— Рококо!

И въ ту же минуту, откуда-нибудь изъ амбара, чулана или погреба, послышится въ отвѣтъ ему такой же выразительный мѣрный и счастливый голосъ:

— Рококо!

Но не одними такими только, поистинѣ аркадскими, удовольствіями занимаются Алексѣй Алексѣичъ и Иванъ Софронычъ. У нихъ есть страсть ѣздить въ городъ и покупать все, что увидятъ на торгу или на улицѣ — покупать вещи совершенно излишнія и даже вовсе не годныя—на основаніи двухъ правилъ: „Не пролежитъ мѣста“ и „кому не надо, столько-то дать“. Правда, что бывають иногда въ людяхъ такого рода страсти, правда, что страсть какъ страсть, въ ея отвлеченіи подмѣчена авторами довольно вѣрно, но въ Алексѣѣ Алексѣичѣ и Иванѣ Софронычѣ она обязана своимъ

происхожденіемъ случайной прихоти: мы, читатели, не знаемъ и не видимъ изъ предшествовавшихъ данныхъ психологическаго развитія героевъ, откуда она вышла. Что внѣшнія проявленія такой страсти описаны очень ловко, это доказыается слѣдующею сценою, единственною, съ которою мы намѣрены познакомить отчасти читателей нашего журнала:

„Идетъ ли солдатъ съ бритвами, везутъ ли старую двухспальную кровать, торчитъ ли между старымъ хламомъ упраздненная вывѣска, эстампы ли какіе завидятъ они на прилавкѣ, несетъ ли баба рукавицы, до всего было дѣло нашимъ пріятелямъ,—все торговали и покупали они.

— Эй, тетка! Продажныя что-ли?—спрашивалъ Алексѣй Алексѣичъ, увидавъ бабу съ рукавицами.

— Продажныя, батюшка,—отвѣчала баба, останавливаясь.

— А что просишь?

— Да девять гривенокъ, батюшка.

— Девять гривенъ!—съ ужасомъ восклицалъ Алексѣй Алексѣичъ.

— Девять гривенъ! — повторялъ съ такимъ же ужасомъ Иванъ Софроничъ.

И оба они взглядывали на старуху, какъ на помѣшанную.

— А то какъ-же, кормильцы?—говорила она. — Ужли не стоятъ? Да ты погляди, какой товаръ-то!

И старуха принималась выхвалять рукавицы. Покупатели молча и терпѣливо выслушивали длинную похвальную рѣчь.

— Такъ, такъ,—лишь изрѣдка иронически замѣчалъ Иванъ Софроничъ.

Алексѣй Алексѣичъ, вертя своей тростью и стараясь какъ можно глубже вонзить ее въ землю, казалось, погруженъ былъ въ постороннія мысли, и когда старуха, наконецъ, умолкла, онъ вдругъ совершенно неожиданно спрашивалъ ее:

— А что, тетка, есть на тебѣ крестъ?

Старуха широко раскрывала изумленные глаза, крестилась и произносила:

— Что ты, батюшка? Ужли безъ креста? Православная да безъ креста!

— Ну, такъ какъ же? И не стыдно? Девять гривенъ просить за штуку, которая и половины не стоитъ.

— Что ты, кормилецъ! Ужъ и половины! Да тутъ одного товару на полтину.

— На полтину!—съ ужасомъ восклицалъ Алексѣй Алексѣичъ. — На полтину!—съ такимъ же ужасомъ повторялъ Иванъ Софронычъ“.

Алексѣй Алексѣичъ и Иванъ Софронычъ служили въ одномъ полку и связаны крѣпко солдатской дружбой, свичкой да еще какой-то тайной, о которой они то и дѣло напоминаютъ читателямъ. Они занимаются пересмотромъ разнаго стараго хлама—и долго бы продолжали они утѣшаться такою аркадскою забавою, укрѣпляя себя въ трудахъ утѣшительною мыслию и пропущеніемъ въ горло чижика, т. е. рюмки водки,—если бы не помѣшало имъ появленіе злой жены Ивана Софроныча. Иванъ Софронычъ женился на ней не по собственному побужденію, а частію по волѣ судьбы, частію по внушеніямъ командира, хотѣвшаго непременно женить его, во что бы то ни стало. Федосья Васильевна не всегда, впрочемъ, была злою и больною бабою; въ такое состояніе перешла она изъ сентиментальной перезрѣлой дѣвы. Женитьба Ивана Софроныча и въ особенности первая встрѣча его съ суженою описаны съ чрезвычайною претензіею на оригинальность, не вызывающей, впрочемъ, смѣха, а возбуждающей непріятное чувство, какъ всякая плохая, ученическая карикатура. Вотъ такія-то изобрѣтенія различныхъ странныхъ приключеній относимъ мы къ весьма легкимъ способамъ извѣстной рутинѣ. Пошлый комизмъ, основанный на однѣхъ только ни изъ чего не выведенныхъ странностяхъ,—по нашему мнѣнію, столько же непріятенъ, какъ пошлый мелодраmatизмъ, которымъ отличается все остальное шестой части романа. Алексѣя Алексѣича во всѣхъ его черезъ-чуръ ужъ эксцентрическихъ стремленіяхъ къ покупкамъ останавливаетъ Иванъ Софронычъ напоминаніемъ объ какомъ-то Александрѣ Ѳомичѣ. Оба они отыскиваютъ какого-то Ваню и за этимъ ѣздили даже въ Петербургъ. Но Алексѣй Алексѣичъ, купивши разъ диковинную коляску, которую тотчасъ же по покупкѣ въ ознаменованіе

ея прочности назвалъ желѣзною, — былъ послѣ прогулки на „желѣзной“ притащенъ на носилкахъ, похворалъ, да и отдалъ Богу душу, послѣ многихъ весьма трогательныхъ разговоровъ съ Иваномъ Софронычемъ, который надъ трупомъ его совершенно превратился въ короля Лира надъ трупомъ Корделии. Въ завѣщаніи своемъ покойникъ отказалъ ему платье и разныя вещи, заставивши портного еще задолго прежде передѣлать по мѣркѣ роста и стана Ивана Софроныча, а этого послѣдняго увѣряя, что платье передѣлывается самъ для себя. Наслѣдники, собравшіеся получать послѣ покойника деньги, обманулись въ своихъ ожиданіяхъ: кромѣ распоряженій насчетъ разнаго стараго хлама и дворовыхъ людей, ничего не было въ завѣщаніи.

Вотъ содержаніе шестой части Мертваго озера, вотъ ея лица, если можно назвать лицами эти неполные, блѣдные или фантастическіе очерки. Да! Чуть, было, не забыли, что у Ивана Софроныча есть дочь Настя, которая любитъ его и боится злой матери. Признаемся откровенно, что, прочитавши этотъ отдѣлъ романа, мы начинаемъ сильно подозрѣвать, что запасъ наблюденій авторовъ уже истощился, что начинается уже рутинерскій трудъ, что, наконецъ, скоро появится и само Мертвое Озеро, — и тѣмъ болѣе неприятно намъ подозрѣвать все это, что мы надѣялись такихъ же хорошихъ частностей, съ какими знакомили мы нашихъ читателей, рассматривая содержаніе первыхъ частей. Богъ съ ними, съ этими добродѣтельными деревянными куклами — Иваномъ Софронычемъ и Алексѣемъ Алексѣичемъ, — Богъ съ ними потому, что они явнымъ образомъ существуютъ не сами по себѣ и не сами для себя, а только какъ пружины мелодраматической интриги. Богъ съ ними и съ странными ихъ привычками, до которыхъ никакого дѣла нѣтъ читателю, и съ ихъ тайною, которую такъ наивно навязываютъ они общему вниманію. Мы желали бы съ своей стороны присутствія одной только тайны въ романѣ — тайны творчества, но какъ видится изъ дѣла, должны остаться при тщетномъ желаніи и терпѣливо выносить всевозможныя авторскія шуточки, заимствованныя изъ Вѣчнаго Жида, Мартына Найденыша и другихъ праздныхъ произведеній. Увѣрены только

напередъ, что въ пошломъ искусствѣ придумывать и совокуплять различные эффекты авторы Мертваго Озера далеко отстанутъ отъ своихъ образцовъ, какъ отстали уже отъ нихъ въ „Трехъ странахъ свѣта“.

Изъ „Москвитянина“ за 1851 г.

* * *

*) Привычка безпрестранно нырять въ современныхъ литературныхъ лагунахъ дала мнѣ силы кинуться, зажмуривъ глаза, въ Мертвое Озеро и благополучно проплыть всѣ пятнадцать поприщъ этой мутной, грязной и стоячей воды... Теперь позвольте мнѣ передать вамъ хоть сотую часть впечатлѣній моего труднаго плаванія,— труднаго, въ самомъ дѣлѣ, потому что Озеро и мелко и поросло разными гадкими травами...

Въ одной деревушкѣ живутъ братъ съ сестрою; у нихъ, у cadaго, на воспитаніи по ребенку,—разумѣется, по закону противоположности, у брата — дѣвочка, у сестры — мальчикъ. Вы ужъ улыбаетесь на счетъ мальчика и дѣвочки!.. Ну, право, нынче нѣтъ возможности писать романы; читатели сдѣлались страшно догадливы; съ первыхъ словъ знаютъ, чего имъ ожидать! Конечно, Петруша и Аня полюбили другъ друга — это такъ. Помѣщикъ, у котораго они воспитывались, Федоръ Андреевичъ, замѣтивши эту любовь, ужасно разсердился; онъ былъ въ самой порѣ мужчина, дѣвушкѣ было лѣтъ шестнадцать... Вы опять угадываете, отчего онъ разсердился! Да, онъ влюбленъ въ Аню и хочетъ на ней жениться, — но не женится — ждетъ, пока Петруша вырастетъ. Такъ они живутъ—живутъ, долго и скучно, оттого что ростъ Петруши очень тяжелъ: онъ растетъ не по страницамъ, а по главамъ, такъ что едва въ концѣ второй части вырастаетъ настолько, что Федоръ Андреевичъ можетъ приличнымъ образомъ выпроводить его на Кавказъ и тотчасъ же, видя неизмѣнную рѣшительность Ани выйти за него замужъ, выгоняетъ и ее изъ дому. Аня уѣзжаетъ въ Петербургъ. Тутъ въ нее влюбляется одинъ

провинціальный актеръ и увозить въ провинцію, гдѣ и поставляетъ Аню на театрѣ, а самъ, замученный несчастною и безнадежною любовью, умираетъ, къ величайшему удовольствію читателя, котораго мучилъ своею болѣзнію цѣлыя шесть главъ. Тутъ во время представленія является Федоръ Андреевичъ, подѣ названіемъ *мрачнаго господина*, и видитъ на сценѣ Любскую — театральная фамилія Ани. — „*Мрачный господинъ впился въ нее своими суровыми глазами, и лицо его то покрывалось блѣдностію, то вспыхивало; руки его дрожали, онъ ими протеръ глаза*“. Но Любская исчезла. Она, неизвѣстно отчего, ужасно испугалась Федора Андреича, и скрылась, да не только отъ него, но и отъ читателя, и является только въ третьемъ томѣ, въ четырнадцатой части, черезъ тридцать четыре главы!.. Такой страшный этотъ Федоръ Андреичъ! А, кажется, чего бы трусить! Что онъ могъ бы съ ней сдѣлать въ городѣ, среди людей, съ свободной актрисой, тогда какъ и въ деревнѣ, въ своемъ домѣ, онъ ничего же ей не сдѣлалъ!.. Но пусть себѣ Аня испугалась и скрылась; мы очень рады, что она поторопилась, потому что тѣмъ оканчивается пятая часть, а съ нею и первый томъ.

— Какъ,— скажете вы,— тутъ всѣ происшествія перваго тома? Что же написано въ этихъ пяти частяхъ на 260 страницъ объемистаго размѣра? — Что написано? А натура?.. А анализъ! Э! Тутъ вездѣ такъ и пахнетъ *современностію*! Я еще удивляюсь, какъ такъ мало вышло! Начните-ка описывать хоть одинъ день вашей жизни: сколько разъ вы прошли по комнатѣ, сколько разъ улыбались и какъ: *иронически, язвительно* или *пугливо*, или *любезно*; сколько разъ подходили къ окну, къ столу... Посмотрите, сколько наберется! А тутъ народу куча: и актрисъ, и актеровъ, и кухарокъ ихъ, и прачекъ, кого тутъ нѣтъ! Притомъ же они рыдаютъ и плачутъ взапуски; *хнычутъ* на разные манеры; кухарки, кромѣ того, и *фыркаютъ*!..“ (Далѣе слѣдуютъ выписки изъ романа)...

„Мы пропустимъ второй томъ и раскроемъ третій, въ которомъ является Любская; она встрѣтилась на дорогѣ съ какимъ-то помѣщикомъ и поступила въ гувернантки, учить

его дѣтей по-русски,— авторы сочинили для своей героини небывалое въ Россіи мѣсто,— но ревность помѣщицы выгнала Любскую изъ дому. Вы скажете, хозяйка приревновала ее къ мужу. Совсѣмъ нѣтъ, это была самая кроткая и снисходительная жена; она приревновала ее не къ мужу, а къ господину Тавровскому, красавцу, богачу неимовѣрному. Тавровскій увозить Любскую въ свою деревню, и они живутъ тамъ преспокойно два года. Вдругъ Тавровскій, испугавшись сплетней, уѣзжаетъ за границу, не простившись съ Любской,— ударъ жестокій. Любская съ отчаянія поступаетъ въ актрисы и богато живетъ въ Петербургѣ. Тавровскій возвращается въ столицу, проматывается и потомъ ѣдетъ въ деревню поправлять состояніе, какъ будто въ деревнѣ растутъ миллионы. Тутъ онъ прогуливается на берегу озера, которое называется *Мертвымъ*, оттого что одинъ крестьянинъ, спившись съ кругу, утопилъ въ немъ свою жену. Во время прогулокъ Тавровскій встрѣчаетъ двухъ цыганокъ и влюбляется въ одну изъ нихъ. Озеро начинаетъ разыгрываться:— вотъ будетъ исторія?— Вовсе нѣтъ, цыганки эти не цыганки, а только дочери цыганки, одна изъ нихъ дочь сосѣда Тавровскаго, наслѣдница пятисотъ душъ и одиннадцати миллионовъ денегъ, а другая—ея горничная. Мать этой наслѣдницы бросилась въ Мертвое Озеро, оттого что отецъ ея дочери хотѣлъ жениться. Тутъ, разумѣется, съ обѣихъ сторонъ загораются сердца. Люба — имя наслѣдницы — сватается за Тавровскаго, а тотъ, какъ самый изящный левъ, таскавшійся за всѣми умницами, и любить ее, и не любить, и хочетъ на ней жениться, и не хочетъ, а между тѣмъ уѣзжаетъ въ Петербургъ. Люба за нимъ. Объявлена свадьба. Тутъ Любская является къ невѣстѣ съ разными объясненіями насчетъ Тавровскаго. Люба чуть держится на ногахъ, въ совершенномъ отчаяніи, но такъ какъ тутъ не отчего приходитъ въ отчаяніе, да притомъ же Любская опять является къ ней уже съ извиненіями, то дѣла пошли своимъ порядкомъ; но Любская объяснала Тавровскому извиниться передъ Любой съ условіемъ, чтобы онъ ужиналъ у нея наканунѣ свадьбы. Все устроено злыми людьми такъ, что Люба могла посмотреть въ ще-

лочку на этотъ ужинъ. Конечно все. Она уѣзжаетъ въ деревню. Это бы еще ничего, да Тавровскому сказали, что Люба влюблена въ цыгана, ея молочнаго брата, а надобно замѣтить, что въ этомъ романѣ всѣ герои ужасно послушны, легковѣрны и сговорчивы; слушаются всѣхъ и вѣрятъ всякимъ пустякамъ! Тавровскій тотчасъ летитъ въ деревню, мирится притворно съ невѣстой, назначаетъ день свадьбы и передъ самымъ вѣнчаніемъ уѣзжаетъ за границу, оскорбивъ невѣсту самымъ грубымъ письмомъ. Невѣста приходитъ въ отчаяніе, и отправляется по принадлежности въ Мертвое Озеро. Тавровскій возвращается изъ за границы, живетъ—живетъ и умираетъ такимъ ужаснымъ образомъ, что авторы не взялись описывать его. Видно, смерть послѣдовала не въ натурѣ вещей, въ родѣ донжуановской, а то она была бы описана такимъ же натуральнымъ манеромъ, какъ описана смерть одного Алексѣя Алексѣевича, который умираетъ такъ скучно и такъ длинно, что читатель начинаетъ сомнѣваться насчетъ собственнаго своего благополучія. Что же Любская? — Погодите; дверь отворилась, и въ нее вошелъ пожилой мужчина съ загорѣлымъ лицомъ, съ бѣлыми усами, голубые его глаза были подернуты слезой, и онъ въ волненіи снялъ свою шапку. Одна нога его была короче другой.

— „Вы меня не узнали? — трепещущимъ голосомъ спросилъ посѣтитель.

Любская тревожно впиалась своими смѣлыми глазами въ его лицо. (Еще бы краснѣть въ концѣ такого романа!).

— Аня!—дрожащимъ голосомъ, нетерпѣливо произнесъ онъ.

Любская пронзительно воскликнула „Петруша!“ и упала безъ чувствъ въ его объятія“.

Нечего сказать, въ самую пору явился къ Анѣ Петруша. Послѣ довольно грязной исторіи Ани, уморительно слышать отъ нея:

— „А я... что могу я сказать? Ты сражался съ дикими, а я защищалась противъ соблазновъ общества, въ которое *кинули обстоятельства твою бѣдную* Аню! О, сколько я *выстрадала*, сколько *вынесла*! Но чтобъ жить

честно и не быть никому обязанной, я рѣшилась сдѣлаться актрисой!“ Играть въ карты, жить открыто въ великолѣпной квартирѣ и обирать карманы своихъ поклонниковъ— это необходимо само собою прибавляется къ трогательной рѣчи госпожи Любской.

Черезъ два мѣсяца они обвѣнчались. Аня покупаетъ дорогіе наряды, увѣряя мужа, что они стоятъ только четверть настоящей цѣны, и запираетъ отъ неговодку. Герои, достойные романа въ пятнадцать частей!

Независимо отъ этой исторіи, въ романѣ тянется другая, еще скучнѣе первой. Вотъ она: Алексѣй Алексѣвичъ былъ на войнѣ. Его ротный командиръ умираетъ на полѣ сраженія и проситъ его покорнѣйше, во-первыхъ, сыскать его сына, который или недавно, или вовсе еще не родился; во-вторыхъ, отдать ему значительную сумму денегъ. Алексѣй Алексѣичъ вышелъ въ отставку, поселился въ деревнѣ, ѣздилъ раза два въ Петербургъ искать Ваню — это сынъ ротнаго командира — и померъ. Управлявшій его деревню Иванъ Софронычъ явился въ Петербургъ, потомъ получилъ мѣсто управляющаго въ имѣніи Тавровскаго, потомъ воротился опять въ Петербургъ, потомъ игралъ съ нимъ въ банкъ, прослылъ богачомъ и ужаснымъ скрягой, потомъ поссорился съ Тавровскимъ, потомъ является къ нему одинъ неизвѣстный ему молодой человѣкъ и проситъ у него сорокъ тысячъ рублей, такъ, безъ залога, изъ состраданія. Кто жъ этотъ молодой человѣкъ? Какъ вы думаете?... Это тотъ самый интересный сынъ ротнаго командира!... только не Ваня, а Генрихъ. Онъ приказчикомъ у одного табачнаго фабриканта, посланъ былъ съ деньгами на ярмарку и со всею готовностью дозволилъ себя обобрать тамъ какимъ-то мошенникамъ. Да, мы забыли сказать, что у Тавровскаго есть двоюродный братъ Гриша, а у Ивана Софроныча дочь Настя; остальное, я увѣренъ, вы знаете. Вотъ Иванъ Софронычъ, истратившій часть денегъ, принадлежащихъ Генриху, пришелъ въ совершенное отчаяніе. *„Ни отецъ, ни дочь не ложились въ эту ночь“*. Иванъ Софронычъ объявилъ Гришѣ, что онъ выдастъ за него Настю,—къ чему и прежде не предстояло никакихъ

препятствій, — если онъ достанетъ денегъ. Явились деньги, а какимъ образомъ, объ этомъ очень темно говорится въ романѣ, или, можетъ быть, потемнѣло въ безконечныхъ объясненіяхъ, не помню; только вслѣдствіе сего, Гриша женится на Настѣ, а Генрихъ бѣжитъ стремглавъ къ фабриканту отдать ему деньги, и женится на какой-то Самѣ; да, той самой, которой онъ когда-то помогъ поднять вязанку дровъ.

Вотъ содержаніе двухъ послѣднихъ томовъ или десяти частей романа. По какой же методѣ составились эти томы изъ такихъ скудныхъ данныхъ? Что тутъ мудренаго, помилуйте! съ помощью *натурально-аналитичной* кисти, можно изъ лужи размазывать озеро“... (Слѣдуютъ выписки изъ романа). — „Теперь вы знаете, что такое „Мертвое Озеро“. Неправда ли заглавіе необыкновенно остроумно!.. Натуральные персонажи этого романа двухъ разрядовъ: собственно такъ называемыя лица и, съ позволенія сказать, хари. Лицъ въ этомъ романѣ немного: Тавровский съ теткою, Аня съ Петрушей, Иванъ Софронычъ съ Ваней или Генрихомъ, Гриша съ Настей, Люба съ цыганомъ — вотъ и всѣ; да и примѣты ихъ описаны вовсе не казисто: глаза голубые, носъ посредственный, подбородокъ круглый и только; зато харь цѣлая куча, и нарисованы онѣ самую роскошною, самую эффектно-натуральною кистью“... (Слѣдуютъ выписки изъ романа).

„Вотъ еще что насъ удивило — это страшные пропуски въ романѣ, напримѣръ, какъ поживала Любская съ Тавровскимъ въ его деревнѣ; какъ Федоръ Андреичъ спустилъ съ рукъ свое состояніе — объ этомъ не сказано ни слова, а, вѣдь, не можетъ быть, чтобъ они въ это время не *шагали* по комнатамъ, не улыбались *иронически, язвительно и любезно*. Для подробнаго донесенія обо всемъ этомъ авторамъ слѣдовало пригласить третье лицо, вѣдь, *tres faciunt collegium*! Можно было бы пораскопать эти отмели и, навѣрное, въ „Мертвомъ Озерѣ“ прибавилось бы воды еще частей на пять.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о языкѣ романа; о слогѣ нечего говорить — его нѣтъ въ этомъ *сочиненіи*; тутъ

только слова, соединенныя между собою иногда довольно уродливо; это какая-то канитель изъ подлежащихъ, сказуемыхъ и связокъ, не возбуждающая въ читателѣ никакого движенія, кромѣ зѣвоты... Вотъ вамъ горсть бурмицкихъ зеренъ, которыми пересыпанъ весь чудный романъ: „Онъ ничего не слыхалъ, и оставался въ *задумчивой позѣ*“. „Всѣ присутствующіе *мѣнялись удивленными* взглядами и *пожатіемъ плечъ*, казалось, лилась способность говорить“. „Она оставалась въ *полулежащей позѣ*“. „Онъ тогда разсердился, что былъ вечеръ, а мы теперь пойдемъ утромъ. Да и тебѣ, вѣдь, ужъ двадцать лѣтъ“. „*Туалетъ* Ани *износился*“. „Крупныя слезы, падающія на нихъ (на клочки письма) *припечатывали* ихъ къ столу“. (Новый способъ печатать письма, и очень дешевый). „Пробило съ *громомъ* семь часовъ“. „Я иначе не возьму мѣста, какъ по сосѣдству *васъ*“. „Настасья Андреевна облила руку старухи горькими *нервическими* слезами“. „Она расхаживала по двору съ нѣсколькими *дворовыми лицами*“. „*Тяжелая и подавляющая* тишина *царила* въ комнатахъ“. „Аня, *уткнувшись* въ окно, не переводя дыханія, слушала рѣшеніе своей судьбы“. (Надо замѣтить, что лица „Мертваго Озера“ въ патетическихъ мѣстахъ тотчасъ уткнувъ свою голову куда попало, кто въ книгу, кто въ картину, кто въ фуражку и думаютъ, подобно страусу, что ихъ никто не видитъ!). „Наступили *слезовыя* времена“. „Пушку, отвѣчалъ Иванъ Софроньчъ, ну насчетъ пушки *проштыкнулся*! Да и то еще можетъ и не совѣмъ *проштыкнулся*“... „Ну что *разжюнился*! сказала она мужу“. Но мы предоставляемъ самому читателю поохотиться на „Мертвомъ Озерѣ“ за дичью; мы только предупредимъ его, что тамъ она водится большими стаями; это между-прочимъ показываетъ, что одинъ изъ *сочинителей* въ особенномъ разладѣ со вкусомъ и русскимъ языкомъ...

Но неужели во всемъ этомъ *сочиненіи* нѣтъ ни одной остроты, ни одной новой мысли, ни одного оборота? Да, на 780 страницахъ, хотъ незначай можно бы сказать что-нибудь интересное, промолвиться какъ-нибудь! Нѣтъ, сочиненіе вѣрно своему заглавію: „Мертвое Озеро“ — ни капли живой воды. Притомъ же одинъ изъ авторовъ занятъ жур-

наломъ, вотъ гдѣ надобно остроуміе! Впрочемъ, и въ „Мертвомъ Озерѣ“ водятся остроты, только своего рода... Напр.: „Аня взглянула на цвѣтокъ, понюхала его и немного запачкала себѣ носъ. Петруша залился смѣхомъ и, сорвавъ себѣ лилію, запачкалъ тоже носъ“.

„Иногда Аня оставалась одна съ угрюмымъ Федоромъ Андреевичемъ; тогда она походила на маленькую болонку, запертую въ одну клѣтку со львомъ. Чувствуя инстинктивно громадную силу звѣря, собаченка, однакожь, лаеетъ на него, теревитъ его за гриву, вызывая на бой, а потомъ отъ одного его сердитаго взгляда прячется дрожа въ уголь и визжитъ. Такъ-то и Аня“.

Эта острота заимствована у Зама.

„Съ перваго взгляда низенькую и широкую комнату можно было принять за корабль; веревки были растянуты по всѣмъ направленіямъ, а висѣвшее на нихъ бѣлье показывалось, какъ паруса“.

„— Ты слышала о Деризубовой“.

„— Да, да! ха, ха!“

„Настя отрѣзала ему такой пучокъ своихъ чудесныхъ волосъ, какого не соберешь со всей головы иной петербургской красавицы“.

Впрочемъ, это единственное пожертвованіе, которое сдѣлала Настя своему возлюбленному, а то она обыкновенно отдѣлывалась одними рыданіями.

„— Чего нннн.... ддо? жуя спросилъ ужинающій“.

А вотъ еще острота, схваченная съ натуры. „Напрррррочила! мрачно повторялъ Иванъ Софронъчъ“.

Вотъ вамъ, милостивые государи, самая современная эстетическая критика на самое современное *сочиненіе*... Такъ какъ это образцовое произведеніе современнаго направленія нашей беллетристики—*chef d'oeuvre* натуральной школы—плодъ силы воли и силы фантазіи двухъ равномоощныхъ поэтовъ (извѣстно, что теперь все, что ни производитъ фантазія—поэзія, а владѣтель фантазіи—поэтъ), то, къ сожалѣнію, мы и не знаемъ, кому именно слѣдуетъ приписать всѣ приведенныя нами достоинства „Мертваго

Озера“; но справедливость требует раздѣлить ихъ пополамъ... Поздравляемъ господъ Станицкаго и Некрасова съ благополучнымъ окончаніемъ утомительнаго плаванія.

Изъ „Библіотеки для Чтенія“ за 1852 г.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

*) Стихотворенія г. Некрасова представляютъ совершенный контрастъ со стихотвореніями Огарева; трудно найти стихотворца, который былъ бы меньше поэтъ, чѣмъ Некрасовъ. Но несмотря на это, въ г. Некрасовѣ никакъ нельзя отрицать стихотворческаго таланта. Оттого именно и удивляешься стихотворческому таланту г. Некрасова, что содержаніе его стихотвореній самое непозитическое и часто даже антипозитическое. Читая его стихотворенія, изумляешься, какимъ образомъ авторъ ухитрился вколотить въ стихотворческую форму ultra-прозаическое содержаніе... Но есть у г. Некрасова два стихотворенія, истинно поэтическія: „Когда изъ мрака заблужденья“ и „Если мучимый страстью мятежной“. Стихотвореніе: „Когда изъ мрака заблужденья“ — просто превосходно...

Многимъ очень нравится „Огородникъ“ г. Некрасова. Но „Огородникъ“, равно какъ и „Бду ли ночью по улицъ темной“, производитъ слишкомъ непріятное впечатлѣніе. Ибо въ томъ и другомъ стихотвореніи выражаются ненормальныя, уродливыя явленія жизни, которыхъ должно избѣгать въ поэзіи.—Г. Некрасовъ—талантъ не глубокий и не долговѣчный. Справедливость требуетъ замѣтить, что стихотворенія г. Некрасова совершенно оригинальны: онъ рѣшительно никому не подражаетъ, особенно въ своихъ шуточныхъ произведеніяхъ. Правда, его оригинальность слишкомъ часто переходитъ въ дикость, но, вѣдь, и дикость своего рода оригинальность.

Б. Алмазовъ.

* * *

**) Вѣрные старымъ обычаямъ, невольному уваженію къ

*) Эрастъ Благодраговъ (Б. Н. Алмазовъ). „Москвитининъ“ 1852 г., № 17, т. V, отд. VIII.

**) Ап. Григорьевъ. „Москвитининъ“ 1855 г., № 15 и 16.

стиху, къ мѣрной рѣчи, „къ рѣчи боговъ“—уваженію, которое въ насъ, воспитавшихся на Пушкинѣ, сохранилось, несмотря на пародіи Новаго поэта, не поколебалось отъ стиховъ г. Некрасова и иныхъ; мы начнемъ съ поэзіи и поэтовъ—тѣмъ болѣе, что въ книжкахъ журналовъ стихи стали опять *conditio sine qua non*, въ подражаніе „Москвитяину“, который за нихъ былъ предметомъ насмѣшекъ. Поэтовъ теперь у насъ не мало, и, что всего лучше, не мало поэтовъ истинно даровитыхъ, поэтовъ ученыхъ и поэтовъ самоучекъ; не мало также и стихотворцевъ совсѣмъ бездарныхъ или погубившихъ свой маленькій даръ постояннымъ напряженіемъ, стихотворцевъ опять-таки и ученыхъ и самоучекъ. Въ настоящую минуту мы имѣемъ довольно яркую плеяду лириковъ безспорно даровитыхъ и отличающихся особенностью, своеобразиемъ лиризма, каковы Хомяковъ, Майковъ, Мей, Фетъ, Огаревъ, Павлова, Растопчина, Бергъ, имѣемъ довольно замѣчательные задатки дарованій менѣе яркихъ, но безспорно же призванныхъ, задатки, свидѣтельствуемые многими стихотвореніями, разбросанными по журналамъ, имѣемъ не бездарнаго поэта-самоучку, г. Никитина, хотя его дарованію и придается нѣкоторыми черезъ-чуръ много значенія. Во всякомъ случаѣ мы можемъ утѣшиться пріятными явленіями, отдыхать отъ больничныхъ произведеній г. Некрасова на стихахъ г. Фета, хотя сему послѣднему и должны высказать много упрековъ,—отъ псевдогреческихъ напряженій г. Щербины, къ несчастію, окончательно уже, кажется, изнуринаго свои способности, на литыхъ стихахъ Мея. Однимъ словомъ, въ этой области болѣе, чѣмъ въ другихъ, найдется явленій утѣшительныхъ, свидѣтельствующихъ о неистощимыхъ источникахъ лиризма въ душѣ человѣческой, даже въ нашу эпоху, въ которую чуть-чуть было не заподозрили самой законности лиризма. Время насмѣшекъ надъ лиризмомъ, кажется, миновалось. А время было странное, даже очень странное! Надъ поэзією смѣялись, смѣялись преимущественно надъ всякимъ высшимъ лирическимъ настроеніемъ души, все считая за звонкія фразы; столько же смѣялись надъ молодостью души, надъ кипучестью порывовъ, если

они являлись въ поэтѣ, и бѣда была поэту, въ которомъ эта молодость и свѣжесть сохранились, какъ въ покойномъ Языковѣ, котораго удивительнѣйшія, по стиху или по на-стройству, созданія, какова, напр., сказка „Жарь-Птица“, проходили незамѣченныя или осмѣяныя,—и бѣда была поэту, если кругозоръ его былъ шире и лирическое на-стройство выше, чѣмъ у другихъ, какъ у Хомякова,—и бѣда была поэту, если онъ, художникъ формы, недовольный бѣдностью обычныхъ римоъ, рѣшался на новыя смѣлыя римоы, какъ К. К. Павлова, — и бѣда была, наконецъ, поэту, если онъ высказывалъ русскую думу или рус-ское чувство: дума Берга — надъ Синеусовымъ курга-номъ, это, и по мысли, и по стиху *лѣтописному*, и по стройности отличное стихотвореніе—встрѣчено было смѣ-хомъ,—его трудъ, переводъ пѣсенъ многихъ, если не всѣхъ народовъ, въ началѣ своемъ встрѣченъ былъ опять-таки наглымъ смѣхомъ и по появленіи даже холодными и вмѣ-стѣ ученическими рецензіями. [Бѣда была поэтамъ въ это, теперь уже прошедшее, но недавнее время. Правиломъ по-ставлено было одобрять только такія поэтическія произве-денія, въ которыхъ есть протестъ лермонтовскій, или бо-лѣзненность гейневская, или, наконецъ, извѣстная степень ядовитости. Умъ въ стихотвореніяхъ считался выше таланта: снисходительно смотрѣли, если этотъ умъ являлся совсѣмъ голый, выступай онъ только самъ раздраженный и въ свою очередь раздражающій, и преслѣдовали талантъ, если онъ не допускалъ заднихъ мыслей въ свои вдохновенія: все, однимъ словомъ, что не брало въ руки метлу или другое какое-либо полезное орудіе — клеймилось именемъ римо-плетства. Въ такую эпоху одна искренность была возможна—искренность душевнаго страданія—и одинъ поэтъ только уцѣлѣетъ изъ этой эпохи, Огаревъ. Онъ не кадилъ эпохъ и также не создавалъ эпохи, но онъ по ней пришелся, и не виноватъ, что пришелся: безъ задней мысли облакать онъ въ гармоническіе звуки стоны своего разбитаго сердца—онъ пѣлъ такъ потому, что такъ ему пѣлось. Но другіе усиливались, напрягались такъ пѣть, доходя до самыхъ безобразныхъ крайностей въ этихъ напряженіяхъ, но ни-

когда не встрѣчая увѣщанія мудраго слова, которое могло бы ихъ остановить. Даже люди съ истиннымъ призваніемъ застарѣли въ своихъ недостаткахъ, потому что именно недостаткамъ-то и кадила критика, недостатки-то и поощряла. Другіе, болѣе добросовѣстные, если увидали крайности, въ которыя зашли, отреклись отъ нихъ, но вполне отреклись и отъ своего поэтического призванія, ибо, когда они очнулись, то увидали, что дарованіе у нихъ избаловано, чувство отъ напряженія истощилось, искусство формы было пренебрежено. Вслѣдствіе такой эпохи, требовавшей отъ поэзіи непремѣнно протеста и терпѣвшей поэзію только за протестъ, явился и протестъ за поэзію, протестъ противъ протеста, но протестъ столько же ложный, какъ и то, противъ чего онъ боролся: это былъ протестъ за пластичность въ поэзіи противъ ироніи разочарованія, за красоту противъ безобразія, за формы противъ голаго ума, за природу противъ ядовитаго анализа—но природу онъ принялъ за матерію, въ красотѣ увидаль одно тѣлесное, въ формахъ поклонился только формамъ, и выступилъ не слѣпой, какъ язычество, но надѣвшій на глаза повязку, не спокойно веселый, а неистовствующій, какъ вакханка, не просто талантливый, а причудливо талантливый. Онъ былъ новъ, и на минуту встрѣтилъ сочувствіе, но какъ новость мишурная—онъ палъ жертвою собственнаго напряженія.

Теперь, представьте себѣ поколѣніе, воспитавшееся на такихъ протестахъ—ибо ничего такъ не воспитываетъ молодая душа, какъ произведенія лирическія, легко понимаемая, легко затверживающіяся, легко принимающіяся на почвѣ души,—и вы поймете, почему мы воюемъ съ ожесточеніемъ противъ этихъ протестовъ. Представьте вы себѣ, если вы человѣкъ, котораго эти протесты не касались, дѣвушку, читающую вамъ съ паѳосомъ „Вду-ли ночью по улицѣ темной“, или, съ другой стороны, юношу, который съ восторгомъ повторяетъ:

Я лукаво глядѣлъ на нее,
Говорилъ ей лукавыя рѣчи,
Пожирая глазами ея
Неприкрытыя бѣлыя плечи.

Мы беремъ дѣло не съ нравственной, а только съ эстетической стороны: этими напряженными выраженіями самыхъ крайнихъ и рѣдкихъ скорбей или животненныхъ поползновеній, выраженіями, пренебрегающими стихомъ, языкомъ, или ищущими постоянно формъ поярче, порѣзче, красокъ погуще, — надолго, если не навсегда, подрывается въ душѣ возможность наслажденія истиннымъ, стройнымъ, спокойно изящнымъ. Что, на примѣръ, послѣ того молота, которымъ съ плеча бьетъ чувство г. Некрасовъ въ приведенномъ нами стихотвореніи, въ которомъ совмѣщены всѣ ужасы бѣдности, голода, холода — и совмѣщены съ какимъ то удовольствіемъ, а не по необходимости — что послѣ этого молота подѣйствуетъ на ошеломленную душу? Какъ можетъ, съ другой стороны, понять красоту художественной пластичности Пушкина чувство, притупленное напряженными восторгами?.. Наконецъ, то, что въ геніи Лермонтова было новаго и что не досказалъ рано погибшій геній, доведенное до крайности подражателями, этотъ гордый протестъ, обращенный въ какое то ремесло, эта постоянная ходульность всякаго порыва, эта проницательная холодность отношеній къ жизни, обращенная въ правило, не связанныя ни съ чѣмъ настоящимъ въ натурѣ — приближали къ пониманію истинно-поэтического или отдаляли отъ него, изощряли или портили чувство изящнаго? Вотъ вопросъ, который долженъ былъ задать себѣ всякій изъ насъ, пережившій эту эпоху, болѣе или менѣе отозвавшійся на нее мыслию и чувствомъ и добросовѣстно повѣрившій мыслию и чувствомъ ея требованія. Самъ Лермонтовъ говорилъ:

Нѣтъ, я не Байронъ, я другой
Еще невѣдомый избранникъ,
 Какъ онъ же чуждый міру странникъ,
Но только съ русскою душой.

Еще не знаемъ мы, куда бы вынесла геніальнаго человека его русская душа: во всякомъ случаѣ, онъ не застылъ бы, не окаменѣлъ бы въ этомъ холодномъ и ядовитомъ протестѣ, какъ застыли и окаменѣли въ немъ его послѣдователи. Худшее въ этомъ было то, что окаменяли, отливали въ какое то правило — минуту нравственнаго про-

цесса, и этимъ останавливали дальнѣйшія требованія души: едва ли не хуже еще было то, что усомнились въ жизненности души, въ неистощимости ея требованій и, стало быть, въ неистощимости лиризма. Скажутъ намъ, что мы взглянули на дѣло слишкомъ сурово — но, вѣдь, недавно еще миновалась эта эпоха, недавно еще избалованное чувство тѣшилось изображеніями нравственныхъ и физическихъ язвъ, недавно еще съ восторгомъ читались стихи г. Некрасова. Въ послѣдній разъ говоримъ мы о нихъ и о томъ направленіи, котораго они были несчастнымъ порожденіемъ; послѣднее стихотвореніе г. Некрасова внушаетъ также состраданіе къ этому умирающему направленію, что грѣхъ было бы его тревожить, что тронутые этимъ искренно грустнымъ стихотвореніемъ, мы оставимъ въ покоѣ другія произведенія того же писателя, недавно появившіяся, какъ-то: пѣснопѣніе о ражемъ Ванькѣ, который удавился съ горя, что не укралъ мѣшка денегъ, позабытаго купцомъ у него въ саняхъ, пѣснопѣніе о чиновникѣ, который доводитъ себя до чахотки, трудясь для нарядовъ жены, пѣснопѣніе о матери, оплакивающей сына, и имѣющее претензію на большую ядовитость. Повторяемъ опять, что насъ слишкомъ растрогало слѣдующее стихотвореніе, относящееся лично къ г. Некрасову.

Я сегодня такъ грустно настроенъ,
Такъ усталъ отъ мучительныхъ думъ,
Такъ глубоко, глубоко спокоенъ
Мой больной раздражительный умъ,
Что недугъ, мое сердце гнетущій,
Какъ-то горько меня веселить.
Въ стрѣчу смерти грозящей, идущей
Самъ пошелъ-бы... Но сонъ освѣжить—
Завтра встану и выбѣгу жадно
Въ стрѣчу первому солнца лучу—
Вся душа встрепетнется отъ радно
И мучительно жить захочу.
А недугъ, сокрушающій силы,
Будетъ также и завтра томить,
И о близости темной могилы
Также внятно душѣ говорить.

Всякій укоръ долженъ нѣмѣть передъ видимою безотрадностью такого стихотворенія. Отъ души желаемъ г. Некрасову болѣе спокойнаго настроиства; дай Богъ, чтобъ оно было поворотомъ къ лучшему, къ болѣе спокойному взгляду на жизнь, — чтобы, какъ минута нравственнаго процесса, оно принесло плодъ, — ибо, не находя поэзіи въ стихахъ г. Некрасова, доселѣ напечатанныхъ, кромѣ стихотворенія къ падшей женщинѣ, къ которой съ такою вѣрою въ человѣческую душу онъ обращается, — мы тѣмъ не менѣе не можемъ не видать въ самыхъ напряженіяхъ его натуры — способности мыслить и чувствовать глубоко, стремленій къ добру и правдѣ, и, стало быть, не можемъ не желать искренно, чтобы мучительный нравственный процессъ, котораго несчастнымъ плодомъ были многія антипоэтическія произведенія — разрѣшился болѣе свѣтлымъ и спокойнымъ состояніемъ духа, въ которомъ только и возможна и законна поэтическая дѣятельность *).

Ап. Григорьевъ.

*) Еще см. критич. статьи о Некрасовѣ 50-хъ годовъ въ слѣд. изданіяхъ „Москвитининъ“ 1851 г., т. II, стр. 156, 165 — 168 (о „Бесѣдѣ журналиста съ подписчикомъ“; заглавіе пьесы потомъ измѣнено — въ „Дѣловой Разговоръ“). „Современникъ“ 1856 г., т. 60, стр. 1—12. „Журналъ для дѣтей“ (изд. М. Чистякова) 1858 г., № 3, стр. 39—42 (разборъ стих. „Несжатая Полоса“); то же № 46, стр. 721—726 (разборъ стих. „Школьникъ“); то же 1859 г., № 46, стр. 726—735 (о стихотвор. „За городомъ“). „Сѣверная Пчела“ 1859 г., №№ 237 и 254 (статья А. Надеждина о редакціи „Современника“).

Примѣч. В. Зелинскаго.

КРИТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

1861 г. *)

**) Г. Некрасовъ, какъ поэтъ, давно приобрѣлъ заслуженную любовь русской публики—и первое изданіе его стихотвореній, раскупленное съ неимовѣрною быстротою, доказываетъ это какъ нельзя лучше. Но въ нашей критикѣ произведенія даровитаго поэта, до сихъ поръ, вызываютъ довольно разнорѣчивые толки. *Чисто-эстетическая* критика къ нему не благоволитъ очевидно, и еще не очень давно г. Аполлонъ Григорьевъ, извѣстный крайнею эксцентричностью своихъ критическихъ взглядовъ, объявилъ, что въ поэзіи Некрасова „чувствуется какая-то сила, но сила грубая и необработанная“. Несомнѣнно, однако же, то, что Некрасовъ открылъ въ нашей поэзіи новую струю, которая ни у кого не пробивалась съ такой полнотою и энергіей, и за это онъ пользуется глубочайшимъ сочувствіемъ критиковъ-публицистовъ по преимуществу. Эта новая струя — есть реальный и социальный элементъ въ его поэзіи. Некрасовъ самъ сказалъ съ замѣчательною положительностью, что стыдно

..... въ годину горя
Красу долинъ, небесъ и моря
И ласку милой воспѣвать!

*) За 1860 г. см. статейку о „Музѣ“ въ „Журналѣ для дѣтей“ (изд. Чистякова).

Примѣч. В. Зелинскаго.

**) А. Пятковский. „Книжный Вѣстникъ“ 1861 г., № 24.

Вслѣдствіе этого, онъ не избралъ подобныхъ предметовъ въ свои исключительныя вдохновенія, хотя, нужно сказать правду, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ отдается естественнымъ порывамъ любви къ женщинѣ и любви къ природѣ (какъ, напр., въ стихотвореніяхъ: „Бду ли ночью по улицѣ темной“, „Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудинкой“, также въ поэмѣ „Саша“) — онъ однимъ стихомъ умѣетъ выразить то, чего не выразилъ бы другой поэтъ въ цѣломъ слезливомъ посланіи. Сочувствія г. Некрасова хорошо опредѣляются въ лучшихъ его произведеніяхъ: „Поэтъ и Гражданинъ“, „Въ больницѣ“, „Несчастные“, „Праздникъ жизни — молодости годы“, „Убогая и Нарядная“, „Пѣсня Еремушки“, „Плачь Дѣтей“, „Въ деревнѣ“, „Муза“, „Коробейники“ и проч., а также въ произведеніяхъ, упомянутыхъ нами выше. Любовь къ ближнимъ, низко стоящимъ на общественной лѣстницѣ, сила гражданского чувства и, наконецъ, замѣчательное чутье природы, быстро схватывающее всѣ ея рельефныя черты, — вотъ что даетъ притягательное свойство поэзіи г. Некрасова. Эти стороны особенно цѣнить въ немъ наше молодое поколѣніе.

А. Пятковскій.

* * *

*) Посмотримъ, какъ смотрѣлъ на свое призваніе самъ поэтъ. Это сдѣлать не трудно: Некрасовъ въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ высказалъ его необыкновенно искренно. Мы не причисляемъ къ этой категоріи извѣстной стихотворной диссертаци: „Поэтъ и Гражданинъ“, которая, къ несчастію, такъ прославилась въ ущербъ другимъ истинно поэтическимъ стихотвореніямъ Некрасова. Мы не считаемъ этой диссертаци взглядомъ поэта на свое призваніе. Въ самомъ дѣлѣ, съ какой стати намъ считать его за взглядъ поэта на самого себя, когда мы знаемъ нѣсколько стихотвореній въ этомъ родѣ, проникнутыхъ истиннымъ чувствомъ. Повторяемъ, намъ пѣса „Поэтъ и Гражданинъ“ представляется въ видѣ стихотворнаго упражненія на заданную те-

*) Дм. Аверкіевъ. „Русскій Инвалидъ“ 1861 г., № 289.

му: „доказать, что поэтъ долженъ быть также гражданиномъ и служить обществу; изложить сіе въ формѣ діалога между поэтомъ и гражданиномъ“. Дѣло, какъ извѣстно, въ томъ, что гражданинъ входитъ къ поэту, который „хандритъ и еле дышитъ“; гражданинъ, какъ и подобаетъ истинному гражданину, начинаетъ его бранить: зачѣмъ, дескать, не пишешь, а лежишь,—„лежать умѣетъ дикій звѣрь?“ Въ самомъ дѣлѣ, что же дѣлать поэту, какъ не писать, и доказательство тоже хорошо. Разговоръ продолжается; наконецъ, гражданинъ восклицаетъ: „проснись: громи пороки смѣло!“ Что-жъ отвѣчаетъ на это поэтъ? Увы! Онъ оплошалъ окончательно; скорѣй въ руки книжку Пушкина и говоритъ: читай, братецъ; гражданинъ принимается и читаетъ извѣстныя четыре строчки: „Не для житейскаго волненья“ и т. д. — Поэтъ по необъяснимымъ для насъ причинамъ приходитъ въ неописанный восторгъ; какъ будто эти строки уполномочиваютъ его ничего не дѣлать. Но всего замѣчательнѣе то, что и гражданинъ раздѣляетъ восторгъ поэта и, пользуясь столь удобнымъ случаемъ, начинаетъ говорить комплименты своему пріятелю. Сознаюсь откровенно, я ничего не понимаю въ этомъ дружескомъ разговорѣ; во-первыхъ, почему гражданинъ обратилъ вниманіе именно на заключительные стихи стихотворенія „Чернь и Поэтъ?“ Отчего этотъ гражданинъ счелъ за лучшее восхвалять своего пріятеля поэта, вмѣсто того, чтобы побранить его за дурной выборъ идеала поэта; онъ могъ бы, напримѣръ, прочесть ему изъ того же Пушкина параллель между поэтомъ и эхомъ; это было бы и короче и проще. Затѣмъ согласитесь, что въ этомъ гражданинѣ нѣтъ никакихъ истинныхъ гражданскихъ доблестей. Что это за восклицаніе, въ родѣ этого:

А что такое гражданинъ?
— Отечества достойный сынъ.

Согласитесь, что въ этомъ опредѣленіи нѣтъ ничего, кромѣ словъ, и поневолѣ вспомнишь слова этого же гражданина:

А третьи..... третьи мудрецы;
Ихъ назначенье—разговоры.

И что это за гражданинъ, который во время грозы

..... молчить и клонить
Покорно голову свою?

и въ заключеніе выдаетъ „за слово правды безпристрастной“
слѣдующую мудрую мысль:

Блаженъ болтающій (?) поэтъ,
И жалокъ гражданинъ безгласный.

Нѣтъ, поэтъ, которому приходится вмѣсто того, чтобы говорить правду, только болтать, — еще жалче безгласнаго гражданина. Последняя тирада поэта лучшее мѣсто въ этой неудавшейся диссертациі въ стихахъ; въ ней есть, по крайней мѣрѣ, хоть какое-нибудь чувство. Въ ней есть даже отвѣтъ на мнѣніе о блаженствѣ болтающаго поэта:

„Бичуя маленькихъ воришекъ
Для удовольствія большихъ,
Дивилъ я дерзостью мальчишекъ
И похвалой гордился ихъ“.

Хотя гордиться, конечно, было нечѣмъ.

Но обратимся къ тѣмъ стихотвореніямъ разбираемаго нами поэта, въ которыхъ выразился его взглядъ на свое призваніе. Такими пьесами мы считаемъ: „Праздникъ жизни— молодости годы“ и „Муза“.

Вотъ что говоритъ поэтъ:

„Если долго сдержанныя муки,
Накипѣвъ, подъ сердце подойдутъ,
Я пишу: приемованные звуки
Нарушаютъ мой обычный трудъ.
Все жъ они не хуже плоской прозы,
И волнуютъ мягкія сердца,
Какъ внезапно хлынувшія слезы съ огорченнаго лица“.

И въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ про свою Музу:

„Въ убогой хижинѣ, предъ дымною лучиной,
Согбенная трудомъ, убитая кручиной,
Она пѣвала мнѣ—и полонъ былъ тоской
И вѣчной жалобой напѣвъ ея простой“.

Было высказано мнѣніе, и не разъ, помнится, что вся поэзія Некрасова беретъ свое начало отъ стихотворенія Пушкина „Хандра“. Признаюсь, мнѣніе это кажется мнѣ очень страннымъ; какъ могло случиться, что минутное болѣзненное настроеніе духа одного человѣка было нормальнымъ для другого? Что за вѣчная хандра? Такая хандра скорѣе бы наскучила и вѣрно не волновала бы мягкія сердца. Правда, что рѣдко, очень рѣдко промелькнетъ радостное чувство въ пѣсняхъ Некрасова, но не во все-же поэзія его лишена свѣтлыхъ и бодрыхъ мотивовъ? Нѣтъ, минутное расположеніе духа не можетъ породить поэта; нѣтъ, вѣрно, есть въ сердцѣ человѣческомъ такая ноющая струнка, которая заставляетъ видѣть во всемъ больше слезъ, чѣмъ радостей; и не только въ наше время, но и тогда, когда сіяетъ такъ жарко и призываемое поэтами „солнце правды“ — и тогда найдется „забытая деревня“, — которой будутъ понятны эти стоны, волнующіе мягкія сердца,

„Какъ внезапно хлынувшія слезы
Съ огорченного лица“.

И въ этомъ-то, по нашему мнѣнію, и заключается гуманное поэзіи Некрасова. Справедливость, однако, заставляетъ прибавить, что подчасъ это чувство является у Некрасова въ нѣсколько шаржированномъ видѣ; такъ, напр., въ одномъ изъ стихотвореній, озаглавленныхъ „На улицѣ“, поэтъ, описывая, какъ Ванька чиститъ украдкою бляхи на своей кляченкѣ, „чтобъ сѣдока промыслить побогаче“, и дама набиваетъ волосы на полуплѣшивой головѣ, восклицаетъ къ нимъ:

„Вы пробуждаете не смѣхъ въ душѣ моей,
Мерещится мнѣ всюду драма“.

Сюда же слѣдуетъ отнести и просьбу объ устройствѣ запятокъ безъ гвоздей; нѣкоторые считаютъ эту тираду за аллегорію отношеній между богатымъ и бѣднымъ; можетъ быть это и правда, но аллегорія выражена, по нашему мнѣнію, не совсѣмъ удачно.

Есть мнѣніе, что талантъ Некрасова началъ въ послѣднее время замѣтно упадать; мнѣ это кажется не совсѣмъ справедливымъ. Дѣйствительно, послѣдняя поэма его „Коробейники“ очень слаба, потому что не могутъ же составить поэмы нѣсколько удачныхъ стиховъ, напр., рассказъ Тихонича о прежнихъ и новыхъ барахъ. Отсутствие интереса рассказа еще болѣе становится замѣтнымъ вслѣдствіе отсутствія характеровъ; поэма, поневолѣ, становится растянutoй; но въ нынѣшнемъ году напечатана пьеса „Крестьянскія Дѣти“, которую можно поставить между лучшими пьесами Некрасова. Дѣло въ томъ, что созданіе характеровъ не можетъ удасться Некрасову, а потому онъ напрасно принимается за поэмы; чувство же должно быть выражено сильно и сжато, иначе неминуема растянутость.

Перечислять всѣ лучшія, по нашему мнѣнію, пьесы, — не стоитъ; во-первыхъ, онѣ давно извѣстны читателю, а во-вторыхъ, о каждой изъ нихъ въ отдѣльности придется повторить то, что мы сказали вообще о пѣсняхъ Некрасова.

Некрасовъ принадлежитъ къ числу тѣхъ поэтовъ, которые нравятся людямъ съ извѣстнымъ характеромъ, и эти люди любятъ своихъ поэтовъ со всею страстью. То же можно сказать и объ отношеніи общества къ Некрасову; значеніе его, безъ сомнѣнія, было гораздо больше лѣтъ 10–12 тому назадъ; тогда появленіе его стихотворенія было чуть ли не праздникомъ; но съ тѣхъ поръ прошло много времени; на насъ пахнуло свѣжимъ вѣтромъ. Но если значеніе Некрасова теперь и не такъ велико, то вспомнимъ, что онъ въ былое время псевдопатріотическихъ увлеченій, которымъ подвергся не одинъ русскій поэтъ, шелъ прямо и остался твердъ въ своихъ убѣжденіяхъ.

Дм. Аверкіевъ.

* * *

*) ...Нѣтъ пощады у судьбы
Тому, чей благородный геній
Сталъ обличителемъ толпы,
Ея страстей и заблужденій.

*) „Отечественныя Записки“ 1861 г., № 12.

Питая ненавистью грудь,
Уста вооруживъ сатирой,
Проходить онъ тернистый путь
Съ своей карающею лирой.
Его преслѣдуютъ хулы:
Онъ ловить звуки одобренья
Не въ сладкомъ ропотѣ хвалы,
А въ дикихъ крикахъ озлобленья.

Истина хотя и горькая, но несправедливая... по крайней мѣрѣ, въ отношеніи къ г. Некрасову. И мы очень рады, что она несправедлива — рады за наше общество, за нашу литературу въ настоящемъ случаѣ и за г. Некрасова, потому что здѣсь говорится о немъ. Гдѣ въ нашей литературѣ, напримѣръ, онъ встрѣтилъ „крики озлобленія“? Какіе кружки общества „преслѣдовали какого-нибудь сатирика хулами“, когда—

И вѣря и не вѣря вновь
Мечтъ высокаго призванья,
Онъ проповѣдовалъ любовь
Враждебнымъ словомъ отрицанья?

Г. Некрасовъ это зналъ, и благо ему, что онъ это зналъ и крѣпко вѣрилъ въ „мечту высокаго призванья“, зналъ, что неправда, будто-бы

... Каждый звукъ его рѣчей
Плодитъ ему враговъ суровыхъ,
И умныхъ и пустыхъ людей,
Равно клеймить его готовыхъ.

Онъ зналъ, что ни умные ни пустые люди не были готовы клеймить у насъ сатириковъ и обличителей, несмотря на всевозможныя дразги, и потому напрасно давалъ волю риторическому лиризму, будто

Со всѣхъ сторонъ его клануть,
И только трупъ его увидя,
Какъ много сдѣлалъ онъ, поймутъ
И какъ любилъ онъ ненавядя!

Кого общество и народъ больше помнятъ: тѣхъ ли, кто за него страдалъ, или тѣхъ, кто эгоистически хлопоталъ только о своей славѣ?—Вопросъ въ нашей жизни и исторіи не только праздный, но и несправедливый. Такого предположенія и дѣлать нельзя.

Блаженъ незлобивый поэтъ,
Въ комъ *мало желчи*, много чувства (?)

.....
Ему сочувствіе въ толпѣ,
Какъ ропотъ волнъ ласкаетъ ухо.
Онъ чуждъ сомнѣній въ себѣ (?)—
Сей пытки творческаго духа;
Любя безпечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Онъ прочно властвуетъ толпой
Съ своей миролюбивой лирой.
Дивясь великому уму,
Его коварно не злословятъ,
И современники ему
При жизни памятникъ готовятъ.

Мы останавливаемся на этомъ стихотвореніи потому, что оно очень характеристично для нашего времени, для нашихъ понятій объ искусствѣ и для нашей поэзіи. Всѣмъ извѣстно, что современники Пушкина именно тогда отъ него отвернулись, когда онъ сдѣлался спокоенъ и бросилъ „желчь“, замѣнивъ ее чувствомъ. Слѣдовательно, нужно было бы сказать наоборотъ: справедливость отдали Пушкину не современники, а потомство.

„Блаженъ незлобивый поэтъ...“ Но гдѣ и кто изъ нашихъ поэтовъ былъ незлобивъ? Гоголь, Лермонтовъ, Грибоѣдовъ? Нѣтъ. — Слѣдовательно, Пушкинъ? Повидимому, такъ думаетъ г. Некрасовъ. Онъ любилъ безпечность и покой? Онъ властвовалъ толпой?...

Что нужно для того, чтобы властвовать толпой? Нужна всегда истинная поэзія? И развѣ не бываетъ такихъ эпохъ, когда желчь замѣняетъ чувство, и „современники“ готовятъ памятники не поэтамъ, а желчнымъ стихотворцамъ при жизни ихъ?

Сколько вопросовъ! И не считайте эти вопросы празд-

ными. Они наши вопросы, вчерашніе и сегодняшніе. Пушкинъ жаловался на толпу—г. Некрасовъ жалуется на толпу; Пушкинъ жаловался, что толпа не понимаетъ искусства,—г. Некрасовъ жалуется, что толпа понимаетъ только искусство; Пушкинъ требовалъ чувства—г. Некрасовъ требуетъ желчи... Какое странное потемнѣніе и въ такой короткій періодъ времени! Здѣсь что-нибудь да не такъ. Понятія спутались, мы не понимаемъ сами себя и начинаемъ говорить загадки.

Однакожъ, наши загадки будутъ продолжаться на тему только-что выписаннаго нами стихотворенія. Въ немъ цѣлый трактатъ о поэзіи, трактатъ новый, не провѣренный критикой и основанный на новыхъ началахъ—желчи. Начала эти, какъ и стихотворенія г. Некрасова, успѣли утвердиться въ нашей литературѣ, помимо критики, минуя ея привязчивыя требованія, и одною силою обстоятельствъ, силою напора ихъ.—Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ до настоящаго времени оцѣнка таланта г. Некрасова? Ея нѣтъ. Раздавались изрѣдка въ литературѣ похвальные отзывы о немъ, на него возлагались надежды; „современники“, нисколько не сконфуженные стихомъ г. Некрасова, что „заживо готовятся памятники только незлобивымъ поэтамъ“, говорили: „если бы да не обстоятельства, мы имѣли бы случай видѣть нашего истиннаго поэта“, и эти скромные отзывы „современниковъ“ о своемъ поэтѣ замѣняли все: критику, похвалу, скромность и намеки. Другіе, приведенные въ негодованіе намеками, старались отнять всякія достоинства у г. Некрасова. Мы не будемъ дѣлать ни того ни другого, а съ благодарностью возьмемъ то, что онъ предлагаетъ намъ прекраснаго, и укажемъ на то, что, по нашему мнѣнію, есть произведеніе одной желчи—новаго принципа въ поэзіи, котораго мы не признаемъ (мы старовѣры и признаемъ „чувство“), или что составляетъ сухой перечень „хорошихъ мыслей“, по мнѣнію современниковъ, но по нашему мнѣнію, не одно и то же, что поэзія.

По нашему мнѣнію, въ стихахъ г. Некрасова много дорогого для каждаго русскаго, кто пятнадцать лѣтъ, день-за-день, переживалъ и трудные и улыбавшіеся дни нашей

пестрой жизни. Чего-чего мы не видѣли въ эти пятнадцать лѣтъ, чего не переживали, какихъ надеждъ не хоронили!

Я молодъ, молодъ былъ тогда,
Лукаво жизнь впередъ манила,
Какъ моря вольныя струи,
Ласково любовь сулила
Мнѣ блага лучшія свои...

говорить г. Некрасовъ. Съ тѣхъ поръ многое перемѣнилось:

Склонила муза ликъ печальный
И, тихо зарыдавъ, ушла...

Но, перечитывая два тома стихотвореній г. Некрасова, замѣнившіе одинъ томъ, изданный въ 1856 году, мы вновь остановились на тѣхъ прекрасныхъ, свѣжихъ произведеніяхъ, въ которыхъ еще желчь не вступала въ права чувства и обличеніе—въ права искусства“. (Приводится стихотвореніе: „Что ты жадно глядишь на дорогу“...)...

Если не ошибаемся, стихотвореніе это относится къ первымъ, полнымъ свѣжести произведеніямъ г. Некрасова и напоминаетъ намъ времена „Петербургскаго Сборника“ или начала „Современника“ 1847 года, когда еще Бѣлинскій правилъ русской литературой. Ему посвящено, такъ намъ кажется, стихотвореніе:

„Наивная и страстная душа,
Въ комъ помыслы прекрасные кипѣли,
Упорствуя, волнуясь и спѣша,
Ты честно шелъ къ одной высокой цѣли“ и т. д.

Это горькое, но правдивое, хотя нѣсколько и прозаическое стихотвореніе, многимъ покажется невѣроятнымъ. Какъ могли относиться къ Бѣлинскому стихи:

„И о тебѣ не скажетъ ничего своимъ потомкамъ вътрее племѣ...“ „Затеряна давно твоя могила, и память благодарная друзей дороги къ ней не проторила“. А между тѣмъ они вполне справедливы... были. Да, были, и, къ счастью, теперь нельзя уже повторить:

И о тебѣ не скажетъ ничего
Своимъ потомкамъ вѣтреное племя.

Но когда были напечатаны впервые эти стихи—до 1856 года—имя Бѣлинскаго *ни одного разу* со времени его смерти не было напечатано на страницахъ ни одного журнала. Кромѣ непріятной статьи г. Шевырева, появившейся тотчасъ послѣ смерти Бѣлинскаго въ „Москвитянинѣ“, да статьи Булгарина въ „Сѣверной Пчелѣ“, въ томъ же тонѣ, литература, сочувствовавшая Бѣлинскому, вынуждена была молчать... Темная завѣса надолго пала на нашу жизнь. Въ этой темнотѣ ничего не было видно; безъ свѣта и жизнь была бесплодна, и всѣ силы тратились на то, чтобъ поддержать хоть подъ пепломъ священный огонь. Наступила пустота въ жизни.—

Ахъ! пѣснію моею прощальной
Та пѣсня первая была!
Склонила муза ликъ печальный
И, тихо зарыдавъ, ушла.
Съ тѣхъ поръ не часты были встрѣчи;
Украдкой, блѣдная, придетъ
И шепчетъ пламенные рѣчи,
И пѣсни гордыя поетъ;
Зоветь то въ города, то въ степи,
Завѣтнымъ умысломъ полна.
Но...

Но въ это время пѣсенъ не слышно было, хотѣлъ сказать г. Некрасовъ. Однако-жъ, въ этотъ промежутокъ, обнимающій большую половину перваго тома стихотвореній г. Некрасова, было написано много стиховъ. Мы останавливаемся съ любовью надъ тремя: „Въ деревнѣ“, „Несжатая Полоса“ и „Забятая Деревня“ — три поэтическія картины, волновавшія въ то время наше сердце и до сихъ поръ памятныя намъ... Онѣ стоятъ въ параллели съ тогдашнимъ направленіемъ всей нашей литературы, сдѣлавшей крестьянскій бытъ главнымъ мотивомъ своихъ произведеній, подъ вліяніемъ „Записокъ Охотника“ г. Тургенева. То было время, когда литература въ первый разъ съ *чуждой* точки

рѣнія взглянула на этотъ бытъ. И этотъ-то гуманный взглядъ, явившійся въ поэтическихъ очертаніяхъ г. Тургенева, увлекъ всю литературу. Ему послѣдовалъ и г. Некрасовъ“. (Приводятся стихотворенія: „Въ деревнѣ“, „Несжатая Полоса“ и „Забытая Деревня“).

„Это былъ лучшій мотивъ тогдашней поэзіи, свѣжій, молодой и полный силъ. Онъ впервые явился въ поэтическихъ очертаніяхъ „Записокъ Охотника“, хотя и прежде появлялся у г. Григоровича, но какъ-то насильственно, заучено, на французскій складъ. Г. Тургеневъ, съ свойственною ему способностью самыми легкими очертаніями лицъ и природы указывать на глубокія поэтическія черты крестьянскаго быта, имѣлъ вліяніе въ этомъ отношеніи и на элегическій (замѣтьте, не сатирический) тонъ этихъ произведеній. А такъ какъ г. Некрасовъ рѣшительно не художникъ, а только *лирикъ* тамъ, гдѣ онъ можетъ совладать со стихомъ,—то понятно, какую важную роль долженъ былъ играть для лирическаго поэта другой талантъ, сумѣвшій освѣтить картину истиннымъ, нефальшивымъ свѣтомъ. Вліяніе это подтверждается еще слѣдующимъ.

Мы помнимъ появленіе Рудина, этого послѣдняго изъ могикановъ той западной образованности, которая такъ много принесла намъ общихъ взглядовъ, человѣческихъ чувствъ, борьбы за гуманныя стремленія, отвлеченную любовь къ добру и родинѣ.

Этотъ мотивъ, такой сильный у насъ со временъ Пушкина, подъ перомъ г. Тургенева получившій, какъ извѣстно, новый колоритъ, нашелъ себѣ откликъ и въ г. Некрасовѣ. Мы помнимъ появленіе его поэмы „Саша“ вслѣдъ за „Рудинимъ“ и наше пріятное изумленіе, когда мы въ этой поэмѣ нашли того же Рудина, только переложеннаго въ стихи. Читатель, конечно, помнитъ, кто такой Рудинъ, и потому въ характеристику его вдаваться здѣсь не станемъ. Сходство между нимъ и Агаринимъ до того сильно, что даже выразилось не только въ общихъ чертахъ, но и въ мелочахъ. Такъ, напр., Рудинъ хорошо и много говоритъ; Агаринъ, дѣйствующее лицо въ поэмѣ г. Некрасова, тоже хорошо и много говоритъ. Рудинъ уменъ, образованъ, го-

ворить цвѣтисто, но ни на какое дѣло не способенъ; Агаринъ тоже:

Это не бѣсъ, искуситель людской,
Это, увь!—современный герой,
Книги читаетъ да по свѣту рыщеть—
Дѣла себѣ исполинскаго ищеть,
Благо наслѣдье богатыхъ отцовъ
Освободило отъ малыхъ трудовъ,
Благо итти по дорогѣ избитой
Лѣнь помѣшала да разумъ развитый.

Г. Тургеневъ говоритъ о Рудинѣ, какъ о человѣкѣ, который, однако-жъ, сѣялъ доброе сѣмя,—и г. Некрасовъ то же говоритъ о своемъ Агаринѣ. Такъ, когда героиня поэмы, Саша, испугавшись желчныхъ рѣчей Агарина, отказалась отъ него, г. Некрасовъ говоритъ:

Благо теперь догадалась она,
Что отдаваться ему не должна,
А остальное все сдѣлаетъ время...
Сѣть онъ все-таки доброе сѣмя!..
Знайте и вѣрьте, друзья: благодатна
Всякая буря душѣ молодой—
Зрѣть и крѣпнеть душа подъ грозой.
Чѣмъ неутѣшишь дитяtko ваше,
Тѣмъ встрепенется свѣтлѣе и краше!
Въ добрую почву упало зерно—
Пышнымъ плодомъ отродится оно!

Не правда ли, читатель, все мотивы знакомые и нѣкогда постоянные въ нашей литературѣ? Сходство поэмы г. Некрасова и романа г. Тургенева такъ велико, что даже мелочи поэмы напоминаютъ романъ, прежде прочитанный. Умъ Рудина сильно дѣйствуетъ на развитіе Наташи — умъ Агарина почти такъ же дѣйствуетъ на Сашу; оба заставляютъ героиню влюбиться въ себя, оба ихъ бросаютъ. Даже объясненіе въ любви происходитъ одинаково въ обоихъ произведеніяхъ... Такъ талантъ г. Тургенева въ то время вполне покорялъ г. Некрасова, и это лучше всего выразилось въ превосходномъ началѣ поэмы. Оно нисколько не гармонируетъ съ другимъ мотивомъ произведеній г. Некрасова“. (Критикъ приводитъ начало поэмы „Саша“)...

„Время шло, мѣнялись обстоятельства, настала война...

Когда надъ Русью безмятежной
Возсталъ немолчный скрипъ телѣжный,
Печальный, какъ народный стонъ:
Русь поднялась со всѣхъ сторонъ,
Все, что имѣла, отдавала
И на защиту высылала
Со всѣхъ проселочныхъ путей
Своихъ покорныхъ сыновей.
Войска водили офицеры,
Гремѣлъ походный барабанъ,
Скакали бѣшено курьеры;
За караваномъ караванъ
Тянулся къ мѣсту ярой битвы—
Свозили хлѣбъ, сгоняли скотъ.
Проклятыя, стоны и молитвы
Стояли въ воздухѣ...

Со всѣмъ тѣмъ наше общество встрепелось и почуяло какъ-будто что-то новое. Когда мы геройствовали, собирали арміи и ополченія, еще болѣе собирали забытыя воспоминанія о бранной славѣ двѣнадцатаго года, и многіе, даже очень многіе поэты и прозаики пустились въ воинственные пѣсни псевдо-народнаго содержания—г. Некрасовъ написалъ слѣдующее маленькое стихотвореніе, которое намъ нравилось болѣе всѣхъ воинственныхъ стиховъ:

Внимая ужасамъ войны,
При каждой новой жертвѣ боя
Мнѣ жаль не друга, не жены,
Мнѣ жаль не самого героя...
Увы! утѣшится жена
И друга лучшій другъ забудетъ;
Но гдѣ-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будетъ!
Средь лицемѣрныхъ нашихъ дѣлъ
И всякой пошлости и прозы
Одинъ я въ мірѣ подсмотрѣлъ
Святыя, искреннія слезы—
То слезы бѣдныхъ матерей!
Имъ не забыть своихъ дѣтей,
Погибшихъ на кровавой нивѣ,
Какъ не поднять плакучей ивѣ
Своихъ поникнувшихъ вѣтвей...

Наконецъ, еще больше приближаясь къ нашему времени, когда послѣ войны все, казалось, заговорило и зашевелилось, когда столица наша начала ораторствовать и появились надежды — въ это время, въ 1858 году, г. Некрасовъ написалъ слѣдующее превосходное стихотвореніе:

Въ столицахъ шумъ, гремятъ вити,
Кипитъ словесная война,
А тамъ, во глубинѣ Россіи—
Тамъ вѣковая тишина.
Лишь вѣтеръ не даетъ покою
Вершинамъ придорожныхъ ивъ,
И выгибаются дугою,
Цѣлуясь съ матерью землею,
Колосья безконечныхъ нивъ.

Мы остановимся здѣсь, потому что во многихъ другихъ стихахъ г. Некрасова не видимъ уже той тѣсной связи между жизнью и поэзіей, которая составляетъ лучшую принадлежность всякаго поэта; не видимъ дружнаго сочетанія двухъ необходимыхъ элементовъ, и преобладаніе одного, желчнаго, становится все выпуклѣе и выпуклѣе. Но намъ пріятно было вспомнить, вмѣстѣ съ стихотвореніями г. Некрасова, и то недавнее, но безвозвратно ушедшее время, въ которомъ мы многому уже не вѣримъ, такъ оно было безобразно въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ.

Рядомъ съ стихотвореніями, о которыхъ мы упоминали выше и которыя безспорно принадлежать къ лучшимъ изъ всего того, что было написано въ послѣднее время, рядомъ съ этими стихотвореніями у г. Некрасова постоянно шли такія, которыя никакъ не хотѣлось бы приписать автору „Несжатой Полосы“, „Забытой Деревни“. Лица, казалось бы, тѣ же, обстановка та же—а, между тѣмъ, стихотворенія эти возмущали насъ клеветой на русскаго человѣка, поддѣлкой подъ русскую рѣчь. Долго мы были въ недоумѣніи, пока „Пѣсня Еремушки“ не разъяснила намъ сущности дѣла не показала, что мы не совсѣмъ хорошо понимали нѣкоторыя стихотворенія г. Некрасова. Отсюда для насъ сдѣлалсѣ, уже самъ собою понятенъ и еще одинъ недостатокъ—частая *поучительность* стихотвореній. Поучительность — дѣло по-

лезное, какъ всякій урокъ, но мы не хорошо понимаемъ, какъ уроки можно задавать стихами. Оказывается, что это можно дѣлать при нѣкоторыхъ условіяхъ. Но къ поучительности стиховъ мы еще вернемся, а теперь перейдемъ къ разъясненію того недоумѣнія, о которомъ сказали выше.

Любовь къ простому народу, казалось бы, такая неподдѣльная, какъ мы ее видимъ въ „Забытой Деревнѣ“, полная той *элегической* силы, которая кладетъ на нее поэтический колоритъ, но не той *сатирической*, ѣдкой, холодной любви, которая высиживается *умомъ* безъ участія сердца,—эта любовь къ народу, казалось бы, есть господствующій мотивъ стихотвореній г. Некрасова. Вотъ почему, безъ всякаго сомнѣнія, имъ сочувствуютъ и что даетъ имъ право на уваженіе. Этой стороною объясняется и рѣзкая сатира на классы бездѣйствующихъ, живущіе на счетъ бѣдняка, унижающіе его, помыкающіе имъ. Мотивъ этотъ до того простъ, до того обнаженъ въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ, что сомнѣваться въ немъ, казалось бы, нѣтъ никакой возможности. Тѣмъ лучше для автора, тѣмъ легче для критика. Однако-жъ, мы хотѣли бы согласить съ этимъ мотивомъ, съ этою любовью къ народу тѣ странные облики простонародья, которые передъ нами будутъ слѣдовать одинъ за другимъ“. (Приводятся стихотворенія: „Въ дорогѣ“, „Извозчикъ“, — послѣднее, по мнѣнію критика, одно изъ самыхъ плохихъ и по стиху и по идеѣ). „Что хотѣлъ сказать г. Некрасовъ, продолжаетъ критикъ по поводу стихотворенія „Извозчикъ“, объ этомъ простомъ народѣ, который съ досады, что не укралъ чужихъ денегъ, повѣситься готовъ? Вѣдь, другого смысла тутъ не прищете. Подобное отношеніе къ народу, на ряду съ филантропіей, составляетъ тотъ неразрѣшимый для насъ контрастъ, который какъ-то больно рѣжетъ глаза въ стихотвореніяхъ г. Некрасова“.

По поводу стихотворенія:

— Такъ служба! самъ ты въ той войнѣ
Дрался—тебѣ и книги въ руки,
и т. д...

критикъ говорить: „И эта исторія разсказывается развязнымъ, шутливымъ голосомъ, какъ „Гусарь“ Пушкина разсказывалъ о чертовщинѣ на Лысой Горѣ, въ Кіевѣ, приговаривая: „а мы видали виды“! Есть разница въ сюжетѣ и есть отбѣнки народнаго характера и въ томъ и въ другомъ стихотвореніи. Развязно разсказывать эту ужасающую картину 1812 г., разсказать въ томъ смыслѣ, что убить „эту гадину“—француза намъ ничего не стоитъ... что это такое? Были ужасающія сцены 1812 года, мы ихъ знаемъ, но онѣ были слѣдствіемъ неслыханнаго опустошенія цѣлаго края, ужасающей нищеты, холода, голода и войны,—сцены, подобныя сценамъ голода, описаннымъ Байрономъ... Но эти сцены у Байрона понятны. Онѣ наступаютъ въ то время, когда и разсудокъ помутится, и чувство исчезнетъ въ человѣкѣ, тѣ немногія страшныя минуты, которыя рѣдко достается переживать человѣчеству... Г. Некрасовъ все это устранилъ, и такимъ образомъ звѣрство русскаго мужика вышло на-голо, какъ неслыханное чудовище природы, которое только приводитъ въ ужасъ“.

Приводя стихотвореніе „Вино“, критикъ говорить: „Какое представленіе останется у васъ объ этомъ знаменитомъ русскомъ молодцѣ, который, наперекоръ всѣмъ народнымъ пѣснямъ, способенъ только *не дѣлать подвиговъ*?... Ужъ если г. Некрасову такъ мало извѣстенъ русскій бытъ, мы бы для этого посовѣтовали познакомиться хотя съ волжскими разбойничьими пѣснями: можетъ-быть, онѣ перемѣнили бы нѣсколько его неутѣшительное понятіе объ апатіи русскаго человѣка. Не забывайте, что онъ вездѣ хочетъ совладать съ чертою русскаго народнаго характера, а, между-тѣмъ, видитъ въ этомъ характерѣ одну грубую сторону, однѣ отрицательныя его черты. Почему же такъ упрямо ему не даются положительныя стороны? Вѣдь, народъ совсѣмъ не то, что, напримѣръ, приказные, обязанные всѣмъ своимъ существованіемъ современно-условному порядку вещей, административному распоряженію, начальнической волѣ; народъ не есть что-то виѣшнее, которое такъ легко убивается обличительной литературой, если только эта литература способна кого-нибудь убить. Корни его глубже и сущность его обширнѣе.

Вотъ, гдѣ эта сущность? Пусть покажетъ ее намъ г. Некрасовъ. Только, вѣдь, прямое отношеніе къ ней, пониманіе ея и изображеніе ея въ истинномъ свѣтѣ даетъ намъ поэзію; всякое другое отношеніе ложно, потому что оно односторонне, исключительно.

Чувствовалъ это очень часто г. Некрасовъ, и старался взглянуть глубже на предметъ взглядомъ художника; но тогда передъ нимъ вырастали новыя недоумѣнія...“ (Для примѣра критикъ приводитъ стихотвореніе „Власъ“). „Литература наша, продолжаетъ критикъ, съ легкой руки Евгенія Онѣгина и сна Татьяны, безпрестанно возилась съ видѣніями. Ни одинъ поэтъ не могъ избѣгнуть этой чепухи; напротивъ, каждый считалъ своею обязанностью гдѣ-нибудь вклеить сновидѣніе. Г. Некрасовъ попытался тоже представить видѣніе... но уже сообразно требованію времени, въ народномъ духѣ. И коснулся онъ въ этомъ видѣніи одного изъ важнѣйшихъ вопросовъ жизни. Здѣсь говорится о будущемъ, о томъ страшномъ будущемъ, о которомъ равно думали и философы и простые люди. Но это будущее каждый рѣшаетъ по своему. Неужто же въ воображеніи русскаго человѣка совмѣщаются „вѣдьмы-егозы“, „крокодилы“, „скорпіи“, какой-то тигръ шестикрылатъ, грѣшники, нанизанные на шестъ, лижущіе полъ... и т. д. Конечно, если набирать въ стихъ все, что придетъ въ голову, то отчего жъ не составить видѣніе и изъ такихъ представленій! Но если поэтическое представленіе должно имѣть смыслъ (а мы полагаемъ, что дѣйствительно должно имѣть смыслъ, если самъ авторъ не безъ цѣли сочиняетъ), то выборъ картины долженъ быть, во-первыхъ, русскимъ, а во-вторыхъ, осмысливающимъ народное преданіе. Неужели же это представленіе Власа о грѣшникахъ — русское? неужели оно осмысливаетъ народныя вѣрованія? Какой смыслъ, спрашиваемъ cadaго, находить г. Некрасовъ въ немъ? Чтѣ за этимъ наборомъ словъ читаете вы въ душѣ русскаго мужика? ничего! А между тѣмъ, вѣдь, оно написано для насъ, и отнюдь не для Власа и ему подобныхъ.

Не обходите такъ легко съ народными вѣрованіями, не позволяйте себѣ сочинять ихъ: они важнѣе, нежели вы

объ нихъ думаете. Вы считаете ихъ бредомъ, глупостью, и позволяете себѣ, не зная ихъ, сочинять, что угодно. Не такъ думали истинные поэты. Весь Дантовъ „Адъ“ созданъ на подобныхъ вѣрованіяхъ. А въ жизни того лица, которое вы сдѣлали предметомъ вашего разсказа, они, эти вѣрованія, играютъ первостепенную роль; они измѣнили всю его жизнь, весь характеръ; онъ бросилъ все, сталъ нищенствовать и собирать на построеніе храма. И такую-то душевную драму г. Некрасовъ мотивируетъ подобнымъ наборомъ словъ!...

На ту-же тему, какъ и Власъ, то-есть, не исключительно сатирическую, обличительную, но на поэтическую, въ которой авторъ, какъ *художникъ*, старался выразить положительную сторону русскаго міра, сочувственную — г. Некрасовымъ въ послѣднее время написано еще нѣсколько другихъ стихотвореній. Но результатъ вездѣ одинъ и тотъ же. Вотъ, напримѣръ, „Крестьянскія Дѣти“, стихотвореніе, написанное въ 1861 г., слѣдовательно, одно изъ послѣднихъ. Въ немъ авторъ хотѣлъ выразить свое сочувствіе не къ дѣтямъ вообще, а именно къ *крестьянскимъ* дѣтямъ; старался кистью *художника* дать поэтическія краски этой беззавѣтной порѣ крестьянина, когда на свободѣ развивается его душа, его чувство и воображеніе, подстрекаемое разсказами прохожихъ, преданьями старины, уцѣлѣвшими въ разсказахъ стариковъ, повѣрьями народными и самою жизнію на деревенскомъ просторѣ, въ лѣсу, въ полѣ... Задача великая, которую уже пытались выполнить другіе наши авторы, по отношенію къ дѣтству людей образованныхъ. И потому мы уже имѣемъ отъ С. Т. Аксакова и гр. Толстого прелестные, поэтическіе разсказы въ этомъ родѣ. Г. Некрасовъ задумалъ написать нѣчто подобное по отношенію къ *крестьянскимъ* дѣтямъ. Онъ не остановился передъ трудностью задачи, да и зачѣмъ останавливаться, когда предметъ кажется такъ простъ!...“ (Приводится стихотвореніе „Крестьянскія Дѣти“ съ подробными комментаріями). „Скучно и длинно, заключаетъ критикъ разборъ этого стихотворенія, знакомить читателя съ этою безсвязною придуманною повѣстью, въ которой на каждомъ шагу видишь желаніе передать поэзію того, чего не знаетъ авторъ, или чему не сочувствуетъ. Любовь къ

дѣлу выражается не общими мѣстами и фразами, не банальными разсужденіями, а самымъ мелочнымъ, подробнымъ описаніемъ. Что любишь—то дорого, и ни малѣйшая черта любимаго предмета никогда не ускользаетъ. Чего не любишь или прикидываешься, что любишь, тамъ должно торопиться скорѣй въ разсужденіяхъ. Такъ дѣлаетъ и г. Некрасовъ. И хорошо дѣлаетъ. Тамъ, по крайней мѣрѣ, языкъ готовъ, риемы заучены и потому послушны, филантропія выработана учеными книгами и журнальными статейками—слѣдовательно, нечего опасаться, что ошибаешься въ краскѣ, не доскажешь того, что другіе сказали. Такимъ образомъ, въ этомъ же самомъ стихотвореніи, мысль, выраженная просто какъ мораль изъ прописи, гораздо сноснѣе для чтенія.

Однако же, зависть въ дворянскомъ дитяти

Посѣять намъ было бы жаль.

И такъ, обернуть мы обязаны кстати

Другой стороною медалъ.

Положимъ, крестьянскій ребенокъ свободно

Растетъ, не учась ничему,

Но вырастетъ онъ, если Богу угодно,

А сгибнуть ничто не мѣшаетъ ему.

Положимъ, онъ знаетъ лѣсныя дорожки,

Гарцуетъ верхомъ, не боится воды,

За то безпощадно ѣдятъ его мошки,

За то ему рано знакомы труды...

Такъ проще и лучше, г. Некрасовъ! Не беритесь за то, что требуетъ, кромѣ мозгового раздраженія, еще и... ничтожной вещи — любви, неподдѣльной любви и художническаго таланта, а не вычитанной изъ хорошихъ, впрочемъ, книгъ и, можетъ быть, случайной въ вашихъ произведеніяхъ. Доказательствомъ можетъ служить то же стихотвореніе. Въ немъ есть удавшаяся вамъ картинка мальчика, въ отцовской одеждѣ, везущаго дрова изъ лѣсу. Но посмотрите, какъ нейдетъ къ этой картинкѣ ваша хорошая мораль, какъ она плаваетъ поверху этой картинки, точно масло надъ водой...

Такъ не даются поэтическія картины тому, кто съ одною напередъ заданною цѣлію подходитъ къ нимъ. Что-нибудь

одно: или преднамѣренная идея, которую вы силою навязываете быту, или любовь къ нему, которая создаетъ неуловимыя отношенія ко всему окружающему, доступны одному поэту. На этомъ пробномъ оселкѣ вы можете лучше всякихъ фразъ пробовать и силу таланта и искренность чувства. Посмотрите, какую картину создало одно мозговое раздраженіе — невольно еще хотимъ привести одинъ примѣръ — что въ ней русскаго: гдѣ языкъ народный? гдѣ хоть одинъ удачный стихъ? гдѣ, наконецъ, разговоръ, хоть сколько-нибудь рисующій бытъ—не говоримъ уже поэтический? Посмотрите на „Знахарку“, это уродливое произведение, превосходящее даже „Деревенскія Новости“ своею слабостью въ литературномъ отношеніи. А между тѣмъ г. Некрасовъ очень ѣдко хотѣлъ подтрунить надъ невѣжествомъ крестьянина (приводится самое стихотвореніе)... Къ чему это написано и что это такое? Что за смыслъ? Что за народность? А, вѣдь, авторъ имѣлъ претензію въ эпическомъ, спокойномъ разсказѣ нарисовать сцену ворожбы.. Молодые гадаютъ о своей судьбѣ, а имъ колдунья сулитъ „пузыречекъ съ чертенятами“—истинно гоголевскій юморъ! И какая прелесть простого разсказа, отрывчатаго до того, что даже русскій не пойметъ, въ чемъ дѣло... Вотъ какъ казнится насмѣшка надъ народнымъ бытомъ! Тутъ всякій юморъ, всякая сатира показываетъ только одно безсиліе автора, который и хотѣлъ бы унижить то, что ему непріятно, да не дается въ руки! Это ужасная казнь, которая всегда должна слѣдовать за неправильнымъ отношеніемъ къ предмету. Выходитъ безобразіе, вмѣсто сатиры, и падаетъ всею тяжестью на самого автора. Какъ ложь въ наукѣ, происходящая отъ софизмовъ, уничтожается доказательствами, основанными на фактахъ, такъ въ искусствѣ поэтическая истина сама за себя мститъ за свое униженіе тѣмъ, что не даетъ автору истинныхъ красокъ, прячетъ предметъ отъ глазъ его. И отчего у того же самаго автора, когда онъ подходитъ къ другому предмету, къ предмету, которымъ онъ любуется безъ желчи теоретика, а съ любовью русскаго, вдругъ являются яркія картины, стихъ дѣлается плавенъ, чувство выходитъ изъ общихъ фразъ и

замѣняетъ ихъ живыми красками? За примѣромъ недалеко ходить; вотъ воспоминаніе одного изъ „Несчастливыхъ“ этой же Россіи:

„Его плѣняло солнце юга:
Тамъ море ласково шумить“... (и т. д.

кончая стихомъ: „Вокругъ уснувшихъ деревень“...).

„Въ другомъ мѣстѣ“, продолжаетъ критикъ, „говоря о нашихъ городахъ, онъ разомъ схватываетъ ихъ жизнь слѣдующими тремя превосходными стихами:

Тамъ время тянется сонливо,
Какъ самодѣльная расшива
По тихой Волгѣ въ лѣтній день...

Или вотъ еще одна маленькая, поэтическая картинка нашей деревенской природы:

.....Ямщикъ свиститъ
И выѣзжаетъ на приволье
Луговъ... родной, любимый видъ!
Тамъ зелень ярче изумруда,
Нѣжнѣ шелковыхъ ковровъ,
И какъ серебряныя блюда
На ровной скатерти луговъ
Стоять озера...

Скажите: отчего эти стихи такъ удаются г. Некрасову, что не вѣришь, будто онъ написалъ „Знахарку“, „Власа“, „Крестьянскихъ Дѣтей?“ Что за тайна?..

Намъ бы слѣдовало теперь разсказать поэму „Коробейники“. Но что же она намъ докажетъ новаго? Опять ту же самую истину, которую мы уже вывели и изъ „Власа“, и изъ „Крестьянскихъ Дѣтей:“ стоитъ ли повторять одинъ разъ доказанное? А если кого не убѣдили до сихъ поръ наши слова, того, конечно, они не убѣдятъ, если мы даже передадимъ точно такъ-же неудавшееся стихотвореніе, гдѣ опять авторъ пытался создать что-нибудь положительное. Ничего не удалось! И это черта весьма неутѣшительная для поэта, который „ненавидитъ любя“, у котораго подъ сатирой кроются слезы. Что же любить онъ, когда

положительныя краски такъ трудно даются ему?—Онъ любить абстрактъ народа, а не самый народъ.

Мы полагаемъ, что „Коробейники“ для того только и напечатаны, чтобъ придѣлать къ нимъ то замысловатое посвященіе, которое, конечно, очень многихъ прельститъ, какъ выраженіе истинно-народныхъ чувствъ автора. Но насъ и оно не обманываетъ. Они блестящи только своимъ заглавіемъ: „Другу-пріятелю *Гаврилъ Яковлевичу* (крестьянину деревни Шоды, Костромской губерніи)“.

Знаете ли, почему мы и это посвященіе считаемъ внѣшнимъ лоскомъ и не вѣримъ ему? Многое бы могли сказать здѣсь... очень многое. Конечно, не съ точки зрѣнія какого-нибудь аристократическаго клуба повели бы мы наши разсужденія о русскомъ крестьянинѣ—мы мало знаемъ эту точку зрѣнія, и предоставляемъ съ этой стороны обсуживать вопросъ людямъ болѣе компетентнымъ; мы вамъ скажемъ—съ вашей же точки, народной: какъ это вы въ такомъ прекрасномъ посвященіи не нашли ничего лучшаго сказать русскому крестьянину, кромѣ слѣдующихъ словъ:

Какъ съ тобою я похаживалъ
По болотинамъ вдвоемъ,
Ты меня по-часту спрашивалъ:
Что строчишь карандашомъ?
Почитай-ка! Не прославиться,
Угодить тебѣ хочу.
Буду радъ, коли понравится,
Не понравится—с молчу.
Не побрезгуй на подарочкѣ!
А увидимся опять,
Выпьемъ мы по доброй чарочкѣ
И отправимся стрѣлять.

А, вѣдь, эти слова очень характерны—для „посвященія!“

Далѣе, приведя стихотвореніе „Пѣснь Еремушкѣ“, критикъ говорить: „Что это такое?“ Повторимъ еще разъ. Нельзя достаточно налюбоваться на слѣдующіе стихи, обращенные къ простому народу:

Въ насъ подъ кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человѣческой
Плодотворное зерно.

Мы не вѣримъ собственнымъ глазамъ, не вѣримъ, чтобъ эти стихи могли выйти изъ-подъ пера, посвятившаго своихъ „Коробейниковъ“ одному изъ народа, изъ-подъ пера писателя, будто бы „ненавидящаго любя“! Какъ же мы повѣримъ слѣдующимъ словамъ, сказаннымъ тѣмъ же г. Некрасовымъ:

„Во многомъ насъ
Опередили иноземцы,
Но мы догонимъ въ добрый часъ!
Лишь Богъ помогъ бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольнѣй—
Покажетъ Русь, что есть въ ней люди,
Что есть грядущее у ней.
Она не знаетъ середины—
Черна—куда ни погляди!
Но не проѣлъ до сердцевины
Ея порокъ. Въ ея груди
Бѣжитъ потокъ живой и чистый
Еще нѣмыхъ народныхъ силъ;
Такъ подъ корою Сибири льдистой
Золотоносныхъ много жилъ“...

Какъ въ 1856 году еще могъ написать послѣднее стихотвореніе г. Некрасовъ, а въ 1859 году онъ уже говорилъ, что „въ насъ нѣтъ ни одного человѣческаго зерна?“ Играли словъ въ томъ и другомъ случаѣ, теорія ли тутъ виновата? Будь же проклята та теорія — скажемъ мы, перефразируя стихи г. Некрасова — теорія, которая изъ-за тумана отвлеченныхъ представленій не видитъ жизни и въ жизни нашего народа не видитъ ни одного плодотворнаго зерна! Она любитъ не народъ, а свои абстрактныя идеи, любитъ—себя. Было время, когда этакой стихъ не возмущалъ читателя; было время той слѣпоты, когда мы считали плодотворными только сѣмена, посѣянные людьми во фракахъ и мундирахъ, но эта слѣпота срѣзана давно, какъ наростъ, какъ бѣльмо; было время нашего безостановочнаго коверканія передъ народомъ, нашего ученаго и литературнаго самодурства передъ массой, съ изумленіемъ глядѣвшей на этихъ коверкавшихся господъ, выводившихъ свои пѣсни на разные лады, выкидывавшихъ штуки на разные манеры; но время это безвозвратно ушло...

Баю-баюшки-баю...

Это напомнило намъ другую колыбельную пѣсню г. Некрасова былыхъ временъ — такъ мы называемъ ее потому, что она написана лѣтъ пятнадцать назадъ и нѣкогда очень нравилась. А въ эти пятнадцать лѣтъ много воды утекло! Ту, прежнюю колыбельную пѣсню, мы не находимъ уже въ этомъ собраніи сочиненій — и очень рады за г. Некрасова, если онъ ее выбросилъ. Тамъ тоже мать, убаюкивая своего сына, пѣла:

Будешь ты чиновникъ съ виду
 И подлецъ душой,
Провожать тебя я выду—
 И махну рукой!
Въ день привыкнешь ты картинно
 Шею гнуть свою
Спи *постръль*, пока невинный!
 Баюшки-баю.

Тогда, мы помнимъ, эта колыбельная пѣсня, пародія на всѣми повторяемую пѣсню Лермонтова — ужасно нравилась. Мы тогда, какъ и четыре года назадъ, были въ горячкѣ, и преслѣдовали мелкихъ взяточниковъ, плутишекъ, и литература наша гордо высила голову, наказавъ квартального N, или секретаря земскаго суда NN. Мы тогда были отчаянные прогрессисты, и аплодировали г. Некрасову за ту безобразную пѣсню, гдѣ мать называетъ малютку „подлецомъ“... нѣтъ, не называетъ, а съ удовольствіемъ пророчить ему это блестящее положеніе. Но времена немного перемѣнились: бѣдные чиновники оказались совсѣмъ не такъ виновными, какъ думала тогдашняя прогрессивная литература, человѣческое чувство вступило въ свои права — и отшатнулось съ презрѣніемъ отъ этой тупой ненависти, простительной человѣку неопытному, но не извинительной гуманисту, какъ тогда себя мы величали.

Теперь г. Некрасовъ, въ „Пѣснѣ Еремушкѣ“, нашелъ нужнымъ возобновить забытый мотивъ, и приложилъ его не къ чиновнику — времена перемѣнились — а къ бѣдному крестьянину! Только одна холодная, чисто-разсудочная мысль,

которой до другихъ отпращеній души нѣтъ дѣла, для которой чувство есть помѣха напередъ сдѣланному заключенію о народѣ, какъ грубая обстановка есть тоже помѣха филантропической идеѣ — только такая мысль, готовая расширить свои крылья въ кабинетѣ и сжаться въ иронію, когда передъ нею предстанетъ жизнь — только такая мысль можетъ сама себя успокаивать отвлеченными разсужденіями...

Во второй половинѣ своей „Пѣсни Еремушкѣ“ г. Некрасовъ высказываетъ общія идеи своихъ стихотвореній; идеи эти для нашего времени безупречны. Но этого намъ мало. Если г. Некрасовъ будетъ излагать свои мысли въ стихахъ, то онѣ будутъ забыты. Для этого существуетъ проза. Намъ нужно видѣть эти мысли въ жизни народа олицетворенными, намъ нужно видѣть не одну любовь къ идеѣ, но и въ жизни къ тому, что носитъ эту идею. Тамъ же, гдѣ мы ее искали, какъ въ „Крестьянскихъ Дѣтяхъ“, въ „Коробейникахъ“, въ „Власѣ“, „Знахаркѣ“, тамъ мы находимъ одно черствое изученіе этой жизни, однѣ поверхностныя краски, и, наконецъ, высказанное о ней сужденіе такого рода, что въ ней нѣтъ ни одного *человѣческаго* зерна! Какъ же воспѣвать то, въ чемъ нѣтъ и зерна *человѣческаго*!.. Охъ, загубило насъ фразерство въ прозѣ, губитъ оно насъ и въ стихахъ! Губитъ тѣмъ, что не позволяетъ всмотрѣться въ жизнь — низко-де очень, ниже нашего умственного уровня; загубило тѣмъ, что изгнало любовь изъ всѣхъ поръ нашей души и замѣнило ее чваннымъ разсужденіемъ. А что сдѣлаешь въ поэзіи съ самыми лучшими разсужденіями, когда они только отталкиваютъ такъ называемыхъ поэтовъ отъ грубой дѣйствительности? загубило тѣмъ, что заставило видѣть въ русскомъ народѣ одну мерзость и запустѣніе, такую мерзость, которая не мирится ни съ какою филантропическою иностранною книжкою: мы любимъ-моль абстрактъ народа, идею, а не самый народъ. Загубило еще тѣмъ, что фразерству трудно сдѣлать шагъ въ жизнь дѣйствительную отъ фразы; всѣ это чувствуютъ, и никто не можетъ перешагнуть этой бездны. Загубило тѣмъ, что приучило къ фейерверку фразъ, который особенно неносенъ въ стихахъ, ибо тамъ онъ такъ же остается

фразой, какъ и въ прозѣ, да, сверхъ того, занимаетъ непринадлежащее ему мѣсто — поэзіи. Много нужно смиренія будущему таланту, если онъ захочетъ быть поэтомъ: нужно отбросить въ сторону весь блескъ общихъ мѣстъ и дешевой филантропіи — и изучать жизнь, любить ее, и то только писать, что навѣваетъ эта любовь... То будетъ любовь не чиновницы, которая убаюкиваетъ своего сына названіемъ подлеца; то будетъ не любовь няни, которая учить дитя кланяться, ничего не дѣлать и только играть съ дѣвками — то будетъ иная любовь... Она подмѣтитъ въ народѣ черты, которыхъ мы съ вами, г. Некрасовъ, не знаемъ, и на ея пѣсню отзовется восторгомъ... не наша братья, писатели, а самъ народъ. Тотъ, кто это скажетъ народу, будетъ и самъ любимъ народомъ.

Послѣ всего сказаннаго выше, никому не покажется страннымъ, что нѣкоторые мотивы стихотвореній г. Некрасова, казалось бы, чисто-русскіе, навѣянные жизнію, на самомъ дѣлѣ навѣяны книгой, чтеніемъ другихъ поэтовъ. Въ этихъ случаяхъ г. Некрасову принадлежитъ честь окончательной отдѣлки и во многихъ случаяхъ превосходной. Такимъ образомъ поэма Крабба „Приходскіе Списки“ дала тему одной изъ лучшихъ пьесъ г. Некрасова: „Забытая Деревня“. Изъ описанія Крабба забытаго деревенскаго дома у г. Некрасова вышло превосходное стихотвореніе, такъ начинающееся:

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лѣсу попросила...

Г. Некрасовъ, оставивъ въ сторонѣ описаніе заброшеннаго господскаго дома — описаніе такое поэтическое въ стихѣ Крабба, по отзыву англійскаго критика Джеффри, переданное нами въ подстрочномъ переводѣ г. Дружинина — оставивъ въ сторонѣ это описаніе дома, г. Некрасовъ всю силу описанія обратилъ на распоряженія бурмистра — и нельзя сказать, чтобы отъ этого стихотвореніе не выиграло...“ Далѣе критикъ приводитъ отрывокъ изъ той-же поэмы Крабба, передѣланный, по его словамъ, въ стихотвореніе, подъ названіемъ „Свадьба“.

Свой обширный критическій этюдъ критикъ заключаетъ слѣдующимъ выводомъ:

„Мы собрали факты изъ воспоминаній и изъ книжки г. Некрасова, чтобы показать, что у него постоянно идутъ, или, лучше сказать, шли до послѣдняго времени, рядомъ два направленія: одно, въ которомъ есть и непосредственное чувство, и одушевленіе, и поэзія, и лиризмъ — остатокъ прежняго поэтическаго мотива, прежней поэтической теоріи. Здѣсь онъ дѣлается поэтомъ, на сколько теорія, проникнутая симпатіей къ народу, можетъ сдѣлать поэтомъ чело-вѣка, не имѣющаго художческаго таланта. Тутъ у него есть и сила негодованія и теплота увлеченія. Но рядомъ съ этимъ направленіемъ у него идетъ другое, въ которомъ господствуетъ теорія, мертвая, холодная — и грустнѣе всего, несправедливая. Вторая теорія служитъ уже абстракту народа, а не народу.

Эта теорія, состоящая вся изъ одного отрицанія, прежде всего, не есть какая-либо новостъ въ нашей литературѣ. Мы уже пережили одно отрицаніе — самое безотрадное, отрицаніе Гоголя, временъ „Мертвыхъ Душъ“ и стихотвореній Лермонтова. То было отрицаніе до такой степени безпощадное, что не вѣрится теперь. Если хотѣли что-нибудь побранить — называли русскимъ; даже слово „русскій“ не говорили, а *россъйскій*. Славянинъ — было браннымъ словомъ, и это отчаянное, ожесточенное отношеніе ко всему своему вызвало и развило больше всего славянофильство. Пусть не думаютъ, чтобы гоголевское или лермонтовское отрицаніе было мелко — нѣтъ, оно захватывало всѣ стороны, только оно не выражалось такъ обнаженно, сухо, въ голыхъ сентенціяхъ, какъ, напр., у г. Некрасова. Таланты Гоголя и Лермонтова облекали безпощадное отрицаніе блестящими, въ высшей степени поэтическими формами.

Но въ первую пору отрицанія — и это нужно замѣтить особенно — великіе отрицатели, каковы Гоголь и Лермонтовъ, обращались преимущественно къ тогдашнему нашему образованному, чиновному, высшему классу — и поэтому были правы. Духъ времени быстро перенесъ поэтическіе замыслы на иную арену — крестьяннинъ и работникъ сдѣла-

лись героями, и имъ-то посвятилъ свое сочувствіе „поэтъ абстракта“. Что же вышло у г. Некрасова! Онъ бросилъ камень въ того, кого защищаетъ теорія! Вы, г. Некрасовъ, мѣтили не туда, куда попали; и любовь къ народу осталась у васъ знаменемъ, за которымъ не слѣдуетъ никакого народа. Вы ополчились на то, что защищаете — гдѣ же выходъ?

Это со стороны идеи отрицанія г. Некрасова. Со стороны же формы намъ не нужно будетъ много доказывать, что желчь и произведенія ея, холодныя, разсудочныя—не поэзія. Стихи г. Некрасова то же обличеніе, которое мы видимъ и въ нашей прозаической литературѣ. Въ этомъ отношеніи г. Некрасовъ стоитъ ниже Щедрина и Печерскаго, потому что ихъ сатира одѣта въ формы рассказовъ; въ нихъ выведены лица, лица эти имѣютъ характеры, подъ ногами у нихъ есть почва—и обличительный разгулъ ихъ авторовъ имѣетъ дѣло съ дѣйствительностію.

Поэзія — не сатира; сатира есть одинъ изъ элементовъ поэзія, одна изъ сторонъ ея. Сатирикъ не видитъ въ мірѣ ничего, кромѣ ошибки, пустоты, ничтожества — а кто скажетъ, что въ обществѣ, которое бичуетъ сатирикъ, ничего нѣтъ? Если въ немъ дѣйствительно ничего нѣтъ, то изъ ничего и не рождается ничего. Вотъ на основаніи какихъ причинъ умъ никогда вполне не довѣряетъ сатирику. Умъ ищетъ для себя будущности и не находитъ отвѣта у сатирика. Отъ этого сатирикъ, обличитель, нравятся только въ то время, когда и общество одинаково съ ними раздражено, когда сатирикъ удовлетворяетъ чувству минутнаго настроенія. Пройдетъ это настроеніе—и сатира утрачиваетъ все.

А между тѣмъ у г. Некрасова есть свой особенный пріемъ въ стихѣ, есть сила, ему одному свойственная; онъ былъ бы способенъ обнимать шире предметъ, не одною стороною разсудка, но и чувства... Это намъ говорятъ многія изъ стихотвореній, выше нами указанныхъ. Слѣдовательно, у Некрасова есть задатки того, чего требуетъ истинная поэзія. Тамъ, напр., гдѣ онъ находится подъ вліяніемъ г. Тургенева, тамъ, гдѣ онъ описываетъ не *крестьянъ*, а русскую природу, которой сочувствуетъ, тамъ, наконецъ, гдѣ обще-

ственная пошлость вызываетъ у него непосредственное чувство негодованія, — тамъ и стихъ его дѣлается поэтичнѣе; тамъ же, гдѣ онъ, взявъ себѣ въ руководители только теорію, смотритъ на общество изъ-за параграфовъ книгъ, какъ въ „Еремущкѣ“, тамъ онъ доходитъ до результатовъ, невообразимо-противорѣчащихъ ему же самому, такъ что изъ нихъ и выхода нѣтъ. Съ другой стороны, плохой тотъ поэтъ, у котораго истины науки читаются въ стихахъ, какъ въ учебникѣ. Надѣмся, это доказывать не нужно. Какимъ же образомъ писатель, который имѣетъ за собою лѣтъ двадцать литературной дѣятельности и, слѣдовательно, не принадлежитъ къ тѣмъ юношамъ, которые пишутъ диссертациі въ стихахъ; [писатель, который съ лѣтами долженъ дѣлаться требовательнѣе въ художественномъ отношеніи, какимъ образомъ онъ можетъ дойти до этихъ результатовъ? Что это — упадокъ творчества или статьи въ стихахъ, писанныя для журнала, въ угоду массѣ?

Г. Некрасовъ постоянно затрогиваетъ предметъ, дорогой каждому — и въ этомъ его сила и все достоинство. Онъ больше, нежели кто другой изъ нашихъ поэтовъ, носить въ себѣ зачатки того лиризма, которому какъ-будто суждено жить въ будущемъ и на который указалъ намъ первый Кольцовъ. Г. Некрасовъ дѣйствуетъ въ духѣ времени, старается уловить поэзію, идетъ какъ-будто по слѣдамъ ея — и не можетъ догнать. Его „Коробейники“, его „Крестьянскія Дѣти“ говорятъ намъ, что предметъ, полный жизни, гдѣ-то близко, вотъ чуть-чуть, и онъ бы нашелъ его... А между тѣмъ нѣтъ! Да, нѣтъ того поэтическаго элемента, котораго ищетъ г. Некрасовъ. То онъ съ озлобленіемъ набрасывается на этотъ предметъ и говоритъ, что въ немъ нѣтъ „ни одного человѣческаго зерна“, то въ другомъ мѣстѣ говоритъ, что въ народѣ кроются великія, таинственныя силы, а какія силы — никто ихъ не видитъ, и г. Некрасовъ не предчувствуетъ ихъ, какъ поэтъ. Вотъ это дурно... не въ насъ ли самихъ лежитъ причина того, что мы не видимъ хорошо окружающій міръ? Давно бы пора спросить это у себя самого, и тогда, можетъ быть, много излишнихъ проклятій окажется въ нашемъ негодованіи! — Вотъ

вопросъ, о который суждено было разбиться таланту г. Некрасова тамъ, гдѣ онъ хотѣлъ быть поэтомъ, а не обличителемъ только. Что дѣлать? Участь эту долженъ раздѣлить г. Некрасовъ со многими, поэтами и непоэтами, учеными и литераторами нашего времени... Есть поэты съ міросозерцаніемъ широкимъ и узкимъ. Это не подлежитъ сомнѣнію. Многіе, вѣроятно, думаютъ, что г. Некрасовъ принадлежитъ къ первымъ. Онъ всего касается: политическихъ вопросовъ, общественныхъ сторонъ жизни, народа и его вѣрованій, интимныхъ сторонъ сердца человѣческаго. Чего въ самомъ дѣлѣ шире?—Но если вы вслушаетесь въ тонъ этихъ широкихъ взглядовъ, то увидите, что онъ очень монотоненъ. Отрицаніе, отрицаніе и отрицаніе — вотъ его девизъ на всякомъ пути, точно журнальныя статьи, заданныя какимъ-нибудь узенькимъ направленіемъ. Девизъ легкій и доступный каждому! Онъ не требуетъ ровно никакихъ разсужденій и міросозерцанія, точно такъ же, какъ безразличная похвала всему существующему — тоже очень легка. Міросозерцаніе старое, сороковыхъ годовъ, и мы его не назовемъ широкимъ. Въ наше время гораздо труднѣе отличить годное отъ негоднаго, а между тѣмъ въ этой-то трудности и состоитъ задача и политическихъ наукъ и философіи. Поэзія, какъ высшее чутье народа, должна намъ помогать тамъ, гдѣ наука колеблется при помощи одного холоднаго ума. Поэзія должна своимъ сочувствіемъ согрѣть тѣ блестящіе огоньки, которые поднимаются въ наше время надъ безконечнымъ пространствомъ нашей жизни. Въ этомъ отношеніи поэтъ будетъ и передовой человѣкъ... *)

Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1861 г.

* * *

Выписавъ стихотвореніе:

Праздникъ жизни, молодости годы—
Я убилъ подъ тяжестью труда,
(и т. д....)

критикъ „Русскаго Слова“ говорить:

*) Разборъ этой критики А. Григорьевымъ см. даѣе (1862 г.).

*) „Эти шесть куплетовъ Некрасова превосходно опредѣляютъ значеніе всей его поэтической дѣятельности и въ то же время служатъ великолѣпнымъ образчикомъ этой дѣятельности. Некрасовъ говоритъ о себѣ совершенно справедливо, что онъ не ищетъ образовъ для выраженія явленной дѣйствительности, не вырабатываетъ для нихъ изящной формы, а просто выливаетъ въ своихъ стихотвореніяхъ то настроеніе, которое вызвали въ душѣ эти явленія: слезы — такъ слезы, желчь — такъ желчь, сарказмъ — такъ сарказмъ. Нашъ поэтъ понимаетъ самого себя, не обманывается на свой счетъ; онъ чувствуетъ, что его сила состоитъ не въ яркости образовъ, не въ отдѣлкѣ подробностей, не въ пѣвучести стиха, а въ искренности чувства, въ глубинѣ страданія, въ неподдѣльности стона и слезъ. — Приведенное мною стихотвореніе представляетъ собою слово поэта о самомъ себѣ; смыслъ этого слова вѣренъ; тонъ, которымъ произнесено это слово, гармонируетъ съ тономъ всей некрасовской поэзіи; сурово относится Некрасовъ къ явленіямъ жизни; сурово и нерадостно смотритъ онъ и на собственную дѣятельность; но эта суровость не имѣетъ ничего общаго съ великопостною суровостью какого-нибудь аскета-пуританина; это не та суровость, которая во имя узкой идеи выжимаетъ изъ жизни сокъ и систематически давить всякую радость; это, напротивъ, естественная, печальная, задумчивая, порою желчно-раздражительная серьезность человѣка, много страдавшаго на своемъ вѣку, смотрѣвшаго съ непритворнымъ участіемъ на страданія другихъ, дошедшаго до невольнаго отвращенія къ причинѣ своихъ и чужихъ страданій и совершенно потерявшаго ребяческую способность и малодушную потребность замуривать глаза и утѣшать себя и публику фантастическими надеждами. Истинная любовь всегда правдива, всегда безпощадна, всегда старается видѣть свой предметъ, какъ онъ есть, и никогда не боится тѣхъ тяжелыхъ ощущеній, которыя можетъ вызвать созерцаніе неподкрашенной дѣйствительности. Такая любовь живымъ и чистымъ ключомъ бьетъ въ стихотвореніяхъ Некрасова.

*) „Русское Слово“ 1861 г., № 11.

Онъ проповѣдуетъ любовь
Враждебнымъ словомъ отрицанья,
И каждый звукъ его рѣчей
Плодитъ ему враговъ суровыхъ,
И умныхъ и пустыхъ людей,
Равно клеймить его готовыхъ.
Со всѣхъ сторонъ его клануть,
И только трупъ его увидя,
Какъ много сдѣлалъ онъ, поймутъ,
И какъ любилъ онъ ненавидя.

Некрасовъ только въ одномъ отношеніи ошибается насчетъ самого себя; онъ, смотря на свою дѣятельность самымъ трезвымъ взглядомъ, оцѣниваетъ самого себя ниже своего достоинства; онъ считаетъ себя сатирикомъ, но этого слишкомъ мало; обличать пороки окружающаго общества можетъ всякій, кто достаточно развилъ въ себѣ нравственное чувство, или вѣрнѣе, силу простого здравого смысла, чтобы стать выше уровня массы и отличать бѣлое отъ чернаго; и Персій обличалъ пороки римскаго общества, и Кантеміръ обличалъ, и Буало обличалъ; но ни Персій, ни Кантеміръ, ни Буало не могутъ быть названы поэтами. Некрасовъ не учитъ насъ: вотъ это хорошо, а то дурно; это мы и безъ него знаемъ; онъ увлекаетъ насъ силою лирическаго чувства; онъ самъ плачетъ, стонетъ, проклинаетъ; то тихая грусть, то мрачное отчаянье, то нѣжное сочувствіе разлиты въ его произведенія, и всѣ эти настроенія вызваны такими реальными явленіями и выражены въ такихъ простыхъ, мужественныхъ звукахъ, что они прямо идутъ отъ сердца поэта къ сердцу читателя,

Какъ внезапно хлынувшія слезы
Съ огорченнаго лица.

Никакой риторъ-сатирикъ, никакой краснорѣчивый проповѣдникъ не увлечетъ и не растрогаетъ васъ до слезъ, если онъ самъ не чувствуетъ того, что хочетъ перелить въ васъ. А кто перечувствовалъ столько, сколько — Некрасовъ, и кто увѣковѣчилъ эти чувства въ такихъ металлическихъ звукахъ, которые сами собою западаютъ и врѣзаются въ душу читателя, тотъ не только обличитель,

не только сатирикъ, тотъ поэтъ, великій поэтъ, т. е. человѣкъ, глубоко чувствующій и сильно отзывающійся на истинно-человѣческіе вопросы. — Такихъ людей и такихъ поэтовъ не забываетъ народъ, сколько-нибудь достигшій самосознанія. Два стиха Некрасова:

Но не льщусь, чтобы въ памяти народной
Уцѣлѣло что-нибудь изъ нихъ.

оскорбительны для нашей народной гордости. Слишкомъ тяжело думать, что нашъ добрый народъ ни однимъ словомъ не почититъ памяти тѣхъ людей, которые горячо и безкорыстно его любили, вмѣстѣ съ нимъ терпѣли горькую долю, и своими трудами приготовили ему болѣе свѣтлую участь. Когда мы встрѣчаемъ школьнаго товарища, терпѣвшаго вмѣстѣ съ нами скуку казенныхъ уроковъ и тяжелую рутину учителей, мы радуемся ему, протягиваемъ ему руку, вмѣстѣ съ нимъ припоминаемъ прошлое и разсуждаемъ о настоящемъ; мы даже осуждаемъ тѣхъ честныхъ джентльменовъ, которые вышедши въ люди, забываютъ своихъ сверстниковъ, дѣлившихъ съ ними въ молодые годы горе и радость, и остановившихся на низшихъ ступеняхъ іерархической лѣстницы. Скажите, неужели же цѣлый народъ будетъ такъ же забывчивъ, или такъ же неблагодаренъ, какъ бывають немногіе сухіе господа? Неужели народъ, достигнувъ этой степени развитія, которая теперь составляетъ для насъ предметъ неосуществимыхъ желаній, забудетъ тѣхъ честныхъ и скромныхъ работниковъ, которые, не щадя плечей и головъ, сносили камни для будущаго зданія и закладывали фундаментъ, не надѣясь даже дожить до окончанія постройки. Если бы такъ было дѣйствительно, тогда всю литературную дѣятельность Некрасова пришлось бы назвать дон-кихотскимъ подвигомъ; для пустого и вѣтренаго народа работать не стоитъ; самыя страданія такого народа, если бы только онъ былъ возможенъ, были бы такъ же смѣшны и притворны, какъ страданія чувствительной барыни, падающей въ обморокъ оттого, что завизжала ея любимая собачка; но этого нѣтъ; народъ любитъ и помнить своихъ друзей, только, къ сожалѣнію, онъ ихъ не

знаетъ. Попробуйте обласкать человѣка забитаго, заваленнаго работою, привыкшаго голодать и зябнуть, вы увидите, что онъ къ вамъ привяжется сильною преданностью существа, помятаго жизнію и неизбалованнаго нѣгою. Пусть русскій простолюдинъ услышитъ и пойметъ задушевное слово, сказанное безъ задней мысли о его житьѣ-бытьѣ, о его простомъ, невыплаканномъ горѣ, и вы увидите, что онъ запомнитъ это слово, начнетъ мурлыкать его въ часы раздумья и передастъ его дѣтямъ и внукамъ вмѣстѣ съ своими незатѣйливыми, заунывными напѣвами. Кто любитъ народъ, тотъ вѣритъ въ его силы, хотя порою тяжело становится отстаивать эту вѣру отъ набѣгающихъ сомнѣній. Некрасовъ, поэтъ трезвыхъ отношеній къ жизни и безотраднаго скептицизма, доставшагося горькимъ житейскимъ опытомъ, также вѣритъ въ непочатые силы народа, въ естественную мощь человѣческой природы.

Онъ говорилъ: „во многомъ насъ
Опередили иноземцы,
Но мы догонимъ въ добрый часъ! (и т. д....).

Какъ истинный поэтъ, какъ живой человѣкъ, Некрасовъ любитъ человѣка, и, относя мрачныя стороны нашей жизни къ числу проходящихъ заблужденій, смотритъ въ отдаленное будущее съ свѣтлою, твердою, мужественною надеждою. Вотъ какую пѣсню поетъ нашъ поэтъ надъ спящимъ младенцемъ:

Въ пошлой лѣни усыпляющій
Пошлыхъ жизни мудрецовъ
Будь онъ проклятъ растлѣвающій,
Пошлый опытъ—умъ глупцовъ!
(и далѣе семь куплетовъ)...

Дѣйствительно, поэту-реалисту, подобному Некрасову, надо вѣритъ въ природную силу человѣка сильнѣе, чѣмъ тому незлобивому поэту, который прислушивается къ звукамъ своей миролюбивой лиры,

Любя безпечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой.

Поэты-сибариты, которыхъ у насъ такъ много, зажимаютъ глаза, когда имъ приходится видѣть что-нибудь некрасивое и печальное; чтобы не сталкиваться съ такими сюжетами, они обращаются къ античному міру или къ области своихъ собственныхъ, чисто личныхъ ощущеній; живя и дѣйствуя такимъ образомъ, они могутъ безъ особеннаго труда сохранить любовныя отношенія къ жизни и къ людямъ; они ихъ не знаютъ, а мягко относятся къ тому, чего не знаешь, вовсе не трудно. Но тотъ поэтъ, который живетъ одною жизнью съ нами, тотъ, кто видитъ, какъ мы падаемъ и барахтаемся въ грязи, тотъ, кто вмѣстѣ съ нами страдаетъ и падаетъ, кто въ своихъ произведеніяхъ не старается стать выше этихъ человѣческихъ слабостей и страданій,—тотъ, конечно, долженъ сильно вѣрить въ возможность обновленія, тотъ, конечно, всѣми силами своего существа долженъ стремиться къ лучшему будущему. Страстности, патетическаго стремленія, пламеннаго отрицанія вы найдете у Некрасова больше, чѣмъ у всѣхъ остальныхъ нашихъ лириковъ, вмѣстѣ вятыхъ. Вѣры въ человѣка у него также больше, чѣмъ у всѣхъ другихъ, именно потому, что въ немъ сильнѣе, чѣмъ въ другихъ, существуетъ потребность этой вѣры. Только тотъ докторъ твердою рукою запускаетъ свой ланцетъ въ гнойную рану больного, который знаетъ, что больной можетъ и долженъ вынести операцію. Рѣзать умирающаго человѣка—трудъ тяжелый и неблагодарный. Только тотъ поэтъ способенъ безпощадно обнажить передъ нами язвы нашего общества, кто вѣритъ въ его силы; въ противномъ случаѣ поэтомъ-обличителемъ неминуемо овладѣетъ уныніе, и скоро лихорадочная энергія, съ которою онъ приступилъ къ своей вивисекціи, превратится въ тупую, вялую, мертвенную апатію. Но унынія вы у Некрасова не найдете; мрачна та картина, которой отдѣльные уголки вырисовываются въ его произведеніяхъ, но велика энергія поэта, живетъ въ немъ свѣжая любовь къ человѣку, и ни на минуту не покидаетъ его твердое убѣжденіе въ томъ, что должно быть и будетъ лучше. Некрасовъ неспособенъ сказать намъ: жизнь должна быть страданіемъ, терпите ваши страданія, миритесь съ жизнью,

какова она есть. Въ его стихотвореніяхъ нѣтъ малодушныхъ жалобъ; онъ не осуждаетъ тѣхъ слабыхъ существъ, которыя плачутъ, но неспособенъ сѣсть съ ними рядомъ и заплакать вмѣстѣ съ ними; въ его произведеніяхъ слышатся ожесточенные крики, звуки сознательнаго негодованія, горькія слезы озлобленія, далеко не безпредметнаго. Онъ говоритъ намъ своими произведеніями: „Мы страдаемъ, но страдаемъ потому, что глупы и вялы; потомки наши будутъ умнѣе насъ, и имъ будетъ легче жить на свѣтѣ; мы страдаемъ, но этого не должно быть и не будетъ; работать, работать надо; опускать руки стыдно и глупо“.

Покуда лучшею работою, достойною поэта и человѣка, является страстное, неутомимое преслѣдованіе зла во всѣхъ его видоизмѣненіяхъ; преслѣдованіе это выражается въ протестѣ, который не пропадетъ для подрастающаго поколѣнія; чего нельзя искоренить, то надо, по крайней мѣрѣ, обнаружить, вывести на свѣтъ, показать во всемъ величіи безобразія. Чтобы такое клейменіе зла не вышло бездушнымъ перечнемъ преступленій и подлостей, необходимо могучее дарованіе, необходимо, чтобы поэтъ страдалъ вмѣстѣ съ угнетеннымъ и вслѣдствіе этого всею душою ненавидѣлъ обидчиковъ и утѣснителей. Именно такимъ поэтомъ является Некрасовъ; за такого поэта знаетъ его вся грамотная Русь, но я рѣшаюсь еще разъ напомнить объ этомъ, потому что повторять подобныя вещи всегда хорошо и всегда уместно.

Приводить ли еще отрывки изъ стихотвореній нашего поэта? Ограничусь двумя-тремя выписками, въ которыхъ выразится то, какимъ образомъ Некрасовъ, поэтъ нашей скорби, откликается на разнообразныя страданія людей, находящихся въ самыхъ различныхъ положеніяхъ. Вотъ ту-жить бѣднякъ:

Все—поводъ къ искушенію,
Все дразнить и язвить
И руку къ преступленію
Нетвердую манить...
Ахъ! еслибъ часть ничтожную!
Старушку полечить,

Сестрамъ бы не роскошную
 Обновку подарить!
 Стряхнуть ярмо тяжелаго
 Гнетущаго труда,—
 Быть можетъ, буйну голову
 Сносилъ бы я тогда!
 Покинувъ путь губительный,
 Нашелъ бы путь иной,
 И въ трудъ иной—свѣжительный
 Поникъ бы всей душой.
 Но мгла отвсюду черная
 Навстрѣчу бѣдняку...
 Одна открыта торная
 Дорога къ кабаку.—

А вотъ кручина дѣвушки, выходящей замужъ за фабричнаго:

Богъ не безъ милости—ты спасена...
 Что же ты такъ безнадежно грустна?
 Ждетъ тебя много попрековъ жестокихъ,
 Дней трудовыхъ, вечеровъ одинокихъ:
 Будешь ребенка больного качать,
 Буйнаго мужа домой поджидать.
 Плакать, работать да думать уныло:
 Что тебѣ жизнь молодая сулила,
 Чѣмъ подарила, что дастъ впереди...
 Бѣдная! лучше впередъ не гляди!

Вотъ жалобы разсылнаго, носящаго корректуры журналовъ:

„Знай ходи то въ Коломну, то къ Невскому,
 Даже Фр—игъ устанетъ марать:
 —Объяви, говорить, ты К— — —му,
 Что я больше не стану читать!..
 (и далѣе 20 стиховъ).

А вотъ цѣлая, обширная картина страданія, въ которой
 тонуть, какъ въ необозримомъ океанѣ, всѣ отдѣльныя горе-
 сти, стѣсненія и лишенія:

Я лугами иду—вѣтеръ свищетъ въ лугахъ:
 Холодно, странничекъ, холодно,
 Холодно, родименькій, холодно!..
 (и далѣе 7 куплетовъ *).

Изъ „Русскаго Слова“, за 1861 г.

*) Въ этой же книжкѣ „Русск. Слова“ (№ 11, 1861 г.) говорится о Некрасовѣ въ статьѣ подъ заглавіемъ: „Дневникъ темнаго человѣка“.

* * *

*) Много уже было и много еще будеть впереди толковъ о Некрасовѣ, много „опредѣлений“ его таланта, опредѣлений самыхъ разнообразныхъ — всѣхъ и не перечесть! Мы возьмемъ только крайности: одни, вознеся его выше облака ходячаго, соорудили ему почти что пьедесталь генія, другіе низводили его чуть ли не на степень плохого версификатора. Къ числу послѣднихъ, конечно, принадлежали поклонники такъ называемаго чистаго искусства, для которыхъ желчное вдохновеніе поэта грустными явленіями обыденной жизни казалось преступленіемъ. Что же касается до настоящаго, истиннаго опредѣленія этого таланта, то его чуть ли не лучше всѣхъ (хотя и нѣсколько скромно, — нельзя же иначе!) сдѣлать самъ поэтъ...

Твои поэмы безтолковы,
Твои элегіи не новы,
Сатиры чужды красоты,
Но благородны и обидны,
Твой стихъ тягучъ. Замѣтенъ ты,
Но такъ безъ солнца звѣзды видны
Въ ночи, которую теперь
Мы доживаемъ боязливо,
Когда свободно рыскалъ звѣрь,
А человѣкъ бродилъ пугливо,—
Ты свѣточъ истины держалъ
Рукою твердой, но для свѣта
Онъ благотворно не сіялъ,
Какъ свѣточъ генія-поэта.

Хотя это уже и выходитъ „униженіе паче гордости“, но правда и характерность въ этомъ опредѣленіи есть. Еще яснѣе и глубже это опредѣленіе своей духовной и поэтической сущности выразилось у Некрасова въ его стихотвореніи „Муза“, тамъ, гдѣ онъ говоритъ: „Нѣтъ, музы, ласково-поющей и прекрасной не помню надъ собою я пѣсни сладкогласной“, и особенно въ этихъ стихахъ:

*) Вс. Крестовскій. „Русское Слово“ 1861 г., № 12.

Но рано надо мной отяготѣли узы
 Другой неласковой и нелюбимой музы,
 Печальной спутницы печальныхъ бѣднѣе,
 Рожденныхъ для борьбы, страданья и трудовъ,—
 Той музы плачущей, скорбящей и болящей,
 Всечасно жаждущей, униженно просящей,
 Которой золото—единственный кумиръ...

Муза Некрасова, говоря его же словами, — „муза мести и печали“, — и мы любимъ и чтимъ эту злобно-скорбящую музу. Такой поэтъ, какъ Некрасовъ, былъ намъ нужнѣе всего. — Его благородно-рѣзкое, нелестливое слово, вмѣстѣ съ немногими другими голосами и пропагандой Бѣлинскаго, больно царапало наши отупѣвшіе отъ апатическаго сна нервы, хватало за болѣзненные струны нашего сердца и поддерживало въ насъ, насколько это было возможно при обстоятельствахъ времени, энергію. И Некрасовъ понималъ смыслъ своего призванія, и служилъ ему неизмѣнно, не уклоняясь въ стороны, не дѣлая никакихъ уступокъ и не увлекаясь ложными, хотя и блестящими призраками. Подобными увлеченіями можно попрекнуть многихъ, только не Некрасова, который понималъ, что „покуда не видно солнца ни откуда“, то поэту съ подобнымъ настроеніемъ „стыдно спать“ и

Еще стыднѣй въ годину горя
 Красу долинъ, небесъ и моря
 И ласку милой воспѣвать.

Эти стихи были не пустое, звучное слово, — Некрасовъ цѣлымъ рядомъ своихъ самыхъ жизненныхъ произведеній доказалъ противное. Отношеніе его къ жизни, какъ поэта, было настоящее, прямое, истинное отношеніе. Онъ глубоко понималъ окружающую его жизнь со всѣми ея болящими, страдающими, угнетенными и темными сторонами. Вѣрнѣе же всего и глубже всего проникъ онъ въ жизнь и потребности народа. Мы говоримъ преимущественно о произведеніяхъ прежняго періода его поэтической дѣятельности. Тутъ нѣтъ ни подслащенности, ни розовыхъ цвѣтовъ, ни идеализаціи, — тутъ настоящая народная жизнь, со всѣми ея радостями и многоскорбными печалами, прошедшая сквозь призму вдохновенія правдиваго поэта.

Вотъ, напр., передъ нами проходятъ, одна за другою, цѣлымъ рядомъ, нѣсколько тяжелыхъ и глубокихъ драмъ, которыя щедро разсыпала по нашей „печальной юдоли“ сама жизнь своими безобразными, противуестественными условіями и требованіями. Вотъ, мимо насъ медленно, благочестивою поступью проходить сѣдой старикъ, съ обнаженною головою, весь въ веригахъ, на груди у него мѣдная икона: это дядя Власъ — нашъ старый знакомецъ, съ которымъ часто мы сталкивались въ жизни. Ходить уже онъ не первый годъ; онъ искрестилъ всю Россію, прося подаванія на построеніе храма. Какой сановитый, почтенный образъ! Онъ и всѣмъ казался и кажется таковымъ же; иная добродушная старушка, пожалуй, и въ божьи угодники зачислила его; а между тѣмъ было время, когда этотъ самый святой божій человѣкъ

..... побоями
Въ гробъ жену свою вогналъ,
Промышляющихъ разбоями
Конокрадовъ укрывалъ,

у всего бѣднаго сосѣдства скупалъ задаромъ хлѣбъ и втрое драсть съ нищаго въ голодный годъ, а потомъ... ну, а потомъ пошелъ замаливать грѣхи. Положимъ, пошелъ онъ отъ чистаго сердца, съ искреннимъ раскаяніемъ, да только вотъ вопросъ: разумное ли сознаніе привело его къ такому результату?—Нѣтъ! Ему просто-напросто во снѣ привидѣлась чертовщина; онъ испугался, струсилъ, суевѣрный обирало, этой чертовщины, и пошелъ замаливать грѣхъ и „творить доброе дѣло“—церковь построилъ! А между тѣмъ посмотрите, что за грандіозный образъ:

Ходить съ образомъ и съ книгою,
Самъ съ собой все говорить
И желѣзною веригою
Тихо на ходу стучить;
Ходить въ зимушку студеную,
Ходить въ лѣтніе жары,
Вызывая Русь крещеную
На посильные дары.

Ну, какъ тутъ не подкупиться этимъ образомъ?! Читатель невольно какъ-то этими стихами позволяетъ положить въ карманъ себѣ взятку—и, совершенно удовлетворенный, мирится съ дядей Власомъ и начинаетъ любить его! Конечно, бываютъ въ жизни и такіе грандіозные Власы, да только рѣдко между ними встрѣтишь искренняго Власа, а большая часть изъ нихъ остаются тѣми же выжигами, пройдохами, кулаками и бездушными грабителями, только подъ іезуитскою маскою благообразнаго смиренія и пощенія. Положимъ, переломъ въ жизни Власа былъ переломомъ къ лучшему; онъ, если не много принесъ существенной пользы, то хоть, по крайней мѣрѣ, не дѣлалъ болѣе зла, да вотъ что обидно: переломъ-то самъ по себѣ нелѣпъ, хоть и глубоко искривленъ, и причины перелома этого еще болѣе нелѣпы. Отсутствіе разумности, здраваго смысла поражаетъ въ подобныхъ явленіяхъ.

Вотъ вамъ другая картина, но какая грустная, какая безотрадная!.. Передъ вами голое поле, съ котораго уже давнымъ-давно сняты хлѣба. Поздняя осень, стаи грачей, пустота и холодъ—вотъ фонъ этой картины. „Только не сжата полоска одна“—и грустную думу наводитъ она на поэта, да и на каждого, кто только остановится передъ этой картиной. Гдѣ же пахарь?

.... Пахарю моченьки нѣтъ.

Зналъ для чего и пахалъ онъ, и сѣялъ,
 Да не по силамъ работу затѣялъ.
 Плохо бѣднягѣ—не ѣсть и не пить,
 Червь ему сердце больное сосетъ,
 Руки, что вывели борозды эти,
 Высохли въ щепку, повисли, какъ плети,
 Очи потускли, и голосъ пропалъ,
 Что заунывную пѣсню пѣвалъ,
 Какъ, на соху налегая рукою,
 Пахарь задумчиво шелъ полоскою.

Нѣсколько штриховъ — и картина готова; а за этою грустною картиною вашему воображенію предоставляется дорисовывать цѣлую и еще болѣе грустную драму разбитой жизни, разбитыхъ надеждъ одного человѣка, тщетно стре-

жившагося вырваться изъ удручающей сферы на чистый воздухъ вольнаго простора. И эту жизнь, и эту силу, и эти надежды разбилъ какой-нибудь нелѣпый капризъ посторонняго...

Вотъ вамъ еще одна новая драма, тоже разбитой, порванной жизни, въ которой чуть ли не все — общее съ предыдущей. Передъ вами встаетъ поэтический образъ Груши, простой крестьянской дѣвушки, которой, вслѣдствіе ничѣмъ неоправдываемаго каприза, дано было образованіе вмѣстѣ съ ея барышней и, вслѣдствіе еще болѣе нелѣпаго каприза, приказано выйти за мужика. Парень ей въ мужья попался добрый, любящій, работающій, который ее

Бить—такъ почти не бывалъ,
Развѣ только подъ пьяную руку.

Онъ даже и подарки, и обновы ей дѣлаетъ, и жалѣетъ ее, а между тѣмъ, — странное дѣло! — Груня при чужихъ еще ничего, не блажить, „а украдкой реветъ, какъ шальная“—

На какой-то патреть все глядитъ
Да читаетъ какую-то книжку...
Инда страхъ меня, слышь ты, щемить,
Что погубить она и сынишку:
Учить грамотѣ, моетъ, стрижетъ,
Словно барченка, каждый день чешетъ,
Бить не бьетъ—бить и мнѣ не даетъ...
Да не долго пострѣла потѣшить!
Слышь, какъ щепка худа и блѣдна,
Ходить тоись совсѣмъ черезъ силу,
Въ день двухъ ложекъ не съѣсть толокна,—
Чай, свалимъ черезъ мѣсяцъ въ могилу...
А съ чего?..

Вы не отдохнули еще отъ тяжелаго впечатлѣнія этой драмы, а передъ вами уже выдвигается новая. Передъ вами парень, котораго безъ вины высѣкъ сотскій. Кажется бы, дѣло бывалое: не онъ первый, не онъ и послѣдній — много и до него было, да только чуть ли не всѣ остальные многіе прошли послѣ такой операціи весь ужасный рядъ тѣхъ нравственныхъ мученій, про которыя рассказываетъ парень:

Какъ подумаю, весь задрожу,
 На душѣ все чернѣй и чернѣй.
 Какъ теперь на людей погляжу?
 Какъ приду къ ненаглядной моей?

Нашептало ему ночью сердце много „неразумныхъ и буйныхъ рѣчей“, хотѣлъ ужъ онъ-было привести ихъ и въ исполненіе, да на утро подвернулась сестра съ словами: „не хочешь ли, братикъ, вина?“ Парень осушилъ цѣлый штофъ, и уже въ тотъ день не ходилъ со двора!.. Полюбилъ онъ сосѣдскую дочку, да староста поперечилъ, и выдалъ силою ее за другого, немилаго. Выскочилъ парень на улицу съ крикомъ: „Погоди! Разочтусь я съ тобой!“ Для смѣлости хватилъ вина, да и задремалъ въ кабацѣ. „А на утро раздумье пришло“... Взялся онъ съ артелью у купца передѣлать въ дому всѣ печи. Передѣлалъ и пришелъ за расчетомъ, купецъ не далъ ни гроша; парень неудачно ходилъ къ нему восемь недѣль; а артель межъ тѣмъ требуетъ расчета и грозить ему острогомъ. Парень махнулъ рукою, сказалъ съ отчаянія: „Пропадай!“ и

Побѣжалъ, притаился какъ воръ
 У знакомаго дома—и ждалъ.
 Да прозябъ, а напротивъ кабацъ,
 Разсудилъ: отчего не зайти?
 На послѣдній хватилъ четвертакъ,
 Подрался—и проснулся въ части...
 Одна открыта торная
 Дорога къ кабаку!..

Въ рассказанныхъ нами драмахъ разбивались жизни отдѣльно взятыхъ существъ, а въ этой взору нашему является уже какъ бы общій итогъ всѣхъ разбитыхъ и порванныхъ жизней, всѣхъ безвозвратно утраченныхъ силъ, несбывшихся надеждъ, картина скорби и смиреннаго, пришибленнаго терпѣнія,—это „Забятая Деревня“ (приводится стихотвореніе)...

Къ этой послѣдней драмѣ прибавлять нечего и пояснять ее незачѣмъ: она слишкомъ ясно, просто и краснорѣчиво сама за себя говоритъ вашему сознанію и сердцу. Въ дру-

гихъ слояхъ общества страданіи личности зависятъ почти настолько же и отъ нея самой, насколько отъ окружающей среды. Въ другихъ слояхъ общества страдающая личность если и не всегда имѣетъ возможность свергнуть съ себя иго страданій посредствомъ какой бы то ни было борьбы, то ей хоть остается возможность чѣмъ-нибудь заявить свой протестъ, слѣдственно хоть какъ-нибудь, но все-таки проявиться активно. Возможность эта уже дается нѣсколько самымъ относительнымъ развитіемъ личности и ея социальнымъ положеніемъ, съ которымъ болѣе или менѣе ужъ какъ-то невольно соединяется возможность дѣйствія, протеста и отпора наплыву враждебныхъ обстоятельствъ. А тутъ, вѣдь, въ этой замкнутой и приниженой сферѣ, и самое-то страданіе пассивно: оно безропотно и терпѣливо.

Возьмите теперь некрасовскаго „Огородника“ и „Тройку“, и тутъ вы найдете многое, надъ чѣмъ сильно можно будетъ призадуматься, и тутъ поглядите вы не малую драму. Эти вещи какъ-то родственны между собою. Какъ въ той, такъ и въ другой въ основаніи лежитъ та же идея. Идея эта заключается въ сопоставленіи чувства симпатіи, любви, чувства совершенно свободнаго, тѣснымъ и узкимъ условіямъ сословной жизни. Въ первомъ оно падаетъ на мужчину, во второмъ на женщину. Выраженіе обоихъ чрезвычайно граціозно, тепло и поэтично. Въ „Тройкѣ“ за женщину мыслить и страдаетъ поэтъ; въ „Огородникѣ“ онъ заставляетъ самого героя высказывать свое горе. Грустнѣе всего на душу читателя дѣйствуетъ та нѣсколько иронически высказанная мораль, которая слѣдуетъ какъ результатъ, какъ выводъ изъ отношеній свободнаго *человѣческаго* чувства любви, не подчиняющагося никакимъ кастовымъ принципамъ, къ тяжелой замкнутости сословныхъ различій.

Знать, любить не рука
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь.

Это слова такія, которыя много и много заставятъ надъ собою призадуматься; но мы не будемъ останавливаться надъ ними; иначе бы это повело насъ слишкомъ далеко —

гораздо за предѣлы нашего журнальнаго очерка!.. Говорятъ намъ: „Огородникъ“ и „Тройка“—вещи аффектированныя, но, Боже мой, что значить эта аффектація передъ громаднымъ впечатлѣніемъ, которое, словно молотъ, неотразимо бьетъ въ глубину вашей души! „Тройка“ всѣмъ намъ приплась по сердцу и по плечу. Посмотрите, гдѣ только ее не поютъ, и кто только не поетъ ее; хоть и перевираютъ, да все-таки поютъ! А это, какъ хотите, по нашему мнѣнію, говорить безусловно въ пользу произведенія. Нужды нѣтъ, что оно аффектировано,—оно правдиво, оно искренно,—а въ этомъ-то и есть главное дѣло и главная причина его популярности.

Всмотритесь же теперь пристальнѣе и глубже во всѣ эти произведенія, и вы поймете значеніе ихъ для того времени, въ какое они писались.

Отношеніе къ народной жизни Некрасова было реальнѣе всѣхъ остальныхъ поэтовъ, и это не реальность Пушкина, не реальность Кольцова, нѣтъ, это нѣчто свое, совершенно особенное, чисто индивидуальное, что принадлежитъ исключительно одному Некрасову,—это именно — проникновеніе въ самую глубокую сущность народной жизни со стороны ея насущныхъ потребностей и затаенныхъ, незримыхъ страданій. Кольцовъ тоже задѣвалъ эти струны народной жизни, только, по свойству своего таланта, задѣвалъ ихъ со стороны, такъ сказать, психологической, а Некрасовъ со стороны психіатрической, и преимущественно съ соціальной. Въ этомъ ихъ существенное различіе.

Но Кольцовъ стоитъ какъ-то особнякомъ въ нашей литературѣ. Онъ является чѣмъ-то въ родѣ переходнаго звена, связующаго эпоху пушкинскаго періода съ дѣятелями современной намъ русской поэзіи. Кольцовъ не могъ еще стоять посреди тѣхъ животрепещущихъ соціальныхъ интересовъ, которыхъ и самая жизнь того времени въ общей массѣ была почти чужда совершенно и которые только въ настоящую минуту могутъ волновать чувство дѣятелей русской мысли. Поэтому мы оставимъ его въ сторонѣ и посмотримъ лучше, кто изъ современныхъ намъ поэтовъ касался народной жизни и какъ, и съ какой стороны, и на-

сколько касался ея? Это гораздо ближе къ намъ, и потому гораздо интереснѣе. Но тутъ — увы! результатъ будетъ весьма скуденъ!..

Въ то время, когда за Некрасовымъ считались уже такія произведенія, какъ „Забытая Деревня“ и др., Майковъ, напримѣръ, не далъ намъ ничего изъ среды народной жизни, оставаясь вѣчно замкнутымъ въ своемъ строгомъ классицизмѣ, и только недавно послѣднія событія вызвали у него два исполнѣ прекрасныхъ стихотворенія, это: „Сфинксовая Загадка“ и „Картина“. Фетъ въ своихъ „Снѣгахъ“ и въ „Гаданьяхъ“ далъ два или три очень милые пейзажика, двѣ или три нѣсколько фантастическія вещи — и больше ничего. Полонскій относился нѣсколько живѣе къ этой жизни, но его отношеніе, во-первыхъ, чисто фантастическое, сказочное, хоть и обаятельное всѣмъ обаяніемъ сказки, а во-вторыхъ, оно очень бѣдно, потому что въ то еще время, сколько помнится, выразилось только въ двухъ его стихотвореніяхъ. Нѣсколько болѣе реальности проглянуло у него въ „Бѣглый“, самомъ послѣднемъ его стихотвореніи. И желательно, конечно, чтобы оно не было послѣднимъ въ этомъ родѣ. И вотъ въ то-то время раздался одинъ только свѣжій и исполнѣ русскій звукъ, не принадлежащій Некрасову. Это была „Запѣвка“ Мея:

Охъ, пора тебѣ на волю, пѣсня русская,
Благовѣстная, побѣдная, раздольная,
Пригородная, посельная, попольная, и т. д.

Въ этихъ стихахъ почуялась было свѣжая сила. Къ нимъ исполнѣ можно было приложить для охарактеризованія ихъ пушкинскій стихъ:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

И въ то же время появились его „Хозяинъ“, „Русалка“ и нѣсколько другихъ исполнѣ прекрасныхъ въ своемъ родѣ вещей. Но въ талантѣ Мея элементъ *русскаго, народнаго* принялъ не социальный, не современный, а какой-то археологическій колоритъ. Во всѣхъ его лучшихъ вещахъ этого рода вы невольно чувствуете *Русь* и Русь народную; если хо-

тите, Русь вѣчную, какую суждено ей быть въ своемъ идеалѣ; если хотите, поющую, празднующую, да только не Русь современнаго намъ народа. Эта послѣдняя только и далась одному Некрасову. Читая Мея, вы можете эстетически наслаждаться; читая Некрасова, вы будете страдать.

Некрасовъ страдаетъ вмѣстѣ съ русскимъ человѣкомъ, но нисколько не идеализируетъ его. Онъ умѣетъ заставить насъ сочувствовать его горю, совершенно не разцѣпчивая его. Онъ глубоко понимаетъ народъ и внѣ всякой идеализаціи становится даже безпощаднымъ въ отношеніи его и проявленіи его жизни и духа. За примѣромъ ходить не далеко: мы припомнимъ вамъ одно его стихотвореніе. Вслушайтесь, всмотритесь въ него:

— Такъ, служба! самъ ты въ той войнѣ
Дрался—тебѣ и книги въ руки,
Да дай сказать словцо и мнѣ:
Мы сами дѣлывали шути.
— Какъ затесался къ намъ Французъ,
Да увидалъ, что проку мало,
Пришелъ онъ, помнишь ты, въ конфузъ
И на попятный тотчасъ драло:
Поймали мы одну семью,
Отца да мать съ тремя щенками,
*Тотчасъ ухлопали мусью,
Не изъ фузеи — кулаками!*
Жена давай вопить, стонать;
Рветъ волоса,—глядимъ да тужимъ!
Жаль стало: топоричемъ хватъ—
И протянулася рядомъ съ мужемъ!
Глядь: дѣти! Нѣтъ на нихъ лица:
Ломаютъ руки, воютъ, скачутъ,
Лепечутъ—не поймешь словца—
И въ голосъ, бѣдненькія, плачутъ,
Слеза прошибла насъ, ей-ей!
Какъ быть? Мы долго толковали,
Пришибли бѣдныхъ поскорѣй,
Да вмѣстѣ встѣхъ и закопали...
Такъ вотъ что, служба! вѣрь же мнѣ:
Мы не сидѣли сложа руки,
И хотъ не бились на войнѣ,
А сами дѣлывали шути!

Вѣдь не шутя, морозъ подираетъ по кожѣ, становится страшно отъ этой голой ужасающей правды. Вѣдь, нельзя отказаться: *это наше*, это наша жизнь, или по крайней мѣрѣ, одинъ изъ ея заурядно-характерныхъ эпизодовъ! Въ основѣ этой вещи лежитъ страшное пониманіе русской жизни, пониманіе ее до цинизма, до безпощадности — и вотъ этимъ-то и дорогъ намъ Некрасовъ. Эта странная, но жизненная смѣсь звѣрства, удалой похвальбы этимъ звѣрствомъ и совершенно человѣческаго чувства жалости, состраданія, сожалѣнія исполнѣ свойственны нашему сѣрому человѣку. На это стихотвореніе, сколько помнится, совершенно не было обращено вниманія нашей критики, — а жаль! оно одно изъ самыхъ характерныхъ произведеній Некрасова!

Но если Некрасовъ силенъ безпощаднымъ даже до цинизма отношеніемъ анализа своего къ народу, его характеру и жизни, то столько же силенъ онъ и вѣрою въ этотъ народъ, въ эту темную, но могучую и здоровую силу. Его „Школьникъ“ служитъ порукою въ томъ. Вспомните хоть только это одно восьмистишіе:

Не бездарна та природа,
Не погибъ еще тотъ край,
Что выводитъ изъ народа
Столько славныхъ—то-и-знай,—
Столько добрыхъ, благородныхъ,
Сильныхъ любящей душой
Посреди тупыхъ, холодныхъ
И напыщенныхъ собой.

Припомните также и стихи изъ „Несчастныхъ“. Это уже переходъ отъ безысходнаго отчаянія, мрака и скорби къ могучей вѣрѣ и свѣтлой надеждѣ. Но эта вѣра и надежда пока еще принадлежать грядущему, будущему; настоящее навѣваетъ на поэта горькія думы, даетъ ему грустные мотивы. Мотивы ему навѣваетъ только жизнь, зато какіе подчасъ мотивы! Намъ особенно нравятся все-таки мотивы, данные ему народною жизнію.

Вотъ хоть „Коробейники“. Мы съ удовольствіемъ останавливаемся на этомъ произведеніи, потому что оно рас-

крыло намъ въ Некрасовѣ много такого, чего мы, при всей нашей вѣрѣ въ его чуткій талантъ, даже и не предполагали въ немъ. Что это за вещь въ сущности?—опредѣлить невозможно, или, по крайней мѣрѣ, весьма трудно, потому что она не подходитъ какъ-то ни подъ одно пинтическое опредѣленіе стихотворныхъ произведеній. Это повѣсть не повѣсть, поэма не поэма, рассказъ не рассказъ, а нѣчто въ высшей степени жизненное, нѣчто трогательное, задѣвающее и поэтическое—и замѣтьте, жизненное болѣе въ частности, нежели въ цѣломъ, потому что въ цѣломъ-то въ немъ и нѣтъ ничего, т. е. нѣтъ того, что мы привыкли называть *содержаніемъ, сюжетомъ*. Шли коробейники, изъ которыхъ одинъ, Ванюха, разстался съ невѣстой, продали они весь товаръ; Ванюха мечтаетъ, какъ къ Покрову онъ женится, но вдругъ попался имъ на дорогѣ недобрый человѣкъ—лѣсникъ, который убилъ изъ ружья обоихъ разомъ, ограбилъ, да пьяный въ кабацѣ и проболтался про свой грѣхъ, вотъ и все!—Ну, чѣмъ-бы тутъ, кажется, вдохновиться? А между тѣмъ взгляните, что сдѣлалъ изъ этого Некрасовъ! Правда, что къ этому произведенію удобнѣе всего примѣняется его собственный стихъ:

Твои поэмы безтолковы,

обращенный имъ къ самому-же себѣ, да что намъ до того за дѣло, коли въ этой безтолковости есть плоть и кровь, есть обаятельно-захватывающая васъ струя жизни, вѣяніе которой вы инстинктивно чувствуете чуть что не въ каждой строфѣ!

Вотъ начало этого произведенія—полюбуйтесь на это начало: стихи, одинъ за другимъ, такъ и западаютъ въ вашу память, такъ и шевелятъ вашу душу за ея исключительныя, національныя струны:

«Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы и парча.
Пожалѣй, моя зазнобушка,
Молодецкаго плеча!
Выди, выди въ рожь высокую!
Тамъ до ночки погожу,
Я завижу черноокую—

Всѣ товары разложу.
Цѣны самъ платилъ не малыя,
Не торгуйся. не скупись:
Подставляй-ка губы алыя,
Ближе къ милому садись!"
Вотъ и пала ночь туманная,
Ждетъ удамый молодець.
Чу, идетъ!—пришла желанная,
Продаетъ товаръ купецъ.
Катя бережно торгуется,
Все боится передать.
Парень съ дѣвицей цѣлуется,
Просить цѣну набавлять.
Знаетъ только ночь глубокая,
Какъ поладили они.
Распрямись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани!

Сколько тутъ удали, широты и страсти въ этой безыскусной простотѣ! Это чисто русская, удалая, задушевно-теплая поэзія. Отрывокъ самъ по себѣ до того художественно-законченъ и цѣленъ, что, право, порой намъ становится даже жаль, зачѣмъ это приступъ къ большой вещи, а не отдѣльное стихотвореніе! Но не однимъ началомъ щеголяютъ „Коробейники“,—нѣтъ, въ нихъ разсыпано много хорошаго, много истинныхъ алмазовъ, которые выпукло красуются на общемъ фонѣ, художественно отграниченные опытною рукою хорошаго мастера. Вспомните только „пѣсню убогаго странника“:

Я лугами иду—вѣтеръ свищетъ въ лугахъ:
Холодно, странничекъ, холодно,
Холодно, родименькій, холодно! и т. д.

Духъ захватываетъ отъ этой страшной, громадной силы! А между тѣмъ, что можетъ быть безыскусственнѣе и проще этой пѣсни! Но простотой-то она и сильна. Это великая и грозная своимъ величіемъ простота. Дальше уже въ этомъ отношеніи, мнѣ кажется, поэту идти некуда: въ пѣснѣ странника онъ овладѣлъ элементомъ народнаго творчества, онъ пустилъ тайну этого творчества. У насъ много было поддѣлокъ подъ народный стиль, но это не поддѣлка; тутъ

совершенно не видать претензіи сдѣлать эту вещицу, такъ сказать, „понаряднѣе“; она написалась, какъ Богъ положить на душу, она вылилась непосредственно изъ души, какъ одинъ вопль нашей всеобщей великой скорби! Да, Некрасовъ своею пѣсней сталъ поэтомъ этой великой скорби! И „пѣсня убогаго странника“ не должна быть пройдена равнодушіемъ или невниманіемъ, — нѣтъ, она должна быть подхвачена сотнями тысячъ голосовъ. Да, эта пѣсня не должна быть забыта: она долгая, безконечная наша пѣсня. Самъ Некрасовъ лучше всего и характернѣе всего опредѣлилъ ея значеніе:

Вся-то пѣсня—два слова,
А запой ее, дѣтинушка,
Не дотянешь до конца!
Эту пѣсенку мудреную
Тотъ до слова допоетъ,
Кто всю землю, Русь крещеную,
Изъ конца въ конецъ пройдетъ.
Самъ ее Христосъ угодничекъ
Не допѣлъ—спитъ въ чинахъ сномъ.

Вотъ смыслъ этой пѣсни! Мы отнюдь не увлекаемся, высказывая эти мнѣнія, — мы только открыто исповѣдуемъ нашу личную искреннюю и задушевную думу. „Пѣсня странника“ заставила насъ еще болѣе вѣровать въ талантъ ея автора. Она намъ много открыла въ немъ. Въ послѣднее время мы болѣе были склонны къ мнѣнію, что талантъ Некрасова выдыхается и слабѣетъ; теперь, послѣ „пѣсни странника“, мы готовы вѣрить, что талантъ этотъ крѣпнетъ и что онъ дастъ намъ еще много впереди. Въ этомъ отношеніи, еще болѣе говоритъ въ пользу нашего убѣжденія одно небольшое стихотвореніе — „Дума“, съ которымъ мы встрѣтились также въ послѣднее время. Это—сила, сила и сила, которая такъ и мечется вамъ въ глаза въ каждомъ отдѣльномъ стихѣ. Широта размаха, чисто русскаго, удалъ и здоровье, полное горячей крови, такъ и брызжетъ въ этомъ стихотвореніи:

Сторона наша убогая,
Выгнать некуда коровушку,
Проклинай житье мѣщанское
Да почесывай головушку. (И т. д.)

Но... чѣмъ больше талантъ, тѣмъ больше и тѣмъ строже съ него взыщется. А Некрасовъ не безупреченъ и не безгрѣшенъ относительно своихъ произведеній. Есть у него вещи, хотя и написанныя подъ вліяніемъ идеи весьма благородной и честной, но написанныя не искренно. Спѣшимъ оговориться: если мы говоримъ *не искренно*, то это значить, что появленіе ихъ вызвано не душевной настоятельной потребностью, а просто какимъ-нибудь постороннимъ обстоятельствомъ. Мы возьмемъ „Знахарку“ и „Деревенскія Новости“. Надѣемся, что какъ то, такъ и другое произведеніе настолько извѣстны читающей массѣ, что мы можемъ избавить себя отъ неудовольствія приводить ихъ въ нашемъ очеркѣ. Будь подъ этими произведеніями подписано имя гг. Бенедиктова или Розенгейма, Свистокъ „Современника“ не замедлилъ бы, во время оно, взять съ нихъ извѣстную лепту для своего мѣткаго и злого остроумія; будь они никѣмъ не подписаны, мы бы просто-на-просто прочли ихъ и сказали бы: дрянъ, плохо! — тѣмъ и судъ бы весь былъ поконченъ. Но, признаемся, когда мы увидѣли подъ ними имя Некрасова, насъ весьма непріятно покорило отъ этого. Покорило еще болѣе, когда мы увидѣли ихъ рядомъ въ новомъ собраніи его стихотвореній. Скажите, Бога ради, г. Некрасовъ, и для чего вы печатали подобныя вещи? Какъ вы-то сами рѣшились печатать такія плохія вирши, которыя заставляли вчужѣ краснѣть за васъ людей, уважающихъ вашъ талантъ. Эти стихотворенія могъ написать кто угодно, но не вы. Вамъ стыдно подписывать подъ ними свое имя. Писать для какой-нибудь одной современной фразы, которая давнымъ-давно уже успѣла орутинериться и опоплиться, цѣлыя страницы—извините за откровенное выраженіе—стиховной лапши и ерунды—воля ваша!—неприлично, стыдно, въ особенности стыдно для человѣка, который могъ намъ дать „Пѣсню убогаго странника“ и много другихъ неподобныхъ вещей. Мы вамъ высказываемъ это прямо и рѣзко, быть можетъ, даже увлекаясь отчасти, но высказать мягче или совѣмъ промолчать мы не считаемъ себя вправѣ: съ такимъ талантомъ, какъ Некрасовъ, церемониться нечего, а тѣмъ болѣе щадить его! Его силу этимъ не поколеблешь — она слишкомъ крѣпка,

и потому-то давать подобные промахи Некрасову непростительнѣе, чѣмъ кому бы то ни было другому, по крайней мѣрѣ, таково наше искреннее убѣжденіе.

„Деревенскія Новости“ выкупаетъ еще отчасти одна чрезвычайно граціозная картинка, это то мѣсто, гдѣ говорится про мальчика-пастуха, убитаго молніей:

Угомонился Волчокъ:—
Спитъ себѣ. Кровь на рубашкѣ,
Въ лѣвой ручонкѣ рожокъ,
А на шляпкѣ вѣнокъ
Изъ васильковъ да изъ кашки.

Этотъ эпизодъ заставляетъ еще нѣсколько снисходительнѣе смотрѣть на „Деревенскія Новости“. Стихъ Некрасова вообще неуклюжъ и тяжелъ, но мы любимъ эту неуклюжесть и тяжесть — это тяжесть желѣза, тяжесть желѣзнаго молота; въ ней его сила, его мѣткость. Тамъ, гдѣ Некрасовъ вдохновляется и пишетъ отъ души, тамъ его неуклюжій стихъ удивителенъ. И дайте въ этихъ мѣстахъ стихъ майковскій или меевскій, или всякаго другого поэта, вышло бы изъ рукъ вонъ скверно. Тутъ именно нуженъ стихъ Некрасова со всѣми его оригинальными особенностями. Но... это все относится къ тѣмъ произведеніямъ, которыя вылились изъ непосредственнаго вдохновенія настрадавшейся души, а тамъ, гдѣ поэтъ нашъ пишетъ ради одной только заключительной фразы, тамъ эта тяжесть и неуклюжесть переходятъ въ потугу, въ сонливую вялость, и производятъ крайне непріятное впечатлѣніе. Все такъ и кажется, будто идешь въ сумерки по грязному, крайне-ухабиному переулку, когда петербургская оттепель разжидитъ въ грязь и мутную кашицу весь уличный снѣгъ. Да, г. Некрасовъ, подобныя вещи никому непригодны, онѣ никого не научатъ, ни на кого не произведутъ иного впечатлѣнія, кромѣ невыгоднаго для васъ. Вѣдь, согласитесь, что любой публицистъ, даже самый тупой и бездарный, своими десятью строками скорѣе сдѣлаетъ несравненно болѣе пользы, чѣмъ вы сотнею подобныхъ виршей. Слѣдственно, для чего же и писать ихъ, для чего же и не побережъ своего стиха, который, право, заслуживаетъ болѣе уваженія, чѣмъ вы ему оказываете?

Къ подобной же категоріи мы готовы отнести и еще одну вашу вещь, которая по формѣ стоитъ, впрочемъ, неизмѣримо выше вашей „Знахарки“ и которая задумана несравненно глубже и сердечнѣе. Это — „Несчастные“, — вещь аффектированная и добродѣтельная, изображающая каторжниковъ до того добродѣтельными, что они даже заслуживаютъ любовь и благоволеніе своихъ начальниковъ, вещь ложная и ложная самымъ незнаніемъ изображаемой жизни, вещь, въ которой только и есть одинъ силуэтъ живого лица—это Кротъ, и только одно правдивое, живое и сердечнотеплое слово, это стихъ:

Чтобъ человѣкъ не баловался.

А что касается до пѣсни преступниковъ, то о такой ложно аффектированной вещи и говорить не стоитъ. Она *сдѣлана* поэтомъ, сочинена имъ, и, право, съ такими данными, какія лежатъ въ основѣ „Несчастныхъ“, должно бы было распорядиться лучше, чѣмъ вы распорядились.

Доселѣ мы говорили объ отношеніи Некрасова, какъ поэта, къ народу; теперь же мы бросимъ взглядъ на отношеніе его къ нашему обществу и нашей такъ называемой или, лучше сказать, подразумеваемой общественной жизни. Для насъ кругъ предметовъ, служащихъ матеріаломъ для творческой дѣятельности Некрасова, какъ *поэта современности*, представляется раздвоеннымъ. Первую вѣтвь этого раздвоенія, вѣтвь, воспринявшую въ себѣ народную жизнь, мы уже разсмотрѣли. Теперь дѣло за второй. И вотъ именно эта-то вторая вѣтвь и заключаетъ въ себѣ отношеніе его къ нашей общественности. Въ первой онъ является почти исключительно поэтомъ скорби и горя и, замѣтите, по преимуществу *поэтомъ*; во второй онъ чаще дѣлается негодующимъ сатирикомъ, оставаясь, впрочемъ, въ то же самое время и поэтомъ. Здѣсь у него иронія и болѣзненная скорбь, желчь и злоба, ѣдкая, могучая насмѣшка и почти рядомъ съ нею тяжкій вопль безсилія честнаго человѣка передъ порокомъ и зломъ сплетаются между собою въ одну крѣпкую ткань. Весь отдѣлъ произведеній этого рода непосредственно относится къ сферѣ нашей петербургской жизни. Она вся тутъ,

какъ есть, со своими нравственными людьми, которые, живя согласно съ строгою моралью, никому не сдѣлали въ жизни зла, со своими филантропами, которые ищутъ какъ бы свѣтъ весь заново къ общей пользѣ измѣнить,

А голоднаго отъ пьянаго
Не умѣютъ отличить;

со своими падшими и отверженными за бѣдность созданіями, которыя продаютъ себя изъ-за куска насущнаго хлѣба и нагло презираются за то модною блестящею развратницею, у которой „на лбу роковыя слова“:

„Продается съ публичнаго торга“.

Однимъ словомъ, все, все сошлось и сгруппировалось здѣсь, въ этихъ улицахъ, гдѣ рядомъ съ бѣднымъ гробомъ мчатся великолѣпныя коляски; тутъ всѣ—начиная отъ великолѣпныхъ салоновъ до несчастныхъ матерей несчастныхъ рекрутовъ и даже до жалкаго разсыльнаго изъ типографіи, который подъ грохотъ экипажей, подъ вопли нужды и горя, и самодовольный смѣхъ спесивой наглости и подъ звуки подмокшихъ барабановъ болтаетъ о красныхъ крестахъ и о литераторахъ и о томъ, какъ

Даже Фр—нгъ устанетъ марать.

И все это кишить, суетится, бѣснуется и мучится подъ хмурымъ, холоднымъ и кислымъ небомъ; не что иное, какъ это же самое небо нагоняетъ на поэта тоскливыя и безысходно-тяжелыя впечатлѣнія „О погодѣ“—и въ его впечатлѣніяхъ намъ невольно чувствуется весь этотъ гнетъ тяжелаго и тлетворнаго петербургскаго неба. Изъ этой жизни нѣтъ исхода, и вырваться некуда. Въ народной скорби для нашего поэта существуетъ еще вѣра въ его будущее,—здѣсь уже не существуетъ ничего. Вспомните только хоть „Буду ли ночью по улицѣ темной“ или „Въ больницѣ“—и вы вполне оправдаете нашу характеристику. Вотъ общее впечатлѣніе, выносимое читателемъ изъ всего отдѣла стихотвореній этого рода.

Съ особеннымъ грустнымъ чувствомъ остановимся мы теперь на заключительныхъ строфахъ стихотворенія „Въ больницѣ“. Мы, безо всякихъ комментаріевъ и психолого-эстетическихъ объясненій, просто напомнимъ ихъ читателю. Эти строки и сами за себя говорятъ хорошо и понятно нашему сердцу.

Вотъ они:

Братья—писатели! въ нашей судьбѣ
Что-то лежитъ роковое:
Если бы всѣ мы, не вѣря себѣ,
Выбрали дѣло другое—
Не было бъ точно, согласенъ и я,
Жалкихъ писаекъ и педантовъ—
Только бы не было также, друзья,
Скоттовъ, Шекспировъ и Дантовъ!
Чтобъ одного возвеличить, борьба
Тысячи слабыхъ уносить—
Даромъ ничто не дается: судьба
Жертвъ искупительныхъ просить...

Въ основѣ всѣхъ задушевнѣйшихъ произведеній Некрасова лежитъ горячая и искренняя любовь — и, замѣтьте, любовь гражданская, что составляетъ главную характеристическую черту Некрасова. Некрасовъ—поэтъ-гражданинъ. Одна только эта горячая любовь и вызываетъ его слезы, и скорбь, и желчь, и насмѣшку. Главная причина его скорби—это отсутствіе того идеала, къ которому стремится поэтъ всей душою:

А что такое гражданинъ?
Отечества достойный сынъ.—
Ахъ, гдѣ же онъ? Кто не сенаторъ,
Не сочинитель, не герой,
Не предводитель, не плантаторъ,
Кто гражданинъ страны родной?
Гдѣ ты? Откликнись! Нѣтъ отвѣта.
И даже чуждѣ душѣ поэта
Его могучій идеалъ!
Но если есть онъ между нами,
Какими плачетъ онъ слезами!!....

Самъ Некрасовъ болѣе всего склоненъ видѣть въ себѣ сатирика, и только сатирика. Мы думаемъ совершенно на-

оборотъ: сатирикъ-то онъ именно меньше всего,—онъ поэтъ, крѣпко приросшій къ почвѣ русской жизни, поэтъ, сросшійся съ нею до того, что внѣ ея для него ничего не существуетъ, что каждая ея рана, боль и скорбь есть и его рана и скорбь; каждая ея надежда есть въ то же время и его надежда. Сатирикъ какъ-то невольно заставляетъ предполагать въ себѣ дидактизмъ, а въ Некрасовѣ дидактизма почти нѣтъ совершенно. Въ немъ дидактизмъ замѣняется желчью и соболѣзнованіемъ, которыя сами по себѣ жизненны въ высшей степени, тогда какъ дидактика въ сущности есть сухое, холодное, мертвое начало. Дидактикъ, повѣрьте, не написалъ бы ни пѣсни убогаго странника, ни думы, ни Саши и ничего подобнаго.

Если же вы хотите найти ключъ къ разгадкѣ всего направленія поэзіи Некрасова, то прочтите его „Старыя Хоромы“, „Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой“ и нѣкоторыя другія вещи изъ Лары, и вамъ станетъ ясно, что направленіе это подготовила сама жизнь—она первая положила въ него закваску и она же выработала изъ него поэта, который сталъ ея выраженіемъ.

Да, Некрасовъ, болѣе чѣмъ кто-либо другой, принадлежитъ намъ; онъ выработанъ намъ самую жизнь, онъ есть ея выраженіе, ея характеристика, ея протестъ. Скажемъ болѣе: онъ ея послѣднее слово. Настанетъ новый періодъ нашего соціальнаго бытія, выработаетъ общественная жизнь для себя инныя, новыя формы и иное содержаніе, тогда выработаетъ она и новое выраженіе для себя, и новаго поэта, который, быть можетъ, скажетъ тогда свое новое слово. А пока у нея, у этой жизни, остается только Некрасовъ неуклоннымъ выразителемъ ея грустныхъ проявленій. И какъ поэтъ этой жизни, онъ смѣло, прямо и совершенно чисто-сердечно имѣетъ полное право сказать:

Клянусь, я честно ненавиждѣль,
Клянусь, я искренно люблю! *)

Вс. Крестовскій.

*) Разборъ настоящей статьи см. въ слѣдующей крит. статьѣ А. Григорьева. Еще см. крит. статьи 1861 года: „Русск. Рѣчь“, № 103—104, стр. 805—809 (А. С.); „Современникъ“, № 1, въ статьѣ: „Литературн. Воспоминанія“, Н. Панаева; особое изд. Спб. 1876 г. стр. 328—330.

1862 г.

I.

*) Отчего это такъ у насъ теперь устроилось, что ни объ одномъ важномъ и знаменательномъ литературномъ явленіи нельзя въ настоящую минуту начать говорить, не попутавшись напередъ въ нашихъ печальныхъ литературныхъ дрязгахъ? Вотъ первый вопросъ, которымъ задается непремѣнно всякій искренній критикъ, если онъ дѣйствительно искрененъ. И, вѣдь, право, чѣмъ явленіе важнѣе и знаменательнѣе, тѣмъ неизбѣжнѣе является эта горькая необходимость. Хотѣлось бы прямо о дѣлѣ говорить, опредѣлить по крайнему честному разумѣнію мѣсто и значеніе извѣстнаго литературнаго факта въ ряду другихъ фактовъ, оцѣнить его безотнестельное достоинство,—такъ нѣтъ: прежде распутай паутину, которая соткалась вокругъ факта, и для того, чтобы распутать эту паутину, во-первыхъ, прежде всего подыми литературную исторію факта, т. е. расскажи, какъ фактъ принимался нашею такъ-называемою критикою, — которая, право, послѣ Бѣлинскаго утратила уже свой первый шагъ передъ литературою;—размотри, почему онъ такъ или иначе принимался, и во-вторыхъ, подними непремѣнно общіе вопросы, какъ будто все, что толковано о нихъ великимъ критикомъ, погребло совершенно безслѣдно. Въ примѣръ того и другого неудобства позвольте привести вамъ нѣсколько доказательствъ.

Возьмете ли вы явленія крупныя: ну, хоть, на примѣръ, „Минина“ Островскаго (хорошъ онъ или нѣтъ—не объ этомъ покажемъ рѣчь), „Мертвый Домъ“ Ф. Достоевскаго, „Стихотворенія Н. Некрасова“; возьмете ли вы явленія тоже значительныя, хотя менѣе яркія, какъ произведенія графа Л. Толстого, начавши говорить о которыхъ, я такъ запутался сразу въ литературныя дрязги, что до сихъ поръ еще высказалъ о самомъ предметѣ разсужденія, т. е. о дѣятельности

*) Аполлонъ Григорьевъ. „Время“ 1862 г., № 7. Статья подъ заглавіемъ „Стихотворенія Н. А. Некрасова“.

Л. Толстого, только сжатія общія положенія; возьмете ли вы, наконецъ, явленія чисто-художественныя, исключительныя, каковы стихотворенія любого изъ нашихъ лирическихъ поэтовъ,—вездѣ одна и та же печальная исторія.

Ну, какъ, напримѣръ, начать рѣчь хотъ о „Мининѣ“, не поднявши съ одной стороны вопроса о томъ, почему такое глухое молчаніе господствуетъ въ нашей критикѣ объ этой драмѣ? Недовольна критика—прекрасно; что жъ изъ этого? Бѣлинскій не молчалъ бы, еслибъ онъ былъ недоволенъ, какъ не молчалъ тогда, когда былъ недоволенъ поэмою Пушкина „Анджело“. Почему специалисты дѣла, т. е. глубокіе знатоки исторіи эпохи междоусобицы, не сказали до сихъ поръ своего слова, и почему неспециалисты могли разразиться только весьма краткою, но вмѣстѣ съ тѣмъ весьма замѣчательною ерундою? Съ другой стороны, какъ вы начнете говорить о „Мининѣ“, не предпославши статьѣ нѣсколько тертыхъ и перетертыхъ, вамъ самимъ давно надобившихъ теоретическихъ разсужденій—не говорю ужъ о сущности драмы вообще? Мы вѣдь все, рѣшительно все переабыли, что по части искусства вообще ни говорили намъ Бѣлинскій и немногіе вѣрные его ученики. Наше развитіе—дѣйствительно Сатурнъ, пожирающій чадъ своихъ, какъ выразился разъ въ своей неблагопристойной статьѣ пріятель мой „ненужный человѣкъ“. Вѣдь, вонъ же неспециалисты дѣла историческаго, поторопившись съ своей ерундою, поставили въ упрекъ драмѣ то, что она кончается въ Нижнемѣ, гдѣ *драма* дѣйствительно и кончается, и не переходитъ въ Москву, гдѣ начинается уже эпопея, гдѣ великая личность сливается, несмотря на все свое величіе, съ побѣднымъ торжествомъ громаднаго земскаго дѣла...

Вотъ вамъ одинъ фактъ изъ крупныхъ; а насчетъ „мелкихъ“—печальной необходимости „попутаться“ въ дрязгахъ и перетрясти старые вопросы, кажется, и разъяснять нечего. Начните, напримѣръ, говорить о стихотвореніяхъ Фета (я беру это имя, какъ наиболѣе оскорбленное и оскорбляемое нашей критикой...): тутъ, во-первыхъ, надобно кучу сору разворачивать, а во-вторыхъ, о поэзіи вообще говорить, о ея правахъ на всесторонность, о широтѣ ея захвата и т. п.,—

говорить, однимъ словомъ, о вещахъ, которыя критику надобли до смерти, да которыя и всѣмъ надобли, хотя въ то же самое время всѣми положительно позабыты.

Довольно съ васъ этихъ двухъ примѣровъ. Я не упомянулъ даже о послѣднемъ романѣ Тургенева, по поводу толковъ о которомъ пришлось порядочнымъ людямъ защищать великое и любимое имя отъ сближенія съ именемъ г. Кочки-Сохрана, и по поводу котораго чуть ли не придется ратовать *даже* (credite, posteri!!!) со статьею г. П. Кукова, потому что и эта статья тоже, пожалуй, находитъ извѣстный кругъ читателей.

Какъ же не путаница озадачиваетъ бѣднаго критика, лишь только подойдетъ онъ къ знаменательному явленію? Да что я говорю! Ему самую знаменательность-то напишихъ литературныхъ явленій приходится безпрестанно отстаивать. Потому что—странное, вѣдь, это право дѣло!—иностранцы, которые серьезно знакомятся съ русскою литературою, какъ, напримѣръ, гг. Боденштедтъ и Вольфсонъ, Мериме и переводчикъ Делаво, исполняются глубокаго къ ней уваженія, а мы или *игнорируемъ* ее за то, что она не англійская, какъ игнорируетъ ее „Русскій Вѣстникъ“, для котораго ея явленія—величины безконечно малыя; или ничего не видимъ въ ней, кромѣ лжи, какъ не видитъ славянофильство, или просто, наконецъ, какъ теоретики, похѣриваемъ ея значеніе нравнѣ съ значеніемъ литературы вообще, вещи совершенно ненужной въ томъ усовершенствованномъ мірѣ, гдѣ луна соединяется съ землею и гдѣ Базаровъ будетъ совершенно правъ, восторгаясь „свѣжатинкой“.

„Жалобы, вѣчныя жалобы!.. скажутъ мнѣ, навѣрное, немногіе мои читатели:—да говорите, дескать, дѣло, критикъ“. Я ничего бы лучшаго не желать, какъ говорить одно дѣло, говорить по возможности сжато, хотя не впадая въ „соблазнительную“ ясность (весьма удачный, по моему мнѣнію, терминъ другого моего литературнаго пріятеля, г. Н. Косицы), т. е. не мысля за васъ до тла и не отучая васъ отъ этого не всегда пріятнаго, но до сихъ поръ считавшагося довольно полезнымъ упражненія. Да, нельзя, рѣшительно нельзя, сами видите. Путаница—повсюду путаница.

Путаница эта, извольте видѣть, собственно двухъ родовъ: или эта путаница въ литературныхъ дрызгахъ, или это путаница въ рутинности мыслей и фразъ.

Два рода этой путаницы необыкновенно ярко кидаются въ глаза по отношенію къ этому большой гласности литературному факту, который называется „Стихотворенія“ Н. Некрасова.

Редакторъ „Времени“, съ которымъ я говорилъ объ этой назрѣвавшей у меня въ душѣ статьѣ, совѣтовалъ мнѣ поговорить сначала о критическихъ толкахъ по поводу стихотвореній любимаго современнаго поэта. Я читалъ эти толки, потому что до сихъ поръ сохранилъ наивнѣйшее уваженіе къ русской словесности, и интересуюсь не только ей самой, но даже и толками о ней: вотъ это-то послѣднее собственно и составляетъ — впрочемъ, позволительнѣйшую въ лѣта мои — наивность. Въ толкахъ этихъ сразу почувались мнѣ два указанные мною рода путаницы, — но только еще почувались, пока я читалъ ихъ какъ дилетантъ. Когда же я принялся за нихъ съ тѣмъ, чтобы изучить ихъ основательно какъ матеріалъ, два рода путаницы для меня въ нихъ окончательно, наяснѣйшимъ образомъ обозначились. Отъ одного рода мнѣ стало довольно тяжело, зато отъ другого весело.

Начну съ послѣдняго. Онъ удивительно рельефно явился въ „Русскомъ Словѣ“, въ статьѣ г. В. К—го. Уморительная, вѣдь, право статья! тѣмъ въ особенности уморительная, что она, повидимому, и прекрасно, и тепло, съ „заскокомъ“ написана, а между тѣмъ въ ней ничего... ровно ничего нѣтъ, кромѣ *казеницины* да *просаковъ*. Право такъ; я говорю безъ малѣйшаго преувеличенія. Ея молодой (по всей видимости) авторъ только и дѣлаетъ, что излагаетъ собственное сочувствіе къ народу да рутиннымъ образомъ восторгается сочувствіемъ къ народу нашего поэта, и съ другой стороны — безпрестанно попадаетъ въ просаки, указывая на такіе мѣста въ его стихотвореніяхъ, которыя въ глазахъ всякаго серьезно сочувствующаго и народу и Некрасову человѣка составляютъ просто пятна желчной горячки въ поэтическихъ отзывахъ этой высокой, но часто неумѣренно-раздражи-

тельной „музы мести и печали“... Ну, скажите, напримѣръ, какому человѣку съ здоровымъ... не говорю смысломъ, это будетъ обидно, — но съ здоровымъ чувствомъ, придетъ въ голову написать хоть вотъ эти строки съ слѣдующей за ними выпиской:

„Некрасовъ — говорить юный критикъ — страдаетъ вмѣстѣ съ русскимъ человѣкомъ, но *нисколько не идеализируетъ его*. Онъ умѣетъ заставить насъ сочувствовать его горю, совершенно не расцвѣчивая его. Онъ *глубоко* понимаетъ народъ, и *въ* всякой идеализаціи становится, даже безпощаднымъ въ отношеніи его и *проявленій его жизни и духа*. *За примѣромъ ходить недалеко*. (NB. Какъ кому! позволю себѣ замѣтить). Мы припомнимъ вамъ одно его стихотвореніе. *Вслушайтесь, всмотритесь въ него*“.

И за сямъ юный критикъ, въ доказательство, вѣроятно, того, какъ недалеко ему ходить за примѣрами, выписываетъ несчастное желчное пятно, подъ вліяніемъ котораго больной, раздраженный поэтъ взглянулъ на великую эпоху 1812 года, отмѣтивши въ ней по болѣзненному капризу только исключительный фактъ. Выписавши цѣликомъ этотъ поэтический промахъ («Такъ, служба! самъ ты въ той войнѣ» и проч. Я не буду, кромѣ крайнихъ случаевъ, прибѣгать къ выпискамъ изъ стихотвореній поэта, почти заученнаго читающимъ людомъ), юный критикъ „въ забвеніи чувствъ“ восклицаетъ:

„Вѣдь, не шутя морозъ подираетъ по кожѣ, становится страшно *отъ этой голой, ужасающей правды*. Вѣдь, нельзя отказаться: *это наше* (NB: слова эти — курсивомъ въ подлинникѣ), это наша жизнь или, по крайней мѣрѣ, одинъ изъ ея заурядно-характерныхъ эпизодовъ. Въ основѣ этой вещи лежитъ *страшное пониманіе русской жизни*, пониманіе ея до цинизма, до безпощадности, — и вотъ этимъ-то и дорожъ намъ Некрасовъ. Это странная, но жизненная смѣсь звѣрства, *удалой похвальбы* этимъ звѣрствомъ и совершенно человѣчнаго чувства жалости, состраданія, сожалѣнія — исполнѣ свойственны нашему сѣрому человѣку. На это стихотвореніе, сколько помнится, совершенно не было обращено вниманіе нашей критики, *а жаль, оно одно изъ самыхъ характерныхъ произведеній Некрасова*“.

Что вы, что вы, любезный мой господинъ юный критикъ! Да, вѣдь, вы вовсе не туда забрели, куда хотѣли. Вѣдь, знаете что? Вы совсѣмъ забыли, увлекшись, о чемъ это стихотвореніе. Вѣдь, оно о „вѣчной памяти двѣнадцатомъ годѣ“, котораго голая правда, та голая правда, къ которой вы проникнуты такою страстью,—не въ этомъ исключительномъ фактѣ, а въ возстаніи великаго народнаго духа, возстаніи, которое своею поэзіею и мощью сглаживаетъ несчастные и отвратительные эпизоды, неизбежные, къ сожалѣнію, во всякой народной войнѣ. Припомните - ка гверильясовъ Испаніи и припомните-ка тоже кстати, что величайшій поэтъ скорби, Байронъ, не на эти факты указываетъ, рисуя широкими чертами картину возвышенной народной борьбы въ первой пѣсни своего „Гарольда“,—онъ, безпощаднѣйшій, конечно, поболѣе Некрасова ко всему, даже къ своей Англіи, онъ, ненавистникъ всякаго насилія. Да припомните-ка еще, когда самъ поэтъ иногда въ своемъ превосходномъ стихотвореніи, здоровомъ и могучемъ стихотвореніи „На Волгѣ“, рисуетъ съ любовью и широкими чертами картину другого, хотя по смыслу менѣе великаго возстанія народнаго духа,—севастопольскаго возстанія. Вѣдь, вы явно увлеклись до „забвенія чувствъ“ Устиньки *). Вѣдь, вы просто вообразили, что стихотвореніе взято изъ эпохи Стеньки Разина. Тамъ точно были бы уместны (употребляю ваши, безъ отношенія къ этому стихотворенію, прекрасныя выраженія) „эта странная, но жизненная смѣсь звѣрства, удалой похвальбы этимъ звѣрствомъ“ и проч. А тутъ и удалой похвальбы-то нѣтъ, а есть одна безнравственная похвальба. Вѣдь, одностороннее представленіе событія, представленіе, лишающее событіе его настоящей, то-есть общей правды, то-есть поэтической и исторической правды, можетъ быть прощено больному и раздраженному человѣку, а не поэту. Вы Байрона-то, Байрона-то скорбнаго и раздраженнаго припомните, припомните эту дивную смѣсь негодованія на насиліе и любви къ великому, желчи на Англію и возвратовъ любви къ ней, къ ея величію, — которая власти-

*) „Праздничный сонъ до обѣда“. Сцены А. Н. Островскаго.

тельно царствуетъ надъ нашей душою, когда читаете „Гарольда“. И не жалѣйте вы, пожалуйста, что не оцѣнила критика этого стихотворенія Некрасова, а пожалѣйте лучше, что больной поэтъ не исключилъ нѣсколько желчныхъ пятенъ изъ ряда своихъ высокихъ созданий. И не этимъ дорогъ намъ Некрасовъ, т. е. не такимъ безпощаднымъ отношеніемъ къ дѣйствительности.

По одному этому эпизоду могутъ уже читатели судить о духѣ статьи. Къ ней, по одному этому эпизоду, можно обратиться съ словами: „Loquela tua manifestam te facit“. Просаки вродѣ указаннаго, да казенщина— вотъ ея содержаніе, и говорить о ней серьезно, какъ о толкѣ по поводу стихотвореній Некрасова, — рѣшительно нечего. Это только съ вѣтру.

Обращаюсь теперь къ другой статьѣ, представляющей собою другой родъ критико-литературной путаницы,—путаницу домашнихъ дразгъ.

Эта другая статья напечатана въ старѣйшемъ изъ нашихъ толстыхъ журналовъ — въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Въ противоположность вышеупомянутой она явнымъ образомъ писана критикомъ опытнымъ, критикомъ старымъ, исполнена застарѣлыми, такъ-сказать, заскорузлыми домашними дразгами. Она не бросается въ выпискахъ безразлично на хорошее и дурное: нѣтъ, какъ воронъ падали, ищетъ она желчныхъ пятенъ и тыкаетъ въ нихъ пальцемъ, по большей части справедливо. Иной вопросъ—справедливъ ли весь духъ ея. Для назиданія современниковъ и памяти потомства я позволю себѣ нѣсколько подробнѣе изложить ея содержаніе.

Начинаетъ статья прямо съ упрековъ поэту за то, что онъ въ одномъ стихотвореніи изображаетъ горькими чертами участь поэта, который

Стать обличителемъ толпы,
Ея страстей и заблужденій,

и доказывается весьма основательно по отношенію къ нашему времени, что быть поэтомъ обличительнымъ гораздо *выгоднѣе*, чѣмъ быть поэтомъ незлобивымъ. Слово *выгоднѣе*... Въ статьѣ, впрочемъ, не употреблено слово *выгоднѣе*, но для

тѣхъ, которые привыкли читать между строками, оно въ ней слышно.

Что же такое, спрашиваю я васъ, какъ не домашнія дразги, подобный пріемъ?.. Отчего въ ту эпоху, когда Гоголь начиналъ одну изъ главъ своихъ „Мертвыхъ Душъ“ элегією различной участи двухъ писателей: одного, на долю котораго выпало изображеніе „прекраснаго“ человѣка, и другого, на долю котораго досталось изображеніе пошлости пошлаго человѣка, никто не покушался начать статью о его поэмѣ доказательствами, что гораздо *выгоднѣе* въ наше время изображать пошлость пошлаго человѣка?.. А, вѣдь, и тогда уже это хорошо зналось и чувствовалось!... и тогда карающая поэзія, видимо, брала перевѣсъ надъ спокойной поэзіей... Статья все это очень хорошо сама знаетъ, но ей *выгодно* упрекнуть г. Некрасова за его ложное мнѣніе объ участи поэта-обличителя...

Почему выгодно? спросять, можетъ быть, немногіе читатели, непосвященные, несмотря на всѣ наши совокупныя усилія россійскихъ литераторовъ, въ наши аргана *fidei*, въ наши милыя домашнія дразги? А вотъ почему. Сразу надобно тонъ задать. Сразу нужно сказать, что желчное вдохновеніе музы Некрасова, если не всецѣло, то по крайней мѣрѣ наполовину—вдохновеніе преднамѣренное, вдохновеніе, такъ-сказать, рассчитавшее свои шаги.

Жалкій, больше позволю себѣ сказать—постыдный пріемъ!.. А, впрочемъ, коли хотите, не новый. Находились же люди, которые, напримѣръ, приписывали Шатобріану преднамѣренность и расчетливость въ его католическо-романтическихъ стремленіяхъ. Отчего же не заподозрить въ преднамѣренности и поэтовъ стремленій противоположныхъ? Нѣтъ нужды до того, что стихотворенія Некрасова вообще и стихотвореніе, указываемое критикомъ въ особенности—исторически вышли изъ той эпохи, когда обличеніе и кара сами еще не вѣрили въ свою силу, когда сами поэты обличенія и кары, какъ Гоголь, Лермонтовъ и Некрасовъ, смотрѣли искренно, какъ на тяжкій крестъ, на свое мрачное призваніе. Нѣтъ нужды до міра души поэта, возмущеннаго преслѣдующими душу тягостными впечатлѣніями, міра, са-

мому поэту подчасъ непереноснаго, и который онъ считаетъ искренно столь же непереноснымъ подчасъ для его читателей. Нѣтъ нужды, наконецъ, и до того, что Лермонтовъ, столь же мало, какъ и Некрасовъ, имѣвшій право жаловаться на безучастіе людей къ его поэзіи, но преслѣдуемый давящимъ его кошмаромъ, суровыми и горькими чертами изображаетъ участь скорбнаго пророка, въ котораго всѣ ближніе его

Кидали бѣшено каменья...

Нѣтъ нужды ни до чего такого. Нужно только одно: внушить ловко и тонко подозрѣніе къ искренности „музы мести и печали“ любимаго читателями поэта...

„Пушкинъ—говорить затѣмъ, повидимому, весьма резонно статья—жаловался на толпу, и г. Некрасовъ жалуется на толпу; Пушкинъ жаловался, что толпа не понимаетъ только искусства; г. Некрасовъ жалуется, что толпа понимаетъ искусство; Пушкинъ требовалъ чувства, г. Некрасовъ требуетъ желчи... Какое странное потемнѣніе и въ такой короткій періодъ времени. Здѣсь что-нибудь да не такъ“.

Это точно, что не такъ. Но особенныхъ загадокъ, кажется, искать нечего.

Знаете ли что? Ежели мы сколько-нибудь поглубже всмотримся въ поэтическія избранныя натуры, мы едва ли не дойдемъ до примиренія требованій Пушкина съ требованіями... ну хоть Гоголя, ибо мнѣ, старовѣру, при всей любви моей къ поэзіи Некрасова, все какъ-то неловко, изволите видѣть, поставить его имя на одну доску съ именемъ одного изъ величайшихъ поэтовъ міра. Упрекая ли толпу за непониманіе искусства, какъ Пушкинъ въ то время, когда одно только искусство поднимало душу человѣческую выше общаго фамусовскаго и молчалинскаго строя, и устанавливая въ душѣ новыя требованія, готовило новую эпоху; упрекая ли толпу за то, что она понимаетъ только искусство,—подразумѣвается какое искусство: искусство безъ содержанія, искусство, ставшее баловствомъ, празднымъ дилетантствомъ,—поэты всегда хотятъ отъ толпы одного: возвышенія ея душевнаго строя. Вѣдь, не за то, положимъ, хотѣ

Некрасовъ упрекаетъ толпу, что она понимаетъ искусство въ пушкинскомъ смыслѣ: до пониманія этого искусства она по большей части не доросла, ибо дорости она — такъ были бы ненужны

Бичи, темницы, топоры;

а за то, что она способна празднo баловаться разными наслажденіями, принимаемыми ею за искусство, и затѣмъ остается такъ же груба и безчувственна... Понятіе объ искусствѣ поклонники такъ-называемаго чистаго искусства, искусства для искусства, довели до грубѣйшей гастрономіи эстетической. Это понятіе, какъ кажется поэту, привилось и къ толпѣ. Вотъ съ этимъ - то онъ и ратуетъ, т. е. съ пошлымъ и низкимъ душевнымъ строеніемъ толпы, какъ ратовалъ съ нимъ и Пушкинъ, знавшій тоже очень хорошо, какъ

Выстраданный стихъ

Ударить по сердцамъ съ невѣдомою силой,

и хвалившійся не тѣмъ, что онъ „чистый художникъ“, а тѣмъ

Что чувства добрыя я лирою пробуждалъ...

Но пойдемте далѣе за искусной и ловкой статьей опытнаго критика.

„Однакожь наши загадки—говорить онъ—будутъ продолжаться на тему только-что выписаннаго нами стихотворенія. Въ немъ цѣлый трактатъ о поэзіи, трактатъ новый, не проверенный критикой и основанный на новыхъ началахъ—желчи...“

Вѣдь, вотъ охота же, подумаешь, видѣть всюду и вездѣ что-то новое! — невольно прерываю я выписку. Странное это, право, дѣло, что „Отечественныя Записки“, несмотря на свои почтенныя лѣта, не могутъ затвердить для себя мудрый совѣтъ Горация: *nil admirari!*.. То имъ покажется чѣмъ-то новымъ и особеннымъ наше народное міросозерцаніе, и они разжалуютъ какъ-разъ Пушкина изъ народныхъ поэтовъ, то имъ вдругъ ново то, что поэзія, какъ только она вышла изъ растительнаго момента, изъ непосредственнаго сліянія

съ народною жизнью, какъ только она стала художественною — носить въ себѣ непремѣнно начала протеста, живетъ анализомъ и этимъ поднимаетъ душевный строй массы. Дѣйствительно, какъ говоритъ критикъ, „понятія наши спутались“; но выраженіе это относится собственно къ нему и къ его журналу. А все виноваты сказки, собранныя г. Аванасьевымъ, и псевдо-якушкинскій сборникъ пѣсенъ. Не будь ихъ, этихъ явленій, перевернувшихъ вверхъ дномъ всю критику журнала, — понятія его критиковъ не спутались бы до того, чтобы народность, т. е. національность, грубо смѣшать съ простонародностью и лишить Пушкина его національнаго значенія, вслѣдъ за чѣмъ слѣдовало бы логически лишить національнаго значенія и Гёте, и Шиллера, и даже самого Шекспира, оставшись, да и то съ грѣхомъ пополамъ, при Гебелѣ, Бёрнсѣ и Кольцовѣ. Съ другой стороны, если бъ вчитались хорошенько критики журнала въ напечатанные у нихъ памятники растительной поэзіи, они бы убѣдились, хоть на раскольническихъ стихахъ, напримѣръ, что какъ только народная жизнь раздвоится, поэзія начинаетъ жить протестомъ, — протестомъ и слезъ, и горя, и желчи. „Гдѣ жизнь, тамъ и поэзія“, говорилъ Надеждинъ. Можно добавить: гдѣ поэзія, тамъ и протестъ. Поэзія есть высшее, лучшее и наиболѣе дѣйствительное узаконеніе этого святѣйшаго изъ правъ человѣческой души. Оттого-то безъ нея побрякушекъ, по слову Гоголя, заглохла бы жизнь и проч.

Кажется бы дѣло очень ясное, и что тутъ попустому путаться? Никакихъ новыхъ началъ, кромѣ изстаринныхъ и вѣчныхъ, въ современной поэзіи нѣтъ, да и быть не можетъ. Новыя формы, а начала все тѣ же, какъ та же душа человѣческая, рѣшительно не подлежащая развитію. Что было для нея поэзіей, то поэзіей и осталось: одно — какъ прошедшее, потерявшее, конечно, свою толкающую впередъ силу относительно къ обществу, но сохранившее свою власть надъ индивидуальнымъ усовершенствованіемъ, другое — какъ настоящее, полное протеста и движенія. Такъ нѣтъ, критику кажется, что новыя „начала эти, какъ и стихотворенія г. Некрасова, успѣли утвердиться въ нашей литературѣ помимо

критики, минуя ея привязчивыя требованія и одною силою обстоятельствъ, силою напора ихъ...“ Да, вѣдь, дѣло-то въ томъ, что если дѣйствительно стихотворенія Некрасова успѣли утвердиться въ нашей литературѣ, то утвердились не во имя новыхъ началъ, а просто потому, что они — поэзія, что въ нихъ душа нашла отзывъ на свою жизнь; а если они утвердились помимо критики, такъ виновата въ этомъ близорукость нашей критики. Дѣло опять очень простое и путаться въ немъ нечего.

Критика наша точно молчала о стихотвореніяхъ Некрасова, и на то были двѣ причины. Одна заключалась въ независящихъ отъ критики обстоятельствахъ, и ее разяснить не нужно. Другая... другая рѣшительно заключалась въ печальныхъ домашнихъ дразгахъ, которымъ она предавалась съ какимъ-то упоеніемъ по смерти своего великаго руководителя Бѣлинскаго, домашнихъ дразгахъ, вслѣдствіе которыхъ она долго не признавала Островскаго, тупо молчить о Ѳ. Достоевскомъ, восторгалась Обломовымъ и проч. и проч.

По отношенію къ Некрасову являются два сорта домашнихъ дразгъ. Во-первыхъ, тѣ, вслѣдствіе которыхъ люди, внутренне глубоко сочувствовавшіе его поэзіи, иногда какъ-будто враждебно къ ней относились, приводимые въ справедливое негодованіе преувеличенными возгласами его исключительныхъ поклонниковъ; во-вторыхъ... а во-вторыхъ, тѣ, вслѣдствіе которыхъ явилась, напримѣръ, статья „Отечественныхъ Записокъ“. Первые, хоть и дразги же, имѣютъ все-таки какой-либо литературный характеръ; другіе же чисто основываются на личныхъ отношеніяхъ къ поэту. Не говоря, конечно, ни слова о сихъ послѣднихъ, критикъ „Отечественныхъ Записокъ“ мѣтко указываетъ на первые.

„Въ самомъ дѣлѣ,— говоритъ онъ,— гдѣ до настоящаго времени оцѣнка таланта г. Некрасова? Ея нѣтъ. Раздавались изрѣдка въ литературѣ похвальные отзывы о немъ, на него возлагались надежды; „современники“, ни сколько не сконфуженные стихомъ г. Некрасова, что „заживо готовятся памятники только незлобивымъ поэтамъ“, говорили: „если бы да не обстоятельства, мы имѣли бы случай вѣ-

дѣтъ нашего истиннаго поэта"—и эти скромные отзывы „современниковъ“ о своемъ поэтѣ замѣняли все: критику, похвалу, скромность и намекъ. Другіе, приведенные въ негодованіе намеками, старались отнять всякія достоинства у г. Некрасова...”

Это очень вѣрно, хотя далеко не полно. Я, впрочемъ, оставлю пока въ сторонѣ толкъ о домашнихъ дразгахъ, на которые указалъ критикъ „Отечественныхъ Записокъ“, и займусь тѣми, на которые онъ по естественному чувству самосохраненія не указываетъ, т. е. буду продолжать анализъ его собственной статьи.

„Мы—говоритъ критикъ вслѣдъ за вышеприведеннымъ мѣстомъ—не будемъ дѣлать ни того ни другого, а съ благодарностью возьмемъ то, что онъ предлагаетъ намъ прекраснаго, и укажемъ то, что, по нашему мнѣнію, есть произведеніе одной желчи, новаго принципа въ поэзіи, котораго мы не признаемъ (мы старовѣры—и признаемъ чувство), или что составляетъ сухой перечень „хорошихъ мыслей“, по мнѣнію „современниковъ“, но, по нашему мнѣнію, не одно и то же, что поэзія...”

Все это прекрасно, кромѣ безусловнаго отрицанія законности желчи въ поэзіи, которую не должно смѣшивать съ болѣзненными желчными пятнами, и отрицая которую мы должны будемъ развѣнчать Байрона; все это прекрасно, повторяю я, насколько это искренно—мудрено сказать.

„Благодарное принятіе“ прекраснаго, находящагося въ стихотвореніяхъ Некрасова, заключается:

1) Въ совершенно дикой и неумѣстной выходкѣ на поэта за стихотвореніе:

„Наивная и страстная душа“,

которое критикъ подозрѣваетъ посвященнымъ памяти Бѣлинскаго. Дикость выходки заключается въ томъ, что критику показалось почему-то стихотвореніе поэта обиднымъ.

2) Въ скромной похвалѣ стихотвореніямъ: „Въ деревнѣ“, „Несжатая Полоса“ и „Забятая Деревня“, — похвалѣ, въ которой такъ и слышно, что эти стихотворенія хороши не столько сами по себѣ, сколько по выгодному выбору пред-

мета, потому что ловко приноровились къ потребностямъ времени, при чемъ между прочимъ высказывается новое эстетическое положеніе, что „г. Некрасовъ рѣшительно не художникъ, а *только* лирикъ тамъ, гдѣ онъ *можетъ* совладать со стихомъ“, какъ-будто лирикъ—не художникъ.

3) Въ странномъ сопоставленіи поэмы „Сапа“ съ тургеневскимъ „Рудинымъ“ и обвиненіи поэта въ явномъ подражаніи.

4) Наконецъ, въ нѣсколькихъ справедливыхъ замѣткахъ насчетъ желчныхъ пятенъ поэзіи Некрасова.

Какой же заключительный выводъ статьи? А вотъ онъ вамъ цѣликомъ:

„Есть поэты съ міросозерцаніемъ широкимъ и узкимъ: это не подлежитъ сомнѣнію. Многіе, вѣроятно, думаютъ, что г. Некрасовъ принадлежитъ къ первымъ...“

Но я не продолжаю выписки. Вы уже поняли, что Некрасовъ принадлежитъ къ поэтамъ съ міросозерцаніемъ узкимъ. И прекрасно. Вся цѣль статьи заключалась въ этомъ выводѣ.

До опредѣленія существенныхъ свойствъ поэзіи Некрасова, разъясненія историческихъ причинъ ея появленія и громаднаго успѣха—критику нѣтъ дѣла. Онъ пишетъ явно подъ вліяніемъ одного только негодованія на исключительныхъ поклонниковъ Некрасова, и по временамъ подъ вліяніемъ другого сорта домашнихъ дрызгъ. Съ перваго приема чуетъ уже въ статьѣ какое-то затаенное враждебное настроеніе, и не измѣняетъ ей во все ея теченіе.

По отношенію къ вопросу о значеніи поэзіи Некрасова, она рѣшила дѣло столь же мало, какъ рутинно-хвалебная статья г. В. К—го.

II.

А, вѣдь, стоитъ и стоитъ серьезнаго обыскаго изслѣдованія вопросъ о значеніи поэзіи Некрасова, ибо значеніе это несомнѣнно. О немъ свидѣтельствуетъ та необыкновенная популярность,—я не скажу еще народность,—которой достигли эти вдохновенія „музы мести и печали“. Вѣдь, популярность

эта куплена не однимъ тѣмъ только, что поэтъ затронулъ живую струну современности, указавъ на ея больныя мѣста. Вмѣстѣ съ этими *лирическими*, стало-быть, по мнѣнію критика „Отечественныхъ Записокъ“, *нехудожественными* произведеніями являлось множество другихъ, съ большими претензіями на художественность. Они затрогивали тѣ же струны, тревожили тѣ же больныя мѣста русской жизни. И они между тѣмъ почти-что забыты, даже очень талантливыя изъ нихъ, какъ, напримѣръ, „Антонъ-Горемыка“. Отчего же живутъ, да еще какъ живутъ, до сихъ поръ самыя первыя пѣсни Некрасова? Какъ „ударили“ онѣ разъ „по сердцамъ съ невѣдомою силой“, такъ и до сихъ поръ ударяютъ. Можно сказать даже, что сила ихъ на молодое поколѣніе все росла и росла въ теченіе пятнадцати лѣтъ. Стало-быть, есть же въ нихъ что-то такое свое, особенное, „некрасовское“, и, стало-быть, это свое, особенное, некрасовское коренится органически въ самомъ существѣ русской національности (я ужъ боюсь употреблять слово „народность“, ибо это понятіе слишкомъ обузили въ послѣднее время). И, вѣдь, ужъ что хотите, ничего не подѣлаете: имя поэта не ставится въ рядъ съ именами даже даровитѣйшихъ изъ второстепенныхъ дѣятелей литературы, каковы, положимъ въ разныхъ родахъ, Фетъ, Писемскій, Гончаровъ: нѣтъ, оно на ряду съ именами Кольцова, Островскаго, Тургенева. Шутка! Въ чемъ же эта особенность поэзіи Некрасова и вмѣстѣ въ чемъ ея національность, въ чемъ ея органическая сущность? Вотъ главный вопросъ, который должна предложить себѣ критика.

А между тѣмъ, все-таки прежде чѣмъ приступить къ этому прямому дѣлу, надобно очистить еще послѣдній домашній дрязгъ. Онъ и поведетъ, впрочемъ, къ прямому дѣлу.

Критикъ „Отеч. Записокъ“ указавъ на тотъ фактъ, что „современники“ слишкомъ нецеремонно выражали свое крайнее сочувствіе къ поэзіи Некрасова, но указаніе его неполно, неточно и главное,—узко. Что намъ за дѣло, что „современники“ въ томъ узкомъ смыслѣ, какой явно желаетъ придать этому слову критикъ, говорили о Некрасовѣ, пожалуй, и больше того, что привелъ онъ, говорили прямо-

что если бы не обстоятельства, то значеніе поэта въ нашей литературѣ было бы выше значенія Пушкина и Лермонтова?.. Мало ли что говорить у насъ можно. Да сила не въ томъ: они говорили, и ихъ слушали съ сочувствіемъ, слушали настоящіе современники, слушало молодое поколѣніе, и слушая ихъ, только и питалось нравственно почти исключительно некрасовскою поэзіею.

Перенесемтесь за пятнадцать лѣтъ назадъ. Еще имя Некрасова вовсе не извѣстно или извѣстно съ вовсе незавидной стороны. Некрасовъ еще водевилистъ и писатель повѣстей, не производившихъ особеннаго впечатлѣнія, но въ которыхъ, порывшись, найдешь уже заложеніе „мести и печали“. Еще всею силою своей давить насъ мрачное обаяніе поэзіи Лермонтова, еще за абсолютнымъ отрицаніемъ Гоголя не видать вдали ни болѣзненно-симпатичныхъ отношеній къ нашей жизни Достоевскаго, ни любви съ грустью пополамъ къ родной почвѣ Тургенева, ни всего менѣе—здоровыхъ, простыхъ приемовъ Островскаго. Это еще время повѣстей сороковыхъ годовъ съ ихъ вѣчною темою о трагической гибели избранныхъ женскихъ и мужскихъ натуръ, задыхающихся въ грязной и душной „дѣйствительности“. Дѣйствительность наша намъ, совершенно одурманеннымъ привитыми извнѣ идеалами, кажется звѣремъ. Мы боремся съ нимъ, мы клеветимъ даже на этого звѣря, клеветимъ до цинизма, ругаемся надъ воспоминаніями дней,

извѣстныхъ

Подъ звонкимъ именемъ роскошныхъ и чудесныхъ,

разоблачаемъ безжалостно и даже иногда легкомысленно-безжалостно завѣтнѣйшія чувства наши, посмѣиваясь надъ ними и надъ многими дорогими образами. Еще разъ повторяю: мы клеветимъ и на себя и на дѣйствительность, т. е. на начала нашего быта и собственной нашей души... Великій вождь нашъ самъ увлекся въ этотъ „необузданный потокъ“, и влечетъ насъ все далѣе и далѣе всей силою своей сердечной діалектики, всѣмъ пламенемъ своего краснорѣчія. Бѣлинскій сороковыхъ годовъ уже не тотъ Бѣлинскій тридцатыхъ, который жарко вѣрилъ въ искусство, какъ въ выс-

шее изъ откровений жизни. Бѣлинскій уже весь — протестъ, и все вмѣстѣ съ нимъ и вслѣдъ за нимъ протестуетъ, протестуетъ жарко, энергически, до крайнихъ граней, до клеветы.

Но не попрекайте, господа, насъ, людей той эпохи, эту клеветою. Законна была эта клевета. Она происходила отъ глубокаго, вполне русскаго, т. е. цѣльнаго увлеченія великими идеалами, и мы, полные этими идеалами, сами, какъ различныя „Наташи“, „Романы Петровичи“ и проч., задыхались въ тѣхъ поверхностныхъ слояхъ дѣйствительности, которые мы съ наивною принимали за слои бытовые. Въ односторонности нашего взгляда была, вѣдь, и своя доля правды, лежали залогов безпощаднаго и вмѣстѣ прямого анализа. Мы были виноваты въ томъ только, что эти залогов сразу принимали за конечные результаты; что не достаточно всмотрѣлись въ самихъ себя и, снимая наносные слои, думали, что дорылись до почвы и разрывались съ этою почвою. Разрывъ этотъ былъ постоянно привѣтствіемъ и напутствіемъ великаго вождя и сочувствіемъ читающей массы. Мы мчались впередъ, закусивши удила, пока не ударились въ какую-то стѣну. Натуры высшія, какъ Гоголь и Бѣлинскій, даже не выдержали этого удара, и погибли рановременно, мученически. Ни тотъ ни другой не имѣли даже отрады умирающаго Моисея, — отрады видѣть обѣтованную землю хоть издали. Одинъ изъ нихъ, Гоголь, погибъ вслѣдствіе трагической необходимости: ему не было выхода изъ его дороги: великій отрицатель могъ только сочинять, выдумывать положительныя стороны быта и жизни. Другой погибъ вслѣдствіе чистой случайности, уже, можетъ-быть, видя смутно грань поворота дороги. Какъ жизнь сама, пламенный и воспримчивый, онъ — нѣтъ сомнѣнія — остался бы вѣчно вождемъ жизни, еслибы организмъ его выдержалъ.

Но въ тотъ моментъ, въ который просилъ я перенестись мысленно читателя, мы еще лбомъ въ стѣну не ударились. Мы еще фанатически вѣрили и „въ гордое страданье“, и въ „проклятiя право святое“ — позволяю себѣ для большаго couleur locale брать самыя крайнія выраженія, заимствуя ихъ какъ у другихъ, такъ и у себя, у бывалаго себя той старой эпохи... Еще не сказано было или лучше не сочинено

еще было дешевою практическою мудростью охлаждающее слово „Обыкновенной Исторіи“, еще Романъ Петровичъ „Послѣдняго Визита“ не былъ для насъ „педаантъ, варенный на меду“, а казался чуть что не идеаломъ человѣка, еще Тургеневъ не принялся за грустный и симпатичный, но тѣмъ не менѣе правдивый анализъ натуры сконфуженныхъ жизнью личностей, вынужденныхъ, по выраженію монологовъ одного поэта,

.....горько надъ своимъ безсиліемъ смѣяться
И видѣть вокругъ себя безсиліе людей;

еще и вдали не виднѣлись намъ ни его „Лишній человѣкъ“, ни пустой, хоть и богато одаренный Веретевъ, ни безсильный дѣломъ, хотя могучій словомъ Рудинъ, ни честный, но въ конецъ загубленный предшествовавшимъ своимъ развитіемъ Лаврецкій...

Прошли годы—и

что жъ осталось,

Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей?

Что осталось отъ всей этой пламенно протестовавшей литературы сороковыхъ годовъ?.. Кто помнитъ „Послѣдній Визитъ“, кто помнитъ повѣсти Сто-одного—эти крайнія, голыя, сухія выраженія протеста, сходившія однако не только съ рукъ, но возбуждавшія даже интересъ своимъ голымъ протестомъ? Кто перечтетъ даже рассказы и повѣсти даровитаго Панаева?.. Знаете ли что для насъ уцѣлѣло изъ всей этой эпохи? Стоны сердца одного поэта—да одно некрасовское стихотвореніе, въ которомъ сжались, совмѣстились всѣ новости сороковыхъ годовъ,—первое стихотвореніе, выдвинувшее впередъ личность поэта. Вы, конечно, поняли, что я говорю о стихотвореніи „Въ дорогѣ“, объ этой горькой, односторонней, но правдивой въ своей односторонности пѣснѣ объ избранной и нѣжной натурѣ, загубленной дѣйствительностью, съ которой она разошлась и которая ее не понимаетъ, не можетъ даже понять, что это она

На какой то патреть все глядитъ,
Да читаетъ какую-то книжку...

Ну, зачѣмъ намъ перечитывать длинныя повѣсти о разныхъ Наташахъ, которымъ вмѣнялась авторами въ добродѣтель такая простая и обязательная вещь, какъ чистоплотность, все въ видѣ протеста противъ грубой и грязной дѣйствительности? Вся эпоха этихъ повѣстей тутъ, въ некрасовской пѣснѣ, отлилась въ сжатую поэтическую форму, точно такъ же, какъ всѣ варенныя на меду скорби Романовъ Петровичей не стоятъ одного изъ горькихъ стонѣвъ Огарева.

Эта первая изъ некрасовскихъ пѣсенъ совпала съ рядомъ новыхъ, неожиданныхъ явленій въ литературѣ. Она появилась въ „Петербургскомъ Сборникѣ“, а въ этомъ „Петербургскомъ Сборникѣ“ появились „Бѣдные Люди“ Достоевскаго, появилась первая вполнѣ блестящая вещь Тургенева: „Три Портрета“ и его же поэма „Помѣщикъ“, которая была бы великолѣпною вещью, еслибы поэтъ написалъ ее, какъ пародію на повѣсти сороковыхъ годовъ, поэма, въ которой, къ сожалѣнію, серьезно негодуетъ поэтъ на „козлиные“ (вмѣсто: „козловые“) бапмаки провинціальныхъ дѣвицъ, на то, что дѣйствительность ѣсть, пѣть и спать...

Двѣ вещи „Сборника“ произвели общее сильное впечатлѣніе: „Бѣдные Люди“ и некрасовское стихотвореніе „Въ дорогѣ“. Разсказъ Тургенева „Три Портрета“ не былъ оцѣненъ, и былъ только обруганъ К. Аксаковымъ за блестящее изображеніе гнилого человѣка, какъ-будто Тургеневъ выставлялъ за идеалъ своего Василья Лучинова, и какъ-будто онъ, художникъ, виновать въ зловѣщемъ обаяніи представленнаго имъ образа!

Не потому только произвело сильное впечатленіе стихотвореніе Некрасова, что оно совмѣстило, сжало въ одну поэтическую форму цѣлую эпоху прошедшаго. И это, конечно, достоинство немалое. Но оно, это небольшое стихотвореніе, какъ всякое могучее произведеніе, забрасывало сѣти и въ будущее. Вглядитесь-ка въ него даже теперь, когда уже пятнадцать лѣтъ прошло съ его появленія. Не говорю о его формѣ, о томъ, что не поддѣлка подъ народную рѣчь, а рѣчь человѣка изъ народа въ немъ послышалась, — нѣтъ, всмотритесь въ его содержаніе, въ новостъ

постановки стараго вопроса. Когда вы читывали, бывало, „Послѣдній Визитъ“, „Безъ Разсвѣта“ и повѣсти Панаева, вы, читатель, а паче всего вы, читательница, „ничто же сумняся“, съ азартомъ винили грубую дѣйствительность: *заѣла она, собака, избранныя личности Еленъ, Наташъ, Романовъ Петровичей!* Ну, а, вѣдь, читая даже тогда стихотвореніе Некрасова, вы едва ли съ озлобленіемъ отнеслись къ ямщику, хотъ онъ и говорить:

А чтобъ бить—видить Богъ не бивать,
Развѣ только подъ пьяную руку...

а можетъ-быть, именно потому, что онъ *такъ* говорить.

Изъ стихотворенія явно было, что его писалъ человѣкъ съ народнымъ сердцемъ, человѣкъ закала Кольцова, что онъ не сочиняетъ ни рѣчи ни сочувствій. И тѣмъ поразительнѣе была новость этой пѣсни, что подлѣ нея же другія стихотворенія Некрасова, несмотря на силу протеста, неприятно дѣйствовали то рутинностью, то водевильностью своего тона, и потому неприятною для эстетическаго чувства даже и въ такихъ сильныхъ по содержанію вещахъ, какъ:

Жизнь въ трезвомъ положеніи
Куда нехороша!

Въ явленіяхъ, или, лучше-сказать, въ откровеніяхъ жизни есть часто безспорный параллелизмъ. Новое отношеніе къ дѣйствительности, къ быту, къ народу, смутно почувствовавшееся въ стихотвореніи Некрасова, почувствовалось тоже и въ протестѣ „Бѣдныхъ Людей“, протестѣ противъ отрицательной гоголевской манеры въ первомъ еще молодомъ голосѣ за „униженныхъ и оскорбленныхъ“, въ сочувствіи, которому волею судебъ надо было выстрадаться до сочувствія къ обитателямъ „Мертваго Дома“. Затѣмъ дѣло пошло разъясняться. „Петербургскій Сборникъ“ былъ только предвѣстникомъ „Современника“, но еще прежде появленія „Современника“, если память меня не обманываетъ, раздалась другая удивительная пѣсня Некрасова — объ „огородникѣ“, и тоже „ударила по сердцамъ съ невѣдомою си-

лой". Съ тѣхъ поръ пѣсни Некрасова сдѣлались безъ преувеличенія говоря — событіями.

Но... и вотъ тутъ-то я въ послѣдній разъ поднимаю по-стѣдній домашній дразгъ: всѣ ли эти пѣсни, дѣйствовавшія какъ событія на молодое читающее поколѣніе, и какъ событія же дразнившія до пѣны у рта поколѣніе устарѣлое,— всѣ ли онѣ были такъ правильно жизненны, какъ эти двѣ первыя? Человѣкъ съ народнымъ сердцемъ, съ такимъ же народнымъ сердцемъ, какъ Кольцовъ и Островскій, поэтъ (да простить онъ мнѣ, одному изъ жаркихъ его поклонниковъ), всегда ли какъ Кольцовъ и Островскій бережно хранилъ чистоту своего народного сердца?.. Не кадилъ ли онъ часто личнымъ раздражительнымъ внушеніямъ и даже интересамъ минуты? Всегда ли онъ вполне сознательно и объективно ставилъ себѣ свои мучительные вопросы? Если нѣтъ, то зналъ ли онъ, какой отвѣтственности подвергается онъ передъ судомъ потомства, онъ, неотразимо увлекавшій своими пѣснями все молодое поколѣніе?

Вѣдь, ужъ надобно все сказать. Я не виню Некрасова въ томъ, что молодое поколѣніе въ настоящее время никого, кромѣ его, не читало. Оно вообще ничего не читаетъ, и другъ мой, „ненужный человѣкъ“, едва ли не былъ правъ, назвавши его циническую статью—статьею о распространеніи безграмотности и невѣжества въ російской словесности,—но въ этомъ не виноватъ поэтъ, а виноваты его неумѣренныя и исключительныя поклонники, въ родѣ покойнаго Добролюбова и др.—Я виню Некрасова въ томъ, что онъ иногда слишкомъ отдавался своей „музѣ мести и печали“, руководился подчасъ слѣпо, безсознательно, стало-быть, недостойно истиннаго художника, ея болѣзненными внушеніями. Неужели ему самому любо, что наравнѣ съ высокими его пѣснями, поколѣніе, на пѣсняхъ его воспитавшееся, восторгается бессмысленно и желчными пятнами въ родѣ стихотворенія о двѣнадцатомъ году, „Свадьбы“, сказанія о Ванькѣ ражемъ и проч. и проч.? Неужели ему любъ такой безразличный и бессмысленный восторгъ? Вѣдь, онъ поэтъ, и большой поэтъ! Вѣдь, его впечатлительной натурѣ доступнѣе, чѣмъ многимъ другимъ, должна быть простая,

но мученически выстраданная Гоголемъ истина, что „съ словомъ надобно обращаться честно“.

Было время, и не такъ еще давно было, когда я, сочувствуя всѣмъ сердцемъ поэзіи Некрасова, положительно ненавидѣлъ вліяніе этой поэзіи на эстетическое, умственное и нравственное развитіе молодого поколѣнія, хотя очень хорошо сознавалъ, что не сама она, не поэзія виновата, а поэтъ, слѣпо къ ней относящійся, и преимущественно его яростные поклонники. Вѣдь, одной поэзіи желчи, негодованія и скорби слишкомъ мало для души человѣческой. Но теоретики рѣшительно сумѣли увѣрить своихъ послѣдователей, что это одно только и нужно. Своей „соблазнительной ясностью“ они отучали ихъ мыслить; своимъ послѣдовательнымъ азартомъ они отучали ихъ чувствовать широко и многосторонне. На нашихъ глазахъ совершались и доселѣ еще совершаются идольскія требы теоріи. Говорить ли о нихъ? Факты всѣмъ извѣстны. Поэзія Пушкина — не говорю уже другихъ, *меньшихъ* — побрякушки, и въ концѣ-концовъ, поэзія вообще побрякушки. Некрасовъ для теоретиковъ — кумиръ, не потому что онъ поэтъ, а потому что онъ шевелить и раздражаетъ. Не могу опять не спросить: любо ли поэту такого рода поклоненіе теоретиковъ, отрицающихъ поэзію вообще? Любо ли ему, поэту съ народнымъ сердцемъ, поклоненіе теоретиковъ, отрицающихъ народность? Наконецъ, любо ли ему безсознательное поклоненіе молодой толпы, эстетически развращенной до безнадежности, — поклоненіе разныхъ фальшиво-эмансипированныхъ барынь, которыя, закатывая глаза подъ лобъ, читають съ паѳосомъ:

„Бду ли ночью по улицѣ темной“,

и извлекають изъ этого больного, хотя могущественнаго вопля души — безнадежнѣйшую философію распутства?.. Вѣдь, ужъ сколькоимъ порядочнымъ людямъ оскомину онѣ набили этимъ стихотвореніемъ!

Да не оскорбится поэтъ этими укурами. Онъ знаетъ очень хорошо, что они дѣлаются критикомъ не во имя рутинной нравственности и, съ другой стороны, не во имя „искусства для искусства“. Нравственна въ поэзіи — правда, и только

правда; но зато уже требованіе трезвой, никому и ничему не лъстящей и не кадящей правды отъ поэзіи не должно знать тоже никакихъ кажденій и никакихъ приличій. Правда поэзіи никогда не должна быть личная или минутная правда. Поэзія не простое отраженіе жизни, безразличное и безвыборное въ отношеніи къ ея безконечно разнообразнымъ случайностямъ, а осмысленіе, оразумленіе, обобщеніе явленій. Въ томъ ея смыслъ, значеніе, законность, вѣчность—вопреки ученію теоретиковъ, осудившихъ ее *пока* на рабочее служеніе теоріи, а въ будущемъ на конечное уничтоженіе, какъ вещь ненужную и бесполезную, да вопреки же и ученію эстетическихъ гастрономовъ, обратившихъ ее въ какой-то *saucе рiquante* жизни. Поэты истинные, все равно, говорили ли они:

Я не поэтъ — я гражданинъ,
или:

Мы рождены для вдохновеній,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ,—

служили и служатъ одному: идеалу, разнясь только въ формахъ выраженія своего служенія. Не надобно забывать, что руководящій идеалъ, какъ Егова израильтянамъ, является днемъ въ столпѣ облачномъ, а ночью въ столпѣ огненномъ. Но каково бы ни было отношеніе къ идеалу, оно требуетъ отъ жреца одного: неуклонной, неумытной правды.

Вотъ почему вездѣ, гдѣ поэтъ, и такой большой по натурѣ поэтъ, какъ Некрасовъ, увлекаясь минутнымъ раздраженіемъ, не договариваетъ полной правды, или далеко переступаетъ предѣлы общей правды, критика должна быть въ отношеніи къ нему безпощадна.

А она до сихъ поръ или безусловно и безразлично восторгалась его поэзією или молчала.

Безусловно и безразлично восторгалась та критика, для которой поэзія вообще — побрякушки, терпимыя только до поры до времени. Молчала критика, которую (хоть это и очень „жалости подобно“, хоть это и бросить, пожалуй, на нее тѣнь смѣшного) не обинуясь, назову я однако *обиженной*.

Да, она дѣйствительно обижалась, эта критика, упорно вѣрующая въ вѣчность законовъ души человѣческой и въ вѣчное значеніе вѣчнаго искусства, — но не обижалась самой поэзіей Некрасова, а исключительнымъ деспотизмомъ этой поэзіи; обижалась за человѣческую душу, которой многообразныя и широкія требованія такъ безжалостно обрѣзывались и суживались теоретиками, и потому собственно обижалась, что побѣда факта была на сторонѣ теоретиковъ. Одинъ изъ глубокихъ и самостоятельнѣйшихъ мыслителей въ нашу эпоху знаменъ, доктринъ и теорій, не стоящій ни подъ какимъ знаменемъ, Эрнестъ Ренанъ, сказалъ гдѣ-то: „il n'y a que des pensées étroites qui régissent le monde“. И онъ совершенно правъ. Узкая, т. е. теоретическая мысль можетъ быть всегда изложена, при извѣстной степени таланта въ излагателѣ, до „соблазнительной ясности“. Развитіе ея весьма несложно. Полнѣйшее отрицаніе съ одной стороны (а читатель знаетъ, что нѣтъ ничего сильнѣе отрицанія) и вдали идеальчикъ, хотя на время и окружаемый таинственнымъ нимбомъ, но тѣмъ не менѣе очень доступный. Вотъ и все. Другой вопросъ — почему, по какимъ побужденіямъ душа человѣческая легко ловится на удочку отрицанія. Если читатели только справятся съ собственной совѣстью, то увидятъ, что часто, по крайней мѣрѣ, исключительное сочувствіе къ отрицанію основывается у нихъ на рабской боязни показаться менѣе умными и передовыми людьми, чѣмъ другіе умные и передовые люди. Другой тоже вопросъ — успокоится ли душа человѣческая на доступномъ идеальчикѣ?

Вотъ почему постоянно молчала обиженная критика о поэзіи Некрасова. Глубоко сочувствуя ей самой, она нерѣдко обращалась къ ней внутренно со словами:

Люблю тебя, моя комета,
Но не люблю твой длинный хвостъ—

тѣмъ болѣе, что между кометою и ея хвостомъ видѣли связь не органическую, а механическую, чисто случайную, и злясь на это и обижаясь странными, уродливыми послѣдствіями факта, о самомъ фактѣ, т. е. о поэзіи Некрасова,

прорывалась только „скрежетомъ зубовнымъ“—указаніями на Ваньку ражаго, на „торгаша, у коего украденъ былъ колачъ“ и прочія, весьма мало изящныя пятна могучей, но довольно неряшливой „музы мести и печали“.

Но чтобы не оставить ничего недоговореннымъ въ настоящей статьѣ, чтобы до послѣднихъ, крайнихъ предѣловъ послѣдовательности довести искренность, я долженъ сказать, что обиженная критика сама была не во всемъ права и чиста. Она долго и упорно сидѣла сиднемъ на одномъ мѣстѣ; вѣрующая въ откровенія жизни, и потому самому жарко привязанная къ откровеніямъ, ею уже воспринятымъ, она была нѣсколько непослѣдовательна въ своей вѣрѣ. Она какъ-будто недовѣрчиво чуждалась новыхъ жизненныхъ откровеній и бессознательно впала на время въ односторонность.

Чтобы читатели совершенно ясно поняли, въ чемъ вся „суть дѣла“ *la pointe de la chose*, я опять попрошу ихъ перенестись мысленно въ эпоху нашихъ эстетическихъ понятій уже не за пятнадцать лѣтъ назадъ, а нѣсколько раньше,—лѣтъ за двадцать.

Вѣдь, это была хорошая тоже эпоха нашего духовнаго развитія, плодородная и обильная результатами эпоха, когда Рудины „безобразничали“ до самой страшной діалектической смѣлости,—до смѣлости крайняго *положенія*, смѣлости несравненно болѣе страшной, чѣмъ смѣлость крайняго *отрицанія*,—до статей Бѣлинскаго, о „Бородинской Годовщинѣ“. Нѣсколько разъ уже случалось мнѣ говорить объ общихъ чертахъ этой эпохи *отрочества* нашего сознанія, эпохи, когда Рудины на вѣру и съ пламенною вѣрою приняли змѣиное положеніе учителя: „*was ist, ist vernünftig*“, и принялись съ азартомъ за послѣдовательнѣйшее оправданіе всяческой дѣйствительности. Съ высоты величія смотрѣли они тогда на гораздо болѣе практическихъ и возмужалыхъ, чѣмъ они, Бельтовыхъ, казавшихся имъ жалкими фрондерами,—а Бельтовы „*giaient dans leur barbe*“, зная инстинктивно и практически, что змѣя кусаетъ свой хвостъ... Бельтовы оказались, конечно, правы во внѣшнихъ результатахъ, но едва-ли бы одни они, безъ Рудиныхъ, могли привести наше сознаніе къ тѣмъ многозначительнымъ результатамъ, ко-

торые являются въ настоящую эпоху. Вѣдь, Рудины были, съ одной стороны, Бѣлинскій, съ другой—лучшія силы славнофильства...

Но дѣло не въ общемъ характерѣ той эпохи отрочества нашего сознанія, а въ тогдашнихъ нашихъ эстетическихъ понятіяхъ.

Жаркіе неофиты новой вѣры, послѣдовательные до безпощадности, какъ всѣ русскіе люди,—ибо намъ жалѣть-то, казалось, было нечего,—мы отреклись разомъ отъ всѣхъ литературныхъ кумировъ, которымъ еще за годъ какой-нибудь совершали вакханалыя требы... Мы отреклись отъ всякой „тревожной“ поэзіи, заклеивши ее именемъ „субъективной“: хуже и обиднѣе прозвища въ то время не было какъ „субъективность“... „Субъективность“ въ поэтѣ была чуть-чуть что не уголовщиной въ глазахъ тогдашнихъ Рудиныхъ. Съ вождемъ сознанія, Бѣлинскимъ, молодое поколѣніе эпохи отреклось во имя художества и объективности отъ Гюго и Бальзака, за годъ назадъ ими боготворимыхъ, молчало въ какомъ-то недоумѣніи о Байронѣ и съ высоты отроческаго величія начало посматривать на великаго Шиллера, которому неизмѣнно вѣрны оставались *практическіе* Бельтовы. Результатомъ было одностороннее, но глубокое пониманіе искусства, до того глубокое, что слѣдъ его не исчезъ даже тогда, когда съ коня художественности и объективности великій критическій вожатый пересѣлъ на коня паюса, и выставилъ намъ на поклоненіе Санда, не совсѣмъ исчезъ даже и тогда, когда онъ осѣдлалъ яраго бѣгуна протеста и понесся на немъ, увлекая насъ за собою...

Въ односторонности пониманія поэзіи была глубина дѣйствительности. Односторонность встрѣчала себѣ оправданіе техническое во всѣхъ великихъ мастерахъ искусства—въ старомъ Гомерѣ и въ старомъ Шекспирѣ, въ Гѣте и въ Пушкинѣ, даже въ Байронѣ и Шиллерѣ, когда ближе присмотрѣлись къ основамъ творчества и въ фактурѣ этихъ великихъ художниковъ, даже въ самой Сандѣ, гдѣ она не увлекается теоріями своихъ „amis invisibles“... Идеалъ поэта поистинѣ представлялся великимъ: сила, какая бы она ни была, огненная и стремительная, или полная любви и

спокойствія, но всегда самообладающая, всегда объективная, даже въ субъективнѣйшихъ изліяніяхъ, все возводящая въ „перль созданія“. Согласитесь, что, вѣдь, много и правды въ этомъ идеалѣ, по крайней мѣрѣ, на двѣ трети, если даже не на три четверти. Разстаться съ этимъ идеаломъ и съ его мѣркою не легко критикѣ, которая себѣ его усвоила. Въ особенности относительно лирической поэзіи сформировался у критики опредѣленнѣйшій, строжайшій и тончайшій вкусъ. Оно и понятно. Кто воспитался на самомъ ясномъ и яркомъ изъ поэтовъ, на Пушкинѣ, да на стальномъ стихѣ Лермонтова, тому трудно помириться и съ многоглаголаніемъ, „въ немже нѣсть спасенія“, этимъ общимъ французскимъ недостаткомъ лирическихъ произведеній величайшаго поэта Франціи Гюго, и еще болѣе того—съ неряшливостью современныхъ нашихъ музъ. Ядра, зерна, Kern прежде всего требовала критика отъ лирическаго стихотворенія и скорлупы вокругъ него ровно настолько, насколько это нужно—ни больше ни меньше. „One shade the less, one ray the more“ и проч.; больше—такъ будетъ пухло и водянисто, меньше—голо и сухо. Требованіе строгое, суровое, но, вѣдь, какъ хотите, справедливое технически, по крайней мѣрѣ, оправдывающееся на созданіяхъ всѣхъ великихъ артистовъ—отъ „моремъ шумящихъ“ гекзаметровъ Одиссеи до мѣднотитыхъ терцинъ „Inferno“, отъ прозрачной ясности пушкинской „Полтавы“ до мрачной сжатости байронова „Гяура“.

Съ другой стороны, критика требовала отъ лирическаго стихотворенія, чтобы въ немъ самое личное, не теряя своего личнаго характера, пожалуй, самаго капризнаго, пожалуй, самаго угловатаго,—обобщалось, по любимому тогдашнему выраженію, нынѣ страшно опошлившемуся—„возводило въ перль созданія“, т. е. проще говоря, выяснялось такъ, чтобы его особенность, его самость становилась ярка и наглядна, понятна для всѣхъ, являлась бы съ правами законнаго гражданства. Понятно, что вслѣдствіе этого начала глубочайшія ли тайны внутренняго міра, высказываемыя Тютчевымъ, капризнѣйшія ли и тончайшія изъ ощущеній Фета—равно были законны для этой критики. Между тѣмъ критика не была только критикой формъ: она узаконивала всѣ движенія, ощущенія,

инстинкты, даже призраки ощущений души человеческой, лишь бы все это облекалось въ объективную форму, не стѣсняя, впрочемъ, поэтовъ ни пушкинской ясностью ни байроновскою сжатостью, предоставляя на ихъ волю колоритъ формы. Требованіе опять таки справедливое технически, но оно-то, послѣдовательно проведенное, и вело насъ къ односторонности.

Не подымая уже вопроса о томъ, что это возрѣніе лишило законнаго существованія цѣлая полоса европейской поэзіи вообще, что передъ нимъ исчезали почти всѣ французы новые и старыя, исчезали Мильтоны и Тассы, я только обращаюсь къ современнымъ намъ и притомъ чисто лирическимъ явленіямъ. Вспомните, что не только о Некрасовѣ упорно молчала обиженная критика: она стала совершенно равнодушна къ Майкову и вовсе не признавала Мея. Явленія, кажется, совершенно несходныя, даже во многихъ случаяхъ противоположныя, но между тѣмъ они равно исчезали передъ критическими принципами, проведенными до крайней послѣдовательности. Недовольная преизбыткомъ чисто-субъективныхъ впечатлѣній, примѣсью водевильной грязи и вообще неряшливостью формъ музыки Некрасова, хотя часто невольно, нехотя сочувствовавшая ея несомнѣнной силѣ, обиженная критика видѣла въ Майковѣ и Меѣ только богатство формъ, техническое мастерство безъ внутренняго содержанія, безъ той личной особенности возрѣній и чувствованій, которая давала въ ея глазахъ право на мѣсто въ жизни лирической поэзіи. Она видѣла—чтобы яснѣй и удобопонятнѣй выразиться—въ Некрасовѣ пѣвца съ огромными средствами голоса, но съ совершенно попорченною манерой пѣнія; въ Майковѣ и Меѣ—при огромныхъ натуральныхъ средствахъ, совершенное отсутствіе какой-либо манеры...

Всякій принципъ, какъ бы глубокъ онъ ни былъ, если онъ не захватываетъ и не узакониваетъ всѣхъ яркихъ, могущественно дѣйствующихъ силою своею или красотою явленій жизни, одностороненъ, слѣдовательно ложенъ. И ложь его скоро обличается, когда развившаяся изъ него доктрина молчаніемъ встрѣчаетъ явленія, силъ которыхъ

сама она противостоятъ не можетъ, но которыя ей не по шерсткѣ; когда не сочувствуетъ она ряду другихъ явленій, которыхъ красота не подходитъ подъ ея глубокій, но все-таки односторонній принципъ.

Найдется ли когда-либо всесторонній принципъ — я не знаю, и ужь, конечно, не мечтаю самъ его найти. Принципъ, который выдвинула доктрина исключительныхъ поклонниковъ некрасовской поэзіи, еще уже, еще одностороннѣе. Критикъ остается вѣрить въ одно: въ откровеніе жизни; вѣрить, разумѣется, не слѣпо, ибо съ слѣпою вѣрою узаконишь, пожалуй, подъ вліяніемъ минуты и напряженный *satyriasis* г. Щербины, и *salto mortale* юной музы г. В. Крестовскаго, и „мишуру“ г. Минаева, а отыскивая органическую связь между явленіями жизни и явленіями поэзіи, узаконивая только то, что развилось органически, а не просто діалектически. Такъ, напримѣръ, „мишура“ г. Минаева — вѣдь, это діалектическое послѣдствіе поэзіи Некрасова; но органическое ли оно? Такъ въ сферѣ болѣе широкой разныя топорныя издѣлія александринскихъ драматурговъ настоящаго времени и множество печатаемыхъ въ нашихъ журналахъ сценъ и этюдовъ изъ купеческаго быта — діалектическія послѣдствія Островскаго, но органическое начало остается только за драмами Островскаго. Надобно различать ядро отъ шелухи.

Очистивъ съ возможной искренностью дѣло о Некрасовѣ отъ всего посторонняго, отъ всего, что собственно до его поэзіи не относится, я могу теперь приступить къ анализу поэтической дѣятельности нашего поэта.

III.

Истинная существенная сила явленій искусства вообще и поэзіи въ особенности заключается въ органической связи ихъ съ жизнью, съ дѣйствительностью, которымъ они служатъ болѣе или менѣе осмысленнымъ и отлитымъ въ художественныя формы выраженіемъ. А такъ какъ никакая жизнь, никакая дѣйствительность не мыслимы безъ своей народной, т. е. національной оболочки, то проще будетъ

сказать, что сила эта заключается въ органической связи съ народностью.

Идея націонализма въ искусствѣ вовсе не такъ узка, какъ это покажется, можетъ быть, яримъ поборникамъ прогресса. Она вовсе не исключаетъ, конечно, „общечеловѣчности“, да и не можетъ ея исключать. Основы общечеловѣчности лежать даже въ растительныхъ, повидимому, исключительныхъ явленіяхъ искусства, т. е., напримѣръ, въ поэтическомъ мірѣ народныхъ сказаній и мифическихъ представленій, связанныхъ у всей индо-кавказской расы довольно очевидною, а у расъ вообще хотя и скрытою, но все-таки необходимо существующею нитью. Чѣмъ шире развивается національность, тѣмъ болѣе амальгамируется она съ другими національностями, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ не теряетъ своей особенности въ жизни и искусствѣ на самыхъ верхахъ своего развитія. Шекспиръ, Байронъ, Диккенсъ и Теккерей, Гете, Шиллеръ, Гофманъ и Гейне, Дантъ и Мицкевичъ, Гюго и Сандъ — достояніе общечеловѣческаго интереса, но вмѣстѣ съ тѣмъ они въ высшей степени англичане, нѣмцы, итальянцы, поляки и французы. Если нельзя равномѣрнаго общечеловѣческаго значенія приписать нашимъ большимъ поэтамъ: Пушкину, Грибоѣдову, Лермонтову, Гоголю, Тургеневу, Островскому, — виною этому не недостатокъ въ нихъ силы, а національная замкнутость содержанія. Къ пониманію этого замкнутого міра европейскіе наши братья должны *подходить*, и тѣ изъ нихъ, которые брали на себя трудъ этотъ, т. е. *подходили*, исполнялись глубокаго уваженія къ работавшимъ и работающимъ въ немъ силамъ.

Развиваю эти общія положенія потому, что они, къ величайшему сожалѣнію, совершенно позабыты. Съ одной стороны, въ лицѣ западничества мы отреклись, да и доселѣ еще безмолвно отрекаемся въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, отъ всякаго значенія работы нашихъ силъ, еще подавляемые сравненіемъ ея съ широкою работою силъ романо-германскаго міра. Съ другой стороны, мы въ лицѣ славянофильства отрицаемъ, какъ ложь, все значеніе этой работы, съ тѣхъ поръ какъ она перестала совершаться въ узкой раковинѣ, — раковинѣ собственно не національной, чего не

хочетъ видѣть славянофильство, а византійско-татарской. Съ третьей стороны, наконецъ, въ лицѣ теоретиковъ мы вообще отрицаемся отъ идеи національности въ пользу общей идеи, которая на языкѣ благопристойномъ зовется человѣчествомъ, а на циническомъ, хотя въ этомъ случаѣ очень мѣткомъ языкѣ *père-Duchesne*'я новѣйшихъ временъ— „человѣчиной“.

Не разъ уже было отвѣчаемо людьми, вѣрующими въ жизнь, философію, искусство и національность, на эти различнаго рода отрицанія. Возраженія эти могутъ быть удобно и легко сжаты, такъ-сказать, приведены къ знаменателямъ.

Перваго рода отрицателямъ отвѣчать можно, что какъ ни широко развилась романо-германская жизнь, но, вѣдь, намъ не повторять же ее статъ: она для насъ прошедшее,— какъ для нея самой была прошедшимъ жизнь эллино-латинская. „Ужъ какъ ни какъ, а сдѣлалось“, что мы должны жить собственною жизнью. Совершенно вѣря съ г. Буслаевымъ въ органическую связь нашихъ растительныхъ, минеральныхъ и поэтическихъ основъ съ основами обще-европейскими, мы не можемъ однако утаить отъ себя того, что „волею судебъ“ на нихъ лежатъ такіе византійскіе и татарскіе слои, которые по формѣ образовали изъ нихъ нѣчто совершенно новое. Новость и особность эта приводила нѣкогда въ соблазнъ самые сильные умы, каковы были Чаадаевъ и Бѣлинскій, а пожалуй и доселѣ способна приводить въ соблазнъ умы ограниченные и отставшіе; не очень давно еще повторилъ г. Гымалэ старую пѣсню о безсмыслии нашего сказочнаго міра, его минеральныхъ и поэтическихъ представленій.

Второго рода отрицателямъ отвѣтить можно и должно, что сколь ни похвально въ нихъ смиреніе передъ старымъ фактомъ, т.-е. передъ московскою Русью, но исторія наша до сихъ поръ представляетъ на всякомъ шагу печальныя доказательства того, что на этомъ смиреніи далеко не уѣдешь. Притомъ же, глубокомысленнѣйшій изъ мыслителей этого направленія всегда различалъ божье попущеніе отъ божьяго соизволенія. Но какъ бы то ни было, и къ до-петровской

Руси воротиться Русь едва ли бы захотѣла, къ Руси же XII столѣтія, хотя бы и хотѣла, да не можетъ, по крайней мѣрѣ, относительно формъ. Прожитой нами послѣ реформы жизни не уничтожишь: она *была*, и отрицать, какъ ложь, силы, въ ней работавшія, донъ-кихотская потѣха, конечно, невинная, но ни мало не забавная.

Третьяго рода отрицателямъ отвѣчать нечего до тѣхъ поръ, пока окончательно не усовершенствуется „человѣчина“. Это же будетъ, когда чортъ умретъ: а у него, по сказаніямъ, еще и голова не болѣла.

Идея націонализма остается, стало-быть, единственною, въ которую можно безопасно вѣрить въ настоящую минуту.

Меня спросятъ, можетъ-быть: почему я иностранные термины „націонализмъ“, „національность“ употребляю, вмѣсто русскаго термина „народность“? А очень просто—по-неволѣ, потому что въ послѣднее время запуталось множество вопросовъ, а въ томъ числѣ запутался и вопросъ о народности.

Народность явно и исключительно принимается славянофильствомъ то за растительную то за до-петровскую; „Отечественными Записками“, съ тѣхъ поръ какъ онѣ познакомили себя и свою публику съ псевдо-якушкинскимъ сборникомъ пѣсенъ, — то за растительную народность, то исключительно за простонародность. Да это бы еще ничего, что теоретики того или другого сорта спутали сами для себя и для многихъ весьма простую вещь. Недавно человѣкъ дѣла, художникъ, да еще не малый, не скудно одаренный силами, графъ Л. Толстой отозвался—и отозвался какъ-будто отрицательно на кабинетный вопросъ г. Дудышкина—о томъ: народный ли поэтъ Пушкинъ? Онъ объявилъ въ своей „Ясной Полянѣ“, что опыты приблизить перваго нашего великаго поэта къ народному пониманію не удались и не удаются. Нужды нѣтъ, что этотъ фактъ можетъ приводить въ соблазнъ только тѣхъ, кто на время или навсегда проникнулись вѣрою въ безусловную правомѣрность растительной народности, — фактъ все-таки приводитъ въ соблазнъ: фактъ подтверждаетъ, повидимому, одно изъ основ-

ныхъ положеній г. Дудышкина, что Пушкина народъ не читаетъ.

„И не будетъ читать“, добавляютъ съ равною, хотя на разныхъ началахъ основанною радостью, теоретики двухъ лагерей.

А Пушкинъ—пока еще наше все, все что полного, цѣльнаго, великаго и прекраснаго дало намъ наше духовное развитіе. До того онъ наше все, что критика журнала, допрашивавшаго наше сознаніе о томъ, народный ли онъ нашъ поэтъ, — для того чтобы кольнуть „Минина“ Островскаго (кольнуть-то было надо, по старымъ домашнимъ дразгамъ), а за нею и какой-то г. Омега, должны были прибѣгнуть къ сравненію „Минина“ съ „Борисомъ Годуновымъ“...

Милостивые государи! вы уничтожаете народное (національное или народное? объяснитесь, наконецъ) значеніе Пушкина, т. е. другими словами говоря, отрицая значеніе великаго поэта въ развитіи и для развитія народа, вы, во-первыхъ, уничтожаете значеніе всякой художественной поэзіи, а во-вторыхъ, уничтожаете почти всю нашу литературу.

Позвольте разяснить дѣло.

Изъ того, что народъ доселѣ еще можетъ понимать чувствомъ только міръ своихъ поэтическихъ сказаній, любоваться только суздальскими литографіями и пѣть только свои растительныя пѣсни,—слѣдуетъ ли похѣреніе въ его развитіи и для его послѣдующаго развитія Пушкина, Брюлова, Глинки?.. Вѣдь, до пониманія искусства человѣкъ при всей даровитости,—дорастаетъ, иногда долго, иногда скоро, но дорастаетъ. Отчего-жъ это даровитѣйшіе изъ представителей русской природы — беру нарочно такихъ, которые не разъединились съ непосредственною народностью, связаны съ ней кровными связями, положимъ, хоть Кольцовъ, что ли, или Некрасовъ, — такъ глубоко понимали Пушкина? Вонъ одинъ цѣлую великолѣпную думу написалъ по поводу его смерти, а вонъ другой по поводу стиховъ восклицаетъ:

Да, звуки чудные!.. Ура!

Такъ поразительна ихъ сила,

Что даже сонная хандра
Съ души поэта соскочила.

Вы скажете, что я выбралъ неудачный примѣръ, что это исключительныя поэтическія натуры? Хорошо-съ. Ну, а почему Кулигинъ въ „Грозѣ“ Островскаго, этотъ умный и даровитый же, но вовсе не поэтический человѣкъ, для выраженія своихъ чувствованій прибѣгаетъ не къ растительной почвѣ, а къ художественной поэзіи, по своему разумѣнію, къ стихамъ Ломоносова? И, вѣдь, вы, конечно, не скажете, чтобъ это было невѣрно? Нѣтъ, это глубоко вѣрно. Человѣкъ вышелъ изъ растительной сферы, доросъ до другой. Отзывы первой — нужды нѣтъ, что они несравненно выше начальнаго лепета нашей художественности,—его не удовлетворяютъ.

Что вы толкуете, господа! Вѣдь, поэтъ *народнаго* въ нашемъ узкомъ смыслѣ вы не найдете ни въ одной литературѣ. Вы скажете, на примѣръ, что вонъ тамъ, на зыбяхъ голубой Адриатики, гондольеры поютъ октавы Тасса? Да, вѣдь, это вздоръ! Они не октавы Тасса поютъ, а собственные искаженія октавъ Тасса; вѣдь, ихъ октавы своего рода

Возьми въ руки пистолетикъ,
Прострѣли ты грудь мою...

или:

Графъ Пашкевичъ Ариванской
Подъ Аршавою стоялъ...

Въ Англіи, что ли, народъ читаетъ своего Шекспира, т. е. народъ въ вашемъ смыслѣ?.. Да какъ вы думаете: Кольцовъ-то, на примѣръ,—вѣдь, ужъ авось-либо народный поэтъ?—привѣтся, по крайней мѣрѣ, совсѣмъ какъ есть, привѣтся къ народному сознанію и чувству? Да, привѣтся къ даровитой и страстной натурѣ „Мити“ Островскаго, и сказавши въ патетическую минуту о томъ, какъ „онъ эти чувства изображаетъ“, на что Гуслинъ скажетъ ему: „въ точности изображаетъ“,—онъ черезъ нѣсколько минутъ оборвется конфетнымъ билетцемъ:

Что на свѣтѣ прежестокъ,
Прежестокъ есть любовь!—

онъ даже—даровитый, умный, страстный, самъ сочиняющій стихи Митя... И это опять такая глубоко-вѣрная черта!

Да и самъ Островскій-то, наиболѣе подходящий, хоть вамъ и не хотѣлось бы въ этомъ сознаться, къ нашему идеалу народнаго поэта, Островскій, затронувшій столько струнъ народной души, — вѣдь, тоже народной, нѣсколько уже развившейся душѣ понятенъ и доступенъ, а не тому народу, который вы себѣ создали.

Въ своемъ добровольномъ духовномъ рабствѣ передъ новымъ идоломъ — народомъ, вы однако думали, вѣроятно, о томъ, что вы вслѣдъ за Пушкинымъ похѣриваете въ нашей литературѣ и Лермонтова, и Гоголя, и Тургенева. Остаются имѣющими какое-либо условное значеніе (да и то условное) въ развитіи и для развитія народа — кто же?.. только Островскій, Кольцовъ и Некрасовъ, натуры, вышедшія прямо и непосредственно изъ народа, сохранившія очевидныя примѣты кровной связи съ народомъ въ языкѣ и въ чувствахъ. Я, конечно, беру только первостепенныхъ дѣятелей, только планеты, оставляя въ сторонѣ спутниковъ.

Одинъ великій мыслитель кончаетъ свои неумолимые разсужденія о государствѣ и конечномъ исчерпаніи этой идеи въ исторіи человѣчества словами: «Да мнѣ-то какое же дѣло?» служащими отвѣтомъ на вопросъ: «что же будетъ?»

Вы можете мнѣ такъ же отвѣтить. Но, вѣдь, дѣло все-таки, по крайней мѣрѣ, практически, не порѣшится. Вѣдь, жизнь западная, гдѣ изжилося государство, и жизнь наша — двѣ вещи розныя. Розно и духовное развитіе.

Вѣдь, по-вашему (я обращаюсь только къ теоретикамъ «народнаго» лагеря) въ нашемъ духовномъ развитіи надобно похѣрить все, и «валяй сызнова» — по однимъ съ XVII, по другимъ, гораздо болѣе послѣдовательнымъ господамъ, съ XII столѣтія. Оно, пожалуй бы, и хорошо, да нельзя. Вѣдь, жизнь, даже съ ея наростами и болячками, — живая жизнь, живой организмъ.

А оно, коли хотите, пожалуй бы и хорошо. Во всякой односторонности, между прочимъ и въ вашей, есть своя доля глубины и правды.

Далѣе, во имя этой односторонности еще одно отступленіе. Оно послѣднее, и поведетъ прямо къ дѣлу.

Прошлявшись довольно долгое время по различнымъ картиннымъ галлереймъ Европы, я очутился, какъ и слѣдуетъ, подъ конецъ моихъ странствій въ градъ Берлинъ. Въ берлинской галлерей сравнительно мало превосходныхъ вещей, но тамъ добросовѣстно, съ нѣмецкой аккуратностью, собраны довольно хорошіе экземпляры всѣхъ школъ и направлений живописи, такъ что она можетъ быть весьма полезною повѣркою впечатлѣнія для того, кто *«aveva gli occhi»*, «имѣлъ глаза» — по итальянскому даровитому понятію, единственное условіе для пониманія красоты въ пластическомъ ея проявленіи. Изъ Рима, Неаполя, Болоньи, Сіены, Флоренціи, Милана и Венеціи, изъ Лувра, Мюнхена, Вѣны и Дрездена—я привезъ съ собою живую, глубокою вѣру въ націонализмъ живописи и пластики, или, лучше сказать, вѣру въ то, что художество — архитектурное ли, живописное или ваятельное—живетъ только вѣрою, а вѣра въ свою очередь живетъ національностью типовъ. Результатъ, конечно, не новый, но онъ дорогъ былъ мнѣ, какъ подтвержденная и купленная опытами вѣра. Безконечно разнообразныхъ, но всегда національныхъ и даже мѣстныхъ типовъ свѣтлаго лика Мадонны, не говоря уже обо всемъ другомъ, достаточно было для укрѣпленія во мнѣ этой вѣры и для внушенія положительнаго отвращенія къ издѣліямъ нашихъ натуралистовъ, которые посадятъ передъ собою жидовку изъ Ghetto, срисуютъ ее до противной дагеротипности, накрасятъ въ картинѣ бархатомъ, золотомъ яркими красками и эффектнымъ освѣщеніемъ, да и думаютъ, что потрудились во славу русскаго искусства. Смѣясь надъ фигурами-селедками фра Беато и грубо-искренне или искренне-грубо заподозривая насъ дилетантовъ въ искренности нашего умиленія передъ этими вдохновенными фигурами-селедками, они и не подозреваютъ, бѣдные, что типы того великаго, вѣровавшаго искусства — всѣ національные и мѣстные, отъ перваго шага въ человѣчность святого фра Беато до послѣдняго преобладанія идеальной, но земной женственности въ Мурильо, создавались глубокою вѣрою

въ нихъ, въ эти типы, какъ въ идеалы, вѣрою болѣе или менѣе раздѣляемой сочувствующей толпою, — а они и сами не вѣрятъ въ свои типы, да и русскій народъ не захочетъ знать этихъ типовъ. Да и правъ онъ будетъ. Какое мнѣ даже, напримѣръ, удовольствіе, бросивши взглядъ на какой-нибудь куполь, встрѣтиться съ повтореніями типовъ то Гверчино, то Доменикино, то Дольчи? Зачѣмъ они туда зашли?.. „По какому виду? Взять ихъ подѣ сумлѣніе!“ Въ такихъ и подобныхъ размышленіяхъ бродилъ я по берлинской галлерей, повѣряя прожитую мною эстетически-нравственную жизнь съ однимъ замѣчательнымъ въ дѣлѣ художественнаго пониманія пріятелемъ. Это былъ не только страстный, но даже сладострастный знатокъ и цѣнитель изящнаго, развившій до крайней чуткости свой отъ природы тонкій вкусъ, таявшій буквально передъ Кореджіо; чистѣйшій пантеистъ, умилявшійся однако до экстаза передъ селедками фра Беато стараго и передъ произведеніями искренняго, хотя и страннаго фра Беато новаго, т. е. Овербека; сохранившій, несмотря на то, что развился въ яромъ западничествѣ и въ таковомъ остался, всесторонность русскаго ума, т. е. равно отзывчивый на все прекрасное и великое во всѣхъ школахъ и все равно тонко оцѣнявшій, да вдобавокъ еще сохранившій здравый практическій толкъ и остроуміе, нѣсколько ѣрническое, велико-русскаго купечества, къ которому онъ принадлежалъ и котораго никогда не чуждался, несмотря на свою громадную начитанность и глубокое философское развитіе. Вотъ бродя съ этимъ-то весьма поучительнымъ бариномъ и мѣняясь съ нимъ впечатлѣніями и мыслями, мы дотолковались какъ-то до судебъ русскаго искусства. Надобно сказать, что онъ принадлежалъ по своему развитію къ эпохѣ глубокой, хотя все-таки односторонней критики, названной мной обиженной критикою, — да я и самъ тогда вполне принадлежалъ къ ней. У него была своя односторонность: онъ былъ довольно равнодушенъ къ великой художественной силѣ, проявившейся въ Брюловѣ, и какъ-то прискорбно жалѣлъ объ Ивановѣ... Но дѣло не въ томъ. Мы дотолковались съ нимъ до судебъ русскаго искусства, и онъ, ярый западникъ, сладостраст-

ный поклонникъ всѣхъ чудесъ германо-романскаго міра, высказалъ мысль, которая давно уже шевелилась у меня въ мозгу и въ душѣ, по которую мнѣ, умѣренному славянофилу, какимъ я еще тогда считалъ себя, думая, что между славянофильствомъ и народностью есть много общаго,—было бы какъ-то боязно высказать.

— Знаете ли? — сказалъ онъ вдругъ, отрываясь нѣсколько насильственно отъ созерцанія удивительнаго св. Франциска Мурильо: — намъ по-настоящему надобно все похѣрить и начать...

— Съ суздальской живописи? — невольно перебилъ я рѣчь его вопросомъ.

— Да, съ суздальской живописи, — отвѣчалъ онъ, нисколько не останавливаясь.

— И строгоновскую школу даже похѣрить? — спросилъ я опять.

— И строгоновскую школу похѣрить, — безъ запинки же сказалъ онъ, думая, конечно, не о строгоновскихъ воскресныхъ классахъ рисованья въ Москвѣ, а о томъ, что технически называется строгоновскою школою въ исторіи нашей живописи, — если только у ней есть какая-либо исторія.

Вы понимаете, конечно, чего ради рассказалъ я этотъ эпизодъ изъ исторіи своихъ личныхъ впечатлѣній?

Помутилось, дѣйствительно помутилось что-то въ нашемъ сознаніи, и помутилось такъ, что трудно и добраться до настоящихъ, чистыхъ источниковъ. Что не одна реформа Петра тутъ виновата, это, кажется, теперь дѣло почти рѣшенное или, по крайней мѣрѣ, рѣшаемое весьма успѣшно гг. Павловымъ, Щаповымъ и Костомаровымъ. Во всякомъ случаѣ, фактъ очевидный тотъ, что мы въ этомъ случаѣ находимся въ совершенно исключительномъ положеніи сравнительно съ другими европейскими народами. Шила въ мѣшокъ не утаишь.

Всѣ вопросы, которые мы себѣ задаемъ, какъ бы странны они ни казались съ перваго раза, хоть бы знаменитый вопросъ о народности Пушкина; всѣ парадоксы, до которыхъ мы подчасъ доходимъ, хоть бы парадоксъ славянофильства насчетъ лжи всей послѣпетровской нашей жизни и

литературы—имѣютъ свое не только логическое, но и органическое оправданіе въ общемъ уклоненіи нашего развитія отъ законовъ развитія обще-европейскаго и вмѣстѣ отъ законовъ застоя обще-азиатскаго. Съ одной стороны, Пушкинъ въ поэзіи, Бѣлинскій въ дѣлѣ сознанія, Брюловъ и Глинка въ живописи и музыкѣ, а съ другой стороны—міръ странныхъ сказаній и пѣсенъ, раскольниковское мышленіе, хожденіе странника Парфенія, суздальская живопись и народная, еще неуловимая въ своихъ музыкальныхъ законахъ пѣсня... И, вѣдь, что лучше, что могущественнѣе: блестящія ли явленія цивилизаціи или явленія растительной жизни—рѣшить трудно... Увлечшись одной стороною, неминуемо доходишь до парадокса чаадаевскаго; увлечшись другою, столь же неминуемо до парадокса славянофильскаго. Я ужъ не говорю о явленіяхъ государственнаго и общественнаго строя, задѣвающихъ еще болѣе за живое: я ограничиваю себя тѣснымъ кругомъ выраженій духовнаго сознанія.

А все-таки вопросъ разрѣшимъ и безъ парадоксовъ. Стоитъ только спросить себя: откуда же взялись не только указанные мною явленія, но даже самъ Петръ и реформа, московскіе Иваны и Васильи съ ихъ суздальскими родоначальниками и московскій государственный строй, византийская религіозная норма и проч. и проч.? Да все оттуда же, откуда и явленія растительной жизни, откуда вѣчевой строй, земство и расколы; только вслѣдствіе обстоятельствъ одни развились насчетъ другихъ, не подавивши ихъ жизни, но остановя ихъ развитіе.

Та же исторія и съ литературой.

Дѣйствительно, долгое, очень долгое время „en Russie quelques gentilshommes se sont occupés de la littérature“, хотя начать эту литературу холмогорскій мужикъ-раскольникъ, а завершаютъ этотъ періодъ такіе жантильомы какъ Пушкинъ, отождествляющійся по какому-то удивительному наитію съ народною рѣчью и даже народнымъ созерцаніемъ, да Тургеневъ, весь насквозь проникнутый любовью къ родной почвѣ. Что же эти жантильомы, изъ самыхъ крупныхъ—не органическія послѣдствія народнаго духа, не его хотя ран-

ніе, но кровные продукты?.. А жантильомы тоже — Грибодовъ, Гоголь, Лермонтовъ? Вѣдь, всѣ эти жантильомы, неравныхъ силъ и неодинаковаго содержанія, рѣшительно не похожи ни на какихъ писателей другихъ націй; вѣдь, въ ихъ фізіономію нечего долго и вглядываться, чтобы признать ихъ особенною, русскою фізіономією.

Но началась уже другая эпоха въ литературѣ. Ея провозвѣстникомъ былъ, можетъ-быть, курскій купецъ Полевой, это великое дарованіе со слабымъ характеромъ. Ея первымъ самороднымъ перломъ былъ великій воронежскій прасоль со своими дивными пѣснями, со своею глубокою душою, отозвавшеюся на самые глубокомысленные запросы цивилизаціи. Давно ли началась эта эпоха,—и между тѣмъ она уже породила великаго лирическаго поэта, дала народнаго драматурга, дала рядъ второстепенныхъ, но въ высокой степени замѣчательныхъ литературныхъ явленій, постепенно и безпрестанно прибывающихъ.

Къ этой же эпохѣ принадлежитъ и Некрасовъ. Мѣсто его—между Кольцовымъ и Островскимъ по общественному значенію его поэтической дѣятельности, но... никакъ не по внутреннему ея достоинству. Кольцова цивилизація коснулась своими высшими вопросами, и вопросы разбили, можетъ-быть, его могучую, но мало-приготовленную натуру. Островскій, человѣкъ народа и вмѣстѣ человѣкъ цивилизаціи, спокойно бралъ отъ нея всѣ орудія, спокойно же порѣшалъ для себя ея вопросы. На страстную натуру поэта „мести и печали“ цивилизація подѣйствовала въ особенности своими раздражающими сторонами и имѣла даже вліяніе своими фальшивыми сторонами. Съ одной стороны, желчныя пятна, а съ другой, водевильно-александринскія пошлости оскверняютъ его возвышенную поэзію. Но тамъ, гдѣ она дѣйствительно возвышенна,—она вполне народна, и причина ея неоспоримой силы, ея популярности (кромѣ, разумѣется, большого таланта, *conditio sine qua non*) — въ органической связи съ жизнью, дѣйствительностью, народностью.

IV.

Читатели знаютъ, конечно, а многіе помнятъ, вѣроятно, даже наизусть мрачныя стихотворенія, озаглавленныя по-этомъ переводами изъ Ларры. Переводы ль они, нѣтъ ли — сила не въ томъ. Поэтъ въ нихъ ядовитыми чертами изображаетъ первоначальныя задатки своего развитія...

Позволяю себѣ привести въ особенности часть одного изъ этихъ стихотвореній:

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой
Я росъ средь буйныхъ дикарей,
И мнѣ дала судьба по милости великой
Въ руководители псарей.
Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубыя черты.
И прежде чѣмъ понять разсудкомъ неразвитымъ,
Ребенокъ, могъ я что-нибудь,
Проникъ уже пороку дыханьемъ ядовитымъ
Въ мою младенческую грудь;
Застигнутый врасплохъ, стремительно и шумно
Я въ мутный ринулся потокъ...

Не поражало ли васъ, когда вы читали это мрачное и ядовитое стихотвореніе, нѣкоторое сходство этихъ высказываемыхъ поэтомъ впечатлѣній съ тѣми впечатлѣніями, которыя высказываетъ Лермонтовъ въ извѣстномъ отрывкѣ. „Дѣтство Арбенина“, дающемъ ключъ къ уразумѣнію его идеаловъ, его Арбенина, Мицыри, самого Печорина?.. Припоминаю тоже другое, болѣе скорбное, чѣмъ ядовитое стихотвореніе Некрасова изъ Ларры:

И вотъ они опять, знакомыя мѣста,
Гдѣ жизнь отцовъ моихъ, безплодна и пуста,
Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства,
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ людей
Завидовалъ жизнью собакъ и лошадей;
Гдѣ было суждено мнѣ Божій свѣтъ увидѣть,
Гдѣ научился-я терпѣть и ненавидѣть, и т. д.

Перечтите эту скорбную повѣсть о грубѣйшемъ бывшемъ рабствѣ и его жертвахъ,— и опять-таки сравните ее съ юношескими попытками Лермонтова, весьма дорогими въ психологическомъ отношеніи, дорогими тѣмъ, что поэтъ еще въ нихъ весь наружу, еще не закутался въ ледяныя формы Печорина... Точка отправленія впечатлѣній почти одна и та же у Лермонтова и у Некрасова; но какъ различно дальнѣйшее развитіе у того и другого! Нужды нѣтъ, что для того и другого поэта первоначальныя впечатлѣнія набрасываютъ мрачный колоритъ на послѣднія изображенія родного быта... Лермонтовъ доходитъ до идеализаціи вѣчно-тревожной и мрачной силы: демонъ, который сіялъ предъ нимъ, „какъ царь нѣмой и гордый“,

... такой волшебной, чудной красотою,
Что было страшно, и душа тоскою
Сжималася...

овладѣваетъ имъ совершенно; на столь же страстную, но болѣе любящую, простую, народную природу Некрасова „демонъ“ подѣйствовалъ совершенно иначе. Точка исхода одна, но толчокъ совершенно иной. Вотъ онъ, этотъ толчокъ, ключъ къ общему направленію поэтической дѣятельности: мѣсто изъ превосходнаго стихотворенія „На Волгѣ“. Мѣсто это такъ знаменательно, что, вопреки моему нежеланію выписывать что-либо изъ весьма популярной книги, должно быть выписано:

О Волга!.. колыбель моя!
Любилъ ли кто тебя какъ я?
Одинъ, по утреннимъ зарямъ,
Когда еще все въ мірѣ спитъ
И алый блескъ едва скользитъ
По темноглубымъ волнамъ,
Я убѣгалъ къ родной рѣкѣ.
Иду на помощь къ рыбакамъ,
Катаюсь съ ними въ челнокѣ,
Брожу съ ружьемъ по островамъ.
То, какъ играющій звѣрокъ,
Съ высокой кручи на песокъ
Скачусь, то берегомъ рѣки

Бѣгу, бросая камешки,
И пѣсню громкую пою
Про удалъ раннюю мою...

О, какъ далеки эти простыя, любовныя впечатлѣнія отъ тѣхъ титанически-гордыхъ и мрачныхъ отзвонъ грозной силы, которые слышатся въ „Мцыри“, какую свѣжестью дышать они въ этой удивительной поэмѣ о Волгѣ, читая которую задаешься даже вопросомъ: не желчныя ли пятна лихорадки—переводы изъ Ларры?.. Но нѣтъ... Хорошо, то-то хорошо, привольно и любо ребенку на Волгѣ: любо ему и подслушивать чертей на пруду, и слѣдить за медленнымъ движеніемъ расшивы, на палубѣ которой „за спутницей своей“ бѣжитъ молодой приказчикъ, а она—

Мила, дородна и красна...

любо ему, что

... кричить онъ ей:
„Постой, проказница! Ужо
Вотъ догоню!..“ Догналъ, поймалъ—
И поцѣлуй ихъ прозвучать
Надъ Волгой вкусно и свѣжо...

Вы понимаете вполне, что искренно говорить поэтъ:

Тогда я думать былъ готовъ,
Что не уйду я никогда
Съ песчаныхъ этихъ береговъ...
И не ушелъ бы никуда!

Но вы помните, что заставило бѣжать ребенка:

Въ какихъ-то розовыхъ мечтахъ
Я позабылся. Сонъ и зной
Уже царили надо мной,
Но вдругъ я стоны услыхалъ,
И взоръ мой на берегъ упалъ.
Почти пригнувшись головой
Къ ногамъ, обвитымъ бичевой,
Обутымъ въ лапти, вдоль рѣки
Ползли гурьбою бурлаки,
И былъ невыносимо дикъ
И страшно ясенъ въ тишинѣ
Ихъ мѣрный похоронный крикъ—
И сердце дрогнуло во мнѣ...

И такъ дрогнуло впечатлительное, любящее сердце, что

Безъ шапки, блѣдный, чуть живой,
Лишь поздно вечеромъ домой
Я воротился. Кто тутъ былъ—
У всѣхъ отвѣта я просилъ
На то, что видѣлъ, и во снѣ
О томъ, что рассказали мнѣ,
Я бредилъ...

А рассказали ему или лучше подслушалъ онъ весьма, кажется, простую вещь — „неторопливый“ разговоръ двухъ бурлаковъ:

— Когда-то въ Нижній попадемъ?
Одинъ сказалъ:—Когда бѣ попасть
Хоть на Илью...—„Авось придемъ“,
Другой, съ болѣзненнымъ лицомъ,
Ему отвѣтилъ:—„Эхъ, напастъ!
Когда бы зажило плечо,
Тянулъ бы лямку какъ медвѣдь,
А кабы къ утру умереть—
Такъ лучше было бы еще!..“

Да и безъ этого поразилъ его этотъ вой, раздающійся надъ Волгою, эта пѣсня, которая тяжело заставляетъ задуматься Минина Островскаго, которую сложили

Неволя тяжкая да трудъ безмѣрный,
въ которой совмѣстились

Всѣ слезы съ матушки святой Руси—
Новгородскія, псковскія слезы...

Вы знаете, что Кузьму Захарыча не къ однимъ только стонамъ и печали привела эта пѣсня, съ которою сливалась его великая душа въ минуту скорбнаго раздумья...

Но на поэта нашего только ядовито-горько подѣйствовало жизненное впечатлѣніе:

О, горько, горько я рыдалъ,
Когда въ то утро я стоялъ
На берегу родной рѣки—
И въ первый разъ ее назвалъ
Рѣкою рабства и тоски!..

Впечатлѣніе было глубоко, но односторонне. Односторонняя, коли вы хотите, и поэтическая дѣятельность, развившаяся изъ этого горькаго впечатлѣнія; но односторонность эта законна: односторонность эта—великая сила. Въ ней нѣтъ ничего сдѣланнаго: она родилась... Поэтъ подавленъ ею, тяжело она ему достается: его любящее сердце, по его признанію, „устало ненавидѣть“, но любить не научится. Изъ этой разъ воспринятой односторонности нѣтъ выхода.

Надъ всѣми почти великими дѣятелями нашими той эпохи, когда *quelques gentilshommes se sont occupés de la littérature*, начиная отъ Пушкина, продолжая Тургеневымъ и кончая Ө. Достоевскимъ, хотя этотъ послѣдній достигъ страдательнымъ *психологическимъ* процессомъ до того, что въ „Мертвомъ Домѣ“ слился совсѣмъ съ народомъ,—повторялся одинъ и тотъ же казусъ, поэтически выраженный величайшимъ изъ нашихъ великихъ поэтовъ въ стихотвореніи „Возрожденіе“:

Но краски чуждыя съ лѣтами
Спадаютъ ветхой чешуей...

Самъ онъ, не переставая быть и Алеко, и Онѣгинымъ, и Донъ Хуаномъ, въ то же время доходитъ до отождествленія своего возрѣнія съ народнымъ, пускаетъ все больше и больше корни въ почву, и Богъ знаетъ, еще какъ бы онъ укоренился, кабы не смерть скосила эту силу. Въ Лермонтовѣ, какъ Гоголь справедливо замѣтилъ, готовился великій живописецъ русскаго быта. Тургеневъ, начавши идеализаціей блестящихъ типовъ, въ родѣ Василья Лучинова, самъ разбилъ ихъ смѣхомъ Гамлета Щигровскаго уѣзда; отъ грустнаго и сѣренькаго колорита „Записокъ Охотника“ перешелъ къ простымъ и вмѣстѣ яркимъ краскамъ „Дворянскаго Гнѣзда“—возвратомъ на почву, любовью къ почвѣ, разумнымъ смиреніемъ передъ почвою, вѣрою въ ея силы, хотя бы силы эти были и неподвижны, сидѣли сиднемъ, какъ Уваръ Ивановичъ въ „Наканунѣ“.

Ничего подобнаго этому процессу нравственному нѣтъ и быть не можетъ въ людяхъ другой эпохи нашей литературы. Они всѣ связаны кровно съ почвою, никогда съ ней

не разъединялись, — даже и тогда, когда задавали себѣ, какъ Кольцовъ, глубокомысленнѣйшія задачи, даже и тогда, когда противопоставляли, какъ Островскій, требованія избранной, идеальной натуры своей „Бѣдной Невѣсты“ требованіямъ среды, ее окружающей, даже и тогда, когда кипятъ горемъ и негодованіемъ, какъ Некрасовъ... Люди почвы, они даже тщетно захотѣли бы отъ нея оторваться.

Некрасову, подѣ влияніемъ его „музы мести и печали“, часто хотѣлось бы увѣрить и насъ всѣхъ, да, можетъ быть, и себя, что онъ не поэтъ. Помните, что говорить онъ:

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
Мой суровый, неуклюжій стихъ...
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства...
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь,
Торжествуетъ мстительное чувство,
Догорая теплится любовь.

Но, вѣдь, это очевидная неправда. Во-первыхъ, онъ поэтъ — и большой поэтъ — тамъ, гдѣ *праведно* торжествуетъ мстительное чувство, и догораніе его любви стоитъ иногда несравненно болѣе сатириазиса любви нѣкоторыхъ музъ, а во-вторыхъ, онъ большой поэтъ своей родной почвы...

Вѣдь, онъ любитъ ее, эту родную почву, какъ весьма многіе. Вѣдь, ему даже она *одна* только, въ противоположность намъ, людямъ *той* эпохи, людямъ западныхъ идеаловъ, и мила. Онъ искренно признается въ этомъ, такъ же искренно, какъ фанатически поклонявшійся родной почвѣ Хомяковъ сознавался въ благоговѣніи передъ свѣтилами, которыя

...мерцають догорая,
На дальнемъ западѣ, странѣ святыхъ чудесъ.

Вѣдь, вотъ онъ что говорить, напримѣръ:

Все рождь кругомъ, какъ степь живая,
Ни замковъ, ни морей, ни горъ...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующій просторъ!
За дальнимъ Средиземнымъ моремъ,
Подъ небомъ ярче твоего,

Искать я примиренья съ горемъ—
И не нашелъ я ничего!
Я тамъ не свой: хандрю, нѣмѣю.
Не одолѣвъ свою судьбу,
Я тамъ погнулся передъ нею...
Но тыдохнула—и сумѣю,
Быть можетъ, выдержать борьбу!

Поставьте въ параллель съ этою искренностью любви къ почвѣ первыя, робкія, хотя затаенно-страстныя признанія великаго Пушкина въ любви къ почвѣ въ Онѣгинѣ — и вы поймете... конечно, не то, что „еслибъ не обстоятельства, то Некрасовъ былъ бы выше Пушкина и Лермонтова“, а разницу двухъ эпохъ литературы. Припомните тоже полусардоническое, язвительное, но тоже страстное признание почвѣ любви къ ней Лермонтова („Люблю я родину“ и проч.), и потомъ посмотрите, до какого высокаго лиризма идетъ Некрасовъ, нимало не смущаясь:

...Я узнаю
Суровость рѣкъ, всегда готовыхъ
Съ грозою выдержать войну,
И ровный шумъ лѣсовъ сосновыхъ,
И деревенекъ тишину,
И нивъ широкіе размѣры...
Храмъ Божій на горѣ мелькнулъ
И дѣтски-чистымъ духомъ вѣры
Внезапно на душу пахнулъ.
Нѣтъ отрицанья, нѣтъ сомнѣнья—
И шепчетъ голосъ неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди съ открытой головою! -
Какъ ни тепло чужое море,
Какъ ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храмъ воздыханья, храмъ печали—
Убогій храмъ земли твоей:
Тяжеле стоновъ не слышали
Ни римскій Петръ ни Колизей!
Сюда народъ, тобой любимой,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносилъ—

И облегченный уходилъ!
 Войди! Христось наложить руки
 И снять волею святой
 Съ души оковы, съ сердца муки
 И язвы съ совѣсти больной...
 Я внялъ... я дѣтски умилился...
 И долго я рыдалъ и бился
 О плиты старья челомъ,
 Чтобы простишь, чтобъ заступился.
 Чтобы осѣнилъ меня крестомъ
 Богъ угнетенныхъ, Богъ скорбящихъ,
 Богъ поколѣннй, предстоящихъ
 Предъ этимъ скуднымъ алтаремъ!

Поэтъ! поэтъ! Что же вы морочите-то насъ и „неуклюжимъ стихомъ“, и „догораніемъ любви“?

Глубокая любовь къ почвѣ звучитъ въ произведеніяхъ Некрасова, и поэтъ самъ искренно сознаетъ эту любовь. Онъ, повидимому, не жалѣетъ, какъ Лермонтовъ, что этой любви „не побѣдитъ разсудокъ“, не зоветъ этой любви „странною“. Одинаково любитъ онъ эту почву и тогда, когда говоритъ о ней съ искреннимъ лиризмомъ, и тогда, когда рисуетъ мрачныя или грустныя картины; и мало того, что онъ любитъ: его поэзія всегда въ уровень съ почвою—тогда ли, когда въ мрачный, сырой осенній вечеръ, съ поэтически-ядовитымъ озлобленіемъ передаетъ засѣданіе „клуба вороньяго рода“ и съ наружнымъ равнодушіемъ и внутреннею глубокою симпатіею разговоръ двухъ старушенокъ, сошедшихся у колодца; тогда ли, когда въ душной больницѣ подсматриваетъ онъ высокую сцену поднятія любовію падшаго чело-вѣка и слышитъ

всепрощающій голосъ любви,
 Полный мольбы безконечной;

тогда ли, когда изображаетъ видѣніе, обратившее кашея Власа въ божьяго странника, хоть это видѣніе и не имѣетъ счастья нравиться критику „Отеч. Записокъ“, который искалъ-искалъ въ варенцовскомъ, безсоновскомъ и псевдо-якушкинскомъ сборникѣ разныхъ ужасовъ, между прочимъ, шестикрылатаго чернаго тигра; тогда ли, когда простодушно

передаетъ онъ „деревенскія новости“, не заботясь — что впрочемъ непохвально — о формѣ передачи; тогда ли, когда такъ же безыскусственно и до наивности искренно любитъ крестьянскими дѣтьми-шалунами. Не все это, на что я указываю, художественно: напротивъ, на многомъ, къ сожалѣнію, есть и пятна, многое страдаетъ неизвинительною небрежностью отдѣлки, но во всемъ этомъ почвою пахнетъ. Тамъ же, гдѣ поэтъ видимо заботится и о художественности, — рисуешь ли онъ съ мрачною злобою „Псовую Охоту“, кончая свою поэму ядовитымъ двустихіемъ:

Кто же охоты собачьей не любить,
Тотъ въ себѣ душу заспитъ и погубить...

обращается ли онъ къ родинѣ съ нѣжной и покорной любовью сына — отождествленіе съ почвою выступаетъ, разумѣется, еще ярче. Въ этомъ отношеніи особенно знаменательно начало „Саши“, полное высокой поэзіи и своимъ сдержаннымъ лиризмомъ служащее какъ бы приготовленіемъ къ вышеприведенному мною порыву лиризма беззавѣтно-искренняго.

Словно какъ мать надъ сыновней могилой,
Стонетъ куликъ надъ равниной унылой,
Пахарь ли пѣсню вдали запоетъ —
Долгая пѣсня за сердце беретъ;
Лѣсъ ли начнется — сосна да осина...
Не весела ты, родная картина!

Да, не весела!.. Но пусть не весела: молчить „озлобленный умъ“ поэта, — а молчить онъ потому, что

Сладокъ мнѣ лѣса знакомаго шумъ,
Любо мнѣ видѣть знакомую ниву —
Дамъ же я волю благому порыву...

Сердце поэта устало питаться злобою: любящимъ сыномъ воротился онъ къ родинѣ, и сколь бы ни нагнали тоски ея вѣчныя бури, онъ стоитъ передъ нею побѣжденный...

Силы сломили могучія страсти,
Гордую волю погнули напасти,
И про погибшую музу мою

Я похоронныя пѣсни пою.
 Передъ тобою мнѣ плакать не стыдно,
 Ласку твою мнѣ принять не обидно.
 Дай мнѣ отраду объятий родныхъ,
 Дай мнѣ забвеніе страданій моихъ!
 Хмелью измять я... и скоро я сгину...
 Мать не враждебна и къ блудному сыну:
 Только что ей я объятья раскрылъ—
 Хлынули слезы, прибавилось силъ,
 Чудо свершилось: убогая нива
 Вдругъ просвѣтлѣла, пышна и красива,
 Ласковѣй машетъ вершинами лѣсъ,
 Солнце привѣтливѣй смотреть съ небесъ.

Но чуда собственно нѣтъ тутъ никакого. Это не покаяніе, не возвратъ, не пушкинское „Возрожденіе“. Поэтъ никогда не разрывался съ полвою, всегда любилъ ее: я указывалъ примѣръ, гдѣ и раздраженный болѣзненно, какъ въ „Псовой Охотѣ“, и негодующій и тоскующій или правильно или неправильно,—онъ все-таки не сходитъ съ почвы, а постоянно стоитъ на ней.

Удивительная между прочимъ вещь эта небольшая поэма „Саша“. У меня къ ней глубокая симпатія и вмѣстѣ антипатія: симпатія къ ея краскамъ и подробностямъ, антипатія за то, что она весьма удобно поддается аллегорическому толкованію... Она, вѣдь, могла, право, быть озаглавлена такъ: „Саша, или сѣятель и почва“. Но поразительно прекрасны ея краски и подробности воспитанія героини. Тутъ все пахнетъ и черноземомъ и скошеннымъ сѣномъ; тутъ рожь слышно шумить, стонетъ и звенить лѣсъ; тутъ все живетъ отъ березы до муравья или зайца, и самый складъ рѣчи вѣетъ народнымъ духомъ.

Но особенно удивительна по формѣ своей поэма „Коробейники“. Тутъ является у поэта такая сила народного созерцанія и народного склада, что дивишься поистинѣ скудости содержанія при такомъ богатствѣ оболочки. Явно, содержаніе нужно было поэту только какъ канва для тканья. Доказывать моей мысли насчетъ этой поэмы я не стану, т. е. не стану ни приводить ея безпрестанно смѣняющихся картинъ, въ рамы которыхъ вошло множество

доселѣ нетронутыхъ сторонъ народной жизни, картинъ, писанныхъ широкою кистью, съ разнообразнымъ колоритомъ, ни обличать, что содержаніе только канва. Одной этой поэмы было бы достаточно для того, чтобы убѣдить каждаго, насколько Некрасовъ поэтъ отъ почвы, поэтъ народный, т. е. насколько поэзія его органически связана съ жизнію.

Но народная натура поэта *трону*та цивилизаціею. Какъ именно подобная впечатлительная и страстная натура держиваетъ натискъ цивилизації—могло бы составить предметъ огромной статьи, въ родѣ статьи о „Темномъ Царствѣ“ покойнаго Добролюбова; но имѣя въ виду статью литературно-критическую, а не общественно-критическую, я по возможности сжато постараюсь представить въ слѣдующемъ послѣднемъ отдѣлѣ черты этого замѣчательнаго психологическаго процесса, прослѣдивши ихъ исключительно въ произведеніяхъ нашего поэта.

V.

Лѣтъ двадцать, а можетъ-быть даже и пятнадцать тому назадъ еще существовалъ тотъ Петербургъ, который внушилъ Гоголю множество пламенно-ядовитыхъ страницъ, Некрасову множество горькихъ стихотвореній, Панаеву нѣсколько блестящихъ очерковъ и водевилистамъ множество куплетовъ, считавшихся въ александринскомъ мірѣ остроумными. То былъ дѣйствительно какой-то особенный городъ, городъ чиновничества, съ одной стороны, городъ умственнаго и нравственнаго мѣщанства, городъ карьеръ и успѣховъ по службѣ, гдѣ всякое искусство замѣняли водевили александринской сцены, отдохновеніе—преферансъ. Зато, съ другой стороны, это былъ городъ исключительно головного развитія русской натуры. Русскія даровитыя головы работали въ немъ напряженно, вся кровь прилиwała у нихъ къ головѣ, и только желчь оставалась въ сердцѣ. Они ненавидѣли городъ, въ которомъ судьба обрекла ихъ работать, и вмѣстѣ любили его, или, лучше сказать, испытывали въ отношеніи къ нему какое-то лихорадочное, болѣзненное чувство, превеличивая, можетъ-быть, его язвы, возводя иногда въ значеніе жизненныхъ явленій то, что было въ сущности ми-

ражемъ. Припомните хоть „Невскій Проспектъ“ Гоголя, и вы поймете, что я хочу сказать. Великій изобразитель „пошлости пошлаго человѣка“, самъ того не зная, довелъ изображеніе пошлости до чего-то грандіознаго, почти-что дошелъ до отношенія великаго автора „Comédie humaine“ къ его Парижу. Вспомните также первыя произведенія поэта „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“, въ особенности „Двойника“, эту тяжелую, мрачную и страшно утомляющую грудку явленій не жизненныхъ, а чисто миражныхъ, и произведенія писателей его школы, въ особенности Буткова—болѣзненныхъ, горькія, ядовитыя отраженія странной, не органической, а механической жизни. Въ этой тиши все, малѣйшія даже явленія дѣйствовали на чуткія натуры болѣзненно-раздражительно, отчасти даже фантастически. Это особое, дѣйствительно фантастическое настроеніе впечатлѣній, стоящее подробно, *историческаго* изученія. Въ такъ-называемой школѣ сантиментальнаго натурализма сказалась вся глубокая симпатичность русской души и вся способность ея къ болѣзненной раздражительности.

Предоставляя себѣ въ послѣдствіи побесѣдовать съ читателями и объ этой полосѣ нашего нравственнаго развитія и о бываломъ Петербургѣ, тѣмъ съ большимъ правомъ, что нѣкогда самъ я воспѣвалъ его, любя въ немъ

подъ ледяной корой
Его страданіе больное,

страдая болѣзненными бессонницами въ его

ночи финскія съ ихъ гнойной бѣлизной—

я здѣсь ограничиваюсь только намекомъ, достаточнымъ, впрочемъ, относительно настоящаго предмета моихъ разсужденій.

Много воды утекло въ пятнадцать или двадцать лѣтъ. Петербурга-формалиста, Петербурга-чиновника, даже Петербурга-воина, опозтизированнаго Пушкинымъ въ „Мѣдномъ Всадникѣ“, нѣтъ болѣе или, по крайней мѣрѣ, онъ уже не тревожитъ, не раздражаетъ болѣзненно-чуткія натуры: онъ доживаетъ гдѣ-то въ отдаленныхъ закоулкахъ, не мечется больше въ глаза даже на Невскомъ проспектѣ, ибо „полусвѣтъ“, который съ такимъ упорствомъ и съ дѣйствитель-

нымъ талантомъ, потраченнымъ на малое дѣло, изображалъ покойный Панаевъ—уже не исключительно петербургское, а общее европейское явленіе, — если можно назвать его явленіемъ. Въ настоящемъ Петербургѣ есть только двѣ оригинальности: въ трактирахъ его подаютъ московскую солянку, которую въ Москвѣ дѣлать не умѣютъ, и за Невой есть у него Петербургская сторона, которая гораздо больше похожа на Москву, чѣмъ на Петербургъ. Даже остроумныя размышленія о немъ автора „Станціи Едрово“ потеряли свою соль съ тѣхъ поръ, какъ серединной станціей стало не Едрово, а Болагово. Желѣзная жила оттянула кровь отъ головы — и, право, славянофильская вражда къ Петербургу въ настоящую минуту лишена даже смысла. Петербургъ теперь городъ какъ всякій другой. Москвичи по этому поводу говорятъ съ обычной имъ московской гордостью, что это съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ расти къ сторонѣ желѣзной дороги, т. е. къ Москвѣ. Такъ какъ я самъ москвичъ, то вы, конечно, не потребуете отъ меня ренегатства отъ мнѣнія соотчичей.

Какъ бы то ни было, но прежняго, болѣзненно-раздражавшаго и вмѣстѣ по-своему типическаго Петербурга нѣтъ болѣе. Жалѣть ли объ этомъ? Не думаю, чтобы стоило. Это было не жизненное, а миражное типическое — тусклыя картины съ сѣренькимъ колоритомъ, не болѣе. Лучшее дѣйствіе ихъ, этихъ тусклыхъ картинъ, было отрицательное. Положительное же дѣйствіе находило себѣ литературное выраженіе въ фельетонахъ Булгарина, въ драматургін Александринскаго театра; оно вызвало горькую и ядовитую, несмотря на веселый тонъ, сатиру Панаева „Тля“, которую (столько въ ней возвышенности и негодованія!) какъ-будто бы продиктовалъ самъ Бѣлинскій.

Рѣчь моя о Петербургѣ бывалыхъ временъ вела къ опредѣленію импульсовъ поэзіи Некрасова. Съ этой болѣзненно-раздражающей миражной жизнью „муза мести и/печали“ стояла всегда лицомъ къ лицу, но, къ сожалѣнію, не всегда выстаивала съ достоинствомъ, не всегда стояла надъ нею, а иногда становилась въ уровень съ нею. Почти что такъ же зловредно (позволю себѣ это неучтивое сравненіе), какъ

фабричная цивилизація дѣйствуетъ на впечатлительно-страстные натуры изъ русскихъ натуръ, подѣйствовала миражная цивилизація на эту музу. Глубокая натура Кольцова, столкнувшись съ цивилизаціей, преклонилась передъ ея высшими вопросами и, можетъ быть, была разбита слишкомъ сильнымъ пріемомъ ихъ сразу. Художественно-спокойная и самообладающая натура другого человѣка народа, Островскаго, не знала даже и столкновенія, прямо и ясно смотря впередъ. Страстная натура Некрасова вполнѣ вдалась въ миражную жизнь, и нечего грѣха таить, часто поддавалась ей, испытала какъ ея отрицательныя вліянія, т. е. ужасъ отъ пошлости, такъ, къ несчастію, и положительныя. Неизгладимая печать увлеченій миражной жизнью легла на его произведенія то желчными пятнами, то увѣ! отзывами пошлыхъ водевильныхъ куплетовъ.

Едва ли нужно доказывать это. Поэтъ самъ — а его — то преимущественно имѣлъ я въ виду — знаетъ грѣхи своей музыки, а слѣпые поклонники его все равно же будутъ безразлично восторгаться и правымъ и неправымъ его негодованіемъ, будутъ наравнѣ съ чистыми и возвышенными его вдохновеніями, каковы: „Въ дорогѣ“, „Огородникъ“, „Когда изъ мрака заблужденія“, „Тройка“, „Изъ Ларры“, „Вино“ (хотя „Отеч. Запискамъ“ и не нравится это стихотвореніе), „Маша“, „Памяти — ой“ (грустной элегіей, испорченной, къ сожалѣнію, чѣмъ-то водевильнымъ въ тонѣ), „Буря“, „Въ деревнѣ“, „За городомъ“, „Тяжелый крестъ достался ей на долю“, „На родинѣ“, „Въ больницѣ“, „Послѣднія Элегіи“, „Застѣнчивость“, „Несжатая Полоса“, „Забытая Деревня“, „Школьникъ“, „Тишина“, „Убогая и Нарядная“, „Пѣсня Еремушки“, „Знахарка“, „Деревенскія Новости“ (пусть онѣ, эти новости, и лишены всякой художественной формы, но свѣжо и чисто ихъ содержаніе), „Плачь Дѣтей“, „На Волгѣ“, „Похороны“, „Княгиня“, „Начало Поэмы“, „Въ столицѣ шумъ, гремятъ витія“, „Охота“, „Сапша“, „Поэтъ и Гражданинъ“, „О погодѣ“, „Крестьянскія Дѣти“, „Коробейники“ — наравнѣ, говорю я, съ этими почти что безупречными по вдохновенію произведеніями восторгаться Ванькой ражимъ, и „Свадьбою“, и „Нравственнымъ Чело-

вѣкомъ“, и „Прекрасной Партіей“, которую какъ-будто писать знаменитый авторъ „Булочной“, и „Отелло на пескахъ“, и „Филантропомъ“, достойнымъ пера обличительныхъ поэтовъ „Искры“. Ихъ не увѣришь, напримѣръ, что только ненормально-настроенному чувству придетъ въ голову при видѣ свадьбы простого человѣка съ простой женщиной рядъ предположеній, болѣе относящихся къ среднимъ сферамъ; не увѣришь также и въ томъ, что неестественна, водевильна форма стихотворенія „Нравственный Человѣкъ“, что въ немъ страшно мѣшаетъ впечатлѣнію эстетическому мѣстоименіе я; ихъ даже и въ томъ не убѣдишь, что стихотвореніе о двѣнадцатомъ годѣ просто дурно, какъ чистоличное капризное впечатлѣніе.

Исчисляя лучшія по вдохновенію стихотворенія поэта, я не безъ намѣренія пропустилъ три изъ нихъ, наиболѣе дѣйствующія на публику и даже на меня лично весьма сильно дѣйствующія: „Вду ли ночью по улицѣ темной“, „Власъ“ и поэму „Несчастные“. Конечно, поэтъ не виноватъ, что изъ перваго стихотворенія эмансипированныя барыни извлекаютъ замѣчательно-распутную теорію, но онъ виноватъ въ томъ, что не совладалъ самъ съ горькимъ стономъ сердца, не всталъ выше его, чѣмъ-нибудь во имя жизненной и поэтической правды не напомнилъ о возможности иного психологическаго выхода, нежели тотъ исключительный, который онъ опозитизировалъ. Ему даже и на улицахъ Петербурга попадались, вѣроятно, женщины съ маленькими гробиками, нерѣдко довольно наполненными мѣдными деньгами благочестиваго и добраго русскаго люда. Въ величавомъ образѣ „Власа“ тоже есть капризная исключительность взятаго поэтомъ психологическаго процесса. Поэму „Несчастные“ портитъ апологія Петра, совершенно не идущая ни къ ея тону ни къ лицу, въ ней изображаемому.

Даже и въ лучшихъ по вдохновенію, исчисленныхъ мною стихотвореніяхъ нѣтъ во многихъ строгой выдержанности художественной формы. Великая, но попорченная народная сила—„муза мести и печали“!.. *)

Ап. Григорьевъ.

*) Отвѣтъ на настоящую статью А. Григорьева см. въ „Отеч. Запискахъ“ 1863 г., № 9, отд. II, стр. 1—11.

* * *

*) Многие увѣрены, что очень легко отдавать отчетъ въ своихъ впечатлѣнiяхъ: высказалъ просто-на-просто, что чувствуешь — и все тутъ. Мы сами были очень близки къ такому взгляду, но насъ остановилъ вопросъ: всѣ ли впечатлѣнiя равно истинны, и не исчезаетъ ли истина многихъ изъ нихъ при малѣйшемъ анализѣ, при малѣйшемъ прикосновенiи логики? Есть ли рѣзко проведенная граница между впечатлѣнiемъ глубокимъ и продолжительнымъ, впечатлѣнiемъ, обращающимся въ убѣжденiе, и тѣмъ впечатлѣнiемъ, которое возникаетъ мимолетно, навѣянное духомъ времени и общимъ настроенiемъ, неотразимо дѣйствующими на всякую отдѣльную личность общества, такъ же, какъ и на всю его массу? Такiя впечатлѣнiя обыкновенно бываютъ живѣе тѣхъ, которыя вырабатываются съ помощью анализирующей мысли. Какъ взрывъ общаго одобренiя зрителей въ театрѣ невольно увлекаетъ и хладнокровнаго, такъ и единичное мимолетное впечатлѣнiе невольно сочувствуетъ большинству — до времени трезваго разбора причинъ этого впечатлѣнiя и отысканiя ихъ прямого источника.

Это небольшое размышленiе мы необходимо должны были предпослать прежде, нежели начнемъ говорить о стихотворенiяхъ г. Некрасова, недавно вышедшихъ вторымъ изданiемъ, съ дополненiями, еще неизвѣстными читающей публикѣ.

Г. Некрасовъ имѣетъ множество почитателей своего таланта, сами мы въ томъ числѣ, и, по общему отзыву всѣхъ ихъ, онъ есть поэтъ народный и симпатичный, хотя и отрицательный только. „Сами мы въ томъ числѣ“, — сказали мы, значитъ и мы придаемъ тѣ же эпитеты къ его произведенiямъ: народности, симпатичности и отрицающей любви?..

Въ томъ-то и дѣло, что для насъ уже наступило время отрезвленiя, и мы спрашиваемъ у себя, почему именно г. Некрасовъ можетъ быть названъ поэтомъ народнымъ, сим-

*) „С.-Петербургскiя Вѣдомости“ 1862 г., № 19. „Литературная лѣтопись“. Статья В.

патичнымъ и гѣвцомъ отрицающей любви (собственно, любви ненавидящей)?

Помилуйте! Что это за пустой вопросъ? Да кто же и когда изъ нашихъ поэтовъ ближе сошелся съ народомъ, искреннѣе полюбилъ его и полнѣе передать его нужды и страданія, почти во всѣхъ обстоятельствахъ жизни, отъ младости до старости?..

Такъ отвѣчаютъ почитатели таланта г. Некрасова, и мы съ ними; но мы еще желаемъ поискать послѣдняго окончательнаго отвѣта въ двухъ книжкахъ, лежащихъ передъ нами. Поищемъ.

Какими путями можетъ выражаться симпатія къ народу?

Намъ кажется, что пути эти не очень многочисленны и опредѣлить ихъ не очень трудно, но прежде чѣмъ говорить о частностяхъ, мы скажемъ, что истинная симпатія, въ какомъ бы видѣ она ни проявлялась, непременно должна быть слѣдствіемъ короткаго знакомства, близкаго знанія той среды, которой вы симпатизируете; иначе симпатія ваша будетъ театральная декорация, блески и мишура. Допустимъ сначала, что г. Некрасовъ обладаетъ этимъ близкимъ знаніемъ, и симпатіи его суть слѣдствіе короткаго знакомства.

Итакъ, переходя къ частностямъ выраженія симпатіи, мы полагаемъ, что она можетъ быть выражена или простымъ и теплымъ участіемъ въ горѣ и радости, въ нуждахъ и опасеніяхъ, во всѣхъ событіяхъ жизни, такъ или иначе волнующихъ человѣческое сердце; или протестомъ противъ всего, что тѣснить предметъ нашей симпатіи, что мѣшаетъ его самосовершенствованію, что гнететъ его жизнь и истощаетъ нравственныя и физическія его силы (причины такого протеста могутъ заключаться и внѣ и внутри самаго предмета); или, наконецъ, желаніемъ добра, пользы и счастья этому любимому существу или множеству существъ, настолько живое и сильное, что оно возвышается до идеала, до самообольщенія, и заставляетъ насъ видѣть въ предметѣ нашей симпатіи такія качества и свойства, которыми онъ вовсе не обладаетъ, ставитъ его въ такое положеніе, которое для него недостижимо, по слабому развитію духовныхъ

силъ, и строить будущее на основаніи этихъ невѣрныхъ данныхъ, столь же невѣрное, какъ и восторженное представление. Наконецъ, можно выражать симпатію, отрицая въ предметѣ рѣшительно всѣ хорошія его стороны и ярко выставляя на видъ одни только недостатки. Такого рода симпатія можетъ быть и должна быть выражаема только къ средѣ или обществу людей, близкихъ намъ по развитію или хотя по внѣшнимъ признакамъ этого развитія. О народѣ, то-есть о симпатіи къ народу, не можетъ быть и рѣчи въ этомъ видѣ. Мы говоримъ преимущественно о русскомъ народѣ или, все равно, о такомъ, развитіе котораго далеко уступаетъ развитію нѣкоторыхъ избранныхъ частей его или сословій, и который, на этомъ основаніи, и называется у насъ очень великодушно „меньшими братьями“.

Главный успѣхъ стихотвореній г. Некрасова заключается въ увѣренности читателей, что всѣ они, эти стихотворенія, симпатичны народу тѣмъ или другимъ образомъ и основаны на полномъ знаніи условій народной жизни. Который же изъ способовъ выраженія симпатіи, перечисленныхъ нами, избралъ г. Некрасовъ для своей дѣятельности, для своего творчества?

Ни котораго. Онъ открылъ свой собственный способъ выраженія симпатіи, о которомъ, кажется, гдѣ-то самъ же говорить, что это способъ любить ненавидя. Способъ хороший; не одинъ изъ первостепенныхъ поэтовъ-художниковъ выражался именно этимъ способомъ: ненавидить, любя, и бросаетъ громы на кровлю отческаго дома затѣмъ, что кровля плоха и ее необходимо перекрыть... Но г. Некрасовъ, любя, не только ненавидить, онъ еще презираетъ предметъ своихъ симпатій, а ужъ какъ совмѣстить любовь съ презрѣніемъ — мы этого понять не въ силахъ.

Прочитавъ и перечитавъ всѣ стихотворенія г. Некрасова, мы пробовали отыскать между „меньшими братьями“ хоть одну теплую человѣческую личность — и не отыскали. Пьяницы, идіоты, мерзавцы, плуты и, наконецъ, убійцы — это все есть; просто человѣка нѣтъ вовсе.

Что жъ, можетъ быть, зная этихъ „меньшихъ братьевъ“ дѣйствительно только со стороны ихъ недостатковъ, г. Не-

красовъ возлюбилъ ихъ и съ недостатками, и указываетъ пути, какъ истребить все несоотвѣтствующее братственному понятію о достоинствѣ человѣка?

Нѣтъ, не возлюбилъ и не указалъ; да и рисовалъ онъ свои изображенія вовсе не съ натуры, а, такъ сказать, по плакатному паспорту, гдѣ описаны примѣты и обозначено, какъ зовутъ предъявителя...

Да, вѣдь, это неправда, это вы просто клеветеете на г. Некрасова! Вся симпатія, которою пользуются его стихи (а симпатія почти общая), основана на томъ, что онъ сильно любитъ, глубоко понимаетъ и мѣтко изображаетъ „меньшихъ братьевъ“, сочувствіе къ которымъ разлито теперь въ воздухъ, составляетъ непремѣнное условіе для каждого мыслящаго человѣка, и которое г. Некрасовъ краснорѣчиво выражаетъ за всѣхъ...

И мы такъ же думали, и намъ то же казалось, и мы даже заучивали наизусть стихотворенія г. Некрасова. Да вотъ вздумалось приступить къ себѣ построже, потребовать отъ себя отчета: почему это такъ? И пришла тутъ логика, и вдалились мы въ обсужденіе съ ея участіемъ — а какое уже увлеченіе съ логикой? Извѣстно, что это за вещь: ей подай на все причину. всему укажи свое мѣсто... Досадно, право!.. Что тутъ разбирать, когда нравится? Значить, хорошо — и слава Богу.

Развернемъ, однако, книгу. Первое — „Въ дорогѣ“ — отличная вещь! Бѣлинскій восхищался ею сильно, какъ повѣствуетъ г. Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Ну, каковъ же „меньшій братъ“ въ этой пьесѣ? Да сильно скотовать; называетъ злодѣйкой ни въ чемъ неповинную жену, потомъ говорить, что была бы изъ нея лихая бабенка, если бы господа не погубили (то есть не женили бы его на ней, вѣроятно?), и, въ заключеніе, признается, что ее, тихую и безотвѣтную ко всему, изсохшую, какъ щепка, и уже видимую жертву смерти — бивалъ онъ. Сказано такъ:

А бивать — такъ почестъ не бивалъ,
Развѣ только подъ пьяную руку...

Значить, „подъ трезвую руку“ бивалъ же изрѣдка, а подъ пьяную такъ, вѣроятно, и частенько.

Немного любви, да немного и знанія въ этой пьесѣ; а „меньшій братъ“ обрисованъ негодяемъ, хотя онъ своимъ разсказомъ и разогналъ скуку „старшаго брата“.

Въ „Огородникѣ“ меньшаго брата г. Некрасовъ наказываетъ строже, чѣмъ велитъ законъ: за подозрѣніе въ воровствѣ никакой законъ не опредѣляетъ „стеганіе плетью“...

Какія мелкія придирки, какая казуистика; можно ли такъ разбирать? Можно-съ. Мы полагаемъ, что непременно слѣдуетъ знать то, о чемъ пишешь, и ни въ какомъ случаѣ не преувеличивать факта — иначе писатель очень скоро теряетъ свою популярность. У насъ потому и нѣтъ ни одного истинно популярнаго писателя, что ни одинъ не отличается знаніемъ всѣхъ условій жизни, изъ нея самой возникшихъ или для нея обязательныхъ; а этими условіями по большей части пренебрегаютъ и, не зная ихъ, часто говорятъ, что они гнетомъ ложатся на жизнь, не соотвѣтствуютъ ея истиннымъ требованіямъ, не гарантируютъ ея неприкосновенности; говорятъ съ жаромъ полнаго убѣжденія; вся любовь (или такъ называемая любовь) отрицателей построена на этомъ, и все-таки безъ полнаго знанія того, что они отрицаютъ.

Мы, конечно, не имѣемъ въ виду стать на сторонѣ внѣшнихъ вліяній — на сторонѣ опеки надъ жизнью, но мы непременно на сторонѣ знанія. Только одно оно даетъ право полагать и отрицать, право протеста и защиты; но мы очень мало уважаемъ, даже меньше чѣмъ мало, такія положенія и отрицанія, защиты и протесты, которые высказываются en général, общими мѣстами, безъ знанія не только мелкихъ подробностей, но и весьма крупныхъ отдѣловъ того, чѣмъ руководится жизнь.

Но постараемся не отвлекаться отъ нашей прямой цѣли — отысканія въ стихотвореніяхъ г. Некрасова знанія меньшаго брата и, въ особенности, любви, симпатіи къ этому брату. Мы идемъ по порядку, пропуская тѣ стихотворенія, гдѣ меньшіе братья не участвуютъ и не поминаются, и о которыхъ мы скажемъ послѣ.

Вотъ „Тройка“... А! одно изъ самыхъ фаворитныхъ, самыхъ картинныхъ и, вмѣстѣ, самыхъ сочувственныхъ сти-

хотвореній. Каковъ-то здѣсь меньшій братъ? Да плоховать тоже:

...За веряху пойдешь мужика...

...Будеть бить тебя мужъ привередникъ,

А свекровь — въ три погибели гнуть!..

Неободрительно! Эти качества и безъ любви указать можно, да и знанія особеннаго тутъ не требуется...

Въ „Извозчикѣ“ „меньшій братъ“ Ванюха — парень ражій (знаніе-то, знаніе-то среды какое! Ванюха, да еще парень, да и ко всему этому ражій!) повѣсился на возжахъ съ досады, что не зналъ о забытомъ купцомъ въ его саняхъ мѣшкѣ съ деньгами. Боже мой, да гдѣ же это изучалъ такихъ меньшихъ братій г. Некрасовъ, гдѣ онъ могъ и успѣлъ полюбить ихъ этою особенною любовью, которая выливается въ стихахъ, рисуя такія симпатичныя сцены, какъ Ванька, повѣсившійся на возжахъ?..

Рядомъ съ этимъ злополучнымъ произведеніемъ, которое г. Некрасовъ, подумавши, вѣроятно, выбросить изъ своихъ стихотвореній, есть поистинѣ прелестная, полная дѣйствительнаго чувства пьеска: „Ты всегда хороша несравненно“... Мы всегда съ наслажденіемъ перечитываемъ эту пьеску, и изрѣдка только недоумѣваемъ: почему враги г. Некрасова непремѣнно глупы?..

Пропуская маленькій очеркъ, гдѣ меньшіе братья нагрѣваютъ бока неповинному сивкѣ, находимъ капитальную вещь въ трехъ отдѣленіяхъ „Вино“. Въ первомъ изъ нихъ „меньшаго“ посѣкъ безъ вины сотскій; онъ посерчалъ немного, потомъ напился и успокоился. Во второмъ у „меньшаго брата“ невѣсту другому отдали — онъ крѣпко пообѣщаль расчесться съ обидчикомъ, и выпилъ для смѣлости; а въ кабацѣ свой братъ Петруха назвался угостить. (Вотъ, наконецъ, добрая черта отыскалась въ нашемъ народѣ, хотя на этотъ разъ и невѣрная). Мститель напился и успокоился. Въ третьемъ, наконецъ, обсчиталъ „меньшаго брата“ купецъ, да такъ-то обсчиталъ, что ему и артель расчитать нечѣмъ, и въ острогъ итти приходится. Тутъ уже меньшій братъ окончательно вскипѣлъ негодованіемъ:

Побѣжалъ, притаился, какъ воръ,
 У знакомаго дома и ждалъ...
 Да прозябъ; а напротивъ кабакъ,
 Разсудилъ: отчего-жъ не зайти?
 На послѣдній хватилъ четвертакъ,
 Подрался — и проснулся въ части...

И неужели это идиотическое представленіе русскаго народа, въ тѣ минуты, когда просыпается вся его энергія — могло нравиться, могло быть принято кѣмъ-нибудь за вѣрную картину, нарисованную симпатичною рукою любящаго автора? Могло; даже многими и теперь такъ принимается. Г. Некрасовъ писалъ, не зная и не любя, мы восхищались и восхищаемся, не любя и не зная... Что жъ тутъ удивительнаго? Круговая порука. Г. Некрасовъ принялъ такое убѣжденіе отъ кого-нибудь на вѣру, и созерцалъ народъ съ этой точки; мы приняли на вѣру слова г. Некрасова — и все тутъ.

„Въ деревнѣ“ — одно изъ лучшихъ произведеній г. Некрасова, но тутъ уже нѣтъ на сценѣ „меньшаго брата“, а есть полоумная отъ горя старуха, которая мастерски обрисована.

Наконецъ, вотъ обращенное къ „меньшимъ братьямъ“ слово, къ которому готовы присоединиться и мы. Чтобы доказать г. Некрасову искренность нашего желанія отыскать все хорошее въ его произведеніяхъ, мы эту пьесу выпишемъ вполнѣ; она называется „Отрывокъ“.

Ночь. Успѣли мы всемъ насладиться.
 Что жъ намъ дѣлать? Не хочется спать;
 Мы теперь бы готовы молиться,
 Но не знаемъ, чего пожелать.
 Пожелаемъ тому доброй ночи,
 Кто все терпитъ во имя Христа,
 Чьи не плачутъ суровыя очи,
 Чьи не ропщутъ нѣмыя уста,
 Чьи работаютъ грубыя руки,
 Предоставивъ почтительно намъ
 Погружаться въ искусство, въ науки,
 Предаваться мечтамъ и страстямъ.
 Кто бредетъ по житейской дорогѣ

Въ безразсвѣтной, глубокой ночи,
 Безъ понятія о правѣ, о Богѣ,
 Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи.

Стихи дѣйствительно хорошіе, хотя теперь они уже потеряли большую часть своего смысла. Только крѣпостное право позволяло существовать такимъ господамъ, которые могли предаваться мечтамъ и забавамъ прямо насчетъ труда „меньшихъ братій“. Но почему же, при такой симпатіи къ „меньшему брату“, при такомъ пониманіи его безразсвѣтной жизни, безысходнаго труда, беспросвѣтной тьмы, его окружающей, г. Некрасовъ такъ усердно отыскиваетъ между тружениками только мерзавцевъ и идіотовъ? Если это въ поученіе остальнымъ, то расчетъ сильно невѣренъ: еще много времени пройдетъ прежде, нежели „меньшіе братья“ станутъ читать г. Некрасова, и станутъ ли еще они читать его—это вопросъ. Но мы, читающіе г. Некрасова съ увлеченіемъ, съ плесками рукъ, съ энтузіазмомъ, мы какого понятія о „меньшемъ братѣ“ наберемся, если неосторожно повѣримъ, что г. Некрасовъ хорошо его знаетъ?.. А мы, вѣдь, вѣрили долго, многіе вѣрятъ еще и теперь. Мы уже не вѣримъ, для насъ вѣра замѣнилась знаніемъ, и знаніе это добыто прямо изъ той среды, гдѣ его искать надобно, и оно то говоритъ намъ, что у г. Некрасова нѣтъ ни знанія, ни любви, а есть нѣчто, вычитанное въ книгахъ, слышанное отъ другихъ и даже не переплавленное въ художественномъ представленіи — никто еще, кажется, не рѣшался назвать г. Некрасова художникомъ, да и самъ онъ на это званіе не претендуетъ.

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной и т. д.

это его собственный, правдивый приговоръ своему стиху.

Но пойдѣмъ далѣе. Вотъ „Власъ“ — стихотвореніе прекрасное и вѣрное по мысли, но до такой степени расплывшееся въ ненужныхъ подробностяхъ, что его скучно и утомительно читать. Такія явленія, какъ дядя Власъ, не рѣдкость въ нашемъ народѣ, и въ этихъ явленіяхъ выражается та желѣзная крѣпость характера, та непреклонность воли,

которыя даютъ русскому народу право многого надѣяться въ будущемъ.

„Свадьба“ — здѣсь „меньшій братъ“ является въ видѣ мерзавца фабричнаго, а „дура-сестра“ выходитъ за него замужъ, хотя такъ въ міру, въ народѣ почти никогда не случается, и если былъ случай, описанный г. Некрасовымъ, то это исключеніе.

„Забятая Деревня“ — прекрасная вещь, но опять полное незнаніе. Какимъ образомъ, при крѣпостномъ правѣ, могъ какой бы то ни было крючкотворецъ, съ какими бы то ни было землемѣрами, отрѣзать помимо барина косячокъ, да еще изрядный косячокъ земли?

Но нѣтъ никакой надобности отыскивать любви и знанія во всѣхъ мелкихъ стихотвореніяхъ, во-первыхъ, потому что ихъ тамъ нѣтъ, во-вторыхъ, потому что впереди насъ еще ожидаютъ двѣ поэмы, исключительно посвященныя „меньшимъ братьямъ“. Г. Некрасовъ; вѣроятно, замѣтитъ, что мы пропустили нѣкоторыя, впрочемъ, капитальныя вещицы, въ родѣ „Мы сами дѣлывали шутики“ или „Пѣсня Еремушки“, но это потому, что первая изъ нихъ слишкомъ безобразна, а вторая слишкомъ плоха и сбивается на азбучную мораль, а мы настолько уважаемъ поэтическіе труды г. Некрасова, что останавливаемся только на такихъ вещахъ, изъ которыхъ желали бы вывести или любовь къ „меньшему брату“ или короткое знакомство съ нимъ. Мы, къ сожалѣнію, не могли вывести ни того ни другого, и не знаемъ, кто будетъ счастливѣе насъ въ этомъ отношеніи.

Переходимъ къ крупнымъ вещамъ: „Крестьянскія Дѣти“ и „Коробейники“. Содержанія мы не станемъ рассказывать, потому что оба эти стихотворенія теперь, вѣроятно, всѣмъ извѣстны, да и рассказать нельзя ихъ содержанія, потому что это нѣсколько отдѣльныхъ сценъ, набросанныхъ безъ всякой связи и послѣдовательности, и если мы называли эти стихотворенія поэмами, то только потому, что надобно же ихъ какъ-нибудь назвать; да и въ каждой поэмѣ есть главный герой: въ „Крестьянскихъ Дѣтяхъ“ этотъ герой самъ г. Некрасовъ, а въ „Коробейникахъ“ — лѣсникъ, въ концѣ разсказа убивающій обоихъ коробейниковъ изъ дву-

ствольнаго ружья. Эта пьеса послѣдняя въ вышедшихъ теперь двухъ частяхъ стихотвореній г. Некрасова и составляетъ, съ его стороны, апофеозъ любви къ „меньшему брату“ и знанія его быта и привычекъ... Плуты и злодѣи, шпаницы и мерзавцы... Боже, какая несчастная участь! Любить меньшихъ братій всѣми силами души и не отыскать въ нихъ ничего, кромѣ названныхъ теперь и прежде упомянутыхъ элементовъ.

„Крестьянскія Дѣти“ были бы недурнымъ собраніемъ мелкихъ очерковъ, не совсѣмъ вѣрныхъ, но все-таки дающихъ довольно близкое понятіе о томъ, какъ растетъ и чѣмъ занимается деревенская молодежь въ такомъ мѣстѣ, гдѣ еще не устроились школы... Но, къ сожалѣнію, г. Некрасовъ вообразилъ, что нарисованная имъ картина привольной жизни крестьянскихъ дѣтей можетъ довести до обморока отъ зависти дѣтей другого сословія, и потому онъ поворачиваетъ медаль. Этотъ-то поворотъ и вышелъ очень плохъ, плохъ до такой степени, что заставляетъ удивляться, какъ г. Некрасовъ допустилъ себя до такой тенденціи, какая изложена въ любой азбукѣ, и еще несравненно краснорѣчивѣе...

Что же сказать о тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя не затрагиваютъ „меньшаго брата“, а выражаютъ или поражаютъ какой-нибудь изъ нашихъ общественныхъ недуговъ или рисуютъ самую личность автора въ различныхъ комбинаціяхъ жизни? Въ этихъ стихотвореніяхъ замѣчается болѣе знанія и болѣе искренности, хотя они (т. е. большая часть ихъ) не принадлежатъ къ числу фаворитныхъ у публики пьесъ. Мы ихъ разбирать подробно не будемъ; мы особенно хотѣли говорить только о тѣхъ, въ которыхъ было обращеніе къ простолюдину или въ которыхъ этотъ простолюдинъ самъ выходилъ на сцену. Но изъ всѣхъ стихотвореній выводъ представляется намъ очень печальнымъ. Мы вотъ, напримѣръ, вполне сочувствуемъ г. Некрасову—его гражданину, его поэту, самому ему, когда онъ рассказываетъ, какъ „праздникъ жизни, молодости годы онъ убилъ подъ тяжестью труда“, когда онъ восклицаетъ „блаженъ незлобивый поэтъ“ (хотя, сколько мы помнимъ, ровно ни одинъ незлобивый поэтъ не

пользовался блаженствомъ того рода, о которомъ говорится въ стихахъ) и, наконецъ, когда онъ говоритъ: „замолкни, муза мести и печали“... Сколько чувства, сколько энергiи, сколько силы, сколько возможностей скрыто въ этихъ людяхъ! Но отчего же всё эти силы и эти возможности не пошли далѣе слова и не вызвали ничего, кромѣ такого же слова? Когда же будетъ конецъ всёму этимъ словонизверженiямъ, поэтическимъ и непоэтическимъ? Поистинѣ, хоть бы немножко дѣла, хоть бы герой съ громадными способностями и силами грамотѣ научилъ одного лишняго чело-вѣка изъ тѣхъ же, напимѣръ, крестьянскихъ дѣтей. И публика такая же — словесная, словолюбивая публика; поэтому и сочувствуетъ.

Вездѣ, гдѣ встрѣчается описанiе природы, дѣйствительно видѣнной г. Некрасовымъ и ему знакомой, картина выходитъ мастерская, залюбоваться можно, и нельзя не сочувствовать, хорошо зная эту природу, эти отливы и краски, вѣрно схваченныя поэтомъ — въ этихъ описанiяхъ весьма нерѣдко г. Некрасовъ дѣйствительно поэтъ, мы бы сказали даже поэтъ художникъ, если бы иногда не видѣли, что г. Некрасовъ просто списалъ свою картину съ натуры или, можетъ быть, съ какого-нибудь оригинала, и ничѣмъ лично отъ себя не одушевилъ ее и не осмыслилъ. Картина, пожалуй, не потеряла ни въ колоритѣ ни въ вѣрности передачи подробностей, перспективы и проч., но художника въ ней уже не видно.

Если все нами здѣсь высказанное не разъясняетъ причинъ всеобщаго сочувствiя къ стихотворенiямъ г. Некрасова, то, вѣроятно, еще не пришло время для разъясненiй, и нужно будетъ подождать, чтобъ каждому читателю, какъ намъ теперь, самъ собою представился вопросъ: отчего именно онъ, читатель, симпатизируетъ г. Некрасову, и очень мало знакомъ, напимѣръ, съ произведенiями покойнаго Никитина?.. Отвѣтъ тогда отыщется самъ собою, и едва ли будетъ много отличаться отъ нашего.

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ за 1862 г.

*) Одинъ нѣмецкій проповѣдникъ собирався произнести рѣчь... Но вдругъ, въ ту самую минуту, когда уже разверзлись уста его и первое слово готово было вылетѣть изъ нихъ, добросовѣстный нѣмецъ почувствовалъ, что въ немъ самомъ нѣтъ той теплой вѣры, того искренняго убѣжденія, которое хотѣлъ онъ сообщить своимъ слушателямъ. Положеніе ужасное! Но невидимая благодать сошла, по преданію, на добродушнаго пастора, и проповѣдь окончилась благополучно. Этотъ казусный случай всегда неотвязно приходитъ мнѣ въ голову, когда я берусь за стихотворныя произведенія современныхъ русскихъ поэтовъ (конечно, не всѣхъ). Мнѣ все кажется, что положеніе ихъ не много лучше положенія нѣмецкаго пастора, не имѣвшаго вѣры въ самую минуту проповѣди о ней, что они точно такъ же не признають нравственнаго бытія за своими собственными образами и холодно, словно по стеклу, рисуютъ ихъ предъ изумленнымъ и недовольнымъ читателемъ. Вѣры въ свои образы у нихъ положительно нѣтъ, и если бъ только мы не жалѣли мѣста, то могли бы представить множество стихотвореній, гдѣ явно бросается въ глаза эта насильственность и холодность авторскаго изобрѣтенія. Вотъ, напримеръ, одинъ поэтъ (впрочемъ, очень плохой) хочетъ изобразить смерть красавицы отъ изобилія цвѣточныхъ ароматовъ — случай не новый и уже бывшій въ глубокой древности съ кѣмъ-то изъ аѳинскихъ гражданъ. Пиши прозой почтенный авторъ или занимайся онъ простою статистикой, онъ сказалъ бы объ этомъ коротко и вразумительно: „умерла, молъ, дѣвица такая-то отъ наркотическаго дѣйствія такихъ-то и такихъ-то цвѣтовъ“. Это было бы, по крайней мѣрѣ, понятно и просто; но, какъ поэтъ, онъ не могъ ограничиться одной этой фразой, а разогналъ ее въ цѣлое большое стихотвореніе, гдѣ заставляетъ изъ каждой цвѣточной чашечки выходить по красавцу-юношѣ, и всѣ эти юноши, одинъ за другимъ, зацѣловываютъ спящую дѣвушку. Размазня такимъ образомъ вышла страшная. Другой

*) „СѢВЕРНАЯ ПЧЕЛА“ 1862 г., № 31. Статья подъ заглавіемъ „Реальный Поэтъ“.

поэтъ (подаровитѣе) рассказываетъ намъ, какъ онъ заключилъ съ своей милой слѣдующій договоръ: „умри, говоритъ, моя душа, и переселись на жительство въ мою грудь (ей-ей, такъ!); отсюда я стану тебя выпускать по ночамъ; ты полетаешь по воздуху, насладишься звѣздами, ночнымъ ароматомъ и опять вернешься на отдыхъ въ свою прежнюю квартиру“. И ни одного теплаго стиха, ни одного задушевнаго образа! Третій поэтъ... да, впрочемъ, не довольно ли на этотъ случай и первыхъ двухъ?

Г. Некрасовъ стоитъ въ рѣзкой противоположности съ этими блѣдными и, къ счастью, уже выводящимися на Руси мечтателями, которые на то только и мѣтятъ, чтобы поразить, если ужъ не увлечь читателя холодными выдумками своей фантазіи. Онъ съ твердою рѣшимостью сказалъ самому себѣ:

Нѣтъ, ты не Пушкинъ, но куда
Не видно солнца ни откуда—
Съ твоимъ талантомъ стыдно спать.
Еще стыднѣй въ годину горя
Красу долинь, небесъ и моря
И ласку милой воспѣвать!

Въ своихъ произведеніяхъ онъ вездѣ держится реальной почвы, не истощая своей фантазіи на придумыванье чудовищныхъ сказокъ, которымъ бы не повѣрилъ онъ самъ, и не вдаваясь въ сентиментальность, всегда пошлую, а тѣмъ болѣе въ нѣкоторые общественные моменты, когда всѣ силы общества напряжены и дѣйствуютъ въ иномъ, болѣе серьезномъ и дѣловомъ направленіи.

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой,
Я росъ средь буйныхъ дикарей
И мнѣ дала судьба, по милости великой,
Въ руководители псарей.
Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубыя черты...

Или:

Ахъ, въ годы юности моей
Печальной, безкорыстной, трудной,
Короче, очень безразсудной,
Куда ретивъ былъ мой Пегасъ!
Не розы—я вплеталъ кропиву
Въ его размашистую гриву
И гордо покидалъ Парнасъ.
Безъ отвращенья, безъ боязни
Я шелъ въ тюрьму и къ мѣсту казни,
Въ суды, въ больницы я входилъ.
Не повторю, что тамъ я видѣлъ—
Клянусь, я честно ненавидѣлъ,
Клянусь, я искренно любилъ!

Или вотъ еще цѣлая картина, вызванная поэтомъ изъ воспоминаній его перваго дѣтства:

И вотъ они опять, знакомыя мѣста,
Гдѣ жизнь отцовъ моихъ, безплодна и пуста,
Текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства,
Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ людей
Завидовалъ житію собакъ и лошадей.

И съ отвращеніемъ кругомъ кидая взоръ,
Съ отрадой вижу я, что срубленъ темный боръ —
Въ томящій лѣтній день защита и прохлада,
И нива выжжена, и праздно дремлетъ стадо,
Понурилъ голову надъ высохшимъ ручьемъ,
И на-бокъ валится пустой и мрачный домъ,
Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликованій
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій,
И только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ,
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ.

Что можетъ быть *реальнѣе*, насущнѣе такого содержанія для современнаго намъ человѣка? Что ближе его сердцу, что лежитъ на немъ болѣе тяжкимъ ярмомъ? Эта тупая, угнетающая сфера крѣпостного права, въ настоящую минуту уничтоженнаго въ Россіи; эта безгласная, замуравленная борьба и потомъ смерть, выпавшая на долю всѣмъ лучшимъ движеніямъ человѣческой мысли, всѣмъ благороднѣйшимъ порывамъ человѣческаго сердца,—дадутъ всегда много осмы-

сленнаго матеріала для благородно-развитого и съ гуманнымъ направлѣніемъ поэта. Поэтъ въ правѣ обратиться къ прошлому строю жизни слѣдующія строфы:

Въ пошлой лѣтѣ усыпляющій
Пошлыхъ жизни мудрецовъ,
Будь онъ проклятъ, растлѣвающій
Пошлый опытъ, умъ глупцовъ.
Въ насъ подѣ кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человѣческой
Благодѣтельное зерно,

и затѣмъ сказать новому поколѣнію, идущему на смѣну старикамъ:

Будь счастливѣй! Силу новую
Благородныхъ юныхъ дней
Въ форму старую, готовую
Необдуманно не лей!
Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ
Душу вольную отдай,
Человѣческимъ стремленіямъ
Въ ней проснись не мѣшай.
Съ ними ты рожденъ природою,
Возлелѣй ихъ, сохрани,
Братствомъ, истиной, свободою
Называются они.

Сила протеста, сочувствіе къ слабымъ и угнетеннымъ—
вотъ лучшія и вмѣстѣ съ тѣмъ отличительныя качества
поэзіи Некрасова:

А ты, поэтъ, избранникъ неба,
Глапатай истинъ вѣковыхъ,
Не вѣрь, что неимуцій хлѣба
Не стоитъ вѣщихъ струнъ твоихъ.

Будь гражданинъ! Служа искусству,
Для блага ближняго живи,
Свой геній подчиняя чувству
Всеобнимающей любви.

Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что протестъ часто
ослабляется у г. Некрасова тою безнадежностью на лучшее

будущее, которая порой, и опять — таки совершенно естественно, овладѣваетъ его сознаніемъ. Не придуть ли къ намъ естественнымъ образомъ минуты горькаго разочарованія, сомнѣнія въ себѣ:

Но умолкни, мой стихъ!
И погромче насъ были вити,
Да не сдѣлали пользы перомъ:
Дураковъ не убавимъ въ Россіи,
А на умныхъ тоску наведемъ.

Или въ другомъ стихотвореніи:

Всему конецъ. Ненастьемъ и грозою
Мой темный путь недаромъ омрача,
Не просвѣтитъ небо надо мною,
Не бросить въ душу теплаго луча!

Но рядомъ съ этими мотивами унынія и безнадёжности у Некрасова слышатся и другіе звуки, прекрасно выражающіе живучесть и непобѣдимый законъ того начала, которое проглядываетъ во всѣхъ его произведеніяхъ. Вотъ что говоритъ поэтъ своей родинѣ, возвратясь изъ безпощадной погони за счастьемъ на чужой сторонѣ:

Все рожь кругомъ, какъ степь живая,
Ни замковъ, ни морей, ни горъ...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующій просторъ!
За дальнимъ Средиземнымъ моремъ,
Подъ небомъ ярче твоего
Искалъ я примиренья съ горемъ,
И не нашелъ я ничего!
Я тамъ не свой: хандрю, нѣмѣю,
Не одолѣвъ мою судьбу,
Я тамъ погнулся передъ нею;
Но тыдохнула — и сумѣю,
Быть-можетъ, выдержать борьбу.
Я твой. Пусть ропотъ укоризны
За мною по пятамъ бѣжалъ,
Не небесамъ чужой отчизны —
Я пѣсни родинѣ слагалъ.

Скорѣй туда, въ родную глушь!
Тамъ можно жить, не обижая

Ни Божьихъ ни ревизскихъ душъ,
И трудъ любимый довершая,
Тамъ стыдно будетъ *унывать*
И предаваться грусти праздною,
Гдѣ пахарь любить сокращать
Напѣвомъ трудъ однообразный.
Его ли горе не скребетъ?

Тутъ уже слышенъ голосъ человѣка, снова вдохновеннаго своею задачею и ощутившаго въ себѣ силы для ея выполненія. На этотъ мотивъ мы могли бы представить еще много выписокъ, доказывающихъ, одна другой лучше, сколько теплой любви къ родинѣ, любви, не скрывающей сентиментально народныхъ язвъ, но хлопочущей объ ихъ исцѣленіи, таится у г. Некрасова подъ суровой оболочкой желчнаго и сатирическаго стиха. Но мы и такъ ужъ, кажется, злоупотребляемъ правомъ рецензента, а если еще дадимъ себѣ волю, то можемъ, пожалуй, переписать и всю книгу.

Мы опредѣлили поэзію Некрасова въ смыслѣ горячаго и задуманнаго протеста противъ насилія и несообразностей жизни; но было бы грѣшно сказать, чтобы нашъ поэтъ былъ лишенъ способности отдаваться порывамъ страсти и понимать красоту природы. Нѣтъ! кто прочтетъ его стихотворенія: „Бду ли ночью по улицѣ темной“, „Я посѣтилъ твое кладбище“, поэму „Саша“ и множество подобныхъ строфъ въ другихъ произведеніяхъ, — тотъ невольно сознается, что рѣдкій изъ русскихъ поэтовъ умѣлъ такъ хорошо и съ такой удивительной мѣткостью рисовать картины природы или изображать радости и муки влюбленнаго сердца. Но не здѣсь, конечно, заключается главная сила Некрасова, и не тутъ пролегаетъ жизненный нервъ его поэзіи.

Русская критика — скажемъ мы въ заключеніе нашего краткаго отзыва — очень неохотно говорить о Некрасовѣ, и до сихъ поръ не опредѣлила въ прямыхъ выраженіяхъ его большихъ заслугъ въ русской поэзіи, въ которой онъ сдѣлалъ, по нашему мнѣнію, неопѣнимо важный шагъ впередъ, а чрезъ это и всему русскому обществу, такъ какъ задуманное

слово поэта, полное страсти и энергии, дѣйствуетъ лучше и успѣшнѣе на умы, чѣмъ самая стройная и внимательно обдуманная система. Какія тому причины? Первая причина состояла, кажется, въ томъ, что рецензенты боялись оказать плохую услугу г. Некрасову въ глазахъ тѣхъ литературныхъ цѣнителей, которымъ вообще не нравится весь духъ его поэзіи; вторая лежитъ глубже, а именно въ различіи критическихъ взглядовъ на одинъ и тотъ же предметъ. О цѣнителяхъ теперь уже распространяться не стоитъ: имъ, вѣдь, все равно не втолкуешь ничего путнаго; что уже касается до различія критическихъ воззрѣній, то нельзя не замѣтить, что *чистымъ эстетикамъ*, всегда гоняющимся за безтѣлесностью образовъ и за отшлифованной гладкостью стиха, поэзія Некрасова приходится какъ-то не понутру съ своими трезвыми страданіями, съ своими ослѣпительно-живыми и реальными красками. Одинъ эстетикъ (см. 2 ч. стих. Некр., прим. къ „Коробейникамъ“) сказалъ самому г. Некрасову, что два стиха въ его поэмѣ „Коробейники“, обращенные разносчикомъ къ своей возлюбленной, *лишаютъ поэтичности* эту женщину, заставляя читателя воображать ее покупающей въ „кабакъ водку“; г. Аполлонъ Григорьевъ выразился нѣкогда, что въ поэзіи Некрасова „чувствуется *какая-то* сила, но сила грубая и необработанная“. Съ такими критиками тоже мудрено столковаться; но не мѣшаетъ, однако, замѣтить имъ, что слово *какая-то* могло бы быть гораздо опредѣлительнѣе, если бъ они вникли сколько-нибудь въ сущность и глубину этой *силы*. Сила гражданского чувства, сила благороднаго, отъ души идущаго, патріотизма, столь цѣнимая въ нашъ вѣкъ, не требуетъ, кажется, особой чуткости пониманія, чтобы проникнуться къ ней самымъ искреннимъ и глубокимъ сочувствіемъ. Это—новая струя, внесенная г. Некрасовымъ въ русскую литературу, струя, которая только изрѣдка, и то не у многихъ русскихъ поэтовъ, пробивалась съ подходящей полнотою и яркостью. Заслуги этой нельзя отнять у г. Некрасова. Правда, мы не отвергаемъ, что со временемъ появится у насъ „другой избранникъ“, который съ такой же глубиной и большей разносторонностью того же чувства

соединить болѣе художественный и усовершенствованный механизмъ искусства; но это время, кажется намъ, еще очень далеко.

О муза! гостьею случайной
Являлась ты душѣ моей?
Иль пѣсенъ даръ необычайный
Судьба предназначала ей?
Увы! Кто знаетъ? Рокъ суровый
Все скрылъ въ глубокой темнотѣ,
Но шелъ одинъ вѣнокъ терновый
Къ твоей угрюмой красотѣ.

Оно придетъ только тогда, когда такая муза не будетъ „случайной“ и бояливой гостьей души поэта, а легко дышащая грудь поэта не будетъ вынуждена производить иногда не совсѣмъ гармоническіе, подавленные звуки. Это время, очевидно, предвидѣлъ г. Некрасовъ, когда сказалъ самому себѣ:

Ты свѣточъ истины держалъ
Рукою твердой, но для свѣта
Онъ благотворно не сіялъ,
Какъ свѣточъ генія-поэта.
Дрожащей искрою, впотѣмахъ,
Онъ чуть горѣлъ, мигалъ, метался:
Моли, чтобъ солнца онъ дождался
И потонулъ въ его лучахъ!

Будемъ и мы молить о томъ же вмѣстѣ съ поэтомъ, но все же покуда это только—*ria desideria*, а подобныя желанія не всегда сбываются *).

Изъ „Сѣверной Пчелы“ за 1862 г.

1863 г.

**) Въ нынѣшнемъ году вышло новое, дополненное изданіе стихотвореній г. Некрасова. Въ другое время выходъ этой

*) Критическія статьи о Некрасовѣ за 1862 г. еще см. въ изданіяхъ: „Вѣкъ“, № 2. В. Ч. (Чибисова); „Журналъ для Дѣтей“ № 31, стр. 481 (о „Крестьянскихъ Дѣтяхъ“); „Разсвѣтъ“ (журналъ В. Кремина), № 2, стр. 163—190, статья а-н (о „Горькомъ Горѣ“); „Свѣточъ“, № 1, отд. III, стр. 1—106 (А. Милюкова); „Сынъ Отечества“, № 5 (воскресный); „Одесскій Вѣстникъ“, № 9 и 113.

Примѣч. В. Зелинскаго.

**) „Отечественныя Записки“ 1863 г., № 9 (Томъ CL).

книжки заставилъ бы вострепнуться литературу; а въ наше развлеченное политическими событіями время, никто и слова не сказалъ объ ней. Между тѣмъ новому изданію уже скоро минуетъ годъ, и, вѣроятно, оно такъ же скоро раскупится, какъ и прежнія изданія тѣхъ же стихотвореній. Критика молчитъ, какъ-будто г. Некрасовъ принадлежитъ къ тѣмъ обличителямъ, которыхъ стихи годятся только въ сборники „Гражданскихъ Мотивовъ“. Такое молчаніе журналовъ лучше всего доказываетъ или какую-то литературную усталость или же совершенный поворотъ во вкусахъ публики. Послѣднему мы не вѣримъ, слѣдовательно, остается въ силѣ только первое предположеніе... Странное дѣло — нынѣшнее положеніе нашей литературы! Молодое поколѣніе воспиталось и много добра почерпнуло изъ стихотвореній г. Некрасова — и это поколѣніе молчитъ о немъ. Было, правда, нѣсколько статей, но всѣ онѣ ничего не разъяснили, ничего не растолковали: онѣ выражали то восторги, то удивленіе, и могли бы быть названы не рецензіями, а одними восклицательными знаками или рядомъ междометій! Такъ мало было сказано молодымъ поколѣніемъ для объясненія таланта, ихъ воспитавшаго.

Поэзія г. Некрасова, во множествѣ случаевъ дидактическая, поучительная, приправленная очень удобно энергически-желчными выходками противъ грязи и недостатковъ, окружавшихъ молодое поколѣніе, имѣла успѣхъ, какой рѣдко достается на долю поэзіи. Благодаря энергіи и желчи, поучительность, всегда скучная, особенно въ стихахъ, имѣла успѣхъ. Эта сторона стихотвореній, относительная, должна играть весьма важную роль въ перипетіяхъ нашего времени. Стихотворенія г. Некрасова, толкуемая въ тотъ же тонъ статьями Добролюбова, дѣйствовали сильно на юношество, и когда время снесетъ шумиху *безразлично на все* подающего негодованія, стихотворенія Некрасова оставятъ послѣ себя очень видный шагъ въ развитіи нашихъ общественныхъ чувствъ.

Другое дѣло, когда вы отнесетесь къ этимъ стихотвореніямъ, какъ къ поэзіи, какъ къ всеобъемлющему началу высшаго проявленія правды въ обществѣ. Тутъ вы увидите

въ нѣкоторыхъ случаяхъ однообразіе этой поэзіи, увидите холодную разсудительность, частое отсутствіе живыхъ красокъ, безъ которыхъ поэзія жить не можетъ, но которыя замѣнились у г. Некрасова энергіею отрицанія. Однимъ словомъ, вы увидите не свободное отношеніе, не всесторонній взглядъ на жизнь общества, а взглядъ партизана извѣстной доктрины, какимъ и былъ г. Некрасовъ въ *последнее время*. Только въ последнее время, замѣтите это, въ своихъ новыхъ стихотвореніяхъ, не вошедшихъ въ третье изданіе, въ родѣ *Зеленаго Шума*, г. Некрасовъ начинаетъ уже освобождаться отъ этой доктрины. Насколько прежняя доктрина подѣйствовала враждебно на талантъ г. Некрасова, было уже объяснено въ статьѣ „Отеч. Зап.“, и я возвращаюсь къ этому предмету здѣсь не буду. Недостатки г. Некрасова—не его личные недостатки, а литературной партіи. Выказавъ полное презрѣніе въ жизни, эта доктрина могла только всѣ цвѣта жизни слить въ одинъ сѣрый цвѣтъ. Для ученой статьи все это могло имѣть свою цѣль; но таланту, который долженъ былъ имѣть дѣло съ частными случаями, фактами, доктрина могла дать одну силу негодованія, приложимую ко всѣмъ случаямъ безразлично. Такимъ образомъ, чутье народныхъ нуждъ и скорбей, которыми владѣлъ г. Некрасовъ, обратилось въ негодованіе на все, что грязно, глухо и нѣмо было для высшихъ потребностей жизни—и кстати ужъ и на все остальное; „муза „мести и любви“ сдѣлалась только музою мести, а любовь должна была скрыться... Неприлично такой высокой доктринѣ любить что-нибудь въ этомъ порядкѣ вещей, который слѣдуетъ уничтожить по ея соображеніямъ, а поэтъ не можетъ *безъ любви* быть поэтомъ! Вотъ въ этомъ-то и драматическое положеніе!

Я не сочувствую этой узкой доктринѣ, и потому не могу сочувствовать тѣмъ стихотвореніямъ, гдѣ она примѣнена наголо. Я нахожу эту доктрину несправедливою, слѣдовательно, не могу считать истинными и тѣ чувства, которыя возбуждены ложною идеею. Но, къ счастью, эта искалѣченность таланта, если можно такъ выразиться—не относится ко всѣмъ стихотвореніямъ г. Некрасова; вездѣ, гдѣ Некрасовъ успѣвалъ отъ нея освободиться, онъ и по глубинѣ

чувства и по энергіи стиха становился первымъ нашимъ современнымъ лирикомъ. Въ его стихѣ живутъ наши новыя потребности; онъ не принадлежитъ ни школѣ Пушкина ни Лермонтова; талантъ его не такъ многосторонень и блестящъ, чтобъ сдѣлаться полнымъ и завершеннымъ образцомъ для будущаго; но въ немъ, болѣе нежели въ комъ-либо другомъ изъ нашихъ современныхъ поэтовъ, живутъ чувства, которыми должна питаться будущая поэзія; въ немъ столько энергіи, что онъ можетъ дать толчокъ поэтическимъ идеямъ. Онъ не такъ узокъ, какъ его послѣдователи, которые за гражданскимъ чувствомъ не видятъ никакого другого чувства; онъ желаетъ дать просторъ другимъ потребностямъ души, но эстетическая мертвечина той доктрины, которая опутала его, безпрестанно мѣшала ему размахнуться. Онъ не такъ, какъ г. Фетъ—талантъ блестящій, но весьма узкій и односторонній—не живетъ прежними традиціями поэзіи. У г. Фета все, и начало, и конецъ его поэзіи, не идетъ дальше элегій Пушкина, удивительныхъ и неподражаемыхъ по тонкости чувства. Г. Некрасовъ не старыми приемами руководствуется, какъ, напримѣръ, г. Полонскій, когда приходится ему столкнуться съ обществомъ. У г. Некрасова звучитъ струна новая, и чѣмъ больше онъ будетъ давать ей простору, помимо нигилистическихъ соображеній, тѣмъ она будетъ издавать звуки сильнѣе и доступнѣе сердцу cadaго. Слѣдовательно, поэтической рутины, такъ сказать, у г. Некрасова нѣтъ никакой; этимъ онъ выше другихъ. Но зато онъ слишкомъ доктринеръ, если бъ можно было назвать такъ поэта, который замыкаетъ въ стихи ученіе какой-нибудь школы...” (Далѣе критикъ излагаетъ свои возраженія противъ статьи Ап. Григорьева, помѣщенной на 126 страницѣ настоящей книги *).

Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1863 г.

*) Въ этой же статьѣ, въ формѣ примѣчанія, помѣщена библиографическая записка П. Е. (Ефремова?) объ изданіяхъ стихотвореній Некрасова, страница 2—3. Еще см. за 1863 г. о Некрасовѣ въ „Иллюстраціи“ № 2 и 283.

1864 г.

*) Поэзія г. Некрасова долгое время ставила въ недоумѣніе нашу критику. При очевидномъ богатствѣ содержанія, силѣ, искренности и чуткости къ жизни, она въ то же время часто непріятно щекотала нервы людей, привыкшихъ къ музыкѣ стиха, или поражала такою небрежностью и угловатостью отдѣлки сюжета, которые были особенно ярки въ наше время, когда гладость и плавность стиха и внѣшнее изящество стихотворной постройки встрѣчается сплошь и рядомъ даже въ стихотворцахъ съ самымъ скуднымъ содержаніемъ. Въ этомъ смѣшеніи несомнѣнно большаго поэтическаго таланта съ недостаткомъ тѣхъ внѣшнихъ достоинствъ поэзіи, которыя, со временъ Пушкина, сдѣлались, повидимому, всеобщимъ достояніемъ, представлялось дѣйствительно что-то странное, необъяснимое. Доходило дѣло до того, что многіе готовы были вовсе отказать Некрасову въ поэтическомъ призваніи и видѣть въ немъ исключительно сатирика или публициста, лишь случайно или по постороннимъ соображеніямъ избравшаго для своей дѣятельности стихотворную форму. Мы не говоримъ уже при этомъ о тѣхъ людяхъ, которые вообще въ стихотворной формѣ не видятъ никакой внутренней необходимости для поэта, а только болѣе или менѣе ловкій способъ для выраженія своихъ мыслей; нѣтъ, люди, даже понимающіе дѣло, рѣшительно недоумѣвали надъ поэзіею г. Некрасова.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ было тѣмъ, кто привыкъ видѣть въ поэзіи искусство по преимуществу изящное, помириться съ тѣми рѣзкими нарушеніями, не говоримъ уже изящества поэтической рѣчи, но простой правды, естественности, какія представляетъ, напр., очевидно [поддѣльная народная рѣчь въ стихотвореніи: „Въ дорогѣ“; или какъ было отнестись къ неловкому переложенію въ стихи стариннаго анекдота объ удавившемся извозчикѣ. — Мы нарочно привели два наиболѣе крупные и рѣзкіе примѣры; а сколько болѣе или

*) Е. Эдельсонъ. „Библіотека для Чтенія“ 1864 г., № 9.

менѣ оскорбительныхъ для чуткаго уха неловкостей можно набрать по частямъ въ другихъ, даже лучшихъ стихотвореніяхъ Некрасова. И все это, замѣтите, въ то же самое время, когда мы непрерывно слышали вокругъ себя, если и не слишкомъ самостоятельныя, то, по крайней мѣрѣ, вѣрныя пушкинскимъ преданіямъ, безукоризненныя и по стиху и по постройкѣ стихотворенія А. Майкова, Я. Полонскаго, Огарева, Фета и др.; когда даже обличительныя стихотворенія, на срокъ писанныя для сатирическихъ журналовъ, отличались и складностью, и музыкальностью, и даже нѣкоторою изящностью постройки.

Въ сущности, впрочемъ, противорѣчія между двумя указанными качествами поэзіи Некрасова вовсе не было. Стоить только сообразить, что Некрасовъ вовсе не принадлежалъ къ питомцамъ музы Пушкина и его эпохи, а былъ поэтомъ самъ по себѣ, прокладывавшимъ новую свою дорожку — и все недоразумѣніе разрѣшалось самымъ простымъ образомъ. Оригинальность и сила г. Некрасова именно въ томъ и состоитъ, что онъ не принялъ въ наслѣдіе ни формы ни содержанія поэзіи Пушкинскаго періода, какъ сдѣлали это наши прочіе поэты, а выработалъ самъ сначала, своими силами и то и другое. Что въ самомъ дѣлѣ общаго между поэзією Некрасова и поэзією Пушкина? То была свѣтлая, радостная, ясная, все до изящества округляющая поэзія, — эта по преимуществу поэзія нужды, горя, скорби, униженія, порока въ его самомъ грубомъ, непривлекательномъ, натуральномъ видѣ. Было ли бы что-нибудь изъ Некрасова, если бы онъ, вмѣсто выбора своей собственной, трудной, но самостоятельной дорожки, пошелъ по широкой дорогѣ, проложенной Пушкинымъ, пріобрѣлъ ли бы онъ всѣ тѣ вѣншія достоинства, которыхъ часто не достаетъ ему теперь, — этого вопроса рѣшить мы не беремся; ясно только одно, что при этомъ онъ, несомнѣнно, утратилъ бы много своего истиннаго значенія, какъ вѣрный выразитель многихъ думъ своего поколѣнія и своего времени. Ибо дѣло въ томъ, что цѣлость природы, неразрывная связь пѣсенъ съ внутреннею жизнію и особымъ складомъ души поэта, полнѣйшая искренность выраженія, именно *своихъ* думъ и чувствованія, составляютъ первое и главное истинной поэзіи.

Но здѣсь мы рискуемъ подвергнуться упрекамъ съ двухъ совершенно противоположныхъ сторонъ. Какъ! Все равно, что бы ни пѣлъ, лишь бы свое?—скажутъ намъ съ одной стороны. Но, въ такомъ случаѣ, какое же право имѣете вы осуждать пѣснь объ удавившемся извозчикѣ? Это у Некрасова чистое свое, ни у кого изъ поэтовъ ни по духу ни по формѣ не заимствованное стихотвореніе. Да неужели и литературныя преданія ровно ничего не значать?—скажутъ намъ изъ того же лагеря. Неужели позволительно поэту, говорящему хоть и новое слово, подвигаться назадъ относительно выработанныхъ уже и прибрѣтенныхъ литературой техники стиха, изящной конструкціи, строгаго выбора сюжетовъ?

Зачѣмъ же намъ именно его думы и чувствованія, могутъ послышаться голоса съ другой стороны?—Пусть говорить дѣло, высказываетъ современныя мысли, здравыя понятія о вещахъ, возбуждаетъ вопросы, поднятые передовыми людьми, а его или чужіе эти думы и вопросы — намъ до этого дѣла нѣтъ.

Постараемся, какъ это, повидимому, ни трудно, удовлетворить обѣ стороны разомъ.

Поэтъ прежде всего есть выразитель думъ и чувствованій своего времени. Но для того, чтобы онъ былъ поэтомъ, а не публицистомъ, ораторомъ или просто мыслителемъ, думы и чувствованія, имъ выражаемая, должны быть, также прежде всего, его собственными, личными, искренно прожитыми и выношенными, а не подслушанными или не выведенными посредствомъ чистой головной работы. Только счастливое сочетаніе этихъ двухъ, повидимому, противоположныхъ качествъ и рождаетъ истиннаго поэта, и оно же придаетъ поэзіи особую самостоятельную цивилизующую силу. Насколько поэтъ мыслитъ и чувствуетъ обще съ своею эпохою, народомъ или обществомъ и выражаетъ это живымъ словомъ, настолько онъ передовой сынъ времени, руководитель толпы, двигатель мысленія и цивилизаціи въ томъ или другомъ направленіи. Поскольку онъ выражаетъ свое собственное, искренно прожитое и прочувствованное, постольку онъ поэтъ, художникъ, т. е. человѣкъ, создающій новыя формы

для выраженія внутренняго міра души, свое личное, чисто субъективное достояніе дѣлающій общимъ для всѣхъ. Когда чисто субъективный моментъ личной жизни души доходитъ до той ясности, опредѣленности, при которыхъ онъ находитъ полнѣйшее себѣ изображеніе въ общихъ формулахъ слова, мы получаемъ истинно поэтическое, типическое произведеніе. Въ сущности, впрочемъ, здѣсь нѣтъ никакого раздвоенія, какъ это можетъ показаться при поверхностномъ пониманіи сейчасъ сказаннаго. Натура поэта есть, во-первыхъ, вообще человѣческая натура, съ ея вѣчными, постепенно въ исторіи раскрывающимися началами, со свойствами неизмѣнными, прирожденными; во-вторыхъ, это натура, находящаяся въ близкой зависимости отъ вліяній эпохи, національности, общаго духа времени текущихъ общественныхъ явленій. Когда чуткость къ современному и трепещущимъ въ немъ живымъ и существеннымъ вопросамъ находится въ счастливомъ сочетаніи съ самостоятельностью, цѣльностью и глубиною натуры, тогда мы имѣемъ передъ собою образецъ истиннаго поэта. Каждое чувство, каждая дума, въ немъ созрѣвшія вполне, до потребности быть выраженными въ словѣ, будутъ искренними, страстными, своеобразными и въ то же время въ высшей степени современными, всѣмъ доступными и всѣмъ нужными. Такимъ высокимъ идеаломъ поэта былъ Пушкинъ, и только онъ одинъ изъ нашихъ поэтовъ. Въ большей части случаевъ поэты, даже истинно даровитые, представляютъ извѣстныя отклоненія въ ту или другую изъ указанныхъ нами и сливающихся въ высшемъ идеалѣ сторонъ. Поэтъ, хотя бы и истинный, можетъ быть, какъ говорится, слишкомъ субъективенъ, т. е. искреннія и поэтическія явленія его собственной души могутъ быть заключены въ слишкомъ тѣсномъ кругѣ, и не представлять общаго и значительнаго интереса для современнаго ему общества, а слѣдовательно, и не оказывать на него почти никакого вліянія. Или, владѣя значительною чуткостью къ требованіямъ духа времени и къ вопросамъ современности, онъ можетъ возбуждать эти вопросы и слушать интересамъ современности, не проживая ихъ искренно и глубоко, а нѣкоторымъ образомъ со слуха или при по-

мощи одного угадыванья требованій времени. Наконецъ, большая часть поэтовъ принадлежитъ къ такъ-называемымъ талантливымъ натурамъ, виртуозамъ, которымъ легка и доступна всякая внѣшняя форма искусствъ и которые потому способны производить довольно изящныя поэтическія бездѣлушки, не представляющія въ сущности ни вѣрнаго и широкаго отраженія современности, ни искренно прожитыхъ и мѣтко и типично выраженныхъ моментовъ жизни духа.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что, для обстоятельной оцѣнки чьей-либо поэтической дѣятельности, необходимо должны быть разрѣшены слѣдующіе вопросы: 1) въ какой степени искренно и самостоятельно все, выраженное поэтомъ въ его дѣятельности; 2) какъ широко отразилась въ дѣятельности поэта современность, въ смыслѣ національности, духа времени и т. д.; наконецъ, 3) въ какой степени типично, художественно выразилось у поэта представляемое его дѣятельностью содержаніе.

Съ этихъ именно точекъ зрѣнія мы предполагаемъ разсмотрѣть и стихотворенія Н. Некрасова, но прежде еще считаемъ необходимымъ коснуться одного изъ сужденій, высказанныхъ объ этомъ предметѣ прежнею критикою. Покойный А. А. Григорьевъ, обсуждая въ журналѣ „Время“ 1862 года поэтическую дѣятельность Некрасова, былъ весьма близокъ къ разрѣшенію именно тѣхъ существенныхъ вопросовъ, которые мы сейчасъ выставили; но, находясь подъ вліяніемъ одного изъ тѣхъ временныхъ настроеній, которыя попеременно владѣли имъ, онъ круто порѣшилъ дѣло, приписать, несомнѣнно, важное значеніе Некрасова въ умственной жизни современнаго поколѣнія и всю силу его поэзіи—народности, почвенности этой поэзіи. Такъ какъ вообще о значеніи національности или народности нашихъ поэтовъ и романистовъ у насъ въ литературѣ существуютъ весьма смутныя мнѣнія, и такъ какъ эпитетъ національнаго или почвеннаго поэта по отношенію къ Некрасову кажется намъ положительно неумѣстнымъ, то мы позволимъ себѣ войти здѣсь въ нѣкоторыя общія соображенія по этому вопросу.

Если брать слово національность, или народность, въ самомъ широкомъ его значеніи, то, конечно, каждый даро-

витый поэтъ или романистъ, поскольку онъ выражаетъ какія-нибудь живыя идеи, усвоиваемыя обществомъ и содѣйствующія умственному его движенію, окажется національнымъ, т. е., съ одной стороны, черпающимъ свои силы изъ народа или извѣстной части его, а съ другой, разливающий эти идеи также въ народъ или, по крайней мѣрѣ, въ извѣстныхъ слояхъ его. Нелзя, въ самомъ дѣлѣ, вообразить себѣ такого русскаго писателя, у котораго въ манерѣ, міросозерцаніи, въ выводимыхъ имъ образахъ—не сказалась бы болѣе или менѣе его національность. Какой-нибудь Княжнинъ или Озеровъ окажутся въ этомъ смыслѣ тоже народными писателями, ибо въ свое время производили впечатлѣніе, удовлетворяли даже національнымъ чувствамъ и въ своихъ сочиненіяхъ невольно отражали народныя черты. Но всѣхъ тѣхъ условій еще, очевидно, недостаточно вообще для того, чтобы придать писателю эпитетъ народнаго или считать національность характеристическою чертою его дѣятельности.

Еще болѣе опредѣленный и тѣсный смыслъ долженъ имѣть эпитетъ народнаго въ приложеніи къ нашимъ русскимъ писателямъ, особенно въ послѣднее время, когда въ нѣкоторыхъ изъ нихъ стала пробиваться на свѣтъ дѣйствительная народная струя въ противоположность обще-цивилизационной, относящейся собственно къ народности болѣе или менѣе отрицательно. Не подлежитъ, кажется, никакому сомнѣнію, что въ послѣднее время въ нашемъ общественномъ сознаніи и въ литературѣ, поскольку она служить у насъ отраженіемъ его, сталкиваются и отчасти сливаются, отчасти враждебно борются двѣ разнородныя струи. Одна, преобладающая въ литературѣ со временъ реформы Петра, есть струя широкой европейской цивилизаціи, общегуманныхъ началъ, передъ которою, конечно, оказываются неправыми всѣ результаты нашего болѣе или менѣе уединеннаго, узко-національнаго развитія. То сатирическими изображеніями русской дѣйствительности, то положительными представленіями западно-европейскихъ идеаловъ она по слѣдамъ Петра стремится вывести Россію изъ ея замкнутости и особенности и ввести ее на широкій путь

обще-европейской цивилизації. Другая струя есть именно струя народности, откровенія истинныхъ силъ и началъ русскаго духа, признаніе положительныхъ сторонъ русской національности, не только не враждебныхъ общему дѣлу цивилизації, но, можетъ быть, имѣющихъ сказать свое живое слово въ этомъ общемъ дѣлѣ. Еще недавно чуть замѣтно и робко пробивавшаяся наружу, эта народная струя лишь въ послѣднее время выразилась болѣе или менѣе положительнымъ образомъ въ нашей литературѣ и получила въ ней окончательное право гражданства. Пушкинъ и Лермонтовъ лишь при концѣ своего поприща начали поворачивать на этотъ путь; народность Крылова, если и была почувствована всѣми и сдѣлала имя его популярнымъ, то не была понята и раскрыта окончательно критикою и общественнымъ сознаніемъ, и остается до сихъ поръ какою-то одинокою. Только Кольцовъ составляетъ въ этомъ отношеніи блестящее исключеніе и по своей несомнѣнной народности и по тому, что сразу былъ понятъ и оцѣненъ даровитѣйшимъ изъ нашихъ критиковъ. Яркаго слѣда не оставилъ, впрочемъ, и онъ въ нашей литературѣ и въ движеніи общественнаго сознанія. Даже Островскій—наконецъ, добившійся окончательной популярности и, безъ всякаго сомнѣнія, самый народный изъ нашихъ писателей, быть-можетъ, еще долго не успѣлъ бы занять въ общемъ мнѣніи давно принадлежавшаго ему почетнаго мѣста, если бы сатира не входила, по крайней мѣрѣ, на половину въ его картины русской дѣйствительности.

Мы вовсе, однако, не хотимъ сказать, чтобы народнымъ могъ называться лишь такой писатель, который *пристрастенъ* къ народу или старается по преимуществу изображать національныя черты въ привлекательномъ видѣ. Дѣло совсѣмъ не въ томъ. Островскій и въ своихъ сатирическихъ изображеніяхъ остается вполнѣ народнымъ, а Григоровичъ при всемъ своемъ сладенькомъ сочувствіи къ *мужичкамъ* не народенъ ни на волосъ. Сущность дѣла заключается, во-первыхъ, въ томъ, насколько народно все міросозерцаніе писателя, и, во-вторыхъ, насколько истинно, глубоко захвачены и насколько вѣрно и ясно изображены имъ черты

народнаго духа. Между тѣмъ какъ въ писателяхъ, которыхъ дѣятельность вытекаетъ изъ общихъ идей цивилизаціи и выражается въ гуманизирующемъ вліяніи, приговоры о народѣ и изображенія народнаго быта болѣе или менѣе случайны, такъ какъ зависятъ отъ господствующихъ въ данную минуту общихъ идей; въ писателѣ истинно народномъ, типы и черты народные выбираются существенныя и судятся какъ бы судомъ самого же народа, на основаніи непоколебимыхъ нравственныхъ началъ, болѣе или менѣе сознательно проникающихъ все народное міровоззрѣніе. При помощи первыхъ народъ расширяетъ свой кругозоръ, принимаетъ въ себя новую, чуждую ему и какъ бы враждебную, но болѣе широкую струю цивилизаціи; при помощи вторыхъ онъ достигаетъ самосознанія, вѣры въ самого себя твердыхъ началъ для самостоятельной умственной и нравственной жизни. Въ лицѣ однихъ образованные, передовые классы русскаго общества передаютъ народу выводы и стремленія общей, широкой міровой цивилизаціи; въ лицѣ другихъ русскій народъ открываетъ себя образованнымъ классамъ русскаго общества и заставляетъ ихъ признать законность тѣхъ началъ, которыя поддерживали и хранили его въ его великомъ и трудномъ историческомъ шествіи. Такими-то двумя путями подготавливается то необходимое и неизбежное сближеніе разрозненныхъ классовъ русскихъ, безъ котораго нельзя ожидать прочнаго, прямого, не шатающагося изъ стороны въ сторону прогресса нашего отечества.

Очевидно, что при такомъ опредѣленномъ значеніи эпитета народнаго въ отношеніи нашихъ писателей, онъ никакимъ образомъ не можетъ быть приложенъ къ г. Некрасову. Но мы надѣемся показать это подробнѣе и обстоятельнѣе въ своемъ мѣстѣ.

Чтобы представить по возможности полную характеристику содержанія, представляемаго поэтическою дѣятельностью Некрасова, мы раздѣлимъ его стихотворенія на слѣдующіе отдѣлы, которые, какъ намъ кажется, не будутъ нисколько искусственными. Мы рассмотримъ, въ 1-хъ, тѣ лирическія стихотворенія его, въ которыхъ выражается, болѣе или

менѣе ясно, личная исповѣдь самого поэта, исторія его душевнаго развитія, нѣкоторые обстоятельства, давшихъ направленіе его поэтической дѣятельности, собственныя мнѣнія поэта о значеніи своей дѣятельности и др. прямыя изліянія отъ лица самого Некрасова. Ко 2-му отдѣлу мы причислимъ собственно сатиру г. Некрасова, составляющую его главную силу, его истинный родъ и болѣе всего привлекающую къ нему сочувствіе современниковъ. Это тѣ стихотворенія, которыя подсказаны ему „музой мести и печали“, стихотворенія, всѣ пропитанныя желчью, очевидно, искреннею и накипѣвшею въ душѣ поэта, стихотворенія, направленныя преимущественно противъ извѣстнаго общественнаго порядка и всѣхъ неправдъ и нравственныхъ безобразій, имъ порожденныхъ. Въ 3-мъ отдѣлѣ мы рассмотримъ тѣ стихотворенія, которыя, по мнѣнію нѣкоторыхъ, и даютъ г. Некрасову право на эпитетъ народнаго. Это стихотворенія, имѣющія задачей или изображеніе простонароднаго быта, или возбужденіе сочувственнаго къ нему отношенія, или, наконецъ, отдѣльныя лирическія мѣста, проникнутыя горячею, задушевною любовью къ родинѣ. Наконецъ, въ 4-мъ отдѣлѣ мы рассмотримъ тотъ смѣшанный родъ стихотвореній Некрасова, которыхъ нельзя подвести ни подъ какую рубрику, такъ какъ они представляютъ по большей части случайное содержаніе, будучи иногда навѣяны чужими мотивами, иногда выражая временное, преходящее настроеніе поэта.

Искреннія, чисто личныя изліянія души поэта всегда представляютъ особенную важность для правильнаго разумѣнія всей его дѣятельности. Изъ нихъ всего легче видно, какъ, подъ какими вліяніями сложился образъ мыслей поэта, какъ образовались его симпатіи и антипатіи, сколько во всемъ этомъ исполнѣ законнаго и неотразимаго, сколько случайнаго и зависящаго чисто отъ личныхъ обстоятельствъ поэта. Когда Пушкинъ, обращая признательный и радостный взоръ къ первымъ урокамъ своей музы, говоритъ намъ:

Въ младенчествѣ моемъ она меня любила
И семистольную цѣвницу мнѣ вручила;
Она внимала мнѣ съ улыбкой; и слегка

По звонкимъ скважинамъ пустого тростника
 Уже наигрывалъ я слабыми перстами
 И гимны важные, внушенные богами,
 И пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.

.....
 И радуя меня наградою случайной,
 Откинувъ локоны отъ милаго чела,
 Сама изъ рукъ моихъ свирѣль она брала.
 Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
 И сердце наполнялъ *святымъ очарованьемъ*.

Мы чувствуемъ, что муза для Пушкина была просто доброю и серьезною учительницею, которая воспитывала въ немъ чувство высокаго и прекраснаго, не стѣсня ничѣмъ его будущаго свободнаго развитія, не направляя никуда намѣренно и искусственно его дѣятельность, и мы совершенно ясно понимаемъ, отчего вся поэзія его проникнута такимъ свѣтомъ и торжественностью, отчего такъ широко и многообъемлюще ея содержаніе. Совсѣмъ другая муза направляла первые младенческіе шаги Некрасова, по его собственному признанію, и съ раннихъ лѣтъ уже опредѣлила весь его будущій путь:

... Рано надо мной отяготѣли узы
 Другой, неласковой и нелюбимой музы,
 Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
 Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ, —
 Той музы плачущей, скорбящей и болящей,
 Всечасно жаждущей, униженно просящей,
 Которой золото — единственный кумиръ...
 Черезъ бездны темныя насилія и зла,
 Труда и голода она меня вела —
 Почувствовать свои страданья научила
 И свѣту возвѣстить о нихъ благословила.

Еще яснѣе и образнѣе рисуетъ намъ г. Некрасовъ первыя впечатлѣнія дѣтства въ стихотвореніи, хотя и отмѣченномъ заглавіемъ „Изъ Ларры“, но недаромъ же выбранномъ поэтомъ и, кромѣ того, слишкомъ отзывавшемся русскимъ бытомъ для стихотворенія переводнаго:

Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой
 Я росъ средь буйныхъ дикарей,
 И мнѣ дала судьба, по милости великой,

Въ руководители псарей.
 Вокругъ меня кипѣлъ развратъ волною грязной,
 Боролись страсти нищеты,
 И на душу мою той жизни безобразной
 Ложились грубыя черты.

Наконецъ, тотъ же мрачный міръ, окружавшій раннее дѣтство поэта, встрѣчаемъ мы въ стихотвореніи, уже прямо озаглавленномъ „Родиною“:

И вотъ они опять, знакомыя мѣста,
 Гдѣ жизньъ отцовъ моихъ бесплодна и пуста
 Текла среди пировъ, безмысленнаго чванства,
 Разврата грязнаго и мелкаго тиранства;
 Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ
 Завидовалъ житію послѣднихъ барскихъ псовъ...

 Гдѣ отъ души моей, довременно растлѣнной,
 Такъ рано отлетѣлъ покой благословенный,
 И неребеческихъ желаній и тревогъ
 Огонь томительный до срока сердце жегъ...

Мы не безъ основанія привели эти довольно длинныя цитаты. Онѣ ясно показываютъ намъ, съ какимъ уже готовымъ настроеніемъ духа вступилъ въ жизнь поэтъ, и даютъ намъ ясно почувствовать, каковъ будетъ вообще тонъ его стихотвореній, о чемъ преимущественно будетъ онъ пѣть. Уже по приведеннымъ даннымъ мы имѣемъ полное право ожидать отъ поэзіи Некрасова сильнаго протеста противъ общественныхъ золъ, тревожившихъ ужъ его еще съ дѣтства, сатиры нѣсколько личной, вымученной и потому озлобленной и непримиримой. Но на какія именно черты нашей жизни направится эта сатира въ своемъ развитіи — это должно было зависѣть отъ болѣе общихъ причинъ, собиравшихъ извѣстное направленіе всей нашей литературѣ. Покойный А. А. Григорьевъ, въ цитированной уже выше статьѣ, весьма справедливо замѣчаетъ, что первыя изъ стихотвореній Некрасова, составляющія его истинный родъ и силу и произведшія неотразимое впечатлѣніе на современниковъ, затѣмъ уже не ослабѣвавшее, совпадаютъ со временемъ всеобщаго протеста въ нашей литературѣ противъ горькой дѣйствительности, протеста страстнаго, жаркаго,

энергическаго,—протеста, доходившаго до клеветы на дѣйствительность. Также основательно, по нашему мнѣнію, онъ оправдываетъ этотъ хотя и односторонній протестъ, какъ единственную силу, которою могла себя проявлять въ то время живая и страстная мысль въ литературѣ. Задерживаемый въ своемъ главномъ, прямомъ истокѣ протестъ въ то время по необходимости долженъ былъ вырываться мелкими, боковыми струйками, удариться въ подробныя обличенія всевозможныхъ сторонъ дѣйствительности, всѣхъ многообразныхъ явленій, вытекавшихъ изъ общаго порядка. Протестъ выражался и въ наукѣ суровымъ отрицаніемъ всей старой, русской жизни, враждебнымъ отношеніемъ къ самой идеѣ народности, насколько она предполагалась породившею современный порядокъ. Онъ выражался и въ беллетристикѣ преимущественнымъ изображеніемъ бѣдности, угнетенія, всяческихъ униженій и оскорбленій слабаго. Онъ выражался и въ лирической поэзіи выборомъ сюжетовъ озлобляющихъ, волнующихъ, питавшихъ недовольство всѣмъ общественнымъ строемъ. О типичности, общности изображаемыхъ событій, о психологической и вообще жизненной правдѣ выводимыхъ лицъ и ихъ злоключеній думали мало. Требовались по преимуществу темы потрясающія, возмущающія... При такихъ-то условіяхъ и началъ поэтическую свою дѣятельность г. Некрасовъ. Понятно, какъ много соотвѣтствовала мрачная личная подготовка поэта господствующему въ литературѣ тону, и понятно, какое сильное сочувствіе должны были возбуждать тѣ изъ его стихотвореній, гдѣ особенно рѣзко, во всей своей нѣсколько грубой силѣ и искренности сказалась его озлобленная муза. Къ этой-то эпохѣ принадлежать нѣкоторыя изъ стихотвореній его, производившія въ свое время особенное впечатлѣніе и между тѣмъ составляющія самыя крупныя ошибки въ смыслѣ поэтическомъ, художественномъ, таковы: „Въ дорогѣ“, „Пьяница“, „Огородникъ“, „Нравственный Человѣкъ“, „Извозчикъ“, „Тройка“ и др. Но на этомъ безразличномъ протестѣ, на этомъ неразборчивомъ исканіи мрачныхъ, потрясающихъ сюжетовъ по всѣмъ классамъ и слоямъ общества не могъ остановиться Некрасовъ, какъ натура даровитая и чуткая. Чѣмъ далѣе слѣдимъ мы за его дѣятель-

ностью, тѣмъ все болѣе и болѣе выясняются намъ два направленія, болѣе или менѣе противоположныя по вдохновляющему ихъ чувству. Съ одной стороны, протестъ его изъ смутнаго и неразборчиваго переходитъ постепенно въ болѣе опредѣленный, точный ясный, и вмѣстѣ съ тѣмъ становится мѣтче и острѣе; съ другой—выдѣляются и исключаются изъ сатиры извѣстные предметы и классы народа: симпатіи и антипатіи поэта устанавливаются на твердомъ основаніи. Уже не безразлично вся дѣйствительность русская, но только извѣстныя стороны и явленія ея продолжаютъ подвергаться его желчнымъ нападкамъ: священное слово родина становится предметомъ горячаго сочувствія поэта; простой, трудовой народъ уже не рисуется ему въ видѣ „Ваньки ражаго“, повѣсившагося отъ корыстолюбія. Не безъ борьбы, конечно, совершился этотъ переворотъ въ міросозерцаніи Некрасова, но за то тѣмъ дороже для насъ это мучительное, выстраданное, искреннее примиреніе, и тѣмъ съ большею силою потрясаетъ насъ изображеніе того перелома, который совершился, наконецъ, въ озлобленной съ дѣтства душѣ поэта.

Родина-мать! я душою смирился,
Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился.
Сколько-бъ на нивахъ бесплодныхъ твоихъ
Даромъ ни сгинуло силъ молодыхъ,
Сколько бы ранней тоски и печали
Вѣчныя бури твои не нагнали
На боязливую душу мою,—
Я побѣжденъ предъ тобою стою!

Передъ тобою мнѣ плакать не стыдно,
Ласку твою мнѣ принять не обидно,—
Дай мнѣ отраду объятій родныхъ,
Дай мнѣ забвеніе страданій моихъ!

Только-что ей я объятія раскрылъ—
Хлынули слезы, прибавилось силъ.
Чудо свершилось: убогая нива
Вдругъ просвѣтлѣла, пышна и красива,
Ласковѣй машетъ вершинами лѣсъ,
Солнце привѣтливѣй смотритъ съ небесъ.

Но мы невольно увлеклись этимъ высоко-поэтическимъ мѣстомъ, а намъ, по порядку, предстоитъ говорить совсѣмъ

о другой сторонѣ дѣятельности нашего поэта. Выше мы показали, какъ поэзія Некрасова, выбиваясь мало-по-малу изъ поголовнаго и неразборчиваго протеста, охватившаго нѣкогда почти всю нашу литературу, успѣла мало-по-малу выбраться на свой собственный, самостоятельный путь, съ одной стороны, опредѣливъ ближе и тѣснѣе предметъ своей сатиры, а съ другой, утвердившись въ своихъ симпатіяхъ къ нѣкоторымъ сторонамъ русскаго быта. Постараемся теперь ближе и точнѣе опредѣлить содержаніе чисто-сатирической дѣятельности Некрасова.

Выше мы видѣли тѣ первоначальныя, раннія впечатлѣнія, которыя опредѣлили въ общихъ чертахъ характеръ и основной тонъ поэзіи Некрасова, далѣе мы указали то общее настроеніе литературы, которому не могъ не подчиниться и нашъ поэтъ. Все дальнѣйшее развитіе сатирической дѣятельности Некрасова совершенно очевидно условливается жизнью поэта въ столицѣ, гдѣ ярче и выпуклѣе выступаютъ на видъ всѣ крайности общественныхъ положеній, гдѣ, при сосредоточеніи всѣхъ силъ Россіи, скопляются и нагло выдвигаются на показъ всѣ пороки, разѣдающіе нашъ общественный организмъ, гдѣ яснѣе выступаютъ на видъ всѣ пружины, условливающія извѣстный строй жизни. Тамъ

Въ этой улицѣ роскоши, моды,
Офицеровъ, лоретокъ и баръ,
Гдѣ съ полу-государства доходы
Поглощаетъ заморскій товаръ,

очевидно, были задуманы и созрѣли тѣ злыя и ѣдкія сатиры, которыя составляютъ главнѣйшую силу и заслугу Некрасова. Сюда, безъ сомнѣнія, принадлежатъ такіа горячо прочувствованныя и глубоко созрѣвшія стихотворенія, какъ „Размышленія у параднаго подъѣзда“ и рядъ стихотвореній „О погодѣ“, „Убогая и Нарядная“, „Княгиня“, „Несчастные“, „Въ больницѣ“, „Филантропъ“ и множество отдѣльных мѣстъ, разсѣянныхъ въ разныхъ стихотвореніяхъ. Но, какъ почти безъ исключенія бываетъ у Некрасова, и этихъ стихотвореній нельзя рекомендовать за безусловно выдержанныя и проникнутыя однимъ и тѣмъ же искреннимъ вдохно-

веніємъ. Такъ торжественное, сильное, полное негодованія и безпощадной ироніи начало перваго стихотворенія

Вотъ парадный подъѣздъ. По торжественнымъ днямъ,
Одержимый холопскимъ недугомъ,
Цѣлый городъ съ какимъ-то испугомъ
Подъѣзжаетъ къ завѣтнымъ дверямъ...

переходить къ концу въ тотъ безотрадный, нѣсколько натянутый тонъ, который, болѣе и менѣе искусственно, выработалъ себѣ Некрасовъ по отношенію къ низшей братіи, русскому крестьянину, и о которомъ мы еще будемъ говорить подробнѣе въ своемъ мѣстѣ. Точно такъ же въ стихотвореніяхъ „О погодѣ“ широкіе, общіе, такъ-сказать, все-россійскіе сатирическіе мотивы перемѣшаны безъ разбора съ чисто личными, исключительно петербургскою жизнью навѣянными чувствами, и оттого именно этотъ рядъ стихотвореній, производя особенно раздражающее впечатлѣніе на петербургскаго жителя, мѣстами почти теряетъ цѣну для жителей другихъ мѣстностей Россіи. Непостоянный житель Петербурга, не знающій всѣхъ прелестей его жизни, съ трудомъ, напр., пойметъ неподдѣльное ожесточеніе поэта, выразившееся въ слѣдующихъ стихахъ:

Вѣтеръ что-то удушливъ не въ мѣру,
Въ немъ зловѣщая нота звучитъ,
Все холеру—холеру—холеру,
Тифъ и всякую немочь сулить!
Всѣ больны, торжествуетъ аптека
И варитъ свои зелья гуртомъ;
Въ цѣломъ городѣ нѣтъ человѣка,
Въ комъ бы желчь не кипѣла ключомъ.
Мужъ, супругою страстно любимый,
Въ этотъ день не понравится ей
И преступникъ, сегодня судимый,
Вдвое больше получить плетей.

Но разсмотримъ нѣсколько подробнѣе кругъ сатиры Н. Некрасова. Если мы скажемъ, вообще, что жизнь столичная, петербургская дала ему въ этомъ отношеніи главную пищу, то въ этомъ не будетъ ничего удивительнаго. Выше мы уже замѣтили, что тамъ, какъ и во всякой столицѣ,

стягивающей и проматывающей съ полугосударства доходы, ярче всего выступают на видъ всё соціальныя неправды и противоположности, виднѣе крупныя злоупотребленія силы, наглѣе и изысканнѣе пороки, болѣе кидаются въ глаза всё недостатки государственнаго механизма,—однимъ словомъ, тамъ, какъ въ фокусѣ, сосредоточивается и мечется въ глаза все зло, разсѣянное по Россіи. Но замѣчательно, что для всей вообще петербургской жизни у Некрасова нѣтъ почти слова симпатіи, кромѣ извѣстныхъ нѣсколькихъ стиховъ въ поэмѣ „Несчастные“. Петербургская жизнь, начиная съ ея погодъ до парадныхъ подъѣздовъ, почти исключительно, возбуждаетъ лишь кипѣніе желчи въ нашемъ поэтѣ. Это обстоятельство въ поэтѣ, чисто петербургскомъ, каковъ Н. Некрасовъ, можетъ быть объяснено лишь тѣмъ, что у него есть и личные расчеты съ этою жизнію, что онъ чувствуетъ на себѣ самомъ ея тлетворное вліяніе, онъ страстно старается освободиться. Очевидно, что русская душа поэта по временамъ живо чувствуетъ всю мишурность и непрочность этой цивилизаціи внѣшности и формы, такъ долго ставившей нашихъ лучшихъ людей въ непримиримый разладъ съ родною жизнію, и въ то же время онъ чувствуетъ себя роднымъ ея сыномъ, прямымъ продуктомъ. Страданія, возникающія отсюда въ душѣ поэта и искренно выраженные имъ во многихъ стихотвореніяхъ, производятъ самое поразительное впечатлѣніе и возбуждаютъ самую сильную симпатію къ г. Некрасову. Мы не будемъ приводить ихъ, такъ какъ они, конечно, сохранились въ памяти каждого читателя.

Перебирая затѣмъ остальные предметы сатиры г. Некрасова, мы невольно найдемъ въ ней отраженіе всего того, что въ послѣднія два десятилѣтія преслѣдовалось нашей литературой, по преимуществу петербургской. Въ этомъ отношеніи вполнѣ справедливы слова г. Н. Б. (№ 43 „Дня“), что Некрасовъ „не двигатель, не властитель думъ своего поколѣнія, но самъ его непосредственное созданіе“. Мы бы добавили къ этому развѣ то, что изъ другихъ созданій своего поколѣнія и своего времени г. Некрасовъ можетъ быть названъ самымъ яркимъ его выразителемъ, что жесткое слово его мѣтче и ярче выражало господствовавшее

сатирическое настроеніе; что въ то же время оно гораздо искреннѣе и глубже прочувствовано, нежели большая часть другихъ, современныхъ ему обличеній и протестовъ въ разныхъ видахъ, по большей части давно уже забытыхъ. И эти-то именно обстоятельства дѣлаютъ поэзію Некрасова самымъ крупнымъ явленіемъ среди однородныхъ, и даютъ ему видное мѣсто въ исторіи нашей литературы и цивилизації.

Изучая въ настоящее время сатиру г. Некрасова, не нужно, между прочимъ, забывать, что всякаго литературнаго дѣятеля нужно разсматривать въ самой тѣсной связи съ его временемъ. Многіе изъ протестовъ, встрѣчаемыхъ нами у г. Некрасова, теперь могутъ показаться общими мѣстами, такъ они заѣзжены второстепенными обличителями, или даже устарѣлыми могутъ представиться жалобами на исчезнувшее зло; но въ свое время это было по большей части слово для многихъ новое, живое, будящее, и потому положительно благотворное для своего времени, а во многихъ далеко не бесполезное и для насъ. Вообще сатира г. Некрасова, особенно въ позднѣйшее время, когда истинные предметы ея болѣе уяснились для самаго поэта, вовсе не промахивается, и если сила производимаго ею впечатлѣнія нѣсколько уменьшилась, то это, повторяемъ, произошло лишь потому, что нѣкоторыя изъ бичуемыхъ ею явленій отжили или значительно ослабѣли, и потому возбуждаемое ими въ поэтѣ сатирическое одушевленіе кажется намъ не соответствующимъ предмету,—или потому, что идеи, высказанныя поэтомъ горячо, какъ нѣчто новое, сдѣлались уже прочнымъ достояніемъ общественнаго сознанія, обыденнымъ, усвоеннымъ взглядомъ на вещи, и не требуютъ повышеннаго тона для своего заявленія. Такъ, напримѣръ, всѣ мѣста сатиръ нашего поэта, касающіяся злоупотребленій крѣпостного права, конечно, не могутъ производить на насъ такого сильнаго впечатлѣнія, какое они весьма законно производили въ свое время; но въ этомъ, конечно, уже не вина поэта. Впрочемъ, и при этой перемѣнѣ обстоятельствъ, стихотворенія, имѣющія положительно художественныя достоинства, проникнутыя чувствомъ мѣры и

гармоніи, не потеряли своей поэтической прелести и для насъ. Такова, напр., „Забытая Деревня“... Также много потеряла и для насъ обаянія сатира г. Некрасова во всемъ томъ, гдѣ она касается даровитыхъ, честныхъ, но въ нищетѣ и гоненіи погибающихъ натуръ — тема, которая въ наше время едва-ли не составляетъ анахронизма. Но въ большей части случаевъ сатира г. Некрасова еще и теперь сохраняетъ свою свѣжесть, силу, борется со зломъ, еще гордо поднимающимъ голову, или обличаетъ дѣйствительныя, еще существующія болѣзни русскаго общества. Еще существуютъ у насъ, увы, особы, изображенныя въ „Парадномъ Подъѣздѣ“, которыя *народное благо зовутъ „щелкотеровъ забавою“*, еще существуетъ во всемъ блескѣ улица, гдѣ

На французскій, на англійскій ладъ
Исковеркавъ не русскія лица,
...Гуляютъ они, пустоты вѣковой
И наслѣдственной праздности дѣти,
Разодѣтой, довольной толпой.

Еще встрѣчаются филантропы, которые

...Голоднаго отъ пьянаго
Не умѣетъ различить.

Еще сохраняетъ, къ сожалѣнію, всю свою правду и силу жалкая картина казни нашего провинціального города, гдѣ

...Безплодно гибнуть силы,
Гдѣ духота, бездумье, лѣнь,
И время тянется сонливо,
Какъ самодѣльная расшива
По тихой Волгѣ въ лѣтній день.

Еще бродятъ по лицу Россіи и мутятъ невинныя души тѣ честные и безкорыстные, но ни на что серьезное неспособныя люди, которыхъ такъ характеризуетъ нашъ поэтъ:

Что ему книга послѣдняя скажетъ,
То на душѣ его сверху и ляжетъ:
Вѣрить, не вѣрить — ему все равно,
Лишь бы доказано было умно.
Самъ на душѣ ничего не имѣетъ!

Что вчера сжалъ, то сегодня посѣть.

Если жъ за дѣло возьмется—бѣда!
 Міръ виноватъ въ неудачѣ тогда.
 Чуть поослабнуть нетвердыя крылья,
 Бѣдный кричитъ: „безполезны усилья“,
 И ужъ куда какъ становится золь
 Крылья свои опалившій орель...

Еще, въ противоположность этимъ новымъ, не сложившимся, безсильнымъ пока, но зачинающимъ собою новую жизнь натурамъ, существуетъ не мало на святой Руси тѣхъ грубыхъ самородковъ, въ которыхъ кипѣніе силъ и страстей, дикіе порывы воли не сдерживаются никакою цивилизаціею. Кого не поражала глубокая правда слѣдующихъ стиховъ нашего поэта:

Твой рассказъ о купцѣ разрывалъ
 Намъ сердца: *по натурѣ бурлацкой*
 Онъ то ноги твои цѣловалъ,
 То хлесталъ тебя плетью казацкой.

Еще полнѣе мѣтко высказанной правдой звучитъ приговоръ почти о всѣхъ русскихъ путешественникахъ за границей.

Если только русскій ѣдетъ за границу,
 Посылай въ Палермо, Пизу или Ниццу,
Быть ему въ Парижъ—такъ судьбамъ угодно.

Да мало ли, впрочемъ, мелкихъ, невольно остающихся въ памяти и донинѣ глубоко вѣрныхъ сатирическихъ чертъ можно найти въ сочиненіяхъ Некрасова, и мало ли его выраженій сдѣлались въ образованныхъ кругахъ поговорками, словами всѣми признанной и мѣтко высказанной правды?

Е. Эдельсонъ.

* * *

*) Стихотворенія, появляющіяся въ нашихъ журналахъ, представляютъ мало замѣчательнаго: по содержанию они сливаются въ какое-то безличное, одно общее мѣсто, — по формѣ это, большею частію, жалкая посредственность.

*) „День“ 1864 г., № 43 (статья Н. Б.).

Стихотворенія г. Некрасова являются между ними, какъ блестящее исключеніе. Всѣ они рѣзко запечатлѣны индивидуальной фізіономіей поэта, въ каждомъ изъ нихъ невольно узнаешь въ лицо самого автора. Правда, самое содержаніе его поэзіи обусловливаетъ въ его стихахъ прозаизмы, какъ элементъ неизбѣжный. Но каждая его пьеска доведена всегда до такой степени литературнаго изящества и порой исполнена такой, совершенно особенной граціозности, что нельзя не признать за авторомъ истинно поэтическаго таланта.

Дѣло, однакожъ не въ этомъ; какъ бы ни были сами по себѣ художественны стихотворенія г-на Некрасова— не въ этомъ его значеніе. Онъ у насъ одинъ изъ полнѣйшихъ представителей поколѣнія сороковыхъ годовъ. Идеи нашего тогдашняго передового *большинства*, духъ и настроеніе, по преимуществу господствовавшіе въ тогдашнемъ обществѣ, нашли себѣ въ немъ яркое и полное выраженіе. Если онъ поэтъ, то по преимуществу именно этого періода,—и вотъ въ этомъ, по нашему мнѣнію, заключается его главная сила.

Промежутокъ времени, центромъ котораго являются сороковые года, дѣйствительно составляетъ въ нашей литературѣ цѣлый отдѣльный и рѣзко обозначенный періодъ... Можно утвердительно сказать, что изъ всѣхъ поэтовъ за этотъ промежутокъ г-нъ Некрасовъ останется навсегда самымъ характернымъ. — Если всю нашу послѣ-петровскую литературу, за всѣ ея полтора ста лѣтъ, зовутъ „отрицательной“, то уже именно за тотъ ея промежутокъ, центромъ котораго являются сороковые годы, ей въ особенности пристало такое названіе. Вся наша ложная, чуждая народу и такъ хваленая цивилизація достигла тогда, видимо, *пес plus ultra* своего развитія. Что представлялъ тогда весь живой организмъ народный? Рабство многомилліоннаго крестьянства, достигнувъ своего апогея, налагало и на всю нашу общественную жизнь одинъ складъ, вносило и во всѣ многообразныя гражданскія отношенія одинъ духъ... Извѣстный стихъ поэта въ его пьесѣ „Парадный Подъѣздъ“

„Волга! Волга! весной многоводною
Ты не такъ затопляешь поля, и пр.

хорошо характеризует тогдашнее состояніе народа. Но не въ лучшемъ положеніи тогда находилось и само цивилизованное меньшинство. Мнимо-русская мысль, въ конецъ истощивъ себя призраками какой-то отвлеченной гуманности и какого-то отвлеченнаго прогресса, въ лицѣ *тогдашнихъ* ея передовыхъ представителей, не могла уже, озираясь кругомъ, не ожесточаться противъ настоящаго, но и ничего же не видѣла и въ будущемъ. Уже безъ всякой вѣры въ прошедшее, но еще съ отчаяніемъ за будущее, она переходила въ какой-то послѣдній протестъ—на все обращенный и всему безпощадный.

Г-нъ Некрасовъ вѣрный сынъ этого періода;—не двигатель, не властитель думъ своего поколѣнія, онъ самъ его непосредственное созданіе,—не руководитель толпы или вѣщій истолкователь ея движеній,—онъ всегда лишь невольный и самый искренній ея представитель. Поэтъ не первоклассный, онъ не стоитъ выше своего времени, для того чтобы могъ онъ отнестись къ нему съ самообладаніемъ. Его лира никогда не достигаетъ той высоты строя, откуда вся происходящая передъ глазами поэта дѣйствительность—каковы бы ни были ея уклоненія въ темную сторону—для него не утрачиваетъ своего положительнаго значенія Божьей правды и красоты,—той высоты строя, при которой самыя эти уклоненія для поэта лишь рѣзче оттѣняютъ и выясняютъ его собственный идеалъ и, сталкиваясь съ которыми, поэтъ лишь къ нему, къ своему идеалу, становится только еще болѣе чутокъ, тѣмъ ревнивѣе охраняетъ его чистоту и тѣмъ еще неумолчнѣе его вызываетъ на глаза міру.

Протестъ и протестъ... вотъ смыслъ каждого стихотворенія г-на Некрасова порознь и всѣхъ ихъ вмѣстѣ; въ немъ—и только въ немъ—весь пафосъ его лиры. Но разъ выговорено это слово, выговорено еще и то, что сарказмъ, иронія и желчная язвительность, хандра, невѣріе и отчаяніе... словомъ сказать, всѣ эпитеты, которыми передаются больше отрицательныя силы души, чѣмъ положительныя и вожделѣнія ея способности,—будутъ и самыми характеристическими эпитетами для его музы.

Тутъ рѣчь вовсе не о томъ, конечно, насколько могъ

самъ тогдашній періодъ располагать или не располагать къ гимну, — благопріятствовалъ или нѣтъ — одѣ? Поэтъ будетъ только отчасти правъ, сославшись на самый уже характеръ своего періода, который именно не давалъ ему другихъ болѣе отрадныхъ впечатлѣній, — не давалъ мѣста ни одному чувству въ его болѣвшею груди, кромѣ протеста. — Дѣло въ томъ, что протестъ, какъ всякая отрицательная сила, только тогда имѣетъ значеніе, когда является лишь какъ орудіе положительныхъ силъ. Окружавшая дѣйствительность, положимъ, и отвергнута, — но гдѣ-же самый идеалъ?.. Честенъ только тотъ протестъ, который вырывается изъ груди ради ясно сознаннаго идеала и ради несокрушимой вѣры въ него. А наши протестующіе пѣвцы и прорицатели, эти, въ своемъ родѣ, *vates* минувшаго періода, похвалятся ли — взамѣнъ отвергаемой ими Россіи — ясно-сознаннымъ ея идеаломъ? Похвалятся ли они несокрушимою вѣрой въ него? Похвалятся ли они, наконецъ, какою-нибудь вѣрой?..

Вотъ уже въ Россіи навѣкъ отмѣнено то скорбное рабство, котораго такъ не напрасно содрогались *все* ея пѣвцы прежняго періода. Развѣ, однако-жъ, не продолжаютъ *нѣкоторые* изъ нихъ, еще и въ наши дни, скорбныхъ сѣтованій на прежній ладъ? Больше того, давая теперь угадывать какъ бы скрытую свою досаду, что, сломивъ крѣпостное ярмо въ Россіи, отняли теперь у нихъ самое право на ихъ вѣчное негодованіе, навсегда ихъ лишивъ источника самыхъ яростныхъ вдохновеній, — не даютъ ли еще они ясно угадывать и того, что самое обращеніе къ „низшей братіи“, вѣчныя званія къ ея бѣдствіямъ и страданію подчасъ могли исходить никакъ не изъ чистаго движенія любвеобильнаго сердца, а изъ болѣе мутныхъ источниковъ души человѣческой?

Впрочемъ, говоря это, мы всего менѣе имѣемъ въ виду г-на Некрасова; нѣтъ никакого повода выставять именно его въ примѣръ прорицателей такого рода. Но насколько само направленіе поэта носить на себѣ несомнѣнный отпечатокъ своего времени и насколько для насъ важно опредѣлить такой отпечатокъ, мы, не колеблясь, говоримъ: да, и у г-на Некрасова эта „великая народная скорбь“ и „тяжкая доля

русскаго крестьянства" (тема почти всѣхъ его стихотвореній) сплошь подернута лживымъ оттѣнкомъ, и весь его паѳосъ, по этому поводу, зиждется на лживыхъ основаніяхъ.

Ограничимся однѣми тѣми пьесами, которыя вошли въ третій, недавно изданный томъ его стихотвореній, томъ, который намъ и подастъ поводъ къ настоящему разбору. Пьеса „Размышленія у параднаго подъѣзда“ одно изъ извѣстнѣйшихъ стихотвореній г-на Некрасова въ этомъ родѣ, паѳосъ поэта въ немъ отъ начала и до конца бьетъ неудержимымъ ключомъ. Какое, однако-жъ, въ результатъ и изъ него вынесемъ впечатлѣніе, кромѣ... самаго неглубокаго протеста? Строфы въ пользу „сѣятеля и хранителя родной земли“, въ которыхъ, повидимому, сказалаь такая чудная задушевность, вдругъ разразились въ буквальное *ничто* при концѣ стихотворенія. Взятыя какъ бы лишь для одного ихъ сопоставленія съ предыдущимъ образомъ „параднаго подъѣзда“, на которомъ сосредоточено все чувство вражды поэта, эти строфы теперь сполна заглушены тѣмъ яростнымъ чувствомъ, и лишь на него, такимъ образомъ, сошлеть и весь паѳосъ пьесы. Самая тема стихотворенія, такъ грандіозно затронутая поэтомъ, эта тема „великой народной скорби, которая пуще переполнила Русскую землю, чѣмъ „Волга многоводной весной поля ея заливаєтъ“, не обратилась ли тутъ въ жалкую выходку простого мелодраматизма о бѣднякѣ, вѣчно угнетаемомъ богачомъ и знатнымъ?—Нѣтъ, наша мнимая, не народная цивилизація, которою такъ кичится, въ розни съ народомъ, русское передовое сословіе, образуетъ тотъ иной, въ аллегорическомъ смыслѣ—также „Парадный Подъѣздъ“, двери котораго для бѣднаго мужика, „сѣятеля и хранителя родной земли“, еще безжалостнѣе захлопнуты ливрейнымъ швейцаромъ. Одно изъ двухъ: или вовсе не существуетъ какого-то особаго горя, которымъ, изъ всѣхъ народовъ въ мірѣ, страдаетъ будто бы одинъ только русскій народъ, или въ этой-то именно розни и все наше горе. Вдумайся только поэтъ въ это немнимое горе Русской земли—и его размышленія у параднаго подъѣзда никакъ не разразились бы... мелодраматической выходкой.

Прочтемъ тутъ же его стихотвореніе „Жница“, или какъ оно озаглавлено въ III-мъ томѣ: „Въ полномъ разгарѣ страда деревенская“. При картинѣ спѣлымъ колосомъ волнующагося поля, — картинѣ жатвы, такъ всегда любезной для крестьянина и которая своимъ видомъ бодрой живости и довольства ничѣмъ въ веселости не уступитъ нѣмецкому или французскому пейзажу сбора винограда, — зачѣмъ опять у нашего поэта все тѣ же раздражающіе вопли о „трудной, русской долюшкѣ“? И почему же это названо „русскою долюшкой“? „Нестерпимый зной“, „столбъ насѣкомыхъ“, который „жалить, щекотить, жужжить“, серпомъ своимъ „баба порѣзала ноженьку голую“ — другихъ впечатлѣній не умѣла уловить фантазія поэта для своей картины. Преувеличенное изображеніе, во что бы то ни стало, скорбнаго бабьяго вида поэтъ доводить еще, если можно такъ выразиться, до самыхъ плотяныхъ красокъ: „слезы ли, нѣтъ ли у ней подъ рѣсницу, право, сказать мудрено, въ жбанъ, — заткнутой грязной тряпицею, кануть онѣ — все равно!“ и все повершаетъ, наконецъ, это до цинизма жестокое восклицаніе: „Вкусны ли, милая, слезы соленыя, съ кислымъ кваскомъ пополамъ?“ Это уже какое-то самоуслаждение скорбью, сладострастіе своею собственною болью, — а искреннее человѣческое состраданіе бываетъ ли склонно къ такимъ преувеличеніямъ?

Капитальнѣйшею пьесой разбираемаго III-го тома должно будетъ назвать недавнюю поэму г-на Некрасова: „Морозъ, красный носъ“ — безспорно капитальнѣйшее произведеніе и изъ всѣхъ его сочиненій. Съ обыкновенными его недостатками, тутъ проглянули еще и всѣ творческіе проблески его несомнѣннаго поэтическаго таланта. Какъ въ цѣломъ сочиненіи поэмы, такъ и въ отдѣльно исполненныхъ ея картинахъ чрезвычайно много художественной силы. Сцены сельской жизни и нашей сѣверной природы мѣстами тутъ достигаютъ полной поэтической прелести; заключительныя строфы поэмы (Дарья въ лѣсу; безутѣшныя сѣтованія вдовы, незамѣтно переходятъ въ больной бредъ засыпающаго отъ мороза человѣка и мало-по-малу разрѣшаются въ полное ледяное спокойствіе...) представляли художественную задачу,

не легкую для разрѣшенія, — и авторъ вышелъ изъ нея побѣдителемъ.

Трудная доля русской крестьянской семьи, особенно въ лицѣ ея матери... такая опять, повидимому, тема выбрана поэтомъ; онъ самъ ее намѣчаетъ довольно ясно съ первыхъ же строфъ:

Три тяжкія доли имѣла судьба,
И первая доля: съ рабомъ повѣнчаться,
Вторая: быть матерью сына раба,
А третья: до гроба рабу покоряться.
И всѣ эти грозныя доли легли
На женщину Русской земли.
Вѣка протекали—все къ счастью стремилось,
Все въ мірѣ по нѣскольку разъ измѣнилось,
Одну только Богъ измѣнить забывалъ—
Суровую долю крестьянки.

Но читатель, однакоже, съ первыхъ словъ слышитъ, что тутъ готовится что-то совсѣмъ другое, а никакъ не простое изображеніе сельскаго быта. Гробъ, покойникъ, могила, холодъ, морозъ... такими впечатлѣніями открывается поэма. Какъ - будто же „трудная крестьянская доля“ въ дѣйствительности еще не довольно трудна, чтобы лишь цѣною такихъ скорбныхъ эффектовъ завербовывать къ ней участие! Какъ - будто же эта раздирающая картина: гроба, могилы, смерти хозяина въ домѣ, безъ котораго по міру пойдутъ вдова и дѣти, — для всякаго иного крестьянина, для всякаго другого общества и при всякой другой обстановкѣ можетъ быть на много смягчена въ своемъ роковомъ смыслѣ?.. Но тягостное впечатлѣніе, которое сразу обнимаетъ душу читателя въ началѣ поэмы, ничто въ сравненіи съ тѣмъ подавляющимъ ужасомъ, который авторъ ему такъ неожиданно готовить въ концѣ. Дарья, вдова схороненнаго Прокла, на тѣхъ же дровняхъ, которыя сейчасъ отвезли ея мужа на кладбище, поѣхала въ лѣсъ за хворостомъ: иззябли въ нетопленной избѣ, пока мать была у могилы, ея малютки-сироты! Тамъ, въ глубинѣ лѣса, вся мертвая типъ котораго такъ страшно обаятельно передана поэтомъ, бѣдная вдова рубить не рубить дрова, а заливается своимъ безу-

тѣшнымъ горемъ... И дѣти больше теперь не дождутся своей матери: къ нимъ, теперь круглымъ сиротамъ,—она больше не вернется домой: умерла и родимая ихъ, она замерзла въ лѣсу! Съ неимовѣрной художественной силой живописуетъ поэтъ состояніе того леденящаго спокойствія, которое тамъ закрадывалось въ грудь его безутѣшной Дарьи, ея смертную улыбку, могильный покой самаго лѣса, все холодное безучастіе глубоко безстрастной природы! Вершинами деревъ прошла бѣлка.

Комъ снѣгу она уронила
На Дарью, прыгнувъ по соснѣ;
А Дарья стояла и стыла
Въ своемъ заколдованномъ снѣ.

Было бы не такъ ужасно, когда бы поэтъ, не найдя никакого примиренія для своей героини, на-вѣки запечатлѣлъ ее въ воображеніи читателя въ образѣ вдовы, осужденной по-гробъ на страданіе. Ужасно, напротивъ того, впечатлѣніе этого леденящаго спокойствія, съ которымъ теперь — на глазахъ читателя — закаменѣлъ Дарьинъ образъ. Самое еще ея морозное застываніе, съ иглами въ бровяхъ, съ бѣлымъ пушистымъ инеемъ въ рѣсницахъ, съ коченѣющей улыбкой на блѣдныхъ губахъ,—въ поэмѣ переходитъ въ какое-то сладострастное истолкованіе ужаса самой смерти, ея леденящихъ объятій. И какое же надо имѣть глубоко-мрачное творчество, чтобы изъ самаго этого ужаса создать себѣ *примиреніе*, и въ немъ свести на нѣтъ весь смыслъ человѣческихъ упованій! Самое безвыходное горе, самое отчаянное невѣріе въ возможность какого бы ни было примиренія, всѣ невообразимѣйшія человѣческія страданія обращаются въ нуль въ сравненіи съ *этими найденнымъ* примиреніемъ, и чѣмъ больше ему сочувствуетъ авторъ въ своей героинѣ, тѣмъ ужаснѣе оно становится для души читателя. Въ цѣлой нашей литературѣ нельзя бы привести образчиковъ еще болѣе безпощадной ироніи, еще злѣйшаго отрицанія, какъ тѣ, какими наполнены заключительныя строфы поэмы. Не слышится ли въ нихъ уже какой-то всеподавляющій протестъ противъ самой жизни, все ея та-

инство и самый мигъ смерти обратившій въ ничто, въ простую игру слѣпого случая, въ безцѣльное броженіе силъ грубой природы?.. И не есть ли же это буквальное, положительнѣйшее nihil самаго отчаяннаго скептицизма?

Нѣтъ, какъ бы г-нъ Некрасовъ ни прикидывался народнымъ поэтомъ, но свѣжей струи русской народности, прежде всего, и не слышать въ его поэзіи, — именно народныхъ-то струнъ и не достаетъ его лирѣ. Какъ бы сильно и художественно онъ ни затрогивалъ въ своихъ скорбныхъ мотивахъ вѣчно одну и ту же тему о „русскомъ горѣ“, о „трудной русской долюшкѣ“, изъ каждой его строчки внятно слышишь, что въ дѣйствительности онъ не знакомъ, если не съ ихъ истинными размѣрами, то съ ихъ истиннымъ смысломъ. Какъ бы ни обращался онъ съ своими обѣтованіями къ низшей братіи, инстинктивное чувство за русскій народъ невольно подсказываетъ, что толпа не приметъ этихъ его обѣтованій. Это его горе и сокрушеніе по „русской родной землѣ“ прежде всего горе и сокрушеніе по своей собственной эгоистической тоскѣ, ничего не имѣющей общаго съ тоскою народа, — тоскѣ, которая отчасти и сама является лишь какъ конечный плодъ нашего мнимаго, оторваннаго отъ народной почвы образованія съ его вѣчно-безплоднымъ стремленіемъ къ какому-то отвлеченно-гуманитарному и космополитическому прогрессу. У такого образованія не можетъ быть ни скорбей ни радостей, общихъ съ народомъ, — идеалы, которые преслѣдуются представителями такого образованія, не будутъ идеалами русскаго народа. И, напротивъ того, его истинные идеалы — отнюдь не ихъ. Если подчасъ они и толкуютъ народу о своихъ страданіяхъ и о своемъ плачѣ, то не про этотъ ли именно ихъ плачъ, обращенный къ „святелямъ родной земли“, будетъ уместно сказать:

Не съ ними плачешь, а *объ нихъ!*

Такъ сказалъ другой поэтъ, котораго можно бы во всѣхъ отношеніяхъ поставить въ противоположность теперь разбираемому нами. Мы припоминаемъ прекрасное, по своему глубокому смыслу, стихотвореніе Константина Аксакова

Къ гуманисту, къ нему и отсылаемъ для дальнѣйшаго разъясненія нашей мысли.

Лучшими мѣстами, какъ и цѣлыми стихотвореніями г-на Некрасова, мы считаемъ тѣ изъ нихъ, въ которыхъ поэтъ, какъ бы наперекоръ себѣ, высказываетъ свое непосредственное чувство къ Россіи, какъ къ своей родинѣ,—и оно тогда выливается у него отъ полноты сердца, безъ всякихъ предвзятыхъ темъ. Припомнимъ его чудные стансы, сейчасъ послѣ тяжелой години Севастополя, гдѣ онъ ободряетъ свою родину этими, такъ исполненными теплаго чувства, словами:

...Краше твой вѣнецъ лавровый
Побѣдоноснаго вѣнца!

и въ которыхъ онъ обращаетъ на себя милостивыя ея благословенія, по крайней мѣрѣ, за то, что

И подь чужими небесами
Я пѣсни родинѣ слагалъ.

Изъ стихотвореній другихъ отдѣловъ можно сюда же отнести тѣ, въ которыхъ обычная безутѣшная тоска поэта вдругъ, какъ бы осянненная какимъ свѣтлымъ лучомъ, вся разрѣшается тихими слезами о собственномъ своемъ паденіи, чувство покаянія и обращенія становится ему доступно, и весь онъ — готовность на обновленіе. Вотъ эта-то никогда не угасающая въ немъ до конца „теплая искра“ дѣлаетъ его талантъ наиболѣе симпатичнымъ и даетъ слышать что-то особенно-задушевное, что-то не старѣющееся въ доброй природѣ поэта. Пьесу, которая въ III-мъ томѣ озаглавлена „Рыцарь на часъ“, можно поставить въ примѣръ стихотвореній подобнаго рода. Остается только жалѣть, что г-нъ Некрасовъ какъ бы стыдится въ себѣ этихъ своихъ лучшихъ порывовъ, и самъ ихъ всегда торопится заглушить безпощаднѣйшею прозой. Мы, по крайней мѣрѣ, совершенно не понимаемъ, какъ самага этого ироническаго названія „Рыцарь на часъ“, не безъ умысла приданнаго стихотворенію, такъ еще и его конца, очевидно, къ нему поддѣланнаго.

Въ нашей бѣглой, газетной статьѣ мы многого еще не

сказали, что невольно должно притти на умъ по поводу стихотвореній г-на Некрасова. Петербургъ зоветъ г-на Некрасова по преимуществу своимъ поэтомъ. И это не даромъ; москвича въ немъ, конечно, никто никогда и не заподозрить... Критикъ долженъ будетъ опредѣлить, насколько самое „отрицательное направленіе“ въ частности у г-на Некрасова окрашивается въ какой-то ничтожный, именно мѣстный характеръ, — насколько, наконецъ, и самъ нашъ поэтъ представляется созданіемъ этой именно мѣстной почвы...

Но мы писали не критику и не полный разборъ всѣхъ его сочиненій, а лишь краткую библиографическую замѣтку по поводу недавно изданнаго III-го тома его стихотвореній.

Изъ „Дня“ за 1864 г.

* * *

*) Въ октябрьской книжкѣ „Русскаго Слова“, въ отдѣлѣ „Библиографическій Листокъ“, разбираются стихотворенія г. Некрасова и доказывается, что въ нихъ рядомъ съ протестомъ представлены и совершенно вѣрные положительные идеалы.

„Правда, говоритъ критикъ, идеаль г. Некрасова не имѣть ничего общаго съ идеалами другихъ поэтовъ: онъ не фантастическій какой-нибудь, а возможный, необходимый и несомнѣнный. Идеаль этотъ построенъ на идеяхъ любви и благосостоянія и выраженъ въ самой осуществимой формѣ“.

Выраженъ онъ именно въ той „чудной, розовой картинѣ свѣтлаго истиннаго счастья“, которая видится Дарьѣ, когда она замерзаетъ въ лѣсу (въ поэмѣ *Морозъ — красный носъ*). Для большей убѣдительности критикъ выписываетъ вполнѣ эту картину, выражающую идеаль г. Некрасова. Вотъ она:

И снится ей жаркое лѣто—
Не вся еще рожь сvezена,
Но сжата—полегче имъ стало!
Возили снопы мужики,
А Дарья картофель копала
Съ сосѣднихъ полосъ у рѣки.
Свекровь ея тутъ же, старушка,

*) „Эпоха“ 1864 г., № 11. (Статья подъ заглавіемъ: „Идеаль Некрасова“).

Трудилась; на полномъ мѣшкѣ
Красивая-Маша, рѣзвущка,
Сидѣла съ морковью въ рукѣ.
Телѣга, скрипя, подѣвжаетъ—
Савраска глядитъ на своихъ,
И Проклушка крупно шагаетъ
За возомъ сноповъ золотыхъ.
— Богъ помочь! А гдѣ же Гришуха?
Отецъ мимоходомъ сказалъ.
„Въ горохахъ“, сказала старуха.
— Гришуха! отецъ закричалъ,
На небо взглянулъ.—Чай не рано?
Испить бы... Хозяйка встаетъ
И Проклу изъ бѣлаго жбана
Напиться кваску подаетъ.
Гришуха межъ тѣмъ отозвался.
Горохомъ опутанъ кругомъ,
Проворный мальчуга казался
Бѣгущимъ зеленымъ кустомъ.
— Бѣжить!.. у!.. бѣжить пострѣленокъ;
Горитъ подъ ногами трава!—
Гришуха черенъ, какъ галченекъ,
Бѣла лишь одна голова;
Крича, подбѣгаетъ въ присядку
(На шеѣ горохъ хомутомъ);
Попотчивалъ бабушку, матку,
Сестренку—вертится въюномъ!
Отъ матери молодцу ласка,
Отецъ мальчугана щипнулъ;
Межъ тѣмъ не дремалъ и савраска:
Онъ шею тянулъ да тянулъ,
Добрался,—оскаливши зубы,
Горохъ аппетитно жуетъ
И въ мягкія, добрыя губы
Гришухино ухо беретъ...
Машутка отцу закричала:
Возьми меня, тятка, съ собой!
Спрыгнула съ мѣшка—и упала.
Отецъ ее поднялъ: „не вой!
Убилась—не важное дѣло!
Дѣвченокъ не надобно мнѣ;
Еще вотъ такого пострѣла
Рожай мнѣ, хозяйка, къ веснѣ!
Смотри же!..“ Жена застыдилась:
— Довольно съ тебя одного!
(А знала, подъ сердцемъ ужъ билось

Дитя)... „Ну, Машукъ, ничего!“
 И Проклушка, ставъ на телѣгу,
 Машутку съ собой посадилъ,
 Вскочилъ и Гришуха съ разбѣгу,
 И съ грохотомъ возъ покатилъ.
 Воробушковъ стая слетѣла
 Съ сноповъ, надъ телѣгой взвилась.
 И Дарьюшка долго смотрѣла,
 Отъ солнца рукой заслонясь,
 Какъ дѣти съ отцомъ приближались
 Къ дымящейся ригѣ своей,
 И ей изъ сноповъ улыбались
 Румяныя лица дѣтей...

Какая прелесть! эти стихи и выписываешь съ наслаждениемъ. Какая вѣрность, яркость и простота въ каждой чертѣ!

Не въ томъ, однако же, дѣло. Какъ понимаетъ читатель эту картину? Не думаетъ ли онъ, что передъ умирающей Дарьей носятъ видѣнія прошлаго, что она вспоминаетъ счастливыя минуты того времени, когда мужъ былъ живъ? По мнѣнію критика, ничуть не бывало; это не воспоминанія и не картина дѣйствительности.

„Эта картина, говоритъ онъ, есть самый полный идеаль счастья, какой только могла *создать фантазія* крестьянки; но, конечно, не много прибавить къ нему самый великій геній въ *мечтахъ о совершенномъ благополучіи людей*. Основные элементы этого благополучія — здѣсь всѣ: любовь, довольство и привлекательный трудъ среди чистой, прекрасной природы. Это та *вершина благополучія*, на которой человѣку остается еще только искать наслажденія въ наукѣ и искусствѣ; это то счастливое состояніе, гдѣ можно съ полнымъ правомъ проповѣдывать науку для науки и искусство для искусства. Наконецъ, это *тотъ результатъ, къ которому стремится весь прогрессъ* и въ которомъ наслажденіе свободною любовью, свободнымъ трудомъ и здорово бѣдностію изгладило даже мучительное воспоминаніе о прошломъ рабствѣ и нищетѣ“.

Дѣло ясное. Идеаль, созданный фантазіею, представляющій вершину благополучія и результатъ, къ которому *стремится весь прогрессъ*, — никакъ не могъ и не можетъ

существовать въ дѣйствительности. Чтобы кто-нибудь не подумалъ, что стихи Некрасова изображаютъ картину дѣйствительной жизни, — критикъ убѣдительно доказываетъ, что такія картины на дѣлѣ невозможны; онъ доказываетъ это и отъ себя и — что всего лучше и сильнѣе — отъ г. Некрасова.

Отъ себя онъ замѣчаетъ, что „эта картина представлена — бредомъ умирающей, а не дѣйствительностью“.

„Но поймите-же вы, наконецъ (воскликаетъ онъ далѣе), безнадёжные филистеры, что въ дѣйствительности *ничего подобнаго нѣтъ*, что если бы въ минуту смерти крестьянкѣ грезилось ея дѣйствительное прошлое, то она бы увидѣла *побои мужа*, не радостный трудъ, не чистую бѣдность, а *смердную нищету*. Только въ розовомъ чаду опіума или смерти отъ замерзанія могли предстать передъ нею эти чудныя, но *никогда небывалыя* картины“.

Но всего сильнѣе тѣ доказательства, которыя критикъ заимствуетъ у самого г. Некрасова. Весьма справедливо онъ замѣчаетъ, что г. Некрасовъ часто останавливается на судьбѣ русской женщины вообще, особенно же на долѣ крестьянки; но что онъ „*нигдѣ не показалъ намъ въ розовомъ свѣтѣ ея настоящее*“. Критикъ ссылагается на различныя стихотворенія, гдѣ упоминается о женщинахъ и ихъ долѣ, на „Дешевую Покупку“, на „Рыцаря на часъ“ и т. д. „Поэтъ показываетъ намъ, говоритъ онъ, и жену („Жница“), и мать („Орина, мать солдатская“), показываетъ во всей безысходности ея горя, во всемъ ужасѣ ея судьбы“. Перебравъ всѣ эти случаи, въ которыхъ представляется судьба женщины у г. Некрасова, критикъ задается такимъ вопросомъ:

„Я бы спросилъ читателя, возможно ли это представленіе, клевета ли на русскую жизнь эти слова, правда ли, что доля женщины была такъ печальна, какъ изображаетъ г. Некрасовъ?“

И отвѣчаетъ самъ себѣ:

„Но спрашивать было бы излишне, потому что лучшимъ отвѣтомъ на такіе вопросы служить то, что *все, что есть лучшаго въ Россіи, читаетъ Некрасова и вѣритъ ему*“.

Итакъ, если вы вѣрите Некрасову, то должны признать, что картина, изображенная имъ въ приведенныхъ нами стихахъ, есть дѣло невозможное, небывалое, и представляеть только одну фантазію, идеаль счастья.

Въ этихъ сужденіяхъ я вижу достойное наказаніе г. Некрасова за слишкомъ большое усердіе, съ которымъ онъ забавлялся созданіемъ „жниць“, „Оринъ“ и т. п. Читатели такъ усердно повѣрили этимъ его произведеніямъ, что теперь уже не вѣрятъ самымъ прямымъ его словамъ.

Вотъ онъ изобразилъ живущую въ полномъ ладу чету мужа и жены. Какъ можно! возражаетъ ему критикъ, вашъ Прокль непременно билъ свою жену.

Г. Некрасовъ представилъ картину радостнаго труда, чистой бѣдности. Какъ можно! возражаетъ критикъ: все это одна мечта; я знаю твердо, что они жили въ *смердной нищетѣ*.

Г. Некрасовъ изобразилъ счастливыя минуты крестьянскаго семейства, полного взаимной любви. Какъ можно! восклицаетъ критикъ: я вѣдь знаю, что ни любви, ни счастливыхъ минутъ у нихъ вовсе нѣтъ.

Очень можетъ быть, что критику кажется одной фантазіей, однимъ идеаломъ даже то, какъ Савраска

Въ мягкія, добрыя губы
Гришухино ухо беретъ.

Вотъ если-бы Савраска откусилъ ухо у Гришухи, тогда это было бы ближе къ дѣйствительности и не противорѣчило бы некрасовской манерѣ ее изображать.

Изъ „Эпохи“ за 1864 г.

Алфавитный указатель

ИМЕНЪ И ПРЕДМЕТОВЪ, ОТНОСЯЩИХСЯ КЪ ЛИТЕРАТУРѢ.

- Аверкіевъ, Дм. 68—72.
„Адъ“, Данта. 85.
Аксаковъ, К. 143, 228.
Аксаковъ, С. Т. 85.
Алмазовъ, Б. (Эрастъ Бла-
гонравовъ). 12, 60.
„Ангель Смерти“. 5, 14, 15.
„Анджело“, Пушкина. 126.
„Антонъ-Горемыка“, Григо-
ровича. 139.
Афанасьевъ. 135.
Вайронъ. 64, 83, 130, 137, 150,
154.
Бальзакъ. 150.
Банниковъ. 17.
Вахтуринъ. 17.
„Баю-баю“. 8.
фра Беато. 160, 161.
„Безъ Разсвѣта“. 144.
Бенедиктовъ. 14, 23, 119.
Бергъ. 61, 62.
Бернетъ. 17.
Бернсъ. 135.
„Бесѣда журналиста съ под-
писчикомъ“. 66.
„Библіотека для Чтенія“. 28,
52—60, 202.
Бильротъ, хирургъ. 7.
Благонравовъ, Эрастъ (псевд.
Б. Н. Алмазова). 60.
Боденштедтъ. 127.
„Борисъ Годуновъ“, Пуш-
кина. 157.
Брантъ, Л. 21, 22.
Брокгаузъ, Ф. 1.
Брюловъ. 157, 161, 163.
Буало. 99.
Булгаринъ. 24, 28, 77, 177.
„Булочная“. 179.
„Буря“. 178.
Буслаевъ. 155.
Бутковъ. 176.
„Бѣглый“, Полонскаго. 113.
„Бѣдная Невѣста“, Остров-
скаго. 170.
„Бѣдные Люди“, Достоев-
скаго. 6, 143, 144.
Бѣлинскій. 5, 6, 17—19, 23—31,
77, 125, 126, 136, 137, 140, 141,
149, 150, 155, 163, 177, 183.
Венгеровъ, С. 1—12.
„Вино“. 83, 178, 185.
„Власть“. 12, 84, 88, 92, 179, 187.
„Внимая ужасамъ войны“. 80.
„Возрожденіе“, Пушкина.
169, 174.
Вольфсонъ. 127.
„Воронъ“. 5.
„Время“. 125, 128, 206.
„Встрѣча Душъ“. 14.
„Въ больницѣ“. 68, 122, 123,
178, 215.

- „Въ деревнѣ“. 68, 77, 78, 137, 178, 186.
 „Въ дорогѣ“. 6, 30, 82, 142, 178, 183, 202, 213.
 „Въ невѣдомой глуши“. 68, 124, 165, 192, 211.
 „Въ столицахъ шумъ, гремятъ вити“. 81, 178.
 „Вѣкъ“. 198.
 „Вѣчный Жидъ“, Евг. Сю. 37, 47, 51.
 „Гаданья“, Фета. 113.
 „Гансъ Кюхельгартенъ“, Гоголя. 5.
 Гверчино. 161.
 Гебель. 135.
 Гейне. 154.
 Гете. 135, 150, 154.
 Глинка. 157, 163.
 Глушицкій. 4.
 Гоголь. 5, 33, 74, 94, 132, 133, 135, 140, 141, 146, 154, 159, 164, 169, 175, 176.
 Головачева-Панаева (Станицкій). 6.
 Гомеръ. 150.
 Гончаровъ. 139.
 Горацій. 134.
 „Горькое Горе“. 198.
 Гофманъ. 154.
 Грибоѣдовъ. 74, 154, 164.
 Григоровичъ. 6, 78, 208.
 Григорьевъ, Ап. 12, 60—67, 97, 124—179, 197, 201, 206, 212.
 „Гроза“, Островскаго. 158.
 „Гусаръ“, Пушкина. 83.
 Гымалэ. 155.
 Гюго, В. 33, 35, 150, 151, 154.
 „Гяуръ“, Байрона. 151.
 Дантъ. 85, 123, 154.
 „Два Мгновенія“. 15.
 „Двойникъ“, Достоевскаго. 176.
 „Дворникъ“. 29.
 „Дворянское Гнѣздо“, Тургенева. 169.
 Делаво. 127.
 „День“. 217, 220—230.
 „Деревенскія Новости“. 87, 119, 120, 173, 178.
 „Дешевая Покупка“. 233.
 Джеффри. 93.
 Диккенсъ. 154.
 „Дневникъ темнаго человѣка“. 104.
 „Дни Благословенные“. 14.
 Добролюбовъ. 7, 145, 175.
 Дольчи. 161.
 Доменикино. 161.
 Достоевскій. 6, 8, 10, 125, 136, 140, 143, 169.
 Дружининъ. 93.
 Дудышкинъ. 156, 157.
 „Дума“. 118.
 „Дѣловой Разговоръ“. 66.
 „Дѣтство Арбенина“, Лермонтова. 165.
 Дюма. 33, 35, 47.
 „Евгеній Онѣгинъ“, Пушкина. 28, 84, 171.
 „Если мучимый страстью мятежной“. 60.
 Ефремовъ, П. 201.
 Ефронъ, И. 1.
 „Жаръ-Птица“, Языкова. 62.
 „Жница“. 225, 233.
 Жуковскій. 5.
 „Журналъ для Дѣтей“. 66, 67, 198.
 „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія“. 13, 14, 22, 23.
 „Забытая Деревня“. 77, 78, 81, 82, 93, 110, 113, 137, 178, 188, 219.
 „За городомъ“. 66, 178.
 Закревская, А. А. 1.
 Зандъ, Жоржъ. 150, 154.
 „Записки Охотника“, Тургенева. 77, 78, 169.
 „Запѣвка“, Мея. 113.
 „Застѣнчивость“. 178.

- „Зеленый Шумъ“. 200.
 „Землетрясеніе“. 15.
 „Злой Духъ“. 5.
 „Знахарка“. 87, 88, 92, 119, 121, 178.
Ивановъ. 161.
 „Идеаль Некрасова“. 230—234.
 „Извозчикъ“. 82, 185, 213.
 „Изъ Ларры“. 165, 167, 178, 211.
 „Иллюстрація“. 201.
 „Inferno“. 151.
Искандеръ. 6.
 „Искра“. 179.
 „Истинная Мудрость“. 15, 20.
Бантеміръ. 99.
 „Картина“, Майкова. 113.
 Клодтъ. 24, 27.
 „Книжный Вѣстникъ“. 67.
 „Княгиня“. 178, 215.
Княжнинъ. 207.
 „Когда изъ мрака заблужденья“. 12, 60, 178.
 „Колизей“. 14.
 „Колыбельная Пѣсня“. 31.
Кольцовъ. 96, 112, 135, 139, 145, 157—159, 164, 170, 178, 208.
 „Comédie humaine“. 176.
 „Кому на Руси жить хорошо“. 11.
Кореджіо. 161.
 „Коробейники“. 10, 68, 72, 88—90, 92, 96, 115, 117, 174, 178, 188, 197.
Косица, Н. (Н. Страховъ) 127.
Костомаровъ. 162.
Кочка-Сохрана. 127.
Краббъ. 93.
Краевскій. 6, 7, 13, 15.
Кремнинъ, В. 198.
Крестовскій, Вс. 105—124, 128, 138, 153.
 „Крестьянскія Дѣти“. 11, 72, 85, 88, 92, 96, 178, 188, 189, 198.
Крыловъ. 28, 208.
Кусковъ, П. 127.
 „Къ гуманисту“, К. Аксакова. 229.
 „Къ Смуглянкѣ“. 20.
 „Левіаѳанъ“. 6.
Лермонтовъ. 8, 23, 64, 74, 91, 94, 132, 133, 140, 151, 154, 159, 164—166, 169, 171, 172, 201, 208.
 „Левъ Гурычъ Синичкинъ“. 42, 43.
 „Le fils du Diable“, П. Февалля. 34.
 „Литературная Газета“. 5, 13, 15, 17.
 „Литературныя Воспоминанія“, И. Панаева. 124.
 „Литературныя прибавленія къ Русскому Инвалиду“. 5.
 „Лишній Человѣкъ“, Тургенева. 158.
Ломоносовъ. 142.
 „Люблю я родину“, Лермонтова. 171.
Майковъ, Ап. 6, 61, 113, 152, 203.
 „Мартынъ Найденышъ“. 37, 51.
 „Мать“. 1.
 „Маша“. 178.
Мей. 61, 113, 114, 152.
Менцовъ, Ѳ. 13—15, 17.
Мериме. 127.
 „Мертвое Озеро“, Некрасова и Станицкаго. 6, 34—60.
 „Мертвый Домъ“, Достоевскаго. 125, 144, 169.
 „Мертвыя Души“, Гоголя. 94, 132.
 „Мечты и Звуки“. 5, 13 — 23.
Мечуринъ. 33, 35.
Мильтонъ. 152.
Милюковъ, А. 198.
Минаевъ. 8, 153.
 „Мининъ“, Островскаго. 125, 126, 157, 168.
 „Mistères de Paris“. 34.

- Мицкевичъ. 154.
 „Морозъ Красный Носъ“. 11, 225, 230.
 „Москвитянинъ“. 35—52, 60, 61, 66, 77.
 „Моя Судьба“. 15.
 „Муза“. 67, 68, 70, 105.
 Мурильо. 160, 162.
 „Мцыри“, Лермонтова. 167.
 „Мысль“. 13.
 „Мѣдный Всадникъ“, Пушкина. 176.
 „На Волгѣ“. 130, 166, 178.
 Надеждинъ, А. 66, 135.
 „Наканунъ“, Тургенева. 10, 169.
 „На Родинѣ“. 178, 212.
 „Начало Поэмы“. 178.
 „На улицѣ“. 71.
 „Невскій Проспектъ“, Гоголя. 176.
 „Незабвенная“. 14.
 Некрасовъ, А. С. 1.
 Некрасовъ, С. Н. 1.
 „Необдуманнѣй Шагъ“, Станицкаго. 36, 39.
 „Непонятная Пѣснь“. 20.
 „Несжатая Полоса“. 66, 77, 78, 81, 137, 178.
 „Несчастные“. 10, 68, 88, 115, 121, 179, 215, 217.
 Неттельгорсть. 24, 27.
 Никитинъ. 61, 190.
 „Notre Dame de Paris“, Гюго. 33, 35.
 „Нравственный Человѣкъ“. 31, 178, 179, 213.
 „Обломовъ“, Гончарова. 136.
 „Обозрѣніе книгъ, вышедшихъ въ Россіи въ 1838, 1839 и 1840 годахъ“. 22.
 „Обородинской годовщинѣ“, Бѣлинскаго. 149.
 „Обыкновенная Исторія“, Гончарова. 142.
 Овербекъ. 161.
 Огаревъ. 60—62, 143, 203.
 „Огородникъ“. 60, 111, 112, 144, 178, 184, 213.
 „Одесскій Вѣстникъ“. 198.
 „Одиссея“, Гомера. 151.
 Озеровъ. 28, 207.
 Омега (псевд. Н. Θ. Щербины). 157.
 „О погодѣ“. 122, 178, 215, 216.
 „Орина, мать солдатская“. 233.
 Островскій. 125, 130, 136, 139, 140, 145, 153, 154, 157—159, 164, 168, 170, 178, 208.
 „Отелло на пескахъ“. 179.
 „Отечественныя Записки“. 5—7, 13, 17, 23, 27, 31—34, 72—97, 131, 134, 136, 137, 139, 156, 172, 178, 179, 198—201.
 „Отрывокъ“. 186.
 Павлова, К. К. 61, 62.
 Павловъ. 162.
 „Памяти —ой“. 178.
 Панаевъ. 6, 124, 142, 144, 175, 177, 183.
 „Пасѣка“, Станицкаго. 36, 40.
 „1 Апрѣля“. 6.
 Перепельскій (псевд. Некрасова). 5.
 Персій. 99.
 „Петербургскіе Углы“. 27, 29.
 „Петербургскіе Шарманщики“. 29.
 „Петербургскій Сборникъ“. 6, 30, 31, 76, 143, 144.
 „Петербургъ и Москва“. 29.
 Петръ Великій. 162, 163, 207.
 Печерскій. 95.
 Писемскій. 139.
 „Плачъ Дѣтей“. 68, 178.
 Плетневъ. 6, 19.
 Плещеевъ. 8.
 Подолинскій. 14.
 „Покойница“. 15.
 Полевой. 5, 24, 28, 164.
 Полонскій. 113, 201, 203.
 „Полтава“, Пушкина. 151.

- „Помѣщикъ“, Тургенева. 143.
 „Послѣдній Визитъ“. 142, 144.
 „Послѣднія Пѣсни“. 1, 7.
 „Послѣднія Элегіи“. 178.
 „Похороны“. 178.
 „Поэзія“. 14, 15.
 „Поэтъ и Гражданинъ“. 68, 178.
 „Праздникъ жизни — молодости годы“. 68, 70, 97, 189.
 „Праздничный сонъ до обѣда“, Островскаго. 130.
 „Прекрасная Партія“. 179.
 „Приходскіе Списки“, Крабба. 93.
 „Псовая Охота“. 173, 174, 178.
 Пушкинъ. 8, 22, 23, 28, 61, 64, 69, 71, 74, 75, 78, 83, 112, 126, 133—135, 140, 146, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 162, 163, 169, 171, 176, 192, 201—203, 205, 208, 210, 211.
 „Пьяница“. 213.
 „Пѣсня Еремушки“. 68, 81, 89, 91, 92, 96, 178, 188.
 „Пѣсня Замѣ“. 15.
 „Пѣсня убогаго странника“. 117—119.
 Пятковский, А. 67, 68.
 „Размышленія у параднаго подъѣзда“. 215, 219, 221, 224.
 „Разсвѣтъ“. 198.
 Раичъ. 17.
 Растопчина. 61.
 „Реальный Поэтъ“. 191—198.
 Ренанъ, Э. 148.
 Розенгеймъ. 119.
 Рубанъ. 26.
 „Рудинъ“, Тургенева. 10, 78, 138.
 „Рукоять“. 15.
 „Русалка“, Мея. 113.
 „Русская литература въ 1847 году“. 31.
 „Русская Рѣчь“. 124.
 „Русскій Вѣстникъ“. 127, 154.
 „Русскій Инвалидъ“. 5, 21, 68.
 „Русскія Женщины“. 11.
 „Русское Слово“. 97—105, 128, 230.
 „Рыцарь на часъ“. 1, 12, 229, 233.
 „Саша“. 10, 68, 78, 79, 138, 173, 174, 178, 196.
 „Свадьба“. 93, 145, 178, 188.
 „Свѣточъ“. 198.
 Скоттъ, В. 123.
 „Смерть“. 14, 15.
 „Снѣга“, Фета. 113.
 „Современникъ“. 6, 7, 19, 23, 66, 76, 119, 124, 144.
 „С.-Петербургскія Вѣдомости“. 180—190.
 Станицкій (псевд. Головачевой-Панаевой). 6, 32, 34—36, 47, 60.
 «Станція Едрово». 177.
 «Старый Домъ». 37.
 «Старыя Хоромы». 124.
 «Статейки въ стихахъ безъ картинокъ». 6, 23—27.
 «Сто Русскихъ Литераторовъ». 31.
 Стромиловъ. 17.
 Струйскій. 17.
 Суворовъ. 23.
 Сушковъ. 17.
 «Сфинксовая Загадка», Майкова. 113.
 «Счастье лучше богатства», Полевого и Булгарина. 28.
 «Сынъ Отечества». 13, 23, 198.
 «Сѣверная Пчела». 19—21, 26, 27, 66, 77, 191—198.
 Сю, Евг. 47.
 Тассъ. 152, 158.
 Теккерей. 154.
 «Темное Царство», Добролюбова. 175.
 Тиммъ. 24, 27.
 Тимофеевъ. 17.
 «Тишина». 178.

- «Тля», Панаева. 177.
 Толстой, Л. 85, 125, 126, 156.
 Траумъ. 17.
 Тредіаковскій, В. К. 18.
 «Три Портрета», Тургенева. 143.
 «Три страны свѣта», Некрасова и Станицкаго. 6, 32—35, 37, 38, 40, 52.
 „Тройка“. 32, 76, 111, 112, 178, 184, 213.
 Тургеневъ. 6, 7, 10, 77—79, 95, 127, 139, 140, 142, 143, 154, 159, 163, 169.
 „Ты всегда хороша несравненно“. 185.
 Тютчевъ. 151.
 „Тяжелый крестъ достался ей на долю“. 178.
 „Убогая и Нарядная“. 68, 178, 215.
 „Умру я скоро“. 7.
 „Униженные и Оскорбленные“, Достоевскаго. 176.
 Феваль, П. 34, 47.
 Фетъ. 61, 113, 126, 139, 151, 201, 203.
 „Физиологія Петербурга“. 6, 27—30.
 „Филантропъ“. 179, 215.
 „Жандра“, Пушкина. 71.
 Хозяинъ“, Мея. 113.
 Хомяковъ. 61, 62, 170.
 Чаадаевъ. 155.
 Чайльдъ-Гарольдъ“, Байрона. 130, 131.
 „Человѣкъ“. 20.
 Чернышевскій. 7.
 „Чернь и Поэтъ“, Пушкина. 69.
 Чибисовъ. 198.
 „Чиновникъ“. 28, 29.
 Чистяковъ, М. 66, 67.
 Шатобріанъ. 132.
 Шахова, Е. 13, 14.
 Шевыревъ. 77.
 Шекспиръ. 123, 150, 154, 158.
 Шиллеръ. 135, 150, 154.
 „Школьникъ“. 66, 178.
 Шаповъ. 162.
 Щедринъ. 95.
 Щербина. 61, 153.
 „Вду ли ночью по улицѣ темной“. 32, 60, 63, 68, 122, 146, 179, 196.
 Эдельсонъ, Е. 202—220.
 „Энциклопедическій словарь“, Ф. Брокгауза и И. Ефрона. 1.
 „Эпоха“. 230—234.
 Языковъ. 62.
 Якубовичъ. 17.
 „Я посѣтилъ твое кладбище“. 196.
 „Ясная Поляна“, Толстого. 156.

СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ

○

Н. А. НЕКРАСОВЪ.

~~~~~  
Часть вторая.  
~~~~~

1864—1873.

—> * <—
СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.

—> * <—
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ. * <—
—> * <—

М О С К В А.

Т-во типо-литографіи И. М. Машистова, Б. Садовая, близъ Тверской, соб. д.

1902.

Въ составъ настоящей второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“ вошло свыше 30-ти отдѣльныхъ полныхъ критико-библіографическихъ отзыва, разбросанныхъ по разнымъ изданіямъ въ періодъ времени съ 1864-го по 1873 годъ включительно; кромѣ того, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ книги указано на 34 статьи за тотъ же періодъ времени, не вошедшія въ предлагаемую книгу.

Второе изданіе второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“ дополнено нѣсколькими критическими статьями, не входившими въ первое изданіе этой книги.

В. Зелинскій.

ОГЛАВЛЕНІЕ

второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“

	Стр.
Предисловіе	III.
Критика шестидесятихъ годовъ.	
1864 годъ.	
Статья В. Зайцева о „Стихотвореніяхъ Н. А. Некрасова	1.
Библиографическій отзывъ изъ „Книжнаго Вѣстника“	13.
1865 годъ.	
Статья изъ „Журнала для дѣтей“, о поэмѣ „Морозъ—красный носъ“.	15.
1866 годъ.	
Отзывъ о поэзій Некрасова изъ „Иллюстрированной Газеты“	20.
Разборъ поэтической дѣятельности Некрасова, изъ „Воскреснаго Досуга“.	21.
1867 годъ.	
Отзывъ о Некрасовѣ Д. И. Писарева	25.
1868 годъ.	
Замѣтка М. А. Загуляева о стихотвореніяхъ Некрасова	27.
Статья Н. Соловьева, изъ „Всемірнаго Труда“	—
Статья Н. Л.—ъ, изъ „С-Петербургскихъ Вѣдомостей“, о „Генералѣ Топтыгинѣ“.	32.
1869 годъ.	
Статья о Некрасовѣ М. Велинскаго, изъ „Кіевскаго Телеграфа“	36.
Статья о Некрасовѣ Н. Страхова, изъ „Зари“	41.
Критика семидесятихъ годовъ.	
1870 годъ.	
Статья М. М. изъ „Иллюстрированной Газеты“.	45.
Замѣтка Л. Л. изъ „Новаго Времени“ о поэмѣ: „Кому на Руси жить хорошо“	48.
Статья о Некрасовѣ Н. Страхова	—
Замѣтка И. С. Тургенева о поэзій Некрасова	56.
Отзывъ В. Буренина о стихотвореніи „Дѣдушка“.	57.
Критическій очеркъ о литературной дѣятельности Некрасова, изъ „Новаго Времени, подписанный псевдонимомъ Ива (И. В. Андреева?)	58.
1872 годъ.	
Разборъ некрасовской поэзій В. Г. Авѣенко, изъ „Русскаго Мира“	86.
Критическій очеркъ Постнаго (П. Н. Ткачова), по поводу романа: „Три страны свѣта“	91.
Разборъ В. П. Буренина предыдущей статьи П. Ткачова	127.
1873 годъ.	
Критическая статья В. Буренина о музѣ Некрасова.	132.
Статья А. С., изъ „Новаго Времени“, о поэмѣ „Русскія Женщины“	141.
Статья изъ „Новостей“, Новаго Критика, подъ названіемъ: „Княгиня Волконская“	145.
Статья В. Авѣенко о поэмѣ „Русскія Женщины“	148.
Его-же о поэмѣ: „Кому на Руси жить хорошо“	151.
Отзывъ А. С., изъ „Новаго Времени“, о второй части поэмы: „Кому на Руси жить хорошо“	154.
Статья В. Буренина о „Послѣдышѣ“	157.
Статья изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ о талантѣ Некрасова	160.
Критическій очеркъ о Некрасовѣ В. Авѣенко, подъ заглавіемъ: „Поэзія журнальныхъ мотивовъ“	162.
Статья о Некрасовѣ С. Т. Герцо-Виноградскаго, изъ „Одесскаго Вѣстника“, по поводу предыдущей статьи	197.
Отзывъ изъ „Сіянія“ о стихотвореніяхъ Некрасова	201.
Алфавитный указатель именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ.	204.

Критика шестидесятихъ годовъ.

1864 г.

*) На этотъ разъ я намѣренъ говорить съ читателями о стихотвореніяхъ г. Некрасова. То, что я скажу о нихъ, будетъ лишь отголоскомъ того, что думаетъ о нихъ вся образованная Россія, но зато совершенно несогласно съ отзывами литературы. Въ то время, какъ вся русская молодежь читала, читаетъ и знаетъ наизусть стихи г. Некрасова, литературная критика послѣднихъ лѣтъ большинствомъ голосовъ отказывала ему не только въ тѣхъ достоинствахъ, какія признавались за нимъ публикою, но и въ десятой долѣ тѣхъ, которыя та же критика находила въ изобиліи у гг. Фета, Тютчева и Майкова. Нечего и говорить, что главною причиною такой критической оцѣнки было то, что г. Некрасовъ не только поэтъ, но и издатель „Современника“. Конечно, подобные мотивы не дѣлаютъ чести безпристрастію эстетической и всякой другой критики. Но о безпристрастіи въ этомъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи; достаточно, напри- мѣръ, вспомнить, что г. Некрасова упрекали въ томъ, что одна изъ героинь его потчуетъ своего возлюбленнаго водкой. Впрочемъ, пристрастіе и придирки можно бы было до известной степени оправдать, потому что не мытьемъ, такъ кананьемъ, говоритъ пословица: чѣмъ бы ни доѣхать врага, лишь бы доѣхать. Но дѣло въ томъ, что ужъ если доѣзжать, то надо такъ, чтобы изъ этого вышелъ дѣйствительно ущербъ врагу, а не посрамленіе самой критикѣ. Въ отношеніи же г. Некрасова критика поступила такъ, что всякому человѣку, не принадлежащему къ врагамъ „Современника“, пріятно

*) „Русское Слово“ 1864 г., № 10. Статья В. Зайцева. „Стихотворенія Н. А. Некрасова“.

вспомнить ея продѣлки, покрывшія ее стыдомъ и срамомъ. Пріятно указать всѣмъ этимъ Дудышкинымъ и проч. на ихъ бывше подвиги, и въ то же время напомнить имъ, какъ безсильны остались ихъ натянутыя нападки передъ мнѣніемъ всей нашей читающей публики, передъ общимъ голосомъ всей молодежи. Своимъ отношеніемъ къ г. Некрасову критика наша приготовила себѣ въ будущемъ такую же незавидную славу, какъ Ѳаддей Булгаринъ своимъ эстетико-критическимъ взглядомъ на Гоголя. „Отечественнымъ Запискамъ“ посчастливилось первымъ отличиться въ подобномъ дѣлѣ. Я не знаю, понялъ-ли когда-нибудь этотъ журналъ все безобразіе своего разбора стихотвореній Некрасова и все безсиліе своей злобы, накинувшейся на поэтическую дѣятельность издателя „Современника“. Я бы желалъ знать, думаютъ ли „Отечественныя Записки“, что критика ихъ могла убѣдить хотя единаго человѣка въ цѣлой Россіи, и можно ли имъ вспоминать, не краснѣя, о своемъ походѣ противъ литературной репутаціи г. Некрасова. Несомнѣнно только то, что въ настоящее время, когда возродились надежды на пассивное отношеніе публики къ литературнымъ продѣлкамъ и, слѣдовательно, на возможность выдать ей грязь за золото и наоборотъ, примѣръ „Отечественныхъ Записокъ“ напелъ подражателей. Въ № 43 „Дня“ за нынѣшній годъ какой-то г. Н. Б. беретъ за неблагодарный трудъ убѣдить публику въ томъ, что ей слѣдуетъ бросить и забыть стихи г. Некрасова и приняться за Константина Аксакова. Къ этой достопримѣчательной статьѣ я обращусь ниже; конечно, отъ нея не предстоитъ никакой серьезной опасности, и совершенно несбыточно, чтобы русская публика промѣняла когда-нибудь Некрасова на Хомякова, на всю семью Аксаковыхъ, на Языкова и на прочихъ славянофильскихъ бардовъ, пѣвшихъ о Прагѣ и о пѣнникѣ. Но я обращусь къ этой статьѣ, потому что въ ней, конечно, съ враждебными цѣлями, указаны многія важныя стороны произведеній г. Некрасова.

Но прежде чѣмъ обратиться къ разбору стихотвореній г. Некрасова (при чемъ я имѣю въ виду только 3-ю часть ихъ) мнѣ необходимо предупредить всякую возможность замѣчаній, крайне пошлыхъ и нелѣпыхъ, но возможныхъ со

стороны людей, повторяющихъ по сто разъ въ годъ и всякій разъ съ одинаковымъ удовольствіемъ, какъ нѣчто необычайно остроумное, что для нигилистовъ важнѣе всего брюхо. Такіе господа, прочитавъ мой отзывъ о г. Некрасовѣ, могутъ объявить мнѣ, что я сужу непослѣдовательно, что для человѣка, не симпатизирующаго чистой поэзіи, въ литературѣ можетъ быть важна только „опытная стряпуха“ или „наставленіе въ билліардной игрѣ“. Имъ можетъ показаться съ моей стороны несообразнымъ, если я выражу симпатію къ поэзіи г. Некрасова и не раздѣлю ихъ восторговъ къ Лермонтову. Эстетическіе критики, вѣроятно, не усумнятся отдать предпочтеніе Лермонтову передъ г. Некрасовымъ. И дѣйствительно, можно согласиться, что если о достоинствѣ поэтическаго произведенія должно судить лишь по степени красоты стиха, смѣлости и картинности метафоръ и возвышенности сюжетовъ, то они правы, тѣмъ болѣе, что Лермонтовъ „Современника“ не издавалъ. Поклонники чистой поэзіи, не требуя ничего болѣе этого отъ поэтическаго произведенія, приходятъ въ восторгъ отъ „ночного зефира“, гдѣ достоинства эти доведены до великой степени, но больше ничего нѣтъ, и они съ своей точки зрѣнія правы. Но они не могутъ обвинять въ непослѣдовательности человѣка, который, не ставя ни въ грошъ лучшія, чисто поэтическія произведенія, будетъ хвалить поэта, у котораго находить тѣ свойства, которыя онъ цѣнитъ въ писателѣ вообще. Нелѣпо восхищаться звучными рифмами и возвышенными сюжетами; но еще нелѣпѣе отрицать достоинства литературнаго произведенія за то только, что оно написано стихами, а не прозой, выражаетъ мысли въ формѣ воззваній и картинъ, а не строгихъ силлогизмовъ и вычисленій. Поэтому безтолково удивляться похвалѣ, возданной поэту-мыслителю человѣкомъ, отрицающимъ чистую поэзію.

Съ этой точки зрѣнія я и гляжу на произведенія г. Некрасова. Я приступаю къ его сочиненіямъ съ тѣми же требованіями, съ какими приступаю къ произведеніямъ критика, историка, публициста, беллетриста. Отъ всѣхъ ихъ равно каждый читатель требуетъ прежде всего честной, свѣжей мысли, вѣрнаго взгляда на предметъ, выбранный писате-

лемъ, и яснаго изложенія своего мнѣнія. Предметъ, о которомъ говоритъ авторъ, — вещь сама по себѣ второстепенная; для каждаго читателя въ отдѣльности онъ важенъ потому, что можетъ интересовать его или нѣтъ; но самъ по себѣ онъ только тогда лишаетъ сочиненіе всякаго достоинства и дѣлаетъ его никуда не годнымъ, если совершенно лишентъ всякаго интереса для кого бы то ни было. Таковы предметы большей части лирическихъ пѣснопѣній, какъ, напр., „Ночной зефиръ струитъ эфиръ“. Про такое произведеніе каждый можетъ сказать, что оно абсолютно плохо и негодно, тогда какъ про „Сорокалѣтніе опыты“ Авдѣевой этого нельзя сказать, какъ бы мало кто ни интересовался свѣдѣніями объ изготовленіи блинчатата пирога съ яйцомъ. Такую книгу только тогда можно признать негодною, если специалисты скажутъ, что всѣ пироги съ яйцомъ, изготовленные по методу г-жи Авдѣевой, вышли неудобосъѣдобными. Наконецъ, послѣднее въ произведеніи — форма, потому что человѣкъ, произносящій свое сужденіе о произведеніи только на основаніи формы его, уподобляется Петрушкѣ Чичикова или, по крайней мѣрѣ, представляетъ непосредственный переходъ отъ такого читателя къ болѣе развитымъ. Изъ этого ясно, что вполне прекраснымъ можно назвать такое произведеніе, въ которомъ глубокій, честный и умный взглядъ на предметъ, имѣющій важность для наиболѣе обширнаго числа людей, высказанъ въ удобной и красивой формѣ.

Г. Некрасовъ имѣетъ полное право на названіе мыслителя. Мало того — это мыслитель глубокій и честный. Въ основѣ его лежитъ высокая гуманность и любовь къ своей родинѣ, не подъ отвлеченнымъ представленіемъ отечества, породившимъ патріотическія стихотворенія Жуковского, Розенгейма и Майкова, а подъ живымъ, дѣйствительнымъ образомъ народа. Я бы назвалъ г. Некрасова народнымъ поэтомъ, если бъ прозваніе это не было замазано эстетиками, прилагавшими его ко всякой нечистотѣ. Разумѣется, я не хочу сказать, чтобы стихотворенія г. Некрасова сдѣлались народными пѣснями въ родѣ „Не бѣлы то снѣги“... и не буду приписывать никакой важности тому, что одно изъ са-

ныхъ плохихъ произведеній его распѣвается извозчиками и лакеями. Я не хочу также повторять эстетическихъ нелѣпостей, говоря, будто бы поэзія г. Некрасова вытекла изъ народа. Народнымъ поэтомъ я назвалъ бы г. Некрасова потому, что герой его пѣсней одинъ — русскій крестьянинъ. Но онъ говоритъ о немъ, конечно, какъ человѣкъ развитой, какъ говорилъ Добролюбовъ; онъ не „поетъ“ его, а думаетъ о немъ, о его бѣдахъ и горѣ, не ограничивается объективнымъ изображеніемъ страданія, но мыслить о немъ, и мысли свои, глубокія и свѣтлыя, передаетъ въ прекрасныхъ, свободныхъ стихахъ, въ которые безъ натяжекъ укладывается народная рѣчь, и которые чужды поэтическихъ метафоръ и аллегорій. Очень мало у г. Некрасова стихотвореній, гдѣ героемъ является не народъ; но въ такомъ случаѣ это навѣрно не Наполеонъ на скалѣ, не Прометей съ коршуномъ, не Фаустъ съ Мефистофелемъ, не Демонъ съ Тамарой; этими великолѣпными сюжетами, дающими такой просторъ поэтическимъ вольностямъ, смѣлымъ порывамъ поэтической нескладицы, широкимъ размахамъ художественной кисти, нашъ поэтъ пренебрегаетъ. Герои его, кромѣ народа, тѣ труженики и страдальцы, которые работали мыслію или дѣломъ и, хотя не непосредственно, но принесли свою лепту. По предмету своему, по своему герою стихотворенія г. Некрасова не имѣютъ равныхъ во всей русской литературѣ.

Теперь посмотримъ, что же думаетъ г. Некрасовъ о своемъ героѣ, какъ смотритъ онъ на него и какъ понимаетъ его. Если мы увидимъ, что онъ высказалъ мысли вѣрныя и глубокія, то, конечно, мы будемъ имѣть право высоко поставить этого писателя и, слѣдовательно, признать, что русская публика и особенно молодежь не ошиблась въ выборѣ любимца поэта.

Естественно, что критикъ „Дня“ разсматриваетъ г. Некрасова именно съ точки зрѣнія его отношенія къ народу. Точка зрѣнія, разумѣется, единственно возможная, когда рѣчь идетъ о стихахъ Некрасова. Но „День“, конечно, не допускаетъ мысли, чтобы издатель „Современника“, редакторъ, дѣятельность котораго сосредоточена въ Петербургѣ, могъ имѣть вѣрный взглядъ на народъ, потому что для

этого, какъ извѣстно, необходимо родиться, вырасти и состарѣться въ Москвѣ, начать литературное поприще въ „Москвитянинѣ“, продолжать въ „Днѣ“, и чуть ли даже не принадлежать къ семьѣ Аксаковыхъ, по крайней мѣрѣ, хоть такъ, чтобы дѣдушка автора съ бабушкой Аксакова — его отъ купели восприняли. Соображенія эти самыя честныя, какія могутъ быть приписаны г. Н. Б., потому что всякія другія будутъ для него крайне нелестны. Н. Б. порицаетъ г. Некрасова за то, что въ отношеніи его къ жизни народа виденъ только протестъ. Г. Н. Б. находитъ, что если самый характеръ того періода, когда началась дѣятельность г. Некрасова, не благопріятствовалъ другому отношенію, то во всякомъ случаѣ поэтъ долженъ былъ дать, взаимѣнъ отвергаемаго, свой идеалъ. И наконецъ, говоритъ критикъ, рабство навѣки отмѣнено. „Развѣ, однакожъ, говоритъ онъ, не продолжаютъ *нѣкоторые* изъ нихъ (нигилистовъ) еще и въ наши дни скорбныхъ сѣтованій на прежній ладъ? Больше того, давая теперь угадывать какъ бы скрытую досаду свою, что, сломивъ крѣпостное ярмо въ Россіи, отняли у нихъ самое право на ихъ вѣчное негодованіе, навсегда лишивъ ихъ источника самыхъ яростныхъ вдохновеній — не даютъ ли они еще ясно угадывать и того, что самое обращеніе къ „низшей братіи“, вѣчныя взыванія къ ея бѣдствіямъ и страданіямъ подчасъ могли исходить никакъ не отъ чистаго движенія любвеобильнаго сердца, а изъ болѣе мутныхъ источниковъ души человѣческой“.

Читатель изъ этого можетъ видѣть, что я только изъ любезности предположилъ бы въ критикѣ нѣкоторое тупоуміе.

На весь этотъ неблагоприятный вздоръ можно бы было отвѣтить, что протестъ вовсе еще не обуславливаетъ необходимость идеала, что притомъ всякое отрицаніе есть вмѣстѣ съ тѣмъ положительное желаніе, чтобы прекратилось то положеніе, противъ котораго я протестую. Все это повторялось миллионъ разъ, но только нейдетъ въ прокъ. Поэтому я очень радъ, что г. Некрасовъ представилъ въ своихъ стихотвореніяхъ рядомъ съ протестомъ такіе вѣрные идеалы, что мнѣ нѣтъ необходимости прибѣгать къ повторенію этихъ истинъ, отскакивающихъ отъ лбовъ писателей

извѣстнаго сорта, какъ горохъ отъ стѣны. Правда, идеаль г. Некрасова не имѣетъ ничего общаго съ идеалами другихъ поэтовъ; онъ не фантастическій какой-нибудь, а возможный, необходимый, несомнѣнный. Идеаль этотъ построенъ на идеяхъ любви и благосостоянія и выраженъ въ самой осуществимой формѣ. На эту-то положительную сторону произведеній г. Некрасова я и намѣренъ особенно обратить вниманіе, и даже очень благодаренъ г. Н. Б., убѣдившему меня своей статьей, что могутъ быть люди, не понявшіе и не замѣтившіе этой стороны, такъ что указать на нее будетъ не лишнее.

Читатели, безъ сомнѣнія, помнятъ ту страшную картину въ poemѣ „Морозъ-красный носъ“, гдѣ несчастная вдова крестьянина медленно замерзаетъ, безчувственная къ холоду, погружившись въ свои тяжкія думы. Печальныя ея мысли, и вспоминаются ей грустныя сцены. Только когда смерть уже охватила ее, когда воевода - морозъ уже коснулся ея, когда уже

... Дарьюшка очи закрыла,
Топоръ уронила къ ногамъ,

ей видится чудная, розовая картина свѣтлаго, истиннаго счастья (что необыкновенно вѣрно въ отношеніи описанія смерти отъ замерзанія):

И снится ей жаркое лѣто —
Не вся еще рожь свезена,
Но сжата—полегче имъ стало! и проч.

(Выписка оканчивается словами: „И ей изъ сноповъ улыбались румяныя лица дѣтей“...).

Эта картина есть самый полный идеаль счастья, какой только могла создать фантазія крестьянки; но, конечно, немного прибавить къ нему самый развитой человѣкъ, самый великій геній въ мечтахъ о совершенномъ благополучіи людей. Основные элементы этого благополучія здѣсь все: любовь, довольство и привлекательный трудъ среди чистой, прекрасной природы. Это та вершина благополучія, на которой человѣку остается еще только искать наслажденія въ наукѣ и въ искусствѣ; это то счастливое состояніе, гдѣ можно съ полнымъ правомъ проповѣдывать науку для науки и

искусство для искусства. Наконецъ, это тотъ результатъ, къ которому стремится весь прогрессъ и въ которомъ наслажденіе свободною любовью, свободнымъ трудомъ и здоровою бѣдностью изгладило даже мучительное воспоминаніе о прошломъ рабствѣ и нищетѣ. Кто не пойметъ этого, кто пройдетъ мимо этой картины равнодушно или съ банальными похвалами, тотъ пошлый филистеръ, не видящій ничего дальше своего носа и носовъ своего кружка. Отъ такого господина можно даже ожидать, что онъ останется недоволенъ тѣмъ, что эта картина представлена бредомъ умирающей, а не дѣйствительностью. Но поймите же вы, наконецъ, безнадёжные филистеры, что въ дѣйствительности ничего подобнаго нѣтъ, что если бы въ минуту смерти крестьянкѣ грезилось ея дѣйствительное прошлое, то она бы увидѣла побои мужа, не радостный трудъ, не чистую бѣдность, а смрадную нищету. Только въ розовомъ чадѣ опиума или смерти отъ замерзанія могли предстать передъ нею эти чудныя, но никогда не бывалыя картины. Вамъ дѣлается жутко отъ этой сцены смерти. Дѣйствительно, есть отъ чего притти въ ужасъ, и если потрясающее изображеніе бѣдствія есть само по себѣ протестъ, то, конечно, протестъ этотъ такъ же силенъ, какъ велико горе, представленное поэтомъ. Но кто не причастенъ филистерству и пошлости кружковъ, тотъ, прочитавъ предсмертный бредъ Дарьи, пойметъ, что насколько силенъ протестъ, настолько же высокъ и идеаль, помѣщенный рядомъ съ протестомъ, или лучше, въ немъ же самомъ.

Г. Некрасовъ часто останавливается на судьбѣ русской женщины вообще, особенно же на долѣ крестьянки и, правда, нигдѣ не показалъ онъ намъ въ розовомъ свѣтѣ ея настоящее. Возьмемъ хотя бы 3-ю часть его стихотвореній, гдѣ въ „Дешевой покупкѣ“ онъ представилъ женщину изъ крѣпостного быта:

... Созданіе бездомное,
Порабощенное грубымъ невѣждою!

въ „Рыцарѣ на часъ“ женщину—жену и мать, о которой онъ говоритъ:

Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для другихъ,

Съ головой, бурямъ жизни открытою,
Весь свой вѣкъ подъ грозою сердитою
Простояла ты,—грудью своей
Защищая любимыхъ дѣтей.
И гроза надъ тобою разразилася!

Еще печальнѣе доля крестьянки:

Доля ты!—русская долюшка женская!
Врядъ-ли труднѣе сыскать.
Немудрено, что ты вьнешь до времени
Всевыносящаго русскаго племени
Многострадальная мать!

И поэтъ показываетъ намъ и жену („Жница“) и мать („Орина, мать солдатская“), показываетъ во всей безысходности ея горя, во всемъ ужасѣ ея судьбы. Я бы спросилъ читателя, возможно ли это представленіе, клевета ли на русскую жизнь эти слова, правда ли, что доля женщины была такъ печальна, какъ изображаетъ ее г. Некрасовъ? Но спрашивать было бы излишне, потому что лучшимъ отвѣтомъ на такіе вопросы служить то, что все, что есть лучшаго въ Россіи, читаетъ Некрасова и вѣрить ему.

Однако, г. Н. Б. полагаетъ, что сочувственное изображеніе страданій и горя народа происходитъ у нѣкоторыхъ „изъ мутныхъ источниковъ души, а не изъ чистаго движенія любвеобильнаго сердца“, и затѣмъ невинно оговаривается, что подъ *нѣкоторыми* онъ не подразумѣваетъ г. Некрасова. Какъ бы то ни было, но г. Н. Б. не признаетъ вѣрности въ изображеніи г. Некрасовымъ крестьянской доли, по крайней мѣрѣ, теперь. Напримѣръ, ему очень не нравится, что г. Некрасовъ не изобразилъ въ „Жницѣ“ какого-нибудь „веселаго пейзажика“, въ родѣ сбора винограда, что крестьяка, въ стихотвореніи г. Некрасова, роняетъ слезы, трудясь черезъ силу въ полѣ, гдѣ спитъ ея ребенокъ, вмѣсто того, чтобы отличаться „видомъ“ „бодрой живости и довольства“. Г. Н. Б. не нравится также, что въ poemѣ „Морозъ-красный носъ“ крестьянина постигаетъ горе, что въ ней—смерть, сиротство, бѣда, а не счастье, веселіе и радость. Оставшись недовольнымъ печальною развязкою поэмы, критикъ заключаетъ, что г. Некрасовъ—отчаянный и положительнѣйшій отрицатель,

нигилистъ; заключаетъ, что „горе его и сокрушеніе по русской родной землѣ“ есть „конечный плодъ нашего мнимаго, оторваннаго отъ народной почвы образованія, съ его вѣчнымъ стремленіемъ къ какому-то отвлеченно-гуманитарному и космополитическому прогрессу“. Съ апломбомъ, свойственнымъ людямъ, отмежевавшимъ себя въ вѣдѣніе всю суть русской жизни, г. Н. Б. рѣшаетъ, что „толпа не приметъ обѣтованій г. Некрасова“.

Всякій, конечно, оцѣнить по справедливости сужденія г. Н. Б. о стихотвореніяхъ г. Некрасова. Не трудно сообразить, что уничтоженіе крѣпостного права не могло мгновенно искоренить все горе, лежавшее на крестьянинѣ, и что поэтъ, изображающій „крестьянскую долю“, вѣроятно, еще не вдругъ достигнетъ того, чтобы картины его выходили розовыми и привлекательными, въ то же время оставаясь вѣрными. Довольно также легко оцѣнить по достоинству тотъ мнимый патріотизмъ г. Н. Б., который не выноситъ неподкрашеннаго изображенія народной доли, и требуетъ во что бы то ни стало „веселыхъ пейзажей“. Этотъ балаганный конекъ былъ такъ избѣженъ московскими публицистами, что всякій разсудительный человѣкъ очень хорошо знаетъ, что они могутъ сказать по поводу стихотвореній г. Некрасова. Поэтому я давно бы пересталъ говорить о критикѣ „Дня“, если бы не видѣлъ въ немъ замѣчательно полного типа понятій и сужденій того кружка, къ которому онъ принадлежитъ. При томъ субъектъ этотъ доводитъ мнѣнія своего кружка до такихъ размѣровъ, что на немъ удобнѣе показать ихъ безобразіе.

Кто бы могъ, напримѣръ, подумать, что, прочитавъ „Рыцаря на часъ“ г. Некрасова, критикъ вывелъ изъ этого отрывка такое заключеніе, что поэтъ „стыдится своихъ лучшихъ порывовъ и спѣшитъ заглушить ихъ безпощаднѣйшей прозой“. Всякій, кто читалъ этотъ отрывокъ, знаетъ, что, во-первыхъ, герой поэмы не самъ авторъ, а какой-то Валежниковъ. Слѣдовательно, по какому праву критикъ приписываетъ порывы автору? Во-вторыхъ, вполнѣ также ясно, хотя мы имѣемъ только небольшой отрывокъ поэмы, что авторъ имѣлъ въ виду изобразить въ Валежниковѣ человѣка съ благород-

нѣйшею и возвышенною душою, жаждущаго полезной и честной дѣятельности, одареннаго полнымъ пониманіемъ хорошаго и истиннаго, но не имѣющаго достаточно силъ, чтобы бороться побѣдоносно съ мерзостью, его окружающею, и ея вліяніемъ на него самого. Нельзя не замѣтить, что при исполненіи этой задачи автору пришлось побѣдить много затрудненій, потому что тема эта истерта до нельзя разными пѣнтами, изображавшими задумчивыхъ героевъ, исполненныхъ благородства, но изнывающихъ въ борьбѣ съ средою. Такіе герои опошлены до крайности, какъ отъ слишкомъ частаго появленія на сценѣ, такъ и отъ неудачнаго изображенія. Притомъ тема эта весьма неблагоприятна, потому что талантливыя натуры, заѣденныя средою, поняты, и ни въ комъ уже не возбуждаютъ симпатіи. Вотъ почему, быть можетъ, мы до сихъ поръ имѣемъ только небольшой отрывокъ этой поэмы. Но въ отрывкѣ этомъ г. Некрасовъ такъ искусно побѣдилъ всѣ трудности, встрѣченныя имъ на пути, что заставляетъ желать продолженія поэмы. Страданія его героя, столь несимпатичныя сами по себѣ, облечены такимъ чистымъ и свѣтлымъ чувствомъ любви къ матери, что невольно возбуждаютъ симпатію. Выраженіе этого чувства есть великолѣпнѣйшій гимнъ, въ которомъ воскресаетъ падшій человѣкъ, и снова готовъ на великое дѣло.

Отъ ллюющихъ, праздно болтающихъ,
Обагряющихъ руки въ крови:
Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви!

Нѣтъ, этотъ гимнъ сложенъ не для прославленія страдающей благороднаго, но безсильнаго человѣка; это скорѣе апофеоза русской женщины, печальная доля которой служить главнымъ предметомъ поэзіи г. Некрасова. Страдальческій образъ матери стоитъ здѣсь на первомъ планѣ, и теплое чувство къ ней можетъ заставить читателя полюбить ея слабаго сына, когда онъ говоритъ:

О прости! то не пѣснь утѣшенія,
Я заставляю страдать тебя вновь,
Но я гибну—и ради спасенія
Я твою призываю любовь!
Я пою тебѣ пѣснь покаянія,

Чтобы кроткія очи твои
Смыли жаркой слезою страданія
Всѣ позорныя пятна мои!
Чтобъ ту силу свободную, гордую,
Что въ мою заложила ты грудь,
Укрѣпила ты волею твердою
И на правый наставила путь...

Исторія Валежникова и причины его страданія намъ неизвѣстны; но во всякомъ случаѣ это страданіе выражено съ такою силою, въ выраженіяхъ его столько чувства, ума и благородства, что мы не рѣшимся презирать его или смѣяться надъ нимъ, какъ презираемъ талантливыя натуры, которыя загубила среда, и какъ смѣемся надъ разочарованными идиотами, въ родѣ Печорина; мы не рѣшимся презирать и осмѣивать его тогда, когда, проснувшись утромъ, онъ ясно сознаетъ свое безсиліе и неспособность на то, о чемъ думалъ ночью. Надобно замѣтить, что г. Некрасовъ понялъ это очень вѣрно. Дѣйствительно, люди нервнаго темперамента чувствуютъ себя гораздо свѣжѣе и бодрѣ вечеромъ, тогда какъ сангвиники, наоборотъ, утромъ. Валежниковъ, очевидно, человѣкъ нервный, потому что самъ говорить:

И пугать меня будетъ могила,
Гдѣ лежитъ моя бѣдная мать...

Такимъ образомъ, при пробужденіи его самымъ понятнымъ и естественнымъ образомъ охватываетъ тяжелое сознаніе своего безсилія, и не только другимъ, но и самому ему ясно, что онъ лишній, бесполезный человѣкъ. Но кто подслушалъ его ночную исповѣдь, у того едва ли хватить духу бросить въ него укоризною или насмѣшкою. Откуда же усмотрѣлъ г. Н. Б., что онъ устыдился своихъ благородныхъ порывовъ и спѣшитъ заглушить ихъ прозою? Что Валежниковъ страдаетъ, видя свою неспособность осуществить эти порывы,—это ясно; но почему заключилъ г. Н. Б., что онъ стыдится ихъ и намѣренно заглушаетъ,—это вопросъ, разрѣшеніе котораго находится, вѣроятно, въ связи съ мутными источниками, упоминаемыми имъ.

Въ заключеніе московская критика объявляетъ, что никто не заподозритъ въ г. Некрасовѣ москвича; понятно,

что это самый тяжелый приговоръ, который онъ могъ произнести, и понятно также, что послѣ этого кружокъ „Дня“ не можетъ находить въ произведеніяхъ г. Некрасова что бы то ни было хорошее. Однако онъ нашелъ. Понравились ему очень одни забытые стишки г. Некрасова, которымъ мѣсто развѣ въ 3-ей части его стихотвореній, въ отдѣлѣ юмористическихъ. Стишки эти въ родѣ того, что

Краше твой вѣнецъ лавровый *)
Побѣдоноснаго вѣнца,

и, слѣдовательно, весьма напоминаютъ стихи Добролюбова:

Пусть лавръ побѣдный украшаетъ
Героевъ славное чело... и т. д.

Ни такія похвалы ни такія порицанія не коснутся произведеній г. Некрасова. Стихи его у всѣхъ въ рукахъ, и будятъ умъ и увлекаютъ какъ своими протестами, такъ и идеалами. За него не страшно и въ томъ отношеніи, что сила его таланта упадетъ, и что будущія произведенія его останутся ниже прежнихъ, что часто бываетъ съ поэтами, поющими Наполеоновъ и Александровъ Македонскихъ... У кого стихи текутъ изъ мысли, а мысль сильна и свѣжа, тому не грозитъ эта участь.

В. Зайцевъ.

* * *

Стихотворенія Некрасова. Изданіе 4-е. Три части. СПБ. 1864 г. Изданіе книгопродавца С. В. Звонарева. Цѣна 2 р. 25 к.; отдѣльно 3 ч. 1 р. 25 к. **).

Двѣ первыя части представляютъ полную перепечатку изданія 1862 г., съ тою только разницею, что изъ нихъ исключены и отнесены въ 3-ю часть два стихотворенія („Я покинулъ кладбище унылое“ и „Размышленія у параднаго крыльца“), не бывшія въ изданіи 1861 г. Затѣмъ въ 3-ю часть вошло все написанное г. Некрасовымъ послѣ появленія 3-го изданія (1862), всего 18 стихотвореній и въ видѣ

*) Хотя въ сущности не краше, а *сѣтлѣе*, и не лавровый, а *терновый*, но я оставилъ по-московски: вѣрно, такъ патріотичнѣе.

**) „Книжный Вѣстникъ“ 1864 г., № 11.

приложенія добавлено 6 юмористическихъ стихотвореній 1842—1845 гг. Изъ этихъ стихотвореній одно: *Чиновникъ* было напечатано въ 1 части „Физиологіи Петербурга“ (1843), одно: *Отрывки изъ путевыхъ записокъ гр. Гаранскаго*—въ первомъ изданіи (1856), а остальные въ книжечкахъ: „Статейки въ стихахъ безъ картинокъ“ (1843). Напечатанныя въ первомъ изданіи стихотворенія: *Новый годъ* и *Колыбельная пѣсня*, пропущенныя во 2 и 3 изданіяхъ, не вошли и въ 4-е. Кромѣ того, не внесено напечатанное въ „Современникъ“ 1861 г. прекрасное стихотвореніе *Папаша*. Въ предисловіи къ „приложеніямъ“ г. Некрасовъ проситъ своихъ родныхъ и библиографовъ: не перепечатывать послѣ его смерти ничего другого изъ написаннаго имъ въ первый періодъ его поэтической дѣятельности, исключая того, что теперь перепечатано имъ въ 3-ей части и будетъ напечатано въ будущей 4-й. Просьба очень основательная, ибо съ 1838 по 1846 гг. Некрасовъ писалъ много, и большая часть изъ написаннаго въ это время не отличается никакими особенными достоинствами и громоздило только изданіе, въ ущербъ поэтическому достоинству прекрасныхъ стихотвореній, явившихся въ періодъ времени съ 1847 по 1859 годъ. Подробная библиографическая статья о всѣхъ сочиненіяхъ г. Некрасова была помѣщена въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1863 г. № 9. Руководствуясь ею, желающіе могутъ ознакомиться со *всеми* сочиненіями г. Некрасова и со *всеми* изданіями сборниковъ и альманаховъ, сдѣланными имъ въ разное время *).

Изъ „Книжнаго Вѣстника“ 1864 г.

*) Еще въ 1864 г. помѣщены статьи о Некрасовѣ: въ „Библіотекѣ для Чтенія“ № 11; въ отдѣльномъ изданіи: „О преподаваніи русской литературы“, В. Стоюнина, первое изданіе, въ статьѣ подъ заглавіемъ: Разборъ „Музы“ Некрасова сравнительно съ „Музой“ Пушкина (во второмъ изданіи книги Стоюнина (Спб. 1869 г.) этого разбора уже нѣтъ).

1865 г.

*) Бываютъ зимой ужасающія явленія. Одно изъ нихъ описалъ Некрасовъ съ поразительною естественностью и силою. Вотъ оно: Умеръ крестьянинъ; его схоронили; жена его на это время отвела дѣтей своихъ къ знакомымъ, чтобы кто-нибудь присмотрѣлъ за ними. Вернувшись домой съ кладбища, она хотѣла взглянуть на нихъ, приласкать ихъ; но ни смотрѣть ни ласкать некогда: изба не топлена, и дома дровъ—ни полѣна. Она отправляется въ лѣсъ рубить ихъ.

Морозно. Равнины бѣлѣютъ подъ снѣгомъ;
Чернѣется лѣсъ впереди.
Савраска плетется ни шагомъ ни бѣгомъ.
Не встрѣтишь души на пути.
Какъ тихо! Въ деревнѣ раздавшійся голосъ
Какъ будто у самого уха гудеть;
О корень древесный запнувшійся полозъ
Стучить и визжить, и за сердце скребеть.
Кругомъ поглядѣть нѣту мочи:
Равнина въ алмазахъ блеститъ.
У Дарьи слезами наполнились очи;
Должно быть, ихъ солнце слѣпить.
Въ поляхъ было тихо; но тише
Въ лѣсу и какъ будто свѣтлѣй.
Чѣмъ далѣ—деревья все выше,
А тѣни длиннѣй и длиннѣй.
Деревья, и солнце, и тѣни,
И мертвый могильный покой...
Но чу! заунывные пѣсни,
Глухой, сокрушительный вой!
Осылило Дарьюшку горе,
И лѣсъ безучастно внималъ,
Какъ стоны лились на просторѣ,
И голосъ рвался и дрожалъ.
И солнце, кругло и бездушно,
Какъ желтое око совы,
Глядѣло съ небесъ равнодушно
На тяжкія муки вдовы.

*) „Журналъ для дѣтей“, 1865 г., № 12.

И много ли струнъ оборвалось
У бѣдной крестьянской души,
Навѣки сокрыто осталось
Въ лѣсной нелюдимой глуши.
Великое горе вдовицы
И матери малыхъ сиротъ
Подслушали вольныя птицы,
Но выдать не смѣли въ народъ.

Не псарь по дубровушкѣ трубить,
Гогочеть сорви-голова;
Наплакавшись, колеть и рубить
Дрова молодая вдова.
Срубивши на дровни бросаетъ—
Наполнить бы ихъ поскорѣй,—
И врядъ ли сама замѣчаетъ,
Что слезы все льютъ изъ очей:
Иная съ рѣсницы сорвется
И на снѣгъ съ размаху падетъ,
До самой земли доберется,
Глубокую ямку прожжетъ;
Другую на дерево кинетъ,
На плашку,—и смотришь, она
Жемчужиной крупной застынетъ,
Бѣла, и кругла, и плотна.
А та на глазу поблистаетъ,
Стрѣлой по щекѣ побѣжитъ,
И солнышко въ ней поиграетъ...
Управиться Дарья спѣшитъ,
Знай, рубить, не чувствуетъ стужи,
Не слышитъ, что ноги знобятъ,
И, полная мыслью о мужѣ,
Зоветь его, съ нимъ говорить...

(Далѣе описывается въ высшей степени естественное причитанье несчастной женщины: тутъ въ безсвязномъ броженіи тоскливой мысли проходить вся трудовая жизнь крестьянки, припоминается прошедшее, сами собою навязываются опасенія обидъ, притѣсненій, которыя могутъ пасть на вдову. Между тѣмъ, тоскуя и плача, она все рубить да рубить дрова. Наконецъ, нарубила столько, что не увезть на возу).

Окончивъ привычное дѣло,
На дровни поклала дрова,
За возжи взялась и хотѣла
Пуститься въ дорогу вдова.

Да вновь призадумалась, стоя,
Топоръ машинально взяла
И, тихо, прерывисто воя,
Къ высокой соснѣ подошла.
Едва ее ноги держали;
Душа истомилась тоской;
Настало затишье печали—
Невольный и страшный покой!
Стоять подъ сосной чуть живая,
Безъ думы, безъ стона, безъ слезъ.
Въ лѣсу тишина гробовая;
День свѣтеть; крѣпчаетъ морозъ.

(Тутъ поэтъ олицетворяетъ морозъ въ видѣ лѣсного волшебника, отъ дыханья котораго Дарьюшка засыпаетъ и во снѣ видитъ очаровательныя картины счастья — мужа, свѣжаго, здороваго и веселаго, дѣтей, ихъ довольство и наслажденіе, лѣтнія работы, слышать пѣсни деревенскія, и улыбается; а между тѣмъ, она замерзаетъ).

Чу, пѣсня! знакомые звуки!
Хорошъ голосокъ у пѣвца...
Последніе признаки муки
У Дарьи исцезали съ лица:
Душой улетаю за пѣсней,
Она отдалась ей вполне...
Нѣтъ въ мірѣ пѣсни прелестнѣй,
Которую слышимъ во снѣ.
О чемъ она—Богъ ее знаетъ:
Я словъ уловить не умѣлъ;
Но сердце она утешаетъ:
Въ ней дальняго счастья предѣлъ;
Въ ней кроткая ласка участія,
Объты любви безъ конца...
Улыбка довольства и счастья
У Дарьи не сходитъ съ лица.

Какой бы цѣной ни досталось
Забвенье крестьянкѣ моей,
Что нужды? Она улыбалась.
Жалѣть мы не будемъ о ней.
Нѣтъ глубже, нѣтъ слаще покоя,
Какой посылаетъ намъ лѣсъ,
Недвижно, безтрепетно стоя
Подъ холодомъ зимнихъ небесъ.

Нигдѣ такъ глубоко и вольно
Не дышитъ усталая грудь,
И ежели жить намъ довольно,
Намъ слаще нигдѣ не уснуть!

—
Ни звука! Душа умираетъ
Для скорби, для страсти. Стоишь
И чувствуешь, какъ покоряетъ
Ее эта мертвая тишь.
Ни звука! И видишь ты снѣгъ
Сводъ неба, да солнце, да лѣсъ,
Въ серебряно-матовый иней
Наряженный, полный чудесъ,
Влекущій невѣдомой тайной,
Глубоко-безстрастный... Но вотъ
Послышался шорохъ случайный:
Вершинами бѣлка идетъ;
Комъ снѣгу она уронила
На Дарью, прыгнувъ по соснѣ.
А Дарья стояла и стыла
Въ своемъ заколдованномъ снѣ...

Вотъ зимняя исторія! Пока ее читаешь, сердце такъ наболѣетъ, такъ много мыслей и чувствъ взворочится въ душѣ, что не знаешь, на чемъ остановиться. Прежде всего поражаетъ этотъ разладъ между ровнымъ, стройнымъ, торжественнымъ ходомъ природы и волненіями человѣческой жизни, неожиданными, непредвидѣнными превратностями нашей судьбы. Потомъ, никакъ не защитишься отъ чувства печали, когда представишь, что какое бы несчастье, какое бы горе ни случилось съ человѣкомъ, природа остается къ нему безучастною, безжалостно-холодною; отъ печали его не поникнетъ головкой ни одинъ цвѣтокъ, отъ рыдавій его не встрепенется сочувствіемъ ни одна клѣточка, ни одинъ сосудъ дерева; солнце весело и прелестно играетъ въ слезѣ страдающей матери и жены, морозъ сковываетъ ее въ прекрасную бѣлую жемчужину. — Да, и въ людяхъ-то, которымъ это понятно, которымъ дано чувство, чтобы понимать это, тоже — не много участія: пришли, простились съ покойникомъ, положили по свѣчкѣ, да и пошли домой; закопали въ землю своего брата, своего товарища, сосѣда, знакомаго, друга, потолковали, да и взялись за дѣло, или без-

дѣлье, и о немъ ужъ помину нѣтъ. Конечно, иначе это и быть не можетъ; а все-таки жаль человѣка, котораго покидаютъ и забываютъ. Но сильнѣе, рѣзче, раздражительнѣй всего дѣйствуетъ на душу воображеніе нужды, тяготящей до того, что мужику некогда отдаться самому глубокому, самому святому чувству; заботы, мелкія, ничтожныя, унижительныя ежеминутно поглощаютъ все существо его; и такъ идутъ день-за-день многіе десятки лѣтъ безцвѣтной, однообразной и сухой вереницей. И что бы у него ни случилось—свадьба, крестины, похороны, заѣхалъ гость, уѣзжаетъ на чужую сторону дочь или сынъ—все забота, какъ бы *справиться*, все думай о кускѣ хлѣба, о полннѣ дровъ, о лаптяхъ, объ онучахъ, о шапкѣ на голову, о соломѣ на крышу.

Картины природы описаны съ увлекательною прелестью; наслаждаться бы ими только, упиваться бы этой поэзіей игры свѣта, дробящагося въ серебрѣ инея, въ алмазахъ снѣга, этой задумчивостью и торжественностью лѣсного затишья: да мѣшаютъ слезы вдовы, прожигающія снѣгъ, ея плачь, ея рыданія, возмущающія тишину. Но горе ея выражается не одними слезами, не однимъ стономъ и плачевными пѣснями, а вмѣстѣ торопливой и печальной работой: бѣдной женщинѣ хотѣлось поскорѣй нарубить дровъ — она мечетъ на дровни бревно за бревномъ, плаху за плахой и, отдавшись чувству, не замѣчаетъ, что ужъ нарубила довольно, больше, чѣмъ надобно. Въ жалобахъ своихъ она выражаетъ печаль не столько о себѣ, о своей безпомощности, о своемъ одиночествѣ, сколько о преждевременной кончинѣ мужа и о дѣтяхъ. Въ предсмертномъ сновидѣніи ее утѣшаютъ мечты, въ которыхъ представляются ей картины былого, живого счастья. Слава Богу, что она хоть въ обманахъ сновидѣнья находитъ отраду, послѣднюю отраду въ жизни. Но каково будетъ осиротѣлымъ дѣтямъ и осиротѣлымъ старикамъ узнать, что она замерзла въ лѣсу! Что будетъ съ Савраской? Поплетется ли онъ въ деревню ни бѣгомъ ни шагомъ? Или также замерзнетъ? Или волки съѣдятъ его? Вѣдь, и его жаль! — Но, можетъ быть, бѣдная Дарья еще проснется; можетъ быть, сверкнетъ у нея мысль

о дѣтяхъ, возбудить въ ней силу жизни, она вырвется изъ этого заколдованнаго сна и вернется въ свою семью—горевать и работать для ея счастья. Безъ этого предположенія, намъ нѣтъ возможности наслаждаться описаніемъ впечатлѣній покоя зимняго лѣса; а оно художественно въ высшей степени: въ немъ передана вся сила волшебства дикой природы, которая можетъ быть понятна только жителю сѣвера:

„Ня звука! Душа умираетъ
Для скорби, для страсти. Стоишь
И чувствуешь, какъ покоряетъ
Ее эта мертвая тишь.
Ня звука! И видишь ты синій
Сводъ неба, да солнце, да лѣсъ,
Въ серебряно-матовый иней
Нараженный, полный чудесъ,
Влекущій невѣдомой тайной,
Глубоко-безстрастный....“

Тутъ нѣтъ живописи, блестящей подробностями; картина рисуется массами предметовъ и увлекаетъ далекою, безпредѣльной перспективой; тутъ нѣтъ разбора различныхъ ощущеній: они всѣ сливаются въ одно спокойное торжественное созерцаніе невѣдомой тайны. Одно сознаніе творческой безконечной силы поглощаетъ всю душу, наполняетъ и очаровываетъ ее невозмутимымъ спокойствіемъ*).

Изъ „Журнала для дѣтей“ 1865 г.

1866 г.

**) Николай Алексѣевичъ Некрасовъ... лучшій современный русскій поэтъ. Вѣтшней отдѣлкой стиха онъ не превосходить другихъ поэтовъ, не щеголяетъ особенною лег-

*) Еще за 1865 г. см. о Некрасовѣ: въ „Сѣверномъ Сіаніи“ № 2, стр. 31—36 (ст. Вл. Зотова о поэмѣ „Морозъ—красный носъ“); „Царкуляры Одесскаго учебнаго округа“, № 1 (ст. Денисовича о „Несжатой полосѣ“); также упоминается въ сочиненіяхъ А. В. Дружинина:—см. томъ VI (изд. 1865 г.), стр. 634, 684; т. VII, стр. 488, 494, также на страницахъ: 162, 245, 312 и 413.

**) „Иллюстрированная Газета“ 1866 г., № 2.

костью и звучностью стиха, богатством приемъ. Стихъ Некрасова часто тяжелъ; но не внѣшней стороною стихотвореній должны мы измѣрять степень дарованія поэта, а его значеніемъ въ жизни общества, его заслугами передъ согражданами. Если разсмотрѣть поэзію Некрасова съ этой точки зрѣнія, его смѣло можно считать лучшимъ нашимъ поэтомъ. Многіе, конечно, думаютъ въ наше время, что такъ называемыя изящныя искусства совершенно бесполезны, не больше, какъ пріятное препровожденіе времени. Не будемъ доказывать, до какой степени ложно это убѣжденіе; скажемъ только, что, и при этомъ невыгодномъ взглядѣ на поэзію, Некрасовъ сдѣлалъ ее полезною, въ глазахъ такъ называемыхъ реалистовъ, и самъ, несмотря на то, что былъ только поэтомъ, а не ворочалъ грудями дѣлъ и полками—сдѣлался полезнѣе, чѣмъ десятки воителей и администраторовъ. Поэзія Некрасова имѣетъ сходство съ поэзіей Кольцова; оба они брали сюжетомъ своихъ произведеній жизнь низшихъ классовъ, оба равно сочувствовали имъ въ ихъ горѣ и радовались съ ними ихъ радостями; но разница въ томъ, что Кольцовъ, происходя самъ изъ среды народа и стоявшій не много чѣмъ выше массы, чтобы лучше понять ее, сливается съ ней, тогда какъ Некрасовъ, по развитію стоящій выше ея, старается возвысить ее. Какъ Кольцову принадлежитъ слава поэта, ознакомившаго впервые общество съ нравственнымъ достоинствомъ низшихъ классовъ, особенно крестьянства, такъ Некрасовъ можетъ гордиться тѣмъ, что первый открылъ глаза обществу на страданія нашей меньшей братіи, заставилъ общество ей сострадать, сочувствовать, а отъ сочувствія до дѣйствительной помощи—недалеко.

Изъ „Иллюстрированной Газеты“ 1866 г.

* * *

*) Вся поэтическая дѣятельность Некрасова, замѣчательнаго и по своему поэтическому таланту, и по своимъ строгимъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ высшей степени вѣрнымъ

*) „Воскресный Досугъ“ 1866 г. № 171.

и правдивымъ взглядамъ на жизнь и на искусство, посвящена родной землѣ. Уже за одно это ему должны быть глубоко благодарны, особенно теперь, когда говорится такъ много словъ и дѣлается такъ мало дѣла, что обыкновенно характеризуетъ переходныя эпохи въ жизни общества. Но у Некрасова добрыя намѣренія блистательно перешли въ дѣло, и мы должны считать его главой, ведущимъ народъ къ далекой, хоть и славной цѣли — общему усовершенствованію. Некрасовъ, дѣйствительно, представитель истинной поэзіи, и хотя многіе въ этомъ не признаютъ, но огромное вліяніе этого поэта и его таланта на общество чувствуется и признается всѣми безпристрастными людьми. По этимъ отношеніямъ, связывающимъ его съ обществомъ, по этой пользѣ, которую онъ принесъ ему, Некрасова можно смѣло назвать лучшимъ русскимъ поэтомъ. Конечно, поэтическій талантъ Некрасова не особенно геніаленъ, но если мы возьмемъ стихъ звучный, блестящій, красивый, стихъ Майкова или Фета, и, сравнивъ его съ иногда шероховатымъ и подчасъ тяжелымъ стихомъ Некрасова, спросимъ, который изъ поэтовъ сильнѣе производитъ впечатлѣніе, думаемъ, что всякій, истинно развитой и здравомыслящій человѣкъ, не колеблясь предпочтетъ Некрасова. Въ чемъ кроется причина такого страннаго, съ перваго взгляда, предпочтенія? Да очень просто: звучный, гладкій стихъ однихъ всю свою силу и значеніе получаетъ только въ этой внѣшности, за которой часто скрывается какая-нибудь узкая мысль, какой-нибудь односторонній взглядъ, а иногда и вовсе ничего не скрывается, тогда какъ тяжелый стихъ Некрасова, не пренебрегая внѣшностью, но и не ставя ее на первый планъ, обращаетъ все вниманіе на значеніе стиха, на его внутреннюю сторону, на мысль, имъ выраженную. Но Некрасовъ не удовлетворился этимъ, не остановился, а, выработавъ серьезный и вѣрный взглядъ на искусство, пошелъ далѣе, помня, что прежде чѣмъ быть поэтомъ, онъ долженъ быть гражданиномъ. Онъ соединилъ въ себѣ оба высокія званія и явился первымъ русскимъ поэтомъ-гражданиномъ. Поэтому, если разсматривать его произведенія, то, отдавъ имъ должное съ точки зрѣнія искусства, надо посмотрѣть на нихъ и съ точки зрѣнія гра-

жданственности. Произведения Некрасова выдержать и этот строгий судъ, выйдутъ изъ него съ честью. Всякій, кто читалъ его „Коробейниковъ“, „Морозъ“, „На Волгѣ“, „Извозчика“, „Тройку“, „Школьника“, „Пѣсню Еремушки“ и мн. др., знаетъ, что они не только безусловно прекрасны въ художественномъ отношеніи, но и полны глубокаго значенія для русскаго общества. Въ нихъ онъ первый затронулъ такіе вопросы, которыхъ долго до него не замѣчали, или просто боялись затрогивать; въ нихъ онъ представляетъ обществу, какъ живутъ младшіе члены его, и, съ грустью и состраданіемъ описывая ихъ положеніе, укоряетъ старшихъ членовъ за то, что они допустили своихъ собратій опуститься такъ низко, и до сихъ поръ многіе не хотятъ подать имъ руки, чтобъ вырвать ихъ изъ грязи и поставить на ступень, предназначенную человѣку. Въ этомъ указываніи обществу его язвъ, но не съ цѣлью растравить ихъ, а напротивъ, желая залѣчить, уничтожить, заключается глубокое значеніе Некрасова въ русской литературѣ. Постоянно обращаясь къ низшимъ классамъ, вызывая состраданіе, сочувствіе къ нимъ высшихъ — онъ такимъ образомъ занялъ благородную роль представителя первыхъ, защитника ихъ интересовъ и, надо сказать, на этомъ мѣстѣ принесъ онъ посильную, но важную по своимъ послѣдствіямъ пользу. Онъ не зарылъ своего таланта въ землю, а напротивъ, слѣдуя выработанному имъ взгляду, сдѣлалъ все, что долженъ сдѣлать гражданинъ, и даже больше, чѣмъ сколько мы требуемъ отъ поэта. Таковы должны быть и всѣ поэты; они должны понять, что имъ слѣдуетъ не заключаться въ тѣсную сферу искусства, а свой талантъ — употребить на служеніе обществу, или, еще лучше, на служеніе всему человѣчеству...

Стихотвореніе „Вду ли ночью по улицѣ темной“ принадлежитъ къ лучшимъ и удачнѣйшимъ произведеніямъ вашего замѣчательнаго поэта — Н. А. Некрасова. Мы не скажемъ, чтобъ оно было проникнуто теплымъ чувствомъ грусти и состраданія къ человѣчеству болѣе другихъ его стихотвореній, но въ немъ затронутъ вопросъ, который невольно заставляетъ задумываться и вызываетъ много тяжелыхъ и грустныхъ мыслей, и затронутъ онъ такъ, что это простое,

повидимому, стихотвореніе вызываетъ изъ глазъ слезы. Содержаніе его просто: это грустная повѣсть, гдѣ слабые находятся подъ гнетомъ сильныхъ и, гдѣ изъ этой вопіющей несправедливости, изъ этого неестественнаго положенія исходъ невозможенъ, по крайней мѣрѣ, при существованіи прежняго порядка дѣлъ, при прежнемъ строѣ жизни общества. Только здѣсь существомъ страдающимъ, угнетеннымъ является женщина, и это еще болѣе привлекаетъ къ этому существу симпатію и дѣлаетъ это стихотвореніе еще болѣе замѣчательнымъ. Бѣдная женщина эта съ дѣтства чувствовала на себѣ гнетъ, дѣлавшій еще хуже ея, и безъ того тяжелое, какъ у всякой русской женщины, положеніе. Сперва подавлялъ ея самостоятельность гнетъ отца, потомъ она, какъ товаръ, перешла въ руки мужа, который также, пользуясь своими правами, въ настоящее время справедливыми только въ глазахъ самыхъ грубыхъ и неразвитыхъ людей—безчеловѣчно угнеталъ ее. Но не выдержала она—гнилыя общественныя условія и гнетъ, столько лѣтъ надъ ней тяготѣвшій, не успѣли сломать ея могучей натуры: она бѣжала отъ деспота мужа и встрѣтилась съ человѣкомъ, котораго любила. Но не на радость было ей и это: все счастье, которое ихъ ожидало, погубило глупо, навсегда, отъ недостатка матеріальныхъ средствъ. Сынъ ихъ умеръ, и мать, чтобъ купить ему гробъ и утолить мучившій ее голодъ, должна была продать себя и вступить въ разрядъ тѣхъ женщинъ, которыхъ такъ глубоко презираетъ наше высоко-правственное общество. Впрочемъ, она давно уже и нѣсколько разъ была продаваема, и общество молчало, глядя на все это, какъ на дѣло совершенно натуральное и справедливое; но какъ только она сама рѣшилась продать себя, что было единственнымъ исходомъ изъ ея положенія, это общество, которое не дало ей куска хлѣба, чтобъ утолить голодъ, побудившій ее къ такому поступку, отшатнулось отъ нея и подавило ее своимъ презрѣніемъ... Да, много думъ вызываетъ это стихотвореніе и будетъ вызывать до тѣхъ поръ, пока проклятія поэта, теперь бесполезно замирающія, сдѣлаютъ, наконецъ, свое дѣло: общество воспрянетъ, сброситъ съ себя всю ложь и гниль, отъ которой ему давно пора освободиться, и смѣло пойдетъ впе-

редь, куда уже давно призываютъ его отдѣльныя личности, во имя истины, добра и любви...*)

Изъ „Воскреснаго Досуга“ 1866 г.

1867 г.

Писаревъ въ статьѣ: „Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ“ мимоходомъ отзывается и о Некрасовѣ.

**) „У нашихъ лириковъ, говоритъ онъ, за исключеніемъ гг. Майкова и Некрасова, нѣтъ никакого внутренняго содержанія; они не настолько развиты, чтобы стоять въ уровень съ идеями вѣка; они не настолько умны, чтобы собственными силами здраваго смысла выхватить эти идеи изъ воздуха эпохи; они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающія ихъ явленія обыденной жизни, отражать въ своихъ произведеніяхъ фізіономію этой жизни съ ея бѣдностью и печалью. Имъ доступны только маленькія тревоженія ихъ собственнаго узенькаго психическаго міра; какъ дрогнуло сердце при взглядѣ на такую-то женщину, какъ сдѣлалось грустно при такой-то разлукѣ, что шевельнулось въ груди при воспоминаніи о такой-то минутѣ—все это описано, можетъ быть, и вѣрно, все это выходитъ иногда очень мило, только ужъ больно мелко; кому до этого дѣло, и кому охота вооружаться терпѣньемъ и микроскопомъ, чтобы черезъ нѣсколько десятковъ стихотвореній слѣдить за тѣмъ, какимъ манеромъ любить свою возлюбленную г. Фетъ, или г. Мей, или г. Полонскій? Поучитесь-ка лучше, гг. лирики, почитайте да подумайте! Вѣдь нельзя, называя себя русскимъ поэтомъ, не знать того, что наша эпоха занята интересами, идеями, вопросами гораздо пошире, поглубже и поважнѣе вашихъ любовныхъ похожденій и нѣжныхъ чувствованій.

*) Еще см. о Некрасовѣ за 1866 г.: „С.-Петербургскія Вѣдомости“, № 78 („Пѣсни о свободномъ словѣ“); „Живописное Обозрѣніе“, №№ 13 и 14, стр. 193 и 215 (ст. В. Быкова).

**) Сочиненія Д. И. Писарева. Ч. 1-я.

Впрочемъ, опять-таки говорю, вы вольны дѣлать, какъ угодно, но и я, какъ читатель и критикъ, воленъ обсуждать вашу дѣятельность, какъ *мнѣ* угодно. И дѣятельность ваша, вѣроятно, не на одни мои глаза покажется больно пустою и безцвѣтною. Не трудно, конечно, понять, почему я изъ числа нашихъ лириковъ выгородилъ Майкова и Некрасова. Некрасова, какъ поэта, я уважаю за его горячее сочувствіе къ страданіямъ простаго человѣка, за честное слово, которое онъ всегда готовъ замолвить за бѣдняка и угнетеннаго. Кто способенъ написать стихотворенія: „Филантропъ“, „Эпилогъ къ ненаписанной поэмѣ“, „Вду ли ночью по улицѣ темной“, „Саша“, „Живя согласно съ строгою моралью“, — тотъ можетъ быть увѣренъ въ томъ, что его знаетъ и любитъ живая Россія. Майкова я уважаю, какъ умнаго и современнаго развито-го человѣка, какъ проповѣдника гармоническаго наслажденія жизнью, какъ поэта, имѣющаго опредѣленное, трезвое міросозерцаніе, какъ творца: „Трехъ смертей“, „Савонароллы“, „Приговора“ и т. д. Всякій согласится, что эти два лирика, Майковъ и Некрасовъ, по уму, по таланту, по развитію и по отношенію своему къ современной жизни стоятъ неизмѣримо выше тѣхъ версификаторовъ, о которыхъ я говорилъ на предыдущей страницѣ.

Подводя итоги своей статьи („Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ“), Писаревъ между прочимъ говоритъ: „Я считаю трехъ названныхъ мною романистовъ (Пис. Тург. и Гонч.) важнѣйшими представителями современной поэзіи и отвергаю заслуги нашихъ лирическихъ поэтовъ, за исключеніемъ гг. Майкова и Некрасова“).

Д. Писаревъ.

*) Критическая статья Писарева—„Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ“ первоначально появилась въ печати въ 1861 г., въ „Русскомъ Словѣ“. №№ 11 и 12.—Еще Писаревъ упоминаетъ о Некрасовѣ (въ подобномъ-же смыслѣ) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своихъ сочиненій (см. часть II, стр. 203 и 224; часть VI, стр. 82).

1868 г.

*) Упомяная о стихотвореніяхъ Некрасова, помѣщенныхъ въ январской книгѣ „Отеч. Записокъ“ за 1868 г., М. А. Загуляевъ говоритъ: „Странное впечатлѣніе производили на меня эти плоды поэтическихъ досуговъ нѣкогда столь любимаго публикою стихотворца. Лично мы никогда не сочувствовали жанру г. Некрасова. На насъ всегда непріятно дѣйствовало его натягиваніе за волоса разныхъ идеекъ гражданской скорби, но все-таки мы не могли не признать творческой силы и потрясающаго эффекта многихъ изъ этихъ стихотвореній. Чѣмъ-то могучимъ вѣяло отъ стиха г. Некрасова, и это невольно заставляло относиться съ уваженіемъ даже и къ такимъ вещамъ, какъ „Филантропъ“ и нѣкоторыя позднѣйшія сатиры, напримѣръ „Убогая и нарядная“ и проч. Увы! ничего подобнаго не встрѣтили мы въ двухъ новыхъ сатирахъ г. Некрасова: „Судъ“ и „Причта о киселѣ“. Чѣмъ-то старческимъ, безсильнымъ вѣетъ отъ этихъ сатиръ, юморъ поэта принимаетъ какой-то водевильный характеръ (особенно въ „Причтѣ о киселѣ“), его сатира мельчаетъ, размѣниваясь на балагурство, ни одного крика честнаго негодованія, ни одного сильнаго слова... Сопоставляя эти отрицательныя качества со слабостью третьяго стихотворенія—„Выборъ“, имѣющаго чисто лирической характеръ, невольно приходитъ въ голову мысль, что пѣсенка г. Некрасова спѣта, и дарованіе его выдохлось“.

М. Загуляевъ.

* * *

**) Г-нъ Н. Соловьевъ, обсуждая сліяніе „Современника“ съ „Отечественными Записками“, въ статьѣ „Критика направленій“ между прочимъ говоритъ:

„Если люди положительнаго направленія ничему особенному не могутъ въ настоящее время радоваться, то зато

*) „Всемирный Трудъ“ 1868 г., № 2. Статья „Столичная жизнь“.

**) „Всемирный Трудъ“ 1868 г. № 4.

наши отрицатели должны отъ всей души благодарить судьбу за ниспосланныя на нихъ милости. Праздникъ на ихъ улицѣ. Исторія затянулась опять надолго. Еще такъ недавно не было ни для кого секретомъ, что журналы отрицательнаго направленія начали терять кредитъ, подписку, словомъ падать. Но имъ не дали умереть своей собственной смертью, и вотъ нозый фениксъ опять возсталъ изъ своего пепла. Возставши для новой жизни, онъ, впрочемъ, не сразу выступилъ на поприще дѣятельности. Сперва носились въ обществѣ слухи о намѣреніи возстановить „Современникъ“, но потомъ сдѣлалось общензвѣстнымъ, что „Современникъ“ въ настоящемъ, неподдѣльномъ своемъ видѣ, открытъ быть не можетъ. За этимъ опять сдѣлалось тихо, и потомъ вдругъ раздалась вѣсть, что „Современникъ“ соединяется съ „Отечественными Записками“ и что давно насиженное мѣсто будетъ занято людьми, оставшимися безъ мѣста. Словомъ, сдѣлалось несомнѣннымъ, что червякъ направленія зашевелился опять и одна половинка его пристала, присо-салась къ г. Краевскому. Обстоятельство это считаемъ мы въ нѣкоторомъ родѣ событіемъ въ литературѣ. До сихъ поръ „Отечественныя Записки“, несмотря на свою кажущуюся скромность и солидность, наносили по временамъ отрицателямъ самые сильные удары. „Время“ и „Библіотека для Чтенія“ еще мирволили съ ними, а иногда даже вступали и въ нѣжкости; „Отечественныя же Записки“ всегда болѣе или менѣе выпускали противъ нихъ ехидныя статьи, отъ которыхъ „Современнику“ и „Русскому Слову“ оставалось только отмалчиваться. Даже когда „Голосъ“ въ первые годы своего существованія не установился въ своихъ тенденціяхъ, „Отечественныя Записки“ неизмѣнно старались противодѣйствовать отрицателямъ. Понятно теперь, что для ихъ партіи было въ высшей степени выгодно занять ту позицію, съ которой пущено въ нихъ столько вредныхъ снарядовъ. Самое возстановленіе „Современника“, если бы оно осуществилось, не пошло бы имъ такъ въ прокъ, какъ проповѣдь идеи этого журнала съ каедры умѣреннаго направленія. „Современникъ“ въ послѣдній годъ сталъ ужъ терять подписку; „Отечественныя же Записки“, проѣхавшія столько десятилѣ-

тії по рельсамъ русской литературы, не могли вдругъ остановиться. Новый возница, новый экипажъ и сѣдоки между тѣмъ могли возбудить любопытство публики, тѣмъ болѣе, что старые поклонники „Отечественныхъ Записокъ“ не могли отъ нихъ отойти. Что вкусъ, стремленіе къ поглощенію „Отеч. Зап.“, инициатива нападенія на этотъ постъ возникли въ головѣ отрицателей, что г. Краевскій тутъ игралъ не активную, а пассивную роль, въ этомъ и сомнѣнія не можетъ быть для людей, понимающихъ дѣло, а не судящихъ только по объявленіямъ. Прогрессисты тутъ обошли консерваторовъ. На то, дескать, вы и консерваторы. Это все равно, что исторія съ нашими клубами, принявшими теперь такой модный оттѣнокъ. Ужъ съ какой бы стати съ клубомъ художниковъ сойтись людямъ, понимающимъ искусство à la Прудонъ и пишущимъ стихи à la маіоръ Бурбоновъ. Такъ нѣтъ же, засѣли и тамъ. Мы нарочно указываемъ на этотъ, въ сущности, ничтожный фактъ потому, чтобы показать, какою силой интриги, способностью являться во всевозможныхъ образахъ, поддѣлываться подъ всѣ положенія, обладаютъ наши отрицатели.

Между тѣмъ, какъ люди положительнаго направленія все еще спорятъ, на чемъ имъ сойтись: на народѣ или на дворянствѣ, на господствующемъ языкѣ или на господствующей церкви, для отрицателей всѣ подобные вопросы, доводящіе иногда до самой неблагоприятной вражды,—не существуютъ. Они ихъ игнорируютъ. Ни демократизма ни аристократизма для нихъ нѣтъ, а есть только одинъ семинаризмъ. Спѣшимъ оговориться, что подъ словомъ этимъ мы разумѣемъ не что нибудь бранное, какъ это у насъ водилось до сихъ поръ, а просто особый слой или новую породу людей, прошедшихъ сквозь огонь и воду той ужасной школы, которую когда-либо создавала старая педагогія. Эти прошедшіе черезъ всѣ мытарства семинарскаго воспитанія въ свою очередь уже повліяли на другихъ силою и энергіей, ими пріобрѣтенныхъ. И вотъ такимъ образомъ у насъ и образовался цѣлый классъ общества, который никакъ не хочетъ слиться съ другими. Въ этомъ-то и есть вся причина ихъ стремленія заключить себя въ комунны, ассоціаціи, отдѣль-

ные кружки, огородить себя от общества подъ видомъ молодого поколѣнія, молодой или юной Россіи, реалистовъ, нигилистовъ... Даже и на женщинахъ нашихъ отразилась эта смѣсь семинарской грубости съ чисто-военной храбростью—явились холостыя дѣвушки. Какихъ-нибудь задатковъ революціоннаго движенія, какъ воображали себѣ нѣкоторые трусливые люди, у нихъ нѣтъ и слѣда: опасность тутъ не для государства, а для общества, не для законовъ, а для принциповъ жизни. Не гражданинъ можетъ пострадать отъ наплыва всѣхъ этихъ теорій и словоизверженій, а просто человѣкъ и семья. Въ юридическомъ и философскомъ отношеніяхъ они нерѣдко были и правы, но въ отношеніи къ жизни они самые великіе грѣшники на Руси.

Со стороны той половины „Современника“, которая теперь завладѣла „Отечественными Записками“, была впрочемъ большая смѣлость выступить въ одиночку. Ученіе о новой породѣ людей, о новыхъ воззрѣніяхъ на искусство и науку не только не дало имъ ни одного поэта и ни одного ученаго, но даже отняло у нихъ и тѣ немногіе дары, которыми ихъ Богъ наградила. Нельзя поэтому было написать болѣе обманчивой рекламы, какъ ту, съ которой выступили новыя „Отечественныя Записки“: почти во всѣхъ именахъ, заманчиво выставленныхъ въ объявленіи пришлось читателямъ разочароваться. Г. Некрасовъ, тотъ самый Некрасовъ, который волновалъ когда-то наши юношескія головы, является теперь какимъ-то литературнымъ покойникомъ и пишетъ себѣ журнальную эпитафію размѣромъ стиховъ, изобрѣтенныхъ „Искрою“:

Вечерній звонъ, вечерній звонъ!
Какъ много думъ наводитъ онъ!

Печально затягиваетъ поэтъ Некрасовъ извѣстный романсъ, и затѣмъ вдругъ, переходя въ хихиканье, восклицаетъ:

А звонъ зловѣщій, роковой
Межъ тѣмъ на мигъ не умолкалъ,
Пока я брюки надѣвалъ.

Какіе брюки!? Что вы, г. Некрасовъ? Съ какой стати вы говорите о брюкахъ? Вѣдь это и въ „Искрѣ“, пожалуй, та-

кую поэзію забраковали бы. Положимъ, тамъ тоже любятъ пародировать поэтовъ, да только не такихъ старыхъ, какъ Козловъ и не такихъ почтенныхъ, какъ Лермонтовъ. А притчу-то вы кому говорите? — Киселю? Сначала мы подумали, что это не знаменитымъ ли овсянымъ киселемъ хочетъ угостить г. Некрасовъ публику; ничуть не бывало. Это просто какой-то человѣкъ, да еще, какъ видно, его знакомый. Кисель, брюки—вотъ они, цвѣты-то поэзіи!

Мысль эту каложивъ круглѣе,
Передастъ секретарю:
Дабы переписаль крупнѣе
Для поднесенія визирю.

Учитесь, молодые поэты, всѣ вы, маіоры Бурбоновы, Пальмины и проч.! Передъ вами живой примѣръ человѣка съ именемъ, ломающаго русскій стихъ, какъ ломаются только палки.

Вслѣдъ за поэтомъ Некрасовымъ на катафалкѣ литературныхъ покойниковъ вынесенъ „Отечественными Записками“ юмористъ Щедринъ. Что это былъ тоже человѣкъ съ именемъ и извѣстностью въ литературѣ — и сомнѣнія не можетъ быть. Какъ г. Некрасовъ создалъ у насъ гражданскую поэзію и заставлялъ когда-то проникнуться многихъ гражданскою скорбью, такъ и г. Щедринъ произвелъ у насъ гражданскую сатиру. Можно даже сказать, что г. Некрасовъ ровно настолько заставлялъ наше поколѣніе плакать гражданскими слезами, насколько г. Щедринъ заставлялъ смѣяться его гражданскимъ смѣхомъ. Въ свое время такая противоположность въ настроеніи ихъ лиръ была умѣстна: сѣтованія казались естественны, смѣхъ заразителенъ. Теперь совсѣмъ другое—лиры ихъ звучатъ совершенно одинаково и ни на кого не дѣйствуютъ. Можно подумать, что имъ и самимъ-то въ душѣ не очень-то смѣшно; обстоятельства такъ перемѣнились, а между тѣмъ они ужъ привыкли смѣяться на старыя темы. Особенно это можно сказать о г. Щедринѣ, который такъ смѣшилъ насъ въ былые годы, пошедшіе на осмѣяніе земской полиціи, и который нагоняетъ теперь такую зѣвоту, говоря о земствѣ. Смѣшныя

заглавія онъ еще можетъ придумать, но въ самомъ текстѣ не попадаетъ уже ни одной строки веселой; такъ что члены земства напрасно на него и вознегодовали. Стрѣлы его остроумія могли попадать въ чиновниковъ, исправниковъ, засѣдателей, губернаторовъ, но не въ то, что народилось въ послѣдніе годы.

Н. Соловьевъ.

* * *

*) Мыслящему педагогу современная наша жизнь представляетъ не мало многозначительныхъ явленій, изъ которыхъ инныя яркимъ свѣтомъ освѣщаютъ многія фазы духовнаго развитія общества. И кто же бросаетъ этотъ яркій свѣтъ на совершающуюся предъ нами жизнь? Кто учить, или вѣрнѣе сказать, научаетъ насъ, взрослыхъ людей, тому, до чего мы долго не додумались бы? Дѣти—наши учителя. Часто смотришь на ребенка внимательнымъ глазомъ, часто прислушиваешься къ его разговору, слѣдишь за его играми, затѣями, повѣряешь его склонности и говоришь съ утѣшеніемъ самому себѣ: ты додѣлаешь то, чего не могли додѣлать твои отцы! Ты своею дѣятельностію внесешь въ жизнь уже не вопросы, выпавшіе на долю отцовъ, а дѣло, фактъ! Все, все малѣйшее движеніе въ тебѣ, дорогое дитя, говоритъ мнѣ, зрителю, что ты будешь новымъ человѣкомъ. Не привыкшій вдумываться въ явленія совершающейся жизни отецъ, воспитатель никакихъ задатковъ для новаго будущаго не замѣтитъ въ тебѣ—ни въ твоихъ играхъ ни въ твоихъ занятіяхъ. Много, много, что онъ замѣтитъ съ величайшимъ удивленіемъ странное для него явленіе: ребенокъ съ большимъ удовольствіемъ занимается геометріей, чѣмъ чтеніемъ стиховъ. Безъ сомнѣнія, его собственный ребенокъ любитъ стихи и, уже, разумѣется, не предпочтетъ стихамъ геометріи; нѣтъ, тотъ или другой отецъ, воспитатель замѣчаютъ упомянутое странное явленіе на чужомъ ребенкѣ. И ничего особеннаго не скажетъ имъ подобное явленіе, не въ силахъ они додуматься до того, что насколько

*) Н. Л.—ъ. „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1868 г. № 143.

въ подобномъ явленіи участвуютъ вліяніе отца, воспитателя, настолько же и вліяніе новой жизни, новыхъ жизненныхъ началъ, не для всякаго уловимыхъ, но которыя уже народились, какъ невидимо для нашего глаза и уха нарождаются различныя атмосферическія явленія, рано или поздно долженствующія совершить свое дѣло. Дѣйствительно, г. Некрасовъ, есть дѣти, народились они, которыя даже ваши стихи, гладкіе, звучные, не предпочтутъ геометріи или какому бы то ни было другому предмету. Когда вашъ „Генералъ Топтыгинъ“ былъ полученъ, и когда мы предложили ребенку прочесть его, онъ отвѣчалъ: „я постѣ прочитаю, а теперь кончу планъ квартиры“. Ребенокъ (11-лѣтняя дѣвочка) наносилъ въ это время квартиру на планъ. Черезъ два дня только дѣвочка вспомнила о стихахъ, да и то по нашему напомниманію, и прочитала ихъ. „Послушай, дядя, сказала дѣвочка, обращаясь къ намъ: какіе пустяки написаны въ „Генералѣ Топтыгинѣ!“—Какіе же пустяки, моя милая? „Да то, что ямщикъ и жокакъ ушли въ кабакъ, гдѣ они оставались очень долго; вотъ и Некрасовъ пишетъ, что они были въ кабакъ очень долго; какимъ же образомъ лошади все это время могли стоять покойно, когда въ телѣгѣ сидѣлъ Мишка? Помнишь, въ деревнѣ проведутъ, бывало, медвѣдя, то лошадь, какъ только издалека завидитъ его, такъ и побѣжитъ со всѣхъ ногъ. Лошадь слышитъ даже медвѣжій духъ. Мишку посадить въ телѣгу не легко, чтобъ лошади не замѣтили этого. Онѣ должны были непременно понести еще въ то время, когда Мишка сидѣлъ въ телѣгѣ. Телѣга безъ клади, тройка почтовыхъ лошадей, да въдь онѣ разнесли бы всю телѣгу, а тутъ вдобавокъ ко всему написано, что лошади покойно стояли у кабака, когда Мишка сидѣлъ въ телѣгѣ. Это сказка. Тоже про коробейника Якова написано, что ему и лошадекъ, на которой онъ ѣздитъ, было 100 лѣтъ. Лошадь живетъ до 25-ти лѣтъ. Если коробейнику Якову было 75 лѣтъ, то лошади было 25 лѣтъ, а такая лошадь ногъ не волочить. Гдѣ уже ей бѣгать по дорогамъ съ тяжелымъ возомъ. Некрасовъ пишетъ, что у Якова возъ былъ тяжелый, нагруженный разнымъ товаромъ. Следовательно, надобно предположить, что коробейнику

было 80 лѣтъ, но тогда онъ самъ не могъ ѣздить по дорогамъ. Все это очень странно, дядя!“ Я могъ сказать моей дѣвочкѣ только то, что люди, которые пишутъ стихи, называются поэтами; что этимъ поэтамъ позволяется иногда написать и рассказать, на примѣръ, происшествіе, котораго никакъ случиться не можетъ. Трудно мнѣ было объяснить одно: зачѣмъ рассказывать неправду и то, чего не можетъ случиться. Разумѣется, я прибавилъ, что найдутся на свѣтѣ и 80-лѣтніе старики, способные работать и ѣздить по дорогамъ; но не рѣшился убѣждать дѣвочку въ томъ, что найдутся лошади, не боящіеся медвѣдя. Да и дѣвочка-то такая, что до той поры не повѣритъ, пока сама не увидитъ. Мы никогда не писали бы настоящей замѣтки, если бъ не прочитали въ *Отечественныхъ Запискахъ* о намѣреніи г. Некрасова издать книгу стихотвореній для дѣтей, т. е. не для большихъ дѣтей, а для маленькихъ. Пусть г. Некрасовъ приметъ къ свѣдѣнію, что въ числѣ будущихъ его читателей найдутся такіе, которые способны подвергнуть стихотворенія анализу, если только какимъ-нибудь образомъ стихотворенія попадутъ имъ въ руки, ибо, какъ мы сказали выше, дѣти съ здоровой головой особеннаго расположенія къ чтенію стиховъ не проявляютъ, ихъ не ищутъ и о полученіи книжки со стихами не хлопочутъ. Это тѣ дѣти, которыя отъ души смѣются надъ Вагнеромъ, рассказывающимъ, что березкѣ очень больно, когда ее срубаютъ, что она плачетъ; что известнякъ, лишенный друга (углекислоты), чувствуетъ сильную потребность соединиться снова съ изгнаннымъ товарищемъ. Его дурное расположеніе духа, вслѣдствіе отсутствія углекислоты, становится просто опаснымъ. (См. книгу Вагнера: „Изъ природы“. Рассказы для дѣтей“). Что же касается до педагогическаго значенія вообще всѣхъ стихотвореній г. Некрасова, то рано или поздно, конечно, будетъ сказано объ этомъ честное и правдивое слово.

Напередъ знаемъ, что на нашу замѣтку послѣдуютъ обычныя замѣчанія: воображеніе дѣтей требуетъ пищи, сухіе предметы — ариѳметика и геометрія — не могутъ дать ничего воображенію, слѣдовательно чтеніе стиховъ прино-

ситъ дѣтямъ извѣстную долю пользы. Подобные, важные по своему содержанію, вопросы требуютъ не коротенькихъ отвѣтовъ, а обстоятельнаго и подробнаго изслѣдованія, чего въ короткой замѣткѣ сдѣлать нельзя. Но теперь можемъ сказать лишь то, что ничего и не говоримъ противъ необходимости питать воображеніе дѣтей, но утверждаемъ, что точныя науки должны составить исключительный предметъ ихъ занятій безъ малѣйшихъ промежутковъ; хотя не согласимся съ тѣмъ, чтобы геометрія, ариѳметика не могли дать пицци воображенію; задаемъ лишь вопросы: не найдется ли для пицци другихъ матеріаловъ, кромѣ стиховъ, и если этимъ матеріаломъ являются стихи, то какіе они должны быть и въ какой степени могутъ быть передаваемы дѣтямъ? Ни время, ни мѣсто не позволяютъ намъ указать на этотъ другой матеріалъ, который есть и которымъ дѣльный педагогъ сумѣетъ воспользоваться. Безъ сомнѣнія, если уже давать дѣтямъ для чтенія стихи, то лучше тѣ, которые взяты изъ дѣйствительной жизни, чѣмъ неизвѣстно о чемъ говорящія. Планъ такихъ стихотвореній, т. е. взятыхъ изъ дѣйствительной народной жизни, задуманъ г. Некрасовымъ, сколько можно судить по образцамъ, напечатаннымъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“, вѣрно; но сочинять стихи надобно поосторожнѣе; во имя прелести избранной картины, всегда соблазнительной для поэтовъ, не пренебрегать и истиной, а то, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ увѣришь какого-нибудь милаго ребенка (милая дѣти очень любятъ стихи), что лошадь такъ же покойно повезетъ въ телѣгѣ медвѣдя, какъ она везетъ покойно кошку или собаку. Зачѣмъ же въ самомъ дѣлѣ сбивать дѣтей съ толку! Можетъ быть, вслѣдствіе этой замѣтки, г. Некрасовъ отнесется къ задуманной имъ книгѣ болѣе положительно и реально*).

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ 1868 г.

Статья Н. Л.—ъ.

*) Еще см. о Некрасовѣ за 1868 г.—въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“, № 345 (въ фельетонѣ) и „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“, № 106.

Примѣч. В. Зелинскаго.

1869 г.

*) Некрасовъ исписался! Некрасова можно назвать литературнымъ покойникомъ! Вотъ тѣ возгласы, которые раздавались въ послѣднее время среди нашей періодической прессы. Справедливо ли это, и если справедливо, то въ какой степени, вотъ вопросъ, на который намъ надобно отвѣтить. Какъ извѣстно, приговоры нашихъ критиковъ и фельетонистовъ часто не отличаются строгою обдуманностью, но относительно Некрасова, въ ихъ крикахъ была нѣкоторая доза справедливости, такъ какъ послѣднее произведение его „Судъ“ было очень слабо и по художественному выполнению и по идеѣ; но появившаяся на страницахъ „Отеч. Записокъ“ сказка: „Кому на Руси жить хорошо“, разомъ опрокидываетъ ихъ приговоръ. Въ этомъ новомъ произведеніи Некрасовъ является опять тѣмъ же знатокомъ народныхъ потребностей и тѣмъ же художникомъ въ дѣлѣ изобразительности, какимъ былъ нѣкогда. Упомянутая нами сказка состоитъ изъ двухъ частей. Первая не представляетъ ничего особеннаго и состоитъ въ томъ, какъ нѣскольکو крестьянъ заспорили о томъ, кому на Руси жить хорошо, и въ чадѣ спора сбились съ дороги, по которой имъ надобно было идти домой. Вторая часть состоитъ въ описаніи ярмарки. Описаніе это знакомитъ читателя съ сельской ярмаркой и рисуетъ хмельныя картины, сопровождающія всякую ярмарку. Картины эти отличаются, конечно, отсутствіемъ изящества, но зато въ нихъ сквозитъ правда. Вотъ, напримѣръ:

Средь самой, средь дороженьки
Какой-то парень тихонькой
Большую яму выкопалъ.
— Что дѣлаешь ты тутъ?
„А хороню я матушку“.
— Дуракъ! какая матушка!
Гляди поддевку новую
Ты въ землю закопалъ!
Иди скорѣй, да хрюкаломъ

*) „Кіевскій Телеграфъ“ 1869 г., № 57. (Статья М. Велинскаго).

Въ канаву лягъ, воды испей!
Авось, соскочить дурь.
„А ну давай потянемся!“
Садятся два крестьянина,
Ногами упираются
И жлятся и тужатся,
Крехтятъ—на скалкѣ таятся,
Суставчики трещать.
На скалкѣ не понравилось:
„Давай теперь попробуемъ
Тянуться бородой!“
Когда порядкомъ бороды
Другъ дружкѣ поубавили, и т. д.

Какія пошлыя, циническія сцены, скажетъ благоспитанный читатель. Что же дѣлать, отвѣтимъ мы, если другихъ въ нашемъ простонародьи мы не находимъ. Вотъ еще:

Въ канавѣ бабы ссорятся.
Одна кричитъ: домой ити
Тошнѣе, чѣмъ на каторгу!
Другая: врешь, въ моемъ дому
Похуже твоего!
Мнѣ старшій зять ребро сломать,
Середній зять клубокъ укралъ;
Клубокъ—плевокъ, да дѣло въ томъ,
Полтинникъ былъ замотанъ въ немъ.
А младшій братъ все ножъ беретъ,
Того гляди—убьетъ, убьетъ!

Вотъ въ краткихъ словахъ очерченъ семейный бытъ. Или, быть можетъ, поэтъ въ угоду читателямъ долженъ былъ нарисовать идиллическую картину семейнаго счастья, гдѣ живетъ старая тѣща съ тремя зятьями, которые ей во всемъ угодяютъ, наперерывъ одинъ передъ другимъ стараются выказать ей свое усердіе и заботы, — но въ такомъ случаѣ поэтъ пересталъ бы быть вѣрнымъ истинѣ, потому что свѣтлыя явленія въ простонародьи чрезвычайно рѣдки, а поэзія, по справедливому выраженію одного нашего писателя, заключается въ правдѣ жизни. Всѣмъ мыслящимъ людямъ, я думаю, уже извѣстно, что въ настоящее время, для того, чтобы быть поэтомъ, недостаточно описывать, какъ роза цвѣтетъ, соловей поетъ, водопадъ шумитъ—или сочинять хвалебныя оды хорошенькимъ глазкамъ А., миленькой ножкѣ

Д. и т. д., потому что такіа стихотворенія не могутъ приносить ничего, кромѣ пріятнаго усыпленія. Такимъ образомъ возникаетъ вопросъ: какимъ цѣлямъ должна служить поэзія? Научнымъ и прогрессивнымъ, отвѣтимъ мы. Идеаль науки и прогресса: *развитіе человечества въ интеллектуальномъ, моральномъ и матеріальномъ отношеніяхъ*. Этотъ идеаль долженъ руководить и поэта. Возвышеннѣй и благороднѣй этого идеала нѣтъ для поэта. Работая въ такомъ направленіи, онъ долженъ брать факты изъ окружающей насъ дѣйствительности и воспроизводить ихъ силою своего художественнаго таланта. Кромѣ того, поэту надо руководствоваться и идеей при выборѣ фактовъ, чтобы не обратиться изъ художника въ фотографа, и для избѣжанія такой метаморфозы брать только то, что соотвѣтствуетъ его цѣли, т. е. тѣ явленія, существованіе которыхъ препятствуетъ достиженію идеала, или тѣ, воспроизведеніе которыхъ можетъ служить энергическимъ толчкомъ къ болѣе быстрому движенію общества, возбуждая и выводя его изъ апатіи. „Но вѣдь это значитъ заключить поэзію въ тѣсную рамку служенія будничнымъ интересамъ и лишить ее независимости“, скажутъ намъ. Совсѣмъ нѣтъ; напротивъ того, мы желаемъ очистить ее отъ мелкихъ цѣлей и узкихъ интересовъ и обратить въ служеніе истинно-человѣческимъ стремленіямъ, слѣдовательно, сдѣлать ее наиболѣе независимой, такъ какъ всякая идея свободы связана неразрывными узами съ законами справедливости и гуманности. Вотъ нашъ взглядъ на поэзію. Мы признаемъ міровое значеніе такихъ поэтовъ, какъ Шиллеръ, Гёте, Гейне и др., но не можемъ придать такого же значенія ихъ подражателямъ, потому что то, что у первыхъ прекрасно и самобытно, то у послѣднихъ просто пошло. Что же касается насъ, русскихъ, то мы въ настоящее время не можемъ найти никого, заслуживающаго больше правъ называться поэтомъ, кромѣ Некрасова, поэтомъ въ томъ значеніи, въ которомъ мы понимаемъ это слово. Для болѣе яснаго подтвержденія только что сказаннаго нами слѣдовало бы разобрать, по крайней мѣрѣ, нѣсколько стихотвореній, но такъ какъ это будетъ несообразно съ объемомъ нашей статьи, то мы должны довольствоваться нѣкоторыми

мѣстами вышеупомянутой сказки. Возьмемъ хотя то мѣсто, гдѣ одинъ странствующій господинъ началъ говорить мужикамъ о томъ, что они много пьютъ.

Крестьяне рѣчь ту слушали,
Поддакивали барину,
Павлуша (баринъ) что-то въ книжечку
Хотѣлъ уже записывать,
Но выискался пьяненькой
Мужикъ,—онъ противъ барина
На животъ лежалъ,
Въ глаза ему поглядывалъ,
Помалчивалъ, да вдругъ
Какъ вскочитъ! Прямо къ барину—
Хватъ карандашъ изъ руки!
— Постой, башка порожняя!
Шальныхъ вѣстей безсовѣстныхъ
Про насъ не разноси!
Чему ты позавидовалъ,
Что веселится бѣдная
Крестьянская душа?
Пьемъ много мы по времени,
А больше мы работаемъ,
У насъ на семью пьющую
Непьющая семья!
Не пьютъ, а такъ же маются—
Ужъ лучше бъ пили, глухие,
Да совѣсть такова.

Сколько здраваго смысла и жизненной правды заключается въ этихъ немногихъ словахъ и сколько снисходительности и сочувствія могутъ вселить эти строки къ простому и незатѣйливому горю крестьянина, которое однако вслѣдствіе его невѣжества находить исходъ только въ пьянствѣ. Вопросъ о народномъ пьянствѣ и причинахъ его—одинъ изъ животрепещущихъ въ наше время. Существуютъ двѣ партіи, изъ которыхъ одна утверждаетъ, что пьянство есть главнѣйшая причина бѣдности простого народа, другая, напротивъ того, считаетъ пьянство однимъ изъ слѣдствій бѣдности и нужды, и никакъ не хочетъ признать, чтобы пьянство имѣло сильное вліяніе на богатство народа. Какъ то, такъ и другое мнѣніе, рассматриваемое въ отдѣльности, крайне одно-

сторонне, но несмотря на то, послѣднее имѣть больше шансовъ на справедливость, потому что

У насъ на семью пьющую
Непьющая семья!
Не пьютъ, а такъ же маются—
Ужъ лучше бъ пили, глупые.

Совершенно вѣрно. Кому случалось видѣть въ деревняхъ пьющія и непьющія семьи, тотъ знаетъ, что разница не велика, а слѣдовательно, пьянство вовсе еще не есть такой сильный источникъ бѣдности, какъ это воображаютъ многіе. Что же касается причины пьянства, столь сильно распространеннаго въ народѣ, то ею можетъ быть не одна бѣдность, но также и невѣжество, хотя послѣднее въ гораздо слабѣйшей степени, чѣмъ первое.

„Нѣтъ мѣры хмелю русскому“.
А горе наше мѣряли?
Работъ мѣра есть?
Вино валитъ крестьянина.
А горе не валитъ его?
Работа не валитъ?

На эти строки приходится говорить то, что мы уже только что говорили, т. е., что только близорукій можетъ внушить такое понятіе, что одно лишь пьянство есть источникъ всѣхъ золъ въ народѣ.

Даже немногихъ строкъ, выписанныхъ нами, достаточно для того, чтобы читатель могъ видѣть, какъ Некрасовъ въ послѣднемъ своемъ произведеніи остался вѣренъ всегдашней своей идеѣ: возбуждать сочувствіе вышихъ классовъ къ простому люду, его нуждамъ и потребностямъ. Многіе говорятъ, что стихотворенія его могли имѣть значеніе только при крѣпостномъ правѣ, но никакъ не теперь, когда положеніе крестьянъ значительно улучшено и имъ остается только трудиться, чтобы еще болѣе улучшить его. Совершенно вѣрно, положеніе крестьянъ въ настоящее время несравненно лучше, но еще далеко не такъ хорошо, какъ это полагаютъ нѣкоторые. И мы увѣрены, что само правительство, которому дорого народное благосостояніе, никакъ не остановится на настоящемъ положеніи дѣлъ, а будетъ продолжать свои неунышныя дѣйствія относительно улучшенія участи простого

народа; но, какъ извѣстно, всякая реформа, производимая администраціей, часто встрѣчаетъ въ нѣкоторыхъ слояхъ нашего общества и литературы тупое недовольство, если только она идетъ въ ущербъ кастовымъ интересамъ, а потому такіе люди, какъ Некрасовъ, умѣющие рисовать дѣйствительность во всемъ ея неприглядномъ цвѣтѣ, возбуждающіе интересъ и сочувствіе къ сермягѣ, намъ нужны, отчасти потому, что они способны уничтожить сословный антагонизмъ и приготовить общество къ воспріятію безъ ропота благодѣтельныхъ реформъ администраціи, которая въ своихъ распоряженіяхъ всегда далеко опережаетъ общественную мысль.

Изъ „Кіевскаго Телеграфа“. Статья М. Велинскаго.

* * *

*) Г. Некрасовъ недавно воспѣлъ времена Грановскаго и Бѣлинскаго, и мы познакоимъ нашихъ читателей съ этими пѣснопѣніями, въ которыхъ видимъ ту же черту—превознесеніе чистаго западничества, составляющаго нынѣ идеалъ нѣкоторыхъ изъ нашихъ литературныхъ партій. Стихи, которые мы выпишемъ, находятся въ *Сценахъ изъ лирической комедіи „Медвѣжья Охота“*, напечатанныхъ въ прошломъ году въ „Отечественныхъ Запискахъ“, а потомъ перепечатанныхъ въ книгѣ: *Стихотворенія Некрасова*, часть IV.

Замѣчательный талантъ г. Некрасова представляетъ большую сложность, въ силу которой, вѣроятно, онъ до сихъ поръ и не оцѣненъ надлежащимъ образомъ нашею критикою. Какъ сатирикъ, г. Некрасовъ не ограничился однимъ восхваленіемъ сороковыхъ годовъ; онъ схватилъ и смѣшныя стороны тогдашняго настроенія и написалъ на него слѣдующіе водевильные куплеты:

Діалектикъ обаятельный,
Честенъ мыслью, сердцемъ чистъ,
Помню я твой взоръ мечтательный,
Либераль-идеалистъ!
Созерцающій, читающій,
Съ неотступною хандрой
По Европѣ разъѣжающій,
Здѣсь и тамъ—всему чуждой и т. д.

*) „Заря“ 1869 г., № 7. „Критическія замѣтки“. (Статья, кажется, Н. Страхова).

(Выписка оканчивается стихами:

Ты стоялъ передъ отчизною
Честенъ мыслью, сердцемъ чистъ
Воплощенной укоризною
Либераль-идеалистъ!)

Несмотря на сочувственный тонъ, тутъ не мало горькихъ истинъ. Эти рыцари добраго стремленія были всему чужіе и въ Россіи и въ Европѣ; естественно, что ихъ одолевало уныніе.

Всего плачевнѣе та ихъ черта, которая, какъ видно, особенно нравится г. Некрасову. Эти верхогляды, жившіе зря, люди безпутнаго житія, неспособные ни къ какому реальному усилю, немощие и унылые, считали себя однакоже въ правѣ осыпать укоризнами свое отечество, для котораго они были чужіе. Такъ какъ они были честны мыслью и чисты сердцемъ, такъ какъ они обходили грязь жизни, то они думали, что могутъ не только обличить грязь и нечистоту отдѣльныхъ лицъ, но даже поставить себя выше всей своей отчизны и служить для нея „воплощенной укоризною“.

Увы! это право не такъ легко пріобрѣтается, какъ они думали. Для этой роли пророка требуется много любви, много душевной силы, а ничего подобнаго у нихъ не было; у нихъ было только самолюбіе, вслѣдствіе котораго имъ нравилось ставить свою личность выше незнаемой и пренебрегаемой отчизны. Въ другомъ мѣстѣ (въ poemѣ *Саша*) г. Некрасовъ изобразилъ этихъ героевъ еще болѣе реальными чертами; либераль-идеалистъ былъ вотъ каковъ:

Книги читаетъ, да по свѣту рыщетъ,
Дѣла себѣ исполнскаго ищетъ,
Благо насладѣе богатыхъ отцовъ
Освободило отъ малыхъ трудовъ,
Благо итти по дорогѣ избитой
Лѣны помышала да разумъ развитый.
— Нѣтъ, я души не растрату моею
На муравьиной работѣ людей;
Или подъ бременемъ собственной силы
Сдѣлаюсь жертвою ранней могилы,
Или по свѣту звѣздой пролечу!
Міръ—говорить—осчастливить хочу!
Что жъ подъ руками, того онъ не любитъ,

То мимоходомъ безъ умысла губить.

.....
Что ему книга послѣдняя скажетъ,
То на душѣ его сверху и ляжетъ.

.....
*Самъ на душѣ ничего не ищетъ,
Что вчера сожалѣлъ, то сегодня и съетъ.*

.....
Это въ простомъ переводѣ выходить,
Что въ разговорахъ онъ время проводитъ;
Если жъ за дѣло возьмется—бѣда!
Миръ виноватъ въ неудачѣ тогда,
Чуть поослабнуть нетвердыя крылья,
Бѣдный кричитъ: „безполезны усилія!“
И ужъ куда какъ становится золъ
Крылья свои опалившій орелъ....

Таковы были люди, которыхъ породило у насъ чистое западничество, которыхъ оно отрывало отъ всякаго дѣла и отъ пониманія Россіи. Это было очень печальное явленіе; страданія ихъ были слѣдствіемъ того фальшиваго положенія, въ которомъ они находились—и изъ котораго выйти они не могли, такъ какъ у нихъ недоставало ума, чтобы понять это положеніе, и сердца, чтобы вырваться изъ него инстинктивнымъ усиліемъ. Не будемъ судить ихъ строго, но не будемъ и принимать болѣзненное явленіе за что-то хорошее. Если они прошли, эти либералы-идеалисты, то можно этому только порадоваться.

Само собою разумѣется, что предыдущіе стихи и куплеты и отрывокъ изъ *Сашки* относятся не къ Грановскому, а изображаютъ болѣе ходячій и обыкновенный типъ тогдашнихъ образованныхъ людей. Грановскому же прямо посвящены г. Некрасовымъ слѣдующіе стихи болѣе возвышеннаго тона, произносимые однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ *Медвѣжьей Охоты*.

Грановскаго я тоже близко зналъ—
Я слушалъ лекціи его три года.
Великій умъ! Счастливая природа!
Но говорилъ онъ лучше, чѣмъ писалъ.
Оно и хорошо—писать не время было:
Почти что ничего тогда не проходило.

.....

Передъ рядами многихъ поколѣній
 Прошелъ твой свѣтлый образъ: чистыхъ впечатлѣній
 И добрыхъ знаній, много сѣялъ ты,
Другъ Истины, Добра и Красоты!
 Пытливъ ты быть; искусство и природа,
 Наука, жизнь—ты все познать желалъ,
 И въ новомъ творчествѣ ты силы почерпалъ,
 И въ геніи угасшаго народа...
 И всѣмъ дѣлиться съ нами ты хотѣлъ!
 Не диво, что тебя мы горячо любили;
 Терпимость и любовь тобою руководили.
 Ты настоящее оплакивать умѣлъ
 И брата узнавалъ въ рабѣ иноплеменномъ,
 Отъ насъ вѣками отдаленномъ!
 Готовилъ родинѣ ты честныхъ сыновей,
 Провидя лучъ зари за непроглядной далью.
 Какъ ты любилъ ее! Какъ ты скорбѣлъ о ней!
 Какъ рано умеръ ты, терзаемый печалью!
 Когда надъ бѣдной русскою землею
 Заря надежды медленно всходила,
 Созрѣлъ недугъ, посѣянный тоской,
 Которая всю жизнь тебя крушила...

Здѣсь тѣ-же черты либерала-идеалиста, но только облагороженные и имѣющія наилучшій видъ, какой для нихъ возможенъ; то же неопредѣленное поклоненіе истинѣ, добру и красотѣ, то же стремленіе къ разнообразнымъ познаніямъ, та же тоска человѣка, понятія котораго не встрѣчаютъ на родинѣ ничего имъ соотвѣтствующаго, наконецъ, та же роль не дѣятеля, не ученаго, а проповѣдника идей, почерпаемыхъ, повидимому, ото всѣхъ народовъ, старыхъ и новыхъ, въ сущности же заимствуемыхъ отъ Запада *).

Изъ „Зари“ 1869 г.

*) Еще см. на этотъ годъ о Некрасовѣ въ „Портретной галлерей русскихъ дѣятелей“, т. 2, изд. А. Мюнстера. Кромѣ того, 1869-й годъ богатъ литературой о Некрасовѣ полемико-біографическаго свойства. Вотъ она: „Матеріалы для характеристики современной русской литературы: I) Литературное объясненіе съ Н. А. Некрасовымъ М. А. Антоновича и II) Post-scriptum... Ю. Г. Жуковского“. — „Виржевыя Вѣдомости“, № 153. — „Всемирный Трудъ“, № 3. — „Вѣсть“, № 248. — „Донъ“, № 60. — „Дѣло“, № 4, стр. 90—93. — „Заря“, № 5, стр. 151—174, Н. Страхова. — „Одесскій Вѣстникъ“, № 137 и 139 („Новое явленіе въ литературѣ“). — „Отечественныя Записки“, № 4, отд. 2, стр. 274—283 и 336—368. — „Литературное паденіе

Критика семидесятихъ годовъ.

1870 г.

*) Богаты мы или бѣдны лириками? Стоитъ только начать счетъ, васъ поразитъ обиліе именъ, повѣдавшихъ міру свои думы, чувства и помышленія; не говоря уже о такихъ именахъ, какъ Некрасовъ, вспомните, сколько еще лирическихъ разрядовъ, расположенныхъ по нисходящимъ степенямъ. Минаевъ, Курочкинъ, Плещеевъ, Вейнбергъ, Полонскій, Пальминъ, Вормъ и т. д. и т. д. А загляните въ недавнее прошлое? Мей, Кроль, В. Крестовскій, А. Майковъ, Тютчевъ, Ѳ. Бергъ, Фетъ... а сколько русскихъ людей еще кропаютъ стихи, воспѣвая сладчайшія чувства, стараясь метать громы или стремясь въ тѣ счастливыя страны, о которыхъ сами кропатели не имѣютъ ни малѣйшаго понятія. „Стихи“ такого рода вещь, что, по крайней мѣрѣ, по убѣжденію кропателей, ихъ можно писать, не имѣя въ головѣ никакой опредѣленной мысли. Состряпаетъ иногда та-

гг. Антоновича и Жуковского“, И. Рождественскій, отдѣльн. изданіе, Спб. 1869 г. — „Космосъ“, № 4 (М. Антоновича, „Незавѣстному другу“); тамъ же № 8. — („Объ отношеніяхъ Некрасова къ Бѣлинскому). Воспоминанія И. С. Тургенева: „Вѣстникъ Европы“ № 4 (см. также Соч. Тургенева, т. 1). — „Космосъ“, 2-е полугодіе, приложеніе № 1, стр. 84—102 (о Воспоминаніяхъ Тургенева). — „С.-Петербургскія Вѣдомости“, №№ 187 и 188 (Письма Бѣлинскаго къ В. П. Вотькину) — „Космосъ“, 2-е полугодіе, стр. 113—120 (по поводу письма Бѣлинскаго). — „С.-Петерб. Вѣдом.“, № 211 (фельетонъ Незнакомца). — „Заря“, № 9, стр. 207—209 (Грановскій въ стихахъ Некрасова. См. тамъ же о письмѣ Некрасова къ Тургеневу, гдѣ онъ убѣждаетъ Тургенева отдать въ „Современникъ“ романъ „Отцы и Дѣти“

*) М. М. „Иллюстрированная Газета“ 1870 г., № 12.

Примѣч. В. Зетинскаго.

кой кропатель три или четыре десятка строчекъ, и ужъ чего не придумаетъ. Тутъ у него и „мечты“ о чемъ-то, тутъ не обходится безъ „пустоты“, тутъ и вздохи, и слезы, и грезы, и грозы, — однимъ словомъ, чего хочешь, того просишь, только смысла не спрашивай. Между любителями „стиховъ“ есть и такіе, которые только всего и ищутъ „мѣрнаго паденья риѣмы“ и „звучности“ стиха, а до смысла, до опредѣленной мысли имъ нѣтъ дѣла. Мысль въ стихотвореніи, по ихъ мнѣнію, „мочальный хвостъ“, и потому они предпочитаютъ стихотворенія „безхвостыя“. Но увѣ! подобнаго рода вирши давно потеряли значеніе въ болѣе развитой части общества, котораго вниманіе привлекаютъ только Минаевъ, Некрасовъ и Курочкинъ. Всѣ они больше или меньше—сатирики, всѣ владѣютъ мастерски стихомъ, который имъ дается легко и безъ труда. Некрасову все еще принадлежитъ первое мѣсто. Его сатира—глубже захватываетъ жизненные стороны, у него она шире, нежели у двухъ другихъ, названныхъ нами. Правда, его „ноющее“ настроеніе нѣсколько устарѣло, но внесенное въ сатиру, придаетъ ей разнообразіе и способно внушить даже и простоватому читателю, что здѣсь дѣло въ серьезъ идетъ, а не смѣха ради. Напримѣръ:

Приунылъ и мужикъ.—Чѣмъ я буду топить?
Говоритъ онъ, лицо свое хмура:
„Ты не будешь топить—будешь пить“,
Завываетъ въ отвѣтъ ему буря.

Въ IV ч. стихотвореній въ первый разъ напечатаннаго — немного. Въ большинствѣ ея содержаніе составляютъ стихотворенія, напечатанныя въ „Современникѣ“ 1865 г., 1866 г. и въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1868 г. Главное дополненіе составляютъ отрывки изъ „Медвѣжьей Охоты“, подъ заглавіями: „Пѣсня о трудѣ“ и „Пѣсня любви“; первая изъ нихъ — простое указаніе на измѣнившіяся, въ послѣднее время, экономическія условія нашей жизни, или отрицаніе паразитства, а вторая — тоже указаніе на новыя стремленія русской женщины; впрочемъ, сущность этихъ стремленій гораздо опредѣленнѣе въ самой дѣйствительности, нежели у Некрасова. Вотъ, напримѣръ, что поетъ у не-

го Люба: „Мнѣ здѣсь скучно, потому что здѣсь жизнь тянется вяло. Но я выросла у моря, т. е. на просторѣ, а большому кораблю — большое и плаваніе. Жалѣть меня нечего; все равно — не спасти; не сегодня, завтра грянетъ буря и погубитъ меня, потому что кланяться и покоряться я не хочу и не умѣю... Отпусти меня, родная, на просторъ широкій, все же я, прежде чѣмъ сломясь, хоть не долго буду счастлива. Я помню, какъ ты грудью разсѣкала волны, была бодра, смѣла, хоть и не долго, хоть и не съ побѣдной пѣснью пристала къ берегу, но знала, что такое счастье. Я тоже хочу счастья, должна его искать... Отпусти меня!“ Слова нѣтъ — стремленія, требованія новыя, если бы только не одна несчастная черта: дѣвушка проситъ позволенія у мамы выйти на новый путь. Но это бѣда небольшая; мамаша, безъ сомнѣнія, дозволитъ, понимая, что у нея просить позволенія только для формы. Стѣдовательно, упрекнуть Некрасова можно за форму, въ которую онъ облекъ новое женское требованіе. Но неопредѣленности самаго требованія — оправдать нельзя, потому что въ жизни оно заявило себя очень опредѣленно и безъ фразъ, такъ что поэтъ нѣсколько опоздалъ со своею пѣснью. Едва ли кто теперь ставить ее пѣть.

Наше соображеніе подтверждается еще и стихотвореніемъ, посвященнымъ „неизвѣстному другу“, особенно слѣдующими строками:

... И пѣснь моя безслѣдно пролетѣла
И до народа не дошла она,
Одна любовь сказаться въ ней успѣла
Къ тебѣ, моя родная сторона.
За то, что я, черствѣя съ каждымъ годомъ,
Ее умѣлъ въ душѣ моей спасти,
За каплю крови, общую съ народомъ,
Моя вина, о родина, прости!

Сравните двѣ послѣднія выписки. Не та ли же самая въ нихъ пѣснь искупленія. Само собою, что побудительная причина, вызвавшая подобную пѣснь, никогда и никѣмъ гласно не высказывалась. Но гласное опроверженіе клеветы было необходимо въ интересахъ читающихъ людей, которые знали о существованіи нѣкоторыхъ, невыгодныхъ для поэта,

слуховъ. Теперь есть возможность взглянуть на дѣло безпристрастно и припомнить, что года полтора тому назадъ приходилось волей-неволей издавать фальшивые звуки или не издавать вовсе никакихъ: это было время, удобное для всякой клеветы и инсинуаціи.

Въ „Приложеніи“ къ IV ч. стихотвореній помѣщены: поэма „Папаша“, въ первый разъ напечатанная въ „Современникѣ“ 1860 г., и еще нѣсколько небольшихъ стихотвореній.

Изъ „Иллюстр. Газеты“. Статья М. М.

* * *

*) Во второмъ номерѣ „Отечественныхъ Записокъ“ помѣщено продолженіе поэмы Н. А. Некрасова, „Кому на Руси жить хорошо?“ Поэма эта нѣсколько растянута, въ ней вы встрѣчаете многія сцены, совершенно излишнія, мѣшающія общему впечатлѣнію, напрасно утомляющія читателя и тѣмъ не мало вредящія цѣльности впечатлѣнія. Но при всемъ томъ поэма Некрасова имѣетъ неотъемлемыя достоинства: въ ней столько чувства, столько глубокаго пониманія жизни, что какъ-то невольно забываются, изглаживаются всѣ мелкіе недостатки. Многія сцены этой поэмы прочувствованы и выражены такъ ярко и сильно, что невольно пробѣгаешь ихъ по нѣскольку разъ, и чѣмъ больше вчитываешься въ нихъ, тѣмъ прекраснѣе онѣ кажутся.

Изъ „Новаго Времени“. Статья Л. Л.

* * *

**) Мы уже не разъ высказывали убѣжденіе, что русская литература, хотя о ней всѣ толкуютъ взапуски, хотя каждый считаетъ себя въ правѣ судить и рядить о ней, есть предметъ въ высшей степени темный и трудный. Но всего труднѣе и темнѣе въ русской литературѣ — ея поэзія, всего загадочнѣе тѣ писатели, которые принадлежатъ къ чистѣйшей и специальнѣйшей поэтической области, т.-е. лирики-стихотворцы. Каждый разъ когда мы хотѣли взять-

*) Л. Л. „Новое Время“ 1870 г., № 109.

**) Н. Страховъ. „Заря“ 1870 г. № 9.

ся за нашихъ поэтовъ, чтобы разбирать ихъ, насъ останавливала чрезвычайная запутанность и странность этихъ явленій, и мы принимались за что-нибудь другое.

Изложимъ дѣло со всею откровенностію. Сравнительно легко писать о такихъ крупныхъ и ясныхъ явленіяхъ, какъ Герценъ, гдѣ можно коснуться, по мѣрѣ силъ, важныхъ и разнообразныхъ вопросовъ, бывшихъ предметомъ общаго вниманія и долгихъ толковъ. Еще легче писать статьи о „женскомъ вопросѣ“ и о томъ, что человѣкъ имѣетъ душу. Твердить общія истины, писать трактаты въ опроверженіе дикихъ мнѣній или въ защиту ясныхъ какъ день положеній, — дѣло, которое легче многихъ другихъ. И если бы насъ соблазняли лавры Добролюбова и Писарева, то мы гораздо чаще предавались бы этого рода литературнымъ упражненіямъ, которыя притомъ для многихъ, вѣроятно, весьма не бесполезны. Но намъ все *совѣстно* касаться общихъ и избитыхъ темъ, и мы сами добровольно запираемъ себѣ путь къ славѣ. Мы принимаемся за эти легкіе предметы не иначе, какъ съ большими предосторожностями, чтобы, поучая неразумныхъ читателей, не наскучить какъ-нибудь разумнымъ. Мы въ этомъ случаѣ держимся той мысли, которою заключается одно стихотвореніе г. Некрасова; вмѣстѣ съ поэтомъ мы часто говоримъ себѣ:

И погромче насъ были витія,
Да не сдѣлали пользы перомъ...
Дураковъ не убавимъ въ Россіи,
А на умныхъ тоску наведемъ.

Итакъ, есть не мало предметовъ, о которыхъ писать было бы легко, такъ какъ для этихъ предметовъ есть и публика, то есть существуютъ извѣстные интересы и вопросы въ массѣ читателей, есть и ясныя основанія, то есть существуютъ очень простыя и широкія точки опоры, на которыхъ мы можемъ установить свои сужденія. Но какъ писать о поэзіи? Гдѣ наша публика, читающая поэтовъ? Гдѣ взять мѣрки для сужденія о нашихъ лирикахъ?

Если мы вспомнимъ, что въ нынѣшнемъ году окончено новое, весьма полное изданіе сочиненій Полонскаго, въ прошломъ году вышло пятое изданіе стиховъ Некра-

сова, въ позапрошломъ вновь изданы и теперь уже, кажется, раскуплены стихотворенія Хомякова и Тютчева, что до сихъ поръ пишутъ Майковъ, Алексѣй Толстой, Алмазовъ и другіе, то окажется, что мы вовсе не бѣдны лирическою поэзію и что есть же для нея читатели, требующіе новыхъ изданій своихъ любимыхъ поэтовъ. Г. Некрасовъ, конечно, первенствуетъ въ этомъ случаѣ, онъ вышелъ уже пятымъ изданіемъ. Но какъ ни старались журналы, руководимые г. Некрасовымъ, отбить у читателей охоту отъ всякой поэзіи, кромѣ той, которою занимается г. Некрасовъ, они, очевидно, въ этомъ не успѣли. Напримѣръ, успѣхъ Тютчева, поэта очень глубокомысленнаго, очень высокаго по строю своей лиры, ясно показываетъ, что у насъ есть еще значительная публика для самыхъ высокихъ родовъ поэзіи. Мы были очень изумлены, прочитавши въ прошломъ году въ „Отечественныхъ Запискахъ“ такое извѣстіе: „Г. Полонскій очень мало извѣстенъ публикѣ“ (см. „Отеч. Зап.“ 1869 г. сентябрь, стр. 47). Какъ? Полонскій, знаменитый Полонскій *очень мало* извѣстенъ! Вѣдь, поворачивается же у людей языкъ на подобныя выходки! Я думаю, наборщикъ, набравшій эту страницу, и корректоръ, правившій ее въ типографіи г. Краевского, смѣялись надъ непомѣрнымъ безстыдствомъ этой лжи. Полонскій *очень мало* извѣстенъ! Подобныя вещи можно писать только для гимназистовъ перваго класса, только въ явномъ расчетѣ на такую публику, которая понятія не имѣетъ о русской литературѣ, и станетъ учиться ей по рецензіямъ „Отеч. Записокъ“, станетъ на этомъ журналѣ развивать свой умъ и воспитывать свои сердечныя чувства.

Такая публика, конечно, есть, и объ ней, конечно, очень хлопочутъ такіе журналы, какъ „Отеч. Записки“. Они никогда не прочь привлечь эту публику на свою сторону и очень желали бы увѣрить ее, что не стоитъ и обращать вниманія на всю остальную литературу. Всегда есть мальчишки, только что принимающіеся за чтеніе книгъ, всегда есть множество и зрѣлыхъ людей, которые, какъ выразился Гоголь, „нѣсколько беззаботны насчетъ литературы“. Для нихъ можно смѣло печатать, что Полонскій есть писатель

очень мало извѣстный, а что о Тютчевѣ никто даже никогда не слыхалъ. Но есть другая публика — вотъ къ чему мы клонимъ свою рѣчь. Есть же въ немаломъ числѣ такіе удивительные люди, которые любятъ поэзію и не считаютъ знакомство съ русскою литературою за дѣло лишнее и бесполезное. Такіе люди всѣ до одинаго знаютъ и любятъ Полонскаго, котораго, впрочемъ, мудро не знать и тѣмъ, которые его не любятъ. Полонскій пишетъ около тридцати лѣтъ (знаменитыя стихотворенія: „Солнце и мѣсяцъ“, „Пришли и стали тѣни ночи“ написаны—первое въ 1841, второе въ 1842 году); въ теченіе этого времени онъ написалъ не мало произведеній *первостепенныхъ*, то-есть представляющихъ несомнѣнное, чистое золото поэзіи („Бѣда проповѣдникъ“, „У Аспазіи“, „Статуя“, „Кузнечикъ Музыкантъ“, „Наяды“, и проч.); въ силу этого онъ сталъ однимъ изъ образцовыхъ *классическихъ* нашихъ поэтовъ, то-есть такимъ, который всегда съ почетомъ поминается при перечисленіи сокровищъ нашей литературы и безъ произведенія котораго не обходится ни одна хрестоматія. Притомъ г. Полонскій пишетъ до сихъ поръ и пишетъ такъ, что ничто не обличаетъ ослабленія его таланта. Мы можемъ ждать отъ него такихъ же великолѣпныхъ произведеній, какими онъ отъ времени до времени дарилъ насъ и прежде. Въ доказательство укажемъ на „Царя Симеона“, напечатаннаго въ майской книжкѣ „Зари“. Вотъ положеніе г. Полонскаго въ литературѣ. Онъ такой *извѣстный* писатель, что извѣстнѣе и быть невозможно при маломъ количествѣ, при малой нашей любви къ родной литературѣ. Но—*что такое* Полонскій? Въ чемъ смыслъ его поэзіи? Какія ея отличительныя черты? На эти вопросы дѣйствительно не существуетъ отвѣта. Мальчики въ школахъ учатъ наизусть его стихи; всѣ знаютъ, други и недруги, что онъ отличный поэтъ; но *что такое* его поэзія—такъ же мало извѣстно, какъ мало извѣстно значеніе Пушкина, какъ мало ясенъ и понятенъ ходъ всего развитія нашей литературы. И въ этомъ отношеніи получаетъ нѣкоторый смыслъ дерзкая выходка „Отечественныхъ Записокъ“, рѣшившихся провозгласить, что Полонскій очень мало извѣстенъ читателямъ. Подъ злостью,

доходящею до такой наивности, скрывается слѣдующая мысль: г. Полонскій есть явленіе неясное, непонятное; никто не знаетъ, что оно такое, и такимъ образомъ публика намъ повѣритъ, если мы скажемъ, что онъ не имѣетъ никакого значенія въ литературѣ, что онъ не имѣетъ даже извѣстности, такъ какъ ничѣмъ было ее возбудить и заслужить.

Умные люди, такіе, напримѣръ, какіе пишутъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“, не любятъ никакихъ неясныхъ, непонятныхъ явленій. Для умника всякое явленіе этого рода—обида, такъ какъ оно ясно свидѣтельствуетъ о несостоятельности его ума, о мелкости его понятій. Въ такихъ случаяхъ умные люди прибѣгаютъ нерѣдко къ очень глупому средству: для спасенія чести своего ума въ своихъ и чужихъ глазахъ, они *отрицаютъ* непонятное явленіе, стараются отнять у него всякое значеніе. Вотъ причина, по которой въ наши дни такъ ожесточенно напали на Пушкина; для умниковъ нашъ великій поэтъ—бѣльмо на глазу, камень преткновенія. Вотъ главная существенная причина и нападеній на Полонскаго, поэта, который, повидимому, ничѣмъ не могъ раздражить ни одной изъ литературныхъ партій. Онъ раздражаетъ умничающихъ самымъ своимъ существованіемъ, самою своею извѣстностію, и вотъ они утверждаютъ, что онъ вовсе не извѣстенъ, что его имя отнюдь не числится въ числѣ именъ русскихъ поэтовъ, что настоящіе наши *изъстнные* поэты, это—г. Некрасовъ, г. Минаевъ и г. Курочкинъ. Для поясненія и сравненія обратимся къ г. Некрасову. Г. Некрасовъ дѣйствительно находится въ другомъ положеніи, чѣмъ г. Полонскій; о г. Некрасовѣ ни въ какомъ случаѣ нельзя сказать, что онъ поэтъ *неизвѣстный*. Почему же? Не потому, что онъ выдержалъ пять изданій, тогда какъ Полонскій выдержалъ только два; обиліе читающихъ можетъ быть только *внѣшнимъ* успѣхомъ, только доказывать, что книга угодила *толпѣ*, пришлась по вкусу людямъ грубымъ и посредственнымъ, составляющимъ большинство всякой публики. Некрасова нельзя назвать непавѣстнымъ потому главнымъ образомъ, что онъ будто бы поэтъ совершенно опредѣленный, что онъ явленіе вполне ясное и понятное.

Г. Некрасовъ есть первообразъ нашихъ обличительныхъ

поэтовъ, — коихъ было и есть множество. Онъ всю жизнь обличалъ язвы нашего отечества, пороки и страданія чиновниковъ, пустую и развратную жизнь офицеровъ, гнусности Невского проспекта, а главное — страданія простого народа во всѣхъ ихъ многообразныхъ видахъ, начиная отъ бабы, которая

Завязавши подѣ мышки передникъ,
Перетянетъ уродливо грудь,

и до мужика, у котораго

Губы безкровныя, вѣки упавшія,
Язвы на тощихъ рукахъ,
Вѣчно въ водѣ по колѣна стоявшія
Ноги опухли, колтунъ въ волосахъ.

Въ силу этого г. Некрасовъ самъ о себѣ говоритъ слѣдующимъ образомъ:

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ!
И бросить хотѣ единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ.

Въ силу всего этого не только теперь, когда существуетъ пять изданій стиховъ г. Некрасова, но и десять лѣтъ тому назадъ, когда ихъ существовало только два, уже нельзя было сказать, что г. Некрасовъ поэтъ мало извѣстный. Всякій не только слыхалъ о немъ, но и зналъ, что онъ такое; въ то время, какъ къ Полонскому обращались съ тѣми вѣчными вопросами, которые слышала Пушкинъ:

О чемъ бренчить? Чему насъ учить?
Зачѣмъ сердца волнуешь, мучить?
Какъ своенравный чародѣй?

Этихъ вопросовъ нельзя было предлагать г. Некрасову, такъ какъ *направленіе* его музы было совершенно ясно.

Вотъ мы и договорились до нѣкоторой точки зрѣнія, съ которой можно, повидимому, судить нашихъ поэтовъ, съ которой довольно ясно и прямо можно было бы произвести имъ оцѣнку. Стоитъ только задать вопросъ: какого направленія поэтъ? и расхвалить или разбранить его, смотря по тому, согласны ли мы съ этимъ направленіемъ или нѣтъ.

Въ насъ подъ кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человѣческой
Плодотворное зерно.

Вотъ настоящій взглядъ г. Некрасова на Россію и русскій народъ; при такомъ взглядѣ мудрено быть народнымъ поэтомъ и бросать лучи сознанія на пути провидѣнія, развившіеся въ нашей исторіи.

Итакъ приговоръ *направленской* критики относительно г. Некрасова могъ бы быть очень строгъ; этотъ поэтъ есть выразитель и покровитель направленія, которое давно ослабило себя крайностями и нелѣпостями, которое составляетъ истинную *болѣзнь* русскаго общества; г. Некрасовъ есть одинъ изъ писателей наиболѣе страдающихъ этою болѣзнію.

Н. Страховъ.

* * *

Вступаясь за Полонскаго по поводу критики произведеній послѣдняго, помѣщенной въ сентябрьской книжкѣ „Отеч. Запис.“ за 1869 г., Тургеневъ между прочимъ говоритъ:

*) „Что же касается до критика „Отечественныхъ Записокъ“, то ограничусь тѣмъ, что выражу одно мое убѣжденіе, надъ которымъ онъ, вѣроятно, вдоволь посмѣется. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, въ его глазахъ, патронъ его, г. Некрасовъ, неизмѣримо выше Полонскаго, что даже странно сопоставлять эти два имени; а я убѣжденъ, что любители русской словесности будутъ еще перечитывать лучшія стихотворенія Полонскаго, когда самое имя г. Некрасова покроется забвеніемъ. Почему же это? А потому, что въ дѣлѣ поэзіи живуча только одна поэзія, и что съ бѣлыми нитками, всякими пряностями приправленныхъ, мучительно высиженныхъ измышленіяхъ „скорбной“ музыки г. Некрасова—я-то, поэзія-то и нѣтъ на грошъ, какъ нѣтъ ея, напримѣръ, въ стихотвореніяхъ всѣми уважаемаго и почтеннаго А. С. Хомякова, съ которымъ, спѣшу прибавить, г. Некрасовъ не имѣетъ ничего общаго“.

Н. Тургеневъ.

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1870 г., № 8.

* * *

*) Отъ колоссальныхъ политическихъ интересовъ мнѣ еще предстоитъ перейти къ маленькимъ интересамъ литературнымъ и указать въ сентябрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ на весьма выдающееся стихотвореніе г. Некрасова — „Дѣдушка“. Образъ „дѣдушки“ въ стихотвореніи задуманъ очень удачно и крайне симпатиченъ въ своей простотѣ. Разумѣется, пьеса, какъ это почти всегда бываетъ у г. Некрасова, вылилась не вполне и отчасти фальшива въ художественномъ отношеніи. Какъ на такую фальшь, можно указать, напримѣръ, на слѣдующее: въ пьесѣ возвращенный изъ Сибири декабристъ бесѣдуетъ со своимъ маленькимъ внукомъ, который съ дѣтскимъ любопытствомъ заинтересованъ таинственною прошлою судьбой дѣда. Скрывая отъ ребенка эту судьбу, на томъ основаніи, что ему еще рано узнавать о „великой были“, что эта быль еще недоступна для дѣтскаго пониманія, дѣдушка, однако, не стѣсняется повѣствовать младенцу о томъ, какъ въ старыя годы помѣщики пользовались своими крѣпостными, разстроивая крестьянскія свадьбы и отбирая въ дѣвичью понравившихся имъ особъ прекраснаго пола, говорить о стонѣ рабовъ, свистѣ бичей и т. п. Я знаю, что мнѣ могутъ возразить: такъ нельзя судить о художественномъ произведеніи; бесѣда дѣда съ внукомъ только художественный приемъ, и подобное *формальное* его толкованіе не можетъ имѣть мѣста. Отчего, однако жъ? Я допускаю какіе угодно „художественные приемы“, но только съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобъ ихъ внѣшняя форма не стояла въ явно фальшивомъ противорѣчьи съ естественностью.

За всѣмъ тѣмъ, указавъ на недостатокъ пьесы г. Некрасова, все-таки слѣдуетъ признать ее во многихъ отношеніяхъ вполне прекрасною. Теплота чувства, простота и выразительность стиха порою такъ хороши, что напоминаютъ лучшія строфы поэта. Появись „Дѣдушка“ раньше, напримѣръ, въ концѣ пятидесятихъ годовъ, когда само названіе декабристъ считалось чѣмъ-то запрещеннымъ, это стихотвореніе произ-

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1870 г., № 277. Ст. З. (В. Буренина).

вело бы огромный эффект и было бы, конечно, поставлено въ число перловъ поэзіи г. Некрасова. Теперь, послѣ того, какъ наши спеціальныя изданія историческихъ документовъ дали уже нѣсколько мемуаровъ дѣятелей 14-го декабря, послѣ того, какъ въ „Русскомъ Архивѣ“ даже начинаютъ обнаруживаться нѣкоторыя пререканія между этими дѣятелями (смотри замѣчанія г. Свистунова въ 8 и 9 выпуск.)—теперь, разумѣется, стихотвореніе утрачиваетъ большую долю впечатлѣнія. Его замѣтить и оцѣнить не масса публики, а лишь нѣсколько любителей поэзіи, которые, конечно, съ удовольствіемъ признають, что талантъ г. Некрасова не угасаетъ, и муза его, хотя нѣсколько поздно, находитъ прекрасные поэтическіе мотивы и теплое чувство для ихъ выраженія.

В. Буренинъ.

* * *

*) Бѣлинскій, прочитавши первые опыты стиховъ г. Некрасова, со свойственной ему истинной проницательностію высказалъ объ нихъ такое мнѣніе: „Они проникнуты мыслию; это не стишки къ дѣвѣ и лунѣ; въ нихъ много умнаго, *дѣльнаго* и современнаго“. Это мнѣніе Бѣлинскій высказалъ въ сорокъ шестомъ году, т. е. почти четверть столѣтія назадъ, когда всѣ глубокомыслящіе и неглубокомыслящіе люди того времени только и желали видѣть въ поэзіи безсодержательность, облеченную въ „металлическій стихъ“, и когда собственно Некрасовскихъ стиховъ, выдвинувшихъ ихъ автора изъ длиннаго ряда „увлекавшихъ талантомъ графовъ Толстыхъ, Фетовъ, и просто Толстыхъ“, еще не появлялось на свѣтъ. Слово—„дѣльнаго“ отмѣчено самимъ Бѣлинскимъ. Великій критикъ сказалъ въ своей рецензій о выступившемъ поэтѣ только двѣ строки, и этими двумя строками съ поразительной ясностью подмѣтилъ и очертилъ всю сущность его сильнаго таланта. Глубина и истинность такого приговора, высказаннаго мимоходомъ, небрежно,—удивительна! Несмотря на множество протекшихъ лѣтъ, они

*) „Новое Время“ 1870 г., № 164. Статья Ива (И. В. Андреева?).

съ рѣдкой точностью опредѣляютъ намъ образъ г. Некрасова, рисуютъ его всего, во весь ростъ, со всѣми его высокими и исключительными достоинствами... Дѣйствительно, если имѣя теперь въ своихъ рукахъ цѣлыхъ четыре тома неизвѣстныхъ критику произведеній нашего поэта, мы пожелали бы въ настоящее время проникнуть въ глубину его думъ, сказавшаго о себѣ, что онъ призванъ

..... воспѣть твои страданья,
Терпѣніемъ изумляющій народъ!
И бросить хоть единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ...

и пожелали бы вмѣстѣ съ этимъ опредѣлить ихъ характеръ и отличительныя свойства, то присутствіе мысли, обнаруженіе сильнаго ума, современности, въ особенности *дѣльность*, отмѣченная Бѣлинскимъ, прежде всего кинулись бы намъ въ глаза... И въ самомъ дѣлѣ, г. Некрасовъ столько же поэтъ, сколько и мыслитель... Поэтъ — и мыслитель! Поэтъ — и объясняетъ народу пути его шествія!... Да съ чѣмъ же это сообразно? гдѣ видано? на что похоже? Гдѣ же божественное вдохновеніе? Гдѣ художественность, поэзія? Гдѣ эстетическія красоты, облагораживающія души смертныхъ людей и возвышающія ихъ надъ мірскою грубостію и порочностію?—Все прямо или косвенно отвергнуто г. Некрасовымъ;—эстетическія красоты имъ поруганы, божественное вдохновеніе опозорено, поэзія оставлена, какъ сусальное золото, только младенцамъ, страдающимъ наслѣдственной золотухой... Вотъ почему, имѣя все это въ виду, нельзя не сознаться, что произведенія г. Некрасова имѣютъ для насъ весьма важное и весьма глубокое значеніе и что на свѣдѣтельство ихъ можно особенно довѣрчиво положиться.

Въ настоящихъ статьяхъ я не намѣренъ разсматривать всѣхъ стиховъ г. Некрасова, заключающихся въ вышедшемъ въ прошломъ году четвертомъ томѣ... Я ограничусь только тремя, много пятью, ближе другихъ подходящими къ моей цѣли, и попытаюсь отнестись къ нимъ, какъ къ трудамъ мыслителя... Впрочемъ, позвольте,—произ-

нося слово „стиховъ“, „стихи“, а не *стихотворенія*, какъ бы слѣдовало по заведенному обычаю произносить, я считаю не лишнимъ оговориться. Я знаю, что такое съ моей стороны своеволие легко можетъ быть найдено очень многими выходящимъ изъ границъ приличія, почему иные читатели могутъ съ рѣшительнымъ негодованіемъ отвернуться отъ меня, какъ отъ заблудшей овцы, не признающей многого святого и неприкосновеннаго. Мнѣ, конечно, это было бы весьма обидно... Несмотря на это, однако, риемованно переданныя мысли я все-таки считаю болѣе благоразумнымъ называть „стихами“, а не *стихотвореніями*, и именно главнымъ образомъ потому, что сомнѣваюсь въ существованіи творческой силы, въ существованіи бессознательнаго и священнаго творчества, этого небеснаго огня, снисходящаго на избранныхъ любимцевъ музъ. А само собою разумѣется, что если дѣйствительно нѣтъ этой священной творческой силы, то нѣтъ и творенія, нѣтъ и *стихотворенія*, а есть просто стихи, какъ есть просто и проза. Каждый поклонникъ подобнаго небеснаго огня очень хорошо знаетъ, что такой огонь снисходитъ въ извѣстныхъ, въ риторикѣ прописанныхъ, случаяхъ и на главу того, кто передаетъ свои мысли прозой, и что въ прозѣ, какъ поясняется въ тѣхъ же риторикахъ, можно передавать все то же, что передается въ стихахъ. Однако, зная это, даже самый строгій поклонникъ, повторяю, не осмѣлится назвать грубую прозу — „прозотвореніемъ!“ Я не говорю уже о настоящемъ времени; нѣтъ, но и въ прежнія времена, во времена господства эстетическихъ изліяній и восторговъ, когда выходили „Бѣдныя Лизы“, „Тарасы Бульбы“ и проч., даже и тогда никто не осмѣливался поступить такъ. Почему же слово „творенія“, а не писанія не сочиненія, являются монополіей однихъ поэтовъ? Почему, какой-нибудь г. Н. Боевъ, выжимающій съ великимъ трудомъ свои пустые риемованные куплеты, и тотъ называетъ ихъ *стихотвореніями*, и даже, вѣроятно, обидится, когда ихъ ему назовутъ просто стихами? Творческой силы въ подобныхъ бездарностяхъ, конечно, нѣтъ никакой, какъ нѣтъ ее въ сочиняемыхъ казенныхъ объявленіяхъ и проч. За что же первыя произведенія считаются все-таки *твореніями*, а вто-

рыя нѣтъ? Ужасная несправедливость!.. Къ произведеніямъ же г. Некрасова слово „стихотворенія“ относится еще меньше, чѣмъ къ другому. Онъ не поэтъ, если понимать это слово такъ, какъ понимаютъ его словесники. Его каждый стихъ—есть очень умная статья; онъ просто писатель. Еще можно допустить, что г. Боевъ способенъ иногда что-нибудь сотворить, при чемъ творческая безсознательность способна въ такія минуты его одушевить съ головы до ногъ; но допустить то же самое въ г. Некрасовѣ или даже въ гг. Курочкинѣ и Минаевѣ, есть грубое заблужденіе. Эти люди не творятъ, а думаютъ, соображаютъ и пишутъ. Поэтъ прежняго времени, найдя, напр., въ какой-нибудь завалявшейся у себя книжонкѣ забытый неизвѣстно чьей рукой цвѣтокъ, сейчасъ же садился за столъ, клалъ этотъ несчастный цвѣтокъ передъ собой и начиналъ его допрашивать: чей онъ? откуда? кѣмъ положенъ? и проч. На первомъ планѣ у него тутъ, конечно, начинала рисоваться неземная барышня, съ волнистою грудью, прелесть созданія, она, луна и проч. Творческая сила послѣ этого на поэта нисходила необузданная, онъ впадалъ въ безсознательное состояніе и, не отдавая себѣ никакого отчета въ томъ: дѣло онъ дѣлаетъ или нѣтъ (это значить осяняясь вдохновеніемъ)—писалъ, писалъ съ увлеченіемъ, съ жаромъ, ни о чемъ не думая, ничего не имѣя въ виду, ни съ чемъ не согласуясь, ни къ чему не стремясь. Изъ *ничего* такимъ образомъ получалось *ничто*, за что, мимоходомъ не излишне замѣтить, платились ему червонцы. Тутъ было твореніе... Въ настоящее время писателю-поэту не приходится этого дѣлать. Забытый кѣмъ-нибудь въ его книгѣ цвѣтокъ теперь уже если и привлечетъ его вниманіе, то развѣ только затѣмъ, чтобы выкинуть его вонъ. Теперь для поэта существуютъ другія условія, другія темы, обязательно требующія съ его стороны основательныхъ размышленій, глубокаго анализа и широкихъ знаній. Теперь ему приходится думать, соображать и „бросать хоть единый лучъ сознанія на путь“, по которому намъ приходится двигаться. Принципъ пользы, универсальный и всемогущій принципъ пользы, теперь долженъ руководить имъ ежеминутно, неотступно, слѣдуя по пятамъ его мысленія, какъ тѣнь,

какъ самый строгій, самый зоркій педагогъ; тамъ же, гдѣ есть размышленіе и анализъ, тамъ уже не можетъ быть безсознательнаго творчества. Эти психическія состоянія взаимно уничтожаютъ одинъ другого. Сознательность и безсознательность есть понятія діаметрально-противоположныя, и рѣшительно исключаютъ другъ друга. Г. Некрасовъ вполне удовлетворяетъ упомянутымъ реальнымъ требованіямъ времени. Поэтому, я еще разъ повторяю, слово „стихотворенія“ приложимо къ его произведеніямъ меньше, чѣмъ къ кому-либо; оно вовсе не вяжется съ ними, не вяжется настолько, насколько не вязалось бы слово „ученотворенія“, поставленное на сочиненіяхъ Спенсера или Милля, или „прозотворенія“, поставленное на сочиненіяхъ Тургенева, Гончарова. Оно даже кажется оскорбительно для трудовъ г. Некрасова; по крайней мѣрѣ, мнѣ всегда какъ-то странно его видѣть выставленнымъ на его книгахъ... Пора бы реальному мышленію относиться съ меньшею сердобольностью къ стѣсняющимъ его традиционнымъ формамъ, какихъ бы маловажныхъ размѣровъ ни были эти формы, и пора бы ему повыкидать вонъ изъ употребленія множество устарѣлыхъ словъ, только затемняющихъ понятія и сбивающихъ людей съ толку.

Итакъ, намѣреваясь побесѣдовать съ читателями по поводу стиховъ г. Некрасова, я ограничусь въ своихъ статьяхъ только нѣкоторыми изъ нихъ, именно: „Публикой“, „Газетной“, „Пропала книга“, „Судомъ“ и „Осторожностью“, составляющими совершенно особый элементъ, особенную тему, въ его сочиненіяхъ. Тема эта вызвана нашей прессой и ея измѣнившимся положеніемъ; она вполне закончена и представляетъ много интереса какъ для журналистики, такъ и для общества. Слѣдовательно, какъ читатель и догадывается, я буду имѣть главнымъ образомъ дѣло съ его „пѣснями о свободномъ словѣ“. Хорошо, посмотримъ же, что это за пѣсни, какимъ матеріаломъ онѣ могутъ служить намъ и на какія размышленія могутъ наводить публику. Въ виду постоянно ходящихъ грозныхъ слуховъ о совершающемся у насъ пересмотрѣ дѣйствующаго нынѣ устава о печати, мы думаемъ, что такія размышленія будутъ особенно не лишни.

II.

Но вотъ свобода слова
Негаданно пришла,
Не такъ ужъ безтолково
Теперь пойдутъ дѣла.

Н. Некрасовъ.

Характеристическимъ отпечаткомъ человѣчества служить его стремленіе къ истинѣ. Это стремленіе играетъ въ его судьбѣ роль неизсякаемаго источника, освѣщающаго его историческое шествіе, его вѣковое существованіе. Безъ этого плодотворнаго источника невозможно себѣ представить, въ какомъ скотскомъ, идиотическомъ состояніи присмыкались бы люди. Ихъ исторія была бы тогда самая печальная и самая жалкая исторія.

Стремленіе къ истинѣ, а черезъ нее — къ измѣненію внѣшнихъ условій жизни, мнѣній, привычекъ, знаній, — къ устраненію непріятностей и достиженію довольства, является въ людяхъ настолько преобладающимъ и настолько повсемѣстнымъ, что мы не знаемъ ни одного человѣка, ни одного народа, которые прямо или косвенно не направляли бы къ достиженію всего этого своихъ умственныхъ и физическихъ усилій. Каждый человѣкъ желаетъ приблизиться къ истинѣ, желаетъ имѣть истинныя мнѣнія, понятія, знанія, желаетъ этого если не открыто, то тайно, если не активнымъ желаніемъ, то пассивнымъ, если не мытьемъ, то катаньемъ. Объясненіе этого явленія лежитъ въ раціональной способности человѣческаго ума. Этотъ умъ такъ устроенъ и ему присуще такое безцѣнное свойство, обладая которымъ, онъ имѣетъ способность замѣтить свои ошибки и потомъ исправлять ихъ, основываясь на опытѣ и руководясь критикой. Опытъ и критика есть единственныя орудія прогресса, безъ которыхъ немыслимо никакое развитіе, никакой успѣхъ, ничего, кромѣ застоя и мертвенности.

Постоянныя стремленія людей къ истинѣ — съ одной стороны, и не ослабляющаяся способность людского ума исправлять свои ошибки черезъ опытъ и критику — съ другой стороны, имѣли своимъ послѣдствіемъ то, что мнѣнія и понятія мѣнялись. Считавшіяся истинными въ одно время опровергались и разрушались въ другое, считавшіяся ве-

ликими и многоцѣнными однимъ поколѣніемъ, отвергались и забывались послѣдующими. Лѣтописи прожитой человѣческой жизни поясняютъ намъ, что каждый вѣкъ имѣлъ свои истины, за абсолютную справедливость которыхъ каждый вѣкъ, въ лицѣ своихъ болѣе лучшихъ представителей, готовъ былъ идти на костеръ и отдаваться самымъ страшнымъ мученіямъ. Стоитъ припомнить громадность такихъ историческихъ случаевъ, существующихъ на свѣтѣ, вмѣстѣ съ первымъ постиженіемъ человѣкомъ истины и до нашихъ дней, чтобы прійти отъ нихъ въ изумленіе и убѣдиться въ подвижности и измѣняемости не только умственныхъ, но и многихъ изъ нравственныхъ истинъ, обыкновенно считающихся неподвижными и неизмѣняющимися... Какъ же измѣнялись эти истины? При какихъ условіяхъ и при какихъ обстоятельствахъ совершалось въ исторіи паденіе однихъ и возникновеніе на ихъ развалинахъ другихъ, снова въ свою очередь смѣнявшихся третьими? Въ чемъ именно должно видѣть единственный путь къ открытію истины?—На рѣшеніи этого вопроса, весьма важнаго для моей цѣли, я пока и останавливаю вниманіе благосклоннаго читателя.

Если всѣ мы, вслѣдствіе ли экономическихъ соображеній, грубаго разсчета выгодъ, или вслѣдствіе другихъ, болѣе деликатныхъ соображеній, стремимся къ истинѣ, къ истиннымъ знаніямъ, мнѣніямъ, правиламъ поведенія, — а что мы всѣ къ этому стремимся и всѣ этого желаемъ, то противъ дѣйствительности и справедливости такого мнѣнія не можетъ быть представлено никакихъ возраженій даже самими отпѣтыми обскурантами; смѣлая недобросовѣстность врядъ ли можетъ дойти до такого нахальства, чтобы прямо и открыто рѣшиться утверждать, что человѣчество не хочетъ истины и вовсе не желаетъ достигать ни болѣе истинныхъ мнѣній, ни болѣе истинныхъ понятій!—Если всѣ мы, говорю еще разъ, стремимся къ истинѣ и желаемъ ее знать, то знаніе условій, путей, при которыхъ только и могутъ быть осуществимы наши желанія, — знаніе такихъ путей, открывающихъ истины, представляется для насъ самымъ существеннымъ и самымъ желательнымъ вопросомъ. Зная правильное разрѣшеніе этого вопроса, мы этимъ только

однимъ дѣлаемъ уже половину дѣла, потому что избавляемъ себя отъ бесплодной необходимости бродить съ завязанными глазами по пустыннымъ полямъ невѣдѣнія и не рискуемъ, вмѣсто обрѣтенія истины, расшибить себѣ черепъ объ первое поставленное препятствіе. Люди зрячіе имѣютъ полные шансы прямымъ путемъ достигать опасительнаго острова, путемъ,—составляющимъ предметъ искренней зависти людей слѣпыхъ.

Когда человѣку желательно поступить такъ, чтобы его поступокъ могъ служить образцовымъ правиломъ для другихъ, или когда ему желательно вообще поступить безукоризненно справедливо, онъ начинаетъ обыкновенно размышлять. Кажется, тутъ нѣтъ ничего неестественнаго?—онъ представляетъ себѣ вопросъ, сосредоточившій его вниманіе, открытымъ, самъ дѣлаетъ на его возраженія, самъ опровергаетъ эти возраженія, и продолжаетъ заниматься такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока запасъ аргументовъ, имѣвшихся въ его умственномъ арсеналѣ, окончательно не истощится, и пока послѣднее слово не останется за тѣмъ или другимъ изъ передуманныхъ имъ мнѣній. Тогда мучительныя сомнѣнія окончены, и человѣкъ поступаетъ именно такъ, какъ указываетъ ему строгій разумъ. Поступая же въ подобномъ случаѣ извѣстнымъ образомъ, онъ остается совершенно спокоенъ относительно правильности и безпристрастности своего дѣйствія, ибо сознаетъ, что имъ было сдѣлано все, что только можно было сдѣлать для полученія истиннаго правила поведенія. Точно также поступаютъ и тѣ, кто, по малоумію, въ дѣлахъ, лично касающихся ихъ самихъ, обращается за свѣтомъ къ другимъ, и тѣ, кто, по добросовѣстности, въ дѣлахъ непосредственно касающихся постороннихъ лицъ, обращается за выслушаніемъ мнѣній къ этимъ постороннимъ лицамъ. Всюду, слѣдовательно, преобладающей чертой рельефно обнаруживается такая черта, по которой для полученія истиннаго руководящаго начала, истиннаго мнѣнія по открывшемуся обстоятельству, первоначально требуется его всестороннее обсужденіе, независимая критика, такое обсужденіе и такая критика, которыя не оставили бы въ разсматриваемомъ обстоятельствѣ ни одной

мельчайшей частицы, не представивъ противъ нея все, что только можетъ представить къ обвиненію самый „грозный прокуроръ“, разумѣется, ничего не искажающій и ничего не утаивающій. Положенныя на вѣсы безпристрастія доводы прямо и просто покажутъ тогда каждому, что именно при такомъ условіи должно быть принято и что должно быть за негодностью отвергнуто. Справедливость тогда удовлетворена и истина открыта...

Такимъ образомъ, всесторонность обсужденія, полная свобода, добросовѣстность и не устранимость требуются отъ каждого человѣка, если онъ вознамѣривается достигнуть правильнаго пониманія своихъ поступковъ и если въ особенности ему желательно, чтобы принципы, управляющіе его дѣйствіями, отличались бы истинностью. Условія не очень тяжелыя и, кажется, для каждого сподручныя... Въ самомъ дѣлѣ, какъ можете вы убѣдиться въ истинности извѣстнаго мнѣнія, не выслушавъ внимательно все, что только можетъ быть представлено человѣческимъ умомъ, имѣющихъ полнѣйшую основательность считается современнымъ,—представлено въ защиту и противъ этого мнѣнія? Какъ можете вы быть увѣрены, что ваше сужденіе, хотя бы о весьма маловажномъ предметѣ, истина, если оно не подверглось самому строгому инспекторскому осмотру, и если этотъ инспекторскій осмотръ не остался имъ доволенъ? Вглянитесь въ себя внимательно и скажите: когда именно убѣжденія, которыя вы имѣли случай сами вырастить, заслуживаютъ въ вашихъ глазахъ полной увѣренности и не заставляютъ васъ болѣе сомнѣваться относительно своихъ достоинствъ? Тогда, когда окружающіе васъ люди, возставая противъ нихъ, истощили къ ихъ опроверженію всѣ свои возраженія, когда убѣжденія все-таки остались непоколебимы, и когда, оставаясь такими, держатся вами открыто, гласно, предлагаясь всѣмъ желающимъ ежеминутно снова опровергать ихъ, т. е. именно тогда, когда они охраняются не бдительными, стоокими драконами, а своей внутренней, этимъ убѣжденіямъ присущей силой. Тогда вы торжествуете; вашимъ радостямъ и наслажденіямъ нѣтъ конца. Вы довольны, спокойны, счастливы. Вы очень хорошо видите, что

вы поступили самымъ разумнымъ образомъ, что не оставили безъ вниманія ни одного мнѣнія, терпѣливо выслушали даже нелѣпѣйшія изъ нихъ, еще съ большимъ терпѣніемъ представили противъ высказанныхъ нелѣпостей свои объясненія, инквизиторски не закрывали ушей, когда вамъ говорили дѣло—и несмотря на это, истинность вашихъ мнѣній осталась все-таки не разрушенной и не поколебавшейся. Держа ихъ для всѣхъ открытыми, а не въ тайнѣ, не подъ заперченіемъ критикѣ касаться ихъ, вы предлагали каждому желающему ихъ опровергать; но желающихъ больше не явилось, опроверженій больше не представилось, — и вотъ ваши мнѣнія, возможно испытанныя и никѣмъ больше не задерживаемыя, какъ непреложно истинныя разлетаются по всему свѣту. Теперь они дѣйствительно будутъ всѣми признаны за истинныя... Подобное торжество и наслажденіе испытываетъ, напр., въ настоящую минуту „почтенный старецъ“ Дарвинъ, благополучно управившійся съ господами Келликерами и имъ подобными. Онъ теперь съ гордостью видитъ, какъ противъ его убѣжденій оказались безсильны всѣ іезуитскія ухищренія противниковъ, и какъ выношенная имъ теорія, разрушая старыя основанія науки; оказалась побѣдительницею и величественно разносится по всѣмъ образованнымъ странамъ міра... Отсюда, слѣдовательно, весьма явственно вытекаетъ тотъ немудреный выводъ, что непоколебимымъ, незыблемымъ ручательствомъ истинности извѣстнаго ученія или теоріи служить не авторитетъ, не ихъ многовѣчность, не вѣра въ нихъ громаднаго большинства (а сколько у насъ такихъ „истинъ“, о которыхъ ничего нельзя говорить и которыхъ требуютъ считать за истины!), а то обстоятельство, что эти теоріи, находясь въ глазахъ всѣхъ людей открытыми для гласнаго, всесторонняго и свободнаго обсуждения, не встрѣчаютъ больше противъ себя никакихъ возраженій. Вотъ фундаментъ истины и увѣренности въ ней для cadaго. Безъ этого фундамента не можетъ быть ни того ни другого. Безъ него мнѣніе, признающееся за истинное, есть мертвая буква, неразумная увѣренность — слѣпое и безотчетное поклоненіе. Возьмите какую угодно изъ дѣйствительныхъ истинъ — только возьмите изъ „дѣйствитель-

ных“, имѣющихъ подѣ собой указанный фундаментъ и защищающихъ себя не съ помощью насилія, а своей внутренней силой, — возьмите хоть вращеніе земли, тяготѣніе тѣлъ, въ которыя вы вѣрите... Взяли? — Прекрасно. Рѣшите же теперь, что служить для васъ непоколебимымъ ручательствомъ истинности этихъ великихъ законовъ. То ли вы видите тутъ, что и относительно другихъ истинъ, о которыхъ вамъ говорятъ, что они потому истинны, что „освящены вѣками“, и поэтому относительно ихъ не можетъ быть допущена никакая свободная критика! Но могутъ ли, при подобномъ условіи, онѣ быть приняты за непреложныя, не вызывающія сомнѣнія истины?... При какихъ же обстоятельствахъ люди могутъ принять извѣстное мнѣніе за истинное? Въ чемъ именно слѣдуетъ видѣть единственный путь къ открытію истины и что именно должно служить твердымъ ручательствомъ ихъ дѣйствительности?... Подумайте объ этомъ хорошенько и отвѣйте себѣ, благосклонный читатель.

III.

Дыбомъ становится волосъ,
Чѣмъ наводнилась печать...

Н. Некрасовъ.

*) „Понятно, понятно!“ говоритъ мнѣ читатель, въ которомъ, однако, нетрудно угадать читателя неблагосклоннаго. — Вы стараетесь доказать, что нѣтъ такихъ истинъ, которыя сами, безъ объясненій и обсужденій, непосредственно, убѣждали бы людей въ своей непогрѣшимости. Вы думаете, что каждое мнѣніе непременно требуетъ провѣрки, строгаго анализа и свободной критики... Вы внушаете, что такому только мнѣнію и можно оказывать довѣріе, которое имѣло всѣ средства быть истиннымъ, черезъ обсужденіе его со всевозможныхъ точекъ зрѣнія, черезъ выслушиваніе всевозможныхъ возраженій, черезъ самое безпристрастное сравненіе, сопоставленіе и проч. Вы, слѣдовательно, только въ этомъ видите единственный путь къ открытію истины, единственное ручательство истинности? Понятно!... Но вы заблуждаетесь, отвѣчаютъ мнѣ, глубоко заблуждаетесь! Вѣдь,

*) „Новое Время“ 1870 г., № 165.

это может распространить ужасныя послѣдствія. Вѣдь, это может повести за собой то, что...

Дыбомъ становится волосъ,
Чѣмъ наводнится печать,—
Даже умѣренный „Голосъ“
Станетъ не въ мѣру кричать!

Я спѣшу перебить такого читателя, докладывая ему, что у насъ давно уже и свободное слово и многое другое допущены самимъ правительствомъ, слѣдовательно, объ этомъ говорить много нечего. Въ подтвержденіе же дѣйствительности этого событія, я даже сошлюсь ему, для большей убѣдительности, на приводимаго г. Некрасовымъ разсылнаго, дѣдушку Миная, тридцать лѣтъ добывающаго себѣ хлѣбъ литературнымъ трудомъ и досконально знакомаго со всѣми вопросами, касающимися отечественной прессы. Онъ торжественно объясняетъ:

— „Баста ходить по цензурѣ!
Ослобонилась печать,
Авторы наши въ натурѣ
Стали статейки пущать.
Къ нимъ да къ редактору нынѣ
Только и носимъ статьи...
Словно повысились въ чинѣ,
Ожили, дѣтки мои!

(„Разсылн.“)

Слѣдовательно, не подлежитъ сомнѣнію, что у насъ въ настоящее время существуетъ свобода слова, а вмѣстѣ съ этимъ и всѣ требующіяся основанія для свободной критики... Во всякомъ случаѣ, какъ бы то ни было, но тотъ фактъ, который характеризуетъ отношеніе публики къ этому новому еще у насъ явленію, освобождающему мысль изъ-подъ сковывающей ее опеки, разрушающему общественныя тридиціи и ведущему народъ къ свѣту,—этотъ фактъ заслуживаетъ большого вниманія. Несмотря на всю очевидную необходимость и пользу независимаго слова и независимой критики, эта публика относится, однако, къ нимъ крайне враждебно. Она видитъ въ нихъ самаго злѣйшаго врага своимъ вѣрованіямъ, правамъ и всему тому, что ее кормитъ и поитъ, и

- что боится вызвать о себѣ сужденія... Конечно, тутъ предполагается только *известная* публика, никакъ не все общество, всегда высоко цѣнящее свободу слова, именно—та публика, члены которой „другого закона“, кромѣ дендизма въ жизни, не знаютъ, которые живутъ людьми хорошаго тона и умирать ими желаютъ, которые поздно привыкли ложиться, поздно привыкли вставать, кушать кофе, помадиться, бриться, ногти точить и усы завивать; часъ или два передъ тонкимъ обѣдомъ „Невскій проспектъ шлифовать“, изъ которыхъ болѣе лучшіе—

Систему полумѣръ принявъ за идеаль,
Ни прогрессистъ ни консерваторъ,
Добро ты портилъ, ала не улучшалъ,
Но честный былъ администраторъ...

(„Медвѣжья Охота“.)

Всѣ эти высокіе господа, когда говорятъ имъ о свободной литературѣ, о свободѣ мнѣній, требуемыхъ и разумомъ и общимъ благосостояніемъ, возстаютъ противъ нихъ со всею энергіею честолюбивыхъ душъ. Дозволять каждому высказывать безъ стѣсненія свой образъ мыслей, свободно представлять возраженія и доказательства противъ истинъ и порядковъ, хотя бы освященныхъ и опробованныхъ вѣками, это значить, по ихъ убѣжденію, прямо смущать неопытные умы, потрясать всѣ священныя основы въ самомъ ихъ основаніи! Это значить допускать, чтобы брать подымать руку на брата, сынъ на отца, чтобы всѣхъ обуяло самое дикое невѣріе и чтобы во всемъ воцарилась самая ужасная анархія!... Но такъ ли это? Не вызываются ли подобныя сужденія другими мотивами, менѣе умозрительными, отвлеченными и болѣе наглядными?

Въ стихѣ „Публика“ г. Некрасовъ мастерски представилъ намъ именно этихъ людей своеобразнаго образа мыслей, ихъ *credo*—самое жалкое и самое убогое; объ немъ не дозволяется свое сужденіе имѣть не почему другому, какъ только потому, что его поклонники не желаютъ утратить—„кровныя лошади... поваръ французъ, и, Боже! какіе давать обѣды: роскошь, изысканство, вкусъ!“—Это *credo*, какъ не труд-

но догадаться, и заставляет ихъ съ такимъ ожесточеніемъ накидываться на независимую свободу мнѣній... Вотъ сіи отчаянные вопли разстроившихся обѣдовъ съ роскошью, изяществомъ, вкусомъ, глубоко захвачены и воспроизведены съ достовѣрностью и точностью лѣтописца г. Некрасовымъ. Онъ передаетъ это „бѣшеное завываніе волковъ, у которыхъ выпали зубы“, ихъ собственными словами, не могущими не возбуждать чувства нерасположенія и злости. Вотъ они:

Боже пошли намъ терпѣнье!..
Или цензура воспрянь!
Всюду одно осужденіе,
Всюду нахальная брань!
Въ цивилизованномъ классѣ
Будто растленіе одно,
Вѣдность безмѣрная въ массѣ
(Гдѣ же берутъ на вино?)
Въ каждомъ найдется старанье,
Въ каждомъ продажная честь,
Только подъ шубой бараньей
Сердце хорошее есть!..

Нынче журналы читая,
Просто не вѣришь глазамъ,
Слышали—новость какая?
Мы же должны мужикамъ!..

Слышали? Все лишь подобье,
Все у насъ маска и ложь,
Глупость, развратъ, узколобье...

Мало, что въ сферѣ публичной
Трогаютъ всякій предметъ,
Жизни касаются личной!
Просто спасенія нѣтъ!
Если за добрымъ обѣдомъ
Выпилъ ты лишній бокалъ
И, поругавшись съ сосѣдомъ,
Громкое слово сказалъ,
Не говорю ужъ—подрался
(Рѣдко другъ друга мы бьемъ),
Хоть бы ты тутъ же обнялся
Съ этимъ случайнымъ врагомъ—
Завтра жъ въ газетахъ напишутъ!
Господи! что за скоты!..

... давно не очень
Жизнь на Руси груба была
И, какъ подь музыку, текла
Подъ градъ ругательствъ и пощечинъ...

Великій вѣкъ—великихъ мѣръ!
„Не разсуждать—повиноваться!“
Девизъ былъ общій...

Когда въ отвѣтъ стenaniямъ народа,
Мысль русская стонала въ полу-тонъ.

(Изъ „Медвѣжьей Охоты“.)

Но довольно... Это время безъ бурь и тревогъ мы теперь знаемъ; оно извѣстно всѣмъ. Оно и теперь еще живо въ русской памяти и не нуждается ни въ какихъ комментарiяхъ. Достаточно произнести одно слово, чтобы это время мрачной картиной воздвиглось передъ каждымъ... Такъ вотъ чего вы желаете! вотъ изъ какого золотого источника выходятъ ваши отрицанiя свободы мысли, ваши опасенiя и ваши своекорыстныя мѣропрiятiя! Вотъ почему вы считаете вредной независимую критику, и не желаете допустить свободы мнѣнiй! Вамъ не нужны дѣйствительныя истины...

Такимъ образомъ, выходя изъ такого нечистаго источника, прикрываясь тѣмъ или другимъ знаменемъ, особаго закала публика полагаетъ, что свободное выраженiе мнѣнiй, свободное обсужденiе всѣхъ вопросовъ и всѣхъ степеней важности можетъ повести за собой не добро, а зло, не благо, всегда и вездѣ зависящее отъ количества изслѣдованныхъ и открыто содержимыхъ мнѣнiй, находящихся въ пользованiи страны, а обратно: повести повальное нравственное и умственное разложенiе. Свои мнѣнiя и вѣрованiя этого рода публика считаетъ такимъ образомъ абсолютно-правильными, неприкосновенными и священными. А считая ихъ съ видимою самоувѣренностью такими, они далѣе утверждаютъ, что допустить ихъ изученiе и свободное выраженiе объ нихъ сужденiй—рѣшительно нельзя, ибо сейчасъ же явятся ложные пророки, ложныя толкованiя, посѣются сѣмена сомнѣнiя, смущенiя, и всѣ мирные граждане, въ самое непродолжительное время, совратятся съ путей добродѣтели... Слѣдовательно, для того чтобы разрѣшить — на чьей сторонѣ, въ

настоящемъ случаѣ, скрывается справедливость, намъ нужно рѣшить слѣдующіе вопросы. Во-первыхъ: если общепринятія мнѣнія и именно тѣ мнѣнія, которыя отстаиваетъ эта публика, дѣйствительно истинныя, то свободное обсужденіе ихъ, т. е. обсужденіе уже ложное, неосновательное, ведетъ ли всегда за собой разрушительныя для общества результаты, ведетъ ли къ невѣрію, къ анархіи, или, какъ утверждаемъ мы, — напротивъ, оно благотворно. Потомъ второй вопросъ, обратно: если общепринятія общественныя мнѣнія ложныя, и свободно обсуждающія ихъ — истинныя, то тогда что... Мы остановимся предварительно на первомъ положеніи. Слѣдовательно, намъ нужно будетъ допустить, что всѣ наши общепринятія мнѣнія, считающіяся большинствомъ за истинныя — дѣйствительно истинныя... Хорошо, мы и допускаемъ.

IV.

*) Исторія намъ свидѣтельствуетъ, что люди очень часто самообольщались открытыми ими истинами. Какъ ни прискорбно такое явленіе, но оно находитъ себѣ мѣсто во всѣ времена, ибо, какъ оказывается, всегда отыскивались личности, которымъ подобныя самообольщенія приносили прямыя или косвенныя выгоды. Достигая только до относительной истинности извѣстнаго мнѣнія, теоріи или доктрины, они начинали утверждать, что постигали ихъ абсолютно, на всѣ времена, непогрѣшимо... Возмутительное явленіе! Стыдъ и позоръ кладетъ оно на лица людей, считающихъ себя разумными и мыслящими существами!

Мы можемъ наслаждаться, гордиться найденными нами истинами, — держа ихъ все-таки для обсужденія постоянно открытыми, если только не желаемъ умышленно надувать себя ихъ правильностью; но сладко и самоувѣренно дремать съ ними, воспрещая безпристрастной и свободной критикѣ касаться ихъ, — не достойно мыслящаго существа. Честный и мыслящій человѣкъ можетъ въ подобномъ случаѣ говорить только одно: я обладаю истиною... пока противное не будетъ доказано. Своекорыстное несоблюденіе этого ра-

*) „Новое Время“ 1870 г., № 169.



зумаго правила породило официальные истины. Отсюда же вытекла ложная и пошлая уверенность людей в непогрешимости своих суждений, расплотивших нетерпимость и гонения. События доказывают, что человеческие мнения, по мере развития знаний, изменяются,—и с этим согласны все. И несмотря на это, относительно некоторых, более важных мнений, все-таки люди утверждают, что они всевышны! Есть ли тут логическая последовательность?... Не допускать высказывать суждения против мнений, хотя бы истинных и самых ценных (явятся или не явятся желающие принять на себя такой труд—это для нас в данном случае совершенно различно), не допускать высказывать суждения только потому, что нам кажется их истинность завершеною, это значит признавать себя непогрешимейшими судьями в самых труднейших вопросах. Это значит признавать свои убеждения безусловно правильными, и убеждения всех других людей — безусловно ложными. Но может ли здравый человеческий разум дойти до такой дерзкой смелости? Разумеется, нет. Каждый мыслящий человек, который имел бы уже больше оснований утверждать противное, непременно возстанет против такого шарлатанства невежд. И чем он будет более убежден, чем, следовательно, будет, повидимому, иметь больше оснований утверждать противное, тем он и возстанет энергичнее. Для примера я возьму самый наглядный пример. Я пишу настоящую статью стальным пером, ручка которого выточена из дерева. В том, что эта ручка действительно выточена из дерева и что она деревянная—в истинности этого „мнения“ я убежден гораздо сильнее, чем в истинности всех отвлеченных доктрин, которые я, однако, считаю за истинные и в которые верю. Я убежден в истинности этого мнения до такой степени живой уверенности, до какой, смею думать, сам Филипп II не был убежден в истинности своей святой католической веры. Я объявляю всем, что ручка, которою я пишу, действительно деревянная... Но вот ко мне подходят люди и также объявляют, что они имеют некоторые основания предполагать, что ручка, о которой я

съ такою увѣренностью говорю; есть не деревянная!!! Какъ я откажусь отъ выслушанія ихъ мнѣнія (воспрещу ли имъ говорить его, или только не пожелаю его слушать — это все равно)... Какъ я заранѣе, не зная ихъ доводовъ, окрещу такихъ людей именемъ лжецовъ и еретиковъ? Напротивъ, я съ полнѣйшею радостью стану внимать ихъ возраженіямъ. Я даже самъ отправлюсь отыскивать такихъ людей, если только узнаю навѣрное, что такіе господа дѣйствительно существуютъ и докажутъ мнѣ мое заблужденіе. Я отдамъ имъ за это свое разубѣжденіе все, что имѣю, даже сниму послѣдній крестъ съ себя... Такъ сильно увѣренъ я въ истинности этого мнѣнія и такъ горячо я желалъ бы, чтобы даже и въ такомъ случаѣ мнѣ было доказано мое заблужденіе! И такимъ образомъ непремѣнно поступить каждый со своими истинами, если только онъ не захочетъ себя недобросовѣстно обманывать. Тутъ является полнѣйшее желаніе слышать убѣжденіе противное нашему, имѣющее смѣлость говорить намъ, что мы заблуждаемся. Тутъ могутъ встрѣчаться такіа столкновения, когда человѣкъ дѣйствительно легко рѣшится поставить на карту все, чтобы только имѣть пріятность видѣть себя разубѣжденнымъ. И вотъ законъ для разумныхъ людей: чѣмъ глубже мыслящій человѣкъ убѣжденъ въ истинности извѣстнаго мнѣнія, тѣмъ шире въ немъ желаніе выслушать объясненія, доказывающія его заблужденіе, т.-е. что убѣжденіе въ истинности мнѣнія прямо пропорціонально желанію слышать доказательства неистинности мнѣнія.

Устанавливая такой законъ, я не думаю его ограничивать для громаднаго большинства неразумныхъ людей, изъ которыхъ, какъ мнѣ могутъ возразить, очень много найдется глубоко убѣжденныхъ въ истинности своихъ мнѣній, и въ то же время вовсе не желающихъ слышать доказательства ихъ истинности. Въ подтвержденіе справедливости такого возраженія, иные, можетъ быть, сочтутъ нужнымъ представить тѣмъ историческимъ личностямъ, во вкусѣ упомянутаго сейчасъ мною Филиппа II. Но всѣ эти факты и все ихъ краснорѣчіе ровно ничего не будетъ доказывать. Дѣло въ томъ, что убѣжденіе убѣжденію — розъ бываетъ. Одну увѣренность въ истинности извѣстнаго мнѣнія можно

назвать глубокимъ убѣжденіемъ, и это будетъ дѣйствительное убѣждение, потому что основано на самыхъ лучшихъ началахъ, а другая увѣренность будетъ чортъ знаетъ что, „сапоги всмятку“, а не убѣждение. И не можетъ оно назваться убѣжденіемъ никогда, потому что оно не прошло черезъ тѣ реторты и снаряды, черезъ которые проходить всякое дѣйствительное убѣждение, прежде чѣмъ оно сдѣлается такимъ: — оно не жглось въ пламени свободной критики. Вотъ, если бы всѣ эти убѣжденія погорѣли бы въ немъ, да закалились бы—ну, тогда дѣло другое; тогда можно было бы ихъ назвать глубокими убѣжденіями, а безъ этого всякій сумбуръ, всякую белиберду, витающую въ головахъ такихъ публицистовъ,—какъ Краевскаго, Каткова или Старчевскаго, болѣе порядочные люди всегда будутъ величать ихъ неотъемлемыми именами.

Такимъ образомъ, слѣдовательно, обнаруживается, что люди, чѣмъ слабѣе убѣждены въ истинности извѣстныхъ мнѣній, тѣмъ они больше не желаютъ выслушивать доказательствъ мнѣній противныхъ, тѣмъ они, значить, нетерпимѣе. Изъ весьма достовѣрныхъ источниковъ извѣстно, что человѣкъ, чѣмъ вообще имѣетъ меньше убѣждений, тѣмъ онъ неразсудительнѣе и невѣжественнѣе. Это кажется очень просто. Наши провинціи могутъ въ этомъ отношеніи служить самыми убѣдительными примѣрами.—Такіе люди, думающіе и разсуждающіе только желудкомъ, отличаются самой необузданной и самой дикой нетерпимостью. Слѣдовательно: непогрѣшимость и невѣжество — синонимы. Но если допустить свободное выраженіе мнѣній и противъ высочайшихъ истинъ, важность которыхъ не имѣетъ предѣловъ, то не значить ли этимъ прямо обнаружить свое сомнѣніе въ этихъ истинахъ, свою неувѣренность въ ихъ непогрѣшимости? Мыслящіе люди требуютъ анализа вопросовъ, основанія которыхъ непоколебимы. Мы не знаемъ, къ чему приведутъ ихъ изслѣдованія, но если они уже будутъ во всякомъ случаѣ анализировать такія истины, которыя стоятъ выше всякаго анализа,—то этого достаточно, чтобы такое дерзкое помышленіе могло счестся оскорбительнымъ для святости истины. Какъ ни лукавствуйте, но, желая

свободнаго обсужденія общепринятыхъ истинъ, вы, мыслящіе люди, непременно не вѣрите въ нихъ. Грубое заблужденіе! Вы говорите, что это высочайшія истины?—Хорошо. Но въ такомъ случаѣ дайте же намъ возможность и убѣдиться въ этой важности настолько же полно и глубоко, насколько того требуетъ сама важность вопроса. Мыслящимъ людямъ желательны тѣ истины, значеніе которыхъ, по вашимъ словамъ, не имѣетъ предѣловъ, видѣтъ въ своемъ сознаніи не закрытыми глазами, а открытыми; они хотятъ знать ихъ такъ, какъ только можетъ разумное существо знать самыя драгоценныя для него мнѣнія, т. е. всесторонне и всеобъемлюще. Путь къ этому извѣстенъ... Вотъ только объ этомъ мы и хлопочемъ.

Итакъ, говорю еще разъ, я допускаю, что всѣ мнѣнія, общепринятія въ нашемъ обществѣ, абсолютно истинны; болѣе важныя — охраняются имъ болѣе бдительно, менѣе важныя — менѣе бдительно. Будемъ же теперь смотрѣть, какія разрушительныя послѣдствія вытекаютъ для неразвитыхъ массъ отъ свободнаго обсужденія болѣе важныхъ изъ такихъ непреложныхъ мнѣній.

„Освободитель умственнаго развитія Европы“, Декартъ, устанавливая принципы новой философіи, которая, впрочемъ, для нашего времени уже давно перестала быть новой, высказалъ также положеніе, — „что умъ человѣческій долженъ останавливаться только на очевидности, имъ самимъ приобрѣтенной“. Положеніе это, взятое отдѣльно, безъ общихъ толкованій Декарта, справедливо. „Когда я, говоритъ французскій философъ, приступилъ къ изысканію истины, я нашелъ, что лучшее средство для этого отбросить все, что я получилъ, и отказаться отъ моихъ старыхъ мнѣній, съ тѣмъ чтобы положить имъ новое основаніе; я думалъ, что такимъ образомъ легче выполню великую задачу жизни, чѣмъ если бы держался старыхъ началъ, которыя я принялъ въ молодости, не разсматривая, дѣйствительно ли они вѣрны (Бокль. „Исторія Цивилизацій“ Кн. II, стр. 439). Изъ такихъ объясненій, слѣдовательно, вытекаетъ, что для того, чтобы познать истину, „прежде всего должно освободиться отъ предразсудковъ и поставить себѣ цѣлью отвергнуть до но-

ваго испытанія все, что мы приняли прежде“, и затѣмъ. приступая къ изысканіямъ, останавливаться уже только на тѣхъ очевидностяхъ, которыя будутъ тогда нами замѣчены. Слѣдовательно, въ основѣ изысканія истины человѣкомъ. должно лежать его „я“, а не я какого-нибудь Ивана Яковлевича Корейши...

Не подлежитъ сомнѣнію, какъ я уже и говорилъ,—что истина, чѣмъ значительнѣе въ глазахъ общественнаго мнѣнія, тѣмъ съ большею силою она должна приковывать наше вниманіе, тѣмъ съ большею энергіею, откинувъ предразсудки и предвзятыя понятія, мы должны приложить и стараніе убѣдиться въ ея очевидности. Надъ чѣмъ же мыслящимъ существамъ и раскрывать свои способности, какъ не надъ предметами первостепенной важности?... Устанавливая въ своей философіи принципъ, могущій для очень многихъ казаться атеистическимъ, Рене Декартъ обратился къ самому драгоценнѣйшему мнѣнію для людей, именно къ вопросу о существованіи Бога. Но анализируя его (вопросъ), онъ пришелъ въ окончательномъ результатѣ къ тому выводу: что такъ какъ „я есмь то, что думаетъ,—то бытіе Бога не подлежитъ никакому сомнѣнію“. Не правда ли, какъ это просто и остроумно?... Не вытекаетъ ли отсюда то, что истина всегда останется истиной,—и только заблужденія, при правильномъ методѣ изслѣдованія, выкинутся вонъ?

Но не въ этомъ кроется главная сторона дѣла. Недопущеніе свободнаго и всесторонняго обсужденія мнѣній, считающихся за непреложно истинныя, ведетъ за собой еще болѣе важныя послѣдствія. Всякая истина, если она не имѣетъ людей, которые посвятили бы себя ей на безкорыстное служеніе, которые бы изслѣдовали ее и о которой свободно излагали бы свои мнѣнія, всякая такая истина, захваченная въ руки однихъ благородныхъ и слѣпыхъ послѣдователей, неизбежно современемъ покрывается плѣсенью и награждаетъ своихъ адептовъ еще болѣею слѣпотою и скудоуміемъ. Плѣсенью она покрывается оттого, что до нея не касаются человѣческія руки, и она пребываетъ въ ненарушномъ спокойствіи; слѣпота же послѣдователей обнаруживается оттого, что они, ничего не считая нужнымъ разсма-

тривать, до крайней степени отучаютъ свое зрѣніе совершать его специальное отправленіе. Когда въ полѣ нѣтъ враговъ, говорить одно старинное поученіе, то воины обыкновенно дремлютъ или засыпаютъ, когда же враги наступаютъ, воины пробуждаются, воодушевляются и оказываютъ удивительнѣйшіе подвиги геройства и мужества. Въ жизни всѣхъ вѣковъ, если мы обратимся къ прожитымъ событіямъ, люди дѣйствительно только тогда и являются передъ нами болѣе энергичными и болѣе дѣтельными, когда то или другое обстоятельство ихъ затрогиваетъ за живое. Обыкновенное ихъ состояніе было состояніемъ мертвѣго могильнаго покоя, именно такого состоянія и такого покоя, которые самымъ неизбѣжнымъ образомъ ведутъ всѣхъ и каждого къ отупѣнію и идиотизму. Живая увѣренность въ истинности мнѣнія при такомъ условіи исчезаетъ; имѣвшіяся кой-какія разумныя основанія засариваются, теряютъ всякую разумность и всякое внутреннее достоинство; истина извращается въ догму, въ пустое слово, въ форму съ испарившимся содержаніемъ; люди не замѣчаютъ по слѣпотѣ, что и они точно такъ же, какъ и ихъ истины, начинаютъ покрываться толстымъ слоемъ плѣсени,—и все другое, великое, потомъ и кровью доставшееся одному поколѣнію, погибаетъ на неопредѣленное время въ мирной средѣ послѣдующихъ поколѣній... Всѣ нравственныя доктрины испытали такую судьбу. Пока онѣ были гонимы, пока имъ приходилось вести ожесточенную борьбу за свое существованіе и отстаивать всѣми своими вѣличными средствами каждый день своей жизни, онѣ казались энергичны, дѣтельны, предприимчивы; онѣ дышали терпимостью, всепрощеніемъ, братской любовью; онѣ съ изумительной послѣдовательностію прилагали свои нравственные принципы ко всѣмъ поступкамъ; онѣ были разсудительны, внимательны къ доводамъ противниковъ; онѣ приводили всѣхъ въ восторгъ своею добропорядочностію. Но лишь только подымался для нихъ попутный вѣтеръ, лишь только такія гонимыя доктрины начинали ощущать подъ ногами твердую почву и замѣчать, что онѣ пріобрѣтаютъ права гражданства, признаются господствующими,—тактика ихъ начинала очень быстро перемѣняться. Онѣ зазнавались; прежняя

добропорядочность, какъ рукой снималась, — и на мѣсто ея гордой поступью выходили двѣ кровныхъ родственницы: непогрѣшимость и нетерпимость. Припомните для большей наглядности первыхъ христіанъ и ихъ братское, коммунистическое сожительство.

Точно въ такомъ-же родѣ приключаются исторіи, когда въ среду того или другого народа, сладко спящаго подъ плѣсенью со своими сгнивающими истинами, вступаетъ новое ученіе, отвергающее туземное. Люди тогда быстро просыпаются, протираютъ глаза и принимаются за дѣло. Истлѣвшіе остатки истинъ собираются и старательно очищаются. Возгорается жаркій споръ, обмѣнъ мнѣній, свободная критика. Всѣ стоятъ на ногахъ; всѣмъ приходится работать головой, искать доводовъ, убѣждаться, сознательно осмысливать свои сужденія... Когда протестантизмъ ворвался въ католическую Францію и бурной рѣкой понесся по ея равнинамъ, то растлевающее французское общество вдругъ хватилось за голову и съ небывалой энергіей приступило къ очищенію своихъ мнѣній. Для папы наступила въ такую пору довольно щекотливая минута. Но это происходило только вслѣдствіе того, что онъ самъ слишкомъ мало былъ увѣренъ въ истинности принциповъ, отъ которыхъ держалъ въ своихъ рукахъ ключъ, и еще меньше былъ увѣренъ въ крѣпости сердце своей покорной паствы. Кореро, бывшій посланникомъ въ то время во Франціи, писалъ по этому случаю слѣдующее въ 1569 году:— „По моему, писалъ онъ, папа могъ бы сказать, что онъ отъ этихъ волненій гораздо болѣе выигралъ, нежели проигралъ, ибо мнѣ кажется, что до этого раздвоенія распущенность жизни была столь велика, и благоговѣніе къ Риму, къ тому, что въ немъ находилось, столь слабо, что папа считается скорѣе италіанскимъ государемъ, нежели главою церкви и отцомъ всемірной паствы. Но какъ только поднялись гугеноты, католики стали чтить его и самого его признавать истиннымъ намѣстникомъ Христовымъ; они все болѣе и болѣе укрѣплялись въ этомъ убѣжденіи по мѣрѣ того, какъ власть папы отрицалась и ниспровергалась гугенотами“. Такимъ образомъ, гугеноты, нападая на господствовавшее ученіе во Франціи, недовольствуясь старыми фор-

мами и отыскивая новыя, тѣмъ самымъ пробудили людей и послужили, съ самою примѣрною преданностью, къ благодѣйствию тѣхъ истинъ, противъ которыхъ они вооружились. Безъ нихъ, святой отецъ, можетъ быть, потерялъ бы со временемъ для французскихъ католиковъ всю свою святость, потерялъ бы безвозвратно, навсегда. Но гугеноты предупредили такое трогательное для папской власти событіе. Они, вызванной ими борьбой, укрѣпили ея истинность въ сознаніи массъ, влили жизнь, силу въ истлѣвавшіе принципы. Гугеноты погибли. Условія, при которыхъ они окончили свое земное странствованіе, весьма назидательны и достойны упоминовенія. Они самымъ удовлетворительнымъ образомъ объясняютъ намъ, до какой степени иногда бываетъ неосновательна боязнь того, что въ сущности далеко не имѣетъ устрашающихъ послѣдствій, и до такой степени бываютъ напрасны опасенія людей, впадающихъ въ ярость, когда они замѣчаютъ, что въ ихъ уютныя помѣщенія пробирается новая мысль, проникаетъ новая струя воздуха. Когда явился протестантизмъ во Франціи, его сейчасъ же поспѣшили отправить подъ спудъ, какъ вещь зловредную, могущую совратить съ путей добродѣтели благочестивыхъ гражданъ и потрясти всѣ священные и неприкосновенныя основы государства. Но чудное дѣло! — протестантизмъ подъ спудомъ не только не унялся, но дѣйствовалъ еще съ большей энергіей, плодился и множился, какъ песокъ морской, ежеминутно стремясь съ невѣроятной силой выйти наружу и затопить все святое... Тогда нашлись такіе смѣлые люди, которые выпустили его на Божій свѣтъ и снова: о, чудное дѣло! — протестантизмъ сталъ истощаться и вымирать: — вожди покидали своихъ преслѣдователей, церкви закрывались; по прошествіи непродолжительнаго времени онъ и совсѣмъ прекратился, такъ что страшныхъ гугенотовъ какъ будто никогда и не существовало, и какъ будто они никогда не грозили опасностью государству. Кто знаетъ, до какихъ громадныхъ размѣровъ, можетъ быть, дошла бы подземная дѣятельность протестантовъ, не усипленныхъ еще покровительствомъ правительства, если бы не проникъ вмѣстѣ съ ними во французское общество и болѣе свѣтскій взглядъ на богословскіе вопросы, и

если бы не выступилъ на арену политической дѣятельности Ришелье. Можетъ быть, въ настоящее время, вслѣдствіе болѣе продолжительнаго гнета и гоненія новыхъ мнѣній, мы имѣли бы теперь передъ своими глазами совоѣмъ другія декораціи во Франціи, чѣмъ мы ихъ видимъ... Нашъ расколъ, извѣстный намъ довольно близко, какъ нельзя лучше подходитъ тоже сюда. Его настоящее преслѣдованіе и гоненіе, его истязаніе, пытки и казни, недозволеніе ему открыто и свободно высказать свои мудрствованія и выслушать на нихъ объясненія, породили множество тайныхъ толковъ и размножили его послѣдователей чуть ли не до десяти милліоновъ! Теперь же, съ объявленіемъ всѣмъ этимъ господамъ ихъ терпимости, ростъ ихъ остановился; они уже не множатся, а видимо ослабѣваютъ, теряютъ для неразвитыхъ людей весь свой букетъ; они вымираютъ. Будетъ, конечно, время, когда изъ подобныхъ людей не останется ни одного сторонника, и послѣдуетъ оно тѣмъ скорѣе, чѣмъ всестороннѣ имъ будетъ оказана терпимость. Въ особенности это близко относится до толковъ, признающихъ еще отчасти и теперь зловердными. И не только до однихъ раскольничьихъ толковъ, но и вообще всякихъ толковъ, не исключая изъ этого числа и такъ называемыхъ неугомонныхъ социалистовъ, кажущихся теперь въ глазахъ однихъ ангелами спасителями, а въ глазахъ другихъ исчадіями ада. Дайте человѣку высказаться вполнѣ, совѣтуетъ житейскій опытъ, не прерывайте его потоковъ краснорѣчія (не говорю уже: поддакивайте ему; тогда онъ даже со злостью замолчитъ, возьметъ шляпу и уйдетъ отъ васъ), — нѣтъ, а вы только не прерывайте потоковъ его краснорѣчія, дайте ему договориться до конца, дайте натерѣть кровавыя мозоли на языкѣ — и онъ утратитъ для васъ всю очаровательность, которая такъ ярко блистала при вашемъ поверхностномъ на него взглядѣ. Онъ поблекнетъ, завянетъ... Никогда не слѣдуетъ забывать, что праотецъ Адамъ вкусилъ съ Евою запрещенный плодъ отъ древа познанія добра и зла только потому, что онъ имъ былъ строжайшимъ образомъ запрещенъ. Преданіе тутъ весьма вѣрно подмѣтило одну изъ самыхъ крупныхъ особенностей въ человѣческомъ характерѣ. Подобные несчастные

случаи совершаются и въ настоящее время тысячами съ нашими молодыми людьми, вкушающими горькіе плоды отъ древа социализма. Гдѣ больше строгости, тамъ всегда больше и грѣха.

Но, можетъ быть, иные скажутъ, что истины, имѣя всегда около себя сонмъ друзей и учителей, не нуждаются въ открытой борьбѣ съ врагами именно потому, что эти друзья и учителя сами собой неусыпно блюдутъ за ихъ чистотой и цѣломудріемъ. Они ихъ изучаютъ, поясняютъ и украшаютъ для всѣхъ. Они сами воображаютъ передъ собой враговъ, сообщаютъ своимъ слушателямъ ихъ еретическія мнѣнія и представляютъ на эти еретическія мнѣнія свои возраженія; сами учатъ свою паству познавать лжеумствованія противниковъ обнаженіемъ ихъ ложныхъ основаній, ихъ началъ, на которыхъ создаются противниками отступническія и дикія убѣжденія... Развѣ этого недостаточно для сравненія, размышленій и сознательнаго постиженія истины? О, конечно, далеко не достаточно! Истина нуждается въ настоящихъ, живыхъ врагахъ, а не въ бумажныхъ куклахъ; нуждается въ настоящей борьбѣ, со всѣми ея кровавыми ужасами, а не въ кукольномъ театрѣ, могущемъ оказывать пользу только одному антрепренеру. Друзья всегда своекорыстны, пристрастны, лукавы; они всегда стараются показывать дѣйствительность въ ложномъ свѣтѣ: они искажаютъ факты противниковъ, опускаютъ изъ нихъ одни, умышленно обходятъ молчаніемъ другіе, лгутъ, клеветаютъ. Таковы всѣ друзья,—и такіе вѣрные, преданные друзья для истины, конечно, хуже враговъ...

По теоріи Дарвина, совершенствуется въ выгодномъ для себя и для своего рода направленіи только то, что, во-первыхъ, ведетъ борьбу, находится въ дѣятельномъ, энергическомъ и напряженномъ состояніи, а во-вторыхъ, что обставлено естественными условіями. У дойныхъ коровъ, проживающихъ въ безмятежномъ спокойствіи, никакихъ способностей, выгодныхъ для нихъ и ихъ потомковъ, развиваться не можетъ. Все, что появляется и совершенствуется въ организации такихъ безсловесныхъ животныхъ, все это идетъ въ пользу не имъ, а поступаетъ въ карманы ихъ

попечителей, заботящихся исключительно только о томъ, изъ чего можетъ представиться возможность извлекать самое большое количество котлетъ и ростбифовъ. Съ истинами, прибывающими не на свободѣ, а въ неволѣ, въ „прирученномъ“ состояніи, дѣлается то же самое... Слѣдовательно, мы теперь приходимъ къ открытію совершенно обратныхъ послѣдствій, вытекающихъ для общества отъ свободнаго выраженія мнѣній по вопросамъ всѣхъ степеней важности, чѣмъ это увѣряетъ „публика“. Именно мы убѣждаемся теперь, что всесторонній анализъ, добросовѣстное обсужденіе, свобода, свобода и еще разъ свобода оказываются весьма необходимы для всѣхъ истинъ...*)

Изъ „Новаго Времени“. Статья Ивы (И. В. Андреева?).

1872 г.

**) Поэзія г. Некрасова составляетъ явленіе до сихъ поръ необъясненное нашей критикой. Въ то время, когда стихи его читались и заучивались чуть ли не всею Россіей, и въ особенности Петербургомъ, гдѣ онъ имѣлъ наибольшее число поклонниковъ—критика или молчала о немъ, или ограничивалась голословными похвалами или не менѣе голословными намеками личнаго и мелочного свойства. Въ то время, когда журналы наши старались „проводить въ публику“ гг. Майкова, Полонскаго, Фета, Тютчева, Мея, разъясняя тонкія красоты ихъ поэзіи и борясь всѣми силами съ тѣмъ равнодушіемъ, въ которомъ естественно упорствовала публика, еще очень мало развившая и очистившая свой вкусъ и неподготовленная къ эстетическимъ наслажденіямъ—никто изъ лучшихъ критиковъ той эпохи, ни Бѣлинскій, ни Боткинъ, ни Аполлонъ Григорьевъ, не предпринимали подобныхъ усилій ради г. Некрасова. А между тѣмъ г. Некрасова полюбили, талантъ его поняли, и было время—именно въ концѣ пятидесятихъ и въ началѣ шестидесятихъ годовъ—когда этотъ поэтъ пользовался популярно-

*) Еще за 1870 г. о Некрасовѣ см. „Иллюстрированная Газета“ № 2 (ст. М. М—на); „Искра“, № 11 („Господа потише“); „С.-Петербургскія Вѣдомости“, № 115.

**) „Русскій Міръ“ 1872 г., № 122. Статья А. О. (В. Г. Авѣенко).

стію и любовью своихъ многочисленныхъ почитателей въ большей степени, чѣмъ самые даровитые корифеи новой русской литературы. Случилось такъ, что г. Некрасовъ *самъ* провелъ себя въ публику, заставилъ понять и полюбить себя помимо критическихъ толкованій и разъясненій, безъ которыхъ стихи г. Фета, напримѣръ, едва ли сдѣлались бы доступны значительной массѣ читателей.

Если мы правильно объяснимъ себѣ, почему именно поэзія г. Некрасова нашла такой легкій доступъ къ сочувствію и пониманію массъ, тогда какъ для того, чтобы провести въ ту же самую публику другихъ поэтовъ, потребовалось не мало талантливыхъ усилій лучшихъ знатоковъ и цѣнителей поэзіи—тогда сами собою опредѣлятся для насъ значеніе и характеръ некрасовской музы. Ошибочно было бы думать, что поэзія г. Некрасова не нуждалась въ услугахъ журнальной критики по какимъ-либо подавляющимъ своимъ достоинствамъ, по своему превосходству, по своей несомнѣнности. Напротивъ, общія требованія поэзіи нигдѣ не получаютъ такого скуднаго удовлетворенія, какъ въ стихахъ г. Некрасова. Идеаловъ у него никакихъ, возбужденіе никогда не отзывается искренностью, образы большею частью блѣдны и шероховаты; самый стихъ г. Некрасова, въ то время какъ другіе поэты доводили выработанность его до удивительной виртуозности, отличался всегда тяжелой неуклюжестью, неровностью, и если по временамъ въ этомъ стихѣ чувствовалась сила, то эта сила весьма походила на заимствованную изъ передовыхъ статей и журнальныхъ трактатовъ. Въ этихъ-то свойствахъ поэзіи г. Некрасова и заключается, какъ намъ кажется, тайна той популярности, какою всегда пользовались произведенія его музы. Стихотвореніе, построенное на высшихъ, неумовимыхъ законахъ поэзіи, проникнутое красотой и страстью, облеченное въ гибкій, изящный, виртуозно-отчеканенный стихъ, нуждается въ присутствіи въ самомъ читателѣ нѣкоторой доли того высшаго развитія, которымъ обладаетъ поэтъ. Такіе читатели никогда не преобладаютъ въ массѣ. Напротивъ, поэзія нѣсколько грубоватая, облекающая въ выразительный стихъ ходячія, общедоступныя идеи, понятна и

родственна каждому. Она не требует отъ читателя, чтобъ онъ оторвался отъ круга своихъ ежедневныхъ будничныхъ мыслей и вступилъ въ непривычную для него сферу приподнятыхъ идей, тонкихъ красотъ и эстетическаго сіянія: она сама услужливо спускается до его будничнаго уровня и увѣряетъ его, что за этимъ уровнемъ ничего нѣтъ и ничего не нужно.

Г. Некрасовъ всегда былъ по преимуществу поэтомъ массы. Никому не придетъ въ голову докапываться въ его стихотворенія глубины мысли или чувства. Идеи, въ которыхъ онъ почерпаетъ свое вдохновеніе, совершенно по плечу каждому, и въ особенности каждому петербургскому чиновнику, мало-мальски свободно относящемуся къ своему начальству. Если мы попробуемъ навязать на ниточку идейки, особенно часто развиваемыя имъ и служащія основой самыхъ извѣстныхъ его стихотвореній, мы будемъ поражены ихъ незатѣйливостью. Нехорошо обжираться въ англійскомъ клубѣ и проматывать родовыя состоянія на француженокъ, нехорошо пьянствовать и ругаться; бѣдность не порокъ, особливо когда она есть результатъ честности; достойно сожалѣнія, когда честная мысль не можетъ быть свободно высказана; богатый и знатный человѣкъ обыкновенно нечувствителенъ къ горю бѣдняка; произволъ предварительной цензуры портитъ кровь у сочинителей, хорошая погода лучше дурной, а свобода лучше рабства—вотъ тотъ заколдованный кругъ идей, въ которомъ держится г. Некрасовъ и изъ котораго онъ не только не можетъ, но и не пытается вырваться. Подобныя идеи нельзя предвозвѣщать, потому что онѣ уже присутствуютъ во всякомъ мало-мальски сложившемся обществѣ, и потому г. Некрасовъ во всю свою двадцатилѣтнюю поэтическую дѣятельность ничего не предвозвѣстилъ и не открылъ, а только облекалъ въ стихъ маленькія мысли, высказываемыя свободно-мыслящими департаментскими чиновниками, не слишкомъ бойкими фельетонистами и совершенно темными литераторами, попавшими умирать въ обуховскую больницу. Высказывалъ все это г. Некрасовъ съ извѣстнымъ талантомъ, иногда не безъ нѣкоторой пикантности, а въ немногихъ случаяхъ съ не-

поддѣльною поэзіей (таково, напр., стихотвореніе: „Вду ли ночью по улицѣ темной“). Правда, въ лучшихъ стихотворенія г. Некрасова постоянно слышались отголоски тѣхъ мрачныхъ англійскихъ и нѣкоторыхъ французскихъ поэтовъ, которыхъ въ послѣднее время въ такомъ обилии переводятъ г. Минаевъ и прочіе поэты „Отечественныхъ Записокъ“, но для публики пятидесятихъ годовъ фактъ заимствованія оставался неизвѣстнымъ, а нѣкоторый петербургскій отгѣнокъ, искусно сообщаемый г. Некрасовымъ своимъ произведеніямъ, придавалъ имъ оригинальный характеръ.

Съ прекращеніемъ „Современника“ муза г. Некрасова сохранила прежнюю плодovitость, но въ качественномъ отношеніи произведенія ея обнаружили сильный ущербъ. Пренія достоинства оскудѣли, новыхъ не сказалось. Если г. Некрасовъ всегда отличался крайнимъ пренебреженіемъ къ формѣ (а зачѣмъ прибѣгать къ поэтической формѣ, когда ею пренебрегаешь?), то въ прежнее время онъ, по крайней мѣрѣ, строго слѣдилъ за выразительностью стиха и подобающею краткостью; въ послѣднихъ же его произведеніяхъ стихъ сдѣлался окончательно дряблымъ, болтливымъ, а размеры ихъ дошли до крайнихъ предѣловъ. Такую длинную и водянистую вещь, какъ его поэма: „Кому на Руси жить хорошо“, едва ли одобрили даже записные поклонники нашего поэта. Въ настоящее время г. Некрасовъ задумалъ тоже весьма большой, повидимому, трудъ, подъ заглавіемъ „Русскія Женщины“, часть котораго появилась въ апрѣльской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“. Если бы мы вадумали выловить изъ этой поэмы ея основную идею и формулировать краткой фразой ея мораль (извѣстно, что у г. Некрасова всегда есть мораль, и въ этомъ отношеніи онъ приближается къ баснописцамъ), мы, безъ сомнѣнія, были бы до крайности поражены крохотностью и ветхостью этой идеи и этой морали. Дѣйствительно, г. Некрасовъ желаетъ только сказать, что декабристъ князь Т. былъ человѣкъ образованный и развитой, что жена его, рѣшившаяся слѣдовать за нимъ въ Сибирь, поступила великодушно, и что положеніе ихъ обоихъ было тяжелое. Противъ этого трудно спорить, но еще труднѣе не усомниться, чтобы во всемъ этомъ было

что-либо новое или глубокое. Затѣмъ остается изложеніе, развитіе сюжета—и увы!—въ этомъ отношеніи весьма немногія строки напоминаютъ прежняго г. Некрасова. Стихъ дряблый, безъ мѣры болтливый, устарѣлый, отзывается какими то давно забытыми виршами двадцатыхъ годовъ. Вотъ для примѣра такой куплетецъ:

Ея ленты алая вплели
Въ двѣ русыя косы,
Цвѣты, наряды принесли
Невиданной красы.

Пишетъ ли кто-нибудь такъ въ настоящее время? Не напоминаетъ-ли этотъ куплетецъ старые-престарые вирши, предшествовавшіе русскимъ балладамъ Жуковского и сказкамъ Пушкина? Затѣмъ слѣдуютъ обильныя подражанія Рылѣву:

Луна плыла среди небесъ
Безъ блеска, безъ лучей,
Налѣво былъ все тотъ же лѣсъ,
Направо — Енисей.
Темно! На встрѣчу ни души;
Ямщикъ на козлахъ спалъ,
Голодный волкъ въ лѣсной глуши
Пронзительно стоналъ,
Да вѣтеръ бился и ревѣлъ,
Играя на рѣкѣ,
Да инородецъ гдѣ-то пѣлъ
На *странномъ* (?) языкѣ.
Суровымъ паѳосомъ звучалъ
Невѣдомый языкъ,
И пуше сердце надрывалъ,
Какъ въ бурю чайки крикъ.

Смѣемъ увѣрить г. Некрасова, что подобныя подражанія поэтамъ двадцатыхъ годовъ ничего не прибавятъ къ его литературной репутаціи.

В. Г. Асѣенко.

* * *

I.

... Первые будутъ послѣдними!...

*) Современная русская беллетристика, съ нѣкотораго времени, служить козломъ очищенія на непорочномъ жертвенникѣ нашей журнальной критики. Нѣтъ такого литературнаго лагеря, который бы не считалъ своею священной обязанностью бросить въ нее своимъ осужденіемъ и рѣзкимъ приговоромъ. Со всѣхъ сторонъ сыпятся на нее обвиненія въ безцвѣтности и въ полнѣйшемъ отсутствіи художественнаго элемента. Говоря откровенно, даже въ обвиненіяхъ лилипутовъ есть своя доля правды, и я вовсе не думаю принимать на себя защиту осуждаемой. Но когда суровые обличители современной беллетристики, обличая ее несомнѣнные недостатки, дѣлаютъ въ то же время умильные глазки беллетристикѣ 40-хъ и конца 50-хъ годовъ, когда они унижаютъ первую для того, чтобы возвеличить вторую, когда они тычатъ намъ въ глаза художественными авторитетами „временъ Бѣлинскаго“—то, уже извините, при всемъ моемъ предубѣжденіи къ оптимизму, я готовъ сдѣлаться въ этомъ случаѣ оптимистомъ, я готовъ воскликнуть: „нѣтъ, то, что *есть*, все же гораздо лучше того, что *было*!“ „Яркость“ и „художественность“ беллетристикъ прошлыхъ десятилѣтій—это, мнѣ кажется, одно изъ самыхъ нелѣпыхъ и неосновательныхъ мнѣній: и „старые“ беллетристы были такими же плохими ходожниками, какъ и новые, они отличались тѣми же недостатками, какими отличаются и „новѣйшіе“; такъ называемая „художественность“ отсутствуетъ въ произведеніяхъ первыхъ столько же, сколько и въ произведеніяхъ вторыхъ, если не больше. „Какъ! воскликнуть защитники старыхъ авторитетовъ, какъ, а гг. Тургеневъ, Писемскій, Гончаровъ,—развѣ это не художники! Развѣ это не

*) „Дѣло“ 1872 г., № 11. Статья Постнаго (П. Н. Ткачова), подъ заглавіемъ: „Неподкрашенная старина“. Настоящая статья помѣщается здѣсь болѣе въ виду ея общаго смысла по отношенію къ русской литературѣ, нежели какъ разборъ романа „Три страны свѣта“.

Примѣч. В. Зелинскаго.

„художественные перлы и алмазы“ беллетристики сороковых годовъ. Найдите-ка что либо подобное имъ въ вашей современной беллетристикѣ! Ну, гг. Тургеневъ, Писемскій и Гончаровъ пишутъ и теперь, — отчего же, однако, ихъ „современныхъ произведеній“ никто не находитъ „художественными перлами и алмазами“? Отчего въ своихъ „Взбаламученномъ Морѣ“, „Отцахъ и Дѣтяхъ“ и въ „Обрывѣ“ они такъ близко подходятъ къ новѣйшимъ сочинителямъ романическихъ сплетней, въ родѣ гг. Лѣсковыхъ и Ключниковыхъ, что становится труднымъ опредѣлить, гдѣ кончается „старѣйшій“ беллетристъ и гдѣ начинается „новѣйшій“? Я знаю тѣ „смягчающія обстоятельства“, которыя приводятъ обыкновенно въ пользу старыхъ беллетристовъ; ихъ фіаско объясняется недостаточностью ихъ умственного развитія, общимъ складомъ ихъ міросозерцанія, помѣшавшимъ имъ понять и оцѣнить современное поколѣніе и современныя потребности нашей жизни. Но, мнѣ кажется, это объясненіе нельзя считать вполне удовлетворительнымъ; къ тому же, мнѣ кажется, что оно рѣшительно противорѣчитъ основнымъ догматамъ тѣхъ самыхъ эстетиковъ, которые сдѣлали изъ гг. Тургенева, Писемскаго и Гончарова художественные авторитеты. Съ точки зрѣнія этихъ догматовъ признано, что на произведенія истиннаго художника не можетъ имѣть существеннаго вліянія его теоретическое міросозерцаніе; что оно только направляетъ его художественную дѣятельность на тѣ или другія стороны жизни, что оно лишь ограничиваетъ извѣстнымъ образомъ кругъ доступныхъ ему предметовъ; но что самая *художественность* изображенія этихъ предметовъ — не зависитъ оттого, либералъ авторъ или консерваторъ, идетъ онъ въ уровень съ прогрессомъ своего времени или отстать отъ него. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите, напр., хоть Антоніи Тролопа. Это несомнѣнный консерваторъ, напыщенный торі, человѣкъ вполне отсталый во всѣхъ отношеніяхъ, — однако, никто не станетъ утверждать, что собственно *художественная сторона* его произведеній страдаетъ отъ его консервативной отсталости. Изображаемые имъ характеры всегда производятъ на васъ впечатлѣніе характеровъ живыхъ людей, а не ходячихъ маріонетокъ, съ разными прищиплен-

ными къ нимъ ярлыками и аттестатами. А Тролопъ не Богъ знаетъ еще какой художникъ! Никто не поставитъ его на одну доску съ Диккенсомъ или Теккереемъ. Почему же онъ никогда не писалъ и не напишетъ ничего подобнаго „Взбаламученному морю“, „Отцамъ и Дѣтямъ“ и т. п? Почему онъ, отставая отъ своего времени, не перестаетъ быть художникомъ? Говорятъ, что художественность старыхъ авторитетовъ стала теперь *выдыхаться* (не я сочинилъ это слово; я беру его цѣликомъ изъ одной либеральной рецензіи, написанной по поводу одного изъ послѣднихъ рассказовъ г. Тургенева). Выдыхаться! но отчего же это только у однихъ насъ *выдыхаются* художники? Почему въ Англіи романы Диккенса и Теккерее, во Франціи романы Сю, Бальзака и Жоржъ-Занда, — романы, написанные лѣтъ 30, 40 тому назадъ, читаются и продолжаютъ интересоватъ публику; а мы считаемъ устарѣлыми и не станемъ перечитывать ни „Дворянскаго Гнѣзда“, ни „Записокъ Охотника“, ни „Тысячи Душъ“, ни „Обыкновенной Исторіи“ и т. п. Почему, однимъ словомъ, произведенія нашихъ беллетристическихъ авторитетовъ всегда такъ тѣсно связаны съ породившимъ ихъ *историческимъ моментомъ*, что чуть только прошелъ этотъ моментъ, мы сейчасъ же и забываемъ ихъ? Неужели нашъ общественный прогрессъ такъ быстръ, что жизнь нашихъ отцовъ и даже нашихъ старшихъ братьевъ не представляетъ уже никакихъ общихъ интересовъ, никакихъ точекъ соприкосновенія съ нашею собственною жизнью? Очевидно, подобное объясненіе немыслимо, потому что въ два, три десятилѣтія люди еще никогда не перерождались, да и трудно до такой степени переродиться, чтобы утратить всякую связь съ людьми непосредственно-предшествовавшихъ эпохъ. Отчего-же всѣ эти Лаврецкіе, Рудины, Калиновичи, Адуевы, Обломовы, переставъ быть современными, перестали быть и интересными? Могло ли бы это съ ними случиться, если бы они были изображены съ художественною правдивостью, если бы они и теперь продолжали производить на насъ впечатлѣніе живыхъ людей, а не мертвыхъ образовъ? Я думаю, что тогда бы этого не случилось. Донъ-Кихотъ — давно отжившій типъ, но мы увлекаемся имъ и теперь.

Дѣйствующія лица шекспировскихъ трагедій вѣрятъ въ вѣдьмъ и колдуновъ, и мы все-таки интересуемся ими. Члены Пиквикскаго клуба едва ли мыслимы въ современной Англіи, а мы не перестаемъ, однако, зачитываться гениальнымъ произведеніемъ великаго романиста. Въ „Notre Dame de Paris“ и въ „L'homme qui rit“, передъ нами раскапываются запыленные архивы поросшей мхомъ древности, но мы не отсылаемъ ихъ подъ столъ, мы не смотримъ на ихъ героевъ, какъ на нѣкоторые историческіе пергаменты. мы видимъ въ нихъ живыхъ людей, мы переносимся въ ихъ обстановку, мы входимъ въ ихъ интересы, мы дѣлаемъ эти интересы своими собственными интересами: намъ кажется, будто эти люди и теперь еще живутъ и дѣйствуютъ.

Почему-же насъ интересуютъ люди давно отжившихъ поколѣній, и не интересуютъ люди, современные нашимъ отцамъ, много, много что дѣдамъ? Какъ хотите, а тутъ что-нибудь да неладно. Или наши „художественные перлы“ совсѣмъ не перлы, и если произведенія этихъ „перловъ“ заинтересовали одно время публику, то причину этого нужно искать совсѣмъ не въ ихъ *художественности*, а просто въ ихъ современности, — или же... или же наша публика не любитъ своего, всего національнаго, всего русскаго. Но не правдоподобнѣ ли усомниться скорѣе въ художественномъ авторитетѣ нашихъ „перловъ“, чѣмъ въ партіотизмѣ всего „народа русскаго?“

Временное, мимолетное, чисто-историческое значеніе беллетристическихъ произведеній даже самыхъ талантливыхъ нашихъ романистовъ ясно показываетъ, что ихъ слишкомъ скоропреходящая популярность обуславливалась совсѣмъ не ихъ художественными достоинствами. Она просто зависѣла отъ тѣхъ мимолетныхъ интересовъ, съ которыми она такъ или иначе было связана. Перемѣнились интересы,—забыты и произведенія. Мнѣ, пожалуй, скажутъ, что это одинаково справедливо относительно всѣхъ продуктовъ человѣческаго ума, что каковы бы ни были ихъ внутреннія достоинства, но разъ миновались вызвавшіе ихъ интересы, исчезаетъ и ихъ цѣнность. Конечно, это правда.

Но дѣло въ томъ, что интересы — интересамъ рознь. Есть интересы такіе мелкіе и ничтожныя, что они мѣняются каждый годъ, каждое десятилѣтіе, и есть интересы, съ одинаковою силою волнующіе человѣчество въ теченіи многихъ и многихъ вѣковъ, интересы не старѣющіе, вѣчно обновляющіеся... Истинно-художественное произведеніе, по самому существу своему, всегда опирается на эти послѣдніе интересы, на интересы касающіеся *человѣка вообще*, а не *человѣка*, отътого въ *такое-то* именно *платье*, въ *такой-то* мундиръ, служащаго въ *такомъ-то* департаментѣ. Напротивъ, тѣ псевдо-художественныя творенія, которыя сегодня читаются съ восторгомъ, а завтра отъ скуки бросаются подъ столъ — эти творенія всегда исключительно связываются не съ общечеловѣческими интересами, а съ интересами такого-то лица или кружка, такой-то должности, такого-то чина. Измѣнился кружокъ, упразднена должность, переименованъ чинъ, — и старые интересы забыты; забыты и тѣ, которые ихъ воспѣвали. Я знаю, что, говоря это, я реставрирую азбучную истину. Но мнѣ кажется, что именно эта азбучная истина и можетъ объяснить ту мимолетную популярность, которою пользовались творенія „старыхъ авторитетовъ“. Они отвѣчали *интересу минуты*, но дальше этого они не шли; минута прошла, а съ нею прошла и ихъ эфемерная слава. Та же участь постигнетъ, бѣсъ сомнѣній, современныхъ беллетристовъ, но это все-таки не даетъ права „старѣйшимъ“ поднимать носъ передъ „новѣйшими“. Если бы возможно было искусственнымъ образомъ выдѣлить изъ произведеній нашей „старой“ и „новой“ беллетристики тѣ, такъ сказать, чисто-публицистическіе интересы, которые связывали или связываютъ ихъ съ живою дѣйствительностью, которые даютъ имъ цвѣтъ и теплоту, которые одухотворяютъ ихъ, то мы получили-бы мертвые остовы, одинаково непривлекательные, одинаково безобразные. Нѣтъ, я даже думаю или, лучше сказать, я увѣренъ, что „остовы“ новой беллетристики оказались бы несравненно лучше и чище отлѣпанными, чѣмъ „остовы“ старой. Мнѣ скажутъ, что мое мнѣніе ни на чемъ не основано, что оно рѣшительно противорѣчить „установившимся“ и „общепринятымъ“ взглядамъ;

мало того, оно противорѣчитъ несомнѣнному и конкретному факту. А фактъ этотъ состоитъ въ томъ, что популярность, которою пользовались „старые“ авторитеты, никогда не выпадала на долю „новыхъ“, и что даже ни одному изъ новѣйшихъ беллетристовъ не удалось сдѣлаться общепризнаннымъ авторитетомъ. Однако, этотъ фактъ ни мало не смущаетъ меня: когда потребности и интересы минуты можно выражать не иначе, какъ въ туманной и иносказательной формѣ *беллетристическихъ притчъ*, то понятно, что вниманіе публики исключительно сосредоточится на этихъ притчахъ, и что притчи, каково бы ни было ихъ внутреннее достоинство, будутъ пользоваться преимущественною популярностью. Чуть кому удастся хоть сколько-нибудь толково высказать въ притчѣ то, что всѣхъ занимаетъ, наметнуть на то, на что каждый киваетъ, а прямо указать не можетъ, — вотъ онъ и „авторитетъ“, его притча читается, перечитывается, ею восхищаются, въ ней открываютъ какія-то неизъяснимыя прелести, ее возводятъ въ „перлъ созданія“. А отнимите отъ этой притчи ея *иносказаніе*, посмотрите на нее не какъ на притчу, а какъ на *художественное произведеніе*, и вы съ удивленіемъ спросите себя: „да что же тутъ хорошаго? какъ могла такая ничтожная мысль растрогать читателя? какой же это „перлъ“, — это просто булыжникъ“.

Но сила иллюзіи велика: репутація, разъ созданная подъ ея вліяніемъ, упорно держится и переживаетъ самый предметъ. Съ „перломъ“ давно уже обращаются, какъ съ булыжникомъ, а все-таки его называютъ по старой памяти *перломъ*. Въ наше время притча уже не имѣетъ прежняго значенія; интересы, занимающіе въ данный моментъ публику, могутъ находить свое выраженіе въ иной, болѣе прямой формѣ... Потому наша современная беллетристика, за отсутствіемъ въ ней, какъ и въ беллетристикѣ прошлыхъ лѣтъ, всякихъ художественныхъ достоинствъ, не можетъ привлекать къ себѣ ни того всеобщаго вниманія, ни пользоваться тѣмъ авторитетомъ, о которыхъ говорятъ присяжные защитники стараго хлама. Вотъ, мнѣ кажется, совершенно правдоподобное объясненіе той популярности, которою въ

свое время пользовались „старые авторитеты“, того ореола (въ наши дни, правда, значительно потускнѣвшаго), которыми преданіе и до сихъ поръ окружаетъ ихъ посѣдѣвшія головы. Однако, мнѣ справедливо могутъ замѣтить, что всѣ подобныя соображенія имѣютъ лишь значеніе отрицательныхъ доказательствъ—однихъ ихъ, очевидно, недостаточно; нужны доказательства положительные. А гдѣ ихъ взять?

II.

Объ этомъ позаботились сами писатели „прошлыхъ лѣтъ“. Я сказалъ уже, что для прямого доказательства нужно *искусственно* отдѣлить отъ произведеній старой беллетристики всѣ тѣ *живыя нити*, которыя связывали ихъ съ окружавшею ее современностью. Самой критикѣ было бы довольно затруднительно, если даже не невозможно, произвести эту щекотливую операцію. Чего добраго, ее сейчасъ бы обвинили въ подлогъ и злонамѣренности. Но на наше счастье какой-то спирить убѣдилъ „убѣленную сѣдинами“ старину пристроиться съ своимъ забытымъ хламомъ къ современной литературѣ. Правда, старина сперва подкрасилась румянами изъ косметического магазина Лѣскова и К^о, дѣло вышло, однако, дрянъ. Нарумяненную „дѣву“ (т. е. якобы дѣву) сейчасъ же узнали и осмѣяли. Она, однако, ни мало этимъ не обезкуражилась. „А, вы думаете, что я и въ самомъ дѣлѣ румянюсь румянами г. Лѣскова и К^о; нѣтъ,—я и безъ румянъ еще не дурна! Вотъ посмотрите!“ И, въ самомъ дѣлѣ, глубоко вѣруя въ свою красоту, почтенная старость выставила все свое богатство на литературный рынокъ. Гг. Лажечниковъ и Кукольникъ поползли въ редакцію г. Хана, г. Писемскій погналъ своихъ „Людей сороковыхъ годовъ“ въ стойло г. Кашпирева, г. Тургеневъ, пропѣвъ себѣ „Довольно“, пошелъ, однако, къ г. Стасюлевичу и сталъ осыпать публику своими „художественными перлами“; разныя „темныя личности“, выросшія на старомъ болотѣ и въ 50-хъ годахъ читавшіяся „не безъ удовольствія“, въ родѣ Ольги Н. и Крестовскаго (псевдонима), и онѣ тоже присоединили

свой дѣтскій пискъ къ общему концерту старыхъ запѣвалъ. Началась литературная реставрація. Зачѣмъ? для чего? Неужели только для того, чтобъ доказать, что „почтенная старость“ можетъ обойтись и безъ румянъ? Не знаю, можетъ быть.

Говорять, впрочемъ, будто литература есть всегда лишь простое отраженіе жизни, говорить, будто жизнь устами „Гражданина“ требуетъ какихъ-то „точекъ“, будто требованіе это оказалось по справкѣ нѣсколько запоздавшимъ... Все это, однако, не имѣетъ для насъ въ настоящую минуту особаго значенія. Потому или по другому, такъ или иначе, но несомнѣнно, что реставрація совершилась и что она вполне соотвѣтствуетъ „духу современности“. Опять-таки и для этого у насъ имѣется подъ руками безспорное доказательство. Г. Звонаревъ знаетъ этотъ „духъ“ наилучшимъ образомъ. Кому жъ и знать, какъ не ему? И что же? Онъ откапываетъ изъ архивовъ своего магазина забытый всѣми романъ гг. Некрасова и Станицкаго и приподноситъ его *третьимъ изданіемъ* почтеннѣйшей публикѣ. Вслѣдъ за этимъ, какъ слышно, онъ приготовляетъ новое изданіе „Ивана Выжигина“ и „Коломенской Розы“. Нѣтъ сомнѣнія, что послѣдній романъ будетъ имѣть огромный успѣхъ: онъ имѣетъ рѣшительное преимущество и передъ „И. Выжигинымъ“, и передъ „Тремя странами свѣта“: онъ гораздо короче ихъ, всего-то, кажется, въ двухъ частяхъ. Некрасовъ же вкупѣ съ Станицкимъ растянули свои „Три страны“ на цѣлыхъ 8 частей или книгъ. Вотъ вамъ при самомъ началѣ вы уже наталкиваетесь на сравненіе „новой беллетристики“ „со старою“, весьма выгодное для первой. Въ новой беллетристикѣ самымъ *длиннымъ* романистомъ считается, и не безъ основанія, г. Боборыкинъ. Но и *самъ* г. Боборыкинъ никогда еще, кажется, не покушался итти далѣе *шести* книгъ. Вы, пожалуй, скажете, что это совсѣмъ не прогрессъ, а напротивъ, регрессъ. Да, правда, цифра регрессируетъ, число частей уменьшается, но развѣ, пропорціонально этому уменьшенію, не увеличивается удовольствіе читателей?

Итакъ гг. Тургеневъ и Некрасовъ и ихъ издатели—все это люди весьма компетентные по части „духа време-

ни"—единогласно свидѣтельствуютъ, что теперь реставрація „неподкрашенной старины“ вполне соответствуетъ этому „духу“. Но зачѣмъ же, однако, гг. Тургеневъ и Некрасовъ сами себя бичуютъ, зачѣмъ тѣшатся они, при содѣйствіи гг. Звонарева и Стасюлевича, уподобиться извѣстной Гоголевской бабѣ въ „Ревизорѣ“? Что касается г. Тургенева, то это, впрочемъ, не особенно удивительно; онъ еще и раньше съ большимъ апломбомъ фигурировалъ въ этой роли (вспомните его самооплеваніе по поводу Базарова); но г. Некрасовъ,—Некрасовъ, такой деликатный и щепетильный насчетъ своей литературной репутаціи,—Некрасовъ, такъ тщательно изгоняющій изъ изданій своихъ сочиненій всѣ дѣтскія ошибки и старческіе промахи не всегда трезвой музы,—г. Некрасовъ реставрируетъ „Три страны свѣта“! Мы никогда не повѣрили бы этому, если бы не имѣли подъ рукою факта. „Три страны свѣта“ лежатъ передъ нами, и не явись онъ третьимъ изданіемъ, могли ли бы мы насладиться зрѣлищемъ „неподкрашенной старины“?

Но позвольте, — скажутъ мнѣ, — зачѣмъ-же вы берете г. Некрасова, какъ одного изъ представителей этой старины? Тургеневъ,—ну, это такъ; а Некрасовъ,—помилуйте, да кто же его когда-нибудь считалъ за выдающагося романиста „старой беллетристики“?

Я и беру его не какъ выдающагося романиста, а какъ романиста зауряднаго, притомъ романиста, не лишеннаго литературнаго таланта и имѣвшаго въ свое время значительный успѣхъ *), что доказывается тремя изданіями „Трехъ странъ свѣта“. Кромѣ того, этотъ романъ можетъ служить однимъ изъ *лучшихъ* представителей цѣлаго цикла романовъ „старой беллетристики“. Объ общемъ характерѣ этого цикла я скажу ниже; теперь же достаточно будетъ упомянуть, что онъ составляетъ прямую противоположность другому циклу, представителемъ котораго, съ полнымъ правомъ, можетъ быть названъ г. Тургеневъ. Такимъ образомъ, мы

*) Читатель долженъ принять къ свѣдѣнію, что говоря вездѣ о г. Некрасовѣ какъ объ авторѣ „Трехъ странъ свѣта“, я подразумеваю тутъ же и г. Станицкаго, и только ради краткости я употребляю одну фамилію вмѣсто двухъ.

разсмотримъ „неподкрашенную старину“ въ двухъ ея главнѣйшихъ, хотя и весьма различныхъ проявленіяхъ. Правда, въ романѣ г. Некрасова она не совсѣмъ не подкрашена (какъ въ послѣднихъ повѣстяхъ г. Тургенева); въ ней осталось еще нѣсколько жилокъ, связывавшихъ ее съ окружавшею ее современностью; но жилочки этихъ такъ мало и онѣ такъ тонки, что ихъ и разсмотрѣть-то трудно; при томъ-же разъ онѣ открыты, ихъ очень легко и удобно выбросить вонъ. Въ наше время, когда и проч., онѣ уже не могутъ имѣть ни въ чьихъ глазахъ никакого значенія и ни въ комъ не возбуждать ни малѣйшей иллюзіи.

III.

Что же это такія за жилки? Или, говоря проще, чему быть обязанъ *въ свое время* успѣхъ этого давно забытаго романа?

Мнѣ кажется, отвѣтить на этотъ вопросъ весьма не трудно, если вспомнить, *каково было* это время. Объ этомъ *до-реформенномъ* времени теперь уже можно говорить съ нѣкоторою отчетливостью. Одинъ этотъ фактъ лучше всякихъ краснорѣчивыхъ описаній показываетъ, что мы отделились отъ него на весьма значительную дистанцію; а между тѣмъ, и „наше время“ никому не кажется особенно „новымъ“; какъ-же должно было быть то время, когда и эта дистанція не была еще пройдена!

Выражаясь словами одного изъ героев одной изъ лучшихъ повѣстей г. Гл. Успенскаго—это было время, когда „прижимка“ не только не думала „обмякнуть“, но, напротивъ, повсюду дѣйствовала съ полною силою и съ гордою самоувѣренностью; когда крѣпостное право считалось идеаломъ нашего благополучія, когда русскій человѣкъ, ежеминутно получая зуботычины, не осмѣливался даже спрашивать: а какой резонъ вы имѣете драться? потому что зналъ напередъ, что, вмѣсто отвѣта, получить новую зуботычину. И это называлось въ то время жить по-человѣчески, любить ближняго, какъ самого себя...

Но чѣмъ тяжелѣе время, переживаемое обществомъ, тѣмъ большимъ оптимизмомъ проникается его литература,

и въ особенности его беллетристика. Тутъ являются на сцену всевозможные богатыри, великіе или малые, смотря по тому, на какой ступени общественнаго и умственнаго развитія стоитъ общество, какіе интересы его занимаютъ, въ какую сторону направлена его практическая дѣятельность. Въ нашей беллетристикѣ, особенно той, которая предназначалась для услажденія наименѣе интеллигентныхъ классовъ общества (а слѣдовательно, наименѣе счастливыхъ), герой романа всегда представлялся въ видѣ такого богатыря (такъ называемые *положительные герои*). Мизеренъ и ничтоженъ этотъ богатырь; одѣтъ онъ не въ панцырь и латы, а въ какой-нибудь на прокатъ взятый фракъ или потасканный старомодный плащъ, или просто въ длиннополый купеческій сюртукъ; не горы онъ сдвигаетъ, не змѣй-чудовищъ побѣждаетъ; нѣтъ, его богатырскіе подвиги состоятъ главнымъ образомъ въ томъ, какъ бы деньгу нажить, какъ бы и зубы въ цѣлости сохранить. Однако, если вы вспомните, что повсемѣстная, самая безцеремонная „прижимка“ характеризовала режимъ того времени, то вы поймете, какъ много нужно было труда и усилій, чтобы выйти изъ этой „прижимки“ цѣлымъ. Въ сущности говоря, это было даже невозможно, это была просто утопія. Но чѣмъ идеальнѣе, чѣмъ невѣроятнѣе была эта утопія, тѣмъ умиротворянѣе и успокоительнѣе она дѣйствовала на людей того поколѣнія. Имъ пріятно было хоть помечтать о счастливицахъ, не испытывавшихъ крѣпостныхъ порядковъ. Уровень идеала, широта утопіи всегда служитъ мѣриломъ уровня общественнаго развитія, широты доступнаго людямъ счастья. Посмотрите же, каковъ былъ этотъ идеалъ, какова была эта утопія.

Нѣкій юноша образованный, но бѣдный, способный и честный, но легкомысленный и слабохарактерный, влюбляется въ нѣкую „швейку“, прекрасную и добродѣтельную, но тоже бѣдную. И „добродѣтельная швейка“ и „образованный юноша“, вкусивъ достаточное количество плодовъ отъ древа бѣдности, рѣшаются соединиться узами законнаго брака, но не иначе, какъ упрочивъ предварительно свое матеріальное положеніе. Задача при ихъ обстановкѣ довольно трудная; но она усложняется еще болѣе тѣмъ обстоятельствомъ,

что и швейка и юноша желают и „капиталь пріобрѣсти и невинность соблюсти“. Погоревавъ и поплакавъ, они, наконецъ, придумываютъ слѣдующую комбинацію: швейка остается въ Петербургѣ и на одну себя беретъ исключительную обязанность „сохранить невинность“, не думая о пріобрѣтеніи капитала; юноша же отправляется рыскать по свѣту и беретъ на себя исключительную обязанность пріобрѣсти капиталъ, не думая о невинности. Какъ задумано, такъ и сдѣлано: „добродѣтельная швейка“ оберегаетъ въ Петербургѣ свою невинность, „образованный юноша“ въ Новой Землѣ и въ Русской Америкѣ (тогда она, разумѣется, еще не была продана американцамъ) сколачиваетъ капиталъ. Затѣмъ онъ возвращается въ Петербургъ, и капиталъ соединяется съ невинностью. Такимъ образомъ, задача разрѣшается къ удовольствію читателей, никогда не видѣвшихъ въ практической жизни такого счастливаго сочетанія. Но читатель можетъ утѣшиться и не однимъ этимъ. Имъ, людямъ бѣднымъ, загнаннымъ, вдругъ говорятъ, что собственными усиліями можно добиться богатства, т. е. силы, что упорное стремленіе къ цѣли, въ концѣ концовъ, всегда приводитъ къ ея достиженію, какъ бы ни были велики препятствія; имъ рассказываютъ о неисчерпаемыхъ запасахъ скрытой энергіи и предпримчивости, таящихся въ ихъ собственной груди—въ груди русскаго человѣка. Развѣ это не утѣшительно? Правда, эта энергія добывается не болѣе, какъ 50-ти съ небольшимъ тысячъ, правда, эта предпримчивость нейдетъ далѣе Новой Земли и Русской Америки, правда, „силы“, таящіяся, будто-бы, въ груди русскаго человѣка, ограничиваются лишь силою *пассивной выносливости*, но какъ бы то ни было, а для людей бѣдныхъ, вѣчно унижаемыхъ и оскорбляемыхъ и такая сила, и такая энергія, и такая предпримчивость должны были казаться чѣмъ-то возвышеннымъ, идеальнымъ. Вы скажете, читатель, что это *возвышенное* слишкомъ мелко, что это *идеальное* слишкомъ пошло, но какова жизнь, таковы и ея идеалы.

Романъ г. Некрасова, утѣшая разныхъ, уже не воображаемыхъ, а дѣйствительныхъ *Каютиныхъ*, *Граблиныхъ*, *Душниковыхъ*, *Полинскихъ* и т. п., возвышая въ ихъ собствен-

ныхъ глазахъ цѣнность того единственнаго богатства, которымъ они обладали—способности трудиться, въ то же время выражалъ, хотя и въ слабой, весьма неопредѣленной формѣ, протестъ противъ тогдашнихъ порядковъ. Протестъ былъ еще мизернѣе оптимистическихъ идеаловъ, онъ не шелъ дагѣ весьма деликатнаго указанія на мрачныя стороны помѣщичьей власти и безсмысліе помѣщичьяго время-препровожденія (см. въ I томѣ, главы: *Свадьба*, *Деревенская скука*, во II-мъ—седьмую часть. стр. 243—320), на самодурство богачей, развращенныхъ крѣпостнымъ правомъ, въ родѣ Добротина, Кирпичева, на бѣдность и страданія „честныхъ тружениковъ“, въ родѣ Граблина, дяди Полиньки, матери ея, ея самой, Душникова и т. п. Теперь все это должно показаться и слишкомъ старымъ и слишкомъ слабымъ. Но въ то время общее смутное недовольство и въ-этихъ, единственно тогда возможныхъ, деликатныхъ указанійхъ и блѣдныхъ намекахъ могло видѣть благородный протестъ. Ничего, что рядомъ съ злыми помѣщиками приводились примѣры помѣщиковъ добрыхъ, въ родѣ *Гульчанинова* и *Данкова*, рядомъ съ бѣдняками, вѣчно обиженными, выводятся бѣдняки счастливые и обогащающіеся—все это было лишь послѣдствіемъ неудачнаго сочетанія протеста съ оптимизмомъ. Оптимизмъ не только умѣрялъ, но даже извращалъ протестъ; преувеличивая значеніе личныхъ добродѣтелей челоуѣка, онъ тѣмъ самымъ низводилъ почти къ нулю значеніе общихъ условій жизни...

И такъ, слабый протестъ, разведенный на благодушномъ оптимизмѣ — вотъ, мнѣ кажется, та живая нитка, которая связывала романиста съ его читателями, вотъ что заставило ихъ раскупить два изданія „Трехъ странъ свѣта“, что обезпечило этому роману его кратковременный успѣхъ. Въ наше время и авторскій протестъ и авторскій оптимизмъ не имѣетъ ни малѣйшаго смысла, они уже не производятъ ни малѣйшей иллюзіи, *современность* романа исчезла, и что же осталось? Восемь частей безцвѣтныхъ, скучныхъ нравоученій о награжденной добродѣтели и наказанномъ порокѣ,—нравоученіе иллюстрированное, ради наглядности, бумажными арлекинами, долженствующими изображать живыхъ людей.

IV.

Романъ г. Некрасова принадлежитъ къ категоріи романовъ, бьющихъ исключительно на внѣшніе эффекты, на разные „страсти и ужасы“, отъ которыхъ у читателя, по мнѣнію романиста, волосы должны становиться дыбомъ. Въ прежнее время эта категорія романовъ, которую я противопоставляю категоріи романовъ, бьющихъ на психологическія тонкости, на детальную отдѣлку индивидуальныхъ характеровъ (объ этой послѣдней категоріи я буду говорить въ слѣдующей статьѣ, по поводу г. Тургенева)—эта категорія романовъ была въ большой модѣ. Отчасти причиною тому была неразвитость публики, для услажденія которой писались эти романы, и отчасти самыя ихъ цѣли и задачи. Ихъ цѣлью всегда было изобразить какого-нибудь положительнаго героя, какого-нибудь мизернаго „богатыря“, развить какую-нибудь оптимистическую идейку (въ родѣ хоть такой, наприкладъ, что добродѣтель всегда награждается, а порокъ наказывается). Но будничная, прозаическая жизнь представляла слишкомъ неблагоприятную почву для развитія этой невинной темы. Ее требовалось предварительно переработать въ горнилѣ творческой фантазіи; только при фантастической обстановкѣ добродѣтель могла торжествовать и порокъ наказываться. Отсюда возникла необходимость уснащать романъ „неожиданными встрѣчами“, неправдоподобными „превращеніями“, эффектными столкновеніями, чудодѣйственными „спасеніями“ и тому подобными театральными вычурами и прикрасами. Въ наше время на всѣ эти театральные эффекты, на всю эту фантастическую переработку дѣйствительности принято смотрѣть съ безусловно-отрицательной точки зрѣнія. Этотъ взглядъ, указывая на паденіе романовъ разматриваемой категоріи, свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ уменьшеніи оптимистическихъ тенденцій современной литературы. Однако, если въ прежнее время фантастическая переработка дѣйствительности приурочивалась исключительно къ оптимистическимъ цѣлямъ, то нельзя все-таки не видѣть, что это орудіе обоюдо-острое, и что его легко можно бы было обратить на служеніе и другимъ

совершенно противоположнымъ цѣлямъ. Нельзя не видѣть, что, изгоняя элементъ творческой фантазіи изъ своихъ произведеній, ограничиваясь однообразнымъ фотографированіемъ будничной прозы мѣщанской жизни, современная беллетристика впадаетъ въ скучную монотонность и вполне заслуживаетъ тотъ упрекъ въ безцвѣтности, который часто ей дѣлается. Поэтому, хотя отсутствіе творческой фантазіи и указываетъ на новое направленіе беллетристики, но оно совсѣмъ не вызывается потребностями этого направленія. При господствѣ въ беллетристикѣ *положительнаго героя*, романъ не могъ обойтись безъ ресурсовъ фантазіи; при господствѣ *героевъ отрицательныхъ*, безъ этихъ ресурсовъ обойтись можно, но *можно* еще не значитъ *должно*. И, безъ сомнѣнія, если бы фантазія старыхъ беллетристовъ удовлетворяла хотя отчасти условіямъ творческой фантазіи, они имѣли бы рѣшительное преимущество передъ „новыми“, у которыхъ уже совсѣмъ нѣтъ никакой фантазіи. Но на самомъ дѣлѣ этого не было, на самомъ дѣлѣ хотя задачи старой беллетристики требовали отъ беллетристовъ *фантазій*, какъ неперемѣннаго условія осуществленія этихъ задачъ, однако у беллетристовъ и тогда оказалось такъ же мало этой способности, какъ оказывается и въ наше время. Только въ наше время скудость творческой фантазіи менѣе рѣжетъ глаза. Чтобы изображать жизнь, *какъ она есть*, притомъ жизнь „мѣщанской среды“, узенькихъ интересовъ, пошленькихъ людишекъ, для этого нужно больше наблюдательности, чѣмъ фантазіи. Но изображать жизнь не совсѣмъ *такъ, какъ она есть*, подцвѣчивать и разрисовывать ее въ интересахъ „утѣшенія и успокоенія“, или вообще въ интересахъ какой бы то ни было тенденціи, для этого уже *фантазія* совершенно необходима. А между тѣмъ ея-то и не было въ наличности. Романъ „Три страны свѣта“, безспорно, лучший представитель категоріи романовъ, „бьющихъ на внѣшніе эффекты“. Онъ написанъ не какимъ-нибудь литературнымъ ремесленникомъ, въ родѣ Кукольниковъ, Загоскина, Булгарина и имъ подобныхъ. Нѣтъ, онъ написанъ, если и не цѣликомъ, то, по крайней мѣрѣ, при сотрудничествѣ одного изъ талантливыхъ представителей современ-

ной литературы, одного из лучших наших поэтов. А уж если у поэта нѣтъ фантазіи, то, согласитесь, у кого же ей быть? Полюбуйтесь же, читатель, на эту *фантазію*.

Общая фабула и тенденція романа намъ уже извѣстны; посмотримъ же теперь, какъ развивается эта фабула въ деталяхъ.

По смыслу фабулы романъ самъ собою распадается на двѣ части: въ одной повѣствуется о томъ, какъ „добродѣтельная швейка“ свою невинность охраняла; въ другой—какъ образованный юноша капиталъ наживалъ. Похожденія юноши разукрашены „бурями въ Ледовитомъ океанѣ“, „битвами съ киргизами“, „зимовкою въ Новой Землѣ“; къ нимъ приплетены (и замѣтимъ въ скобкахъ, „ни къ селу ни къ городу“) „похожденія русскихъ въ Камчаткѣ и въ Руской Америкѣ“, однимъ словомъ, авторъ не поскупился на всякіе „ужасти и страсти“, чтобы только заинтересовать читателей своимъ героемъ и заставить ихъ безъ скуки слѣдить за несложными метаморфозами его счастливой судьбы. Но, увы! благонамѣренныя старанія автора ни мало не увѣнчиваются успѣхомъ. Вы читаете — и зѣваете, неудержимо зѣваете. „Бури“ не производятъ ни малѣйшаго эффекта, и „льдины“, „сталкивающіяся съ потрясающимъ грохотомъ“, ни мало васъ не потрясаютъ. Вы только чувствуете, что отъ всѣхъ этихъ страшныхъ описаній, дѣйствительно, вѣетъ ледянымъ холодомъ. Вамъ невольно припоминаются учебники географіи, которые вы съ остервенѣніемъ зубрили въ дѣтствѣ, — старыя путешествія, которыя вы когда-то читали. Вы спрашиваете себя: зачѣмъ понадобились автору всѣ эти „бури и льдины“, всѣ эти Камчатки и Новыя Земли? Очевидно, что онъ дѣлаетъ выписки изъ какого-то стараго, заброшеннаго путешествія; но скопированное путешествіе можетъ-ли производить эффектъ художественной картины? А между тѣмъ, буря въ Ледовитомъ океанѣ, суровая природа Новой Земли, жизнь въ дикой Камчаткѣ, набѣги прикаспійскихъ киргизовъ—какія богатые и благодарныя темы для художника! Обладай онъ, хоть сколько-нибудь творческою фантазіею,—какія величественныя и потрясающія картины онъ могъ бы намъ представить! Самый

плохонькій англійскій или французскій романистъ сумѣлъ бы расшевелить ими нервы своихъ читателей; а романистъ русскій наводитъ только скуку. Почему? Да потому, что мы можемъ тогда только волноваться „бурями на Ледовитомъ океанѣ“, природою Новой Земли и т. п., когда романистъ сумѣетъ поставить насъ, хоть на минуту въ положеніе людей, очутившихся зимою на Новой Землѣ, и въ бурю на Ледовитомъ океанѣ. Но чтобы достигнуть такого эффекта, чтобы произвести такую художественную иллюзію, для этого авторъ долженъ самъ предварительно пережить чувства, волнующія этихъ людей. Это не значитъ, конечно, что ему самому нужно побывать и въ Новой Землѣ и на Ледовитомъ океанѣ во время бури. Нѣтъ, психическое состояніе чловека, застигнутаго бурей въ океанѣ, или зимою на Новой Землѣ, складывается изъ цѣлаго ряда разнообразныхъ психическихъ ощущеній; эти ощущенія или ощущенія, по своей природѣ аналогичныя имъ, могутъ быть вызываемы и при иныхъ условіяхъ, ихъ могутъ возбуждать и инныя обстоятельства, лишь бы только они имѣли что-либо общее съ обстоятельствами „бури“ и „зимовки“ на Новой Землѣ. Если авторъ испытывалъ подобныя ощущенія, если они ярко запечатлѣлись въ его памяти, ему не трудно будетъ обобщить ихъ въ ту или другую психическую комбинацію, создать изъ нихъ мысленно то или другое психическое состояніе; и это обобщеніе всегда будетъ производить на него, а потому и на насъ эффектъ живого, конкретнаго, реальнаго чувства.

Почему же русскому романисту почти никогда не удастся создавать обобщенія, производящія такой эффектъ? Мнѣ кажется, это происходитъ отъ общихъ условій нашей жизни: жизнь представляетъ слишкомъ мало поприща для разнообразной дѣятельности, а слѣдовательно и для разнообразныхъ душевныхъ волненій, психическихъ ощущеній. Матеріаль, доставляемый ею нашей мысли и нашему чувству, слишкомъ однообразенъ; онъ дѣйствуетъ на нашъ умъ скорѣе *усыпительно*, чѣмъ *возбудительно*; привычка къ безпечной жизни, къ тупому, равнодушному отношенію къ явленіямъ окружающей насъ дѣйствительности, привычка взлелѣянная въ насъ цѣлымъ рядомъ историческихъ условій, лишаетъ насъ

способности глубоко проникаться внѣшними впечатлѣніями и живо сохранять ихъ въ своей памяти. На самые, повидимому, потрясающіе факты мы смотримъ съ холоднымъ равнодушіемъ, спокойно разсуждаемъ и плоско шутимъ тамъ, гдѣ люди, болѣе насъ чувствительные, выходили бы изъ себя отъ отчаянія, ужаса и негодованія.

При такой психической пассивности, что удивительнаго, если наши романисты—плоть отъ плоти нашей, рѣшительно не въ состояніи перенестись въ положеніе людей, вынужденныхъ силою обстоятельствъ испытывать *сильныя ощущенія*, глубокія потрясенія? Мнѣ кажется, обратный фактъ былъ бы гораздо удивительнѣе. Неспособные всецѣло проникаться и рельефно запечатлѣвать въ своей памяти психическія волненія, не только своихъ ближнихъ, но даже свои собственные, наши романисты даютъ намъ лишь блѣдные очерки этихъ волненій, а потому и изображаемые ими картины разныхъ „ужастей и страстей“, начиная отъ бурь въ Ледовитомъ океанѣ и кончая „бурями“ въ лакейскихъ переднихъ, не производятъ на насъжелаемаго эффекта: мы смѣемся или зѣваемъ. И мы имѣемъ полное право такъ поступать. Вотъ, напр., въ „исторіи Горбуна“ г. Некрасовъ тщится изобразить передъ нами, какъ крѣпостное право искажало и уродовало (не только въ метафорическомъ смыслѣ слова, но и въ буквальномъ) человѣка, поставленнаго въ зависимость отъ произвола помѣщика-самодура. Много тутъ собрано ужасовъ, страстей и неожиданностей. Но все эти ужасы, страсти и неожиданности производятъ на васъ такое же впечатлѣніе, какое производятъ заурядныя, газетныя корреспонденціи, повѣствующія о разныхъ поджогахъ, убійствахъ, подлогахъ и всякихъ другихъ правонарушеніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ уложеніи о наказаніяхъ. Во всей исторіи нѣтъ ничего особенно неправдоподобнаго, даже ничего выходящаго изъ обычнаго склада „старо-помѣщичьей жизни“. Вы всему готовы вѣрить, вы нисколько не сомнѣваетесь, что помѣщикъ Брончевскій, приживъ съ дворовой „дѣвкой“, Натальей, сына, женился на сосѣдней помѣщицѣ, что Наталью согнали со двора, и что ее вмѣстѣ съ сыномъ гнали и преслѣдовали, что она преждевременно умерла, а у сына выросъ горбъ, что

озлобленный „горбунъ“ могъ поджечь барскую усадьбу и т. д., и т. д. Всѣ эти факты вы допускаете, но вы пробѣгаете ихъ совершенно равнодушно, ни одинъ изъ нихъ не вызоветъ передъ вашими глазами яркой картины пережитыхъ невзгодъ крѣпостного времени.

Если уже такія потрясающія событія, какъ бури на Ледовитомъ океанѣ, и дикія, хотя и заурядныя проявленія крѣпостного права, создававшего каждый день, каждую минуту, на каждомъ шагу новую драму, новыя „ужасти и страсти“, если самые поразительные факты суровой природы и безобразной дѣйствительности не разжигаютъ творческой фантазіи поэта, то можетъ ли что сдѣлать будничная, приглаженная, вылощенная проза петербургской жизни? Конечно, нѣтъ. Только выработанная и развитая творческая фантазія могла бы найти здѣсь подходящий для себя матеріалъ.

Но когда такой фантазіи, съ одной стороны, не имѣется, а съ другой, она требуется задачами романа, то что тутъ дѣлать автору? У него есть одинъ только исходъ—прибѣгнуть къ помощи той человѣческой способности, которая, обыкновенно, служить суррогатомъ фантазіи и которую часто даже и принимаютъ за послѣднюю, къ способности—врать и городить нелѣпости, не смущаться ни требованіями здраваго смысла, ни условіями реальной дѣйствительности. Можетъ быть, эта способность и дѣйствительно есть грубый, элементарный зародышъ фантазіи, въ истинномъ смыслѣ этого слова; можетъ быть, ее тоже слѣдуетъ назвать (какъ это и дѣлается въ общежитіи) *фантазією*. Но только эта зародышевая фантазія точно такъ же относится къ нормальной фантазіи, какъ зародышевая память, та память, которая способна запоминать лишь отрывочные, конкретные факты, безъ всякой между ними связи, и рѣшительно не способна группировать и обобщать ихъ,—какъ эта память относится къ нормальной человѣческой памяти. Одинъ знаменитый англійскій психіатръ называетъ такую память — *памятью идиота*; точно также и на тѣхъ же основаніяхъ, соответствующую ей фантазію можно назвать *фантазією идиота*. Если нормально развитая фантазія соединяетъ въ цѣлостныя кар-

тины разнообразныя образы, составленные изъ прошлыхъ впечатлѣній, обобщая *подобное*, выдѣляя *несходное*, и подводя конкретное разнообразіе къ внутреннему единству, то, напротивъ, фантазія идіота ограничивается лишь однимъ вышнимъ безпорядочнымъ сопоставленіемъ отрывочныхъ представленій, ни мало не заботясь о приведеніи этого случайнаго сопоставленія въ гармонію и соотвѣтствіе съ условіями окружающей человѣка дѣйствительности. Оттого продукты этой фантазіи всегда отличаются крайнею нелѣпостью и безалаберностью, не говоря уже о ихъ неправдоподобности. Они не способны возбудить въ насъ ни малѣйшей иллюзіи, не способны заставить насъ, хоть на минуту, принять вымыселъ за реальную, живую дѣйствительность, слушая или читая ея измышленія, мы не очаровываемся и не обманываемся; въ лучшемъ случаѣ, мы только смѣемся; но обыкновенно мы просто говоримъ: „эхъ, вретъ-то человѣкъ!“ и спокойно перестаемъ его слушать или закрываемъ книгу.

V.

Такою именно *фантазіею* обладаетъ и авторъ „Трехъ странъ свѣта“. Правда, гдѣ можно, онъ обходится безъ ея ресурсовъ; мы уже указали на эти случаи; но гдѣ безъ творческой фантазіи нельзя обойтись, онъ охотно прибѣгаетъ къ самымъ дикимъ измышленіямъ. Вся та часть (или правильнѣе говоря нѣсколько частей) романа, мѣсто дѣйствія которой—Петербургъ, и которая посвящена по преимуществу „кознямъ“ Горбуна противъ Полинькиной невинности и „злключеніямъ“ Полиньки, оберегающей свою невинность отъ этихъ козней,—вся эта часть романа переполнена сцѣпленіями самыхъ нелѣпыхъ и невозможныхъ событій. Пересказывать всѣ эти небылицы въ лицахъ было бы скучно, да и не совсѣмъ деликатно относительно читателей; любой лубочный романистъ въ родѣ вѣчной памяти Булгарина или Зотова, не сочинить ничего глупѣе и безтолковѣе. Но чтобы мой отзывъ не показался слишкомъ голословнымъ, я приведу, для примѣра, хоть одинъ небольшой эпизодъ.

„Злой“ и „сластолюбивый“ Горбунъ воспылалъ любовью къ „добродѣтельной швейкѣ“, приходившей къ нему какъ-то занимать деньги подъ залогъ вещей. Горбунъ начинаетъ приставать къ ней съ ухаживаніемъ, но когда ухаживанье не ведетъ къ желанному результату, онъ атакуетъ ея неприступную невинность болѣе прямымъ способомъ: при содѣйствіи хозяйки Полинъкиной квартиры, которая запираетъ на ключъ дверь атакованной жертвы. Однако „добродѣтельная швейка“ обладала не только добродѣтелью, но и нѣкоторою физическою силою; благодаря этому обстоятельству, атака не увѣнчалась успѣхомъ и Горбунъ со стыдомъ долженъ былъ обратиться вспять, а Полинъка только слѣгка оцарапала себѣ руку о разбитое стекло. Само собою понятно, что такая неудача не потушила, а еще болѣе распалила страсть „злобнаго“ Горбуна. Онъ пустился теперь на хитрости: сталъ увѣрять „швейку“, что женихъ ея, отправившійся отыскивать капиталъ, измѣнилъ ей; осыпалъ ее письмами и преслѣдовалъ ее на улицѣ, какъ тѣнь. Но упорная швейка не поддавалась: письма она отсылала своему воздѣйствителю нераспечатанными, а на улицѣ бѣгала отъ него, какъ воришка отъ будочника. Наконецъ, хитрость восторжествовала надъ добродѣтельною, но неумѣренно-глупою невинностью. Горбуну удалось заманить швейку въ свое „логовище“,—да, это былъ не простой домъ, не обыкновенная квартира петербургскаго обывателя, а логовище какого-то лѣснаго звѣря. Послушайте-ка. „Куда же мы пріѣхали?“, спросила Полинъка, осторожно ступая по какой-то скользившей доскѣ за своимъ вожатымъ. „Они вошли въ сѣни, потомъ, отворивъ какую-то дверь, снова поднялись по лѣстницѣ и, наконецъ, очутились въ длинномъ и темномъ коридорѣ. Шаги ихъ печально раздавались въ тишинѣ. Сырой, удушливый воздухъ, паутина, которую Полинъка чувствовала на своемъ лицѣ,—все показывало, что люди были здѣсь рѣдкіе гости (каково!). Полинъкѣ опять стало страшно, и, схвативъ артельщика за руку, она робко спросила: „Да куда же мы идемъ?“ Затѣмъ ее, какъ водится, втолкнули въ какую-то комнату, совершенно темную. „Вдругъ комната отворилась—и ужась ни съ чѣмъ несравнимый охватилъ душу несча-

счастной дѣвушки: въ противоположной двери показалась горбатая фигура со свѣчей въ рукѣ. Полинъка хотѣла вскрикнуть, но голоса не достало, и она стояла неподвижно, не сводя своихъ черныхъ, прекрасныхъ глазъ, обезумленныхъ ужасомъ, съ Горбуна... И точно, фигура его могла испугать въ эту минуту. Онъ былъ блѣденъ, по губамъ его пробѣгала судорожная улыбка, тогда какъ глаза сохраняли выраженіе неумолимой жестокости; грудь его высоко поднималась, и рука, державшая подсвѣчникъ, дрожала. Медленно и плавно сталъ онъ подвигаться впередъ, поводя свѣчей и глазами вокругъ комнаты. Что же Полинъка? „Съ отвращеніемъ отшатнувшись при его приближеніи, она слабо вскрикнула и упала... въ объятія Горбуна“ (т. I, стр. 204). Впрочемъ, не безпокойтесь,—все кончится благополучно. Очнувшись отъ обморока, добродѣтельная швейка увидѣла себя въ комнатѣ великолѣпно убранной. „Вездѣ былъ штофъ, занавѣски съ кистями и бахромой, столы и стулья стариннаго фасона, съ позолотой, зеркала снизу доверху; стѣны были увѣшаны огромными картинами въ золотыхъ рамахъ. На столѣ стоялъ старинный канделябръ; нѣсколько восковыхъ свѣчей ярко освѣщали комнату. Мебель была ужъ слишкомъ массивна и шла скорѣе къ залѣ какого-нибудь замка“ (стр. 311). Явился Горбунъ. Онъ сталъ сначала уговаривать, старался затронуть добродѣтельное сердце швейки съ различныхъ сторонъ. Онъ предлагалъ ей вступить съ нимъ въ законный бракъ, обѣщая за это спасти отъ банкротства и тюрьмы мужа ея подруги, онъ старался разжалобить ее своею любовью и, наконецъ, рѣшился соблазнить своими богатствами. Онъ повелъ Полинъку въ комнату, сверху до низу наполненную всевозможными богатствами. На полкахъ стояли серебрянныя вазы, канделябры, кубки, бронзовые часы разной величины; сундуки были набиты серебромъ, штофомъ, парчами, кольцами, браслетами, брильянтами и т. п. Даже глупенькая Полинъка, при видѣ такого баснословнаго богатства, на время забыла о своей добродѣтели: „ей пришли на умъ старыя волшебныя сказки: она улыбнулась и пожалѣла, что Горбунъ не можетъ превратиться въ какого-нибудь красиваго рыцаря“ (стр. 317).

Горбунъ, разыгрывая бѣса-искусителя, вскричалъ: „Возьмите, возьмите! это ваше, это ваше все, что вы тутъ видите. У меня много еще денегъ... они тоже ваши. А черезъ годъ или два я еще столько же вамъ принесу. Возьмите, возьмите все!“. И какъ онѣ были добродѣтельны, — Боже мой, какъ онѣ были добродѣтельны! Можете себѣ представить: Полинъка всѣми соблазнами пренебрегла и осталась тверда, какъ камень. Горбунъ, — какъ это обыкновенно дѣлается въ дѣтскихъ сказкахъ, — заперъ „прекрасную упряму“, въ одну изъ свѣтлицъ своего замка и общалъ черезъ день прійти за отвѣтомъ. Но Полинъка, разумѣется, чудодѣйственнымъ образомъ, черезъ крыши и заборы, улепетнула изъ своей тюрьмы, попала къ какой-то также добродѣтельной — хотя и не слишкомъ — лоскутницѣ, которая оказалась въ послѣдствіи близкимъ другомъ ея матери и бывшей любовницей ея умершаго дяди. Въ качествѣ матернинаго друга и дядиной любовницы, лоскутница много содѣйствовала охраненію и спасенію цѣломудренной швейки; но это содѣйствіе понадобилось, впрочемъ, не теперь, а только въ слѣдующихъ частяхъ; въ „роковую ночь“ Полинъка лишь переночевала подѣ гостепріимнымъ кровомъ матернинаго друга, а на утро благополучно добралась до Струнникова переулка (на Петербургской сторонѣ), гдѣ она, въ качествѣ швейки, жительство имѣла. Этимъ и кончились ея *ночныя заключенія* и затѣмъ начались *злключенія* утреннія, дневныя и вечернія, но я уже не стану беспокоить ими читателя. Изъ приведеннаго отрывка и безъ того уже ясно, съ какого рода фантазіею мы имѣемъ дѣло и какую „художественную правду“ можемъ мы найти въ дальнѣйшихъ поужденіяхъ „злбнаго горбуна“ и добродѣтельной швей. Въ современной беллетристикѣ даже такое умственное и нравственное убожество, какъ Всеволодъ Крестовскій, и тотъ стоитъ въ *этомъ* случаѣ несравненно выше авторовъ „Трехъ странъ свѣта“. И въ его вымыслахъ (принадлежащихъ тоже къ разряду продуктовъ *фантазіи идиота*) больше правдивости, больше жизни и конкретной рельефности, чѣмъ въ нелѣпыхъ сказкахъ компаніи, сочинившей „Три страны свѣта“.

VI.

Въ романахъ, къ циклу которыхъ принадлежатъ „Три страны свѣта“, нечего искать художественной отдѣлки характеровъ. Грубо приуроченные къ какой-нибудь предвзятой идеѣ, они пользуются человѣческими фигурами лишь для нагляднаго иллюстрированія и доказательства этой идеи. Но такъ какъ *идею* можно развивать только съ помощью идей же, то человѣческія фигуры имѣютъ для романиста значеніе лишь простыхъ *знаковъ идей*. Каждая фигура воплощаетъ въ себѣ одну, двѣ, три какихъ-нибудь идеи и этимъ воплощеніемъ исчерпывается вся ея роль. Такимъ образомъ, романъ наполняется мертвыми машинами, ходящими, говорящими и думающими, но только *повидимому*. Въ сущности, въ качествѣ простыхъ машинокъ, онѣ вполне неспособны совершать всѣ тѣ сложныя операціи, изъ которыхъ слагается жизнь живого человѣка. Въмѣсто нихъ, ходить, говорить, думать и т. п. *чортикъ*, котораго всадить въ нихъ романистъ. Этотъ чортикъ—воплощенная ими идея. Она всецѣло и безусловно распоряжается бѣдными машинками. Если бы въ этихъ машинкахъ былъ хоть какой-нибудь признакъ жизни, если бы онѣ хоть сколько-нибудь походили на реальныхъ людей изъ плоти и крови, то ихъ можно бы было принять за больныхъ, одержимыхъ такъ называемою *folie raisonnée* или *mania sine delirio*. Посмотрите хоть на ту же Полинку изъ „Трехъ странъ свѣта“: вся ея жизнь, всѣ ея мысли, всѣ ея движенія сводятся къ любви и охраненію невинности въ отсутствіе любимаго предмета. Кромѣ любви къ Каютину и охраненія невинности, у нея нѣтъ никакихъ другихъ интересовъ, никакихъ другихъ цѣлей; отнимите у нея эту любовь и эту невинность—и у нея ничего не останется, она превратится въ нуль, въ „небытіе“, у васъ не сложится объ ней никакого представленія, даже самого смутнаго и блѣднаго. То же самое случится и съ героемъ романа — Каютинымъ, если вы отнимите у него любовь къ „добродѣтельной швейкѣ“. Только одна эта любовь даетъ смыслъ его существованію: безъ нея онъ точно также превратился бы въ „небытіе“. Она, эта „чистая

любовь“, возбуждаетъ въ немъ стремленіе къ „накопленію богатствъ“, гонить его изъ Петербурга на Волгу, съ Волги въ Новую Землю, съ Новой Земли къ Каспійскому морю, съ Каспійскаго моря въ Русскую Америку, а изъ Русской Америки снова приводитъ въ Струнниковъ переулочекъ—въ объятія невинной швейки. Конечно, средневѣковые рыцари тоже не мало рыскали ради поцѣлуя „дамы сердца“, но вѣдь они дѣлали и кое-что другое: кромѣ интереса любовныхъ похожденій, у нихъ были кое-какіе и другіе интересы. А у нашего рыцаря съ Петербургской стороны, кромѣ Полинки, нѣтъ, что называется, *ni foi, ni loi, ni poi*. Впрочемъ, можетъ быть, и есть, потому что въ противномъ случаѣ ему пришлось бы, вѣроятно, отправиться не въ Новую Землю и не въ Русскую Америку, а въ страны хотя и не менѣе теплыя и не менѣе близкія, но за то гораздо менѣе приспособленныя къ „торговымъ промысламъ“. Но мы дѣлаемъ это предположеніе единственно только въ интересахъ правдоподобія, хотя самъ авторъ не даетъ намъ на то ни малѣйшаго основанія. Все, что мы знаемъ отъ него о героѣ его, сводится лишь къ тому, что герой любитъ Полинку, страстно желаетъ соединиться съ ней вѣчнымъ и неразрывнымъ союзомъ; далѣе мы узнаемъ, что онъ нѣсколько легкомысленъ и „очень хорошъ собою“. Затѣмъ о всемъ прочемъ предоставляется догадываться самому читателю.

Такимъ образомъ, и добродѣтельная швейка и образованный юноша, за вычетомъ изъ нихъ взаимной, „чистой любви“, превращаются въ призраки, не имѣющіе ничего общаго съ реальными людьми,—въ призраки неосязаемые и неуловимые. Романистъ вызвалъ ихъ изъ царства тѣней, чтобы съ ихъ помощью доказать основную мысль своего романа: „чистая любовь“ всегда и все преодолеваетъ и надъ всѣмъ торжествуетъ; она даетъ силу и капиталъ пріобрѣсти и невинность сохранить; она укрѣпляетъ человѣка въ борьбѣ съ жизнью и ведетъ его, въ концѣ концовъ, къ высшему земному счастью — счастливому браку и богатству. Вотъ эту-то утѣшительную мысль онъ и воплотилъ, ради наглядности, въ своихъ герояхъ; весь ихъ смыслъ и все ихъ значеніе исчерпывается задачей этого воплощенія. Дурно или

хорошо выполнили они свою задачу, здѣсь, разумѣется, нѣтъ надобности говорить. Само собою понятно, что ребяческую мысль можно и доказывать только ребяческимъ образомъ; разбирать эти доказательства было бы тоже чистымъ ребячествомъ.

Счастливы романисты разбираемой нами категоріи, когда имъ приходится воплощать въ своемъ героѣ лишь *одну* какую-нибудь мысль. Тутъ, по крайней мѣрѣ, хотя и нагонишь тоску на читателя, но зато избѣгнешь упрека въ непоследовательности. Но вотъ бѣда: иногда имъ вадумается сдѣлать изъ героя—воплотителя не одной, а двухъ, даже трехъ, и нерѣдко, совершенно противоположныхъ идей. Характеръ выходитъ разнообразіе—это правда; съ перваго взгляда онъ даже какъ-будто имѣть нѣкоторое сходство съ характерами живыхъ людей. Но въ сущности, это только обманъ зрѣнія; при ближайшемъ разсмотрѣніи, онъ оказывается сплетеніемъ самыхъ дикихъ и неправдоподобныхъ нелѣпостей.

Такимъ именно и является характеръ Горбуна. Горбунъ, если и не герой, то, во всякомъ случаѣ, главное дѣйствующее лицо романа; безъ него Полинкѣ пришлось бы очень плохо, потому что отъ кого же бы она стала защищать свою невинность? Горбунъ играетъ роль бѣса-искусителя, карателя, злодѣя и, наконецъ, служить нагляднымъ доказательствомъ той истины, что зло рано или поздно, но непременно наказывается. Но этимъ еще не исчерпывается его амплуа: онъ же долженъ выражать собою нѣкоторый протестъ противъ крѣпостного права. Впрочемъ, протестъ этотъ совершенно сглаживается и затирается его горбомъ: изъ протестанта, созданнаго крѣпостными порядками, авторъ превращаетъ его въ протестанта, созданнаго физическимъ уродствомъ. Конечно, это гораздо благонамѣреннѣе, только... это уже слишкомъ старо, даже и для 50-хъ годовъ.

Мы знаемъ уже, что Горбунъ былъ побочный сынъ нѣкоего богатаго помѣщика, прижившаго его съ своею дворовою дѣвушкой; мы знаемъ также, что дѣвушка, какъ это обыкновенно водилось, была прогнана съ барскаго двора, а помѣщикъ женился на своей сосѣдкѣ-помѣщицѣ. Разумѣет-

ся, мальчику, подвергнутому остракизму вмѣстѣ съ матерью, жилось плохо; надъ нимъ смѣялись, его обижали; падшая любовница не могла рассчитывать на снисходительность дворян, особенно когда дворянка замѣтила, что главная ключница новой барыни, старая и злая Матрена, ненавидитъ бывшую фаворитку; но такъ какъ мучить ребенка было легче и удобнѣе, чѣмъ мать, то маленькій Добротинъ (такую ему дали фамилію) и былъ превращенъ въ козалище искупленія за материнскіе грѣшки. Одною этою было-бы достаточно, даже черезъ-чуръ достаточно, чтобы испортить мальчика, развить въ немъ злыя инстинкты и сдѣлать изъ него въ будущемъ озлобленнаго и безсердечнаго эгоиста. Но авторъ не удовольствовался этимъ: онъ заставилъ „старую и злую“ Матрену уронить ребенка съ лѣстницы; благодаря этому обстоятельству у ребенка выросъ горбъ. Разумѣется, надъ маленькимъ горбуномъ стали еще больше смѣяться; надъ нимъ смѣялись не только тогда, когда онъ былъ маленькимъ, но и когда онъ сдѣлался взрослымъ. Эстетическое чувство людей возмущалось его уродствомъ, и бѣдный уродъ, презираемый и унижаемый, чѣмъ больше росъ, тѣмъ глубже проникался безнелюбною злобою и ненавистью къ людямъ. „Ужъ только подрасту, грозился онъ,—я имъ задамъ!“ Безсильная злоба всегда вырождается въ хитрость и лицемеріе. Горбунъ, затаивъ чувство мести, подобострастно заискивалъ передъ „сильными міра“. Онъ вкрался въ милость къ молодому *барченку*, законному сыну его отца, забавлялъ его сказками, когда барченочъ ходилъ еще въ рубашечкахъ; сталъ участвовать въ его шалостяхъ, когда барченочъ надѣлъ курточку; а когда у барченка прорѣзался усъ, онъ помогать ему въ любовныхъ шашняхъ съ дочерью экономки. Любовныя шашни открылись, барченку могло сильно достаться отъ строгой матери, горбунъ принялъ все на себя: это не барченочъ, а онъ, горбунъ, завелъ любовныя шашни. Строгая барыня обвиняла его на его мнимой любовницѣ. Горбунъ едва только почувствовалъ, что въ его рукахъ судьба живого человѣческаго существа, что власть его надъ этимъ существомъ безгранична и безконтрольна,—сейчасъ же начинаетъ вымещать на немъ все, что онъ терпѣлъ и

терпитъ отъ окружающихъ его людей. Онъ мучить свою жену до такой степени, что она, беременная, убѣгаетъ отъ него къ своимъ родственникамъ. На дорогѣ, въ какомъ-то уѣздномъ городишкѣ, она рождаетъ сына и умоляетъ акушерку скрыть его отъ отца, потому что отецъ „такой злодѣй, что убьетъ его, пожалуй“. Когда горбунъ отыскалъ свою жену, она уже была трупомъ, а сынъ былъ подкинутъ къ нѣкому добродѣтельному помѣщику, по имени Тульчинову. Убивъ жену, онъ продолжалъ свои подвиги въ роли „лицемѣрнаго злодѣя“. Барченокъ самъ стать бариномъ, горбунъ—его довѣреннымъ лицомъ и управляющимъ его имѣніями; въ качествѣ „довѣреннаго лица“, онъ развращалъ барина и поощрялъ его мотовство; а въ качествѣ „управляющаго“, обиралъ его. Игра кончилась такъ, какъ ей и слѣдовало кончиться: баринъ разорился и былъ убитъ въ Италіи на дуэли; горбунъ обогатился, переѣхалъ въ Петербургъ, сдѣлался ростовщикомъ и прижималъ бѣдныхъ и богатыхъ, сколько только хватало силъ. „Въ Петербургѣ, говоритъ авторъ,—душа его черствѣла не по днямъ, а по часамъ, и скоро уснула глубокимъ сномъ“ (т. II, стр. 319). Прекрасно; до сихъ поръ, нѣтъ еще никакой нелѣпости: горбунъ исправно воплощаетъ собою идею *человѣконенавистничества*, хотя, по правдѣ сказать, его чело­вѣко­ненавистничество имѣетъ весьма невинный характеръ, и не идетъ далѣе продѣлокъ самаго зауряднаго мазурика. Но я сказалъ уже, что авторъ сдѣлалъ его воплощеніемъ не одной идеи, а двухъ, и, къ несчастію, совершенно противоположныхъ. вмѣстѣ съ чело­вѣко­ненавистничествомъ авторъ всунулъ въ свою горбатую машинку нѣжное и любвеобильное сердце. Когда онъ узнаетъ, что книгопродавецъ Кирпичниковъ, котораго онъ разорилъ и довелъ до долгового отдѣленія,—его сынъ, онъ чувствуетъ внезапно такой приливъ родительской нѣжности, что готовъ сейчасъ же отдать ему все свое состояніе. Въ любви къ женѣ своего бывшего помѣщика, Сарѣ, и потомъ къ Полинькѣ, онъ обнаруживаетъ столько страсти, самоотверженія и великодушія, и такое удивительное постоянство, что, право, на этомъ поприщѣ съ нимъ могутъ развѣ посоперничать какіе-нибудь средневѣко-

вые рыцари, а уже никакъ не мы—„бѣдные пасынки“ сѣверной природы. Конечно, эта любовь имѣла чисто-животный характеръ, но все-таки она была его *страстью*, подчинявшею себѣ всецѣло всю его жизнь. Но точно такія же права предъявляла на эту жизнь и другая его страсть—человѣко-ненавистничество. Повидимому, между двумя противоположными отраслями, между двумя демонами его души, должна была бы начаться непримиримая вражда. Эта вражда, проникая всѣ его мысли, чувства и поступки, должна была бы наложить свою печать на его характеръ. Характеръ, вѣчно путающійся въ противорѣчяхъ своихъ инстинктовъ и стремленій, представляетъ крайне трудную и сложную задачу для художественнаго синтеза. И разумѣется, если бы въ горбунѣ гг. авторы разбираемаго нами романа имѣли намѣреніе нарисовать живого человѣка, то для насъ было бы весьма важно и интересно знать, какъ они справились бы съ своею задачею. Но такого намѣренія они, очевидно, не имѣли, и потому съ нашей стороны было бы странно и неделикатно навязывать имъ какія бы то ни было психологическія или художественныя задачи. Ни о какой внутренней борьбѣ, ни о какихъ психическихъ противорѣчяхъ они знаютъ ничего не знаютъ. Для нихъ характеръ Горбуна не представляетъ ни малѣйшей сложности: два враждебные демона уживаются въ его сердцѣ весьма дружелюбно; они нисколько не стѣсняютъ другъ друга, и каждый дѣйствуетъ вполне самостоятельно. Когда приходитъ чередъ дѣйствовать демону любви, Горбунъ любитъ и только любитъ; когда наступаетъ часъ демона ненависти, Горбунъ ненавидитъ и только ненавидитъ. Это очень просто. А что касается до психологической правды, то авторы на нее не претендуютъ. Имъ нужно только, чтобы каждое лицо воплощало какую-нибудь идейку, *единичную* или *парную*, смотря по требованіямъ ихъ беллетристическаго грань-пасьянса, а до всего прочаго—имъ нѣтъ никакого дѣла. Слѣпенькая старушка, убивающая свою скуку за безконечными пасьянсами, нисколько не заботится о художественной отдѣлкѣ своихъ картъ; для нея важно только ихъ условное значеніе. Вотъ эта карта означаетъ даму, эта—короля, а дѣйствительно ли походятъ изображенныя на

нихъ фигуры на живыхъ дамъ и королей, слѣпенькой старушкѣ—это все равно. Гг. Некрасовъ и Ставицкій находятся именно въ положеніи этой старушки. Ихъ длинный, длинный грань-пасьянсъ, какъ и всякій грань-пасьянсъ, определяется не художественнымъ достоинствомъ картъ, а ихъ носителемъ положеніемъ. Они это знаютъ, и мы это знаемъ; значитъ насчетъ художественной отдѣлки характеровъ здѣсь и упоминать не стоитъ.

VII.

А между тѣмъ, повторяю опять, авторы (по крайней мѣрѣ, одинъ изъ нихъ) не лишены литературнаго таланта, и въ тѣхъ случаяхъ, когда имъ приходится не *создавать* характеры, а просто *срисовывать*, они показываютъ намъ не куколъ, набитыхъ соломой, а живыхъ, реальныхъ людей; таковы, на примѣръ, въ романѣ Кирпичниковъ, Граблинъ, Лиза. Эти люди ничего особеннаго въ себѣ не воплощаютъ: это — простыя, обыденныя личности; они случайно стояли въ узкомъ районѣ авторскихъ наблюденій, для ихъ воспроизведенія не требовалось никакого участія творческой фантазіи, и авторъ воспроизвелъ ихъ довольно вѣрно реальной дѣйствительности. Но и тутъ предвзятая идея романа испортила художническій эффектъ. Одной простой наблюдательности было недостаточно для примиренія *жизни* съ оптимистической теоріею, требовалось кое-что другое; а мы уже знаемъ, что этого то *кое-чего* и нѣтъ у автора. О Лизѣ, Граблинѣ, и еще двухъ-трехъ дѣйствующихъ лицахъ, похожихъ хотя сколько-нибудь на живыхъ людей, намъ нѣтъ надобности здѣсь говорить; эти лица, во-первыхъ, чисто вводныя, существеннаго значенія въ романѣ не имѣющія, а во-вторыхъ, самъ авторъ останавливается на нихъ лишь мимоходомъ, очерчиваетъ ихъ весьма слабо и блѣдно. Только фигура Лизы представлена довольно живо и рельефно. Но и къ этой фигуркѣ авторы ухитрились прищипить ярлычекъ съ нравственною сентенціею изъ дѣтскихъ прописей. Вѣтрена, капризная, легкомысленная, но самобытно и свободно развившаяся барышня (изъ *политическихъ внушекъ*) затронула какъ-то тщеславіе своего жениха, и необдуманно

сказала любимому человѣку, что она не хочетъ быть его женою. За такое непростительное легкомысліе авторы жестоко наказали веселенькую барышню, чуть не довели ее до самоубійства и загубили всю ея жизнь. Конечно, это весьма нравственно; но только уже черезъ чуръ строго! Столь же нравственно, хотя и столь же строго отнеслись они и къ Кирпичникову. Кирпичниковъ одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, невѣжественный, тупой, лѣнивый, развратный, безмѣрно-глупый и тщеславный купчикъ, открываетъ на женины деньги *книжный магазинъ и библіотеку для чтенія на востъ языкахъ*. Въ книжномъ дѣлѣ онъ ничего не смыслить, онъ не только никакихъ книгъ съ роду не читалъ, да и видывалъ то ихъ мало. Но его увѣрили, что, открывъ книжный магазинъ и начавъ издавать книги, онъ прославится на всю Россію, что имя его будетъ съ благодарностью произноситься современниками, а память о немъ не умретъ и въ потомствѣ; что „истинные цѣнители изящнаго“ поднесутъ ему какой-нибудь подарочекъ, въ видѣ перстня или табакерки, осыпанныхъ брильянтами и т. п. Тщеславіе заговорило въ немъ, и вотъ, руководствуясь общеизвѣстною моралью: *„здраву моему не препятствуй“*, изъ смиреннаго торговца хомутами и дегтемъ онъ превратился въ двигателя „россійской литературы“, въ издателя журнала, въ мецената россійской учености. Само собою понятно, что приказчики его надували, что авторы изъ „знаменитыхъ“ дорого сбывали ему свои сочиненія, которыхъ никто не раскупалъ, и что вообще всякій, кто только не былъ дуракъ, норовилъ сорвать съ него хоть что-нибудь. Съ своей стороны, и Кирпичниковъ не оставался въ долгу: онъ тоже эксплуатировалъ бѣдныхъ писателей, учитывалъ у прислуги гроши, надувалъ иногороднихъ подписчиковъ, подсабливалъ въ книгахъ и т. п. Въ этой обоюдной эксплуатаціи побѣдителемъ, конечно, долженъ былъ остаться наиболѣе ловкій и умный. Кирпичниковъ же былъ безмѣрно глупъ, ничего не смыслилъ въ томъ дѣлѣ, за которое взялся, притомъ попойки и кутежи занимали все его время. А тутъ еще вмѣшался „злой горбунъ“, и нашъ книгопродавецъ и издатель окончательно разорился. Магазинъ опечатали, а

„двигателя русской литературы“ свезли въ долговое отдѣленіе. Въ эту-то критическую минуту горбунъ, скупившій всѣ векселя книгопродавца, узнаетъ, что Кирпичниковъ его сынъ. Въ припадкѣ родительской нѣжности, онъ бѣжитъ къ разоренному купцу и предлагаетъ ему и векселя уничтожить и капиталъ дать. Авторъ вездѣ рисуетъ Кирпичникова жаднымъ, тщеславнымъ, развратнымъ эгоистомъ, совершенно неспособнымъ увлекаться какими бы то ни было идеально-нравственными соображеніями. Это самый обыкновенный „купеческій безобразникъ“, въ московскомъ вкусѣ. Потому, мы въ правѣ думать, что онъ схватится съ радостью за неожиданное счастье и заключить въ свои объятія нежданнаго, негаданнаго отца благодѣтеля. Но не тутъ-то было. Оптимистическая теорія романа требуетъ *кары* злодѣянію и *награды* добродѣтели. Какъ кара, такъ и награда должны быть двоякими: внутренними и внѣшними; т. е. злодѣй долженъ быть не только разоренъ и погубленъ, а добродѣтельный обогащенъ и возвеличенъ, но еще, кромѣ того, первый долженъ внутренне мучиться, сознавая свое злодѣяніе, а второй внутренне радоваться и восхищаться, сознавая свою добродѣтельность. Въ силу этой теоріи Кирпичниковъ, очевидно, не могъ принять родительскаго предложенія, а долженъ былъ, ну, по меньшей мѣрѣ, утопиться, сознавъ предвѣстительно всю свою дрянность.

Такъ онъ и поступилъ. На заманчивые посулы отца онъ разразился слѣдующею тирадою: „зачѣмъ ты сулишь мнѣ деньги? я знаю тебя хорошо... да и что мнѣ въ нихъ теперь? Я ихъ имѣлъ: что же я сдѣлалъ изъ нихъ? а, что? я бросалъ ихъ тѣмъ, которые лстили мнѣ и выгонялъ тѣхъ, кто молилъ о помощи: что мнѣ въ той жизни, какую я велъ? пьянство... да оно-то и погубило меня... Нѣтъ, ничего мнѣ не надо! я вѣкъ свой прожилъ, словно какъ животное, прожилъ свои и чужія деньги, пустилъ по міру жену и дѣтей. Я все сдѣлалъ низкое и злое, что только можетъ сдѣлать человѣкъ! Такъ зачѣмъ мнѣ еще деньги? чтобы опять поить, кормить лстецовъ, да обсчитывать бѣдныхъ и честныхъ людей? Нѣтъ, все уже кончено! не увидишь, не налюбуеться ты больше моимъ позоромъ, моими черными дѣлами...

Нѣтъ, нѣтъ!“ (т. II, стр. 395.) И затѣмъ — бултыхъ въ воду. Горбунъ за нимъ, и оба тонуть. Такъ, да погибнуть грѣшники!

Вотъ какую мораль съ паэосомъ проповѣдывали наши передовые писатели лѣтъ двадцать пять тому назадъ! Сравните теперешняго Некрасова-поэта съ тогдашнимъ Некрасовымъ-беллетристомъ! Кто повѣритъ, что это одинъ и тотъ же человѣкъ? И кто намъ скажетъ, когда этотъ человѣкъ говоритъ искренно: тогда-ли когда онъ рѣшаетъ вопросъ: „Кому на Руси жить хорошо?“ или когда въ сотрудничествѣ съ г. Станицкимъ пишетъ „Три страны свѣта?“ Во всякомъ случаѣ будущій историкъ нашей литературы не оставитъ безъ вниманія этого романа. Весьма ничтожный, какъ мы показали, въ чисто-художественномъ отношеніи, онъ весьма важенъ въ отношеніи историко-литературномъ. Пролитая свѣтъ на тогдашнее міросозерцаніе его автора, онъ указываетъ въ то же время, и на то, какъ рѣшительно измѣнилась, въ послѣднія полтора десятилѣтія, наша умственная атмосфера. Теперь, я думаю, ни одинъ, самый плохенькій, самый скабрезный романистъ не рѣшился бы признать себя авторомъ „Трехъ странъ свѣта“. Хотя и въ наше время, сплошь да рядомъ, пишутся романы съ манекенами, но они не подгоняются, по крайней мѣрѣ, подъ тѣ узенькія и пошленькія идейки, подъ которыя гг. Некрасовъ и Станицкій подогнали свое произведеніе.

VIII.

Въ заключеніе обратимъ вниманіе читателей еще на одну (отчасти уже указанную выше) характеристическую черту романа. Жизненный интересъ почти всѣхъ его дѣйствующихъ лицъ вертится на одной *любви*. Любовь играетъ у этихъ людей роль какого-то то ужаснаго, то благодѣтельнаго фатума. Она или ведетъ ихъ къ счастію и блаженству (если они нравственны и благоразумны), или (если они недостаточно нравственны и благоразумны) губитъ ихъ, низвергаетъ ихъ въ адъ всевозможныхъ внутреннихъ и вѣшнихъ мукъ и страданій. Мы уже видѣли, что два главные

героя этого романа представляют собою не болѣе, какъ абстрактную идею любви, облеченную въ человѣческія формы. Третій герой-манекенъ, нѣкій добродѣтельный башмачникъ (въ pendant къ добродѣтельной швейкѣ) точно также весь сосредоточивается въ любви къ Полинкѣ. Немножко болѣе похожій на живого человѣка, нѣкій руссійскій живописецъ-самоучка, тотъ самый, котораго вѣтреная Лиза легкомысленно отвергла, наконецъ, сама Лиза, далѣе Граблинъ, Дарья (дѣвица вольныхъ нравовъ), Полиныкина мать и т. п. всѣ они только и дышатъ любовью и, разумѣется, очень скоро задыхаются. Боже мой, какое обиліе любви! И добро бы занимались этимъ пріятнымъ времяпрепровожденіемъ ожирѣвшіе помѣщики, а то вѣдь, нѣтъ! разныя швейки, башмачники, даже „дѣвицы вольныхъ нравовъ“,—весь этотъ бѣдный, живущій въ проголодь людъ, у котораго и безъ того полны руки работы, и онъ также пускается въ идеальное амурничанье! И они нѣжничаютъ и вздыхаютъ, ухаживаютъ и бредятъ чистою любовью. У всѣхъ въ сердцахъ и на умѣ только одно—любовь, и какая любовь! самая, повидимому, утонченная и возвышенная! И нельзя сказать, чтобы эта „любовная нота“ составляла какую-нибудь отличительную особенность именно одного только этого романа. Нѣтъ, она съ упорнымъ однообразіемъ и какимъ-то ослинымъ постоянствомъ звучитъ во всей нашей старой и отчасти новѣйшей беллетристикѣ. Если романисты той школы, къ которой принадлежатъ гг. Некрасовъ и Станицкій, смотрѣли на нее чисто матафизически, видѣли въ ней какую-то субстанцію, переполняющую человѣческія внутренности, какую-то отвлеченную идею, воплощаемую людьми, то романисты другой школы, такъ называемые художники, измѣнили лишь точку зрѣнія и стали разбирать ее чисто-психологически, но все-таки и у тѣхъ и другихъ она стояла и стоитъ на первомъ планѣ. Говоря о Тургеневѣ, мы познакоимся ближе съ отношеніями художнической, правильнѣе сказать, *психологической школы* нашихъ беллетристовъ, къ этому привилегированному чувству, безъ котораго у сочинителей этой школы не обходился ни одинъ романъ, ни одна драма, даже ни одинъ водевиль самого лубочнаго издѣлія, какъ

я до сихъ поръ у московскихъ купеческихъ сынковъ не обходится безъ любовныхъ походовъ ни одинъ трактирный подвигъ, совершаемый по ночамъ, вдали отъ родительской кровли... Говоря о Тургеневѣ мы увидимъ, далеко ли ушли эти романисты психологи отъ романистовъ-метафизиковъ. Теперь достаточно сказать, что и тѣ и другіе съ одинаковою щедростью надѣляютъ „любовнымъ богатствомъ“ всѣ классы и сословія російской имперіи, безкорыстно отрѣшаются на этотъ разъ отъ дворянскихъ привиллегій. Тургеневскіе „пейзаны“ и Марко-Вовческія „пейзанки“, по части любви, безъ труда выдержать конкуренцію съ „добродѣтельными швейками“ и башмачниками гг. Некрасова и Станицкаго. Читая всѣ эти безконечныя славословія любви, самыя разнообразныя ея варіаціи, можно подумать, что мы, и вѣрава, живемъ въ какой-то Аркадіи, гдѣ любовь надъ всѣмъ царитъ. А между тѣмъ, что же оказывается въ дѣйствительности? Читайте наши судебныя хроники, разверните уголовную лѣтопись „добраго стараго времени“, загляните за ширмы семейной жизни прошлой эпохи, и укажите намъ на этихъ идеальныхъ героевъ, готовыхъ изъ за любви жертвовать самою жизнію. И, конечно, чѣмъ дальше будемъ отодвигаться въ глубь крѣпостного права, тѣмъ менѣе шансовъ на то, чтобы встрѣтиться съ аркадскими пастушками и буколическими сценами, въ родѣ невинной швеи, ожидающей въ свои объятія странствующаго рыцаря съ Петербургской стороны... А между тѣмъ, тогда-то именно съ особенною неутомимостью и воспѣвалась въ нашей литературѣ „чистая любовь“. Тотъ же фактъ, какъ извѣстно, повторяется и въ литературѣ другихъ народовъ. Въ средніе вѣка поэты и рыцари идеализовали любовь самымъ неумѣреннымъ образомъ, а жизнь съ циническимъ смѣхомъ топтала ее въ грязь. Не имѣемъ ли мы права заключить отсюда, что положительные идеалы беллетристовъ отражаютъ въ себѣ реальную дѣйствительность не въ настоящемъ ея видѣ, а въ обратномъ? Не дополняетъ ли болѣзненно-настроенная фантазія своими призраками того, чего именно не достаетъ въ дѣйствительной жизни? Мнѣ кажется, что эта мысль не лишена справедливости не только съ чисто-исторической, но и съ психологической точки зрѣ-

нія. Сытый не мечтаетъ о хлѣбѣ, любимый и любящій о любви. Только человѣкъ голодный способенъ увлекаться кускомъ хлѣба; только люди, мало любящіе и мало любимые видятъ въ любви главное украшеніе и назначеніе человеческой жизни. Любовь, какъ и вообще всѣ гуманныя и высоко-развитыя чувства, не падаетъ на насъ съ неба; она является, какъ продуктъ высокаго умственнаго развитія, общей жизненной гармоніи и тѣхъ общественныхъ условій, которыми такъ мало отличалось крѣпостное стойло. Читатель скажетъ, что все это старыя и тривиальныя истины; это правда. Но когда дѣло идетъ объ оцѣнкѣ общества, съ точки зрѣнія его литературныхъ идеаловъ, то эти старыя истины обыкновенно забываются. Мы всегда бываемъ склонны видѣть въ литературѣ и въ особенности въ беллетристикѣ *прямое отраженіе* общества; мы всегда готовы признать то общество болѣе нравственнымъ, беллетристика котораго проникнута нравственными сентенціями, наполнена нравственными героями; мы ужасаемся безнравственности того общества, въ которомъ беллетристика не устаетъ купаться въ грязныхъ водахъ цинизма и полового разврата. Напримѣръ, мы наивно думаемъ, что Золя, Флоберы, Дрозы свидѣлствуютъ о безнравственности французскаго общества, а чопорная мораль англійскихъ моралистовъ есть несомнѣнный призракъ крѣпости „нравственныхъ устоевъ“ англійскаго „мѣщанства“ и сельскаго „джентри“. А между тѣмъ, съ точки зрѣнія „тривиальныхъ истинъ“, мы должны бы были дѣлать совершенно обратныя заключенія: чего беллетристика не идеализуетъ, того, значить, имѣется въ обществѣ въ достаточномъ количествѣ, а то, что она идеализуетъ, въ томъ, значить, чувствуется большой недостатокъ. Разъ вы утвердились на этой точкѣ зрѣнія, вы безъ всякихъ дальнѣйшихъ указаній будете знать, какъ нужно смотрѣть на дѣйствительныхъ людей, на реальныя отношенія того общества, въ которомъ могутъ появляться романы, подобные „Тремъ странамъ свѣта“.

П. Н. Ткачевъ.

*) Въ ноябрьской книжкѣ „Дѣла“ нѣкоторые, впрочемъ, талантливыи критикъ, стремятся провести мысль и поддерживаетъ свои увѣренія относительно художественной несостоятельности писателей сороковыхъ годовъ — чѣмъ бы вы думали?—разборомъ романа „Три страны свѣта“. Критикъ беретъ это забытое произведеніе въ качествѣ лучшаго представителя романовъ „старой беллетристики“ изъ категоріи бьющихся на виѣшніе эффекты. Разобравъ пошлость содержанія и пошлость эффектовъ этого романа, критикъ приходитъ къ тому заключенію, что въ современной беллетристикѣ даже такой убогий писатель, какъ г. Всеволодъ Крестовскій, стоитъ несравненно выше авторовъ „Трехъ странъ свѣта“. И въ его вымыслахъ, принадлежащихъ тоже къ разряду продуктовъ бездарнѣйшей фантазіи, больше правдивости, больше жизни и рельефности, чѣмъ въ нелѣпыхъ сказкахъ компаніи, сочинившей „Три страны свѣта“. Все это можетъ быть и справедливо, но все это въ то же время отнюдь не доказываетъ, что современная беллетристика и современные беллетристы стоятъ выше талантовъ сороковыхъ годовъ. Судить старую беллетристику по „Тремъ странамъ свѣта“ не подобаешь потому, что этотъ романъ исключительнаго характера, написанный съ особыми цѣлями и по особеннымъ обстоятельствамъ. Время, когда г. Некрасовъ, въ сотрудничествѣ съ г. Станицкимъ, печатали свое длинное и эффектное произведеніе, было однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ періодовъ журналистики. Тогда журналамъ приходилось бороться не съ одними только внѣшними препятствіями, но и съ равнодушіемъ большинства общества къ умственнымъ интересамъ, къ чтенію порядочныхъ книгъ. Общество только въ своемъ образованіи меньшество считало интересы литературы и мысли достойными вниманія: остальная масса не хотѣла о нихъ ничего знать, не хотѣла оцѣнивать той тяжелой борьбы, какую приходилось выдерживать помянутымъ интересамъ съ различными темными силами, не желала поддерживать журналистику въ этой благородной борьбѣ. Между

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1872 г., № 352, Статья Z. (В. П. Буренина).

тѣмъ образованное меньшинство можно было въ то время считать десятками, пожалуй, сотнями, но ужъ никакъ не болѣе. Журналистикѣ приходилось искать помощи въ массѣ неразвитой, съ грубыми вкусами и инстинктами. Для приобрѣтенія этой помощи журналистика и должна была поневолѣ прибѣгнуть къ сочиненію и печатанію романовъ въ родѣ „Трехъ странъ свѣта“. Такіе романы писались нарочно для чтенія массы, въ нихъ намѣренно вводились грубые и банальные эффекты, чисто внѣшняя интересность содержанія, прописная мораль и прописныя тенденціи. Болѣе тонкимъ искусствомъ, менѣе декоративной живописью, масса не могла бы завлечься; она отвращалась отъ изящныхъ яствъ и бросалась съ своимъ грубымъ аппетитомъ на кушанья, приправленныя разными пряностями и всякими гарнирами. Благодаря изготовленію этихъ грубыхъ кушаній, журналы кой-какъ могли существовать, имѣли матеріальную поддержку въ публикѣ, и въ то же время имѣли возможность, вмѣстѣ съ грубыми блюдами, давать и другія, болѣе здоровыя и питательныя, болѣе тонкія. Лучшіе журналы сороковыхъ годовъ вынуждены были прибѣгать къ такой беллетристикѣ для заохочиванія массы къ чтенію. „Отечественныя Записки“ при Бѣлинскомъ печатали въ переводѣ романы, въ родѣ „Королевы Марго“, „Графини Монсоро“, „Двухъ Діанъ“ и т. п. Конечно, печатаніе подобныхъ „завлекательныхъ“, но пустыхъ произведеній искусства было нѣкоторымъ грѣхомъ со стороны журналистики; но что же было дѣлать, если это былъ невольный грѣхъ, если необходимость вынуждала къ этому журналы, если нравы публики требовали этого. Можно пожалѣть о жалкомъ положеніи тогдашней журналистики, но не слѣдуетъ порицать ее съ азартомъ за невинныя, вызванныя тяжелымъ положеніемъ, уловки. Особенно не слѣдуетъ порицать теперь, когда уже этотъ темный періодъ литературы можно судить съ исторической точки зрѣнія.

А между тѣмъ, критикъ „Дѣла“ обнаруживаетъ именно такой азартъ въ порицаніи „Трехъ странъ свѣта“. Этотъ несчастный, вынужденный необходимостью романъ, который писался (по крайней мѣрѣ, однимъ изъ его авторовъ) почти

въ шутку, къ которому, если не ошибаюсь, кромѣ гг. Некрасова и Станицкаго, прилагали мѣстами руку и другіе литераторы,—этотъ романъ преслѣдуется критикомъ какъ будто какое нибудь серьезное произведеніе. Критикъ разбираетъ въ романѣ типы, анализируетъ его идею, его мораль, приемы творчества авторовъ, и все это съ цѣлію доказать, что прежде писались романы хуже, чѣмъ теперь. Какъ я думаю, смѣется если не г. Станицкій, то г. Некрасовъ, читая этотъ серьезный анализъ и припоминая, ради чего и какими беллетристическими средствами создавался этотъ романъ! Но смѣхъ смѣхомъ, а, съ другой стороны, вѣроятно, г. Некрасову и прискорбно, что его серьезно корятъ въ наши дни за вынужденное сочинительство завлекательныхъ эпопей добраго стараго времени. Впрочемъ, г. Некрасовъ можетъ утѣшиться: публика знаетъ, что за „Три страны свѣта“ онъ не порицанія достоинъ; публика знаетъ, что этимъ романомъ онъ въ свое время поддерживалъ интересъ къ „Современнику“. „Три страны свѣта“ очень читались массою: это лучшая похвала роману, написанному исключительно для процесса чтенія.

Не совсѣмъ справедливо также обвиняетъ критикъ „Дѣла“ г. Некрасова въ томъ, что онъ добровольно реставрируетъ теперь свой романъ, сознавая надобность такой реставраціи. Если бъ г. Некрасовъ написалъ „Три страны свѣта“ одинъ, тогда бы теперешнее изданіе романа пришлось бы отнести вполнѣ на его счетъ. Но, вѣдь, романъ написанъ въ сотрудничествѣ съ г. Станицкимъ, стало быть, его теперешняя реставрація зависѣла не отъ одного г. Некрасова. Можетъ быть, г. Некрасовъ вовсе не желалъ видѣть новое изданіе своего забытаго произведенія, но принужденъ былъ согласиться на таковое въ виду желанія г. Станицкаго. Это предположеніе, весьма вѣроятное, во всякомъ случаѣ, должно принимать во вниманіе при оцѣнкѣ вопроса, насколько виноваты поэтъ нашихъ дней въ возобновленіи грѣховъ своей молодости? Не такъ давно была падана какимъ-то книгопродавцемъ нелѣпая сказка г. Некрасова „Баба-Яга“, написанная во дни юности. Изданіе этой сказки было продано поэтомъ книгопродавцу въ соро-

ковых годах; но послѣдній въ наши дни воспользовался своимъ правомъ, спекулируя на извѣстность имени г. Некрасова. Съ неразборчивой точки зрѣнія критики „Дѣла“, пожалуй, и за эту „Бабу-Ягу“ придется упрекать и порицать даровитаго поэта.

Критикъ „Дѣла“ старается доказать, посредствомъ разбора „Трѣхъ странъ свѣта“, что старые романы изъ категоріи тѣхъ, которые основываются на „страстяхъ и ужасахъ“, были нелѣпы и писались хуже, чѣмъ новѣйшіе продукты беллетристики въ такомъ родѣ. Но на страницахъ самого „Дѣла“, въ ноябрьской книжкѣ и въ предшествовавшей ей, мы встрѣчаемъ необыкновенно яркое и наглядное доказательство противнаго: именно самоновѣйшій романъ г. Каразина „На далекихъ окраинахъ“. Сравните этотъ романъ съ „Тремя странами свѣта“, и вы сейчасъ же увидите, насколько прежніе беллетристическіе „страсти и ужасы“, писанные ради необходимости, чуть ли не шутя, выше теперешнихъ „страстей и ужасовъ“, сочиняемыхъ соп. атоге. Мотивы различныхъ романическихъ эффектовъ „Трѣхъ странъ свѣта“, конечно, пошлы, избиты, неправдоподобны; но нельзя не сознаться, что этими мотивами авторы пользуются ловко, съ полнымъ пониманіемъ беллетристическаго дѣла, съ знаніемъ тѣхъ предѣловъ, до которыхъ слѣдуетъ доводить банальные эффекты. Избитую фабулу романа гг. Некрасовъ и Станицкій умѣютъ провести черезъ цѣлыя восемь частей такимъ образомъ, что внѣшій интересъ разсказа у нихъ ослабѣваетъ рѣдко. Картины ихъ романа, конечно, малеванныя, вывѣсочныя, но онѣ разнообразны; авторы имѣютъ достаточный запасъ фантазіи, чтобъ расцвѣтить ихъ пестрыми подробностями. Вообще говоря, хотя внутренній вымыселъ романа бѣденъ, но по внѣшнимъ подробностямъ онъ представляется достаточно ловкимъ: видно, что авторы владеютъ разсказомъ, знаютъ, какъ его вести, имѣютъ точное понятіе о приемахъ беллетристическаго искусства. Возьмите же теперь рядомъ съ „Тремя Странами“ три части романа г. Каразина. Первая часть, гдѣ авторъ завязываетъ интригу романа и фотографируетъ ташкентское общество, написана не безъ ловкости, не безъ живости и съ талантомъ; но за-

тѣмъ очевидно, что у автора беллетристическаго искусства только и хватило на завязку, да на фотографію нѣсколько видѣнныхъ въ дѣйствительности сценъ. Въ двухъ остальныхъ частяхъ „интрига“ улетучивается совсѣмъ, веденіе разсказа становится не только неумѣльнымъ, но просто наивнымъ, чтобъ не сказать больше, „ужасы и страсти“ являются до такой степени дикіе, глупые, безобразные, что становятся стыдно за дѣтскую неразвитость автора, способнаго серьезно заниматься такими вадорными эффектами. Цѣлыхъ двѣ части авторъ громоздитъ нелѣпость на нелѣпости; нить разсказа, видимо, потеряна имъ; онъ не умѣетъ, не можетъ справиться съ самыми обыкновенными эпизодами, не умѣетъ придать имъ должную мѣру, словомъ обнаруживаетъ полнѣйшее незнаніе самыхъ обыкновенныхъ правилъ искусства. „Реализмъ“ автора становится не только утрированнымъ, но просто возмутительнымъ: это реализмъ челоѣка, которому самыя отвратительныя подробности кажутся обыкновенными, даже привлекательными. Какой авторъ, мало-мальски знакомый съ законами искусства, можетъ допустить въ разсказѣ всѣ эти „тухлыя“ отрубленные головы, „адскіе пловы“ изъ червей, копошащихся на трупѣ, выклеываемые птицами глаза у мертвой женщины, „потныхъ“ ташкентскихъ красавицъ, ищущихъ паразитовъ во время любовныхъ объясненій, и т. п. И всѣми этими глупостями, доходящими до омерзительности, авторъ занимается съ особымъ удовольствіемъ, повторяетъ ихъ гдѣ только можетъ. Я приглашаю критика „Дѣла“ поискать въ романѣ гг. Некрасова и Станицкаго подобной грубости и неразвитости въ пониманіи беллетристическихъ эффектовъ; у нихъ ничего подобнаго не найдется, потому что они для своего времени были довольно основательно знакомы съ законами искусства. А г. Каразинъ, очевидно, писатель первобытный, въ нѣкоторомъ родѣ беллетристическій ташкентецъ. У него есть, конечно, талантъ, впрочемъ, незначительный, и притомъ чисто—внѣшній; но затѣмъ у него нѣтъ ничего: онъ немного больше настоящихъ ташкентцевъ знакомъ съ современною изящною литературой, не только иностранной, но даже отечественной: по крайней мѣрѣ, такое впечатлѣніе производятъ

грубость и неотесанность его творчества, дикость его тапкентских фантазій. Вотъ уже про фантазію г. Каразина можно смѣло сказать то, что критикъ „Дѣла“ говоритъ про фантазію Всеволода Крестовскаго.

Да, какъ тамъ ни толкуйте, а все-таки прежніе авторы относительно техники искусства куда какъ выше стояли теперешнихъ. Критикамъ нашихъ дней не унижать бы ихъ слѣдовало съ этой стороны, а, сообразивъ разстояніе ихъ времени отъ нашего, указать новѣйшимъ авторамъ, какъ мало прогрессируютъ они въ дѣлѣ изученія приемовъ литературнаго художества *).

В. П. Буренинъ.

1873 г.

**) Г. Некрасовъ—дарованіе своеобразное, самостоятельное, опредѣленное, и однако же не на столько крупное, сильное и глубокое, чтобъ породить рядъ послѣдователей, подобныхъ тѣмъ, какихъ имѣютъ Пушкинъ и Лермонтовъ. Муза г. Некрасова, по оригинальности своихъ пѣсенъ, можетъ сравниться съ музами этихъ двухъ поэтовъ: подобно имъ, г. Некрасовъ внесъ въ русскую поэзію новые, дотогѣ незнакомые ей мотивы, новое содержаніе, даже отчасти и форму, отличную отъ прежнихъ формъ. Но только оригинальностью, а отнюдь не силою и глубиною содержанія, эта „муза мести и печали“ приобрѣла себѣ значеніе въ родной литературѣ. Это содержаніе все исчерпывается такъ называемою „гражданскою скорбью“. Гражданская скорбь есть продуктъ того мрачнаго и тяжелаго періода русской жизни, который имѣлъ въ нашемъ развитіи значеніе плотины, загордившей ея естественное теченіе. У поэтовъ эпохи, предшествовавшей этому періоду, вы не отыщете гражданской скорби. Я уже не говорю о такихъ изъ нихъ, какъ Пушкинъ,

*) Еще см. о Некрасовѣ за 1872 г. въ „Нивѣ“, № 25, стр. 390 („Генералъ Топтыгинъ“).

**) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1873 г., № 27. Статья Z. (В. П. Буренина).

Примѣч. В. Зелинскаго.

инесія котораго заключалась совсѣмъ въ иномъ: въ созданіи настоящаго поэтическаго искусства въ общемъ, широкомъ смыслѣ. Но даже и такихъ поэтовъ, какъ Рылѣевъ, прямо приписывавшій своей поэтической дѣятельности „гражданское“ значеніе, вы не найдете гражданской скорби. Въ его одушевленныхъ стихахъ, особенно въ пьесахъ послѣдняго періода, повсюду прорывается гражданскій энтузіазмъ, порою протестъ; но стонъ отчаянія, стонъ скорби, стонъ „мести и печали“ вы не отыщете у этого поэта. Это чувство скорби явилось потомъ: первые отголоски его слышались въ Лермонтовѣ, полное же выраженіе они нашли себѣ въ стихотвореніяхъ г. Некрасова.

Я не стану указывать, какія произведенія г. Некрасова являются наиболѣе выразительными, наиболѣе имѣющими значеніе съ этой стороны: во-первыхъ, это всѣмъ извѣстно; во-вторыхъ, это не относится къ предмету моей бесѣды. Взамѣнъ подобныхъ частныхъ указаній, я выскажу нѣсколько общихъ соображеній кой о чемъ иномъ. Мотивъ „гражданской скорби“, составляющій сущность поэзіи г. Некрасова, могъ имѣть живое содержаніе, могъ вызывать энергическія и искреннія строфы у поэта и находить не менѣе искренній сочувственный отзывъ въ сердцахъ читателей до тѣхъ поръ, покуда наша жизнь находилась подъ тяжкими условіями, которыя сковывали ея естественное развитіе. Однимъ изъ этихъ условій, едва ли не самымъ существеннымъ, было крѣпостное право. Гражданская скорбь, гражданскіе стоны по преимуществу вызывались страданіями „родной земли“ и народа отъ крѣпостной опеки, и въ спеціальномъ смыслѣ рушилась совершенно, а въ общемъ утратила въ значительной степени свой прежній характеръ, — съ того времени, когда наша жизнь худо ли, хорошо ли, все-таки получила кой-какую возможность идти по пути развитія, когда плотина, ее сдерживавшая, прорвалась, — съ этого времени гражданскіе стоны потеряли свое прежнее великое значеніе. Одной гражданской скорби, однихъ протестующихъ стонъ стало недостаточно для того, чтобъ возбуждать и поддерживать жизненное движеніе. Поэзія — это отраженіе жизни, поэзія, которая именно только тогда и можетъ считаться живымъ источ-

никомъ искусства, когда она отражаетъ въ себѣ насущное движеніе жизни, не могла уже ограничиться безконечнымъ повтореніемъ прежнихъ стонѡвъ и тоскованій. Гражданская скорбь, имѣвшая когда-то значеніе могучаго жизненнаго стимула, утратила свой прежній смыслъ, потому что обратилась въ неискреннее, изученное „плохое фиглярство“, какъ довольно удачно выразился одинъ изъ самыхъ холодныхъ фигляровъ—подражателей поэзіи г. Некрасова. Для предупрежденія разныхъ намекающихъ комментаріевъ „молчалниковъ выдыхающагося радикализма“, я долженъ здѣсь сдѣлать необходимую оговорку. Говоря о томъ, что въ наши дни такъ называемая гражданская скорбь утратила свое значеніе, я вовсе не желаю унижать это высокое чувство, или отрицать его, и вовсе не хочу этимъ сказать: дѣйствительность столь прекрасна и отрадна, что не можетъ вызывать никакой скорби, а одно лишь свѣтлое ликованіе. Я хочу сказать только одно: теперь съ однимъ этимъ чувствомъ, хотя бы и выражаемымъ въ краснорѣчивыхъ фразахъ и хорошо сдѣланныхъ стихахъ, нельзя заслужить титулъ гражданского писателя и поэта. Кромѣ скорбныхъ стонѡвъ, фразъ и стиховъ, даже отъ пѣвцовъ теперь требуется еще кое-что другое: требуется дѣло жизни, тождественное съ словомъ. Для поэта такое дѣло жизни можетъ реально выражаться хоть въ томъ, напримѣръ, что онъ будетъ слѣдить за развитіемъ и направленіемъ современнаго знанія, за ходомъ современныхъ общественныхъ идей, что онъ посвятитъ свою поэзію искреннему выраженію чувства, внушаемаго ему отрицательными илипо ложительными явлениями дѣйствительности, а не либеральному лицедѣйству, искусственно подогрѣваемому затаенной мыслію: при теперешнемъ, молъ, плохомъ пониманіи истинной поэзіи, подобное лицедѣйство сойдетъ за настоящее горячее вдохновеніе...

Послѣ всего сказаннаго, становится отчасти понятнымъ, почему гражданская скорбь и гражданскіе порывы поэзи г. Некрасова за послѣднее время являются совсѣмъ не съ тѣмъ значеніемъ, какое они имѣли прежде. Несмотря на то, что поэтъ, повидимому, поднимаетъ уровень своей по-

эзи, несмотря на то, что онъ беретъ уже не только гражданскія, но даже архи-гражданскія темы, изъ этихъ темъ выходить „ничего иль очень мало“. Его гражданскіе стихи являются дѣланными, вялыми и холодными; при всей своей опытности, при всей способности къ блестящимъ лирическимъ порывамъ, г. Некрасовъ никакъ не можетъ стать на высоту искренняго поэтическаго увлеченія и безпрестанно впадаетъ въ пошлость мысли и выраженія, безпрестанно превращаетъ пафосъ и теплоту своего подогрѣтаго цизизма въ нѣчто дрябло-приторное и порою даже комическое.

Новая поэма г. Некрасова, по поводу которой я распространился о нашемъ поэтѣ, можетъ служить нагляднымъ подтвержденіемъ всего сказаннаго. Содержаніе поэмы, взятое авторомъ, самое благодарное: поэтъ задается намѣреніемъ воспѣть гражданское самопожертвованіе героинь двадцать-пятого года, память которыхъ долго будетъ жить въ позднѣйшихъ поколѣніяхъ и пробуждать добрыя чувства, говоря выраженіемъ Пушкина. Что можетъ быть счастливѣе подобной темы для поэта? Мотивы, данные ему историческою дѣйствительностью, образы, представляемые ею, такъ рельефны и хороши, что ихъ не надо преукрашать даже поэтической фантазіей. Г. Некрасовъ понялъ это, и въ своихъ поэмахъ по возможности придерживается тѣхъ „матеріаловъ“, которые даютъ ему мемуары и записки о подвигахъ нашихъ, можно сказать, первыхъ гражданокъ. Къ сожалѣнію, понялъ эту вещь г. Некрасовъ узко, и въ своемъ стремленіи сохранить фактическія черты подвиговъ и страданій героинь двадцать пятого года доходитъ до крайности. Онъ до того придерживается помянутыхъ матеріаловъ, что послѣдняя его поэма написана даже въ формѣ записокъ кн. М. Н. Волконской и смѣло могла бы быть напечатана въ „Русскомъ Архивѣ“, или „Русской Старинѣ“, какъ образецъ стихотворныхъ мемуаровъ. Г. Семеvскому и Бартеvеву осталось бы только снабдить эти стихотворные мемуары многочисленными примѣчаніями, и будущій русскій историкъ могъ бы пользоваться ими, какъ пособіемъ въ своихъ историческихъ изслѣдованіяхъ о событіяхъ двадцать пятого года.

Что же заставило г. Некрасова обратить свою поэзію на дѣло, подобное тому, какимъ занимались поэты прежнихъ временъ, перекладывавшіе въ стихи историческіе трактаты и географическія руководства? По всей вѣроятности, онъ занялся подобіемъ стихотворнаго переложенія записокъ, во-первыхъ, потому, что, какъ я уже сказалъ, факты дѣйствительности, послужившіе матеріаломъ для его поэмы, плѣнили его своей гражданской обаятельностью, во-вторыхъ, потому, что онъ, чувствуя оскудѣніе своего творчества, хотѣлъ вознаградить его отсутствіе точностью и правдой содержанія своей поэмы. Но въ томъ-то и штука, что фактическая правда и правда поэтического творчества—двѣ вещи, имѣющія между собою соотношение, но отнюдь не тождественныя. Иногда точное воспроизведеніе правды дѣйствительности бываетъ совершенно неумѣстно въ поэзіи, и способно нарушать впечатлѣніе поэтической правды. Это очень легко пояснить примѣромъ. Положимъ, поэтъ изображаетъ какого-нибудь историческаго героя, увлекающаго „громовымъ словомъ“ народную массу на великій „патріотическій подвигъ“. Положимъ, изъ „подлинныхъ документовъ“ извѣстно, что герой въ это время страдалъ насморкомъ и сопровождалъ свое „громкое слово“ частымъ чиханіемъ, которое, однако, не воспрепятствовало ему увлечь толпу. Слѣдуетъ ли изъ этого, что поэтъ, задавшійся цѣлью воспѣть подвигъ героя, долженъ необходимо упоминать въ своихъ пламенныхъ строфахъ о помянутомъ насморкѣ и чиханіи? Не способна ли такая правда нарушить впечатлѣніе поэтической правды? Да что, впрочемъ, намъ выдумывать примѣры: мы можемъ позаимствовать ихъ прямо изъ поэмы г. Некрасова, имѣвшаго въ виду соединить документальную точность съ поэтическимъ творчествомъ. Вотъ одинъ изъ такихъ примѣровъ: поэтъ, желая исчислить всѣ тяжелыя случайности, которымъ подвергалась его героиня (внѣгinya В—ская) на пути въ Сибирь къ осужденному мужу, изображаетъ, между прочимъ, слѣдующее происшествіе:

А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей,
Гора была страшно крутая,
И я полетѣла съ кибиткой моею
Съ высокой вершины Алтая.

Какое впечатлѣніе производитъ на читателя героиня, летящая кубаремъ съ „вершины Алтая“? Безъ всякаго сомнѣнія, комическое. А между тѣмъ, поэтъ, конечно, желалъ произвести совершенно иное: онъ желалъ выставить страданія, вынесенныя молодой женщиной аристократическаго круга при совершеніи ею подвига самопожертвованія. И вотъ для большаго впечатлѣнія онъ вставляетъ въ свою поэму фактъ, весьма возможный и, по всей вѣроятности, имѣвшій мѣсто въ дѣйствительности, думая этимъ усилить впечатлѣніе читателя. Выходитъ, однако же, наоборотъ: подробности являются карикатурой, и въ душѣ впечатлительнаго читателя возбуждается досадное чувство на то, что поэтъ ставитъ благородный образъ въ карикатурное положеніе...

Вотъ еще, читатель, примѣръ документальнаго реализма и записочной поэзіи:

„Дорога безъ снѣгу—въ тельгѣ! Сперва
Тельга меня занимала,
Но вскорѣ потомъ, ни жива ни мертва,
Я прелесть тельги узнала.
Узнала я голодъ на этомъ пути.
Къ несчастью, мнѣ не сказали,
Что тутъ ничего невозможно найти,
Тутъ почти буряты держали.
Говядину вялятъ на солнцѣ они,
Да грѣются чаемъ кирпичнымъ,
И тотъ еще съ саломъ! Господь сохрани,
Попробовать вамъ непривычнымъ!
Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задали балъ:
Какой-то купецъ тороватый
Въ Иркутскѣ замѣтивъ меня, обогналъ
И въ честь мою праздникъ богатый
Устроилъ... Спасибо! Я рада была
И вкуснымъ пельменямъ и банѣ...
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала
Въ гостиной его на диванѣ...”

Такія подробности о бурятахъ, пьющихъ кирпичный чай съ саломъ, о пельменяхъ и банѣ, конечно, казались бы очень трогательными въ запискахъ княгини, но встрѣчать ихъ въ формѣ вялыхъ и пошловатыхъ стиховъ, встрѣчать ихъ въ поэмѣ, задавшейся грандіозной цѣлью нарисовать

образы русскихъ женщинъ-гражданокъ — воля ваша, это производитъ впечатлѣніе комическое. Такіе безвкусные стихи говорятъ очень ясно, что у поэта нисякло творчество, и онъ ищетъ себѣ подспорья для него въ „подлинныхъ документахъ“, вяло перелагая ихъ въ вялые стихи. И подобными-то вялыми, вымученными стихами наполнена большая часть новой поэмы г. Некрасова. Даже тамъ, гдѣ поэтъ, по видимому, начинаетъ нѣсколько одушевляться, гдѣ у него вырываются строки искренней поэзіи, онъ почти постоянно портитъ послѣднія какими-нибудь совершенно неожиданными „записочными“ подробностями и банальными выходками и выраженіями. Вотъ примѣры:

Княгиня начинаетъ разсказъ о томъ, какъ она боролась съ настояніями семьи, умолявшей ее не уѣзжать къ мужу:

*„Теперь опишу вамъ подробно, друзья,
Мою роковую побѣду...“*

Княгиня разсказываетъ о своемъ воспитаніи:

*„Могла говорить я почти обо всемъ,
Я музыку знала, я пѣла.
Я даже отлично скакала верхомъ,
Но думать совѣтъ не умѣла...“*

Княгиня раздумываетъ о томъ, что ей долѣе вѣхать за мужемъ въ ссылку:

*„О, лучше въ могилу мнѣ заживо лечь,
Чѣмъ мужа лишать утѣшенья
И въ будущемъ сынъ презрѣнье навлечь...
Нѣтъ, нѣтъ! не хочу я презрѣнья!...
А можетъ случиться—подумать боюсь!
Я перваго мужа забуду,
Условіямъ новой семьи подчинюсь, и проч.“*

Подобными банальностями, напоминающими діалоги героини Александринскаго театра, переполнена поэма въ изобиліи, и онъ дерутъ ухо читателя, чуткаго къ настоящей поэзіи и знакомаго съ ней хотя бы по нѣкоторымъ прежнимъ пьесамъ нашего поэта. Эти банальности до такой степени овладѣли поэзіей г. Некрасова, что даже въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ его поэмы неумолимо суются между

строками. Лучшимъ мѣстомъ поэмы, по моему мнѣнію, должна быть признана сцена свиданія княгини съ мужемъ въ рудникѣ. Но и тутъ начало сцены и конецъ попорчены пошловатыми стихами и фальшивыми, натянутыми эффектами. Княгиня, преодолевъ всякія препятствія, пробралась въ подземелье рудника. Ее окружили ссыльные. Но мужа она еще не видитъ. Кто-то восклицаетъ, что онъ идетъ:

Я чуть не упала, рванувшись впередъ—
Канавъ была передъ нами.
— „Потише, потише! Ужели затѣмъ
Вы тысячи верстъ *пролетѣли*,
Сказалъ Т—кой, чтобъ на горе намъ всѣмъ
Въ канавѣ погибнуть—у цѣли“.
И за руку крѣпко меня онъ держалъ:
„Чтобъ было, когда бъ вы упали?“

Къ чему тутъ эта канавъ, вмѣстѣ съ рѣчами Т—каго, такъ некстати портящая „торжественность минуты“? По всей вѣроятности поэтъ пустилъ эту канаву потому, что онъ вычиталъ ее въ какихъ-нибудь запискахъ, или слышалъ устный рассказъ о томъ, что въ дѣйствительности княгиня чуть не упала въ канаву. Желая быть точнымъ и правдивымъ, г. Некрасовъ и канаву вставилъ въ поэму, держась словъ, документовъ, какъ истинный реалистъ. И однако же, этимъ документальнымъ реализмомъ онъ значительно испортилъ поэтическое впечатлѣніе сцены.

Слѣдующія затѣмъ стихи очень хороши и удались, выполнѣ:

Сергѣй торопился, но тихо шагаль.
Оковы уныло звучали.
Предъ нимъ разступались, молчанье храня,
Рабочіе люди и стража...
И вотъ онъ увидѣлъ, увидѣлъ меня!
И руки простеръ ко мнѣ: „Маша!“
И сталъ, обезсиленный словно, вдали...
Два ссыльныхъ его поддерживали.
По блѣднымъ щекамъ его слезы текли,
Простертыя руки дрожали...
Душъ моей милого голоса звукъ
Мгновенно послать обновленье,

Отраду, надежду, забвеніе мукъ,
Отцовской угрозы забвенье!
И съ крикомъ: „иду!“ я бѣжала бѣгомъ,
Рванувъ неожиданно руку,
По узкой доскѣ, надъ зіяющимъ рвомъ
Навстрѣчу призывному звуку...
„Иду!“ Посылало мнѣ ласку свою
Улыбкой лицо испитое...
И я подбѣжала... И душу мою
Наполнило чувство святое.
Я только теперь, въ рудникѣ роковомъ,
Услышавъ ужасные звуки,
Увиди оковы на мужѣ моемъ,
Вполнѣ поняла его муки,
И силу его... и готовность страдать!...
Невольно предъ нимъ я склонилась
Колѣни,—прежде чѣмъ мужа обнять,
Оковы къ губамъ приложила!...

Да, эти стихи напоминаютъ прежняго г. Некрасова, исключая, впрочемъ, послѣднихъ строкъ, гдѣ пригнанъ, какъ кажется, фальшивый гражданскій эффектъ—поцѣлуй оковъ. Я не знаю, основалъ ли этотъ эффектъ г. Некрасовъ на подлинныхъ документахъ или, что вѣрнѣе, создалъ его собственною фантазіей для вящаго усиленія цивилизма, но, во всякомъ случаѣ, этотъ эффектъ въ поэмѣ выходитъ психологически невозможнымъ: онъ не мотивированъ характеромъ героини. Княгиня, по объясненію поэта, пошла на каторгу за мужемъ не изъ сочувствія тѣмъ идеямъ, которыя привели его туда: она даже не знала о заговорѣ, объ участіи въ немъ мужа, она уже послѣ его ареста смутно догадалась, какими побужденіями руководился онъ и за какія идеи принялъ на себя крестъ страданія. Нѣтъ, она повлеклась въ рудники за мужемъ, вѣрная интимному чувству, вѣрная личному долгу жены и подруги, для которой была бы невыносима мысль, что онъ, „узникъ усталый въ тюремномъ углу, терзается лютою думой, одинъ, безъ опоры“. Вотъ мотивъ, увлекшій княгиню на подвигъ самопожертвованія и въ дѣйствительности и въ поэмѣ. Спрашивается: откуда же этотъ внезапный цивическій порывъ, это цѣлованіе оковъ, это предпочтеніе символа политическаго страданія самому стра-

дальцу? Что-нибудь одно: или этого не было въ дѣйствительности и придумано ради противохудожественной манеры г. Некрасова ставить точки надъ і тамъ, гдѣ этого не требуется; или же—если такой поцѣлуй оковъ имѣетъ фактическое основаніе—г. Некрасовъ не вѣрно понялъ весь характеръ героини своей поэмы и не вѣрно изобразилъ ея борьбу съ семьей, ея думы, все ея развитіе, очерченное въ первыхъ главахъ, словомъ—не свелъ конца съ началомъ.

Нельзя также безъ досады читать заключительные стихи поэмы; они показываютъ, что г. Некрасовъ утратилъ вкусъ и способность критически относиться къ самому себѣ. Нарисовавъ предыдущую патетическую сцену, притянувъ за волосы совершенно ненужный эффектъ, поэтъ спѣшитъ внезапной пошлостью огорошить читателя и кончаетъ комически:

„По-русски меня офицеръ обругалъ,
Внизу ожидавшій въ тревогѣ,
А сверху мнѣ мужъ по-французски сказалъ:
„Увидимся, Маша,—въ острогѣ“.

Общее заключеніе о новомъ произведеніи г. Некрасова должно быть такое: поэма представляетъ истинно-поэтическихъ лишь два-три мѣста, да и то не вполне выдержанныхъ. Таковы, по-моему: сцена встрѣчи княгини съ мужемъ въ крѣпости, сцена изъ юности княгини съ Пушкинымъ, нѣсколько стиховъ обращенія княгини къ народу, и затѣмъ встрѣча съ мужемъ въ рудникахъ. Все остальное—наборъ вялыхъ и банальныхъ стиховъ, которые ниже таланта г. Некрасова.

В. Буренинъ.

* * *

*) Давно уже не появлялось въ отечественной поэзіи такого серьезнаго, симпатичнаго и глубоко, гуманнаго произведенія, какъ *Русскія Женщины* Некрасова. Наша критика поросла такою плѣсенью злобы, мелкой зависти, грубаго непониманія и чудовищнаго кумовства, что даже эта лучшая

*) „Новое Время“ 1873 г., № 37. Статья А. С.

пѣснь нашего лучшаго современнаго поэта вызвала тупое непониманіе и злостное глумленіе одной изъ наиболѣе распространенныхъ нашихъ газетъ. „Петербургскія Вѣдомости“ обрушились на поэму Некрасова и, выражаясь литературнымъ жаргономъ нашей маленькой прессы, продернули ее на славу. Недобросовѣстное отношеніе къ дѣлу и полнѣйшее отсутствіе способности чувствовать и понимать ширину и высоту замысла поэта довели журнальнаго обозрѣвателя этой газеты г. Z. до неслыханной дерзости. Не довольствуясь тѣмъ, что съ рѣдкой ловкостью (въ этомъ ему надо отдать справедливость) подтасовалъ онъ самыя слабыя мѣста поэмы, почти совершенно пропадаящія въ грандіозномъ впечатлѣніи цѣлаго, добросовѣстный критикъ рѣшается еще потѣшать своимъ гаерствомъ публику и импровизируетъ въ заключеніе безсмысленныя стишонки, якобы пародію на *Русскихъ Женщинъ*. Жалкое кривлянье г. Z., къ несчастью, не только смѣшно, но и положительно вредно для подрастающей русской мысли, такъ такъ стремится приучить своихъ читателей къ безсмысленному скептицизму, не опирающемуся ни на какія разумныя основы. А, вѣдь, суть излитой г. Z. на Некрасова злобы ясна какъ нельзя болѣе: *Русскія Женщины* напечатаны въ „Отечественныхъ Запискахъ“, съ однимъ изъ сотрудниковъ которыхъ, г. Михайловскимъ, фельетонистъ „Петербургскихъ Вѣдомостей“ велъ самую неприличную, даже не полемику, а просто руготню,—поэтому по присущей этой газетѣ теоріи, слѣдуетъ ругать все, что ни попадетъ въ этотъ журналъ. Но отвернемся скорѣе отъ этого грязнаго, недоразвитаго мірка, вѣчно норовящаго третировать всякій предметъ съ кондачка, и возвратимся къ поэмѣ Некрасова.

Первая часть этой поэмы была напечатана еще въ № 4 „Отечественныхъ Записокъ“ за прошлый годъ, а въ январской книжкѣ появилась вторая совершенно отдѣльная часть, озаглавленная: *Княгиня М. Н. В.....я*. (Бабушкины записки). Въ ней старушка княгиня рассказываетъ своимъ внукамъ о томъ, какъ она поѣхала въ Сибирь за своимъ мужемъ, однимъ изъ декабристовъ. Передъ нами встаетъ грандіозный образъ созрѣвшей подъ ударами судьбы жен-

щины. Выданная замужъ отцомъ за нелюбимаго человѣка, красавица равнодушна къ этому серьезному, мало занимавшемуся ею человѣку. Только когда она узнаетъ, что онъ пострадалъ и подвергнется тяжкому наказанію, сердце ея даетъ о себѣ знать, и она начинаетъ любить мужа-героя! Для сильной женщины, какою была княгиня, нуженъ былъ высокій идеалъ, и вотъ она нашла его въ этомъ мученикѣ и борцѣ. Не идти за нимъ на каторгу представляется ей позорнымъ дѣломъ, и несмотря на уговоры семьи и проклятія отца, она оставляетъ своего грудного ребенка и смѣло пускается въ далекій путь, героически разсуждая такъ:

Да, ежели выборъ рѣшить я должна
Межъ мужемъ и сыномъ—не болѣ,
Иду я туда, гдѣ я больше нужна,
Иду я къ тому, кто въ неволѣ!

Описаніе путешествія княгини превосходно мѣстами. напимѣръ, выѣздъ изъ Москвы, встрѣча съ обозомъ съ серебромъ и молебень въ маленькой сельской церкви. Но лучше всего обращеніе, въ каждой строчкѣ котораго такъ и звучитъ глубокая нота искренней благодарности:

..... Хочу я сказать:
Спасибо вамъ, русскіе люди!
Въ дорогѣ, въ изгнаньи, гдѣ я ни была,
Все трудное каторги время,
Народъ! я бодрѣ съ тобою несла
Мое непосильное бремя.
Пусть много скорбей тебѣ пало на часть,
Ты дѣлишь чужія печали,
И гдѣ мои слезы готовы упасть,
Твои ужъ давно тамъ упали!
Ты любишь несчастнаго, русскій народъ,
Страданія насъ породнили...
.....
Примите мой низкій поклонъ, бѣдняки,
Спасибо вамъ всѣмъ посылаю!

Человѣкъ, не съ совершенно зачерствѣвшимъ серд-

цемъ, невольно склоняетъ голову въ знакъ благоговѣнiя, и слезы душатъ его при чтенiи сцены перваго свиданiя жены съ каторжникомъ мужемъ. Въ этихъ дивныхъ, исполненныхъ глубокой жизненной правды звукахъ, такъ и вылилась вся душа поэта скорби и страданiй. Не можемъ удержаться, чтобы не привести выдержки изъ этой потрясающей души сцены.

Душѣ моей милаго голоса звукъ
Мгновенно послалъ обновленье,
Отраду, надежду, забвенiе мукъ,
Отцовской угрозы забвенье.
И съ крикомъ „иду“ я бѣжала бѣгомъ,
Рванувъ неожиданно руку,
По узкой доскѣ надъ зияющимъ рвомъ
Навстрѣчу призывному звуку...
„Иду!“ Посылало мнѣ ласку свою
Улыбкой лицо испитое....
И я побѣжала.... И душу мою
Наполнило чувство святое.
Я только теперь, въ рудникѣ роковомъ,
Услышавъ ужасные звуки,
Увидѣвъ оковы на мужѣ моемъ,
Вполнѣ поняла его муки,
И силу его и готовность страдать!
Невольно передъ нимъ я склонила
Колѣни,—и прежде чѣмъ мужа обнять,
Оковы къ губамъ приложила!...

За эти строки поэту отпустятся всѣ его ошибки и заблужденiя,—кто умѣетъ такъ глубоко чувствовать, тотъ никогда не умретъ въ благодарной памяти потомства!... Искреннее, глубокое спасибо говоримъ мы г. Некрасову отъ имени читающей публики за его прекрасную поэму, слабыя стороны которой (не выработанный, порой вульгарный стихъ и растянутасть и некрасивые обороты) исчезаютъ совершенно въ стройной гармоничности цѣлаго.

Изъ „Новаго Времени“. Статья А. С.

*) Помните ли вы, читатель, то эпидемическое стихосочиненіе, которое настало послѣ Пушкина, когда

... смѣшались шапки

И полѣзли изъ щелей

Мошки да букашки:

разные Трилунные, Красовы, Тимофеевы и проч., которые цѣлыми ворохами своихъ стиховъ наполняли тогдашнюю „Библіотеку для Чтенія“ Сеньковского и альманахи разныхъ Владиславлевыхъ, Городнетскихъ, Виртовыхъ и проч. Въ стишкахъ воспѣвались все больше перси, да косы, да блескъ очей, въ родѣ:

Черны очи, черны очи

Изъ-подъ бархата рѣсницъ.

Воспѣвались невинныя птички, синички, лисички, и все это воспѣвалось съ такой самодовольной бездарностью, что пѣвцы скоро всѣмъ надоѣли; но не поняли, чѣмъ именно надоѣли, ибо были гораздо невиннѣе воспѣваемыхъ ими птичекъ, синичекъ и лисичекъ... Они не догадались, что ихъ неуспѣхъ зависитъ просто отъ недостатка таланта, а не отъ перемѣны вкусовъ публики. Иные изъ нихъ оставили свое поэтическое поприще, другіе перемѣнили темы своихъ тѣсенъ: вмѣсто птичекъ, синичекъ и лисичекъ начали воспѣвать разныя гражданскія чувства: великодушіе, самоотверженіе, тоску, „голодъ, холодъ, сырыя жилища“. Остальные же поэты, оставшіеся на сценѣ, вломились въ амбицію и задались какими-то претензіями, такъ что даже самъ Полонскій нашелъ теперь своего невиннаго Пегаса совершенно негоднымъ для ѣзды, и въ послѣднемъ своемъ стихотвореніи описываетъ, какъ онъ хотѣлъ промѣнять его на клячу: да никто за Пегаса и клячи не далъ. Вотъ что пишетъ г. Полонскій: встрѣтилъ онъ мужичонка, идущаго за сохой, которую тащила кляча.

— Дядя,—сказалъ г. Полонскій,—не промѣняешь ли клячу?

Я за нее тебѣ дамъ славную штуку—Пегаса.

Конь—что ни въ сказкѣ сказать ни перомъ описать—конь крылаты й.

*) „Новости“ 1873 г., № 38. Статья Новаго критика, подъ названіемъ: „Княгиня Волконская“.

1. Милосердїи. Своя. Брѣтуч. Статей.

Отъ приведенъ къ намъ изъ Греціи черезъ Европу. Слыхалъ ли
Ты объ Европѣ хоть что-нибудь?..

— Нѣтъ, не слыхалъ.

— „Ну такъ вѣрь мнѣ,

Есть, дядя, эдакій конь...“

И мужикъ съ недовѣрьемъ оскалилъ

Бѣлые зубы. И связали меня,

И посадили въ колодки, и повели къ ставовому:

Вудто хотѣлъ я надуть мужика,

Вудто за лошадь, которая можетъ пахать и работать,

Я предлагалъ никуда негодящую тварь:

Пегаса.—Не сумасшедшій ли я? говорили...

Эти поэтики, развѣзжающіе на клячахъ—Пегасахъ или
ходящіе подъ-руку съ музами, давно уже стали смѣшными,
а при сравненіи съ такимъ колоссомъ, какъ г. Некрасовъ,
такими маленькими и такими жалкими, что просто являет-
ся позывъ разсмотрѣть ихъ таланты подъ микроскопомъ,—
хоть бы ненадолго и призрачно увеличились, а то ужъ
очень больно малы.

Г. Некрасова считаютъ вообще тенденціознымъ поэтомъ,
но едва ли это справедливо, по крайней мѣрѣ въ томъ
отношеніи, будто тенденціозность помогаетъ успѣху его про-
изведеній. Кто нынѣ изъ нашихъ стихотворцевъ не тенден-
ціозенъ? Минаевъ тенденціозенъ, Буренинъ тенденціозенъ,
Омелевскій тенденціозенъ, Плещеевъ тенденціозенъ... Они
даже, пожалуй, будутъ тенденціознѣе г. Некрасова, такъ
какъ, за недостаткомъ поэтическихъ образовъ, имъ постоянно
приходится перекладывать въ стихи передовыя статьи ли-
беральныхъ газетъ и прозу то сотоварищей своихъ по жур-
налу, то прозу публицистовъ другихъ журналовъ, если
поэтъ несвѣдущъ въ иностранныхъ языкахъ, и такимъ обра-
зомъ лишенъ возможности пользоваться матеріалами изъ
перваго источника. Отчего же, спрашивается, эти тенден-
ціозные поэты не имѣютъ успѣха такого, какой пріобрѣлъ
г. Некрасовъ? Просто по недостатку таланта,— и г. де-Пуле
напрасно увѣрялъ насъ въ „Петерб. Вѣдомостяхъ“, что рус-
скую литературу до тла сгубила тенденціозность; остался
только одинъ гениальный писатель: г. Буренинъ, тенден-
ціозность котораго относится къ его таланту такъ-же, какъ
милліонъ къ единицѣ!

По нашему скромному разсужденію, успѣхъ г. Некрасова вовсе не зависитъ отъ его тенденціозности или безтенденціозности, а просто отъ могучей силы его дарованія—и исключительно только отъ этого.

Въ первой книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ напечатана поэма г. Некрасова—„Русскія Женщины“, уже вовсе не имѣющая никакой претензіи на тенденціозность. Это превосходный поэтический и простой разсказъ бабушки внукамъ о великихъ подвигахъ своей жизни. Чтобы познакомить читателя съ новымъ произведеніемъ нашего великаго поэта, мы, конечно, должны прибѣгнуть къ выпискамъ, за что и просимъ напередъ извиненія у многоуважаемаго автора...”

(Далѣе слѣдуютъ выписки изъ поэмы, выражающія почти все содержаніе ея).

„Читатели могутъ замѣтить нѣкоторыя ошибки г. Некрасова въ подробностяхъ, впрочемъ, вовсе не измѣняющія существа дѣла. Такъ, напримѣръ, авторъ заставляетъ свою героиню свалиться съ вершины Алтая, гдѣ она не могла пробѣжать, такъ какъ Алтайскія горы лежатъ чуть ли не на тысячу верстъ въ сторону отъ сибирскаго московскаго тракта. Точно такъ-же, какъ героиня не могла встрѣтить какого бы то ни было каравана съ серебромъ или золотомъ, идущаго изъ *Нерчинска*. Всѣ такіе караваны до послѣдняго времени идутъ исключительно изъ Барнаула, гдѣ сплавляется и пробирается все добываемое въ Сибири серебро и золото. Но все это—повторяемъ—такія ничтожныя частности, которыя нисколько не вредятъ новому прекрасному произведенію г. Некрасова. Дай Богъ, чтобы только именно такія ошибки дѣлали всѣ наши поэты! *)

Изъ „Новостей“.

* * *

*) Редакція „Новостей“ сопровождаетъ приведенную статью слѣдующими словами: „Въ современной литературѣ, столь бѣдной истиннохудожественными произведеніями, появленіе такой вещи, какъ поэма Н. А. Некрасова, составляетъ эпоху. Мы рѣшаемся посвятить труду гениальнаго поэта этотъ небольшой отдѣльный фельетонъ, помимо общаго отчета о новостяхъ русской литературы“.

*) Г. Некрасовъ украсилъ январскую книжку „Отечеств. Записокъ“ новой поэмой, составляющей вторую часть принятой имъ серіи поэтическихъ сказаній, подъ заглавіемъ: „Русскія Женщины“. Какъ кажется, въ этихъ поэмахъ г. Некрасовъ желаетъ передать въ стихахъ горькую повѣсть о самоотверженіи и страданіяхъ русскихъ женъ, раздѣлившихъ участь своихъ мужей, сдѣлавшихся жертвой извѣстной политической катастрофы. Такая тема должна была заранѣе осудить трудъ поэта на значительное однообразіе. Повѣсть каждой героини одна и та же: росла она въ богатомъ родительскомъ домѣ, вышла замужъ, мужа посадили въ крѣпость, сослали въ Сибирь, она поѣхала вслѣдъ за нимъ и встрѣтилась съ нимъ въ острогѣ. И г. Некрасовъ, передавъ эту исторію въ первой поэмѣ, съ точностью повторяетъ ее во второй. Болѣе, впрочемъ, ему и дѣлать нечего, такъ какъ фактъ въ обѣихъ поэмахъ одинъ и тотъ же, а расцвѣчивать историческій фактъ цвѣтами собственной фантазіи въ настоящемъ случаѣ неудобно. Да и поэтическая фантазія г. Некрасова въ послѣднее время не обнаруживаетъ силы, замѣчавшейся въ его прежнихъ произведеніяхъ. Очевидно, все то, что намъ могъ сказать поэтъ, уже сказано, и содержаніе его истошилось. Петербургская журналистика многіе годы усердно занималась тѣмъ, что хоронила по очереди гг. Тургенева, Гончарова, Писемскаго, тогда какъ съ гораздо большею основательностію слѣдовало бы пропѣть *de profundis* поэтическому таланту г. Некрасова. Гражданскіе мотивы, нѣкогда зажигавшіе сердца поклонниковъ этого самаго петербургскаго изъ всѣхъ петербургскихъ поэтовъ, отзвучали и не производятъ больше впечатлѣнія. Поэтъ, очевидно, самъ чувствуетъ, что безъ новыхъ мотивовъ продолжать поэтической дѣятельности нельзя, но не находитъ ихъ въ душѣ своей, и потому обращается къ историческому факту и ограничиваетъ свою задачу переложеніемъ въ стихи попавшихся ему въ руки фамиліальныхъ записокъ. Чтожъ, и такая задача при искусномъ выполненіи могла бы оказаться весьма бла-

*) „Русскій Міръ“ 1873 г., № 46, Статья А. О. (В. Г. Авсеенко).

голарною, потому что историческій фактъ самъ по себѣ полонъ глубокаго содержанія. Но такова вялость нынѣшней музы г. Некрасова, что, несмотря на богатяя темы, на драматическое содержаніе факта, поэма его не производитъ никакого впечатлѣнія, или, лучше сказать, получаемое отъ нея впечатлѣніе совершенно двойственно: фактъ остается самъ по себѣ, не сливаясь съ поэзіей г. Некрасова, а все, что помимо этого факта принадлежитъ самому поэту, выходитъ до крайности деревянно, неряшливо и анти-поэтично. Только при совершенномъ отсутствіи поэтического чутья и вкуса можно писать, напр., такіе стихи:

Теперь опишу вамъ подробно, друзья,
Мою роковую (?) побѣду,
Вся дружно и грозно возсталъ семья,
Когда я сказала: я ѣду!

Читатель такъ и ждетъ тутъ риемы; „къ обѣду“, и дѣйствительно черезъ нѣсколько строкъ поэтъ варьируетъ это счастливое четверостишіе такимъ образомъ:

Когда собрались мы къ обѣду,
Отецъ мимоходомъ мнѣ бросилъ вопросъ:
На что ты рѣшилась?—Я ѣду!

Или вотъ, напримѣръ, слѣдующіе вирши:

Училась я много; на трехъ языкахъ
Читала. Замѣтна была я
Въ парадныхъ гостинныхъ, на свѣтскихъ (?) балахъ,
Искусно танцуя, играя;
Могла говорить я почти обо всемъ,
Я музыку знала, я пѣла,
Я даже отлично скакала верховъ и т. д.

Съ деревянностью подчеркнутыхъ нами стиховъ можетъ сравниться только слѣдующая граціозная картинка, изображенная поэтомъ въ такомъ четверостишіи:

А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей,
Гора была страшно крутая,
И я полетѣла съ кибиткой моей
Съ высокой вершины Алтая!

Кто изъ читателей, послушавшись поэта и представивъ себѣ его героиню въ нарисованныхъ имъ положеніяхъ, т. е. сначала отлично скачущею верхомъ, а потомъ летящею стремглавъ съ высокой вершины Алтая — кто не согласится, что историческій фактъ, историческое лицо весьма мало выиграли отъ прикосновенія къ нимъ поэта?

Г. Некрасовъ мѣстами какъ будто даже щеголяетъ особаго рода реализмомъ, заключающимся въ томъ, что если, напр., ему извѣстно, что въ такомъ-то городѣ героиня его мылась въ банѣ, то онъ такъ и пишетъ, что княгиня сходила въ баню, а если гдѣ-нибудь ее напоили вонючимъ чаемъ съ саломъ, то такъ и пишетъ, что вотъ, молъ, пила княгиня чай съ саломъ. Какъ образчикъ такого реализма, отчасти напоминающаго ташкентскіе романы г. Каразина, приведемъ слѣдующую выдержку:

Дорога безъ слѣгу—въ телѣгѣ! Сперва
Телѣга меня занимала,
Но вкорѣ потомъ, ни жива ни мертва,
Я прелесть телѣги узнала.
Узнала и голодъ на этомъ пути.
Къ несчастью, мнѣ не сказали,
Что тутъ ничего невозможно найти,
Тутъ почту буряты держали.
Говядину вялятъ на солнцѣ они,
Да грѣются чаемъ кирпичнымъ,
И тотъ еще съ саломъ! Господь сохрани
Попробовать вамъ, непривычнымъ!
Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задали бадъ:
Какой-то купецъ тороватый,
Въ Иркутскѣ замѣтивъ меня, обогналъ
И въ честь мою праздникъ богатый
Устроилъ... Спасибо! я рада была
И вкуснымъ пельменямъ и банѣ...
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала
Въ гостиной его, на диванѣ...

Неужели г. Некрасовъ вправду думаетъ, что это стихи?

В. Асенько.

* * *

*) На дняхъ только мы бесѣдовали съ читателемъ о новой поэмѣ г. Некрасова: „Русскія Желѣзныя“, и вотъ намъ опять приходится говорить о его новомъ произведеніи, составляющемъ вторую часть поэмы: „Кому на Руси жить хорошо“. Кто помнитъ первую часть этой поэмы? Она появилась четыре года назадъ, вскорѣ послѣ перехода „Отечеств. Записокъ“ изъ рукъ редактора Краевскаго въ руки А. Краевскаго, и тогда же была всѣми позабыта, такъ какъ даже ревностнѣйшіе друзья и поклонники г. Некрасова отнесли ее къ числу неудачнѣйшихъ произведеній ихъ любимаго поэта (мы говоримъ, конечно, о поклонникахъ, мало-мальски понимающихъ дѣло, потому что есть и такіе, которые донинѣ восхищаются каждой строкой, вышедшей изъ подъ пера г. Некрасова, хотя бы въ этой строкѣ не было даже соблюденъ стихотворный размѣръ, какъ это сплошь да рядомъ встрѣчается въ его послѣднемъ произведеніи). Но самъ г. Некрасовъ, очевидно, взглянулъ на свою поэму иначе, и не только включилъ ее въ вышедшую недавно 5-ую часть его стихотвореній, но даже задумалъ продолжать ее. Поэтъ, конечно, воленъ творить, что ему угодно, но и критика вольна имѣть о его твореніяхъ сужденіе, не вполне согласное съ собственнымъ взглядомъ автора. Такъ, напримѣръ, на этотъ разъ мы полагаемъ, что новая глава поэмы, названная нѣсколько напоминающимъ акушерскую практику словомъ „Послѣдышъ“, не имѣетъ ни по идеѣ ни по содержанию своему никакого современнаго интереса. Идея, если хотите, очень благонамѣренная: авторъ желаетъ надсмѣяться надъ жестокостями и самодурствомъ помѣщиковъ временъ крѣпостного права и показать, какъ нелѣпо было бы подобное самодурство при новыхъ порядкахъ. Но, ради Бога, какой смыслъ имѣютъ въ наши дни насмѣшки надъ крѣпостными самодурами? ужъ не вѣрить ли г. Некрасовъ, вмѣстѣ съ своимъ героемъ, что крестьянъ велѣно обратно отдать помѣщикамъ? Что же касается до такъ называемаго „сюжета“ комедіи, то онъ такъ несообразенъ, что и рассказать его трудно. Какой-то старичокъ-князь, узнавъ объ

*) „Русскія Мірѣ“ 1873 г., № 40. Статья А. О. (В. Г. Авѣенко).

освобожденіи крестьянъ, такъ освирѣпѣлъ, что прогнѣвался даже на ни въ чемъ невиноватыхъ сыновей своихъ и обратилъ къ нимъ такія рѣчи:

..... „Вы трусы подлые!
Не дѣти вы мои!
Пускай бы люди мелкіе,
Что вышли изъ поповичей,
Да понажившись взятками,
Купили мужиковъ,
Пускай бы... имъ прощительно!
А вы... князя Утятинны?
Какіе вы У-тя-ти-ны!
Идите вонъ! подкидыши,
Не дѣти вы мои!“

Дальнозоркіе сыновья, „гвардейцы черноусые“ испугались, какъ бы батюшка по чрезмѣрному гнѣву своему не отказалъ имъ передъ смертью въ наслѣдствѣ, и для успокоенія его придумали такую штуку: увѣрили его, что крѣпостное право восстановлено, а крестьянъ убѣдили оказывать старику наружное почтеніе, за что обѣщали имъ подарить луга. На этой, нельзя сказать чтобы совсѣмъ удачной, выдумкѣ держится разсказъ, вся его соль и весь предполагаемый авторомъ комизмъ. Старый князь самодурничаетъ, мнимый бурмистръ ему потакаетъ, крестьяне кланяются и по за спиной смѣются. Описанъ даже такой случай: князь-самодуръ приказываетъ одного мужика отодрать на конюшнѣ, и мужики разыгрываютъ веселенькую комедію: ведутъ провинившагося Агапа въ конюшню и ставятъ передъ нимъ штофъ вина:

„Пей, да кричи: помилуйте!
Ой, батюшки! ой, матушки!“
Послушался Агапъ,
Чу, вопить! Словно музыку,
Послѣдышъ стоны слушаетъ,
Чуть мы не разомѣялись,
Какъ сталъ онъ приговаривать:
„Катай его, разбойника,
Бунтовщика... Катай!“
Ни дать ни взять, подъ розгами
Кричалъ Агапъ, дурачился,

Пока не допилъ штофъ;
Какъ изъ конюшни вынесли
Его мертвецки-пьяного
Четыре мужика,
Тутъ баринъ даже сжалился:
„Самъ виноватъ, Агапушка!“
Онъ ласково сказалъ...”

Подобный фарсъ, появившись двѣнадцать лѣтъ назадъ, т. е. въ годъ освобожденія крестьянъ, быть можетъ, и показался бы забавнымъ, и имѣлъ бы успѣхъ *pièce de circonstance*; тогда, быть можетъ, показался бы очень удачнымъ и своевременнымъ пикантный въ извѣстномъ смыслѣ подборъ поговорокъ, въ родѣ:

..... есть пословица:
Хвали траву въ стогу,
А барина — въ гробу! —

или образчиковъ народнаго остроумія крѣпостной эпохи, какъ, наримѣръ:

„Въ кромѣшній адъ провалимся —
Такъ ждетъ и тамъ крестьянина
Работа на господъ!
— Что жъ тамъ-то будетъ, Климушка?
— А будетъ, что назначено:
Они въ котлѣ кипѣтъ,
А мы дрова подкладывать!“

Все это, повторяемъ, явился въ послѣднiе годы крѣпостной эпохи, когда въ обществѣ и въ литературѣ велась страстная борьба либеральныхъ идей съ крѣпостничествомъ, могло бы быть у мѣста и найти оправданiе въ интересахъ минуты; но въ настоящее время подобныя банальности только подтверждаютъ высказанную нами въ предыдущемъ обзорѣннiи мысль, что мотивы Некрасовской поэзіи уже исчерпаны, и что новыхъ въ современной дѣйствительности г. Некрасовъ не находитъ. Онъ все еще переживаетъ сороковые и пятидесятыя годы, годы его славы и значенiя, и какъ бы не замѣчаетъ, что жизнь ушла впередъ, и что водевильное пропагандированiе анти-крѣпостническихъ идей, когда самихъ крѣпостниковъ не существуетъ, сильно отзывается заднимъ числомъ.

В. Австенко.

*) Последняя книжка „Отечественныхъ Записокъ“ такъ обильна достойнымъ вниманія матеріаломъ, что его хватило бы на нѣсколько обзорѣній, но такъ какъ читатели не вправѣ требовать отъ насъ обстоятельныхъ критическихъ разборовъ, то мы и ограничимся только посильнымъ указаніемъ на достоинства и недостатки наиболѣе выдающихся въ книжкѣ статей.

Съ перваго взгляда васъ особенно поражаетъ обиліе болѣе или менѣе замѣчательныхъ русскихъ именъ, которымъ щеголяютъ на этотъ разъ страницы вышеупомянутаго журнала. Тутъ вы встрѣтите и Островскаго, и Некрасова, и Щедрина, и Энгельгардта, и Глѣба Успенскаго. Прежде всего вы, конечно, остановитесь на имени ветерана нашего Островскаго въ надеждѣ, что его новое произведеніе доставитъ вамъ истинное эстетическое наслажденіе. Но увы и ахъ! давно уже миновали тѣ счастливыя времена, когда имя этого писателя подписывалось только подъ талантливыѣшими произведеніями отечественной драматургіи. Теперь же талантъ г. Островскаго выдыхается съ каждымъ годомъ, и намъ съ грустью приходится присутствовать при его окончательномъ паденіи. Въ силу прежней славы, страницы всѣхъ порядочныхъ журналовъ и до сихъ поръ еще принимаютъ съ распростертыми объятіями его комедіи и драмы. Но только по старой памяти, а отнюдь не вслѣдствіе ихъ дѣйствительныхъ достоинствъ.

Традиція прежняго блеска, органъ котораго созданъ нашимъ безсмертнымъ критикомъ и учителемъ Добролюбовымъ, еще и до сихъ поръ связанъ съ именемъ автора „Грозы“, но самъ онъ пережилъ свой талантъ. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что и последняя его комедія „Комикъ XVII столѣтія“, крайне плоха и ничѣмъ не напоминаетъ славнаго прошлаго своего автора...

Но если одно изъ нашихъ громкихъ литературныхъ именъ оставляетъ въ насъ тяжелое чувство, то за то другое съ избыткомъ вознаграждаетъ за все. Мы говоримъ о г. Некрасовѣ и о второй части его народной поэмы „Кому

*) „Новое Время“ 1873 г., № 61. Статья А. С.

на Руси жить хорошо". Эти первые три главы второй части составляют отдельный эпизодъ, не имѣющій почти никакого отношенія къ первой части и носящій отдельное, замѣчательно оригинальное заглавіе *Послѣдний*.

Мы уже говорили и повторяемъ еще разъ, что муза г. Некрасова все крѣпнѣтъ, развивается и идетъ впередъ. Кто изъ нашихъ поэтовъ такъ глубоко прочувствовалъ и понялъ русскій народъ, кто искреннѣе и честнѣе относился къ нему, кто думаетъ его думами, говоритъ его языкомъ, плачетъ его кровавыми слезами, кто какъ не пѣвецъ скорбей родной земли? Ни одна народная книга, написанная съ специальною цѣлью поучать народъ, не будетъ ему такъ понятна, какъ „Коробейники“ и „Кому на Руси жить хорошо?“ А все потому, что каждый крестьянинъ найдетъ въ нихъ отголосокъ своихъ понятій и стремленій; все потому, что онъ почуветъ въ нихъ свое простое, безыскусственное, человѣческое чувство, переданное характернымъ и роднымъ ему языкомъ; все потому, что поэтъ изучилъ народъ нашъ и знаетъ его, какъ никто. Послушайте читатель, развѣ это не мужицкая рѣчь:

По знаменному берегу,
На Волгѣ, травы рослыя,
Веселая косьба.
Не выдержали странники:
„Давно мы не работали,
Давайте—покосимъ!“
Семь бабъ имъ косы отдали.
Проснулась, разгорѣлась
Привычка позабытая
Къ труду! Какъ зубы съ голоду
Работаетъ у каждаго
Проворная рука.
Валать траву высокую
Подъ пѣсню, незнакомую
Вихляцкой сторинѣ;
Подъ пѣсню, что навѣяна
Мятежами и вьюгами
Родимыхъ деревень и т. д.

Главный герой новаго произведенія г. Некрасова именитый старикъ изъ рода Утятинныхъ, съ которымъ случился

параличь, когда онъ узналъ объ освобожденіи крестьянъ. Сыновья его, боясь, чтобы взбѣшенный старикъ, упрекавшій ихъ въ томъ, что они продали свои дворянскія права, не лишилъ ихъ наслѣдства, убѣдили крестьянъ обмануть вмѣстѣ съ ними стараго князя, убѣдивъ его, что мужиковъ велѣли воротить помѣщикамъ. Тотъ повѣрилъ этому, и съ тѣхъ поръ зажилъ снова попрежнему, по барски.

Вотъ какъ описываетъ поэтъ непреклоннаго старика, прозваннаго мужиками „Послѣдышемъ“.

Худой, какъ зайцы зимніе,
Весь бѣлъ и шалка бѣлая,
Высокая, съ околышемъ
Изъ краснаго сукна.
Носъ клювомъ, какъ у ястреба,
Усы съдые, длинные
И—разные глаза:
Однѣ здоровыя—свѣтятся,
А лѣвыя—мутныя, пасмурныя,
Какъ оловянный грошъ.

Все въ характеристикѣ „Послѣдыша“, начиная съ его портрета и до описанія сопровождающей его свиты, состоящей изъ его семейства, приживалокъ и собакъ, и самой манеры говорить и интонаціи, все исполненно глубокой жизненной правды и высокой художественной простоты. Передъ вами такъ и встаетъ, во весь свой богатырскій ростъ, фигура этого вымершаго на Руси типа, котораго мы еще видѣли и помнимъ, но который останется только преданіемъ для дѣтей нашихъ. Болѣе чистаго представителя его, чѣмъ некрасовскій „Послѣдышъ“, невозможно найти въ нашей литературѣ, и его аристократъ помѣщикъ, князь Утятинъ, чистокровное произведеніе нашей родной земли.

Превосходна сцена, въ которой нестерпѣвшій барской обиды мужикъ Агапъ, накинулся на „Послѣдыша“ и выругалъ его по мужицки. Тутъ старый князь въ первый разъ еще услыхалъ вольную, непринужденную рѣчь мужика. И дѣйствительно, въ самомъ тонѣ разсерженнаго Агапа звучить рѣзкая, непривычная для помѣщичьяго уха нота.

„Что брага, раскуражились
Подонки изъ поганого
Корыта... Цыцъ! Никшни!
Крестьянскихъ душъ владѣнїе
Покончено. Послѣдышь ты!
Послѣдышь ты! По милости
Мужицкой нашей глупости
Сегодня ты начальствуешь,
А завтра мы послѣдышу
Пинка—и конченъ бать!
Иди домой, похаживай,
Поджавши хвостъ по горящамъ,
А насъ оставь! Никшни!“

Изъ „Новаго Времени“.

* *

*) Если я не ошибаюсь, поэма г. Некрасова „Послѣдышь“ принадлежитъ къ категорїи такихъ произведенїй, въ которыхъ реальная художественная правда является въ гармоническомъ соединенїи съ мыслью. Въ poemѣ воспроизведено умирающее крѣпостничество въ яркомъ образѣ. Несмотря на то, что, повидимому, содержанїе поэмы анекдотическое, это нимало не уменьшаетъ силы ея впечатлѣнїя. Анекдотъ, даже самый пустой, можетъ быть возведенъ художникомъ на степень событїя, имѣющаго широкое и глубокое жизненное значенїе, если только художникъ вложитъ въ него общїй смыслъ. Примѣровъ тому искать не далеко: „Шинель“, „Носъ“, „Ревизоръ“ основаны на анекдотахъ, и однако имѣютъ репутацію далеко не анекдотическихъ произведенїй. Анекдотъ, составляющїй содержанїе поэмы г. Некрасова, состоитъ въ слѣдующемъ: старый богатый помещикъ, князь Уятинъ, заболѣлъ съ горя, услышавъ, что настала воля:

Хватить его ударъ.
Всю половину лѣвую
Отбѣло: словно мертвая
И какъ земля черна.
Пропаль ни за копейку;

*) „С.-Петербург. Вѣдомости“ 1873 г., № 68. Статья З. (В. П. Буренина).

Извѣстно, не корысть,
А спѣсь его подрѣзала:
Соринку онъ терялъ...
Соринка дѣло плевое,
Да только на глазу.

Дѣти князя, думая, что старикъ уже не встанетъ, во время болѣзни отца заключили съ мужиками уставную грамоту. Но старикъ не умеръ и, узнавъ о распоряженіи дѣтей, пришелъ въ неистовую ярость за то, что они предали „права свои дворянскія, вѣками освященныя“. Сообразивъ, что родитель можетъ лишить ихъ наслѣдства, сыновья князя, „гвардейцы черноусые“, струхнули. Одна изъ молодыхъ снохъ, для утѣшенія и укрощенія полоумнаго старика, увѣрила его, что „мужиковъ помѣщикамъ велѣли воротить“.

Повѣрилъ! Проще малаго
Ребенка сталъ старинушка,
Какъ парализъ расшибъ.
Заплакалъ! Предъ иконами
Со всей семьей молится,
Велитъ служить молебствіе,
Звонитъ въ колокола!
И силы словно прибыло
Опять: охота, музыка,
Дворовыхъ дуетъ палкою,
Велитъ созвать крестьянъ.

Комедию, разъ затѣянную наслѣдниками, необходимо было продолжать. Наслѣдники уговорили крестьянъ, чтобъ тѣ разыгрывали передъ княземъ роль крѣпостныхъ, обѣщая имъ за это подарить поемные луга, какъ только умретъ „послѣдышъ“. Мужики согласились на это: міръ дозволилъ „покуражиться уволенному барину въ останніе часы“.

Вотъ въ этой то курьезной комедіи поэтъ превосходно обрисовываетъ, съ одной стороны, типъ умирающей крѣпостнической, „барской“ власти, а съ другой—отношеніе къ этой отжившей власти крестьянства. Съ большимъ искусствомъ выставлено г. Некрасовымъ взаимное глумленіе другъ надъ другомъ названныхъ двухъ элементовъ, не чуждое, однако, нѣкоторой добродушной сердечности—отголоски долгой рабской связи, порванной „волей“. Лицо послѣдняго

изъ крѣпостниковъ стоитъ передъ читателемъ, какъ живое. Этотъ полоумный „послѣдышъ“, наполовину уже лежащій въ гробу и задыхающійся окончательно въ послѣднихъ порывахъ своихъ крѣпостническихъ вождельнѣй, этотъ „уволенный баринъ“, окруженный шутовской покорностью мужиковъ, производитъ жалкое и въ то же время отталкивающее впечатлѣнїе. Это типическій образъ отжившаго безправія, которое называлось крѣпостнымъ правомъ. Въ „останные“ свои часы это право не хочетъ признать себя побѣжденнымъ, въ безумїи отвергаетъ естественный ходъ жизни и умираетъ окруженное смѣхомъ и презрѣнїемъ народа, все еще смѣшаннымъ съ нѣкоторой боязнью; но умираетъ онъ все-таки въ сладкомъ сознанїи полного торжества, не замѣчая своего комическаго положенія. Все это очень хорошо выражено въ образѣ, созданномъ г. Некрасовымъ. Подобный образъ могъ воспроизвести лишь писатель, глубоко прочувствовавшій въ своей душѣ всю безнравственность и безобразіе, всю формальную силу и все внутреннее безсиліе того гнета, представители котораго теперь сдѣлались „послѣдышами“. На этотъ разъ Некрасовъ является настоящимъ поэтомъ, черпающимъ силу искренняго поэтическаго одушевленія изъ прожитыхъ имъ впечатлѣнїй, а не изъ ловкихъ соображеній насчетъ того, какъ бы полиберальнѣе высказаться передъ публикой.

Не менѣе хороши вышли въ поэмѣ лица мужиковъ и вообще отношенія міра къ „уволенному“ барину. Шутовской бурмистръ, безшабашный Климка, угрюмый Агапъ, не выдержавшій шутовства и прорвавшійся энергическимъ назидающимъ „послѣдышу“, „чувствительный халуй“ Ипатъ, бурмистрова кума Орефьева—всѣ эти лица нарисованы рельефными и сжатыми чертами очень удачно. Много чисто народнаго сарказма въ потѣшной рѣчи шутовскаго бурмистра. Я не привожу ее здѣсь только за недостаткомъ мѣста, а стоило бы: эти рѣчи принадлежатъ къ числу лучшихъ страницъ поэзіи г. Некрасова.

Вообще говоря, настоящая глава изъ обширной поэмы „Кому на Руси жить хорошо“ не только лучшая, но даже положительно неудобная для сравненія съ прочими главами,

слабыми и прозаичными въ цѣломъ, безпрестанно отдающими пошлостью, и только мѣстами представляющими нѣкоторыя достоинства. Замѣчательно, что даже рубленные стихи, которыми написана названная поэма, въ „Послѣдныѣ“ выходятъ прекрасными и выразительными, не рѣжутъ уха прозаичностью. Конечно, не вся сплошь поэма выдержана: встрѣчаются и въ ней строки сомнительнаго качества.

В. Буренинъ.

* * *

*) Талантъ Некрасова слишкомъ хорошо извѣстенъ всей читающей публикѣ и оцѣненъ ею, чтобы нужно было распространяться о немъ. Популярностью своею, въ настоящее время имъ значительно утраченною, онъ обязанъ не столько силѣ своего поэтического таланта (хотя и по силѣ этого таланта онъ стоитъ цѣлою головою выше остальныхъ современныхъ нашихъ поэтовъ), сколько „гражданскими мотивами“ своихъ произведеній, иногда отличающихся, кромѣ того, и нѣкоторою своеобразною новизною своей формы. Главная причина его успѣха заключается въ томъ, что онъ поэтъ-публицистъ. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, самъ поэтъ говорить о нихъ:

Я не льщусь, чтобъ въ памяти народной
Уцѣлѣло что-нибудь изъ нихъ;
Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
Мой суровый, неуклюжій стихъ.

Приговоръ этотъ самому себѣ слишкомъ строгъ. Но нельзя не сказать того, что у Некрасова рядомъ съ стихами, полными красотою и силы чисто-пушкинскихъ, встрѣчаются не только стихи совершенно неуклюжіе, но и цѣлыя стихотворенія крайне неудачныя. Прибавимъ къ этому еще слѣдующее. Поэмы (къ этому роду онъ все болѣе и болѣе склоняется въ послѣднее время) обыкновенно ему не удаются: представляя во многихъ мѣстахъ первоклассныя красоты, онѣ, въ цѣломъ, страдаютъ невыдержанностью, какъ бы не-

*) „Виржевыя Вѣдомости“ 1873 г., № 78. Статья ч. II.

подѣланнымъ, и сверхъ того, отличаются иногда полнымъ отсутствіемъ стройнаго плана („Несчастные“), а иногда растянутостью („Коробейники“, „Морозъ—красный носъ“).

Со всѣми почти достоинствами и недостатками некрасовской музы мы встрѣчаемся и во второмъ отрывкѣ изъ его „Русскихъ Женщинъ“, въ которомъ разсказывается эпизодъ изъ жизни княгини М. Н. Волконской (дочь знаменитаго генерала Н. Н. Раевского и жена декабриста князя С. П. Волконскаго), которая послѣдовала за своимъ мужемъ въ Сибирь. Вотъ этотъ-то эпизодъ изъ ея жизни и составляетъ содержаніе поэмы. Разсказъ веденъ отъ лица самой героини.

Новая поэма Некрасова встрѣчена была нашею критикою довольно единодушными похвалами. Единственное исключеніе отсюда составляетъ одна только академическая газета, — и на это она имѣетъ, какъ извѣстно, многія причины. Съ одной стороны, она вообще считаетъ долгомъ смотрѣть враждебно на все, что не ея прихода: съ другой стороны, она имѣетъ, сверхъ того, и специальный зубъ противъ „Отечественныхъ Записокъ“, которыя, кистью Щедрина, представляли мастерской и уморительный портретъ ея кружка, окрестивъ ее названіемъ „Старѣйшей російской пѣнокоснимательницы“; наконецъ, самъ библиографъ академической газеты, г. Z. принадлежитъ къ числу „униженныхъ и оскорбленныхъ“ редакціею „Отеч. Записокъ“, такъ какъ редакція эта забрала какія-то твореньища г. Z., который, такимъ образомъ, получилъ, вмѣсто ожидаемаго имъ гонорара, обратно свою рукопись назадъ.

Если взять во вниманіе давно извѣстную всѣмъ обидчивость пѣнокоснимателей академической газеты и ихъ недобросовѣстность въ войнѣ съ литературными противниками, то для насъ станетъ совершенно понятнымъ, почему „Петербургскія Вѣдомости“, безъ зазрѣнія совѣсти, встрѣчаютъ бѣшеннымъ лаемъ все, что появляется въ „Отечественныхъ Запискахъ“ наиболѣе замѣчательнаго и почему г. Z. въ частности накидывается даже на Щедрина, не замѣчая того, что въ этомъ случаѣ онъ представляетъ изъ себя Крыловскую москву, лающую на слона. Мы не можемъ примкнуть къ мнѣнію г. Z. ни къ рецензентамъ, безусловно восхи-

щающимся новой поэмой Некрасова. Мы, съ своей стороны, находимъ, что она, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, не принадлежитъ къ лучшимъ его вещамъ, и богатый ея сюжетъ достоинъ былъ бы лучшей обработки. Стихъ ея въ большинствѣ случаевъ тяжелъ; патетическія мѣста нерѣдко отличаются какою-то холодною дѣланностью, иногда звучать фальшью; наконецъ, она изобилуетъ ненужными подробностями, которыя страшно охлаждають читателя своей прозаичностью. Вообще новая поэма Некрасова кажется не плодомъ свободнаго творчества, а какимъ-то часто неудачнымъ, очень прозаическимъ, но какъ будто буквальнымъ переложеніемъ въ стихи мемуаровъ княгини Волконской. Очевидно, что мемуары и поэма—двѣ вещи совершенно различныя, и въ этомъ заключается главнѣйшій недостатокъ новой поэмы Некрасова.

По нашему мнѣнію, гораздо удачнѣе новый отрывокъ изъ его поэмы „Кому на Руси жить хорошо“: при оригинальномъ складѣ, онъ отличается выдержанностью и дышитъ чисто народнымъ юморомъ, такъ что нѣкоторая его растянутасть почти не утомляетъ читателя.

Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“.

* * *

*) Между современными русскими поэтами г. Некрасовъ занимаетъ привилегированное положеніе. Когда, лѣтъ двѣнадцать назадъ, на поэзію и поэтовъ вообще въ журналистикѣ нашей поднялось жестокое гоненіе, когда любимѣйшіе и безспорно талантливѣйшіе поэты низвергались съ пьедесталовъ, поражаемые громами фельетонной критики, когда публицисты, въ поискахъ за общественнымъ зломъ, останавливались на стихахъ гг. Фета, Майкова, Полонскаго,—въ эту тяжелую годину г. Некрасовъ счастливо избѣгнулъ участи своихъ собратьевъ. Несмотря на то, что занятія поэзіей единогласно признаны петербургскою критикою не соотвѣтствующими достоинству развитою чело-
вѣка,

*) В. Г. Авѣенко. „Русскій Вѣстникъ“ 1873 г., № 6. Статья подъ заглавіемъ: „Поэзія журнальныхъ мотивовъ“.

г. Некрасовъ невозбранно продолжалъ и продолжаетъ наполнять страницы самыхъ quasi-прогрессивныхъ изданій своими стихами, и петербургская критика не находитъ, чтобъ обстоятельство это причиняло какой-либо ущербъ нашему общественному развитію. Короче, какая-то счастливая волна, видимо, отдѣлила г. Некрасова отъ общаго теченія и благополучно понесла его въ попутную сторону.

Повидимому, самъ г. Некрасовъ въ началѣ своего поэтическаго поприща вовсе не разчитывалъ на такую выгодную карьеру. Въ одномъ изъ старыхъ своихъ стихотвореній, онъ выражался такимъ образомъ:

Блаженъ незлобивый поэтъ,
Въ комъ мало желчи, много чувства:
Ему такъ искрененъ привѣтъ
Друзей спокойнаго искусства.
Ему сочувствіе въ толпѣ
Какъ ропотъ волнъ ласкаетъ ухо;
Онъ чуждъ сомнѣнія въ себѣ—
Сей пытки творческаго духа:
Любя безопасность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Онъ прочно властвуетъ толпой
Съ своей миролюбивой лирой.
Дивясь великому уму,
Его коварно не злословятъ,
И современники ему
При жизни памятникъ готовятъ...

Случилось однако совершенно наоборотъ. Къ особенному счастью г. Некрасова, „волны русскаго прогресса“ приняли такое теченіе, что утлая ладья незлобивыхъ поетовъ оказалась опрокинутою и потопленною, а надъ-поглотившею ихъ бездною побѣдно развивается парусъ обильнаго желчью г. Некрасова.

Ему сочувствіе въ толпѣ
Какъ ропотъ волнъ ласкаетъ ухо:
Онъ чуждъ сомнѣнія въ себѣ—
Сей пытки творческаго духа.

И въ то время, какъ современники „дивятся его великому уму и при жизни памятникъ готовятъ“, печальна судьба незлобиваго поэта:

Его преслѣдуютъ хулы:
Онъ ловитъ звуки одобренья
Не въ сладкомъ ропотѣ хвалы,
А въ дикихъ крикахъ озлобленья.

Этотъ „незлюбивый поэтъ“ есть, конечно, лицо собирательное; онъ олицетворяетъ собою всю ту поэтическую плеяду сороковыхъ годовъ, которая вынесла на своихъ плечахъ упомянутое гоненіе и приняла на свои головы молніи и громы, тщательно миновавшіе главу г. Некрасова. Правда, иначе едва ли и могло быть, такъ какъ самые грозные громы, обрушившіеся на поэтовъ, находились въ непосредственномъ распоряженіи г. Некрасова, какъ издателя *Современника* и *Свистка*.

Но не въ этой, конечно, внѣшней связи г. Некрасова съ журналистикой заключается тайна привилегированнаго положенія, въ какомъ видимъ мы его въ послѣднее время. Подъ этою внѣшнею связью, въ самой поэзіи г. Некрасова скрывается внутренняя связь съ тѣмъ направленіемъ, какое съ сороковыхъ годовъ неуклонно пыталась принять наша періодическая печать, и какое въ концѣ концовъ выродилось въ явленіе, названное нами въ предыдущей статьѣ журнализмомъ. Внимательнымъ разборомъ поэзіи г. Некрасова мы надѣемся показать, что эта поэзія постоянно искала сближенія съ господствующимъ журнальнымъ направленіемъ, черпала изъ него свои силы и вдохновеніе, и изсякала какъ разъ въ то время, когда изсякло движеніе въ петербургской журналистикѣ, растерявшей своихъ наиболѣе бойкихъ представителей и замкнувшейся въ узкій кругъ законченнаго отрицанія. Мы увидимъ, что поэтическая дѣятельность г. Некрасова двигалась постоянно параллельно съ движеніемъ нашихъ журнальныхъ идей, вѣрнымъ отраженіемъ которыхъ она всегда была, и вмѣстѣ съ которыми вступила теперь въ періодъ совершеннаго безплодія.

Явленіе это весьма поучительно. Какимъ образомъ поэтъ, не обдѣленный талантомъ, могъ обратиться къ такому сомнительному источнику вдохновенія, какъ петербургское журнальное направленіе, и замкнуть свою литературную карьеру въ кругъ его идей? А между тѣмъ, изучая

г. Некрасова въ связи съ общимъ движеніемъ нашей поэзіи и литературы вообще, нельзя не убѣдиться, что въ то время, какъ другіе поэты искали вдохновенія въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчно-юныхъ идеалахъ искусства, г. Некрасовъ принималъ впечатлѣнія жизни изъ вторыхъ рукъ, поскольку они отражались въ теченіи журнальныхъ идей, служившихъ для него единственною духовною пищей. Поэзія г. Некрасова вырабатывалась въ редакціяхъ и служила постоянно какъ бы иллюстраціей направленій, поперемѣнно господствовавшихъ въ извѣстной части журналистики.

Наша новая поэзія вышла цѣликомъ изъ Пушкина. Антологическія и лирическія стихотворенія Пушкина были источникомъ, къ которому послѣдующія поколѣнія поэтовъ постоянно обращались. Эта близкая связь съ Пушкинымъ не была результатомъ простаго подражанія: родство обусловливалось тѣмъ, что многосторонній геній поэта обнялъ всю область поэзіи и указалъ въ ней пути, съ которыхъ нельзя сойти, не разрывая съ вѣчными законами искусства. Пушкинъ первый заговорилъ у насъ тѣмъ языкомъ, въ которомъ выразились не субъективныя чувства, симпатіи и вкусы поэта, но исповѣдь благороднаго представителя вѣка, которому ничто человѣческое не чуждо. Онъ отрѣшилъ русскую поэзію отъ мечтательнаго, заимствованнаго романтическаго идеализма, какимъ она была запечатлѣна подъ перомъ Жуковскаго, и привелъ ее въ соприкосновеніе съ бьющимся пульсомъ жизни—жизни образованнаго и мыслящаго общества. Въ поэзіи Пушкина находили отраженіе своихъ идей и впечатлѣній не одни только любители искусства, но всѣ, кто умѣлъ благородно мыслить и чувствовать, кому доступны были общечеловѣческія идеи добра, правды и красоты.

Лермонтовъ былъ непосредственнымъ продолжателемъ Пушкина. Его поэзія запечатлѣна субъективнымъ чувствомъ, сильно отличавшимъ ее отъ Пушкинской, но внѣ этого субъективнаго чувства онъ шелъ рабски по пути, проложенному его великимъ учителемъ. Самъ онъ не проложилъ новыхъ путей; даже внѣшнія поэтическія формы у него тѣ

же, что у Пушкина, — тѣ же поэмы, въ которыхъ сила лирическаго чувства и красота описаній выкупаютъ бѣдность романическаго содержанія, тѣ же краткія и сильныя лирическія стихотворенія, тотъ же шутиливый тонъ въ изображеніяхъ вседневной современной жизни, тотъ же, наконецъ, четырехстопный ямбъ. Поэтическая техника значительно усовершенствована Лермонтовымъ, хотя онъ не достигъ желѣзной выразительности Пушкинскаго стиха послѣдняго періода; описательныя мѣста въ его поэмахъ иногда плѣнительнѣе, чѣмъ у Пушкина, но зато нѣкоторые роды поэзіи, коими Пушкинъ владѣлъ въ совершенствѣ, остались для Лермонтова совершенно недоступными, какъ, напримѣръ, антологическій родъ, которому Пушкинъ научился у Гёте, Шенье и Батюшкова. Въ общемъ, Лермонтовъ послужилъ какъ бы повѣркой Пушкина, доказавъ, что созданные послѣднимъ приемы въ высшей степени жизненны, и намѣченные имъ пути могутъ вести къ безконечному развитію.

Со смертію Лермонтова, въ поэзіи нашей наступаетъ продолжительное затишье. Поэты Пушкинскаго цикла умолкаютъ; новые таланты зрѣютъ медленно. Бодрящее, трезвое и свѣтлое настроеніе Пушкинской поэзіи какъ бы изсякло не только въ литературныхъ кружкахъ, но и въ самомъ обществѣ; чувствуется, что новое поколѣніе поэтовъ должно принести съ собой другой, не-Пушкинскій тонъ. И въ самомъ дѣлѣ, когда съ конца сороковыхъ годовъ вступаетъ на литературное поприще новая поэтическая плеяда, иной тонъ ясно слышится въ нашей новой поэзіи, хотя она продолжаетъ разрабатывать тѣ же темы, остается въ тѣхъ же формахъ и напоминаетъ тѣ же звуки.

Критика пятидесятихъ годовъ много способствовала уясненію поэтовъ того времени, но общая оцѣнка даровитой плеяды, въ которой соединились имена гг. Майкова, Фета, Полонскаго, Тютчева, Щербины, Мея еще ждетъ безпристрастнаго слова. Рецензенты пятидесятихъ годовъ очень много сдѣлали для того, чтобы, такъ сказать, провести названныхъ поэтовъ въ публику, создать въ обществѣ массу цѣнителей поэтическихъ дарованій (услуга, которою, замѣтимъ мимоходомъ, гнушается современная критика), но явленія, выз-

вавшія извѣстный новый тонъ поэзіи того времени и сообщившія много родственныхъ чертъ цѣлому кружку поэтовъ, остались не разъясненными. Между тѣмъ, изучая этихъ поэтовъ, нельзя не убѣдиться, что они руководились однимъ и тѣмъ же взглядомъ на поэзію, и, несмотря на литературную самостоятельность каждого изъ нихъ, черпали вдохновеніе изъ одного и того же источника и разрабатывали поэтическія темы въ одномъ и томъ же направленіи. Такое совпаденіе, конечно, не могло быть случайнымъ, и въ общемъ ходъ нашего развитія критика неминуемо должна найти явленія, его обусловившія.

Безпокойно-страстное и неудовлетворенное чувство, отразившееся въ нашей поэзіи сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, было удѣломъ цѣлаго поколѣнія, и не у насъ только, но и въ Европѣ. Въ избранныхъ умахъ господствовало чувство утомленія и недовольства, которое съ такою страстностью и такимъ горькимъ смѣхомъ выразилось въ поэзіи Гейне. Какъ поэтъ, выплакавшій въ стихахъ горе и боль своего вѣка, Гейне непосредственно слѣдуетъ за Байрономъ. У насъ вліяніе Гейне было всесторонне и продолжительно. Болѣзненный смѣхъ Гейне, этотъ смѣхъ надъ тѣмъ самымъ, что онъ любитъ, пришелся какъ нельзя болѣе по вкусу русскому обществу, всегда расположенному сомнѣваться въ себѣ самомъ и смѣяться надъ собою. Гейне былъ встрѣченъ у насъ какъ родной пѣвецъ, и у каждого русскаго поэта нашелся въ душѣ отголосокъ на его пѣсни. Довольно припомнить, что поэты самыхъ противоположныхъ направленій переводили Гейне и подчинялись его вліянію; у каждого нашлись струны, звучавшія согласно съ его лирою.

Эта тоскливая струна внутренняго разлада слышится, на примѣръ, въ поэзіи г. Фета, и только близорукіе не замѣчаютъ ея за страстными звуками любви.

Находятъ дни: съ самимъ собою
Бороться сердцу тяжело...
И духа злобы надъ душою
Я слышу тяжкое крыло.

Самая любовь—страстная и мечтательная—является у г. Фета лишь какъ бы исходомъ изъ замкнувшагося круга вну-

треннихъ страданій. Есть у г. Фета одно стихотвореніе, въ которомъ жажда счастья и недугъ ссмиѣвшагося духа выразились очень ясно; стихотвореніе это озаглавлено: *Весеннія мысли*.

Снова птицы летятъ издалека
Къ берегамъ, расторгающимъ ледъ,
Солнце теплое ходитъ высоко
И душистаго ландыша ждеть.
Снова въ сердцѣ ничѣмъ не умѣришь
До ланитъ восходящую кровь,
И душою *подкупленной* вѣришь,
Что какъ міръ *безконечна любовь*.
Но сойдемся ли снова такъ близко
Средь природы разнѣженной мы,
Какъ видало ходившее низко
Насъ холодное солнце зимы?

Только въ рѣдкія мгновенія страсти, когда разумокъ теряетъ свою власть, поэтъ находитъ короткое, но полное счастье:

О, называй меня безумнымъ! Назови
Чѣмъ хочешь. *Въ этотъ мигъ я разумомъ слабѣю*
И въ сердцѣ чувствую такой приливъ любви,
Что не могу молчать, не стану, не умѣю!

Изъ этой борьбы неудовлетвореннаго духа съ жаждою счастья, самозабвенія, истекають два параллельныя теченія, проходящія по всей поэзіи г. Фета: скорбное томленіе души и поэтическое чувство, обращенное къ женщинѣ. Только подлѣ любимаго существа находитъ поэтъ разрѣшеніе своего недуга; тяжелое крыло „духа злобы“ перестаетъ вѣять надъ нимъ, и больная душа волнуется „нѣгою томительной“ во власти „несказаннаго стремленія“. Припомнимъ прелестныя строки изъ стихотворенія *Муза*:

Мнѣ Муза молодость иную указала:
Отягощала прядь душистая волосъ
Головку дивную узломъ тяжелыхъ косъ;
Цѣлты послѣдніе въ рукъ ея дрожали:
Отрывистая рѣчь была *полна печали*
И женской прихоти и серебристыхъ грезъ,

*Невысказанный мукъ и непонятный слезъ.
Какой-то вѣгомъ томительной волнуемъ,
Я слушаю, какъ слова встрѣчались съ поцѣдуемъ,
И долго безъ нея душа была больна.
И несканнаго стремленія волна.*

Стихотвореніе это задумано въ антологическомъ родѣ, но у г. Фета античная муза превратилась въ мечтательный, полупрозрачный призракъ *сѣверной* поэзіи. Напрасно искали бы мы въ немъ пластичности, роскоши и силы: это мечтательный, блѣдный образъ, созданный изъ серебристыхъ лучей мѣсяца:

Если зимнее небо звѣздами горитъ
И мечтательно свѣтитъ луна,
Предо мною твой образъ, твой дивный, скользить,
Словно ты изъ лучей создана
И свѣтла и легка, ты несешься туда...
Я гляжу и молю хотъ слѣдовъ...
И свѣтла и легка—но зато ни слѣда,
Только грудь обуяетъ любовь...

Отъ этого мѣчтательнаго образа вѣтъ сѣверомъ, словно отъ героини зимней сказки:

Знаю я, что ты, *малютка*,
Лунной ночью не робка:
Я на свѣгъ вижу утромъ
Легкій оттискъ башмачка.
Правда ночь при свѣгѣ лунномъ
Холодна, тиха, ясна;
Правда, ты не даромъ, другъ мой,
Покидаешь ложе сна;
Бриллианты въ свѣгѣ лунномъ,
Бриллианты въ небесахъ,
Бриллианты на деревьяхъ,
Бриллианты на свѣгахъ.
Но боюсь я, другъ мой милый,
Какъ бы въ вихрь духъ ночной
Не завѣялъ бы тропинку,
Проложенную тобой.

Присутствіе этого мечтательнаго и чистаго существа отрадно дѣйствуетъ на поэта: въ минуту душевнаго умиленія, онъ спрашиваетъ:

Не здѣсь ли ты *легкою тѣнью*,
Мой геній, мой ангелъ, мой другъ,
Бесѣдуешь *тихо* со мною
И *тихо леташь* вокругъ?
И робкимъ даришь вдохновеньемъ.
И *сладкій врачуеть недугъ*,
И тихимъ даришь свидѣньемъ...

Поэтъ вѣрить въ молитвенную чистоту этой женщины-младенца и ищетъ подтѣ нея силы въ борьбѣ съ тѣмъ „духомъ злобы и сомнѣнья“, крыло котораго порою тяжело вѣетъ надъ нимъ:

Какъ ангелъ неба безмятежный,
Въ сіяньи тихаго огня,
Ты помолишь душою вѣжной
И за себя и за меня.
Ты отъ меня любви словами
Сомнѣнья духа отжени,
И сердце тихими крылами
Твоей молитвы осѣни.

Этотъ поэтическій образъ, въ которомъ черты Шекспировскихъ женщинъ—Дездемоны, Офеліи, Корделии—слились съ прозрачными красками сѣверныхъ сагъ, необыкновенно гармонируетъ съ лиризмомъ нашей поэзіи послѣ-Пушкинскаго періода. Эта *малютка*, созданная изъ серебристо-снѣжнаго сіянія зимней ночи, съ печалью на скорбномъ лицѣ, со стѣдами слезъ на ясныхъ глазахъ, съ послѣдними блеклыми цвѣтами въ рукѣ, съ очарованьемъ молитвенной благодати, вѣющимъ отъ всего существа ея, — эта женщина особенно близка и дорога для больного сына вѣка, ищущаго выхода изъ чувства неудовлетворенія и сомнѣнія, уязвленнаго жаломъ *мировой скорби* и полнаго *несказаннаго стремленія*. Близъ этой женщины притушается острое чувство, и душевная боль разрѣшается сладкимъ томленіемъ...

Мы старались уловить этотъ образъ въ поэзіи г. Фета, потому что ни у кого не выразился онъ съ такою прозрачностью; но онъ живетъ и у другихъ поэтовъ того же круга, напримѣръ, у г. Тютчева и у г. Полонскаго. Ощущеніе неудовлетворенности, стремленіе къ выходу, къ отвлеченію, есть общая черта всей нашей поэзіи сороковыхъ и пятиде-

сѣтихъ годовъ. У г. Майкова это чувство выразилось въ другой формѣ, но съ неменьшею силой, въ лучшемъ его произведеніи: *Три Смерти*, не говоря уже о многихъ мелкихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, отразившихъ на себѣ вліяніе Гейне.

Замѣчательно, что критика времени вовсе не замѣтила насколько тонъ этой поэзіи и ея вдохновеніе исходятъ изъ глубины жизни и духа времени. Чувство неудовлетворенія, проходящее обильною струей въ этой поэзіи, ускользнуло отъ вниманія критики, видѣвшей только поэтическія темы, которыя казались ей весьма удаленными отъ жизни, и проглядѣвшей незримую нить, связывавшую эти темы съ общественными историческими условіями. Критика замѣчала только, что поэты поютъ о любви, о женщинѣ, что чувствуемая въ ихъ поэзіи страсть, есть страсть къ женщинѣ, — и когда въ концѣ сороковыхъ годовъ въ журналистикѣ нашей возникла идея о необходимости ближайшей связи литературы съ жизнью, вся не-Некрасовская поэзія весьма смѣло была отнесена къ области „чистаго искусства“, пребываніе въ которой для писателя сдѣлалось предосудительнымъ. Къ шестидесятымъ годамъ такой взглядъ утвердился окончательно со всѣми крайностями увлеченія, и поэты дегражданскаго закала торжественно поставлены на одну доску съ ворами (въ извѣстныхъ стихахъ г. Некрасова:

Одни—стяжатели воры,
Другіе—сладкіе пѣвцы.)

Разсматривая поэзію болѣе со стороны формы, чѣмъ внутренняго содержанія, журналистика конца сороковыхъ годовъ нашла ее весьма далекою отъ возникавшихъ тогда общественныхъ задачъ, и заявила требованія, которымъ поэты послѣ-Пушкинскаго періода весьма мало, по ея мнѣнію, удовлетворяли. Журналистика требовала прежде всего отрицанія существующаго общественнаго строя. Она не замѣтила, что и безъ того отрицаніе было мотивомъ поэзіи Гейне и его послѣдователей; она хотѣла отрицанія рѣзкаго, голаго, не прикрытаго поэтическимъ стремленіемъ къ красотѣ и къ художественнымъ идеаламъ. Все облакавшееся

въ художественныя формы казалось ей бесполезнымъ, не достигающимъ тенденціозной цѣли. Поэзія должна была служить протестомъ противъ социальнаго неравенства; въ этомъ смыслѣ поэтическое поклоненіе красотѣ признавалось чѣмъ-то аристократическимъ. Симпатіи журналистики перенесены были на такъ-называемую меньшую братію, объ освобожденіи которой отъ социальныхъ оковъ давно уже говорила европейская печать. Отсюда возникло требованіе народности, то-есть, литературѣ предписано было заняться бытомъ и интересами русскаго крестьянина и отстраниться отъ художественныхъ идеаловъ, какъ чуждыхъ народной, или вѣрнѣе, простонародной жизни. Извѣстныя строки Пушкина —

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ —

сдѣлались предметомъ раздора въ нашей періодической печати, усмотрѣвшей въ этомъ опредѣленіи поэта прямое противорѣчіе возникавшимъ новымъ требованіямъ. Г. Некрасовъ отозвался на это движеніе стихотвореніемъ: *Поэтъ и гражданъ*, въ которомъ ставитъ спорный вопросъ такимъ образомъ:

Пускай ты вѣренъ назначенью,
Но легче ль родинѣ твоей?

Онъ не прибавляетъ, было ли бы родинѣ легче, если бы поэтъ измѣнилъ своему назначенію. Въ этомъ же стихотвореніи онъ посвящаетъ „сладкимъ“ поэтамъ такія строки:

.... Громъ ударилъ; буря стонетъ
И снасти рветъ, и мачту клонитъ —
Не время въ шахматы (?) играть.
Не время пѣсни распѣвать!
Вотъ пѣсь—и тотъ опасность знаетъ
И бѣшено на вѣтеръ лаеетъ:
Ему другого дѣла нѣтъ....
А ты что дѣлалъ бы, поэтъ?
Ужель въ каютѣ отдаленной
Ты сталъ бы лирой вдохновенной
Лѣнивцевъ уши услаждать
И бури грохотъ заглушать?

Однако, развѣ лучше, и достойнѣе, и полезнѣе лаять псомъ на вѣтеръ?... Въ обстоятельствахъ, какія описываетъ г. Некрасовъ въ вышеприведенныхъ стихахъ, люди литературой не занимаются, ни чистою ни нечистою, а потому аллегорія лишена значенія и силы.

Поэтическая дѣятельность г. Некрасова такъ тѣсно сплелась съ судьбами петербургской журналистики, что ее нельзя разсматривать внѣ этой связи. Выступивъ на литературное поприще въ одно время съ возникновеніемъ новаго журнальнаго направленія, онъ до такой степени точно сообразовалъ свою поэзію съ этимъ направленіемъ, что нерѣдко стихи его служили только рифмованнымъ перифразомъ журнальныхъ статей, и постоянно — отголоскомъ журнальныхъ требованій. Услужливость г. Некрасова въ этомъ отношеніи не имѣетъ предѣловъ: перебирая пять томовъ его стихотвореній, можно прослѣдить по нимъ весь ходъ нашей журналистики. Возникло, напримѣръ, въ сороковыхъ годахъ требованіе народности, и г. Некрасовъ написалъ своего *Огородника* и *Въ дорожѣ* какъ разъ въ томъ самомъ духѣ и направленіи, какъ понимали народность въ петербургскихъ редакціонныхъ кружкахъ. Правда, эта народность очень походила на петербургскаго ряженаго троечника, въ плисовой поддевкѣ и шляпѣ съ пѣтушьимъ перомъ, насвистывающаго трактирную пѣсню; но наши литературные кружки, и въ особенности кружокъ Бѣлинскаго, только и понимали народность въ этомъ ряженомъ видѣ, въ какомъ она являлась у столичныхъ quasi-ямщиковъ и у Палкинскихъ половыхъ прежняго времени. Настоящая, неряженная русская жизнь оставалась всегда чуждою нашимъ петербургскимъ наблюдателямъ: они понимали въ ней только бахвальство двороваго слуги и ухорство *питерщика*. Г. Некрасовъ, заимствовавшій свое чувство народности изъ петербургскихъ журналовъ, естественно долженъ былъ положить на нее тотъ самый отпечатокъ, съ какимъ она являлась въ народолюбивомъ сознаніи людей, наблюдавшихъ ее у Палкина и подъ балаганами: русскій простолюдинъ предсталъ въ стихахъ г. Некрасова въ красной рубахѣ, съ серебряною серьгой въ одномъ ухѣ, „круглолицъ, бѣлолицъ, кудри

чесанный лень", въ пливсовыхъ шароварахъ и съ гармоникой въ рукахъ. Впослѣдствіи, когда знаніе и пониманіе народности сдѣлало успѣхи въ самой петербургской журналистикѣ, когда точка зрѣнія на народность въ ней переѣнилась, и, вмѣсто ухорства и бахвальства, стали замѣчать въ народной русской жизни лохмотья, нищету, тяжкое бремя чернорабочаго труда, въ мнимонародной поэзіи г. Некрасова явились другія краски. Вслѣдъ за журналистами онъ увидѣлъ нищету и лохмотья, кумачная рубашка смѣнилась рубищемъ, трактирная пѣсня—стономъ бурлаковъ, тянущихъ лямку. Но вдохновеніе опять шло не изъ непосредственнаго наблюденія жизни, а изъ журнальныхъ статей, и потому опять звучало фальшиво; дѣйствительныя черты народнаго духа, какія указывалъ, напримѣръ, г. Достоевскій въ *Запискахъ изъ Мертваго дома* или Андрей Печерскій, остались незамѣченными г. Некрасовымъ, хотя у него есть стихотворенія, прямо навѣянные *Записками изъ Мертваго дома*. Фальшивость происходила оттого, что почерпнутые у г. Достоевскаго мотивы г. Некрасовъ проводилъ сквозь горнило воззрѣній редакціи *Современника*, измѣнялъ точку зрѣнія, и въ этомъ процессѣ перегорали краски, полученныя изъ непосредственнаго художественнаго наблюденія. Впрочемъ, поддѣльность народной поэзіи г. Некрасова такъ очевидна, что излишне распространяться объ этомъ предметѣ.

Гораздо любопытнѣе взглянуть, какъ отразилось въ стихахъ нашего поэта то движеніе соціальныхъ идей, которое съ половины сороковыхъ годовъ составляетъ внутреннее содержаніе петербургской журналистики. Мы видѣли, что критика, просмотрѣвшая соціальное и историческое значеніе нашей художественной поэзіи послѣ - Пушкинскаго періода, и замѣтивъ только ея внѣшнее содержаніе, ея темы, посвященныя любви женщинѣ, красотѣ, осудила эту поэзію во имя общественныхъ и гражданскихъ идей. Осудивъ содержаніе, она осудила также и форму, въ художественной виртуозности которой она видѣла нѣгу звуковъ, не гармонировавшую съ тѣми новыми темами, которыя журналистика претендовала внести въ поэзію. Журнализмъ по-

требовалъ отъ поэтовъ суровыхъ пѣсень, суровыхъ образовъ, которые воплотили бы въ себѣ борьбу человѣчества за социальныя права, въ которыхъ звучали бы отголоски страданій, стоны пролетаріевъ, задавленныхъ социальнымъ неравенствомъ. Насколько все это было примѣнимо къ русской жизни внѣ специальныхъ условій крѣпостного права—журналистика не разсуждала. Выйдя сама изъ условій чужой жизни, она поставила своею задачею: отыскать во что бы то ни стало аналогическія условія въ русскихъ порядкахъ, и такъ или иначе ввести русскую жизнь въ социальное движеніе, внѣ котораго нашъ журнализмъ не умѣлъ найти для себя содержанія. Явилось требованіе, чтобы наша поэзія служила отголоскомъ этой борьбы, чтобы она забыла „пѣсни любви и лѣни“. Новая поэзія должна была нарядиться въ лохмотья социальной нищеты, облечься въ „суровый, неуклюжій стихъ“, и забыть о „праздникѣ жизни, потому что на этомъ праздникѣ много званныхъ, но мало избранныхъ. Защитница униженныхъ и угнетенныхъ, она должна рыдать и скорбѣть, обливаться желчью и негодованіемъ.

Г. Некрасовъ вызвался съ точностью удовлетворить этимъ новымъ требованіямъ. Онъ вѣритъ, что въ этихъ именно требованіяхъ заключается его поэтическое призваніе:

.... Рано надо мной отяготѣли узы
Другой, неласковой и нелюбимой музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ,—
Той Музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей,
Которой золото—единственный кумиръ...
Въ услуду новаго пришельца въ Божій міръ,
Въ убогой хижинѣ, предъ дымною лучиной,
Согбенная трудомъ, убитая кручиной,
Она пѣвала мнѣ—и полонъ былъ тоской
И вѣчной жажбой напѣвъ ея простой.
Случалось, не стерпѣвъ томительнаго горя,
Вдругъ плакала она, моимъ рыданьямъ вторя,
Или тревожила младенческой мой умъ
Разгульной пѣсней... Но тотъ же скорбный стонъ
Еще пронзительнѣй звучалъ въ разгулѣ шумномъ.

Все слышалось въ немъ въ смѣшеніи безумномъ:
 Расчеты мелочной и грязной суеты,
 И юношескихъ лѣтъ прекрасныя мечты,
 Погибшая любовь, подавленныя слезы,
 Проклятья, жалобы, безсильныя угрозы.
 Въ порывѣ ярости, съ неправдою людскою
 Безумная клялась начать упорный бой,
 Предавшись дикому и мрачному веселью,
 Играла бѣшено моею колыбелью,
 Кричала: мщеніе! и буйнымъ языкомъ
 Въ сообщники свои звала Господень громъ!

Какая мрачная и дикая программа! Рыдающій вопль и буйный разгулъ—какой-то пиръ во время чумы, Фаустъ, Гете и пластическія фантазіи Макарта... И г. Некрасовъ неоднократно возвращается къ этой программѣ: онъ любитъ воображать себя цѣвцомъ скорби и страданья, любитъ находить въ своей поэзіи желчь и мстительное чувство:

Если долго сдержанныя муки
 Накипѣвъ, подъ сердце подойдутъ,
 Я пишу
 Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
 Мой суровый, неуклюжій стихъ!
 Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства...
 Но кипитъ въ тебѣ живая кровь.
 Торжествуетъ мстительное чувство...

Даже воспоминанія собственнаго дѣтства, съ такимъ примирающимъ и освѣжающимъ вѣяніемъ дѣйствующія на человека, будятъ въ душѣ г. Некрасова лишь мрачные образы и озлобленное чувство. Онъ радъ, что время разрушило гнѣздо, въ которомъ протекли его первые годы, что измѣнился даже наружный видъ родной стороны:

И съ отвращеніемъ кругомъ кидая взоръ,
 Съ отрадой вижу я, что срубленъ темный боръ—
 Въ томящій лѣтній зной защита и прохлада—
 И нива выжжена, и праздно дремлетъ стадо,
 Понутивъ голову надъ высохшимъ ручьемъ,
 И на бокъ валится пустой и мрачный домъ,
 Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликованій
 Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій
 И только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ,
 Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ...

Таковъ г. Некрасовъ, когда онъ обращается къ своему внутреннему чувству или строить программу собственной поэтической дѣятельности. Но эта программа походитъ на великолѣпныя пропиленіи, за которыми путешественникъ неожиданно встрѣчается съ небольшою постройкой весьма посредственной архитектуры. Такое же разочарованіе испытываетъ читатель, когда отъ вышеприведенныхъ стихотвореній переходитъ къ тѣмъ произведеніямъ г. Некрасова, которыя упрочили за нимъ званіе сатирическаго поэта. Оказывается, что „скорбный стонъ, подавленные слезы, проклятыя, жалобы, безсильныя угрозы“ Некрасовской музы направлены на предметы, нѣсколько водевильнаго свойства и во всякомъ случаѣ не имѣющіе того какъ бы стихійнаго значенія, котораго читатель расположенъ ожидать. Предметами сатиры являются то вылѣзающій изъ канцелярскихъ потемокъ бюрократъ, оставляющій съ сильнымъ міра сего „съ глазу на глазъ красавицу дочь“, то опять тотъ же бюрократъ, живущій „согласно съ строгою моралью“ и подкарауливающій похищенія своей жены, чтобъ уличить ее „съ полиціей“; то опять все тотъ же неизмѣнный бюрократъ, устраивающій своей дочери „прекрасную партію“, затѣмъ опять онъ же, не умѣющій голоднаго отъ пьянаго отличить, и, наконецъ, опять онъ же, гуляющій по Невскому и обѣдающій въ Английскомъ клубѣ. Для разнообразія мелькаютъ порою въ сатирѣ г. Некрасова помѣщики старыхъ временъ, рыскающій по полю съ борзыми и ломающій ребра встрѣчному и поперечному, да падшая женщина, давящая рысками петербургскихъ пѣшеходовъ.

Таковы постоянныя, любимыя темы тѣхъ стихотвореній г. Некрасова, которыя наиболѣе нравились публикѣ и наиболѣе содѣйствовали упроченію его литературной репутаціи. Уровень сатиры, очевидно, весьма не высокъ и нисколько не соответствуетъ грандіознымъ задачамъ, которыя воображеніе предписало поэту. Читатель опять встрѣчается здѣсь съ пошловатымъ впечатлѣніемъ канцелярскаго либерализма и водевильно-фельетонной литературы чисто петербургскаго происхожденія. Заимствованность вдохновенія не изъ непосредственнаго, широкаго изученія жизни, а изъ литературы,

точка зрѣнія наблюдателя, обоарѣвающего окружающую его дѣйствительность съ панелей Невскаго проспекта—сказываются въ сатирахъ г. Некрасова такъ же очевидно и ясно, какъ и въ его мнимо-народныхъ произведеніяхъ. Идея соціальнаго протеста, служащая содержаніемъ нашей новой литературы, прошла черезъ журнальную реторту и получила въ ней тотъ водевильно-канцелярскій оттѣнокъ, которымъ запечатлѣна вообще петербургская печать. Въ этомъ процессѣ все, что названная идея заключала въ себѣ грандіознаго, общечеловѣческаго, осыло на стѣнкахъ дистиллирующаго снаряда, и осталась маленькая, худосочная идея, выражающая протестъ загнаннаго петербургскаго чиновника противъ выльзшаго въ люди бюрократа. Униженный и оскорбленный, о сочувствіи къ которому зывала журналистика, найденъ въ лицѣ маленькаго чиновника, который

Въ провіантскую комиссію,
Поступивши, напримѣръ,
Покупать свою провизію—
Вотъ какой милліонеръ!

Это было очень естественно со стороны поэта, почерпавшаго свое вдохновеніе изъ міросозерцанія *Современника*. Когда этой журналистикѣ понадобилось во что бы то ни стало отыскать въ русской жизни условія соціальной борьбы—нѣтъ ничего удивительнаго, что эти условія найдены въ явленіяхъ ближайшей дѣйствительности, въ петербургской жизни—единственной доступной наблюденіямъ журнальных дѣятелей. Этотъ петербургскій букетъ, составившійся изъ нищеты и скуки чиновничьяго существованія и водевильныхъ развлеченій уличной и трактирной жизни, отразился всецѣло въ поэзіи г. Некрасова и пропиталъ ее своимъ крѣпкимъ запахомъ. Остроуміе Александринской сцены и развязная иронія, не чуждая разгильдяйства театральныхъ буфетовъ, окропили обильною струей эту чисто петербургскую сатиру, относительно которой самъ авторъ, очевидно, приходитъ въ заблужденіе, подозревая будто его муза, „плачущая, скорбящая и болящая, всечасно жаждущая униженно просящая“, путемъ этой водевильной сатиры,

Въ порывѣ ярости, съ неправдою людской
Безумная клялась начать упорный бой.

Бой оказывается не столько упорнымъ, сколько однообразнымъ, и значеніе этой „безумной“ борьбы сатирическаго поэта съ недугами и язвами своего вѣка постепенно умалается по мѣрѣ того, какъ мы отъ замысловъ переходимъ къ исполненію. Нерѣдко содержаніе Некрасовской сатиры замѣчательнымъ образомъ совпадаетъ со статьями *Петербургскаго Листка*, обличительное усердіе котораго такъ высоко цѣнятся столичными дворниками и лавочниками. Г. Некрасовъ не брезгаетъ говорить своимъ „неуклюжимъ стихомъ“ о неудобствѣ петербургскихъ мостовыхъ, о цвѣлой водѣ въ каналахъ и о дурномъ воздухѣ, какимъ дышать лѣтомъ обитатели столицы. Въ стихотвореніяхъ подобнаго содержанія, въ самомъ тонѣ встрѣчается замѣчательно близкое сходство съ благонамѣренно-обличительными статьями уличныхъ листовъ. Вотъ небольшой примѣръ изъ сатиры *О погоду*, гдѣ г. Некрасовъ слѣдующимъ образомъ „бичуетъ“ недостатки Петербурга лѣтомъ:

Но кто лѣтомъ толкается въ немъ,
Тотъ ему одного пожелаетъ—
Чистоты, чистоты, чистоты!
Грязны улицы, лавки, мосты,
Каждый домъ золотухой страдаетъ;
Штукатурка валится—и бьетъ
Тротуаромъ идущій народъ,
А для ѣдущихъ есть мостовая,
Не щадящая бѣдныхъ боковъ;
Лѣтомъ взроютъ ее, починная,
Да наставятъ зловонныхъ костровъ;
Какъ дорогой бросаются въ очи
На зеленомъ лугу свѣтляки,
Ты замѣтишь въ туманныя ночи
На вершинѣ костровъ огоньки—
Берегись! Въ дополненіе, съ мая,
Не весьма-то чиста, и всегда,
Отъ природы отстать не желая,
Зацвѣтаетъ ва каналахъ вода...

Санитарное содержаніе этихъ строкъ и несвѣжая острота о петербургскихъ каналахъ, зацвѣтающихъ весною, чтобы не отстать отъ природы, прямо указываютъ, что вдохновеніе

поэта заимствовано въ настоящемъ случаѣ изъ фельетоновъ весьма не высокаго свойства. На поэтѣ отразилось уже пониженіе уровня петербургскаго журнализма, замѣтное съ шестидесятыхъ годовъ.

Мы имѣли уже случай указать въ началѣ этой статьи на близкую связь поэзіи г. Некрасова съ судьбами петербургской журналистики. Дѣйствительно, едва ли есть другой поэтъ, творчество котораго находилось бы въ такой роковой зависимости отъ уровня журнальныхъ идей. Лучшимъ періодомъ въ поэтической дѣятельности г. Некрасова были сороковые и пятидесятые годы, то-есть именно тѣ годы, когда петербургская журналистика обнаруживала нѣкоторую жизненность. Хотя и въ этотъ періодъ большая часть стихотвореній г. Некрасова представляется весьма слабою въ смыслѣ непосредственнаго художественнаго творчества, хотя лучшія его произведенія носятъ несомнѣнную печать журнальныхъ вѣяній, но самыя эти вѣянія были свѣжѣе. Журналистика хотя становилась болѣе и болѣе тенденціозною, но тенденціозность еще не противопоставлялась таланту, не исключала самостоятельной работы мысли. Притокъ общественныхъ идей въ художественную литературу первоначально сообщилъ ей большую глубину содержанія, и одинъ изъ самыхъ даровитыхъ ревнителей тогдашняго журнализма, Бѣлинскій, безъ сомнѣнія, очень бы удивился, еслибъ ему сказали, что черезъ двадцать лѣтъ тѣ живыя силы, которыя онъ стремился вызвать въ литературѣ, замкнутся въ заколдованный кругъ либеральной формалистики и приведутъ къ полному застою и мертвечинѣ.

Наше журнальное движеніе съ шестидесятыхъ годовъ послѣдовало однакожъ именно по этому злополучному пути. Живая струя, питавшая ее въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, видимо изсякла, и съ тѣмъ вмѣстѣ измельчало ея внутреннее содержаніе. Самостоятельная работа мысли замѣнилась формализмомъ; перестали искать живого и свѣжаго слова, авторской индивидуальности, потому что всякая индивидуальность враждебна предустановленной тенденціи. Въ предыдущей статьѣ нашей: *Нужна ли намъ литература?* мы видѣли, до какой степени понизились требованія, прель-

являемыя къ литературѣ новѣйшею критикой. Мы видѣли, что даже тѣ произведенія Гоголя, за которыми критика Бѣлинскаго признавала огромное общественное значеніе, не удовлетворяютъ современный журнализмъ, потому что представляютъ нѣчто болѣе глубокое и высшее, чѣмъ эфемерные интересы журналистики. Это мелководье современнаго журнальнаго уровня выразилось еще яснѣе въ слѣдующей статьѣ г. Пыпина (*Вѣстникъ Европы*, май), посвященной Бѣлинскому. Критикъ нашихъ дней даетъ оцѣнку критика сороковыхъ годовъ, при чемъ огромное разстояніе между ними сказывается противъ воли г. Пыпина съ полною выразительностью. Г. Пыпинъ увидѣлъ въ Бѣлинскомъ совсѣмъ не то, что, конечно, составляетъ его главную заслугу. Замѣчательный критическій талантъ Бѣлинскаго, его горячая проповѣдь въ пользу художественности и талантливости въ литературѣ, его эстетическое чутье, помогшее ему разгадать значеніе Пушкина и Гоголя въ нашей поэзіи, все это осталось совершенно незамѣченнымъ для г. Пыпина. Современный журналистъ увидѣлъ въ Бѣлинскомъ только одно достоинство, одну заслугу—*направленіе*. Можно думать, что, по мнѣнію г. Пыпина, никакого дарованія вовсе не требуется въ литературѣ, а нужно только направленіе. И дѣйствительно таковъ взглядъ, таковы требованія современнаго журналиста. Понятно, что какъ скоро журналистика замыкается въ безплодный формализмъ направленія, въ ней прекращается всякая живая производительность. Направленіе, лишенное внутренняго содержанія, враждебное всякому поступательному движенію въ смыслѣ изученія и разработки нравственныхъ и художественныхъ задачъ, не можетъ вести ни къ чему другому, кромѣ толченія воды и пересыпанія изъ пустого въ порожнее. Возможна ли литературная производительность тамъ, гдѣ на все есть готовая формула, гдѣ всѣ явленія жизни предрѣшены и гдѣ всякая попытка глубже всмотрѣться въ эти явленія и дать имъ болѣе вѣрное и жизненное освѣщеніе—заранѣе отвергается какъ несогласная съ *такимъ-то направленіемъ*.

Бѣлинскій съ извѣстной точки зрѣнія былъ писатель того самаго направленія, которое современный петербургскій

журнализмъ признаеть господствующимъ и единственно здравымъ. Но Бѣлинскій, конечно, энергически протестовалъ бы противъ такого сближенія, если-бы судьба привела его увидѣть плоды, произросшіе изъ брошенныхъ имъ сѣмянъ. Невозможно болѣе глубокое паденіе, какъ то, которое испытала наша журналистика въ періодъ времени, протекшій отъ „Литературныхъ Мечтаній“ Бѣлинскаго до „Литературныхъ Характеристикъ“ г. Пыпина. При Бѣлинскомъ мы видѣли журналистику горячо и искренно боровшуюся противъ застоя, формализма и бездѣйствія мысли, подражательности и бездарности, журналистику, которая въ литературѣ цѣнила прежде всего талантъ и ждала отъ писателя свободнаго, живого слова, просвѣщенной мысли, самостоятельнаго выработаннаго убѣжденія. Направленіе, созданное у насъ Бѣлинскимъ, въ которомъ современный журнализмъ, глазами г. Пыпина, ничего болѣе не видитъ, кромѣ такъ называемыхъ „освободительныхъ идей“, видѣло освобожденіе прежде всего въ полнотѣ внутренняго содержанія нашей литературы и радостно шло навстрѣчу всякому свѣжему дарованію, находило ли оно его въ сатиру Гоголя или въ антологическихъ стихотвореніяхъ Майкова. Недостатокъ болѣе серіознаго образованія постоянно вредилъ Бѣлинскому и заставлялъ его бросаться въ крайности, печальнымъ образомъ отозвавшіяся на будущихъ судьбахъ нашего журнальнаго движенія; но въ этихъ крайностяхъ преимущественно виноваты тѣ зловѣщія силы, которыя послѣдовательно низвели нашу журналистику до ея нынѣшняго плачевнаго уровня. Настоящаго Бѣлинскаго надо искать не въ послѣднемъ періодѣ его дѣятельности, и въ особенности не въ уклоненіяхъ его послѣдователей, а въ его статьяхъ первой половины сороковыхъ годовъ, когда имъ руководило его художественное чутье.

Пониженіе уровня журнальныхъ идей, обнаружившееся у насъ съ начала шестидесятихъ годовъ, отразилось на поэтической дѣятельности г. Некрасова тѣмъ сильнѣе, что поэзія его постоянно вдохновлялась журнальными мотивами, и изъ нихъ заимствовала свою силу. Если въ предшествовавшій литературный періодъ, при болѣе высокомъ

уровнѣ журналистики, муза г. Некрасова возвышалась иногда до произведеній талантливыхъ, каково, на примѣръ, стихотвореніе: *Вду ли ночью по улицѣ темной*, то въ послѣдніе годы произведенія этого поэта упали до того низменнаго уровня, на которомъ коснѣеть современный петербургскій журнализмъ. Вѣрный господствующимъ журнальнымъ идеямъ въ эпоху ихъ сильнаго развитія и жизненности, онъ остался вѣренъ имъ и при нынѣшнемъ ихъ мелководьи, и раздѣлилъ съ ними ихъ паденіе. Разница между предыдущимъ и послѣдующимъ періодами въ поэтической дѣятельности г. Некрасова такъ же замѣтна и существенна, какъ и между журналистикой сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ и журналистикой современною. Заимствованная сила лучшихъ прежнихъ стихотвореній его изсякаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ она изсякла въ питавшемъ его источникѣ. Поэтъ оставляетъ общія идеи добра, блага, правды, составлявшія внутреннее содержаніе литературы предшешаго періода, и обращается къ тѣмъ мелкимъ, такъ сказать, специализованнымъ интересамъ журнальнаго дѣла, которые выступаютъ на первый планъ въ самой журналистикѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ поэта оставляетъ всякая забота о художественныхъ цѣляхъ поэзіи, такъ какъ эти цѣли отвергнуты и осмѣяны новѣйшею журналистикой. Стихъ г. Некрасова, весьма небрежный и прежде, но въ своей небрежности не лишенный иногда силы и выразительности, въ послѣднихъ произведеніяхъ его становится совершенно прозаическимъ и водянистымъ: поэтъ какъ бы вполне подчиняется требованіямъ новой критики, которая ищетъ въ писателѣ только неуклоннаго вращенія около нѣсколькихъ темъ, предрѣшенныхъ стереотипными формулами петербургскаго либерализма.

Этотъ печальный упадокъ поэтическаго творчества отразился въ послѣднихъ произведеніяхъ г. Некрасова не только вообще, но и въ частностяхъ. Поэтъ тщательно слѣдитъ за всѣми отклоненіями идей петербургскаго журнализма, и если не предупреждаетъ ихъ, то всегда служитъ вѣрнымъ ихъ отголоскомъ. Такъ, на примѣръ, его отношенія къ русской народности измѣнились кореннымъ образомъ, соотвѣтственно новымъ отношеніямъ къ ней петер-

ургской журналистики. Известно, что, вмѣсто нѣкотораго идеализированія русскаго простолюдина, вмѣсто исканія въ его природѣ здравыхъ началъ, журналистика шестидесятихъ годовъ стала относиться къ народу почти ругательно, изобличая его крайнюю тупость, нищету и грязь; вмѣсто народного молодчества и ухорства, выступили на сцену или-отизмъ и забитость, безпробудное пьянство и кабацкая брань: вмѣсто красныхъ рубахъ, плисовыхъ шароваръ и гармоникъ—лохмотья, рубища, зеленый полушторфъ и окровавленные кулаки. Въ quasi-народной литературѣ,—литературѣ г. Рѣшетникова, гг. Успенскихъ и пр.—повѣяло новымъ, особымъ запахомъ, который г. Некрасовъ, со свойственной ему чуткостью ко всѣмъ журнальнымъ явленіямъ, тотчасъ опредѣлилъ, сказавъ, что смѣсь

....водки, конюшни и пыли—
Характерная русская смѣсь.

Сообразно съ тѣмъ, и самъ г. Некрасовъ сталъ рисовать русскихъ мужичковъ другими красками. Въ одной изъ его послѣднихъ поэмъ: *Кому на Руси жить хорошо*, русскіе мужики такимъ образомъ выражаютъ свои понятія о блаженствѣ:

Чтобъ вошь, блоха паскудная
Въ рубахахъ не плодилась,
Потребоваль Лука.
— Не прѣли бы онученьки,
Потребовали Губины...

Всякій согласится, что русскій народный букетъ вышелъ тутъ покрѣпче „смѣси водки, конюшни и пыли“, и что до г. Некрасова одинъ только г. Рѣшетниковъ возвышался до подобнаго реализма изображеній... Не дурны также краски, которыми г. Некрасовъ рисуетъ сельскихъ ловеласовъ и прелестницъ:

Куда же ты, Оленушка?
Постой, еще дамъ пряничка,
Ты, какъ блоха проворная,
Наѣлась и упрыгнула,
Погладить не далась!

.....

Эй, парень, парень глупенькій,
Оборванный, паршивенькій,
Эй, полюби меня,
Меня простоволосую,
Хмельную бабу, старую,
Зааа-паа-чканую!

Въ сущности эта новая народность такъ же далека отъ настоящей, такъ же заимствована и поддѣльна, какъ народность *Огородника*; но новыя краски на палитрѣ г. Некрасова очень хорошо указываютъ, въ какую сторону направились современные литературные вкусы.

Общественныя задачи, о которыхъ такъ много любятъ говорить современная журналистика и за равнодушіе къ которымъ она такъ горько упрекаетъ беллетристовъ предыдущей эпохи, неминусею должны были сузиться при томъ пониженіи идей и понятій, которое настало въ журналистикѣ съ начала шестидесятыхъ годовъ. Мы уже говорили, что общія идеи блага, добра, правды, такъ-называемыя общіе гражданскіе мотивы, уступили мѣсто мелкимъ, специализованнымъ интересамъ журнальнаго дѣла. У г. Некрасова есть цѣлая серія стихотвореній, посвященныхъ этимъ темамъ, то-есть, виѣшнимъ судьбамъ нашего печатнаго слова. Выходить, напримѣръ, новый цензурный уставъ, г. Некрасовъ тотчасъ пишетъ стихотвореніе, въ которомъ типографскій разсылный слѣдующимъ либерально-водевильнымъ образомъ воспѣваетъ этотъ фактъ:

Баста ходить по цензурѣ,
Ослобонилась печать,
Авторы наши въ натурѣ
Стали статейки пущать.
Къ нимъ да къ редактору нынѣ
Только и носимъ статьи...
Словно повысились въ чинѣ,
Ожили дѣтки мои!
Каждый теперича кротокъ,
Ну, да и намъ-то расчетъ:
На восемь гривенъ подметокъ
Меньше износится въ годъ!

Въ фактъ отмѣны предварительной цензуры г. Некрасовъ только и увидѣлъ глазами типографскаго разсылнаго, что

„авторы наши въ натурѣ стали статейки пущать“, и что дядя Минай по этому случаю износить менѣе подметокъ. Въ другомъ стихотвореніи, *Наборщики*, этотъ нѣсколько странный взглядъ на свободную печать выраженъ г. Некрасовымъ еще конкретнѣе: отмѣна цензуры оказывается важною потому, что наборщикамъ дорогъ порядокъ, и они радуются что впередъ не придется переверстывать наборъ вслѣдствіе цензурныхъ помарокъ.

Въ работѣ безпорядокъ
Намъ сокращаетъ вѣкъ.
И лишній рубль не сладокъ,
Какъ боленъ человекъ...
Но вотъ свобода слова
Негаданно пришла,
Не такъ ужъ безтолково,
Авось, пойдутъ дѣла!

Ужъ не иронизируетъ ли г. Некрасовъ, и не хочетъ ли сказать, что отмѣна цензуры подѣйствовала на безтолковость петербургской печати только въ томъ смыслѣ, что наборъ стали верстать сразу?

Отдавъ поэтическое привѣтствіе новому факту, г. Некрасовъ продолжаетъ тщательно отмѣчать по газетамъ дѣйствіе этого факта въ жизни. Онъ узнаетъ, на примѣръ, что было нѣсколько процессовъ по дѣламъ печати, и пишетъ на эту тему стихотвореніе: *Осторожность*. Попалось ему въ газетахъ свѣдѣніе, что какая-то книга уничтожена по приговору суда, и у него готово стихотвореніе:

Пропала книга! Ужъ была
Совсѣмъ готова—вдругъ пропала, и т. д.

Тутъ опять его поражаетъ не внутреннее содержаніе факта, а нѣкоторый, такъ сказать, внѣшній безпорядокъ явленія. Его беспокоитъ мысль, что вѣдь, можетъ быть, въ книгѣ слѣдовало выкинуть всего только „двѣ-три страницы роковыя“, а остальное дозволить, а между тѣмъ уничтожена вся книга, и такимъ образомъ

Затраченъ даромъ капиталъ,
Пропали хлопоты большія.

Если бы судъ вырѣзалъ только двѣ-три странички, капиталъ пропалъ бы небольшой, хлопоты также вышли бы умѣренныя, и поэтъ „свободнаго слова“, вѣроятно, совершенно бы успокоился. Что жъ, у всякаго своя точка зрѣнія, и г. Некрасовъ имѣетъ полное право смотрѣть на уничтоженіе книги со стороны „затраченнаго даромъ капитала“. Только напрасно онъ полагаетъ, что эту точку зрѣнія съ нимъ „раздѣлитъ вся Россія“.

Тема показалась г. Некрасову настолько благодарною, что онъ возвратился къ ней въ длинномъ стихотвореніи *Судъ*, названномъ имъ „современною повѣстью“. Въ этой вялой повѣсти, написанной стихами оперетокъ Александрийскаго театра, рассказывается, какъ къ писателю явился въ полночь полицейскій чиновникъ, требуя его на судъ за предосудительныя мѣста въ его книгѣ. Конечно, это только поэтическая вольность, потому что требованіе къ гласному суду передается авторомъ болѣе простымъ порядкомъ, безъ таинственныхъ звонковъ въ полночь и безъ полицейскихъ офицеровъ со „звукомъ шпоръ“. Но дѣло не въ этомъ. Судъ присуждаетъ автора къ мѣсячному тюремному заключенію, во время котораго злосчастнаго узника донимають блохи, клопы, запахъ тютюна и разговоры какого-то либеральнаго гвардейскаго офицера. Г. Некрасовъ слѣдующимъ образомъ заканчиваетъ свою повѣсть:

Блоха—безсонница—тютюнъ—
Усатый офицеръ болтунъ—
Тютюнъ—безсонница—блоха—
Все это мелочь, чепуха!
Но вѣришь ли, читатель мой!
Такъ иногда съ блохами бой
Былъ тошень; смрадомъ тютюна
Такъ жизнь была отравлена,
Такъ больно клопъ меня кусалъ,
И такъ жестоко донималъ
Что день, то новый либераль—
Что я закалялся писать...

Итакъ, попади осужденный авторъ на такую гауптвахту, гдѣ нѣтъ блохъ и клоповъ, гдѣ сторожа, вмѣсто тютюна, курятъ папиросы братьевъ Петровыхъ, и гдѣ къ заключеннымъ не

являются для либеральных бесѣдъ гвардейскіе офицеры, герой „современной повѣсти“, надо думать, былъ бы совершенно доволенъ, а г. Некрасовъ совершенно спокоенъ.

Относясь самъ такимъ внѣшнимъ образомъ къ духовнымъ интересамъ общества и литературы, г. Некрасовъ требуетъ отъ русскаго народа весьма не малаго. Въ поэмѣ его: *Кому на Руси жить хорошо*, мы находимъ слѣдующія пожеланія, на этотъ разъ даже не заимствованныя изъ газетныхъ фельетоновъ, потому что и фельетоны въ наше время стали смотрѣть на жизнь гораздо трезвѣе:

Эхъ, эхъ! придетъ ли времечко,
Когда (приди желанное!...)
Дадутъ понять крестьянину,
Что рознь портреть портретику.
Что книга книгъ рознь?
Когда мужикъ не Блюхера
И не милорда глупаго —
Бѣлинскаго и Гоголя
Съ базара повесутъ?
Ой, люди, люди русскіе!
Крестьяне православные!
Слыхали ли когда-нибудь
Вы эти имена?
То имена великія,
Носили ихъ, прославили
Заступники народные!
Вотъ вамъ бы ихъ портретики
Повѣсить въ вашихъ горенкахъ,
Ихъ книги прочитать...

Къ сожалѣнію, при совершенномъ паденіи журналистики, кругъ журнальныхъ и газетныхъ темъ весьма ограниченъ, и г. Некрасовъ, видимо, испытываетъ затрудненіе въ пріисканіи сюжетовъ для своей поэтической дѣятельности. Изъ толстыхъ журналовъ совсѣмъ исчезла публицистика, притокъ новыхъ идей прекратился, старыя опошлили и замкнулись въ либеральную формалистику. При такомъ положеніи дѣлъ г. Некрасовъ нашелъ весьма удобнымъ эксплуатировать старый историческій фактъ, именно 14 декабря 1825 года, вѣроятно разсчитывая, что интересъ событія возмѣститъ бѣдность поэтическаго творчества и искупить

прозаичность стиха, уже не „суроваго и неуклюжаго“, а водянистаго и вялаго. Половина выпедшаго недавно пя-
таго тома стихотвореній г. Некрасова посвящена 14-му де-
кабря. Тутъ мы находимъ поэму *Дядушка*, въ которой
разсказывается, какъ внукъ декабриста все разспрашивалъ
папеньку, гдѣ его дѣдъ, и какъ самъ дѣдушка, наконецъ,
вернулся домой, но на всѣ вопросы любопытнаго внука
отвѣчаетъ: „Вырастешь, Саша, узнаешь...“ Разсказъ пере-
сыпанъ самымъ прозаическимъ благомысліемъ, въ родѣ:

Зрѣлище бѣдствій народныхъ
Невыносимо мой другъ,
Счастье умовъ благородныхъ
Видѣть довольство вокругъ...

Или:

Солнце не вѣчно сіяетъ,
Счастье не вѣчно везетъ;
Каждой странѣ наступаетъ
Рано иль поздно чередъ,
Гдѣ не покорность тупая—
Дружная сила нужна;
Гранетъ бѣда роковая—
Скажется мигомъ страна.
Единодушье и разумъ
Всюду дадутъ торжество—
Да не придутъ они разомъ,
Вдругъ не создать ничего, — и т. д.

Эта азбучная мораль, не лишенная нѣкотораго поли-
тического и претензіоннаго оттѣнка, лучше всего свидѣтель-
ствуетъ, до какой степени истоцилось содержаніе петер-
бургской прогрессивной литературы: г. Некрасовъ, такъ
горячо возстававшій нѣкогда противъ морали прописей,
кончаетъ тѣмъ, что самъ обращается къ ней, не находя
болѣе пищи въ нѣкогда вдохновлявшей его журналистикѣ.

Двѣ поэмы, подъ общимъ названіемъ *Русскія женщины*,
эксплуатируютъ тотъ же историческій фактъ. Содержа-
ніе обѣихъ поэмъ совершенно одинаково: въ одной княгиня
Т—ая, въ другой княгиня В—ая, растутъ въ богатомъ ро-
дительскомъ домѣ, выходятъ замужъ, мужья ихъ попадаютъ
въ катастрофу 14-го декабря и ссылаются въ Сибирь. Жены

рѣшаются ѣхать вслѣдъ за ними, чтобы раздѣлить ихъ изгнаніе, преодолеваютъ всѣ трудности пути, всѣ препятствія, поставляемые имъ людьми и природою, и наконецъ соединяются съ мужьями въ сибирскихъ рудникахъ. Такова историческая канва обѣихъ поэмъ; неблагоприятною ее, конечно, нельзя назвать, и попадись она въ руки поэта, дарованіе котораго не выдохлось до такой степени, какъ дарованіе г. Некрасова, наша поэзія могла бы обогатиться произведеніемъ высокаго художественнаго интереса. Къ сожалѣнію, сюжетъ оказался не по силамъ г. Некрасову, и все, что въ его поэмахъ не относится прямо къ историческому факту, поражаетъ плоскостью и сухостью. Это произошло, конечно, оттого, что самаго сюжета г. Некрасовъ, почти не коснувшись, почувствовавъ только тенденціозную его сторону. Внутреннее содержаніе факта не открылось г. Некрасову, не прошло черезъ горнило поэтическаго творчества; онъ удовольствовался тѣмъ, что разрубилъ внѣшнюю фабулу разсказа на ринованныя строки—остальное должна сдѣлать тенденція. *Направленіе* удовлетворено—чего же больше?

Можно пойти далѣе и доказать, что г. Некрасовъ своимъ прикосновеніемъ даже испортилъ сюжетъ. Поэзія—вещь весьма опасная, и когда поэтъ въ данную минуту не находитъ въ себѣ поэтическихъ струнъ, гораздо лучше прекратить ринованную рѣчь и передать фактъ въ безыскусственной простотѣ прозы. Неудачный стихъ всегда въ тысячу разъ прозаичнѣе прозы; а у г. Некрасова въ *Русскихъ Женщинахъ* столько неудачныхъ стиховъ, что поэзія самаго факта исчезаетъ въ нихъ, и героини поэмъ независимо отъ авторской воли являются почти въ карикатурномъ видѣ. Какой поэтической образъ не потерпитъ ущерба, когда ее заставляютъ выражаться такими рогатыми виршами:

Теперь разскажу вамъ подробно, друзья,

Мою роковую побѣду.

Вся дружно и грозно возсталъ семья,

Когда я сказала: „я ѣду!“

.....

Когда собрались мы къ обѣду,

Отецъ мимоходомъ мнѣ бросилъ вопросъ:

„На что ты рѣшилась? — Я ѣду!

Конечно, никогда болѣе драматическое движеніе поэтической женской души не было выражено такими плоскими стихами... Г. Некрасовъ пытается даже нарисовать внѣшній образъ своей героини и заставляетъ ее говорить себѣ:

Сказать ли вамъ правду? Была я всегда
Въ то время царицею бала:
Очей моихъ томныхъ огонь голубой
И черная съ синимъ отливомъ
Большая коса, и румянецъ густой
На личикѣ смугломъ, красивомъ,
И ростъ мой высокій, и гибкій мой станъ,
И гордая поступь — плѣняли
Тогдашнихъ красавцевъ...

Хотя можно призадуматься надъ *огнемъ томныхъ* очей, но приведенныя строки еще ничѣмъ не оскорбляютъ чувства красоты. Но г. Некрасовъ заставляетъ героиню дополнить свой портретъ слѣдующими неумѣстными и плоскими чертами:

Училась я много; на трехъ языкахъ
Читала. Замѣтна была я
Въ парадныхъ гостиныхъ, на свѣтскихъ балахъ,
Искусно танцуя, играя;
Могла говорить я почти обо всемъ,
Я музыку знала, и пѣла,
Я даже отлично скакала верхомъ,
Но думать совсѣмъ не умѣла.

Эту характеристику поэтъ дополняетъ еще такою картинкой:

А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей,
Гора была страшно крутая,
И я полетѣла съ кибиткой моей
Съ высокой вершины Алтая!
.....
Дорога безъ свѣгу—въ телѣгѣ! Сперва
Телѣга меня занимала,
Но скоро потомъ, ни жива ни мертва,
Я прелесть телѣги узнала.
Узнала и голодъ на этомъ пути;
Къ несчастію, мнѣ не сказали,
Что тутъ ничего не возможно найти,
Что почту Буряты держали.

Говядину вялать на солнцѣ они,
 Да грѣются чаемъ кирпичнымъ,
И тотъ еще съ саломъ! Господь сохрани
 Попробовать вамъ, непривычнымъ!
 Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задали балъ:
 Какой-то купецъ тороватый
 Въ Иркутскѣ замѣтилъ меня, обогналъ
 И въ честь мою праздникъ богатый
 Устроилъ... Спасибо! я рада была
 И вкуснымъ пельменямъ, и банѣ...
 А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала
 Въ гостиной его на диванѣ...

Съ этою картинкой можетъ поспорить только нарисованный тѣмъ же г. Некрасовымъ сибирскій пейзажъ съ инородцемъ, поющимъ на *странномъ* языкѣ:

Луна плыла среди небесъ
 Безъ блеска, безъ лучей,
 Налѣво былъ угрюмый лѣсъ,
 Направо—Енисей.
 Темно! На встрѣчу ни души,
 Ямщикъ на козлахъ спалъ,
 Голодный волкъ въ лѣсной глуши
 Пронзительно стоналъ,
 Да вѣтеръ бился и ревѣлъ,
 Играя на рѣкѣ,
 Да инородецъ гдѣ-то пѣлъ
На странномъ языкѣ (?)...

Приведенныхъ выдержекъ, мы полагаемъ, вполне достаточно, чтобы читатели могли судить, какую ничтожность представляютъ *Русскія Женщины* въ отношеніи не только художественномъ, но даже просто литературномъ. Но г. Некрасовъ, очевидно, и не заботился ни о томъ ни о другомъ. Вѣрный всякому новому журнальному толчку, г. Некрасовъ въ настоящее время, безъ сомнѣнія, исповѣдуетъ идею, настойчиво проводимую г. Пыпинымъ и всею вообще петербургскою печатью—идею, по которой отъ писателя ничего болѣе не требуется, кромѣ *направленія*. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи сюжетъ *Русскихъ Женщинъ* оказался пригоднымъ—пригоднымъ, конечно, въ весьма условномъ смыслѣ, такъ какъ между общественнымъ движеніемъ двадцатыхъ годовъ

и журнальными теченіями нашего времени нѣтъ ничего общаго. Остальное должны довершить нѣкоторые придаточныя подробности, введенныя поэтомъ, очевидно, въ прямомъ расчетѣ именно на журнальныя теченія нашихъ дней. Такъ, напримѣръ, въ Иркутскѣ губернаторъ убѣждаетъ княгиню Т—ую отказаться отъ ея намѣренія и вернуться назадъ. Видя ея непреклонность, онъ грозитъ ей предстоящими ей ужасами, и наконецъ объявляетъ, что если она желаетъ ѣхать далѣе къ мужу, то должна подписать отреченіе отъ своихъ дворянскихъ и гражданскихъ правъ. Поэтъ заставляетъ княгиню отвѣтить на это слѣдующимъ образомъ:

„У васъ сѣдая голова,
А вы еще дитя.
Вамъ наши кажутся права
Правами — не шутя.
Нѣтъ! ими я не дорожу.
Возьмите ихъ скорѣй!
Гдѣ отреченье? Подпишу!
И живо—лошадей!“

Княгиня В — ая встрѣчаетъ въ дорогѣ идущій изъ Сибири транспортъ серебра, сопровождаемый военнымъ конвоемъ.

Вошелъ молодой офицеръ; онъ курялъ,
Онъ мнѣ не кивнулъ головою,
Онъ какъ-то надменно глядѣлъ и ходилъ,
И вотъ я сказала съ тоскою:
„Вы видѣли, вѣрно... Извѣстны ли вамъ
Тѣ... жертвы декабрьскаго дѣла...
Здоровы они? каково-то имъ тамъ?
О мужъ я знать бы хотѣла...“
Нахально ко мнѣ повернулъ онъ лицо—
Черты были злы и суровы
И выпустивъ изо-рту дыму кольцо,
Сказалъ: „несомнѣнно здоровы,
Но я ихъ не знаю, и знать не хочу,
Я мало ли каторжныхъ видѣлъ?“

Черта маленькая, но она заслуживаетъ упоминанія потому что характеризуетъ несвободность мысли, для которой къ извѣстнымъ явленіямъ, типамъ и единицамъ какъ бы

обязательны именно тѣ, а не другія отношенія. Конвойный офицеръ въ современной беллетристикѣ непременно долженъ быть изображенъ *монстромъ*.

Несвободныя отношенія печатнаго слова къ жизни составляютъ главный недугъ нашего современнаго положенія. Въ духовной области нашей исчезло творчество, и мы питаемся тенденціей. Но тенденція не можетъ замѣнить литературу, такъ же какъ ремесло не можетъ замѣнить искусства: тенденція всегда будетъ игомъ для духовной дѣятельности, и мы видѣли, какимъ зловѣщимъ образомъ это иго поработываетъ писателей съ задатками дарованія.

Упомянутый недугъ нашъ ведетъ начало не со вчерашняго дня. Первые симптомы его провидѣлъ еще Пушкинъ, и въ послѣдніе годы своей жизни сознательно съ ними боролся. Ихъ провидѣлъ и другой поэтъ той же эпохи, Мицкевичъ. На своихъ лекціяхъ въ Collège de France, а также въ весьма интересной статьѣ въ журналѣ Le Globe 1837 года, Мицкевичъ очень ясно выражаетъ мысль, что для русской литературы только въ лицѣ Пушкина открывались далекіе горизонты, и что со смертію Пушкина русская литература кончилась. „Въ той эпохѣ, о которой говоримъ,“ писалъ Мицкевичъ въ упомянутой статьѣ, онъ (Пушкинъ) прошелъ только часть того поприща, на которое былъ призванъ: ему было тридцать лѣтъ. Знавшіе его въ это время замѣчали въ немъ большую перемѣну. Въмѣсто того, чтобы съ жадностью пожирать романы и заграничныя журналы, которые нѣкогда занимали его исключительно, онъ нынѣ болѣе любилъ вслушиваться въ рассказы народныхъ былинъ и пѣсней и углубляться въ изученіе отечественной исторіи. Казалось, онъ окончательнo покидалъ чуждыя области и пускалъ корни въ родную почву. Одновременно разговоръ его, въ которомъ часто прорывались задатки будущихъ твореній его, становился обдуманнѣе и степеннѣе. Очевидно, поддавался онъ внутреннему преобразованію... Что происходило въ душѣ его? Принимала ли она безмолвно въ себя дуновение этого духа, который животворилъ созданія Манцони, Пеллико, и который, кажется, оплодотворяетъ размышленія Томаса Мура, также замолкшаго?

Какъ бы то ни было, я былъ убѣжденъ, что въ поэтическомъ безмолвіи его таились счастливыя предзнаменованія для русской литературы. Я ожидалъ, что скоро явится онъ на сценѣ человѣкомъ новымъ, въ полномъ могуществѣ своего дарованія, созрѣвшимъ опытностію, укрѣпленнымъ въ исполненіи предназначеній своихъ. Всѣ знавшіе его дѣлили со мною эти ожиданія. Выстрѣлъ изъ пистолета уничтожилъ всѣ надежды^{*)}. На лекціяхъ въ Парижѣ, рассказавъ о смерти Пушкина, Мицкевичъ говорилъ такимъ образомъ: „Такова была кончина русской литературы, образовавшейся подъ вліяніемъ Петра Великаго. Конечно, остаются еще великія дарованія, пережившія Пушкина; но на дѣлѣ русская литература съ нимъ кончилась. Онъ умеръ, этотъ человѣкъ, столь ненавидимый и преслѣдуемый всѣми партіями; онъ оставилъ имъ свободное мѣсто. Кто же замѣнитъ его на этомъ упраздненномъ мѣстѣ? Писатели съ умомъ? Пушкинъ не былъ ли всѣхъ умнѣе? Пѣвцы сонетовъ и балладъ? Пушкинъ далеко превзошелъ ихъ. На какой новый путь попытаются вступить они? Съ понятіями, которыя они имѣютъ, имъ невозможно подвинуться на шагъ впередъ: русская литература на долгое время заторможена^{**)}“.

Мнѣніе высказано Мицкевичемъ очень рѣзко, но можемъ ли мы отказать ему вовсе въ основательности? Онъ смотрѣлъ на литературу, конечно, не съ той точки зрѣнія, съ какой смотреть на нее г. Пыпинъ. Мицкевичъ понималъ литературу въ смыслѣ высшаго духовнаго творчества, въ какомъ она завѣщана классическою древностію, въ какомъ она является въ твореніяхъ Данте, Шекспира, Гёте и Байрона. Въ этомъ смыслѣ было ли у насъ что-нибудь сдѣлано послѣ Пушкина?

Значеніе Пушкинской поэмы, уровень Пушкинской эпохи для насъ еще не совсѣмъ ясны. Развитие письменности въ послѣдующее время представляется намъ неоспоримымъ и всеобнимающимъ успѣхомъ; мы охотно вѣримъ,

^{*)} „Русскій Архивъ“, 1873, іюнь, стр. 1068 и 1069.

^{**)} Тамъ же, стр. 1079.

что Пушкинъ былъ только поэтъ въ ограниченномъ значеніи этого слова, тогда какъ тотъ же Мицкевичъ свидѣтельствуешь о томъ, что „когда говорилъ онъ о политикѣ внѣшней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человѣка заматерѣвшаго въ государственныхъ дѣлахъ и пропитаннаго ежедневнымъ чтеніемъ парламентскихъ преній“*). Мы представляемъ себѣ наши тридцатые года временемъ умственного дилетантизма, и начинаемъ исторію нашей духовной возмужалости съ появленіемъ Бѣлинскаго. Но люди, бывшіе живыми свидѣтелями той эпохи, говорятъ о ней иначе. „Вспоминая всю обстановку того времени,—выражается одинъ изъ ветерановъ русской литературы,—все это движеніе мыслей и чувствъ, переносишься не въ дѣйствительное минувшее, а въ какую-то баснословную эпоху. Личности, присутствіемъ своимъ озарявшія этотъ міръ, исчезли, жизнь утратила поэтическое зарево, которымъ она тогда отцвѣчивалась, улетучились, выдохлись благоуханія, которыми былъ пропитанъ воздухъ этихъ ясныхъ и обаятельныхъ дней. Одна ли старость вырываетъ изъ груди эти сѣтованія о минувшемъ, почти похожія на досадливыя порицанія настоящаго? Надѣюсь, что нѣтъ“**).

Восходя къ Пушкинскому періоду нашей поэзіи, мы видимъ постепенное пониженіе ея уровня при каждомъ послѣдующемъ поколѣніи. Сперва продолжается разработка Пушкинскихъ темъ, то-есть, дѣйствуютъ тѣ „пѣвцы сонетовъ и балладъ“, о которыхъ Мицкевичъ съ горестью вопрошаетъ: Пушкинъ не былъ ли умнѣе ихъ? Пушкинъ не превосшелъ ли ихъ? Потомъ къ этимъ Пушкинскимъ темамъ примѣшивается осадокъ горькаго, разочарованнаго чувства, печальное показаніе, насколько эпоха сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ была далеко отъ бодрыхъ упованій и свѣтлыхъ идеаловъ Пушкинскаго времени. Затѣмъ поэзія падаетъ окончательно и претерпѣваетъ величайшее униженіе, становясь подспорьемъ и служебнымъ орудіемъ крохотныхъ журнальныхъ идеекъ. Вмѣсто Пушкина, наше время даетъ намъ г. Некрасова.

*) „Русскій Архивъ“, 1873 г., іюнь, стр. 1070.

**) Тамъ же стр. 1086.

Нѣтъ причины думать, что это быстрое пониженіе духовнаго уровня есть окончательный и неотмѣнимый результатъ матеріальнаго прогресса, составляющаго содержаніе послѣднихъ десятилѣтій. Но нужно много времени, много упорнаго труда, много благопріятныхъ обстоятельствъ и счастливыхъ вліяній, чтобы поднять нашъ художественный и нравственный уровень до той высоты, на какой стоялъ онъ въ эпоху Пушкина.

В. Австенко.

* * *

*) Поэзія журнальныхъ мотивовъ! Подъ этимъ заглавіемъ въ 6-й книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ помѣщенъ разборъ всей поэтической дѣятельности г. Некрасова, „черпавшаго свое вдохновеніе изъ самаго сомнительнаго источника—петербургскаго журнализма“. Въ то время, говоритъ авторъ, скрывшійся подъ буквою А., какъ другіе поэты искали вдохновенія въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчныхъ идеалахъ искусства, г. Некрасовъ принималъ впечатлѣнія изъ вторыхъ рукъ, вырабатывалъ свою поэзію въ редакціяхъ и служилъ какъ бы иллюстраціей направленій, попеременно господствовавшихъ въ извѣстной части журналистики“.

Итакъ критикъ констатируетъ прежде всего тотъ не-симпатичный ему фактъ, что поэтъ черпаетъ свое вдохновеніе въ редакціяхъ. Критику хотѣлось бы, что явствуется изъ общаго смысла его статьи, чтобы поэтъ черпалъ это вдохновеніе или въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчныхъ идеалахъ искусства. Въ разсужденіи этихъ источниковъ болѣе всего удовлетворяетъ критика г. Фетъ. Онъ приводитъ нѣсколько стихотвореній изъ г. Фета и умиляется передъ прелестью Фетовой поэзіи. „Томительная нѣга“, „невъсканная мука“, „непонятныя слезы“, „несказанныя стремленія“, какая-то „малютка изъ серебристо-снѣжнаго сіянія зимней ночи“—весь этотъ эстетическій мистицизмъ г. Фета авторъ предпочитаетъ „поэзіи журнальныхъ мотивовъ“. Конечно, онъ, рѣшаясь называть Некрасовскую поэзію поэзіей, на-

*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1873 г., № 196., „Очерки современной журналистики“. Статья С. Г. В. (С. Т. Герцъ-Виноградскаго).

свистанной журнальными мотивами, не рѣшается назвать Фетовскую поэзію поэзіей, насвистанной эстетическимъ мистицизмомъ. Онъ знаетъ, что уже вывелись добродушные и довѣрчивые читатели, вѣрившіе въ поэта, какъ жреца Аполлона, святая лира котораго молчать до тѣхъ поръ, пока „божественный глаголь до слуха чуткаго коснется“. И только тогда, когда этотъ „глаголь“ коснется поэта, послѣдній имѣетъ право риемовать свою „томительную тоску“ и „не-сказанныя стремленія“.

Тогда

Бѣжитъ онъ дикій и суровый
И звуковъ и смятенія полнъ,
На берега пустынныхъ волей
Въ широко-шумныя дубравы.

Г. Фетъ такъ и дѣлаетъ. Онъ, напр., въ стихотвореніи „Весеннія Мысли“ бѣжитъ „къ берегамъ, расторгающимъ ледъ“, гдѣ „солнце теплое ходитъ высоко и душистаго ландыша ждетъ“; тамъ у поэта кровь восходитъ до ланитъ, и онъ восклицаетъ:

О, называй меня безумнымъ! Назови
Чѣмъ хочешь. *Въ этотъ мигъ я разумомъ слабѣю,*
И въ сердцѣ чувствую такой приливъ любви,
Что не могу молчать, не стану, не умѣю!

„Только въ рѣдкія мгновенія страсти, когда разсудокъ теряетъ свою власть, поэтъ находитъ короткое, но полное счастье“, говоритъ по поводу этого четверостишія критикъ.

Не поздоровится отъ этакихъ похвалъ!

Теперь я спрашиваю читателя, какой источникъ лучше: „божественный глаголь“ или „редакція“? Если второй источникъ сомнителенъ, то первый не оставляетъ никакого сомнѣнія относительно своей недоброкачественности. Конечно, подъ журнальными мотивами критикъ разумѣетъ мотивы, дѣланые, придуманные. Пусть такъ. Но развѣ для того, чтобы придумать умную мысль, не нужно быть умнымъ человекомъ. Но развѣ для того, чтобы передать умную мысль и наэлектризовать ею читателя, не нужно таланта? Человѣкъ, которому приходятъ въ голову умныя мысли, или который умѣетъ откликаться на умныя мысли, задержать

ихъ въ своей головѣ, разработать и отлить въ поэтическую форму, гораздо выше человѣка, носящагося, можетъ быть, и съ весьма умными, но тѣмъ не менѣе „невысказанными“ мыслями. Не знаю, кто насвисталъ г. Некрасову (конечно, не Аполлоновскій глаголь) такія вещи, какъ „У параднаго подъѣзда“, „Пѣсня Еремушки“, „Бду ли ночью по улицѣ темной“, „Желѣзная Дорога“, „На Волгѣ“, „Морозъ—красный носъ“, „Русскія Женщины“ и много другихъ, но знаю, что „скорбное томленіе души и поэтическое чувство“ вылилось въ этихъ произведеніяхъ, какъ плодъ могучей мысли, овладѣвшей поэтомъ. Конечно, въ этихъ произведеніяхъ вы не найдете того, что находилъ Бѣлинскій у Пушкина, вы не найдете ни античной пластики, ни удивительнаго акустическаго богатства, ни сладостной нѣги, ни ропота волны, ни яркости молніи, ни прозрачности кристалла, ни благовонія и дупистости весны, ни могучески богатырскаго меча, но вы найдете въ нихъ то нѣчто, что будить и шевелить вашу мысль, что цивилизуетъ ваши инстинкты, что воспитываетъ въ васъ соціальнаго человѣка, что подвигаетъ васъ къ извѣковѣчнымъ идеаламъ, держащимъ въ тревогѣ человѣчество.

Критикъ все это игнорируетъ и казнить поэта нѣсколькими стихотвореніями, которыя онъ называетъ водевильно-сатирическими, а именно „чиновникомъ, оставляющимъ съ сильнымъ міра сего съ глазу на глазъ красавицу—дочь“, „бюрократомъ, живущимъ согласно съ строгой моралью и подкарауливающимъ похищенія своей жены, чтобы уличить ее съ полиціей“, „помѣщикомъ, рыскающимъ по полямъ съ борзыми и ломающимъ ребра встрѣчнымъ“ и т. д. Подтасовавъ такимъ образомъ всю поэтическую колоду г. Некрасова и сдавъ читателю однѣ поэтическія двойки, критикъ говоритъ: „таковы постоянныя любимыя темы стихотвореній г. Некрасова, которыя содѣйствовали упроченію его литературной славы“.

Въ остальномъ критика носитъ характеръ самой дѣтской придирчивости. Напр., цитируется стихотвореніе поэта:

....Громъ ударилъ; буря стонетъ
И снасти рветъ, и мачту клонитъ.

Не время пѣсни распѣвать.
Вотъ пѣсь—и тотъ опасность знаетъ,
И бѣшено на вѣтеръ лаетъ.

Метафору поэта критикъ понялъ буквально, и восклицаетъ; „Однако, что лучше: пѣсни пѣть, или лаять псомъ на вѣтеръ?“ Ну скажите, можно ли такого критика читать серьезно. Вся статья „Поэзія журнальных мотивовъ“ есть рядъ дѣтскихъ придирокъ къ г. Некрасову. Чтобы не показаться читателю голословнымъ, приведу еще одну—другую выдержку. „Въ фактъ отмѣны предварительной цензуры г. Некрасовъ только и увидѣлъ глазами типографскаго разсыльнаго, что

Авторы наши въ натурѣ
Стали статейки пущать.

и что типографскимъ разсылнымъ

На восемь гривенъ подметокъ
Меньше вносится въ годъ“.

Неужели г. А. хочется, чтобы поэтъ въ эту минуту *ослабѣлъ разумомъ* и написалъ подъ вліяніемъ „прилива“ свободы какую-нибудь несоотвѣтствующую случаю штуку. Чѣмъ виноватъ поэтъ, что онъ не почувствовалъ „прилива“, и въ фактъ отмѣны предварительной цензуры увидѣлъ только удобства для типографскаго разсыльнаго? Или: Читателямъ, конечно, памятно стихотвореніе г. Некрасова: „Судъ“. Въ этомъ стихотвореніи судъ присуждаетъ автора къ тюремному заключенію, во время котораго автора донимають блохи, клопы, запахъ тютюна и т. п. и донимають такъ больно, что авторъ даетъ обѣтъ не писать.

„Попади авторъ на лучшую гауптвахту, онъ, значитъ, былъ бы совершенно доволенъ“, говоритъ г. А., нарочито забывающій, какую предварительную душевную пытку вынесъ авторъ. И. т. д. въ этомъ родѣ.

С. Т. Герцъ-Виноградскій.

•

*) Стихотворенія Некрасова. Часть пятая. Петербургъ, 1873 г. Цѣна 2 рубля.

Среди всеобщаго запустѣнія нашей современной литературы отраднo встрѣтить то неподдѣльное чувство, тѣ поэтическія мѣста и художественные образы и картины, которые рисуются намъ въ послѣднихъ произведеніяхъ г. Некрасова. Недавно вышедшая пятая часть его стихотвореній показываетъ намъ, что талантъ нашего поэта-реалиста не ослабѣваетъ. Произведенія его съ годами получаютъ даже большую стройность и законченность. Второй отдѣлъ, если такъ можно назвать его „Русскихъ Женщинъ“, именно княгиня В. Н. Вол—ская, долженъ быть поставленъ выше большей части прежнихъ произведеній, за исключеніемъ развѣ только знаменитаго „Параднаго Подъѣзда“. Въ этой пятой части его стихотвореній помѣщены слѣдующія произведенія: „Кому на Руси жить хорошо?“—прологъ и первыя пять главъ, „Стихотворенія, посвященныя русскимъ дѣтямъ“ (I. „Дѣдушка Мазай и зайцы, II „Соловьи“); „Дѣдушка“—поэма (1857 годъ), „Недавнее Время“—очерки, „Русскія Женщины“ I. Княгиня Т-ая, поэма въ 2 частяхъ (1826 года); II. Княгиня В-ая. Бабушкины записки (1826—27 г.).

Какъ видно изъ этого перечня, въ пятой части, въ противоположность первымъ четыремъ частямъ стихотвореній г. Некрасова, преобладаютъ произведенія болѣе крупныя по размѣру и болѣе обширныя по задуманному плану. Всѣ они написаны въ послѣднее время, въ періодъ отъ 1865 по 1872 г., по крайней мѣрѣ, судя по выставленнымъ подъ ними самимъ авторомъ цифрамъ, и печатались въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Во всѣхъ нихъ, въ разныхъ мѣстахъ, замѣтно довольно искреннее чувство симпатіи къ простому человѣку, видна любовь къ „несчастному русскому народу“ и сочувствіе поэта его страданіямъ. Немало бытовыхъ сценъ и характерныхъ картинъ нашихъ нравовъ и различныхъ сторонъ походной жизни рисуется, на примѣръ, въ художественномъ, хотя и написанномъ стихами безъ рифмъ, произведеніи— „Кому на Руси жить хорошо?“ „Ярмарка“, „Пьяная Ночь“—

*) „Сіяніе“ 1873 г., № 17.

прежній быть помѣщиковъ крайне хорошо и вѣрно съ дѣйствительностью, такъ же какъ и вѣрны слова, которыми кончается напечатанная часть этого произведенія:

Порвалась цѣпь великая,
Порвалась,—разскочилась:
Однимъ концомъ по барину,
Другимъ по мужику!..

Въ очеркахъ „Недавнее Время“ авторъ бросаетъ взглядъ назадъ, на то время, когда мы готовились къ реформамъ и когда только наступила первая изъ нихъ—крестьянская, на то время, про которое блаженной памяти оптимисты шестидесятыхъ годовъ начинали говорить или писать не иначе, какъ извѣстной фразой: „въ настоящее время, когда“... (слѣдовало перечисленіе реформъ и различныхъ благъ, излившихся на русскую землю); они считали это время чѣмъ-то прочнымъ, незыблемымъ, временемъ, которое не можетъ пройти для насъ почти безслѣдно. А между тѣмъ десять лѣтъ спустя, г. Некрасовъ могъ справедливо воскликнуть, обращаясь къ нему:

Благодатное время надеждъ!..
Да, прошедшимъ и ты уже стало!

Говоря объ общемъ увлеченіи молодежи того времени и о тѣхъ обвиненіяхъ и укорахъ, которые сыпались на ея голову, поэтъ замѣчаетъ.

Правда, правда! Народъ молодой
Братъ подчасъ непосильныя роли.
Помолчать бы вамъ лучше, глупцы,
Да рѣшеньемъ вопроса заняться:
Таковы ли бываютъ отцы,
Отъ которыхъ герои рождаются?..

Но самыя поэтическія мѣста встрѣчаются, безъ сомнѣнія, въ поэмѣ „Русскія Женщины“. Напримѣръ, прочтите хоть монологъ княгини В—ской, обращенной къ русскому народу, — къ тому простому народу, который она узнала и оцѣнила только во время своего несчастія. Онъ начинается словами:

... Хочу я сказать
Спасибо вамъ, русскіе люди!

и кончается этимъ прекраснымъ мѣстомъ полнымъ грусти,
благодарности и энергіи:

Примите мой низкій поклонъ, бѣдняки!
Спасибо вамъ всѣмъ посылаю!
Спасибо!... считали свой трудъ ни во что
Для насъ эти люди простые;
Но горечи въ чашу не подлилъ никто,—
Никто изъ народа, родные!..

Да, за подобныя прекрасныя мѣста поэту можно отпустить многія изъ его прегрѣшеній.

Изъ „Сіянія“ 1873 года.



*) Еще за 1873 г. см. о Некрасовѣ: въ „Вѣстникѣ Европы“, № 3 (библіографическая замѣтка на оберткѣ): „Русскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ“. Хрестоматія для всѣхъ. Изд. Гербеля, стр. 536 — 538. Спб.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

писателей, литературных произведений и названий газет и журналовъ, встрѣчающихся на страницахъ второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“.

- Авдѣева. 4.
Авсъенко, В. 86—90, 148—150, 151 —
153, 162—197, 200.
Аксаковъ. 2, 6.
Алмазовъ. 50.
Андреевъ, И. 58, 86.
Антоновичъ, М. 44, 45.
„Баба-Яга“. 129, 130.
Бальзакъ. 93.
Бартеневъ. 135.
Батюшковъ. 166.
Байронъ. 195.
Бергъ. 45.
„Библиотека для Чтенія“. 14, 28, 145.
„Биржевыя Вѣдомости“. 35, 44, 160—162.
Блюхеръ. 188.
Боборыкинъ. 98.
Бокль. 79.
Боткинъ, В. 43, 86.
Булгаринъ. 2, 105, 110.
Буренинъ, В. 57, 127—132—141, 146,
157—160.
„Бѣда Проповѣдникъ“, Полонскаго. 51.
Быковъ, В. 25.
„Бѣдная Лиза“, Карамзина. 60.
Бѣлинскій. 41, 45, 58, 59, 86, 91, 128,
180, 181, 182, 188.
Вагнеръ. 34.
Велинскій, М. 36—41.
„Взбаламученное Море“, Писемскаго.
92, 93.
Волконская, кн. 135, 161, 162.
Волконскій, кн. 161.
Вормсъ. 45.
„Воскресный Досугъ“. 21—25.
„Время“. 28.
„Всемирный Трудъ“. 27, 44.
„Выборъ“. 27.
„Вѣстникъ Европы“. 45, 181, 203.
„Вѣсть“. 44.
„Въ дорогѣ“. 173.
„Газетная“. 62, 72.
„Генералъ Топтыгинъ“. 33, 132.
Герценъ. 49.
Герцъ-Виноградскій, С. 197—200.
Гете. 38, 166, 176, 195.
Гейне. 38, 167, 171.
Гоголь. 2, 50, 99, 181, 182, 188.
„Голось“. 28, 69.
Гончаровъ. 25, 26, 62, 91, 92, 148.
„Гражданинъ“. 98.
Грановскій. 41, 43, 45.
„Графиня Монсеро“. 128.
Григорьевъ, А. 86.
„Гроза“, Островскаго. 154.
Дантъ. 195.
Дарвинъ. 67, 85.
„Дворянское Гнѣздо“, Тургенева. 93.
„Двѣ Діаны“. 128.
Декартъ. 79, 80.
Денисовичъ. 20.
„День“. 2, 5, 6, 10, 13.
„Дешевая Покупка“. 8.
Диккенсъ. 93.
Добролюбовъ. 5, 13, 49, 154.
„Довольно“, Тургенева. 97.
„Донъ“. 44.
Достоевскій. 174.

- Дрозъ. 126.
Дружининъ, А. 20.
Дудышкинъ. 2.
„Дѣдушка“. 57, 189, 201.
„Дѣдушка Мазай и зайцы“. 201.
„Дѣло“. 44, 91, 127, 128, 129, 130, 131, 132.
„Желѣзная Дорога“. 199.
„Живописное Обзорѣніе“. 25.
„Живя согласность строгою моралью“. 26.
„Жинца“. 9.
Жоржъ-Зандъ. 93.
Жуковский. 4, 45, 165.
Жуковский, Ю. Г. 44.
„Журналъ для дѣтей“. 15—20.
Загоскинъ. 105.
Загуляевъ, М. 27.
„Записки изъ Мертваго дома“, Достоевскаго. 174.
„Записки Охотника“, Тургенева. 93.
„Заря“. 41—44, 45, 48, 51.
Зайцевъ, В. 1—13.
Звонаревъ. 98, 99.
Золя. 126.
„Иванъ Выжигинъ“. 98.
„Извозчикъ“. 23.
„Изъ природы“, Вагнера. 34.
„Иллюстрированная Газета“. 20—21, 45—48, 86.
„Искра“. 30, 86.
„Исторія Цивилизацій“, Бокля. 79.
Иразаинъ. 130, 131, 132, 150.
„Катерина“. 55.
Кашпиревъ. 97.
„Кіевскій Телеграфъ“. 36—41.
Клюшниковъ. 92.
„Книжный Вѣстникъ“. 13—14.
Коаловъ. 31.
„Коломенская Роза“. 98.
„Колыбельная Пѣсня“. 14.
Кольцовъ. 21.
„Комикъ XVII столѣтія“. 154.
„Кому на Руси жить хорошо“. 36, 48, 89, 123, 151, 154, 155, 159, 162, 184, 188, 201.
Кореро. 82.
„Коробейники“. 23, 155, 161.
„Королева Марго“. 128.
„Космосъ“. 45.
Краевскій. 28, 29, 50, 151.
Крестовскій, В. 45, 113, 127, 132.
Крестовскій (псевд.). 97.
„Критика Направленій“, Соловьева. 27.
Кроль. 45.
„Кузнечикъ Музыкантъ“, Полонскаго. 51.
Кукольникъ. 97, 105.
Курочкинъ. 45, 46, 52, 61.
„Лажечниковъ“. 97.
„Le Globe“. 194.
Лермонтовъ. 3, 31, 132, 133, 165, 166.
„Литературное паденіе г.г. Антоновича и Жуковскаго“, И. Рождественскаго. 45.
„Литературныя Мечтанія“, Бѣлинскаго. 182.
„Литературныя Характеристики“, Пыпина. 182.
„L'homme qui rit“. 94.
„Люди сороковыхъ годовъ“, Писемскаго. 97.
Лѣсковъ. 92, 97.
Манцони. 194.
Марко-Вовчокъ. 125.
Майковъ. 1, 4, 22, 25, 26, 45, 50, 86, 162, 166, 171, 182.
„Медвѣжья Охота“. 41, 43, 46, 70, 74.
Мей. 25, 45, 86, 166.
Милль. 62.
Минаевъ. 45, 46, 52, 61, 89, 146.
Михайловскій. 142.
Мицкевичъ. 194, 195, 196.
„Морозъ-красный носъ“. 7, 9, 20, 23, 161, 199.
„Москвитянинъ“. 6.
„Муза“, Некрасова. 14.
„Муза“, Пушкина. 14.
„Муза“, Фета. 168.
Муръ, Томасъ. 194.
„Наборщики“. 186.
„На Волгѣ“. 23, 199.

- „На далекихъ окраинахъ“, Каразина. 130.
 „Наяды“, Полонскаго. 51.
 „Недавнее Время“. 202.
 „Неизвѣстному другу“, Антоновича. 45.
 „Неподкрашенная Старина“, ст. Ткачова. 91.
 „Наскятая Полоса“. 20.
 „Несчастные“. 161.
 „Нива“. 132.
 „Новое Время“. 48, 58 — 68 — 75 — 86, 141 — 144, 154 — 157.
 „Новости“. 145 — 147.
 „Новый годъ“. 14.
 „Notre Dame de Paris“. 94.
 „Нужна ли намъ литература?“. 180.
 „Обрывъ“, Гончарова. 92.
 „Обыкновенная Исторія“, Гончарова. 93.
 „Объ отношеніяхъ Некрасова къ Бѣлинскому“, И. С. Тургенева. 45.
 „Огородникъ“. 173, 185.
 „Одесскій Вѣстникъ“. 44, 197.
 Омулевскій. 146.
 „О погодѣ“. 179.
 „О преподаваніи русской литературы“, В. Стоюнина. 14.
 „Орина, мать солдатская“. 9.
 „Осторожность“. 62, 186.
 Островскій. 154.
 „Отечественныя Записки“. 2, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 41, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 56, 57, 89, 128, 142, 147, 148, 151, 154, 161, 201.
 „Отрывки изъ путевыхъ записокъ гр. Гаранскаго“. 14.
 „Отцы и Дѣти“, Тургенева. 45, 92, 93.
 Пальминъ. 31, 45.
 „Папаша“. 14, 48.
 Пеллико. 194.
 „Петербургскій Листокъ“. 179.
 Печерскій, А. 174.
 Писаревъ. 25, 26, 49.
 Писемскій. 25, 26, 91, 92, 97, 148.
 „Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ“, ст. Писарева. 25, 26.
 Плещеевъ. 45, 146.
 Полонскій. 25, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 86, 145, 162, 166, 170.
 „Портретная галлерія русскихъ дѣтелей“. 44.
 Постный (П. Н. Ткачовъ). 91.
 „Поэзія журнальныхъ мотивовъ“, ст. Авсѣенко. 162, 200.
 „Поэтъ и гражданинъ“. 172.
 „Приговоръ“, Майкова. 26.
 „Притча о киселѣ“. 27.
 „Пришли и стали ночи тѣни“, Полонскаго. 51.
 „Пропала Книга“. 62.
 „Публика“. 62, 70, 73.
 Де-Пуле. 146.
 Пушкинъ. 51, 52, 53, 132, 135, 165, 166, 170, 171, 172, 174, 181, 194, 195, 196, 197, 199.
 „Пѣсня Еремушки“. 23.
 „Пѣсня Любви“. 46.
 „Пѣсн о трудѣ“. 46.
 Пыпинъ. 181, 182, 192, 195.
 Раевскій, Н. 161.
 „Разборъ „Музы“ Некрасова сравнительно съ „Музой“ Пушкина“, ст. В. Стоюнина. 14.
 „Размышленія у параднаго крыльца“. 13.
 „Разсылный“. 69.
 „Ревизоръ“, Гоголя. 99, 157.
 Ришелье. 84.
 Рождественскій. 45.
 Розенгеймъ. 4.
 „Русская Старина“. 135.
 „Русское Слово“. 1, 26, 28.
 „Русскіе поэты въ біографіяхъ и оразцахъ“. 203.
 „Русскія Женщины“. 89, 141, 142, 147, 148, 151, 161, 189, 190, 192, 199, 201, 202.
 „Русскій Архивъ“. 58, 135, 195, 196.
 „Русскій Вѣстникъ“. 162, 197.
 „Русскій Міръ“. 86, 148.
 Рѣшетниковъ. 184.
 Рылѣевъ. 133.
 „Рыцарь на часъ“. 8, 11.

- „Савонаролла“, Мойкова. 26.
„Саша“. 26, 42, 43.
„Сватъ и женихъ“. 55.
„Свистокъ“. 164.
Свистуновъ. 58.
Семевскій. 135.
Сеньковский. 145.
„Сіяніе“. 203.
„Современникъ“. 1, 2, 3, 5, 14, 27, 28, 30, 45, 46, 48, 89, 164, 174, 178.
„Солнце и мѣсяцъ“, Полонскаго. 51.
Соловьевъ, Н. 27—32.
„Соловьи“. 201.
„Сороколѣтніе Опыты“, Авдѣевой. 4.
Спенсеръ. 62.
„С.-петербургскія Вѣдомости“. 25, 32—35, 45, 56, 57, 86, 127, 132, 142, 146, 157.
Станищій. 98, 99, 120, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 131.
Славолевищъ. 97, 99.
„Статейки въ стихахъ безъ картинъ“. 14.
„Статуя“, Полонскаго. 51.
„Стихотворенія Н. А. Некрасова“, ст. В. Зайцева. 1.
„Стихотворенія, посвященные русскимъ дѣтямъ“. 201.
Стоюнинъ, В. 14.
Страховъ, Н. 41, 44, 49—56.
„Судъ“. 27, 36, 62, 187, 200.
„Сѣверное Сіяніе“. 20.
Сю. 93.
„Тарась Бульба“. 60.
Теккерей. 93.
Ткачевъ, П. Н. (Постный). 91.
Толстой, А. 50.
„Три Смерти“, Майкова. 26, 171.
„Три страны свѣта“. 91, 98, 99, 105, 113, 114, 123, 127, 128, 129, 130.
Тролопъ, Антони. 92, 93.
„Тройка“. 23.
Тургеневъ. 25, 26, 45, 56, 62, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 104, 124, 125, 148.
Тютчевъ. 1, 45, 50, 51, 86, 166, 170.
„Тысяча Душъ“, Писемскаго. 93.
„У Аспазіи“, Полонскаго. 51.
„Убогая и нарядная“. 27.
„У параднаго подъязда“. 199, 201.
Успенскій, Гл. 100, 154, 184.
Фетъ. 1, 22, 25, 45, 58, 86, 87, 162, 166, 167, 168, 169, 170.
„Физиологія Петербурга“. 14.
„Филантропъ“. 26, 27.
Флоберъ. 126.
Ханъ. 97.
Хомяковъ. 2, 50, 56.
„Царь Симеонъ“, Полонскаго. 51.
„Циркуляры Одесскаго учебнаго округа“. 20.
„Чиновникъ“. 14.
Шекспиръ. 170, 195.
Шенье. 166.
Шиллеръ. 38.
„Шинель“, Гоголя. 157.
„Школьникъ“. 23.
Щедринъ. 31, 154, 161.
Щербина. 166.
„Бду-ли ночью по улицѣ темной“. 23, 26, 89, 199.
Энгельгардтъ. 154.
„Эпилогъ къ неначатой поэмѣ“. 26.
Языковъ. 2.
„Я покинулъ кладбище унылое“. 13.
„Ярмарка“. 201.

Изъ склада изданій В. А. Зелинскаго можно приобрѣтать слѣдующія книги:

Пособія по исторіи русской литературы:

1. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Выпускъ I. Изд. 4-е. М. 1902 г. Ц. 2 р.—Выпускъ II. Изд. 3-е. Состоитъ изъ двухъ частей. М. 1899 г. Ц. 1-й части 2 р., а 2-й—1 р.
2. Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 3-е. М. 1901 г. Ц. 3 р. 50 к.
3. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части Ц. 3 р. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).
4. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Ц. 7 р. (1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я части вышли 2-мъ изданіемъ).
5. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Восемь частей. Ц. 8 р. (1-я, 2-я, 3-я и 4-я части вышли 2-мъ изданіемъ).
6. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Изд. 2-е. Цѣна по 1 р. за часть.
7. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти“. Ц. 35 к.
8. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы“. Цѣна 50 к.
9. Критическіе комментарий къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Ц. по 1 р. за часть (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изд.).
10. Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда“ и „Наканунъ“—Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. М. 1895 г. Ц. 70 к.
11. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. Каждая часть по 1 р..
12. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“. Ц. 2 р.
13. Критическіе разборы „Записокъ Охотника“—Тургенева (печатается).

СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ

О

Н. А. НЕКРАСОВЪ.

Часть третья.

1874—1877.

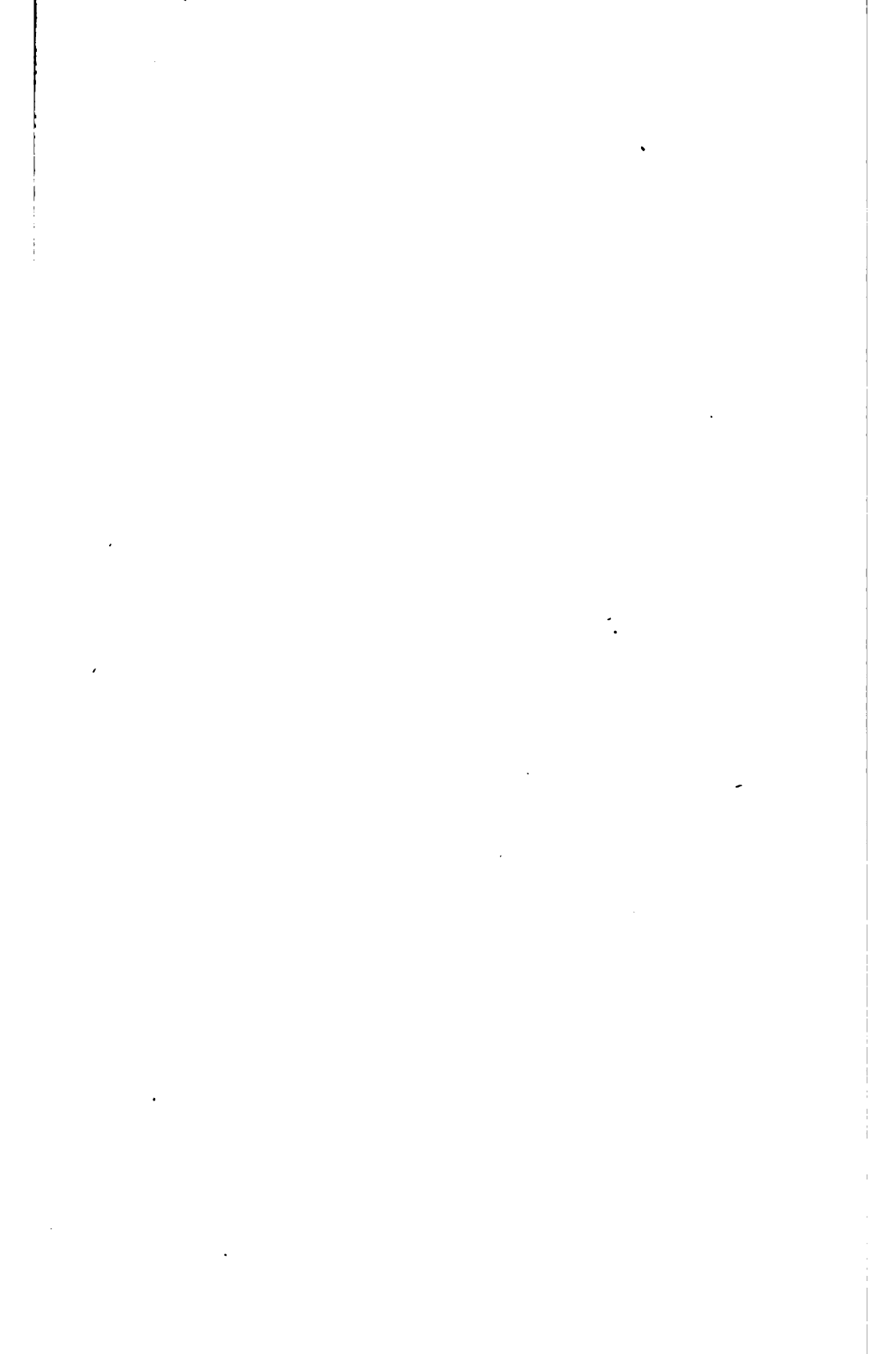
СОСТАВИЛЪ

В. Зелинскій.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

МОСКВА.

Типо-литографія В. Рихтеръ, Тверская, Мамоновскій пер., с. д.
1908.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

Критика семидесятихъ годовъ.

1874-й годъ	Стр.
Критическія статьи:	
В. Буренина.	1
Изъ „Сына Отечества“	13
„ „Русскаго Мира“	16
П. Павлова, изъ „Гражданина“	23
Изъ „Иллюстрированной Недѣли“	31
„ „Христіанскаго Чтенія“	32
„ „Русскаго Мира“	36
В. Авѣенко, изъ „Русскаго Вѣстника“	39
О. Миллера	68
П. Павлова, изъ „Гражданина“	87
О. Миллера	90
1875-й годъ.	
Критическія статьи:	
Изъ „Пчелы“, статья М. У.	109
„ „Недѣли“	111
„ „Всемирной Иллюстраціи“	116
1876-й годъ.	
Критическія статьи:	
Изъ „Молвы“	118
Зауряднаго читателя (А. Скабичевскаго), изъ „Бир- жевыхъ Вѣдомостей“	123
П. Вейнберга, изъ „Пчелы“	126
В. Маркова, изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“	130
Вс. Соловьева, изъ „Русскаго Мира“	137
Изъ „Сына Отечества“	139
„ „Одесскаго Вѣстника“, статья С. С. (Сычев- скаго?)	142
В. Маркова, изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“	145
Изъ „Сына Отечества“	147

Вс. Соловьева, изъ „Русскаго Мира“	149
П. Быкова, изъ „Живописнаго Обзорѣнія“	154
1877-й годъ.	

Критическія статьи:

А. Скабичевского	165
Изъ „Вѣстника Европы“	172
„ „Русскаго Мира“, статья W.	„
„ „Новаго Времени“	175
О. Миллера	176
Изъ „Свѣта“	183
В. Маркова, изъ С.-„Петербургскихъ Вѣдомостей“ .	184
Изъ „Русскаго Мира“, статья W.	199
„ „Нашега Вѣка“	202
„ „Всемирной Иллюстраціи“	211
„ „Биржевыхъ Вѣдомостей“	215
„ „Нашега вѣка“	„

Некрологи и посмертныя статьи:

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“	216
„ „Голоса“	217
„ „Новаго Времени“	218
„ „Биржевыхъ Вѣдомостей“	219
А. Плещеева	220
Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“	222
„ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“	224
„ „Голоса“	225
„ „	227
„ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“	229
„ „Биржевыхъ Вѣдомостей“	233
„ „Новаго Времени“	235
Ө. Достоевскаго: „Смерть Некрасова. О томъ, что сказано на его могилѣ“	238
„Пушкинъ, Лермонтовъ и Некрасовъ“	242
„Поэтъ и гражданинъ. Общіе толки о Некрасовѣ, какъ о человѣкѣ“	251
„Свидѣтель въ пользу Некрасова“	256
Д-ра Н. Бѣлоголоваго	260
Указатель именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ	263

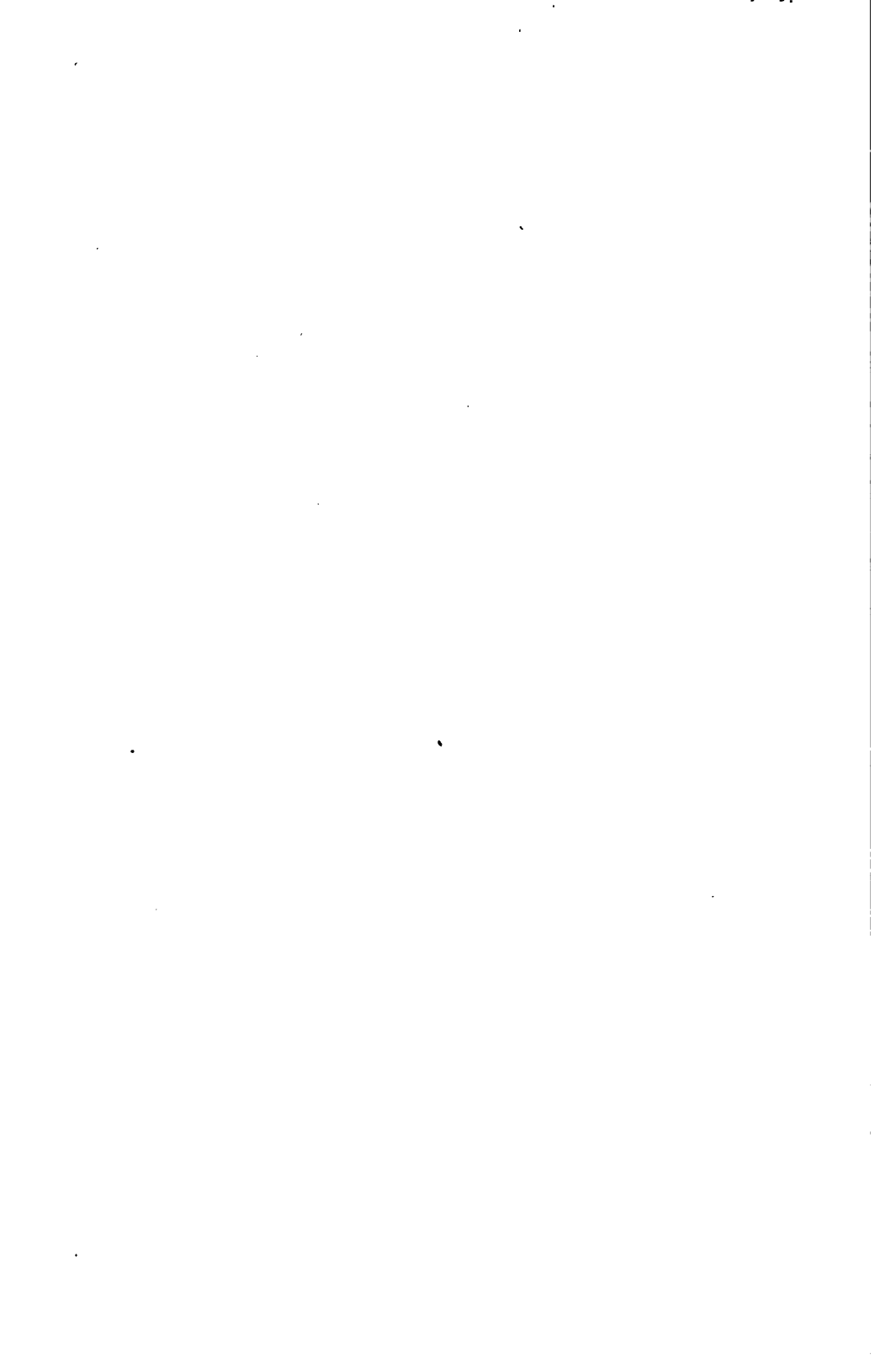
Предисловіе къ первому изданію.

Настоящая третья часть „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“ содержитъ въ себѣ 52 критико-библіографическихъ статьи, включая въ это число нѣсколько некрологовъ и описаній похоронъ поэта. Всѣ эти статьи, по времени перваго появленія ихъ въ печати, относятся къ періоду времени: 1874, 1875, 1876 и 1877 годовъ. Кромѣ упомянутыхъ 52-хъ статей, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ настоящей части находятся еще ссылки на 8 статей, которыя хотя и появились въ печати въ томъ же періодѣ времени, т. е. въ перечисленныхъ выше годахъ, но не вошли въ настоящій сборникъ.

В. Зелинскій.

Второе изданіе третьей части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“ отпечатано безъ перемѣнъ, только раскрыто нѣсколько псевдонимовъ авторовъ критическихъ статей.

В. З.



КРИТИКА СЕМИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

(Продолженіе.)

1874 г.

*) Прошлый фельетонъ я началъ бесѣдой о поэзіи; настоящій мнѣ приходится начать тѣмъ же самымъ. Что будете дѣлать, читатель! такое ужъ поэтическое время наступило: куда ни ступишь, повсюду поэзія... «Поэзія—восклицалъ нѣкогда въ благородномъ пафосѣ Бѣлинскій — это невинная улыбка младенца, его ясный взоръ, его звонкій смѣхъ и живая радость. Поэзія—это стыдливый румянецъ на ланитахъ прекрасной дѣвушки, кроткій блескъ ея глубокихъ, какъ море, какъ небеса, голубыхъ очей, или яркій огонь ея черныхъ глазъ, волны кудрей, разбѣжавшихся по ея мраморнымъ плечамъ, волненіе ея нѣжной груди, гармонія ея серебрянаго голоса, музыка ея чарующихъ рѣчей, стройность ея стана, художественная рельефность и роскошь ея живыхъ формъ, граціозность и нѣга ея плѣнительныхъ движеній... Поэзія—это свѣтлое торжество бытія, это блаженство жизни, неожиданно посѣщающее насъ въ рѣдкія минуты; это упоеніе, трепоть, млѣніе, нѣга страсти, волненіе и буря чувствъ...» и проч. и проч. Вотъ какъ восторженно говорили и думали о поэзіи и по поводу поэзіи въ такую эпоху, когда она процвѣтала въ лицѣ крупныхъ дарованій, въ родѣ Лермонтова, когда она въ самомъ дѣлѣ могла возбуждать въ критикѣ и въ публикѣ восторженное настроеніе. Увы, теперь

*) С.-Петербургскія Вѣдомости 1874 г., № 26. («Журналистика» Статья Z.) В. П. Буренина).

нѣтъ никакой возможности упиваться и восторгаться поэзіей; ибо что такое поэзія нашихъ дней? Поэзія нашихъ дней — это пустая, скучная, неискренняя и рутинная болтовня въ формѣ рифмованныхъ строчекъ, неудобныхъ къ правильной скандировкѣ, потому что въ нихъ не соблюдается общепринятыхъ удареній въ словахъ (смотри «Мими» г. Полонскаго). Поэзія нашихъ дней—это жалкая пародія на пушкинскій юморъ и небрежную легкость стиха, пародія, лишенная всякаго серьезнаго смысла, да еще, вдобавокъ, приправленная тенденціями канцелярскаго свойства (см. «Портреты» гр. А. Толстого). Поэзія нашихъ дней—это безвкусный, выдохшійся, обратившійся въ лицедейство, такъ-называемый гражданскій пафосъ, весь основанный на рутинныхъ хныканьяхъ и причитаньяхъ въ quasi-народномъ и въ quasi-протестующемъ родѣ (см. послѣднія поэмы г. Некрасова, за исключеніемъ «Послѣдыша»).

Поэзія нашихъ дней, наконецъ, это нѣчто такое, о чемъ, право, совѣстно распространяться передъ читателями, знакомыми съ поэзіей прежнихъ дней, съ поэзіей Пушкина, Лермонтова, Кольцова и даже г. Некрасова въ его лучшихъ произведеніяхъ, каковы «Тишина», «Саша» и другія.

Однакожъ, совѣстно или нѣтъ распространяться о поэзій нашихъ дней, а приходится это дѣлать, ибо ежегодно начинаютъ появляться поэмы очень значительныя по внѣшнимъ размѣрамъ, хотя и очень маленькія по внутреннему содержанию. Въ прошломъ году, г. Полонскій предложилъ читателямъ пріятное занятіе—одолѣть чуть не семь печатныхъ листовъ стиховъ à la «Конекъ Горбунокъ»; въ настоящемъ г. Некрасовъ предлагаетъ не менѣе пріятное—одолѣть пять печатныхъ листовъ рубленой прозы. Разумѣется, между пространной поэмой г. Полонскаго и пространной поэмой г. Некрасова есть разница: первая написана по божьему произволенію, вторая—съ расчетомъ; содержаніе первой есть плодъ пінтической свободы, не стѣсняющейся требованіями разума; вторая сочинена на обдуманную тему. Но, если судить вообще, названныя поэмы сходны между собой тѣмъ, что обѣ длинны, обѣ скучны, обѣ прозячны, обѣ плохи по стиху и выказываютъ въ ихъ творцахъ упадокъ эстетическаго вкуса.

Тема новой поэмы г. Некрасова (составляющей главу изъ безконечной эпопеи «Кому на Руси жить хорошо») далеко не нова: ее можно резюмировать слѣдующими стихами самого же поэта:

«Доля ты!—русская долюшка женская!
Врядъ ли труднѣе сыскать.
Не мудрено, что ты вынешь до времени,
Всевыносящаго русскаго племени
Многострадальная мать».

Эту тему поэтъ распространилъ на семьдесятъ четыре страницы съ усердіемъ, до истинѣ изумительнымъ. Разсказъ о «русской долюшкѣ женской» вложенъ г. Некрасовымъ въ уста одной изъ представительницъ этой долюшки, крестьянской бабы Матрены Тимофеевны Корчагиной.

Судя по манерѣ, съ какою разсказываетъ Матрена, надо думать, что она воспиталась на чтеніи стихотвореній г. Некрасова: ея рѣчь полна quasi-простонародныхъ оборотовъ, введенныхъ у насъ по преимуществу авторомъ «Тройки» и «Огородника». Эта искусственная рѣчь заключаетъ въ себѣ много фальшиваго, дѣланнаго простонародничанья и очень мало настоящаго народнаго склада. Но поэтъ, какъ видно, ни мало не удивленъ тѣмъ, что его крестьянка ведетъ разсказъ точно такъ же, какъ онъ велъ бы его самъ. Его цѣль — разжалобить читателей ужасами многострадной «русской долюшки женской», а этой цѣли, по его мнѣнію, можно вѣрнѣе достигнуть, заставивъ повѣствовать объ этихъ ужасахъ испытавшую ихъ особу. Вѣрный своей цѣли, г. Некрасовъ относится къ бѣдной Матренѣ съ истиннымъ ожесточеніемъ цивическаго поэта. Чтобъ разсказъ Матрены былъ выразительнѣе, чтобъ онъ сильнѣе поражалъ чувствительнаго читателя, поэтъ не жалѣетъ «ни трудовъ, ни издержекъ»: онъ измышляетъ бѣдной Матренѣ такую «долюшку», которая будто бы является самой обыкновенной для крестьянской бабы, но которая въ сущности можетъ быть *такъ изобрѣтена* и, главное, *такъ разсказана* только въ роскошномъ кабинетѣ чловѣка, имѣющаго барское представленіе о горечи крестьянской семейной жизни по корреспонденціямъ, изображаю-

щимъ обыкновенно исключительные случаи. Г. Некрасовъ до того намучилъ героиню своей поэмы, что въ ней, говоря ея собственными словами:

«Нѣтъ косточки неломаной,
Нѣтъ жилочки нетянутой,
Кровинки нѣтъ непорченой».

Жаль, вчужѣ жаль бѣдную жепщину, особенно когда подумаешь, что поэтъ производитъ надъ нею свою пространную стихотворную пытку по разсчитанному намѣренію тронуть читателя, которое ясно сквозить въ строкахъ поэмы и сообщаетъ ей холодный, дѣланый, а иногда просто даже и противный тонъ. Оставимъ, однако, сожалѣніе о Матренѣ и, вооружившись хладнокровіемъ критика, прослѣдимъ кратко всѣ пытки, какимъ подвергаетъ ее поэтъ для удовольствія публики.

«Въ дѣвкахъ» Матрена была счастлива и оказывалась какъ разъ подходящей къ идеалу свѣжей, здоровой, работающей и, вмѣстѣ съ тѣмъ, веселой крестьянки. Этотъ излюбленный идеаль непосредственной «народной натуры», сочиненный художниками сороковыхъ годовъ едва ли не въ пику слабымъ и идеалистическимъ характерамъ образованной среды, до сихъ поръ тревожитъ сонъ помянутыхъ художниковъ и исторгаетъ изъ ихъ душъ по большей части рутинные и фальшивые стихи и прозу. Послушайте, какъ наприимѣръ, повѣствуетъ героиня поэмы г. Некрасова о своей дикой, «непосредственной» прелести и силѣ:

«И добрая работница,
И пѣть, плясать охотница
Я съ молоду была.
День въ полѣ проработаетъ,
Грязна домой воротишься,
А банька-то на что?
Спасибо жаркой баенкѣ,
Березовому вѣничку...»

Склонность къ работѣ и веселость — это двѣ основныя черты сильныхъ, непосредственныхъ натуръ изъ бабъ, точно такъ же, какъ лѣнь и сентиментальное уныніе — основныя

черты характера цивилизованных барышень. Это уж такъ заведено въ нашей литературѣ давно, и рецептъ для изображенія первыхъ и вторыхъ прописанъ еще лѣтъ тридцать тому назадъ, и остается почти безъ измѣненія до нашихъ дней. Впрочемъ, не въ этомъ дѣло, и я упоминаю объ этомъ только мимоходомъ. Дѣло въ томъ, что «добрая работница и пѣть и плясать охотница», по заведенному порядку, выходитъ своевременно замужъ за «чужанина» печника Филиппа, который увозитъ ее въ свою семью, гдѣ на нее и обрушиваются всѣ бѣдствія «русской женской долюшки», начиная отъ гоненій деверя, золовухекъ, свекра, свекрови и кончая... чѣмъ—читатели увидятъ далѣе. Мужъ Матрены ушелъ въ работу. Слѣдуетъ изображеніе молчаливой выносливости героини, угнетаемой въ чужой семьѣ. На всѣхъ она работаетъ, за все, про все претерпѣвая и. т. п. Послѣ изображенія первыхъ страданій въ чужой семьѣ, поэтъ постепенно погружаетъ Матрену все въ большія и большія муки, такъ что, можно сказать, устраивается для нея дантовскій адъ въ маломъ размѣрѣ. Мужъ хотя и очень любитъ Матрену, однакоже при случаѣ колотитъ ее ни за что ни про что. При изображеніи этого случая, г. Некрасовъ не довольствуется сценой расправы любящаго мужа съ любимой женой, но входитъ въ нѣкоторый поэтический жаръ и заставляетъ слушателей рассказа Матрены, мужиковъ, ни съ того ни съ другого затануть слѣдующую грубую пѣсню:

«Мой постылый мужъ
Подымается:
За шелкову плетъ
Принимается.

Хоръ:

Плетка свистнула,
Кровь пробрызнула...
Ахъ! лели-лели!
Кровь пробрызнула».

Чудесно и необыкновенно реально! такъ реально, что такое грубаго реализма не обнаружить самъ народъ въ своихъ

безыскусственныхъ пѣсняхъ; на подобный анти-художественный реализмъ способны только искусственные поэты, преслѣдующіе различныя «протестующія» тенденціи и усвоившіе себѣ традиціонныя воззрѣнія на дикость и звѣрское самоуправство мужей въ русской семьѣ.

Плетка и пробрызнувшая кровь, хотя нехстати появившіяся въ стихахъ г. Некрасова, служатъ какъ бы сигналомъ къ выступленію одного изъ существеннѣйшихъ элементовъ его новой поэмы: краснорѣчиваго изображенія поронья. Именно, въ слѣдующей главѣ поэмы, составляющей какъ бы отдѣльный эпизодъ, поронье выступаетъ съ необыкновенной образностью, и поэтъ достигаетъ тутъ едва ли не высшаго поэтического пафоса. Въ этой главѣ описывается дѣдъ Матрены, отецъ ея свекра, столѣтній старикъ Савелій, «богатырь святорусскій», какъ называетъ его г. Некрасовъ. Этотъ богатырь, обладающій, по изображенію поэта, необычайною дикою мощью, принужденъ былъ силой обстоятельствъ выказывать ее въ изумительномъ терпѣніи при экспериментахъ порки, производившихся въ давнія времена старыми владѣльцами крестьянскихъ душъ для извлеченія изъ нихъ оброка. «Эхъ, доля святорусскаго богатыря сермяжнаго! всю жизнь его деруть!» восклицаетъ онъ самъ о себѣ съ горестью, и затѣмъ повѣствуетъ, какъ производилось въ оныя времена дранье святорусскихъ богатырей. Богатырь и прочіе его собратья не желаютъ, видите ли, платить оброкъ своему барину Шалашиникову. Съ помощію полицейской власти баринъ вызываетъ святорусскихъ богатырей въ губернский городъ, гдѣ онъ стоитъ съ полкомъ. Богатыри надѣли «шапки рваныя, худые армяки», и пришли. Баринъ требуетъ: «Оброкъ!» — «Оброку нѣтъ!» отвѣчаютъ богатыри.

Не сталъ и разговаривать:
«Эй! перемѣна первая»!
И началъ насъ пороть...
Ужъ языки мѣшались (?),
Мозги ужъ потрясались
Въ головушкахъ—дереть!
Укрѣпа богатырская,
Не розги!... Дѣлать нечего!

Кричимъ: постой, дай срокъ!
Онучи распороли мы
И барину «лобанчиковъ»
Полшапки поднесли.

Баринъ угощаетъ мужиковъ горчайшимъ травникомъ и смѣется, что онъ, въ случаѣ ихъ упорства, «содралъ бы съ нихъ шкуру начисто» и натянулъ бы ее на барабанъ. Мужики идутъ домой понурые. Надъ ними начинаютъ издѣваться два старика, которые выдержали дранье и, какъ называли себя нищими, такъ тѣмъ и отбоярились, хотя у нихъ съ собой бумажки сторублевья. Мужикамъ становится совѣстно, что они оказали слабость, они божатся на церковь: «Впередъ не посраимся мы, подъ розгами умремъ». Съ этихъ поръ хотя и отмѣнно дралъ Шалашниковъ, а не ахти какіе великіе доходы получалъ: сдавались люди слабые, а сильные за вотчину стояли хорошо. Я тоже перетерпывалъ—прибавляетъ о себѣ «богатырь святорусскій»,—помалчивалъ, подумывалъ: «какъ не дери, собачій сынъ, а все души не вышибешь, оставишь что-нибудь» и т. д.

Да извинять меня читатели, что я остановился довольно долго на этомъ мотивѣ поэмы г. Некрасова. Я сдѣлалъ это не безъ цѣли: мотивъ этотъ, воля ваша, очень замѣчательнъ. Вотъ куда можетъ устремляться въ наше время поэзія, вотъ до какихъ по истинѣ извращенныхъ вдохновеній можетъ дойти поэтъ очень даровитый, но потерявшій жаръ истиннаго чувства и желающій во что бы то ни стало заинтересовать читателей. Право, не знаешь, что подумать о подобныхъ мотивахъ: смѣется ли г. Некрасовъ надъ русскимъ крестьяниномъ, котораго мученія и бѣдствія онъ избираетъ предметомъ своей поэзіи, или онъ, подъ вліяніемъ долгаго стихотворнаго лицедѣйства, въ самомъ дѣлѣ потерялъ критеріумъ для разумѣнія истиннаго духа этого народа, богатствомъ котораго онъ выставляетъ выносливость при драньѣ ради неуплаты оброка. Еслибъ поэтъ иронизировалъ, то трудно было бы опредѣлить мѣру бездущія, необходимаго для подобной ироніи; но онъ утратилъ поэтическое разумѣніе, и ему слѣдуетъ быть поосторожнѣе и не «на все безразсудно дерзать» въ своихъ новыхъ произведеніяхъ. Въ наше время

совершеннѣйшей эстетической и всякой иной сумятицы, пожалуй, найдутся люди, которые будутъ самодовольно хохотать послѣ сытнаго обѣда надъ новой, опоэтизированной г. Некрасовымъ чертой святорусскаго богатырства. А поэзію право, не слѣдуетъ дѣлать прислужницей послѣобѣденныхъ инстинктовъ.

Прежде чѣмъ разстаться съ изложеннымъ эпизодомъ поэмы, спѣшу оговориться, что кромѣ указаннаго мотива, въ общемъ, характеристика «святорусскаго богатыря» сдѣлана недурно и мѣстами поэтично, хотя не безъ утрировки. Особенно хороша сцена, гдѣ изображается, какъ Савелій зарылъ живымъ въ землю нѣмца-управителя, который очерченъ мастерски въ нѣсколькихъ строкахъ.

Мы, однакожъ, за святорусскимъ богатыремъ забыли о многострадальной Матренѣ. Возвратимся къ ней. Не удовольствовавшись семейнымъ гнетомъ и шлеткой любящаго мужа — этими, такъ-сказать, необходимыми принадлежностями «женской русской долюшки», поэтъ напускаетъ на несчастную женщину бѣдствія чисто случайныя, которыя устраиваетъ уже не съ помощію людей, а съ помощію животныхъ. Матрена поручила святорусскому богатырю Савелію своего сына Демушку. Святорусскій богатырь «заснулъ на солнышкѣ»; въ это время пришли свиньи и заѣли ребенка. А ребенокъ, между тѣмъ, былъ красоты неописанной, если вѣрить Матренѣ, которая въ поэмѣ изображаетъ Демушку такимъ образомъ:

«Какъ писанный былъ Демушка!
Краса взята ртѣ солнышка,
У снѣгу бѣлизна,
У маку губы алыя,
Бровь черная у соболя,
У соболя сибирскаго,
У сокола глаза!»

Этого Демушку поэтъ отдалъ свиньямъ специально затѣмъ, чтобы усилить бѣдствіе «русской женской долюшки» и разжалобить посильнѣе читателя. Можетъ быть, скажутъ, что фактъ заѣданія дѣтей свиньями въ крестьянскомъ быту бываетъ, что извѣстія о подобныхъ фактахъ довольно обыкно-

венны. Я противъ этого спорить не стану и замѣчу только вотъ что: какъ бы тамъ ни было, а все-таки подобное обстоятельство является случайнымъ и исключительнымъ бѣдствіемъ «женской долишки» и, стало быть, поэтъ могъ обойтись безъ него, еслибъ онъ желалъ остаться художникомъ и не разсчитывать на ложные эффекты. Кромѣ того, приходитъ невольно еще и такое соображеніе: тамъ, гдѣ возможно заѣданіе дѣтей свиньями, о дѣтяхъ не особенно убиваются матери, какими бы красавцами ни были эти дѣти. Въ подтвержденіе я могу напомнить одно письмо г. Энгельгардта «Изъ деревни», напечатанное въ «Отеч. Запискахъ», кажется третьяго года. Въ этомъ письмѣ почтенный ученый передаетъ, между прочимъ, свою бесѣду съ одною изъ матерей-крестьянокъ, похоронившей своего ребенка и выражающей, къ изумленію г. Энгельгардта, удовольствіе по этому случаю, такъ какъ дѣти, по ея мнѣнію, составляютъ только помѣху въ хозяйствѣ. Вотъ какъ потеря дѣтей встрѣчается нерѣдко матерями въ «грубой дѣйствительности». Но въ искусственной, ноющей позѣ дѣло происходитъ совсѣмъ инымъ образомъ: Матрена, какъ мелодраматическая героиня Александринскаго театра, «глубышкомъ катается, червышкомъ свивается», зоветъ, будить умершаго Дѣмушку, и не можетъ разбудить. А тутъ, въ довершеніе мелодраматическихъ эффектовъ, на несчастную мать налетаютъ власти съ судебнымъ слѣдствіемъ по поводу смерти ребенка, и докторъ «по косточкамъ» изрѣзываетъ Дѣмушку, къ ужасу несчастной матери. Поэтъ по этому случаю не хуже доктора анатомируетъ многострадательную Матрену для своихъ авторскихъ намѣреній.

Послѣ смерти Дѣмушки у Матрены родились еще двое дѣтей. Одинъ изъ нихъ, Ѳедотушка, съ самыхъ раннихъ лѣтъ обнаружилъ необыкновенно великодушныя чувства. Онъ пасъ овецъ однажды. Пришла волчица и утащила овечку. Мальчикъ погнался за нею и нагналъ волчицу, такъ какъ та, будучи ценною, едва тащилась. Ѳедотушка началъ отбивать у ней овцу кнутомъ. А волчица начала глядѣть ему въ очи и «завыла вдругъ, завыла какъ заплакала». Великодушный ребенокъ, совершенно годный для современныхъ цивическихъ поэмъ и дѣтскихъ разсказовъ во вкусѣ г. Ѳедорова, отдалъ

волчицѣ уже заѣденную овцу и разсказалъ о своемъ великодушїи на селѣ. Староста Силантїй, не уразумѣвъ великодушїя Ѳедотушки, вздумалъ его посѣчь. Матрена заступилась за сына, вырвала его у старосты, при чемъ, какъ могучая, непосредственная женщина, «съ ногъ Силантѣя старосту сбила невзначай». Сцену эту увидалъ помѣщикъ и мгновенно изрекъ соломоновскїй судъ: Ѳедотушку простить по младости, «а бабу дерзкую примѣрно наказать». Матрена даже «подпрыгнула» отъ радости, что будутъ сѣчь не сына, а ее, и деликатно удаливъ мальчика, легла подъ розги, этимъ подвигомъ беззавѣтной материнской любви давъ г. Некрасову новый случай ввести въ поѣму новое краснорѣчивое описанїе поронья. Но г. Некрасовъ на этотъ разъ не воспользовался своими правами поэта, а предпочелъ, вмѣсто описанїя, поставить точки. Подивимся художнической умѣренности, обнаруженной цивическимъ авторомъ, но вмѣстѣ съ этимъ и поблагодаримъ его за такую умѣренность.

Благодарности поэтъ заслуживаетъ тѣмъ болѣе, что, вмѣсто изображенїя страданїй Матрены подъ розгами, онъ даетъ въ поэмѣ очень хорошую страницу изображенїя ея душевныхъ страданїй. Вотъ эта поэтическая страница, не новая по мотиву, но проникнутая истиннымъ чувствомъ:

Я пошла на рѣчку быструю,
Избрала я мѣсто тихое
У ракитова куста.
Сѣла я на сѣрый камушекъ,
Подперла рукой головушку,
Зарыдала сирота!
Громко я звала родителя:
Ты приди, заступникъ-батюшка!
Посмотри на дочь любимую...
Понапрасну я звала...
Нѣтъ великой оборонушки!
Рано гостя безподсудная,
Безплеменная, безродная,
Смерть роднаго унесла!
Громко кликала я матушку.
Отзывались вѣтры буйные,
Откликались горы дальнія,
А родная не пришла!

День денна моя печальница,
Въ ночь—ночная богомолица!
Никогда тебя, желанная,
Не увижу я теперь!
Ты ушла въ безповоротную,
Незнакомую дороженьку,
Куда вѣтеръ не доносится,
Не дорыскиваетъ звѣрь....
Нѣтъ великой оборонушки!
Кабы знали вы, да вѣдали,
На кого вы дочь покинули,
Что безъ васъ я выношу?
Ночь—слезами обливаюся,
День—какъ травка пристилаюся...
Я потупленную голову,
Сердце гнѣвное ношу!...

Послѣдніе два стиха великолѣпны и напоминаютъ, по энергій и выразительности, прежняго г. Некрасова. Не много остается досказать о страданіяхъ Матрены. Бѣдствія начинаютъ обрушиваться на нее, какъ пишки на бѣднаго Макара. Настаетъ голодъ, за который чуть не обвиняютъ Матрену, такъ какъ она надѣла чистую рубаху въ Рождество, что, по народной примѣтѣ, означаетъ накликаніе бѣды. Затѣмъ ея мужа незаконно, не въ очередь, хотятъ взять въ солдаты. Будущая ужасная доля солдатки-матери приводитъ Матрену въ лихорадочное состояніе; она грезитъ, какъ ея дѣтей сиротокъ въ семьѣ «пощипываютъ, въ головку поколачиваютъ», какъ ея мужа дерутъ «не розгами, укрѣпой богатырскою». Обуреваемая этими странными грезами, Матрена бѣжитъ въ городъ жаловаться губернатору. Но, вмѣсто губернатора, она встрѣчаетъ губернаторшу, падаетъ ей въ ноги и тутъ же, кажется, рождаетъ, такъ какъ она была беременна. Губернаторша, пораженная этимъ необычайнымъ случаемъ, конечно, подаетъ помощь бабѣ, измученной г. Некрасовымъ до послѣдней степени, принимаетъ въ ней участіе и спасаетъ ея мужа отъ солдатчины. Поэтъ устами Матрены возноситъ доброй губернаторшѣ нѣкоторое стихотворное славословіе, очень курьезное, которое слѣдуетъ пѣть на мотивъ: «Ты душа-ль моя, красна дѣвица». Затѣмъ поэма заключается нѣскольки-

ми не дурными стихами о «русской женской долюшкѣ», которые я приведу здѣсь:

«Ключи отъ счастья женскаго,
Отъ нашей вольной волюшки
Заброшены, потеряны
У Бога самого!
Отцы-пустынножителн
И жены непорочныя
И книжники-начетчики
Ихъ ищутъ—не найдутъ!
Пропали! думать надобно
Сглонула рыба ихъ...
Въ веригахъ, изможденные,
Голодные, холодные
Прошли Господни ратники
Пустыни, города—
И у волхвовъ выспрашивать
И по звѣздамъ высчитывать
Пытались,—нѣтъ ключей!
Весь Божій міръ извѣдали,
Въ горахъ, въ подземныхъ пропастьяхъ
Искали... Наконецъ
Нашли ключи сподвижники!
Ключи неоцѣнимые,
А все—не тѣ ключи!
Пришлись они,—великое
Избраннымъ людямъ Божиимъ
То было торжество,—
Пришлись къ рабамъ—невольникамъ.
Темницы растворились,
По міру вздохъ прошелъ,
Такой ли громкій, радостный!...
А къ нашей женской волюшкѣ
Все нѣтъ и нѣтъ ключей!
Великіе сподвижники
И по сей день стараются—
На дно морей спускаются,
Подъ небо поднимаются—
Все нѣтъ и нѣтъ ключей!
Да врядъ они и сыщутся...
Какою рыбой сглонуты
Ключи тѣ заповѣдныя,
Въ какихъ моряхъ та рыба
Гуляетъ—Богъ забылъ!...»

Таково новое произведение г. Некрасова. Излишнее усердіе поэта въ изображеніи ужасныхъ бѣдствій «русской женской долишки» и голая, искусственная обработка пикантной квазі-гражданской темы сообщаютъ ей общій холодный и мѣстами даже непріятный колоритъ и непомѣрную растянутость. Вслѣдствіе послѣдней, поэма прочитывается до конца съ значительнымъ усиліемъ. Двѣ — три частности въ поэмѣ, указанныя мною, мало выкупаютъ скуку и дѣланность цѣлаго. Къ числу уже указанныхъ лучшихъ страницъ поэмы слѣдуетъ прибавить также прологъ, въ которомъ очень хорошо описаніе разореннаго помѣщичьяго дома. Въ прологѣ «тема» еще не участвуетъ и не заѣдаетъ художественныхъ представлений поэта, навѣянныхъ жизнію, а не измышленныхъ по рутинному и традиціонному «гражданскому» рецепту: отъ этого прологъ выходитъ болѣе свѣжимъ, болѣе поэтическимъ и реальнымъ.

З. (В. Буренинъ).

*

* *

*) Г. Некрасовъ продолжаетъ доискиваться и изображать въ стихахъ, кому на руси жить хорошо. Поразвѣдавъ относительно озабочивающаго ихъ вопроса у попа и помѣщика, мужички рѣшаютъ, видите ли, что

Не все между мужчинами
Отыскивать счастливаго,
Пощупаемъ-ка бабъ.

И стали бабъ опрашивать. Имъ указали на Матрену Тимоеевну Корчагину. Къ ней мужички и обратились съ своимъ вопросомъ и съ своей просьбой:

Освободи насъ, выручи!
Молва идетъ всесвѣтная,
Что ты вольготно, счастливо
Живешь... Скажи по-божески,
Въ чемъ счастье твое?

*) «Сынъ Отечества» 1874 г., № 30 («Русская литература»).

И вотъ Тимоѣевна начала рассказывать имъ про свое
жизнь-бытьѣ бабѣ и свое житьѣ-бытьѣ крестьянское, про
свою жизнь до замужества, затѣмъ въ замужествѣ, подъ
игомъ семьи, подъ гнетомъ крѣпостного права, и закончила
такимъ замѣчаніемъ допрашивавшихъ ее:

А то что вы затѣяли
Не дѣло—между бабами
Счастливую искать.

И надо согласиться, что поэту удалось нарисовать на эту
тему нѣсколько довольно яркихъ и живыхъ картинъ, отъ ко-
торыхъ вѣтъ прочувствованнымъ горемъ. Изъ числа нѣсколь-
кихъ рассказовъ приведемъ одинъ, характеризующій время
управленія крестьянами нѣмцемъ:

И точно небывалое
Наслѣдникъ средство выдумалъ:
Къ намъ нѣмца подослалъ.
Черезъ лѣса дремучіе,
Черезъ болота топкія
Пѣшкомъ пришелъ шельмецъ!
Одинъ какъ перстъ: фуражечка
Да тросточка, а въ тросточкѣ
Для уженья снарядъ.
И былъ сначала тихонькой:
«Платите, сколько можете».
— «Не можемъ ничего!»
«Я барины увѣдомлю».
— «Увѣдомь!...» Тѣмъ и кончилось.
Сталъ жить, да поживать;
Питался больше рыбою,
Сидитъ на рѣчкѣ съ удочкой
Да самъ себя то по носу,
То по лбу—бацъ да бацъ!
Смѣялись мы: «Не любишь ты
Корежскаго комарика...
Не любишь, нѣмчура?»
Катается по бережку,
Гогочетъ дикимъ голосомъ,
Какъ въ банѣ на полкѣ...
Съ ребятами, съ дѣвчонками,
Сдружился, бродитъ по лѣсу.

Не даромъ онъ бродилъ!
«Коли платить не можете,
Работайте!»—«А въ чемъ твоя
Работа?»—«Окопать
Канавами желательно
Болото...» Окопали мы...
«Теперь рубите лѣсъ...»
Ну хорошо! Рубили мы,
И нѣмчура показываль,
Гдѣ надобно рубить.
Глядимъ, выходитъ просѣка,
Какъ просѣку прочистили,
Къ болоту поперечины
Велѣлъ по ней возить—
Ну, словомъ, спохватились мы,
Какъ ужъ дорогу сдѣлали,
Что нѣмецъ насъ поймалъ!
Поѣхалъ въ городъ парочкой,
Глядимъ, везетъ изъ города
Коробки, тюфяки,
Откудова не взялися
У нѣмца босоногого
Дѣтишки и жена.
Повелъ хлѣбъ-соль съ исправникомъ
И съ прочей земской властію:
Гостишекъ полонъ дворъ.
И тутъ настала каторга
Корежскому крестьянину:
До нитки раззорилъ.

Впрочемъ, надо замѣтить, что по мѣстамъ видна большая
натяжка, и самый стихъ не очень гладокъ и благозвученъ.
Поддѣлываясь подъ простонародную рѣчь, поэтъ въ иныхъ
мѣстахъ допускаетъ иной разъ такія выраженія и сравненія,
безъ которыхъ легко можно и лучше было бы обойтись; на-
примѣръ, что благозвучнаго въ такой фразѣ: «Корова хол-
могорская—не баба?» Или, наприимѣръ: «У халуя въ зобу».
Думаемъ, что это уже вовсе не красоты поэзіи, и ихъ мож-
но-бы избѣжать.

Изъ «Сына Отечества».

*

*,

*

*) Мы въ долгу передъ г. Некрасовымъ, такъ какъ до сихъ поръ не успѣли ничего сказать о январской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ». гдѣ помѣщена третья часть его поэмы, «Кому на Руси жить хорошо». Правда, поэма эта принадлежитъ къ такимъ, о которыхъ гораздо пріятнѣе было бы хранить молчаніе; но г. Некрасовъ, несмотря на то, что послѣднія произведенія его являютъ примѣръ замѣчательнаго литературнаго паденія, все еще числится въ рядахъ дѣйствующей журнальной арміи и даже занимаетъ въ ней, по преданію, довольно видное мѣсто. Нѣсколько странное на первый взглядъ явленіе это — странно въ особенностяхи потому, что рядомъ съ нимъ мы видимъ, какъ петербургская критика въ усердіи своемъ преждевременно хоронитъ гораздо болѣе свѣжіе и живучіе таланты — объясняется однакожъ изъ самой природы некрасовской поэзіи. Въ продолженіе всей своей, довольно продолжительной, литературной карьеры, г. Некрасовъ постоянно находился въ самой срединѣ господствующаго теченія, ласкаемый всѣми попутными вѣтрами. Его лира настраивалась всегда одновременно съ послѣднимъ содроганіемъ камертона петербургской журналистики; въ воздухѣ еще протекала звуковая волна, порожденная этимъ камертономъ — а стихъ г. Некрасова уже подхватывалъ на лету новый тонъ, и поэтический инструментъ его отвѣчалъ ему всѣми своими струнами. Сѣтованія петербургскаго чиновника средней руки на дороговизну дровъ и неудобства извозчиковъ, платоническія воздыханія столичнаго журналиста о прелестяхъ сельской природы и о разудалости русскаго мужика, наблюдаемаго въ образѣ петербургскаго троечника или палкинскаго полового, подогрѣтая мораль барствущаго филантропа, наблюдающаго зло петербургской жизни съ подѣзда англійскаго клуба — всѣ эти маленькія теченія и направленья, пересѣкавшія нашу журналистку въ продолженіе доброй четверти вѣка — попеременно овладѣвали вдохновені-

*) «Русскій Міръ» 1874 г., № 57 («Очерки текущей литературы»).

емъ г. Некрасова и находили въ его поэзіи тѣмъ полнѣйшее выраженіе, что подъ эту поэзію постоянно подкладывалась та самая фальшь, на которой стояла и журналистика. Г. Некрасова никакъ нельзя было не замѣтить, потому что во всякую данную минуту онъ стоялъ у самаго знамени, и если не держалъ его въ рукахъ, то наслаждался его прохладною сѣнью. Въ этомъ постоянномъ пребываніи около знамени господствующаго направленія заключалась даже нѣкоторая доля самоотверженія, потому что когда петербургская журналистика пришла къ рѣшительному паденію, г. Некрасовъ и тутъ оказался не въ сторонѣ, а въ самой срединѣ теченія, стремительно несшаго потокъ шестидесятихъ годовъ къ неизбѣжному крушенію. Станнымъ образомъ даже паденіе его собственнаго поэтическаго дарованія совпало съ общимъ паденіемъ петербургской журналистики—словно поэтъ всю жизнь жилъ на чужой счетъ, и когда этотъ счетъ закрылся, онъ въ кассѣ своего вдохновенія не нашелъ ни копейки. И вотъ почему, несмотря на то, что послѣднія произведенія г. Некрасова въ ихъ абсолютномъ достоинствѣ ниже самой снисходительной критики, ихъ нельзя проходить молчаніемъ: они отражаютъ въ себѣ не только упадокъ самаго автора, сколько общій упадокъ современной литературы, въ самыхъ рѣзкихъ его чертахъ. Итакъ, будемъ говорить о послѣдней поэмѣ г. Некрасова.

Впрочемъ, собственно отъ себя намъ много говорить не придется. Нынѣшняя поэзія г. Некрасова представляетъ то удобство, что рецензенту достаточно перенизать на одну нитку разсыпанныя въ ней жемчужины, и читатель безъ всякихъ дальнѣйшихъ поясненій получитъ о произведеніи самое надлежащее понятіе. Мы такъ и сдѣлаемъ.

Читавшіе первыя части поэмы знаютъ внѣшнюю ея фабулу. Нѣсколько мужиковъ заспорили: кому лучше всѣхъ живетъ на Руси?—и не рѣшивши этого вопроса, положили до тѣхъ поръ не расходиться и не возвращаться домой, пока не найдутъ такого счастливица, которому весело живетъ на Руси. Въ настоящей, третьей части поэмы (озаглавленной: «Крестьянка»), г. Некрасовъ прекращаетъ поиски между непрекрасною половиною человѣческаго рода и восклицаетъ:

«Пощупаемъ-ка бабъ!» Оказывается, что какъ разъ требуемая баба есть въ селѣ Клину:

Корова холмогорская—
Не баба! доброумнѣ
И глаже—бабы нѣтъ!

Рекомендованную такимъ прелестнымъ образомъ бабу, разумѣется, стоитъ сыскать. Мужички отправились въ путь, и идучи отъ скуки философствуютъ. Видятъ они, напримѣръ поля, покрытыя высокою жатвою, и замѣчаютъ:

Не столько росы теплыя,
Какъ потъ съ лица крестьянскаго
Увлажили тебя!

Все было бы хорошо, но только

Пшеница ихъ не радуешь:
Ты тѣмъ передъ крестьяниномъ,
Пшеница, провинилася,
Что кормишь ты *по выбору*.
Зато не налюбуются
На рожь, *что кормитъ всѣхъ*.

Все это, конечно, придумалъ для мужичковъ поэтъ: самимъ крестьянамъ такой вздоръ въ голову не полѣзетъ. Но дальше. Встрѣчается нашимъ мужичкамъ на пути деревня съ опустѣлымъ барскимъ домомъ. Появился какой-то лакей, у котораго на всей спинѣ

Былъ нарисованъ левъ.

Крестьяне подивились и заспорили, что за нарядъ такой? Но Пахомъ объяснилъ имъ:

Халуй хитерь: стащить коверъ,
Въ коврѣ дыру продѣлаетъ,
Въ дыру просунетъ голову,
Да и гуляетъ такъ!

Видятъ въ саду бесѣдку, на бесѣдкѣ надпись; «Демьянъ крестьянинъ грамотный, читаетъ по складамъ»; мужики не вѣрятъ, хохочутъ:

Насилу догадалися,
Что надпись переправлена:
Затерты двѣ-три литеры,
Изъ слова благороднаго
Такая вышла дрянь!

Слышутъ они пѣсню—это какой-то пѣвецъ изъ Малороссіи
поетъ «нерусскія слова». Оказывается, что по сосѣдству

Есть дьяконъ... тоже съ голосомъ...
Такъ вотъ они затѣяли
По своему здраваться
На утренней зарѣ.
На башню какъ подымется
Да рявкнетъ нашъ: «Здо-ро-во-ли
Живешь, о-тець И-патъ?»
Такъ стекла затрещать!
А тотъ ему оттуда-то:
«Здорово нашъ со-ло-ву-шко!
Жду вод-ку пить!»—И-ду!...
Иду-то это въ воздухѣ
Чась цѣлый откликается...
Такіе жеребцы!..

Но не все же жеребцы: находятъ тутъ мужички и искомую
корову холмогорскую, Матрену Тимофеевну, которая и выкла-
дываетъ имъ всю свою душу, т. е. рассказываетъ всю свою
жизнь. Изъ этой поучительной автобіографіи холмогорской
коровы мы по необходимости должны выбрать только самыя
удивительныя мѣста—тѣ «алмазныя крупы», которыя вѣ-
роятно подразумѣваютъ г. Гербель въ посвященіи къ своей
«Христоматіи».

На первый разъ, не хотите ли полюбоваться слѣдующею
пѣсенкой:

Мой постылый мужъ
Подымается,
За шелкову плетъ
Принимается.

Хоръ.

Плетка свистнула,
Кровь пробрызнула...

Ахъ! деди! деди!
Кровь пробрызнула...
Свекоръ-батюшка
Велитъ больше бить,
Велитъ кровь пролить...

Х о р ъ.

Плетка свистнула,
Кровь пробрызнула, и т. д.

Выступаетъ на сцену Савелій, богатырь святорусскій, и рассказываетъ, что въ прежнія времена были кругомъ ихъ села такіе лѣса и болота, что самъ помѣщикъ не смѣлъ показаться въ свою вотчину.

Чрезъ тропы звѣриныя
Съ полкомъ своимъ—военный былъ—
Къ намъ достигнуть пробовалъ,
Да лыжи повернулъ!
Къ намъ земская полиція
Не попадала по году—
Вотъ были времена!

Баринъ, однако, не отсталъ, вытребовалъ крестьянъ къ себѣ въ городъ, спрашиваетъ оброкъ. Тѣ не даютъ.

«Эй! перемѣна первая!»
И началъ насъ пороть.
Ужъ языки мѣшались,
Мозги ужъ потрясались
Въ головушкахъ—дереть!
Укрѣпа богатырская,
Не розги!

Святорусскій богатырь не очень то, однако, сдавался подъ розгами:

«Какъ ни дери, собачій сынъ,
А всей души не вышибешь,
Оставишь что-нибудь!»

Пріѣхалъ нѣмецъ-управляющій, сталъ морить работою—мужички его живьемъ въ яму закопали.

Рѣшенъе вышло: каторга
И плети предварительно;
Не выдрали—помазали,
Плохое тамъ дранье!

Помѣщикъ дралъ лучше:

Онъ такъ мнѣ шкуру выдѣлалъ,
Что носится сто лѣтъ!

Случился новый грѣхъ съ святорусскимъ богатыремъ: поручила ему Матрена Тимофеевна покарать ея ребенка да и—

Заснулъ старикъ на солнышкѣ,
Скормилъ свиньямъ Демидушку
Придурковатый дѣлъ!

Наѣхало слѣдствие, лѣкарь изрѣзалъ на кусочки съѣденнаго свиньями ребенка... Потомъ рассказывается, какъ какой-то Ѳедотушка погнался за волчицей, унесшею изъ стада овцу, и какъ у ней «сосцы волочились кровавымъ слѣдомъ», благодаря чему Ѳедотушка и нагналъ ее.

Подъ ней рѣка кровавая,
Сосцы травой изрѣзаны,
Всѣ ребра на счету...

Это такъ разжалобило Ѳедотушку, что онъ отдать ей овцу. Его за это хотѣли было высѣчь, но Матрена вступилась, ~~оттолкнула~~ старосту. Баринъ разсудилъ мальчишку освободить, а бабу примѣрно наказать.

Легла я, молодцы...

Тутъ самъ г. Некрасовъ потупляется и набрасываетъ на картину покровъ многоточія...

Какъ бы въ вознагражденіе за эту фигуру умолчанія, черезъ нѣсколько страницъ рассказывается, какъ Матрена бѣжитъ изъ деревни въ губернской городъ, причитая на бѣгу:

Владычица! во мнѣ
Нѣтъ косточки неломаной;
Нѣтъ жилочки нетянутой,
Кровинки нѣтъ непорченой—
Терплю и не ропщу!

Какимъ образомъ можетъ бѣжать нѣсколько верстъ баба съ переломанными костями и вытянутыми жилами — остается, конечно, тайною г. Некрасова. Гораздо сообразнѣе, что ей въ такомъ состояніи приходять въ голову разныя бессмыслицы, въ родѣ слѣдующей:

Рабочій конь—солому ѣстъ,
А пустоплясъ—овесь.

Кто этотъ загадочный пустоплясъ, пожирающій овесь—остается столь же неразъясненнымъ, какъ и бѣгъ бабы съ переломанными костями.

Но довольно. Нѣтъ никакой надобности слѣдить до конца за похождениями героевъ и героинь новой поэмы г. Некрасова. Позволительно поставить точку и спросить: что это такое? Какое отношеніе къ поэзіи, къ литературѣ вообще могутъ имѣть эти дикія картины, эти розги, плетки, выдѣланныя палками человѣческія шкуры, кабацкія метафоры, бессмысленные протесты противъ пшеницы, вся эта плотоядная сатурналія больного воображенія? Что это: поэзія, реализмъ, пропаганда, стихотворный памфлетъ, протестъ? Едва ли.

Если реализмъ, подкладка такъ называемыхъ гражданскихъ идей, пропаганда въ пользу младшей братіи — заключаются въ томъ, чтобы заставлять мужиковъ дѣлать и говорить такой вздоръ, который имъ самимъ никогда не пришелъ бы въ голову—такого рода направленіе едва ли можетъ привести литературу къ инымъ результатамъ, кромѣ окончательнаго пониженія ея уровня въ содержаніи и въ формѣ. На

этомъ пути шаги наши за послѣднее время безспорно должны быть названы быстрыми и даже стремительными. Положеніе наше и нынче уже являетъ весьма зловѣщій признакъ—именно, литература уже опустилась ниже уровня образованнаго общества, которое замѣтно начинаетъ ею гнушаться. Настоящее царство ея — полуобразованная масса, устраненная сама отъ всякаго руководящаго и облагораживающаго вліянія, и, въ свою очередь, по естественному порядку вещей, оказывающая на литературу неизбѣжное давленіе въ отрицательномъ смыслѣ. Въ этой массѣ, безъ сомнѣнія, найдутся люди, которымъ новая поэма г. Некрасова покажется литературнымъ произведеніемъ и даже, пожалуй, поэзіей...

* * *

*) Оригинальную тему избрала себѣ муза Н. А. Некрасова, настроивъ свою лиру на тотъ мотивъ, что, дескать, на Руси хорошо жить никому не приходится. Вопросъ этотъ—чисто реальный—задали себѣ въ одинъ прекрасный день любознательные мужички, и вотъ странствуютъ они вездѣ, и во всякому встрѣчному обращаются съ этимъ вопросомъ. На этотъ разъ сказали они себѣ:

Не все между мужчинами
Отыскивать счастливаго,
Пощупасмъ-ка бабъ!

Пройдя черезъ какое-то, въ развалинахъ, въ опустошеніи, и грустью насквозь проникнутое барское имѣніице, идутъ они въ поле, и

.... Послѣ дворни ноющей
Красива показалася
Здоровая, поющая
Толпа жнецовъ и жницъ...

*) «Гражданинъ» 1874 г., № 10 (Статья Павла Павлова, подъ заглавіемъ: «За-
мѣтки досужаго читателя»).

Здѣсь обрѣтають они нѣкую Матрену Тимоѣевну:

Осанистая женщина,
Широкая и плотная,
Лѣтъ тридцати осми.
Красива; волосъ съ просѣдью,
Глаза большіе, строгіе;
Рѣсницы богатѣйшія,
Сурова и смугла.
На ней рубаха бѣлая,
Да сарафанъ коротенькій
Да серпъ черезъ плечо.

Вотъ эта-то Матрена и повѣствуетъ мужичкамъ про свое
жизье-бытье. Грустною, прегрустною выходить эта повѣсть.
но есть мѣста, гдѣ поэтъ является въ восхитительной красѣ
образовъ; есть и мѣста, гдѣ, видно, муза чѣмъ-то развлечена,
и поэтъ поетъ безъ нея въ тотъ же размѣръ, но, увы, безъ
того же вдохновенія. Полюбила Матрена парня Филиппа, и
Филиппъ ее полюбилъ.

Пригожъ—румянъ, широкъ—могучъ,
Русъ волосомъ, тихъ говоромъ,
Паль на сердце Филиппъ!

И говоритъ она ему:

Ты стань-ка, добрый молодецъ,
Противъ меня прямехонько,
Стань на одной доскѣ:
Гляди мнѣ въ очи ясныя,
Гляди въ лицо румяное,
Подумывай, смѣкай:
Чтобъ жить со мной—не каяться,
А мнѣ съ тобой не плакаться...
Я вся тутъ такова!

А тамъ и свадьба. Послѣ медоваго мѣсяца да счастья, по-
билъ Филиппъ свою Матрену:

Плетка свистнула,
Кровь пробрызнула,

Ахъ, лели! лели!
Кровь пробрызнула!

Потомъ Филиппъ ушелъ на заработки; она родила сына.
Прелесть какъ хорошо она его описываетъ:

Краса взята у солнышка,
У снѣга бѣлизна,
У маку губы алыя,
Бровь черная у соболя,
У соболя сибирскаго,
У сокола глаза!
Весь гнѣвъ съ души красавецъ мой
Согналъ улыбкой ангельской,
Какъ солнышко весеннее
Сгоняетъ снѣгъ съ полей.

Но скоро на радости пришла бѣда. Въ рабочую пору поручила она Дѣмушку своего дѣдушкѣ Савелію — богатырю, прощенному каторжнику, когда-то участвовавшему въ убійствѣ управляющаго имѣніемъ, гдѣ Савелій былъ крѣпостнымъ. Этотъ Савелій является у поэта чѣмъ-то въ родѣ героя того царства, которое Савелій зоветъ «богатырствомъ русскимъ» и которое рисуетъ такъ:

Цѣпями руки кручены,
Желѣзомъ ноги скованы,
Спина... лѣса дремучіе
Прошли по ней — сломались,
А грудь! Илья пророкъ
На ней гремитъ — катается
На кодесницѣ огненной...
Все терпитъ богатырь...

Нечаянно-негаданно этотъ Савелій попустилъ смерть Дѣмушки, пока Матрена была на работѣ.

Пріѣзжаетъ полиція: ребенка рѣжутъ для осмотра; допрашиваютъ несчастную, горемъ убитую Матрену, терзаютъ ее и рѣзною, и допросами; ребенка, наконецъ, положили въ гробикъ, а старикъ Савелій, столѣтній богатырь, читаетъ надъ гробикомъ молитвы и крестится. А Матрена бѣдная, увидѣвъ его, гнѣвная и грозная кричитъ ему:

Уйди! убилъ ты Дёмушку!
Будь проклять ты... уйди!...

Тутъ поэтъ влагаетъ въ уста Савелію чудную исповѣдь. На-
помнивъ свое мрачное прошлое въ нѣсколькихъ словахъ, Са-
велій доказываетъ Матренѣ то, что не открывалъ ей:

Окаменѣлъ я, внученька,
Лютѣе звѣря былъ,
Сто лѣтъ зима безсмѣнная
Стояла. Растопилъ ее
Твой Дѣма-богатырь!
Однажды я качалъ его,
Вдругъ улыбнулся Дёмушка...
И я ему въ отвѣтъ.
Со мною чудо сталося:
Третьеводня прицѣлился
Я въ бѣлку: на суку
Качалась бѣлка... лапочкой
Какъ кошка умывалася...
Не выпалилъ: живи!
Брожу по рощамъ, по лугу
Любуюсь каждымъ цвѣтикомъ.
Иду домой, опять
Смѣюсь, играю съ Дёмушкой...
Богъ видитъ, какъ я милаго
Младенца полюбилъ!
И я же, по грѣхамъ моимъ,
Сгубилъ дитя невинное.
Кори, казни меня!
А съ Богомъ спорить нечего...
.
Теперь въ раю твой Дёмушка.
Легко ему, свѣтло ему...
Заплакалъ старый дѣдъ.

На могилкѣ Дёмушки простила Матрена дѣдушку,

И долго у креста
Сидѣли мы и плакали.

Тутъ-то и дать Савелію-богатырю тихой конецъ. Нѣтъ, муза

на мигъ отошла отъ поэта, и какъ будто въ этотъ мигъ поэтъ даетъ умирающему старику сказать, до замыканія глазъ навѣки, прескверныя и препошлыя слова, которыя оставляютъ въ душѣ читателя самый безотраднѣйшій образъ Савелія:

Мужчинамъ три дороженьки:
Кабакъ, острогъ, да каторга.
А бабамъ на Руси
Три петли: шелку бѣлаго,
Вторая—шелку краснаго,
А третья шелку чернаго,
Любую выбирай!...
Въ любую полѣзай...
Такъ засмѣялся дѣдушка,
Что всѣ въ каторкѣ вздрогнули—
И къ ночи умеръ онъ.

И къ чему это?

У Матрены родился сынъ Федотъ. Росъ онъ и крѣпъ. Казалось жизнь поправилась. Да нѣтъ, неправдою берутъ ея мужа Филиппа въ солдаты, и бѣда пуще всѣхъ бѣдъ разражается надъ бѣдною Матреною.

Но любовь даетъ ей и силы и крылья. Беременная третьимъ ребенкомъ идетъ она въ городъ, гдѣ губернаторъ живетъ, подавать жалобу и спасать себя да мужа. Пришла къ губернатору; одарила швейцара; швейцаръ смиростивился: впустилъ ее; она сидитъ и ждетъ. Съ лѣстницы идетъ губернаторша:

Въ собольей шубѣ барыня,
Чиновничекъ при ней.
Не знала я, что дѣлала,
(Да видно надоумила
Владычица!)... Какъ брошусь я
Ей въ ноги: «Заступись!
Обманомъ, не по божески
Кормильца и родителя
У дѣточекъ берутъ!»
— Откуда ты, голубушка?
Впопадъ ли я отвѣтила—
Не знаю... Мука смертная
Подъ сердце подошла...
Очнулась я, молодчики,

Въ богатой, свѣтлой горницѣ,
Подъ пологомъ лежу;
Противъ меня—кормилица
Нарядная, въ кокошникѣ,
Съ ребеночкомъ сидитъ:
— Чѣе дитятко, красавица?
«Твое!»—Поцаловала я
Рожоное дитя...
Какъ въ ноги губернаторшѣ
Я пала, какъ заплакала,
Какъ стала говорить,
Сказалась усталъ долгая,
Истому непомѣрная,
Упердилось времячко—
Пришла моя пора!
Спасибо губернаторшѣ,
Еленѣ Александровнѣ,
Я столько благодарна ей,
Какъ матери родной!
Сама крестила мальчика
И имя: Лѣодорушка
Младенцу избрала...
— А что же съ мужемъ сталося?
— Послали въ Клинь нарочнаго,
Всю истину довѣдали—
Филипушку спасли.
Елена Александровна
Ко мнѣ его, голубчика,
Сама,—дай Богъ ей счастье!—
За ручку подвела.
Добра была, умна была,
Красивая, здоровая,
А дѣтокъ не далъ Богъ!
Пока у ней гостила я,
Все время съ Лѣодорушкой
Носилась какъ съ роднымъ.
Весна ужъ начиналася,
Березка распускалася,
Какъ мы домой пошли...

— «Что скажешь намъ еще?» спрашиваютъ мужики.

— А то, что вы затѣяли
Не дѣло между бабами
Счастливую искать!...

отвѣчаетъ Матрена.

— «Да все ли рассказала ты?» спрашивают мужички.

Чего же вамъ еще?
Не то ли вамъ рассказывать,
Что дважды погорѣли мы,
Что Богъ сибирской язвою
Насъ трижды посѣтилъ?
Потуги лошадиныя
Несли мы: погуляла я
Какъ меринъ въ боронѣ...
Ногами я не топтана,
Веревками не вязана,
Иголками не колота?
Чего же вамъ еще!...

Но довольно, кажется, читатель, привелъ я вамъ стиховъ изъ этой поэмы. Желалъ бы я знать, что вы объ ней подумали: хороша или дурна? Что я думаю про нее, скажу вамъ въ двухъ словахъ. Не могу понять, чѣмъ доля Матренушки есть та именно доля, которая должна доказать мужичкамъ, что и бабѣ на Руси не хорошо жить: вышла она по любви, ну, побивать ее муженекъ, и ужъ, конечно, это совсѣмъ непригожее дѣло,—общая русская бѣда и когда-то еще выведется, да вѣдь и любилъ же ее, и крѣпко любилъ; а коль не любилъ бы, развѣ побѣжала бы беременная Матрена просить къ губернатору спасенія отъ рекрутства, развѣ наслаждалась бы она такъ минутами послѣ спасенія, когда вдвоемъ съ мужемъ, да съ новорожденнымъ возвращались они домой? А любовь есть, такъ значитъ счастья много, да такъ много, что хватить его и такое горе, какъ смерть Дѣмушки, пережить, и пожары, и сибирскую язву перенести, ибо любить она мужика трезваго, работающаго, хорошаго парня, а полнаго счастья—и баринъ и мужикъ знаютъ,—нѣтъ на этомъ свѣтѣ.

Я нарочно привелъ много мѣстъ изъ поэмы, во-первыхъ, чтобы познакомить съ нею читателя, а во-вторыхъ, чтобы, такъ сказать, собственными словами автора показать, что въ сущности не такъ горько живетъ Матренѣ, какъ поэту это доказать хочется. Онъ плачетъ, этотъ поэтъ, но къ нему свѣло можно подойти и спросить:

— Чего ты плачешь, поэтъ?

— Да какъ не плакать, отвѣтитъ поэтъ плаксивымъ тономъ, погляди-ка, что съ Матреною приключается!

И плеть по мнѣ прошла:
Я только не отвѣдала... и т. д.

Слышите, что говоритъ она, а старица-то убогая, аэонская богомолка, говорила Матренѣ такъ:

Ключи отъ счастья женскаго,
Отъ нашей вольной волюшки
Заброшены, потеряны
У Бога самого.

И опять расплакался поэтъ!

Нѣтъ, не того я мѣняю, воля твоя, поэтъ: или ты не такъ описалъ Матрену, не такъ ее поставилъ, не сумѣлъ докопаться до глубины ея сердца, и изъ этой глубины вырвать тѣ звуки, которые заставили бы меня прорадоваться такъ, какъ ты хотѣлъ, чтобы прорадовалъ я, твой читатель, или ты сумѣлъ, но и при всемъ своемъ умѣнии, все-таки не могъ доказать, что «ключи отъ счастья женскаго потеряны».

Это наводитъ меня на мысль, поэтъ, что у тебя въ этой поэмѣ, возлѣ чудныхъ картинъ, возлѣ дивныхъ стиховъ, возлѣ прелестныхъ образовъ, мѣстами введена сентиментальная фальшь, этотъ врагъ поэзіи, правды, силы, жизни, творчества, и введена Богъ вѣсть для чего, — развѣ только для того, чтобы между тобою, какъ папенькою твоей семьи, и статьями всѣхъ дѣтенышей твоихъ было искусственное согласіе: и чтобы ты стихами показывалъ то, что они, статейками о деревнѣ, о крестьянскомъ вопросѣ и т. п., то-есть что все уже такъ скверно въ мужицкомъ и русскомъ быту, что хуже и быть не можетъ.

Читая твои поэмы, я мѣстами воображаю себѣ, что ты справляешься то съ положеніемъ 19 февраля, то съ XIV томомъ свода законовъ; неужели? это страшно непозитивно. А что это возможно, то доказать мнѣ слѣдующій у тебя стихъ:

Да лѣкаря увидѣла:
Ножи, ланцеты, ножницы
Натягивалъ онъ тутъ.

Тотъ, кто можетъ такіе 3 стиха вставить въ свою поэму, тотъ можетъ и съ положеніемъ 19 февраля и даже съ XV томомъ свода законовъ справляться въ минуту самаго сильнаго поэтическаго вдохновенія.

*
* *

*) Всего замѣчательнѣе въ этихъ книгахъ (1 и 2 №№ «Отеч. Записокъ» за 1874 г.), конечно, продолженіе поэмы Некрасова... «Кому на Руси жить хорошо». Это полный чувства и мысли эпизодъ, описывающій всю невеселую жизнь русской крестьянки. Онъ явился уже и въ полномъ собраніи стихотвореній Некрасова, появившемся на дняхъ, въ шести частяхъ, изъ которыхъ первыя выходятъ уже шестымъ изданіемъ, въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ, когда продано болѣе сорока тысячъ экземпляровъ стиховъ нашего высокоталантливаго, симпатичнаго поэта. Значеніе Некрасова въ исторіи нашей литературы такъ велико, что объ немъ нельзя говорить въ бѣглыхъ, фелъетонныхъ замѣткахъ. Тридцать четыре года знакомъ онъ нашей публикѣ, видающей въ немъ прямого наслѣдника Пушкина и Лермонтова, превосходящаго во многихъ своихъ произведеніяхъ эти великіе образцы. Главная заслуга Некрасова состоитъ въ томъ, что онъ свелъ нашу поэзію съ идеальныхъ высотъ и далъ ей реальное направленіе, примиряющее ее съ требованіемъ современнаго, мыслящаго общества. Вѣрной и полной оцѣнки значенія Некрасова — нѣтъ въ нашей критикѣ: это происходитъ оттого, что лица, которые могли бы сдѣлать это, были, большею частью, товарищами поэта по журнальной работѣ — и это, конечно, не позволяло имъ высказать о поэтѣ свое мнѣніе. О. Миллеръ началъ, 21-го февраля, читать въ клубѣ художниковъ публичныя лекціи о русской литературѣ послѣ Гоголя. Хотя

*) „Иллюстрированная Недѣля“ 1884 г., № 9 („Петербургскія Письма“).

у насъ крестили дѣтушекъ, къ намъ приходили каяться, мы отпѣвали ихъ“. Если помѣщикъ жилъ и въ городѣ, то умирать прѣзжалъ навѣрно въ деревню. Коли умереть въ городѣ нечаянно, и тутъ накажетъ накрѣпко въ приходѣ схоронить — „попу поправка добрая“. А нынѣ ужъ не то. Какъ племя іудейское разсѣялись помѣщики по дальней чужеземщинѣ и по Руси родной. „Ой, холёныя косточки російскія, дворянскія! Гдѣ вы не позакопаны, въ какой землѣ васъ нѣтъ!“ Перевелись помѣщики, въ усадьбахъ не живутъ они, и умирать не ѣдутъ къ намъ. Богатыя помѣщичьи, старушки богомольныя, — однѣ — повымерли, — другія пристроились вблизи монастырей. Никто теперь не подарить попу подрысника, никто не вышьетъ воздуха! — Другая статья доходовъ сельскаго священника въ прежнее время — раскольники. Не грѣшенъ я, говоритъ рассказчикъ, не жилъ я съ раскольниковъ ничѣмъ. А есть такія волости, которыя вплотную населены раскольниками: какъ тутъ быть попу? Да теперь и этотъ источникъ доходовъ изсякъ, такъ какъ законы, прежде строгіе къ раскольникамъ, теперь смягчились, пришелъ конецъ и поповскимъ доходамъ съ нихъ.

Живи съ однихъ крестьянъ,
Сбирай мірскія гривенки
Да пироги по праздникамъ,
Да яйца о святой.
Крестьянинъ самъ нуждается,
И радъ бы дать, да нечего...
А то еще не всякому
И милъ крестьянскій грошъ...
Деревни наши бѣдныя,
А въ нихъ крестьяне хворые,
Да женщины-печальницы,
Кормилицы, поилицы...
Господь, прибавь имъ силъ!
Съ такихъ трудовъ копейками
Живиться тяжело.
Случается, къ недужному
Придешь: не умирающій,
Страшна семья крестьянская
Въ тотъ часъ, какъ ей приходится
Кормильца потерять.
Напутствуешь усопшаго

И поддержать въ оставшихся
По мѣрѣ силъ стараешься
Духъ бодрѣ. А тутъ къ тебѣ
Старуха, мать покойника,
Глядь, тянется съ костлявою
Мозолистой рукой...
Душа переверотится,
Какъ звякнуть въ этой рученькѣ
Два мѣдныхъ пятака...
Конечно, дѣло чистое —
За потребу воздаяніе:
Не брать такъ нечѣмъ жить.
Да слово утѣшенія
Замретъ на языкѣ,
И словно, какъ обиженный
Уйдешь домой“...

Какъ видитъ читатель, авторъ изображаетъ сельскаго священника довольно симпатичными чертами. Душа его не зачерствѣла и не огрубѣла среди деревенской чернорабочей, исполненной нуждъ и лишеній жизни; для смиреннаго пастыря его обязанности трудны не внѣшнею только и матеріальною стороною, а главнымъ образомъ—внутреннею, нравственною тяготой, тою тугою душевною, съ какою сопряжено отправление его обязанностей. Его трогаетъ и сокрушаетъ сиротская печаль; у него болитъ душа и ноетъ сердце при видѣ крестьянской семьи, теряющей своего кормильца... Но, вѣрный дѣйствительности, поэтъ не хочетъ оставить священника съ этими одними—идеальными—чертами, не можетъ утѣрпѣть, чтобы не бросить нѣсколько штриховъ юмористическаго и сатирическаго свойства. Въ дальнѣйшемъ разсказѣ о похожденияхъ своихъ героевъ онъ выводитъ на сцену одного дьякона, который затѣялъ здороваться съ своимъ сосѣдомъ—священникомъ, жившимъ отъ него за три версты, такимъ оригинальнымъ образомъ. По утренней зарѣ —

На башню какъ подымется,
Да рявкнетъ нашъ: „Здорово ли
Живешь, отецъ Иванъ?“ —
Такъ стекла затрепчатъ,
А тотъ ему оттуда-то:

„Здорово, нашъ соловушко!
„Жду водку пить!“— „Иду!“
„Иду“—то это въ воздухѣ
Чась цѣлый отклиняется.
Такіе жеребцы!

Матрена Тимоѣевна Корчагина, героиня третьей части поэмы, въ одномъ мѣстѣ рассказываетъ, какъ умеръ сынокъ ея Дѣмушка. Покойника анатомировали. Заглядѣлась я, рассказываетъ Матрена,

Какъ лѣварь руки мылъ,
Какъ водку пилъ. Священнику
Сказалъ: прошу покорнѣйше.
А попъ ему: „что просите!
Безъ прутива, безъ кнутика
Всѣ ходимъ, люди грѣшныя,
На этотъ водопой!“

Изъ „Христіанскаго Чтенія“.

* * *

*) Извѣстно, что въ наше прозаическое время, стиховъ печатается чуть ли не болѣе, чѣмъ въ самую цвѣтущую эпоху нашей поэзіи. Къ утѣшенію реалистовъ, всякій можетъ засвидѣтельствовать, что стихи, печатаемые въ нынѣшнихъ журналахъ, имѣютъ лишь весьма отдаленное сходство съ поэзіей и не могутъ навести ни малѣйшаго подозрѣнія на совершенную прозаичность нашего времени. Стихотворная форма служить въ наши дни лишь для того, чтобы подъ прикрытіемъ ея могли проникать въ печать разныя литературныя упражненія, которыя въ прозаическомъ видѣ едва ли были бы приняты даже редакціей „Полицейскихъ Вѣдомостей“. За примѣрами ходить недалеко. Въ февральской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ г. Некрасовъ помѣстилъ стихотвореніе „Утро“, содержаніе котораго прямо заимствовано изъ „дневника происшествій“, печатаемаго въ органѣ с.-петербургской столичной полиціи; и хотя мы понимаемъ всю цѣну риму и стихотворнаго размѣра, мы не отдадимъ г. Некрасову преимущества предъ скромнымъ представителемъ полицейскаго дневника. По нашему крайнему

*) „Русскій Міръ“ 1874 г., № 78. „Очерки текущей литературы“.

убѣжденію, куплеты г. Некрасова гораздо плоше официальной прозы участковых канцелярій; въ послѣдней мы всегда замѣчали гораздо болѣе простоты и, въ особенности, хорошаго тона. Напримѣръ, когда въ дневникъ происшествій сообщается о какомъ-нибудь случаѣ, въ которомъ фигурируетъ проститутка, составитель дневника всегда обнаруживаетъ настолько чувства приличія, что, говоря по необходимости о проституткѣ, не говоритъ о постели, а г. Некрасовъ, не будучи подчиненъ никакой необходимости, рассказываетъ читателямъ „Отечественныхъ Записокъ“, какъ

Проститутка домой на разсвѣтъ
Поспѣшаетъ, покинувъ постель.

Зачѣмъ, г. Некрасовъ, вы это рассказываете? Право, публика наша могла бы обойтись и безъ этихъ картинъ, а поэзія тѣмъ болѣе...

А ужъ насчетъ послѣдовательности и точности г. Некрасова и сравнивать невозможно съ „Полицейскими Вѣдомостями“.

Если послѣднія рассказываютъ о чемъ-нибудь, происходящемъ на петербургской мостовой, то вы такъ и знаете, что дѣло идетъ о мостовой; а г. Некрасовъ, въ силу ли своей поэтической фантазіи, или по причинѣ нетвердаго знанія русскаго синтаксиса, иногда вдругъ переноситъ сцену дѣйствія съ мостовой на облака, какъ, напримѣръ, въ слѣдующей фразѣ, которую мы выписываемъ вполнѣ, отъ точки до точки:

Тѣ же тучи по небу бѣгутъ,
Жутко нервамъ—желѣзной лопатой
Тамъ теперь мостовую скребутъ.

Гдѣ тамъ? на тучахъ? на небѣ?

Съ другой стороны, „Полицейскія Вѣдомости“ всегда соединяютъ однородные предметы съ однородными и переходятъ отъ однихъ къ другимъ въ нѣкоторой логической градаціи, а г. Некрасовъ, послѣ проститутки и постели, въ томъ же куплетѣ продолжаетъ:

Офицеры въ наемной каретѣ
Скачутъ за городъ: будетъ дуэль.

Это, во-первыхъ, обидно для господъ офицеровъ, потому что зачѣмъ же такое близкое сосѣдство, подъ кровлей одного куплета и въ непосредственной связи женскихъ и мужскихъ приемъ? Во-вторыхъ, это очень непослѣдовательно, потому что переходъ рѣшительно ничѣмъ, кромѣ приемы, не мотивированъ. „Полицейскія Вѣдомости“ опять въ этомъ случаѣ поступили бы и приличнѣе и логичнѣе. Такъ же и насчетъ наводненій: тамъ они фигурируютъ на особомъ мѣстѣ, какъ тому и слѣдуетъ быть, ибо наводненіе — въ нѣкоторомъ родѣ физическое явленіе; а г. Некрасовъ суесть его въ общую кучу, производя такимъ образомъ нѣкоторую „игру ума“, какъ говорится у Островскаго:

Чу! изъ крѣпости грянули пушки!
Наводненье столицъ грозитъ.
Кто-то умеръ: на красной подушкѣ
Первой степени Анна лежитъ.

Положимъ, смерть есть также физическое явленіе, а смерть сановника кромѣ того, пожалуй, заслуживаетъ быть внесенной въ дневникъ происшествій; но все какъ-то странно видѣть объ отмѣтки вмѣстѣ.

Въ послѣднемъ куплетѣ сила „игры ума“ превосходитъ предыдущее:

Дворникъ вора колотить — попался!
Гонять стадо свиней на убой,
Гдѣ то въ верхнемъ этажѣ раздался
Выстрѣлъ: кто-то покончилъ съ собой.

Хотя первая строка этого куплета и навѣяла чтеніемъ „дневника происшествій“, но въ дальнѣйшемъ г. Некрасовъ, очевидно, подражалъ уже не полицейской газетѣ, а извѣстному стихотворенію:

Рано утромъ вечеромъ
Поздно на разсвѣтѣ
Баба ѣхала верхомъ
Въ нанковой каретѣ...

Г. Некрасовъ заимствовалъ, какъ мы видѣли, даже и приемы изъ этого миленькаго стихотворенія — „на разсвѣтѣ“ и „въ каретѣ“; вообще, надо отдать ему справедливость:

подражаніе на этотъ разъ удалось какъ нельзя лучше, гораздо лучше, чѣмъ подражаніе „Полицейскимъ Вѣдомостямъ“. Съ послѣдними ему тягаться рѣшительно не по силамъ, не только въ отношеніи хорошаго тона и группировки матеріала по категоріямъ, но и въ отношеніи основательности: составитель „дневника происшествій“, безъ сомнѣнія, настолько знаетъ дѣйствующіе у насъ законы и порядки, что не скажетъ, напримѣръ, такъ:

На позорную площадь кого-то
Провезли—тамъ ужъ ждутъ палачи.

Изъ „Русскаго Мира“.

* * *

*) Изъ всѣхъ современныхъ поэтовъ нашихъ, никому не удалось такъ долго удерживать за собою званіе любима публики, какъ г. Некрасову. Многіе льстили этой публикѣ и заискивали ея вниманіе, иногда не безъ ущерба своему достоинству; но тогда какъ г. Курочкинъ, Розенгеймъ и друг. послѣ кратковременнаго блистанія на литературномъ горизонтѣ принуждены были отойти въ сѣнь забвенія, г. Некрасовъ продолжаетъ десятки лѣтъ сохранять за собою значеніе яркаго поэтическаго свѣтила, и въ кругу его многочисленныхъ поклонниковъ можно найти людей, стоящихъ на самыхъ различныхъ уровняхъ образованія и ума. Публика г. Некрасова не только не уменьшается, но, повидимому, возрастаетъ; по крайней мѣрѣ, такъ можно судить по чрезвычайной быстротѣ, съ какою онъ возобновляетъ и продолжаетъ изданія своихъ произведеній. Съ небольшимъ годъ назадъ, мы дали отчетъ о пятой части его стихотвореній, и предъ нами уже лежитъ шестая часть, а пятая повторена новымъ изданіемъ. Въ продажѣ „любимый“ поэтъ обращается во всевозможныхъ видахъ: есть г. Некрасовъ въ трехъ томахъ, есть г. Некрасовъ въ шести томахъ,—есть пятая и шестая части г. Некрасова въ совокупности, и есть тѣ же части г. Некрасова въ отдѣльности. Почитатели г. Некрасова

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1874 г., томъ 112, № 7 статья А. (Авсѣенко), подъ заглавіемъ: „Реальнѣйшій Поэтъ“.

могутъ приобрѣтать его по желанію въ тонкомъ или въ толстомъ, но всегда въ изящномъ видѣ, тогда какъ, напримѣръ, Лермонтова можно купить только на сѣрой бумагѣ, отпечатаннаго какими-то афишечными шрифтами. Все это заставляеть думать, что г. Некрасовъ поступаетъ не совсѣмъ искренно, говоря въ одномъ новоизданномъ своемъ стихотвореніи:

Я полагалъ, съ либеральнаго
Есть направленія барышъ —
Больше чѣмъ съ мѣста квартальнаго.
Что жъ оказалось? — шишъ!

Позволительно думать, что не только квартальные надзиратели, но и многіе полицеймейстеры охотно промѣняли бы свои доходы на скромную изду, какую съ неоскудѣвающимъ успѣхомъ долгіе годы взимаетъ г. Некрасовъ съ „либеральнаго направленія“. Но это, такъ сказать, частное дѣло г. Некрасова, отъ котораго онъ имѣетъ полное право отстранить всякій нескромный посторонній взглядъ.

Гораздо важнѣе для насъ то, что успѣхъ г. Некрасова въ публикѣ выражаетъ собою успѣхъ извѣстныхъ началъ, которымъ позѣ служить, и нагляднымъ образомъ опредѣляетъ нынѣшній умственный и художественный уровень большинства читающей массы. Въ этомъ отношеніи изученіе г. Некрасова въ содержаніи и формѣ представляетъ много поучительнаго, даже въ томъ случаѣ, когда о его новыхъ произведеніяхъ нельзя сказать чего-нибудь совершенно новаго. Никогда не мѣшаетъ лишній разъ оглянуться на самихъ себя, на наше сегодняшнее общество, съ его требованіями и вкусами, сколько бы разочарованій ни сулила намъ такая оглядка...

Итакъ обратимся къ г. Некрасову и къ лежащей предъ нами шестой части его стихотвореній.

Книжка эта составилаь изъ двухъ главъ поэмы: *Кому на Руси жить хорошо*, и изъ нѣсколькихъ мелкихъ стихотвореній, по большей части перепечатанныхъ изъ старыхъ журналовъ пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ. Оставшимся сначала на послѣднихъ, такъ какъ публика успѣла

уже забыть ихъ, да впрочемъ едва ли они были замѣчены и при первомъ своемъ появленіи.

Содержаніе всѣхъ этихъ мелкихъ, большею частью неоконченныхъ и уже совершенно неотдѣланныхъ стихотвореній, не отличается ни глубиной, ни новизной. Лучшее изъ нихъ: *Дѣтство*, передаетъ отрывочныя воспоминанія какой-то дѣвушки или женщины о старой деревянной церкви въ селѣ, гдѣ она родилась. Отецъ ея былъ священникомъ въ этой церкви, и потому-то вѣроятно на ней прежде всего останавливаются младенческія воспоминанія героини. Г. Некрасовъ, какъ извѣстно, принадлежитъ къ той литературной школѣ (созданной у насъ писателями-семинаристами), которая допускаетъ изображенія дѣтскихъ лѣтъ лишь съ цѣлью раздраженія желчнаго мизантропическаго чувства: дѣтство въ представленіяхъ этой литературной школы,—быть можетъ, подъ вліяніемъ привходящаго автобіографическаго, личнаго элемента,—является всегда въ видѣ мрачнаго пятна въ жизни, сопровождается колотушками, потасовками, непечатною бранью, раннимъ растравленіемъ человѣконенавистныхъ и озлобленныхъ чувствъ. Г. Некрасовъ самъ неоднократно пѣлъ о своихъ дѣтскихъ годахъ въ одну ноту съ писателями, которыхъ мы имѣемъ въ виду. Потому-то намъ было особенно пріятно встрѣтить въ стихотвореніи *Дѣтство* значительно иной тонъ, весьма мало свойственный поэзіи г. Некрасова вообще. Дѣтство является въ этомъ стихотвореніи не безъ нѣкотораго поэтическаго отпечатка и не безъ тѣхъ теплыхъ, прочувствованныхъ красокъ, подъ какими обыкновенно грезятся дѣтскіе годы человѣку, не одеревенѣвшему среди борьбы и разочарованій позднѣйшаго возраста. Потому-то, вѣроятно, стихотвореніе и осталось неоконченнымъ въ портфель поэта: онъ догадался, что эта полуразрушенная, ветхая церковь, съ поросшею мохомъ крышей и темными ликами святыхъ на дрожащихъ стѣнахъ, своею поэтическою теплою правдой представляетъ слишкомъ рѣзкій контрастъ съ содержаніемъ всей его поэзіи, исполненной какого-то фальшиваго ропота, версификаторскаго безсердечія и нездороваго, искусственнаго возбужденія. Къ сожалѣнію, небрежная форма этого отрывка зна-

чительно вредить поэтическому впечатлѣнію: едва-ли могутъ быть также сочтены позволительными (въ особенности для реального поэта, какимъ мнитъ себя г. Некрасовъ) гиперболическія несообразности, въ родѣ слѣдующей:

. Играла я,
Помню, однажды съ подругами
И набѣжала нечаянно
На полусгнившее дерево;
Пылью, обдавъ меня, дерево
Вдругъ подо мною разсыпалось:
Я провалилась въ развалины
Внутрь запустѣлаго зданія... и т. д.

Едва ли возможно провалиться „внутрь“ запустѣлаго зданія сквозь полусгнившее дерево, да и самый пассажъ, предполагающій его физически-возможнымъ, ни какъ не поэтиченъ.

Содержаніе остальныхъ мелкихъ стихотвореній г. Некрасова, вошедшихъ въ шестую часть, до того пусто и низменно, что съ нимъ невозможно знакомить читателя, не испытывая нѣкотораго непріятнаго конфуза за автора. Это по большей части варіаціи на темы, нѣкогда воспѣваемые г. Розенгеймомъ или переводчиками Оффенбаховскихъ оперетокъ для Александринскаго театра. Въ одномъ, напри-мѣръ, какой-то толстякъ рассказываетъ, какъ всѣ смѣются надъ его непомѣрною тучностью, при чемъ лучшая острота принадлежитъ кучеру, замѣтившему, что еслибъ этому господину

...„въ брюхо и попало дышло,
Такъ насквозь оно бы, чай, не вышло?“

Въ другомъ стихотвореніи рассказывается, какъ одна барыня, ударивъ въ Берлинѣ горничную, получила отъ нея такую же затрещину, что даетъ поводъ поэту высказать такую мораль:

Ахъ, лучше бъ, душечка, въ деревнѣ дѣвокъ стричь,
Да надирать виски безгласному холопу...

Мы ничего не имѣли бы противъ такой (впрочемъ, ужъ крайне аляповатой) ироніи надъ крѣпостнымъ правомъ, если бъ эффектъ ея не уничтожался неосторожностью авто-

ра, выставившаго подъ стихотвореніемъ 1861 годъ. Это ужъ иронія надъ самимъ собой, и очень злая иронія!

Въ *Письмѣ объ Аргусѣ* повѣствуется о затруднительномъ положеніи издателя одного либеральнаго журнала, сошедшагося съ нигилистами: издатель, желая извлечь изъ своего свободомыслія нѣкоторые барыши, хотѣлъ побольше пускать даровыхъ статей, а редакторъ, весьма равнодушный къ издательскимъ барышамъ, не соглашался печатать даровыхъ статей и требовалъ для сотрудниковъ большаго гонорара. Издатель принужденъ былъ покончить съ журналомъ и разойтись съ редакторомъ, который при этомъ

... улыбнулся язвительно
И засвисталъ, засвисталъ!

Разсказываетъ ли въ этомъ стихотвореніи г. Некрасовъ исторію своего *Современника* или какого-нибудь фантастическаго изданія, неизвѣстно; но такъ какъ онъ былъ издателемъ либеральнаго журнала, и имѣлъ несговорчиваго редактора, любившаго „улыбнуться язвительно и засвистать!“ то понятно, что издательское дѣло при подобныхъ условіяхъ имѣетъ для него чрезвычайный личный интересъ; сомнительно однако, чтобы читатель могъ найти въ упомянутомъ стихотвореніи что-либо любопытное для себя. Намъ оно показалось замѣчательнымъ только въ томъ отношеніи, что здѣсь обнаружилась крайняя односторонность поэтической фантазіи автора. На палитрѣ его, очевидно, преобладаютъ краски все одного цвѣта и одного и того же, весьма сильнаго, но далеко непріятнаго запаха. Разсказываетъ онъ, напримѣръ, какъ отъ напора льда обрушились мостки на Невѣ—и какъ вы думаете, какимъ поэтическимъ сравненіемъ рисуетъ онъ смятеніе пѣшиходовъ?—

Словно близъ дома питейнаго
Кривы носились кругомъ!!

Съ тѣхъ поръ, какъ поэты употребляютъ фигуральную рѣчь, едва ли было сдѣлано болѣе оригинальное сравненіе... Или вотъ, напримѣръ, какъ исчисляетъ онъ подписчиковъ.

либеральнаго журнала, иронизируя, такъ-сказать, въ пустомъ пространствѣ:

И вѣдь какіе подписчики!
Ихъ и продать-то не жаль:
Аптекаря, переписчики —
Словомъ, ужасная шваль!
Впрочемъ, средь бабьихъ передниковъ
И неуклюжихъ лаптей —
Трое дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ,
Двое армянскихъ князей!
Публика все чрезвычайная,
Даже чиновниковъ нѣтъ.
Охтенка, чтица случайная
(Втеръ ей за сливки билетъ),
Дьяконъ какой-то съ разсрочкою и т. д.

Все это, очевидно, сумбуръ, потому что такой публики нѣтъ ни у одного журнала, хотя бы и либеральнаго: читающая „шваль“ ходитъ у насъ не въ лаптяхъ и не въ охтенскихъ кацавейкахъ. Приплелъ же г. Некрасовъ все это единственно потому, что у него есть потребность на каждую страницу хоть чуть-чуть подпустить запаху сивухи и дегтю. Въ этомъ запахѣ онъ, какъ мы имѣли случай указывать прежде, видитъ букетъ русской народности.

Можно сказать, что чѣмъ ближе къ концу книги, тѣмъ содержаніе стихотвореній г. Некрасова становится все низменнѣе и низменнѣе. Онъ рассказываетъ уже окончательныя плоскости, напримѣръ, о томъ, какъ женихъ разочаровался въ своей невѣстѣ, заставъ ее въ кухнѣ пекущею пироги и пр. Единственнымъ извиненіемъ подобной пошлости могъ бы служить подписанный подъ нею 1850 годъ; но чѣмъ оправдать заботливую перепечатку этого стихотворенія въ 1874 году? Въ сценѣ *Дѣловой Разговоръ* излагаются въ цѣлыхъ 17 страницахъ дубовыми виршами, такія банальности, что, щадя читателя, избавляемъ его отъ выдержекъ. Въ *Притчѣ о Киселѣ* рассказывается языкомъ петербургскихъ фельетоновъ о какомъ-то вельможѣ, управлявшемъ театрами и стригшемъ актеровъ подъ гребенку: въ другомъ стихотвореніи рѣчь идетъ о генералѣ, управлявшемъ цензурой; въ третьемъ о чиновникѣ, сокрушающемъ

ся, что у него лобъ очень низокъ; въ четвертомъ о мальчишкѣ, котораго отдають въ школу. Судя по крайне небрежной формѣ, надо думать, что всѣ эти стихотворенія писаны не для поэтического услажденія читателя, а ради сатирическаго содержанія, и можетъ быть даже ради предполагаемой въ нихъ высшей гражданской идеи. Но нельзя не согласиться, что эти идеи въ качественномъ отношеніи весьма немногимъ выше обличеній петербургскихъ мостовыхъ, которыми одно время усердно занимался г. Некрасовъ, и нисколько не выше гражданскихъ фельетоновъ, которыми наполняются уличные петербургскіе листки. Сатира г. Некрасова очевидно никакъ не въ силахъ отыскать того общественнаго зла, противъ котораго, по увѣреніямъ современной критики, ратуетъ нынѣшняя петербургская литература. Поэтъ, такъ-сказать, размахиваетъ сатирическимъ бичомъ въ пустомъ пространствѣ и постоянно бьетъ мимо цѣли; въ этомъ отношеніи онъ обнаруживаетъ гораздо менѣе чуткости къ современной мысли, но по крайней мѣрѣ избѣгаетъ обличеній заднимъ числомъ и остерегается въ семидесятыхъ годахъ казнить крѣпостное право.

Несмотря на прочную поэтическую репутацію, пріобрѣтенную г. Некрасовымъ, новыя стихотворенія его, при ихъ жалкой бѣдности содержанія, вѣроятно наскучили бы усерднѣйшимъ его поклонникамъ, если бы не заключали въ себѣ одной особенности, очевидно пришедшейся по вкусу современному читателю. Особенность эта заключается въ непохвальной, неслышанной, такъ сказать, площадной грубости, отважно вносимой имъ въ печать. Г. Некрасовъ уснащаетъ свои стихи словами и выраженіями, которыя часто заставляютъ вспоминать собственное его сравненіе:

Словно близъ дома питейнаго
Крики носились кругомъ...

Въ этомъ употребленіи непечатныхъ словъ и выраженій для современнаго читателя, очевидно, заключается своего рода прелесть, подобно тому, какъ читателей прежнихъ поколѣній привлекала виртуозною изящностью своего языка. Это, впрочемъ, и понятно: отрицая поэзію, но по-

ощряя стихотворство и виршеплетство, современный журнализмъ естественно долженъ былъ отвергнуть элементарныя требованія красоты и благородства, безъ которыхъ въ прежнее время немислимымъ считалось какое искусство. Гораздо менѣе логично то, что поэты нашихъ дней, пренебрегая изяществомъ формы и содержанія, не стѣсняются вмѣстѣ и требованіями обыкновеннаго здраваго смысла. У г. Некрасова есть, напримѣръ, стихотвореніе *Утро*, не успѣвшее войти въ отдѣльное изданіе и представляющее замѣчательный образчикъ какъ грубой непристойности выраженій, такъ и совершенной бессмыслицы и безсвязности содержанія. Въ этомъ стихотвореніи поэтъ сравниваетъ деревенское утро съ петербургскимъ. Первые три куплета, представляя лишь перифразировку того, что много разъ было говорено Г. Некрасовымъ раньше, не останавливаютъ вниманія; но начиная съ четвертаго куплета, реальный поэтъ впадаетъ въ такую свободу выраженій, которая заставляетъ думать, что для трезвыхъ поэтовъ новой школы грамматика и логика рѣшительно не обязательны. „Но не краше и городъ богатый“, говоритъ поэтъ: —

Тѣ же тучи по небу бѣгутъ,
Жутко нервамъ — желѣзной лопатой
Тамъ теперь мостовую скребутъ.

Куда относится это *тамъ*? къ небу? къ нервамъ? Не давая отвѣта, поэтъ продолжаетъ:

Начинается всюду работа,
Возвѣстили пожаръ съ каланчи,
На позорную площадь кого-то
Провезли, — тамъ ужъ ждуть палачи.

Какой, подумаешь криминальный городъ Петербургъ — чуть утро, сейчасъ работа палачамъ... Но поэтъ, почерпнувшій свое реальное вдохновеніе изъ газетъ и журналовъ, не просмотрѣлъ ли на этотъ разъ, что тѣлесныя наказанія отиѣнены въ Россіи, такъ же какъ и смертная казнь, и что если въ настоящее время и существуютъ еще въ Петербургѣ палачи, то во всякомъ случаѣ роль ихъ не такъ дѣя-

тельна и значительна, какъ представляется г. Некрасову?
Далѣе:

Проститутка домой на разсвѣтъ
Поспѣшаетъ, покинувъ постель;
Офицеры въ наемной каретѣ
Скачутъ за городъ: будетъ дуэль.

Проститутку г. Некрасовъ придумалъ, очевидно, для подробности о постели. Но къ чему понадобились поэту офицеры, скачущіе на дуэль? будто ужъ въ самомъ дѣлѣ въ Петербургѣ что ни утро, то дуэль? не приплетены ли они просто ради рими? Послѣ двухъ еще куплетовъ заключительное четверостишіе гласитъ:

Дворникъ вора колотитъ — попался!
Гонятъ стадо свиней на убой,
Гдѣ-то въ верхнемъ этажѣ раздался
Выстрѣлъ: кто-то покончилъ съ собой...

Поэтъ кончилъ на приведенномъ куплетѣ конечно лишь потому, что надо же когда-нибудь кончить; но никакой внутренней потребности ограничиться наборомъ именно только тѣхъ словъ, какія набралъ поэтъ, читатель не ощущаетъ, и стихотвореніе могло бы быть продолжено въ томъ же родѣ на какое угодно количество строкъ. Можно было бы упомянуть, напримѣръ, какъ бабы везутъ бѣлье полоскать въ Фонтанкѣ, какъ Ванька выѣзжаетъ со двора на заморенной клячѣ, какъ городской сморкается двумя пальцами и пр. и пр. Да, вѣроятно, Некрасовъ все это и расскажетъ въ одномъ изъ слѣдующихъ стихотвореній. Пристрастіе къ неблагопристойностямъ, къ употребленію въ печати такихъ выраженій, какихъ мало-мальски порядочные люди не допустятъ даже въ изустномъ разговорѣ, у г. Некрасова, повидимому, не есть что-либо случайное. Мы не обратили бы на эти пикантности дурного тона большого вниманія, если бъ онѣ проскользнули въ два-три мелкія стихотворенія; но въ последнее время онѣ являются у г. Некрасова въ такомъ изобиліи и такъ постоянно, что перестаютъ казаться случайностью. Самое крупное изъ его произведеній позднѣйшаго времени, нескончаемая поэма: *Кому на Руси жить*

хорошо, вся построена именно на эффектахъ, какіе должны производить непечатныя слова, появляясь въ печати. Г. Некрасовъ не просто позволяетъ себѣ обмолвиться неприличностями, онъ, такъ сказать, въздѣлываетъ эту литературную цѣлину, обнаруживая при этомъ изобрѣтательность, достойную лучшаго дѣла. Его мужички такъ хитро играютъ неприличностями и плоскостями, что настоящимъ мужикамъ, конечно и на умъ не въспало, чтобы можно было такъ безобразничать русскимъ языкомъ; навѣрно ни близъ какого „дома питейнаго“ не слышно такихъ кудреватыхъ пошлостей, какими украшена чуть не каждая страница поэмы г. Некрасова, и въ особенности послѣдней главы ея: *Крестьянка*. Столько настойчивости и изобрѣтательности, конечно, не могутъ быть случайными; г. Некрасовъ, очевидно, открылъ въ своемъ талантѣ новую силу и вводитъ въ современныя понятія о поэзіи новый элементъ, который, безъ сомнѣнія, считаетъ далеко не чуждымъ нынѣшнему литературному вкусу, далеко не неблагоприятнымъ для стихотворца нашихъ дней. И очень можетъ быть, что онъ правъ: когда у поэзіи отнимаютъ содержаніе, смыслъ, красоту, благородство чувства и выраженія, необходимо что-нибудь дать взамѣну всѣхъ этихъ отвергнутыхъ элементовъ, и новое поколѣніе читателей, быть можетъ, мало-по-малу приучится искать въ стихахъ пряности сальныхъ словъ и двусмысленностей.

Шестая часть стихотвореній г. Некрасова заключаетъ въ себѣ двѣ главы изъ поэмы: *Кому на Руси жить хорошо*. Первая, подъ напоминающимъ акушерскую практику заглавіемъ *Послѣднѣ* построена на совершенно невѣроятномъ и, можно сказать, вполне бессмысленномъ анекдотѣ. Какой-то выжившій изъ ума князь Утятинъ хочетъ лишить своихъ сыновей наслѣдства за то, что они допустили состояться освобожденію крестьянъ; сыновья, чтобы успокоить отца, увѣряютъ его, что крестьяне вновь отданы помѣщикамъ и подговариваютъ цѣлое село показывать старому князю видъ, будто крѣпостное право существуетъ, обѣщая за эту комедію подарить крестьянамъ луга. На этой-то комедіи, разыгрываемой мужиками, и основанъ предполагаемый юморъ поэмы. Г. Некрасову нелѣпая затѣя его ка-

жется такъ смѣшна, что онъ поминутно заставляетъ хохотать цѣлую волость, въ силу авторской фантазіи, продѣлывающей нѣсколько мѣсяцевъ сряду невозможнѣйшій фарсъ: ахъ, какъ-моль смѣшно! Вотъ до чего могутъ довести водеvilьныя отношенія къ народу и привычка считать его стоящимъ на той же степени бездѣльничества, на какой оказываются нерѣдко инныя литературныя свѣтила. Г. Некрасовъ, очевидно, не въ состояніи понять, что русскій крестьянинъ, хотя бы „Вахлацкой“ волости, долго еще не дойдетъ до той умственной скудости, какую являетъ поэма *Послѣдышъ*, и не станетъ забавляться бессмысленными фарсами, которые представляются столь забавными петербургскому поэту...

Укажемъ на одну сцену, ради которой, кажется, и сочиненъ весь *Послѣдышъ*. Крестьянинъ Агапъ, не одобрявшій затѣяннаго фарса, не захотѣлъ играть роль, и обиженный помѣщикомъ, наговорилъ ему дерзостей. Послѣдышъ, внѣ себя отъ изумленія и гнѣва, велитъ наказать грубіяна предъ всею волостью. Бурмистръ, опасаясь, чтобъ обманъ не открылся, за штофъ водки уговариваетъ Агапа подчиниться для вида распоряженію помѣщика:

Въ конюшню плутъ преступника
Привелъ, передъ крестьяниномъ
Поставилъ штофъ вина:
„Пей, да кричи: Помилуйте!
Ой батюшки! ой матушки!“
Послушался Агапъ,
Чу, вопить! Словно музыку
Послѣдышъ стоны слушаетъ,
Чуть мы не разсмѣялися,
Какъ сталъ онъ приговаривать:
„Катай его, разбойника,
Бунтовщика... Катай!“
Ни дать, ни взять подъ розгами
Кричалъ Агапъ, дурачился,
Пока не допилъ штофъ:
Какъ изъ конюшни вынесли
Его мертвецки пьянаго
Четыре мужика,
Такъ баринъ даже сжалился:
„Самъ виновать, Агапушка“,
Онъ ласково сказалъ...

Пикантностями подобного рода очень дорожить г. Некрасовъ и заботливо украсилъ ими свою поэму. Сцены дранья, различные приемы употребленія розогъ и вообще вся теорія и исторія сѣченія составляетъ, какъ мы увидимъ, любимую тему реальнаго поэта и самый благодарный источникъ его вдохновенія. *Послѣднѣйшѣ* не лишень впрочемъ и пикантностей другого рода; наприимѣръ, авторъ приводитъ такой разговоръ между мужичками:

Въ кромѣшный адъ провалимся,
Такъ ждетъ и тамъ крестьянина
Работа на господъ!
— Что-жь тамъ-то будетъ, Климушка?
— А будетъ, что назначено:
Они въ котлѣ кипѣтъ,
А мы дрова подкладывать.

Люди, мало-мальски знакомые съ нашимъ крестьянствомъ, позволятъ себѣ усомниться, чтобъ ихъ отношенія къ дворянамъ были до такой степени проникнуты злобною ненавистью, какъ это кажется г. Некрасову. Но что за важность! *ben trovato* — вотъ все, къ чему стремятся петербургскіе поэты новой школы.

Намъ пора однакоже перейти къ поэмѣ *Крестьянка*, составляющей отдѣльный эпизодъ поэмы *Кому на Руси жить хорошо* и вмѣстѣ самое крупное произведеніе новой шестой части стихотвореній г. Некрасова. Намъ тѣмъ болѣе слѣдуетъ остановиться на этой поэмѣ, что нѣкоторыя, уже указанныя нами общія черты стихотворства г. Некрасова, выступаютъ въ ней съ особенною рельефностью, и произведеніе это можетъ назваться самымъ характернымъ образчикомъ той *suí generis* поэзіи, которой, повидимому, суждено господствовать въ нашей литературѣ. Поэтому мы позволимъ себѣ прослѣдить послѣдовательно содержаніе поэмы, и рѣшаемся указывать даже такія подробности, которымъ по настоящему не должно бы быть мѣста въ печати. Если чувство читателя будетъ такимъ образомъ не разъ возмущено, онъ, по крайней мѣрѣ, въ состояніи будетъ измѣрять всю глубину нашего литературнаго паденія — результатъ во всякомъ случаѣ полезный, хотя бы съ отрицательной стороны.

Первыя строки поэмы какъ нельзя лучше даютъ понятіе о томъ плоскомъ и грязномъ, мнимо-юмористическомъ тонѣ, въ которомъ задумано произведеніе.

Не все между мужчинами
Отыскивать счастливаго,
Пощупаемъ-ка бабъ,

начинаетъ реальный поэтъ и тутъ же спѣшить обрисовать свой идеаль бабы:

Корова холмогорская,
Не баба! Доброумнѣ
И глаже—бабы нѣтъ!

Узнавъ, что такая баба водится въ селѣ Клину, мужички, странствующие въ поискахъ за счастливымъ человѣкомъ на Руси, отправляются ее отыскивать. Идутъ они полями и занимаются философствованіемъ на нѣкоторыя соціальныя темы:

Пшеница ихъ не радуешь.
Ты тѣмъ передъ крестьяниномъ,
Пшеница, провинилася,
Что кормишь ты *по выбору*;
За то не влюбуются
На рожь, что *кормить естъ*.

Приходятъ они въ покинутую помѣщикомъ усадьбу и встрѣчаютъ тамъ дворового, у котораго по всей спинѣ „былъ нарисованъ левъ“. Мужички долго спорятъ и недоумѣваютъ, что за нарядъ диковинный на дворовомъ, пока догадливый Пахомъ не разрѣшилъ ихъ загадки:

Халуй хитерь: стащить коверъ,
Въ коврѣ дыру продѣлаетъ,
Въ дыру просунетъ голову
Да и гуляетъ такъ!

Въ саду видятъ они бесѣдку, а на бесѣдкѣ надпись, которая опять приводитъ ихъ въ недоумѣніе. Авторъ, однако, спѣшитъ объяснить въ чемъ дѣло:

Насилу догадалися,
Что надпись переправлена:

Затерты двѣ, три литеры,
Изъ слова благороднаго
Такая вышла дрянь!

Понятно, что ни по ходу разсказа, ни по побочнымъ обстоятельствамъ рѣшительно не было никакой надобности въ этой неуклюжей подробности; явилась она очевидно потому, что авторъ считаетъ необходимымъ украсить свое произведение наибольшимъ количествомъ непристойностей, составляющихъ, повидимому, существенный элементъ новой поэзіи. Мысль о неблагопристойной надписи такъ понравилась реальному поэту, что онъ возвращается къ ней на той же страницѣ въ стихахъ:

На что вамъ книги умныя?
Вамъ выгѣски питейныя
Да слово: *встрѣчается*,
Что на столбахъ *встрѣчается*,
Достаточно читать!

Опустѣлая усадьба вообще богата диковинами: до слуха нашихъ странниковъ вдругъ доносится пѣсня незнакомаго пѣвца, поющего якобы „нерусскія слова“. Оказывается, что это малороссійскій пѣвецъ, завезенный помѣщикомъ изъ Конотопа и брошенный здѣсь. Его, конечно, скука томить страшная, и для развлечения придумалъ онъ слѣдующее.

Отсюда версты три
Есть дьяконъ... тоже съ голосомъ...
Такъ вотъ они затѣяли
По-своему здороваться
На утренней зарѣ.
На башню какъ подымется
Да рявкнетъ нашъ: „здо-ро-во-ли
Жи-вешь, о-тецъ И-пать?“
Такъ стекла затрещать!
А тотъ ему оттуда-то:
„Здорово, нашъ со-ло-ву-шко!
Жду вод-ку пить!“—И-ду!...
„Иду“—то это въ воздухъ
Чась цѣлый отливается. .
Такіе жеребцы!

Въ концѣ концовъ странники отыскиваютъ свою „корову холмогорскую“, Матрену Тимофеевну, которая и выклады-

ваетъ предъ ними всю свою душу, то-есть рассказываетъ повѣсть своей жизни.

Вышла Матрена замужъ за красиваго и бойкаго питерщика Филиппа. Жили они согласно; мужъ колотилъ жену, какъ и слѣдуетъ, по мнѣнію петербургскихъ изслѣдователей народной жизни, вѣрящихъ пословицѣ: кого люблю, того и бью. При рѣчи о побояхъ, собесѣдники затягиваютъ хоромъ пѣсню, представляющую порожденіе какого-то отвратительнаго плотоядства:

Мой постылый мужъ
Подымается,
За шелкову плетъ
Принимается.

Х о р ъ.

Плетва свистнула,
Кровь пробрызнула...
Ахъ! лели! лели!
Кровь пробрызнула...

Поэтъ варьировать свою пѣсенку до трехъ разъ...

Свистящая плетъ и брызжащая кровь такъ понравились автору, что различные виды порки и битья дѣлаются съ этихъ поръ господствующимъ мотивомъ поэмы. Онъ сочиняетъ даже цѣлую вводную главу, не имѣющую никакой связи съ общимъ ходомъ повѣствованія, чтобы разыграть этотъ мотивъ во множествѣ варьяцій. Онъ выводитъ какого-то святорусскаго (?) богатыря Савелія, богатырство котораго заключается въ томъ, что онъ безъ поврежденія выносить на своей спинѣ всѣ виды разнообразнаго и мастерскаго сѣченія. Этотъ характерный видъ святорусскаго богатырства, изобрѣтенный г. Некрасовымъ, поэтъ желаетъ объяснить au sérieux, заставляя Савелія говорить такимъ образомъ:

Ты думаешь, Матренушка,
Мужикъ не богатырь?
И жизнь его не ратная,
И смерть ему не писана
Въ бою — а богатырь!
Цѣпями (?) руки кручены,
Желѣзомъ ноги кованы (?),

Спина... лѣса дремучіе
Прошли по ней — сломались.
А грудь? Илья пророкъ
По ней (?) гремитъ, катается
На колесницѣ огненной...
Все терпитъ богатырь!

Лѣса дремучіе начали ломаться на спинѣ Савелія съ тѣхъ поръ, какъ помѣщикъ его Шалашниковъ вздумалъ требовать со своихъ крестьянъ оброкъ.[†] Во времена *досюльныхъ* къ деревнѣ ихъ не было приступа черезъ непроходимые лѣса, такъ что помѣщикъ разъ даже съ полкомъ пробовалъ достигнута къ нимъ и не могъ (!). Тогда онъ вытребовалъ крестьянъ къ себѣ въ городъ, и принялся ихъ пороть, чтобы выколотить изъ нихъ оброкъ. Поэтъ, конечно, не упускаетъ случая изобразить грандіозную сцену порки по всѣмъ требованіямъ реалистической поэзіи:

Туга мощна корѣжская!
Да стоекъ и Шалашниковъ;
Ужъ языки мѣшались,
Мозги ужъ потрясались,
Въ головушкахъ — дереть!
Укрѣпа (?) богатырская,
Не розги!

Крестьянамъ стало на первый разъ невтерпѣжъ: запла-
тили. Шалашниковъ поднесъ имъ водки и похвалилъ, что
сдались:

А то — вотъ Богъ! — рѣшился я
Содрать съ васъ шкуру начисто...
На барабанъ напаялъ бы
И подарилъ полку!
Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха!
(Хочетъ — радъ придумочѣ)
Вотъ былъ бы барабанъ!

Оказалось однако, что двое стариковъ не сдались и по-
несли домой *подъ подоплекой* сторублевныя бумажки. Осталь-
ныхъ зло взяло — какъ это они смалодушничали? И рѣшили
корѣжцы на будущее время, сколько бы ни пороть ихъ
Шалашниковъ, не платить оброку. Такимъ образомъ, хотя:

Отмѣнно драгъ Шалашниковъ,
А не ахти великіе
Доходы получалъ:

сдавались слабые, а кто былъ покрѣпче, лучше желалъ умереть подъ розгами, чѣмъ отдать оброкъ. Къ послѣднимъ принадлежалъ и Савелій, разсуждавшій, что

Какъ ни дери, собачій сынъ,
А всей души не вышибешь,
Оставишь что-нибудь...

Вольное житье корѣжскихъ крестьянъ покончилось со смертью Шалашникова, новый владѣлецъ прислалъ управляющаго нѣмца, который тотчасъ прорубилъ въ лѣсахъ дороги, устроилъ удобное сообщеніе съ полиціей и принялся морить неплательщиковъ работой. Такъ шли дѣла восемнадцать лѣтъ, наконецъ крестьяне потеряли терпѣніе, столкнули нѣмца въ яму и засыпали живьемъ. Виновныхъ, конечно, посадили въ острогъ и порѣшили, по наказаніи плетями, сослать въ Сибирь. Савелью плети не причинили никакого неудовольствія:

Не выдрали — помазали,
Плохое тамъ дранье!

Вообще Шалашниковская школа была полезна Савелью; дальнѣйшее дранье принималось имъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ.

Заводскіе начальники
По всей Сибири славятся —
Собаку съѣли драть!
Да насъ диралъ Шалашниковъ
Большій — я не поморщился
Съ заводскаго дранья.
Тотъ мастеръ былъ — умѣлъ пороть!
Онъ такъ мнѣ шкуру выдѣлалъ,
Что носится сто лѣтъ.

Помимо роли „святорусскаго богатыря“, шкура котораго выдѣлана на сто лѣтъ розгами и плетями, Савелій является въ разсказѣ только для того, чтобы „скормить“ свиньямъ сына Матрены Тимофеевны, ненагляднаго Дѣмушку. Не-

обычайный пассажъ этотъ придуманъ авторомъ, очевидно, только для того, чтобы изобразить совершенно невѣроятную сцену, повѣствующую, какъ по случаю смерти Дѣмушки наѣзжаютъ чиновники чинить судъ неизвѣстно надъ чѣмъ и надъ кѣмъ (такъ какъ не видно, чтобы свинья, съѣвшая ребенка, была привлечена къ отвѣту), а прибывшій съ ними лѣкарь, которому Матрена забыла поклониться повинной, рѣжетъ Дѣмушку на куски предъ глазами матери. Возмутительныя подробности этой сцены переданы авторомъ съ реализмомъ, подобный которому можно отыскать развѣ въ учебникахъ судебной медицины, съ тою только разницей, что послѣдніе едва ли допускаютъ возможность вскрытія тѣла, уже съѣденнаго свиньями. Но, какъ мы не разъ уже видѣли, подобныя маленькія несообразности не смущаютъ поэтовъ и романистовъ реальной школы...

Есть еще одна любопытная черта въ изображеніи „святорусскаго“ богатыря, на которую нельзя не указать. Г. Некрасовъ, конечно, знакомый съ грандіозными типами русскаго простолюдина, созданными нашею художественною литературой, повидимому, пожелалъ сдѣлать изъ Савелія нѣчто подобное и сообщить ему тѣ черты высокаго духа, съ которыми русскіе люди являются иногда у графа Л. Толстаго, отчасти въ раннихъ произведеніяхъ г. Тургенева и, наконецъ, въ нѣкоторыхъ романахъ г. Достоевскаго. Савелій, тревожимый угрызеніями совѣсти за свою оплошность, жертвой которой сдѣлался Дѣмушка, прибѣгаетъ, подобно многимъ цѣльнымъ русскимъ натурамъ, къ утѣшеніямъ вѣры и молитвы. Онъ удаляется въ лѣса, уходитъ на покаянье въ далекій монастырь, и возвращается на могилу Дѣмушки, прибираетъ ее, ставитъ на ней складную золоченую икону. Матрена застаетъ его однажды распростертымъ предъ этой иконой. „Савельюшка! откуда ты взялся?“ спрашиваетъ удивленная мать, и слышитъ въ отвѣтъ:

— Пришелъ я изъ Песочнаго...
Молюсь за Дѣму бѣднаго,
За все страдное русское
Крестьянство я молюсь!
Еще молюсь (не образу

Теперь Савелій кланялся),
Чтобъ сердце твоей матери
Смягчилъ Господь... Прости!

Ограничса поэтъ этою хорошо уловленною чертой, образъ Савелія, несмотря даже на каррикатурныя подробности о его выдѣланной плетью шкурѣ, вышелъ бы не лишеннымъ грандіознаго художественнаго отпечатка. Обращеніе къ благочестію, понимаемому въ смыслѣ любви, прощенія, молитвеннаго подвига, умиротворяющаго житейскія бури и страсти — черта, лежащая во глубинѣ народнаго русскаго духа и послужившая для многихъ нашихъ художниковъ благодарнымъ мотивомъ. Но г. Некрасовъ, повидимому, почувствовалъ такъ-сказать только вѣйшую мелодію этого мотива, уловленнаго имъ очевидно не въ жизни, а въ литературѣ, и мотивъ этотъ не создалъ въ его представленіи никакого цѣльнаго образа. На слѣдующей же страницѣ г. Некрасовъ обращается попрежнему къ рецепту тенденціозной литературы, ищущей не живыхъ и цѣльныхъ типовъ, а ходячихъ глашатаевъ маленькихъ идей петербургскаго журнализма и носителей той безцѣльной и безпредметной злобы, которою новые беллетристы изобильно снабжаютъ своихъ героевъ. На слѣдующей же страницѣ г. Некрасовъ дорисовываетъ своего Савелія чертами, которыя находятся въ рѣшительномъ противорѣчьи съ только что указаннымъ нами мотивомъ и разрушаютъ мгновенно мелькнувшій предъ читателемъ грандіозный и художественно-цѣльный образъ. Послушный руководящимъ тенденціямъ петербургской журналистики, авторъ заставляетъ умирающаго Савелія, того самаго Савелія, который плакалъ и молился о смягченіи гнѣвнаго сердца матери, брызжать и хрипѣть въ тонѣ распяивавшагося мастерового, въ родѣ Михайла Иваныча, въ повѣсти г. Глѣба Успенскаго *Раззоренье*:

„Не паши,
Не сѣй, крестьянинъ, сгорбившись!
За пряжей, за полотнами,
Крестьянка, не сиди!
Какъ вы не бейтесь, глупые,
Что на роду написано,

Того не миновать!
Мущинамъ три дороженьки:
Кабакъ, острогъ да каторга,
А бабамъ на Руси
Три петля: шелку бѣлаго,
Вторая шелку краснаго,
А третья шелку чернаго—
Любую выбирай!
Въ любую полѣзай!“

Надо рѣшительно не имѣть художественнаго чутія и такта, чтобы не замѣтить, какимъ диссонансомъ звучить послѣ молитвы о смиреніи гнѣвнаго сердца матери эта злобная и клеветущая рѣчь, очевидно вдохновленная пьяными разглазольствами Михайла Ивановича „о прижимкѣ“, въ повѣсти г. Глѣба Успенскаго. Такъ, даже у писателей съ извѣстною литературною опытностію, неизбѣжно сказывается вліяніе той тенденціозной лжи, которой служитъ петербургская журналистика, опустившаяся до уровня уличныхъ понятій, требованій и вкусовъ.

Прослѣдимъ однѣмъ далѣе приключенія злополучной Матрены Тимофеевны. Не успѣла она наплакаться по Дѣмушкѣ, какъ стряхнулась надъ нею новая бѣда. Восьмилѣтній сынъ ея Ѳедотка взять былъ въ подпаски. Однажды въ отсутствіе пастуха, волчица выхватила изъ стада овцу и понесла ее черезъ поле. Ѳедотка бросился за нею и сталъ нагонять, такъ какъ волчица была „щонная“.

У ней сосцы волочились,
Кровавымъ слѣдомъ, матушка,
За нею я гнался!

Подробность объ окровавленныхъ сосцахъ такъ повратилась реальному поэту, что черезъ нѣсколько строкъ онъ возвращается къ ней:

Подъ ней рѣка кровавая,
Сосцы травой изрѣзаны,
Всѣ ребра на счету...

Ѳедотушка сжалился надъ голодною волчицей и бросилъ ей овцу... За это его, разумѣется, положили высѣчь. Мать

огорчилась за сына и въ сердцахъ толкнула старосту. Въ ту минуту, какъ *deus ex machina*, является помѣщикъ и „мигомъ“ рѣшаетъ:

„Подпaska малолѣтняго,
По младости, по глупости,
Простить... а бабу дерзкую
Примѣрно наказать!“

Реальному поэту представилось такимъ образомъ искушеніе — изобразить, какъ баба ложится подъ розги: мужики ее раздѣваютъ, розга свиститъ, кровь брызжетъ и т. д. Къ чести г. Некрасова надо сказать, что на этотъ разъ онъ почувствовалъ неудобство черезчуръ реальныхъ приѣмовъ описательной поэзіи, и, вмѣсто подробнаго изображенія порки, ограничился одною строчкой:

Легла я, молодцы...

— сокрывъ остальное подъ таинственными точками, надъ которыми и предоставлено разыгратъ воображенію читателя. Вслѣдъ за розгами, изобрѣтательная фантазія автора создаетъ для героини новыя напасти. Несмотря на то, что одинъ изъ братьевъ Матренина мужа уже ушелъ въ солдаты, сходъ назначаетъ жребій Филиппу. Кланялся онъ бурмистру, писарю, да ничего не успѣлъ выхлопотать, потому что

Задаренъ... всѣ задарены...

Матрена въ ужасѣ, Филиппу забрили лобъ и сѣкутъ, сѣкутъ... Почему сѣкутъ? За что сѣкутъ? Этого никто не можетъ объяснить читателю, но очевидно розга до того овладѣла воображеніемъ реального поэта, что онъ уже не можетъ совладѣть съ ея размахами, и она свищетъ по всей поэмѣ, безъ толку, безъ смысла, словно въ какой-то плотоядной галлюцинаціи. Неисповѣдимыми судьбами является вновь на сцену умершій много лѣтъ назадъ Шалашниковъ и начинается выдѣлку человѣческихъ шкуръ:

Филиппа вывели
На середину площади:
„Эй! перемѣна первая!“

Шалашниковъ кричитъ.
Упалъ Филиппъ: — Помилюйте!
„А ты попробуй! слюбится!
Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха!
Укрѣпа богатырская,
Не розги у меня!“

Матрена соскакиваетъ съ печи и бросается бѣжать, въ морозную зимнюю ночь, причитая на бѣгу:

Владычица, во мнѣ
Нѣтъ косточки неломаной,
Нѣтъ жилочки не тянутой,
Кровинки нѣтъ не порченой —
Терплю и не ропшу!

Кто ей переломалъ косточки и повытянулъ жилочки, и какимъ образомъ можетъ бѣжать баба, приведенная въ такое состояніе—реальный поэтъ не счелъ нужнымъ объяснить читателю. Но замѣчательно, что тутъ опять, рядомъ—съ этимъ тенденціознымъ коверканьемъ злополучной героини, у автора проскакиваетъ черта очень вѣрная дѣйствительности и, очевидно, заимствованная изъ литературныхъ произведеній совсѣмъ другой категоріи: вслѣдъ за нелѣпными причитаніями. Матрена говоритъ, какъ говорятъ простыя русскія женщины:

Молиться въ ночь морозную
Подъ звѣзднымъ небомъ божіимъ
Люблю я съ той поры.
Бѣда пристигнетъ —вспомните
И женамъ посоветуйте:
Усерднѣй не помолишься
Нигдѣ и никогда.
Чѣмъ больше я молилася,
Тѣмъ легче становилоса,
И силы прибавлялося,
Чѣмъ чаще я касалася
До бѣлой, снѣжной скатерти
Горящей головой...

За исключеніемъ послѣдней фразы, страдающей вычурною фигуральностію, эти строки на мгновеніе сообщаютъ образу Матрены Тимофеевны поэтическое освѣщеніе, черты художественной живучести; изъ-за каррикатурно-изломанной,

сочиненной фигуры крестьянки на мгновение какъ будто промелькнула живая русская женщина. Но г. Некрасовъ не въ состояніи останавливаться на подобныхъ чертахъ, очевидно, навѣваемыхъ ему случайно, изъ литературныхъ впечатлѣній и воспоминаній. Вслѣдъ за словами простой, смиряющейся, молитвенно-настроенной русской женщины, изъ устъ Матрены изливаются рѣчи полныя нестерпимаго резонерства и фальши, словно поэтъ вдругъ исчезъ со сцены, и на мѣстѣ его начинаетъ усиленно трудиться маленькій газетный ремесленникъ. Видитъ Матрена таящіеся въ городѣ крестьянскіе обозы съ сѣномъ и хлѣбомъ, и изъясняется такимъ образомъ:

Жалѣла я коней:
Свои кормы законные
Везутъ съ двора, сердечные,
Чтобъ послѣ голодать.
И такъ-то все, я думала:
Рабочій конь солому ѣстъ,
А пустошлась — овесъ!

Подъ *пустошлась* въѣроятно, слѣдуетъ подразумѣвать господскую или кавалерійскую лошадь. Это измышленіе Матрены составляетъ достойный pendant къ приведенному выше разсужденію мужичковъ о провинности пшеницы, которая кормитъ *по выбору*. Затѣмъ авторъ уже не умѣетъ сойти съ фальшиваго тона, на который попалъ, и оканчиваетъ поэму балаганнымъ фарсомъ, напоминающимъ тотъ родъ произведеній, къ которому относятся повѣсть *Война Оедосы съ Китайцами* и прочіе продукты рыночной книжной промышленности. Матрена приходитъ въ губернскій городъ, отыскиваетъ губернаторскій домъ, и послѣ совершенно нелѣпаго разговора со швейцаромъ, разрѣшается отъ бремени на крыльцѣ, на глазахъ супруги начальника губерніи. Для чего г. Некрасову понадобилось украсить свою поэму этимъ фізіологическимъ актомъ, остается загадкой для читателя, на ряду со многими тайнами реалистической поэзіи. Сердобольная, но маломыслящая губернаторша, вмѣсто того чтобъ отправить родильницу въ городскую больницу, даетъ ей комнату въ губернаторскомъ домѣ и нани-

маеть къ новорожденному кормилицу. Само собою разумѣется, что начальникъ губерніи, найдя въ своемъ домѣ неожиданныхъ гостей, входитъ въ филантропическую затѣю своей несмыслящей супруги, посылаетъ „нарочнаго“ проинформировать о неправильной сдачѣ Филиппа въ рекруты и возвращаетъ его счастливой Матренушкѣ, коровѣ холмогорской тожь. Начальница губерніи,

Елена Александровна
Ко мнѣ его, голубчика,
Сама, дай Богъ ей счастье,
За ручку подвела —

разсказываетъ Матренушка. Читатель ожидаетъ, что вслѣдъ за тѣмъ въ губерніи, управляемой такими благодушными супругами, всѣ бабы въ послѣдніе дни беременности стали приходить разрѣшаться на губернаторское крыльцо; но вмѣсто того, реальный поэтъ на вопросъ: что-жь дальше?—заставляетъ свою героиню заканчивать повѣсть своей жизни такимъ образомъ:

Сами знаете:
Ославили счастливицей,
Прозвали губернаторшей
Матрену съ той поры.

Въ этомъ прозвищѣ „счастливицы“ и заключается, по мнѣнію реального поэта, главная идея и глубокая иронія его поэмы: вотъ, молъ, что называютъ счастьемъ въ жизни русской крестьянки! И какъ бы опасаясь, чтобы иной простоватый читатель не почувствовалъ неумѣстнаго благодушія въ виду счастливой развязки, г. Некрасовъ спѣшитъ отбѣнить иронію своей поэмы такимъ образомъ, чтобы смыслъ ея былъ совершенно ясенъ, и чтобы никакому благодушію не осталось мѣста: „Что дальше? продолжаетъ Матрена,—

Домомъ правлю я,
Рощу дѣтей... на радость ли?
Вамъ тоже надо знать.
Пять сыновей! Крестьянскіе
Порядки нескончаемы —
Ужь взяли одного!

Любопытно, что г. Некрасовъ никогда не поспѣваетъ со своею сатирою вслѣдъ за дѣйствительностью, и обличаетъ послѣднюю, такъ-сказать заднимъ числомъ: подобно тому, какъ въ *Послѣдний* онъ обличилъ крѣпостное право черезъ двѣнадцать лѣтъ послѣ его отмѣны, какъ теперь, въ приведенныхъ строкахъ называетъ крестьянскіе порядки по отбыванію рекрутской повинности нескончаемыми именно въ ту минуту, когда они кончились... Любопытная черта отсутствія сатирическаго чутія и такта въ сатирическомъ поэтѣ! Въмѣсто того, чтобы искать общественнаго зла въ условіяхъ современной дѣйствительности, г. Некрасовъ предпочитаетъ дешевую эксплуатацію отжившихъ порядковъ или еще болѣе дешевое безпредметное иропизированіе, въ родѣ слѣдующаго:

Чего же вамъ еще?
Не то ли вамъ рассказывать,
Что дважды погорѣли мы,
Что Богъ сибирской языко
Насъ трижды посѣтилъ?
Дотуги лошадиныя
Несли мы: погуляла я
Какъ меринъ въ боронѣ (!)
Ногами я не топтана,
Веревками не вязана,
Иголками (?) не колота...
Чего же вамъ еще?

Это напоминаетъ извѣстное, старое стихотвореніе г. Некрасова о чиновникѣ, погоравшемъ четырнадцать разъ... Нынче реальный поэтъ сдѣлался осторожнѣе въ употребленіи именъ числительныхъ, но за то фантазія его получила болѣе широкій полетъ въ другихъ отношеніяхъ. Напримѣръ, баба, запряженная какъ меринъ въ борону, конечно, ничѣмъ не уступаетъ четырнадцати пожарамъ въ квартирѣ петербургскаго чиновника, и если поэтъ на послѣднихъ страницахъ своей поэмы дѣлаетъ нѣкоторую уступку, сознаваясь, что его героиню не топтали ногами и не кололи иголками, то онъ еще раньше вознаградилъ себя за такое воздержаніе, повѣдавъ, что у его Матренушки

Нѣтъ косточки не ломаной,
Нѣтъ жилочки не тянутой,
Кровинки нѣтъ не порченой.

Не обладая въ такой степени *реальнымъ* взглядомъ на природу вещей, въ какой этотъ взглядъ усвоилъ себѣ нашъ реальный поэтъ, мы готовы думать, что жить съ переломленными костями и вытянутыми жилами, по крайней мѣрѣ, такъ же мудрено, какъ и четырнадцать разъ погорѣть...

Теперь, послѣ долгаго странствія вмѣстѣ съ г. Некрасовымъ по дебрямъ реальной поэзіи, мы должны объяснить читателю, почему мы позволили себѣ въ такой степени злоупотребить его терпѣніемъ и столь изрядно утомить его вниманіе. Произведеніе г. Некрасова, безъ сомнѣнія, не принадлежитъ къ числу такихъ, на которыхъ критикъ позволительно останавливаться ради самаго произведенія; и не будь г. Некрасовъ выразителемъ извѣстнаго направленія въ современной литературѣ, не представляя онъ въ ней извѣстнаго знамени, не усиливайся петербургская критика создать къ услугамъ его нѣкоторую особую теорію, будто бы выражающую согласованіе литературныхъ требованій съ задачами времени,—не существуя всѣхъ этихъ условій, мы, конечно, прошли бы новые стихотворные опыты г. Некрасова полнымъ молчаніемъ, какъ проходимъ *Войну бездосы съ Китайцами*, *Семиного Вакулу* и прочіе продукты рыночной литературной промышленности. Но, какъ мы не разъ указывали, петербургская журналистика создала для г. Некрасова совершенно особое, привилегированное положеніе, и говорить о немъ сдѣлалось не только позволительно, но даже необходимо, вслѣдствіе того, что посредствомъ стихотворства г. Некрасова сталкиваешься съ цѣлымъ литературнымъ направленіемъ и подходишь къ критическимъ принципамъ, охотно обобщаемымъ рецензентами и фельетонистами извѣстнаго разряда. Такъ и въ настоящемъ случаѣ, совершивъ утомительное странствованіе по цѣлому тому Некрасовской поэзіи, мы незамѣтно приблизились къ весьма любопытному и немаловажному вопросу, поставленному критикой того самаго журнала, на страницахъ котораго впервые являются новѣйшія стихотворныя прегрѣшенія реального поэта.

Вопросъ идетъ не менѣе какъ о томъ, въ чемъ заключается настоящая, истинная поэзія, и въ какомъ отношеніи

къ этому искомому идеалу находятся мнѣнія, неоднократно заявленные нами въ нашихъ критическихъ очеркахъ. Если бы вопросъ сводился въ настоящемъ случаѣ лишь къ нашимъ скромнымъ, посильнымъ стараніямъ внести нѣкоторый порядокъ въ нынѣшнія ходячія литературныя понятія, мы опять-таки уклонились бы отъ этого вопроса, какъ уклоняемся постоянно отъ полемики съ петербургскою журналистикой, удостоивающею насъ своего вниманія, конечно, выше заслугъ нашихъ. Но за устраненіемъ всего того, что имѣетъ характеръ литературной травли и брани, въ этой полемикѣ остается нѣчто общее, имѣющее несомнѣнный интересъ для той самой цѣли, которой служатъ наши статьи. Въ самомъ дѣлѣ авторъ критическаго фельетона въ послѣдней книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* (№ 5 и 6), усиливаясь доказать непоследовательность литературныхъ мнѣній *Русскаго Вѣстника*, простираетъ свою любезность до того, что старается уяснить своимъ читателямъ сущность нашихъ критическихъ воззрѣній и припилиить намъ ярлыкъ, подъ которымъ, по его мнѣнію, мы должны фигурировать предъ публикой. Выписавъ нашъ отзывъ о сатирахъ и эпиграммахъ Щербины (при чемъ, усердіемъ петербургскаго рецензента или корректора, эпиграмматическая поэзія превратилась въ романтическую), авторъ статьи восклицаетъ: „при чемъ остается принципъ чистаго искусства, если оказывается, что достаточно имѣть виртуозность стиха и чувство изящества, и можно смѣло пускаться въ тенденціозность, заниматься переходящими явленіями, брать отдѣльныя личности и изливать на нихъ свое чисто личное чувство, лишь бы только тенденціозность была въ дружественномъ, а не во враждебномъ намъ духѣ? И послѣ этого у критиковъ *Русскаго Вѣстника* хватаетъ духу объявлять себя последователями и защитниками принципа чистаго искусства?“

Итакъ, критикъ *Отечественныхъ Записокъ* упрекаетъ насъ, по поводу статьи о Щербинѣ, въ отступничество отъ служенія принципу того, что онъ называетъ чистымъ искусствомъ, то-есть виртуозности стиха и изяществу отдѣлки, при чемъ стараніе наше служить этому принципу представляется не допускающимъ сомнѣнія. И это не есть личное

изобрѣтеніе критика *Отечественныхъ Записокъ*, это общее мѣсто, за которое хватается вся петербургская журналистика, какъ только заводитъ рѣчь о нашихъ литературныхъ мнѣніяхъ.

Но мы желали бы спросить эту петербургскую журналистику, гдѣ и когда заявляли мы подобную теорію, въ разборѣ какихъ произведеній высказывали мы тѣ принципы, которые обязательно навязываютъ намъ рецензенты *Отечественныхъ Записокъ*, *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей*, *Голоса* и пр.? Служили ли мы имъ, указывая на достоинства и содержательность такихъ произведеній, какъ романы гг. Писемскаго и Достоевскаго, Андрея Печерскаго и гр. Саласа? Во имя ли этихъ теорій защищали мы память Пушкина отъ поползновеній г. Пыпина? Да и въ самой статьѣ о Щербинѣ не старались ли мы указать, что виртуозность стиха не поглощала дѣятельности этого поэта, но что, напротивъ, нравственные интересы были всегда близки его таланту? Въдь если бы мы въ самомъ дѣлѣ руководились тою теоріей, которую приписываютъ намъ наши петербургскіе комментаторы, мы должны были бы отнестись со строгимъ порицаніемъ и къ роману *Въ Водоворотѣ* г. Писемскаго, и къ *Бѣсамъ* г. Достоевскаго, и къ *Дворянскому Гнѣзду* или *Отцамъ и Дѣтямъ* г. Тургенева, и ко множеству другихъ произведеній русской литературы, о которыхъ мы однакожъ всегда отзывались какъ о самыхъ замѣчательныхъ и талантливыхъ ея явленіяхъ.

Предположить въ нашихъ петербургскихъ комментаторахъ такъ мало здраваго толка, чтобы для нихъ въ самомъ дѣлѣ были недоступны наши руководящія принципы, мы конечно не можемъ. Навязывать намъ теорію, которая поставляетъ задачей искусства только виртуозность стиха и изящество слога, могутъ только рѣшаясь на подтасовку и фальсификацію нашихъ идей. Это одна изъ тѣхъ многочисленныхъ уловокъ, къ которымъ прибѣгаетъ петербургская журналистика, въ расчетѣ, что не всякій читатель станетъ повѣрять ее съ уликою въ рукахъ. Бороться противъ такого оружія мы считаемъ ниже себя; но такъ какъ журналисты, навязывающіе намъ выдуманные ими взгляды и принципы, обращаются съ этимъ

лганьемъ къ публикѣ, то мы готовы воспользоваться настоящимъ случаемъ, чтобъ однажды, въ немногихъ словахъ, объяснить наши дѣйствительныя воззрѣнія.

Мы ищемъ въ каждомъ литературномъ произведеніи прежде всего таланта и мысли. Мы не требуемъ, чтобы талантъ автора былъ непременно художественный, то-есть, чтобъ онъ непременно творилъ образы; мы полагаемъ, что обыкновенное литературное дарованіе, при наблюдательности, умѣ и чувствѣ правды заслуживаетъ полнаго вниманія читателей публики. Никогда и нигдѣ не заявляли мы, чтобы тенденціозность произведенія сама по себѣ, безъ соединенія съ другими условіями, дѣлала его негоднымъ въ нашихъ глазахъ; мы не скажемъ этого даже въ томъ случаѣ, когда не будемъ согласны съ основною идеей автора, лишь бы въ этой идеѣ не было ничего насильственнаго, лишь бы въ угоду ей не ломалась и не коверкалась изображаемая авторомъ дѣйствительность, лишь бы въ произведеніи чувствовалось присутствіе таланта.

Не наша вина, если романы и поэмы тенденціозной петербургской печати такъ рѣдко удовлетворяютъ этимъ, смѣемъ думать, вполне законнымъ требованіямъ. Для примѣра обратимся къ книгѣ, которой посвящена настоящая статья. Развѣ мы споримъ противъ общей тенденціи г. Некрасова, развѣ мы возражаемъ противъ высказываемыхъ имъ невинныхъ и незатѣйливыхъ положеній, въ родѣ того, что крѣпостное право было зломъ, которое не должно возвращаться, что дурно драться съ горничными, что рекрутство—тяжкій жребій, и что злоупотребленія въ этомъ дѣлѣ не должны быть терпимы и т. д.? Смѣемъ увѣрить нашихъ петербургскихъ комментаторовъ, что раздѣляемъ въ этихъ случаяхъ идеи ихъ любимаго поэта, и что если при всемъ томъ считаемъ произведенія этого поэта не заслуживающими критики, то вовсе не за идеи. Мы считаемъ стихотворенія г. Некрасова крайне плохими, потому что его идеи сами по себѣ не составляютъ того, что называется поэзіей. Чтобы дойти до своей азбучной морали, г. Некрасовъ находитъ нужнымъ исковеркать дѣйствительность, къ которой онъ прикасается, тогда какъ проповѣдуемая имъ невинныя истины могли бы

быть доказаны, если только онѣ нуждаются въ доказательствахъ—безо всякаго разлада съ чувствомъ жизненной правды. Въ этомъ сказывается уже не фальшивость идей, а просто отсутствіе поэтического ума, художественнаго таланта, безъ таланта же никакое беллетристическое произведение не имѣетъ права на существованіе. Такимъ образомъ здѣсь тенденціозность находится въ прямой враждѣ съ элементарными требованіями, предъявляемыми ко всякому литературному труду. Въ этихъ требованій мы не понимаемъ литературы, и напротивъ, вполне понимаемъ, что чѣмъ богаче художественное произведение идеями, содержаніемъ, тѣмъ болѣе заслуживаетъ оно вниманія критики. Въ томъ-то и заключается причина нашего литературнаго упадка, что поэты и романисты извѣстнаго направленія, отрицая такъ-называемое чистое искусство во имя реальной правды и практической содержательности, на самомъ дѣлѣ не даютъ ни той, ни другой.

Въ ихъ произведеніяхъ чувствуются только напряженные и безплотныя потуги сказать нѣчто очень важное, очень близкое къ общественнымъ интересамъ минуты, но потуги эти разрѣшаются лишь плоскостями, подобными обличеніямъ несуществующаго крѣпостного права или драки съ горничными. Отвергая художественность и не давая взамѣнъ ей ни одной мысли, стоящей нѣсколько болѣе мѣдной копейки, беллетристы новаго направленія творятъ въ пустынѣ, гдѣ умъ читателя вянетъ и киснетъ. Подобная литература, конечно, не заслуживаетъ даже права называться литературою, и критика можетъ относиться къ ней лишь отрицательно.

В. Асѣненко.

* * *

*) Некрасовъ въ своихъ стихахъ шелъ совершенно въ тонъ съ господствующимъ направленіемъ нашей послѣ-гоголевской литературы; онъ внесъ это направленіе и въ стихи, и вотъ это-то и было главной причиной, что даже

*) О. Миллеръ. Публичныя Лекціи. „Некрасовъ Произведенія перваго періода (по 1861 г.)“. Настоящая статья О. Миллера помѣщается здѣсь нѣсколько въ сокращенномъ видѣ.

въ тотъ переходный моментъ, когда вовсе не читали у насъ стиховъ, Некрасова не только не переставали читать — имъ даже зачитывались. Уже одно это, одна такая популярность его произведеній должна дать ему видное мѣсто въ исторіи русской литературы.

Извѣстно, что Некрасовъ по преимуществу считается у насъ стихотворцемъ, воспѣвающимъ народную долю. Дѣйствительно, онъ сталъ ее воспѣвать издавна, затрогивая при этомъ такія стороны, которыя даже и не совсѣмъ удобно и безопасно было затрогивать въ тѣ времена. Онъ, подобно Тургеневу, Григоровичу и др., въ этомъ смыслѣ далеко опередилъ своихъ робкихъ, оробѣвшихъ, или же нечуткихъ, слишкомъ отвлеченно глядѣвшихъ предшественниковъ. Некрасовъ, какъ извѣстно, въ своихъ первыхъ, возбудившихъ вниманіе публики, произведеніяхъ (самыя первыя, псевдонимныя, когда-то такъ неблагоклонно принятыя Бѣлинскимъ, я опускаю), затронулъ отживающее крѣпостное право, хотя ни онъ, ни Тургеневъ, ни Григоровичъ, конечно, не могли тогда знать, что оно близко къ концу. Некрасовъ смѣло коснулся этого явленія въ своихъ извѣстныхъ пьесахъ: „Въ дорогѣ“, „Забутая Деревня“, „Огородникъ“. Особенно сильное впечатлѣніе, какъ извѣстно, произвело небольшое стихотвореніе: „Въ дорогѣ“. Читателей невольно затронула за живое несчастная доля крестьянской дѣвушки, воспитанной по-барски, а потомъ отосланной обратно въ ту же среду, изъ которой ее по господской прихоти вырвали и съ которой теперь у нея уже ничего нѣтъ общаго. Между тѣмъ ее даже выдаютъ замужъ за вполне неразвитаго человѣка. Въ „Огородникѣ“ затрогивается уже совершенно другое: тутъ мы видимъ простого крестьянина, который полюбилъ барышню и заплатилъ за то забритіемъ лба и острогомъ, — конечно, безъ всякаго суда, — какъ оно велось въ крѣпостную пору. А „Забутая Деревня“, со всѣми насущными ея вопросами, которые ждутъ безотлагательнаго рѣшенія, но все откладываются до пріѣзда помѣщика! Вотъ онъ наконецъ является, но только для того, чтобы схоронить своего отца, и опять укатить, не рѣшивъ ни одного вопроса. Или „Псо-

вая Охота“,—съ цѣлымъ штатомъ полуголодныхъ людей, служащихъ помѣщику для того, чтобы онъ могъ отдыхать отъ житейской прозы... Или „Записки графа Гаранскаго“, написанныя всего за три года до уничтоженія крѣпостного права, въ которыхъ этотъ милый графъ, пораженный тѣмъ, что народъ такъ много работаетъ, говорить:

„Должно бы вразумлять корыстныхъ мужиковъ,
„Что изнурительно излишество въ работѣ.
„Не такова ли цѣль въ нѣмецкихъ сюртукахъ
„Особенныхъ фигуръ, бродящихъ между ними?
„Нагайки у иныхъ замѣтилъ я въ рукахъ.
„Какъ быть! Не вразумишь ихъ средствами другими,
„Натуры грубыя!...“

Съ той же самой наивностью, заставившей его вообразить, что нагайки употребляются собственно для того, чтобы умѣрять излишній пылъ крестьянъ къ работѣ,—съ тою же наивностью онъ и далѣе наблюдаетъ изъ окна своей кареты.—

„Да, быть крестьянина отъ нищеты далека!
„По собственнымъ моимъ владѣнностямъ проѣзжая,
„Созвалъ я мужиковъ: составили кружокъ
„И гаркнули: „ура“... Съ балкона наблюдая,
„Спросилъ: довольны-ли? — Кричатъ: довольны всѣмъ!..“

Нѣкоторыя стихотворенія показываютъ намъ то жгучее нетерпѣнiе, съ какимъ ожидалъ народъ своего освобожденiя.

Такъ, напримѣръ, стихотворенiе „Знахарка“ оканчивается словами:

„Ты намъ тогда предскажи нашу долю,
Какъ отъ господъ отойдемъ мы на волю“.

Въ стихотворенiи же „Деревенскiя Новости“, прiѣзжiй, выпрашивающiй объ этихъ новостяхъ, наконецъ нетерпѣливо перебивается словами:

„Ну, говори поскорѣй,
„Что ты слыхалъ про свободу?“

Но основная тема Некрасова оказывается далеко не отжившею и съ уничтоженiемъ крѣпостного права. Тема эта—трудова, въ безысходномъ трудѣ изнывающая жизнь крестьянъ.

янина—отживетъ, конечно, еще не скоро: зло, пустившее глубокіе корни, сразу не уничтожается. Потому-то всю свою силу сохраняетъ еще и теперь „Несжатая Полоса“, или же „Калистратъ“, относящійся съ добродушной ироніей русскаго человѣка къ своей горькой долѣ:

„Надо мной пѣвала матушка,
„Колыбель мою качаючи:
— „Будешь счастливъ, Калистратушка,
„Будешь жить ты припѣваючи!“

И предсказанье вполнѣ сбылось. Калистратъ продолжаетъ:

„Въ ключевой водѣ купаюся,
„Пятерней чешу волосыньки,
„Урожаю дожидаяся
„Съ непосѣянной полосыньки!“

Неизбѣжное слѣдствіе нужды—огрубѣніе нравовъ, проявляющееся, между прочимъ, въ дикомъ семейномъ деспотизмѣ. Мы можемъ судить объ этомъ и по собственнымъ пѣснямъ народа—напримѣръ, по пѣснямъ свадебнымъ, въ которыхъ, правда, замѣтны и очевидные признаки смягченія нравовъ; но рядомъ съ такими признаками, свидѣтельствующими о движеніи народа впередъ, мы встрѣчаемъ и кидаящуюся въ глаза дикость, отчасти сохранившуюся въ пѣсняхъ (какъ оно часто бываетъ) отъ древнѣйшихъ временъ, отчасти же и позже налегшую на самый смягченный ихъ слой подъ вліяніемъ тѣхъ неблагопріятныхъ историческихъ обстоятельствъ, которыя не только задержали дальнѣйшее развитіе народа, но даже повернули его назадъ къ допотопной грубости. Вотъ это-то обратное впаденіе въ огрубѣлость, это совершившееся вновь, подъ вліяніемъ нужды и неволи, очерствѣніе чувствъ представляетъ намъ и Некрасовъ. Смотрить ли онъ на крестьянскую красавицу, вотъ какія мысли внушаетъ она ему:

Завязавши подъ мышки передникъ,
Перетянешь уродливо грудь,
Будетъ бить тебя мужъ привередникъ
И свекровь въ три погибели гнуть,
И въ лицѣ твоёмъ, полномъ движенья,

Полномъ жизни—появится вдругъ
Выраженіе тупого терпѣнья
И безсмысленный, вѣчный испугъ.

Подъ вліяніемъ нужды, исчезаютъ мало-по-малу и безкорыстныя отношенія къ людямъ. Самое чувство печали по умершимъ принимаетъ своего рода эгоистическій, утилитарный оттѣнокъ. Вспомните стихотвореніе: „Въ деревнѣ“ и плачущую тамъ по сынѣ крестьянку-мать. Вотъ вѣдь на что она собственно жалуется:

„Кто приголубить старуху безродную—
„Вся обнищала въ конецъ!
„Въ осень ненастную, въ зиму холодную
„Кто запасетъ мнѣ дровецъ?
„Кто, какъ доносится теплая шубушка,
„Зайчиковъ новыхъ набьетъ?
„Умеръ, Касьяновна, умеръ, голубушка,—
„Даромъ ружье пропадетъ!“

Подъ вліяніемъ нужды и неволи, далеко не всѣ сохраняютъ тѣ симпатическія отношенія къ другимъ, которыя такъ любятъ выставять Достоевскій въ обиженныхъ судьбою людяхъ, и которыя такъ вѣрно подмѣчены во многихъ представителяхъ нашего простонародья: Тургеневымъ, Ал. Толстымъ, Рѣшетниковымъ. Въ цѣломъ множествѣ зашнбленныхъ нуждой и неволей людей развивается, напротивъ того, эгоизмъ, сердце черствѣетъ, сѣуживается и замыкается въ самомъ себѣ, становится даже способнымъ пользоваться невзгодами ближняго. Отсюда развитый въ народѣ до самыхъ безобразныхъ размѣровъ типъ *кулака*, *міроѣда*; типъ этотъ рисуетъ намъ и Некрасовъ въ своемъ „Власѣ“, до совершившагося въ немъ религіознаго превращенія. Про него разсказывается, что онъ

..... Побоями.
Въ гробъ жену свою вогналъ,
Промышляющихъ разбоями,
Конокрадовъ укрывалъ;
У всего сосѣдства бѣднаго
Скупить хлѣбъ, а въ черный годъ
Не повѣрить гроша мѣднаго,
Втрое съ нищаго сдереть!

Но и самое, какъ я не совѣмъ точно назвалъ его, „религіозное превращеніе“ Власа—въ сущности вовсе не превращеніе. Онъ только вспомнилъ (можетъ быть, взглянувъ на картину страшнаго суда, когда-то испугавшую Владиміра и многихъ другихъ владыкъ, тѣмъ самымъ и побужденныхъ къ крещенію), онъ только вспомнилъ, что за все это онъ долженъ будетъ отвѣтить, что за все это его будутъ мучить, и вотъ, подъ вліяніемъ опять-таки чисто-эгоистическаго чувства страха, а вовсе не въ силу внутренняго переворота, не въ силу того, чтобы черствая душа его размягчилась, онъ надѣвается верить, предается усиленному посту и ходить за сборомъ на церковь.

Само собой разумѣется, что не малая доля отвѣтственности за такую нравственную порчу народа падаетъ на всѣхъ насъ, сытыхъ, въ довольствѣ живущихъ людей, пользующихся высшими наслажденіями, между тѣмъ какъ народъ совершенно лишенъ всего этого. Некрасовъ это глубоко чувствуетъ:—въ небольшомъ отрывкѣ, написанномъ на сонъ *грядущій*, онъ желаетъ тому доброй ночи,

„Чьи работаютъ грубыя руки,
Предоставивъ почтительно намъ
Погружаться въ искусства, въ науки,
Предаваться мечтамъ и страстямъ;
Кто бредетъ по житейской дорогѣ
Въ безразсвѣтной, глубокой ночи,
Безъ понятія о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи“.

Еще ярче выражается это виновное сознаніе тяготы народной доли въ большомъ прекрасномъ стихотвореніи „На Волгѣ“... Некрасовъ рисуетъ намъ уже явленіе позднѣйшее—картину волжскаго бурлачества, въ своемъ родѣ мастерски нарисованную, только не въ стихахъ, и Рѣшетниковымъ, не даромъ посвятившимъ Некрасову своихъ „Подляповцевъ“.

...Почти пригнувшись головой
Къ ногамъ, обвитымъ бичевой,
Обутымъ въ лапти, вдоль рѣки
Полали гурьбою бурлаки,
И былъ невыносимо дикъ,
И страшно ясенъ въ тишинѣ

Ихъ мѣрный, похоронный крикъ, —
И сердце дрогнуло во мнѣ.
Унылый, сумрачный бурлакъ!
Какимъ тебя я въ дѣтствѣ зналъ,
Такимъ и нынѣ увидалъ.
Все ту же пѣсню ты поешь,
Все ту же лямку ты несешь,
Въ чертахъ усталого лица—
Все та жъ покорность безъ конца...

Эту долговременность явленія Некрасовъ объясняетъ тѣмъ, что

Прочна суровая среда,
Гдѣ поколѣнія людей
Живутъ безсмысленнѣй звѣрей.

Между тѣмъ, мы видѣли, что въ этой жизни бурлаковъ думаютъ найти чуть-ли не своего рода обѣтованный край—тѣ дѣйствительно близкіе къ животному состоянью Подлиповцы, которыхъ намъ рисуетъ Рѣшетниковъ. Но мы видѣли также, что и эти въ конецъ обиженные судьбой люди въ сущности оказываются далеко не животными, такъ какъ и въ нихъ есть и желаніе лучшаго, и желаніе помочь ближнему. Такая справка съ „трезвою правдой“ Рѣшетникова невольно заставляетъ насъ заключить, что Некрасовъ подъ вліяніемъ столькихъ картинъ народной нужды и народнаго упадка, впалъ въ невольное преувеличеніе, сказавъ, что бурлаки „безсмысленнѣй звѣрей“. Но тотъ же самый Некрасовъ умѣетъ такъ ярко выставить на видъ и вполне человѣческія черты въ народѣ. Вспомните у него привлекательный образъ „Арины солдатской матери“: съ какимъ теплымъ чувствомъ встрѣчаетъ она возвращающагося сына, который съ своей стороны доказываетъ ей свою привязанность тѣмъ, что, совсѣмъ ужъ больной, близкій къ смерти, собираетъ послѣднія силы, чтобы починить ей избенку. (Надо замѣтить, что *мать* вообще очень часто и съ особенною любовью упоминается у Некрасова; съ этимъ словомъ какъ бы связывается у него какое-то особенно дорогое, личное воспоминаніе). Крестьянская мать и крестьянская жена, при всей трудности своей доли, постоянно выставя-

ются у нашего поэта не падающими духомъ. Вспомните у него женщину, которая работая въ полѣ, услышала крикъ оставленнаго ею въ сторонѣ и заснувшаго было ребенка; вспомните и слова, съ какими обращается къ ней поэтъ:

„Пой ему пѣсню о вѣчномъ терпѣніи,
Пой, терпѣливая мать“.

Но Некрасовъ выставляетъ въ народѣ не одну только силу *родственного* чувства; онъ, какъ и Рѣшетниковъ, выставляетъ намъ и примѣры теплой заботы простыхъ людей о *чужихъ*. Вспомните стихотвореніе „Школьникъ“... А какъ отрадно дѣйствуетъ у нашего поэта свѣтлая картина „Крестьянскихъ Дѣтей“ *), которая можетъ быть поставлена, по своей основной мысли, на ряду съ „Бѣжинымъ Лугомъ“ Тургенева.

Существуетъ мнѣніе, что нашъ простой народъ, въ дѣтствѣ привязанный къ раздолью полей и золотыхъ нивъ, съ лѣтами становится глухъ къ голосу природы;—Некрасовъ представляетъ намъ дѣло съ нѣскольکو другой стороны. Вспомните его стихотвореніе „Зеленый Шумъ“, рисующее умягчительное вліяніе приближающейся весны на душу простого человѣка. Зимній мракъ и дикіе звуки зимней вьюги поддерживали въ немъ мысль о преступленіи; онъ оскорбленъ, какъ семьянинъ, и рука его уже поднимается на существо его обманувшее, но вотъ вдругъ

„Идетъ-гудетъ зеленый шумъ,
„Зеленый шумъ, весенній шумъ!
„Слабѣетъ дума лютая,
„Ножъ валится изъ рукъ,
„И все мнѣ пѣсня слышится
„Одна—въ лѣсу, въ лугу:
„—Люби, покуда любится,
„Терпи, покуда терпится,
„Прощай, пока прощается,
„И—Богъ тебѣ судья!“

Но такое же точно прощающее настроеніе, такая же мягкая готовность не осуждать ближняго во вниманіе къ

*) Стихотвореніе это относится уже къ 1861 году.

тому, что могли быть особенныя причины, побудившія его къ преступленію—хотя бы такому, какъ самоубійство, особенно осуждаемое народомъ—такая же человѣчная снисходительность сказывается у Некрасова въ сердцѣ простолюдина въ стихотвореніи „Похороны“... (Приводится выдержка изъ стихотворенія).

А вотъ, наконецъ, и пробужденіе глубокаго человѣческаго чувства въ преступникѣ, пробужденіе въ немъ того свѣжаго, юнаго чувства любви, которое, повидимому, должно было замереть въ немъ навѣки, но которое вдругъ пробуждается при случайной встрѣчѣ *въ больницу*. (Приводится выдержка изъ стиховъ. „Въ больницѣ“).

Не мало, стало быть, въ различныхъ стихотвореніяхъ Некрасова затронуто мягкихъ, вполне человѣческихъ проявленій въ народной жизни. Но въ этой больницѣ, которой посвятилъ онъ особое стихотвореніе, съ людьми изъ простаго народа сходятся вѣдь и люди образованныхъ классовъ. Стихотвореніе даже начинается разсказомъ о томъ, какъ

...„свѣтъ, показавъ
Въ уголъ намъ сонный смотритель.
Трудно и медленно тамъ угасавъ
Честный бѣднякъ сочинитель“.

Бѣдность, болѣзнь, несчастіе дѣйствительно сводятъ всѣхъ въ одну грустную семью! Некрасовъ вообще сочувственно касается положенія тѣхъ людей, къ какому бы классу они ни принадлежали,—которыхъ и онъ, вслѣдъ за Достоевскимъ, могъ бы назвать „униженными и оскорбленными“. Какъ часто мы встрѣчаемся у него съ человѣкомъ порочнымъ, чувствующимъ бездну своего паденія, и уже не могущимъ подняться,—но поэтъ при этомъ даетъ намъ понять причину такого паденія, и осуждающій голосъ сострадательно умолкаетъ у насъ въ груди. Вспомнимъ, напримѣръ, этого „пьяницу“, которому такъ хотѣлось-бы

То славы соблазнительной,
То страсти, то труда.

Вспомнимъ стихотвореніе: „Убогая и нарядная“, въ ко-

торомъ выводятся двѣ совершенно различныя „Сонечки Мармеладовы“, и про первую, то-есть про убогую, говорится :

Нѣтъ, тебѣ состраданья не встрѣтить,
Нищеты и несчастія дочь!
Свѣтъ тебя предастъ поруганью
И охотно прощаетъ другой,
Что торгуетъ собой по призванью,
Безъ нужды, безъ борьбы роковой.

Въ пьесѣ: „Бѣду ли ночью по улицѣ темной“ мы видимъ женщину, которой не на что похоронить ребенка и у которой вдругъ находятся для того деньги—опять та же вѣчная „Сонечка Мармеладова!“ Эта женщина передъ тѣмъ испытала довольство—въ смыслѣ богатства: она досталась въ жены человѣку, который могъ надѣлать ее всѣмъ, кромѣ счастья, и котораго она такъ неблагоуразумно бросила! Но Ап. Григорьевъ имѣлъ полнѣйшее основаніе замѣтить, что это стихотвореніе, оскорбляющее нѣкоторыхъ пуританъ, въ основѣ своей совершенно нравственно. Несчастливая семейная доля, отравляющая жизнь самыхъ богатыхъ людей и сближающая ихъ съ самыми обиженными судьбою, затрогивается Некрасовымъ и въ такихъ пьесахъ, какъ „Гадающей Невѣстѣ“, „Дешовая Покупка“, „Прекрасная Партія“. Вспомните безпощадное предсказанье поэта:

У него прекрасныя манеры,
Онъ не глупъ, не бѣденъ и хорошъ;
Что гадать? ты влюблена безъ мѣры,
И судьбы своей ты не уйдешь.
Онъ твои плѣнительные взоры,
Нѣжность сердца, музыку рѣчей,
Все отдастъ за плоскія рессоры
И за пару кровныхъ лошадей.

А что составляетъ предметъ дешевой покупки? Что? Еще такъ недавно-изготовленное приданое дочери богатыхъ родителей, которое ловкій супругъ успѣлъ уже все спустить въ какіе-нибудь полгода. Не лучшая участь ожидаетъ и дочку Долгова послѣ „прекрасной“ партіи съ человѣкомъ, который

Разстроилъ тысячу крестьянъ,
Чтобъ какъ-нибудь забыться...
Пуста душа и пустъ карманъ—
Пора, пора жениться!

Кому-нибудь изъ подобныхъ же господъ должна будетъ достаться и та модная красавица, вокругъ которой увиваются свѣтскіе львы, тогда какъ къ ней не смѣетъ и подступить человѣкъ, дѣйствительно ее любящій, но рисующій себя вотъ какимъ:

„...войду, какъ потерянный, —
„И ударится въ пятки душа!
„На ногахъ словно гири желѣзныя,
„Какъ свинцомъ налита голова,
„Странно руки торчатъ безполезныя,
„На губахъ замираютъ слова“.

Стихотвореніе это, какъ извѣстно, озаглавлено: „Застѣнчивость“—нерѣдкая принадлежность людей, которыхъ не особенно балуетъ судьба! Та же застѣнчивость—только въ другомъ родѣ и въ другомъ случаѣ,—т.-е. такая же точно растерянность бѣднаго человѣка, составляетъ содержаніе извѣстнаго стихотворенія „Филантропъ“. Оробѣлъ бѣднякъ, не сѣмѣлъ въ точности, въ видѣ рапорта, рассказать о своемъ положеніи, сбился—и принять за пьяницу! А вѣдь онъ еще имѣетъ дѣло съ человѣкомъ хотя и изъ сытаго, обыкновенно надутаго класса, но сравнительно склоннымъ къ добру, только склоннымъ совершенно холодно, какъ бы прописывая себѣ это, а потому и готовымъ воспользоваться всякимъ предлогомъ къ отказу. Отсутствіе настоящей сердечной теплоты, настоящаго нравственнаго чувства—вотъ что рисуетъ Некрасовъ въ лицѣ своего „Филантропа“. Отсутствіе настоящаго нравственнаго чувства, скрывающееся подъ виѣшнюю нравственную благовидность, подъ ходячую свѣтскую моралью—это опять одна изъ любимыхъ темъ нашего поэта. Люди по горло сытые, не знавшіе горя, любятъ требовать отъ другихъ безупречной нравственности, идеальныхъ добродѣтелей. Въ „Современной Одѣ“ Некрасовъ затрогиваетъ одного изъ такихъ господъ: съ какимъ достоинствомъ онъ себя держитъ, не заискивая ни въ комъ,

какъ онъ благодушенъ, какая у него полная и открытая чаша для всякаго „порядочнаго“ человѣка, словомъ—какой онъ привлекательный образецъ добра! Поэту рѣшительно не хотѣлось бы разочаровываться.

Не спрошу я, откуда явился,
Что теперь въ сундукахъ твоихъ есть;
Знаю: съ неба къ тебѣ все свалилось
За твою добродѣтель и честь!

Но послѣ того, какъ все съ неба свалилось, оно вѣдь не очень и трудно сдѣлаться, а особливо прослыть, добродѣтельнымъ! А стихотвореніе „Нравственный Человѣкъ“?... Извѣстно, что Ап. Григорьевъ находилъ въ этой пьесѣ что-то водевильное—что-то забавно-придуманное въ той откровенности, съ какою обо всемъ этомъ тутъ говорится въ первомъ лицѣ; но взглядъ критика едва ли справедливъ, если разсматривать пьесу Некрасова въ связи съ другими сатирическими выходками его противъ фальшивой морали. Ненадобно также забывать, что слова „Нравственнаго Человѣка“—вовсе не драматическій монологъ; а потому въ нихъ и можетъ проглядывать *иронія* самого автора. Та же иронія слышна и въ стихотвореніи—„На улицѣ“, въ словахъ того сытаго человѣка, который, разѣзжанъ на лихачѣ, замѣчаетъ человѣка, стянувшаго отъ голода колачъ съ лотка: и что же? это зрѣлище поднимаетъ въ сытомъ цѣлый взрывъ нравственнаго негодованія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и религіозно его настраиваетъ,—такъ что онъ —

„.....Богу послѣвшихъ молебствіе принесть
За то, что у него наслѣдственное есть“.

Въ пылу озлобленія противъ этой фарисейской морали, чтобы хорошенько разсердить людей, которые ея держатся, и посильнѣе имъ показать презрѣніе—написано стихотвореніе: „Вино“. Тѣмъ, кто нападаетъ на извѣстный народный порокъ, тутъ указываются такіе случаи, когда вино, заставляя забыться, удерживаетъ человѣка отъ худшаго, именно отъ преступленія. Здѣсь, можетъ быть, и есть своего рода натянутость, но все это вполнѣ объясняется злоб-

нымъ намѣреніемъ сатирика—уколотъ, за ихъ нечеловѣческую мораль, въ довольствѣ живущихъ людей. Мысль поэта та, что подъ этой кажущейся моралью, подъ этой проповѣдью дешевой добродѣтели, скрывается безсердечіе, отсутствіе той любви къ людямъ, которая только и служитъ основой настоящей морали. Будь въ нихъ хоть капля этой послѣдней,—они постарались бы разгадать причины той безнравственности бѣдняка, на которую они такъ нападаютъ. Имъ невольно запалъ бы въ душу вопросъ: не могъ ли бы этотъ бѣднякъ быть удержанъ отъ многого, если бы они, богачи, дали ему стать на другую дорогу? Но, вовсе не заботясь объ этомъ, ни мало не ограничивая своего права на широкую жизнь правомъ другихъ людей, какъ бы не признавая за ними и простого права—не умереть съ голоду и имѣть возможность оставаться вполне людьми, широко живущіе люди, съ другой стороны, лишаютъ самихъ себя цѣлаго ряда такихъ наслажденій, которыя и немыслимы безъ живой любви къ людямъ, только и сообщающей настоящую полноту человѣческой жизни. Въ этомъ—основная мысль „Размышлений у параднаго подѣзда“, у котораго скопилось такъ много понапрасну ожидающихъ мужиковъ. Многія строфы этой сатиры служатъ какъ бы современнымъ видоизмѣненіемъ „Вельможи“ Державина. Какъ знаменитый лирикъ-сатирикъ екатерининскаго времени, такъ и нашъ современный поэтъ обращается тутъ къ тому беззаботно нѣжащемуся вельможѣ, отъ котораго жирный швейцаръ только что прогналъ мужиковъ просителей...

Передъ нами такимъ образомъ уже опредѣлились основныя черты некрасовской поэзіи. Но въ нѣкоторыхъ пьесахъ Некрасовъ и самъ въ точности опредѣляетъ ея направленіе. Возьмемъ, напр., пьесу — „Родина“; при чемъ, какъ и въ другихъ случаяхъ, не надо забывать, что, говоря отъ своего имени, поэтъ вовсе не непременно рисуетъ именно себя, свое собственное положеніе, — онъ можетъ говорить отъ своего лица во имя цѣлаго множества людей въ томъ же положеніи: вмѣсто я, смѣло можно читать мы. (Приводится отрывокъ изъ стихотворенія „Родина“)...

То же самое могли бы сказать о себѣ и многіе изъ на-

шихъ поэтовъ до Некрасова. Въ такой же точно средѣ выросъ и Пушкинъ:—это однако не мѣшало посѣщенію его въ дѣтствѣ тою беззаботною музой, которая забыла у него свою свирѣль, и подѣ влияніемъ которой онъ пѣлъ

То гимны важные, внушенные богами,
То пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.

Некрасовъ, въ другомъ извѣстномъ стихотвореніи, описываетъ *свою* музу, и при этомъ говорить:

Нѣтъ, музы ласково поющей и прекрасной
Не помню надъ собой я пѣсни сладкогласной.
Въ небесной красотѣ, неслышимо какъ духъ,
Слетая съ высоты, младенческій мой слухъ
Она гармоніи волшебной не учила,
Въ пеленкахъ у меня свирѣли не забыла!

Нашъ современный поэтъ уже съ самыхъ юныхъ лѣтъ былъ совершенно иначе настраиваемъ посѣщеніями

Другой, неласковой и нелюбимой музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
Рожденныхъ для борьбы, страданья и трудовъ,
Той музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей...

Изъ того, что я такимъ образомъ отгнѣняю словами Некрасова его поэзію отъ пушкинской, вовсе, конечно, не слѣдуетъ, чтобы я ставилъ Некрасова выше Пушкина, а слѣдуетъ только, что Некрасовъ занимаетъ въ ходѣ развитія нашихъ литературныхъ понятій дальнѣйшую и болѣе высокую ступень. „Поэзія не отъ міра сего“ до того отжила свой вѣкъ, что для насъ въ настоящее время уже совершеннымъ анахронизмомъ звучитъ другое стихотвореніе Некрасова —

Блаженъ незлобивый поэтъ,
Въ комъ мало желчи, много чувства:
Ему такъ искрененъ привѣтъ
Друзей спокойнаго искусства.

—
Любя безопасность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Онъ прочно властвуетъ толпой
Съ своей миролюбивой лирой.

Пѣтъ, въ настоящее время именно онъ-то и не можетъ уже никакъ „властвовать толпой“; въ настоящее время оказывается совершенно правымъ другой поэтъ, только что написавшій стихотвореніе съ прямо противоположнымъ взглядомъ:

Блаженъ озлобленный поэтъ,
Будь онъ хоть нравственный калѣка,
Ему вѣнцы, ему привѣтъ
Дѣтей озлобленнаго вѣка.
Невольный крикъ его — нашъ крикъ,
Его страданья — наши, наши!
Онъ съ нами пьетъ изъ общей чаши,
Какъ мы — отравленъ и великъ! *).

Некрасовъ окончательно опредѣляетъ свою поэзію сравнительно съ пушкинскою въ пьесѣ „Поэтъ и Гражданинъ“, которая можетъ быть прямо противопоставлена извѣстной пьесѣ Пушкина: „Чернь“... Въ началѣ его прекрасной поэмы—„Саха“ выражается чисто гражданское настроеніе поэта, его горячее стремленіе къ родинѣ... (Приводятся отрывки изъ поэмы). Но въ этой же самой поэмѣ Некрасовъ выставляетъ намъ напоказъ и фальшиваго представителя „гражданскихъ мотивовъ“ въ лицѣ Агарина; и замѣчательно, что это было въ то самое время, когда Тургеневъ затронулъ нѣчто подобное въ своемъ „Рудинѣ“. (Ап. Григорьевъ, мнѣ кажется, напрасно возставалъ противъ сходства между двумя этими типами). Сахѣ, этой деревенской дѣвушкѣ, растущей на лонѣ природы, ничего простодушно не знающей, такъ какъ родители ея самые простые люди, вовсе даже не позаботившіеся объ ея воспитаніи,—Сахѣ приходится вдругъ встрѣтить человѣка, который забрасываетъ въ нее сѣмена стремленій, ей еще непонятныхъ, поднимаетъ передъ нею вопросы, о которыхъ она никогда и не думала. Агаринъ забросилъ въ нее доброе сѣмя, и Саха становится совершенно другой: прошли тѣ времена, когда она если и умѣла горевать, то развѣ только о порубкѣ лѣса. Теперь она начинаетъ лѣчить крестьянъ, помогать бѣднымъ. Рудинъ, надо замѣтить, не про-

*) Стихи Я. П. Полонскаго, въ сборникѣ „Складчина“.

изводилъ такого сильнаго практическаго дѣйствія на Наташу. Но что же далѣе? Агаринъ, возвращаясь и узнавая, что совершилось съ Сашей отъ его проповѣди, съ насмѣшкой говорить о ней: теперь онъ уже начинаетъ проповѣдывать совершенно не то:

Тѣшится новой игрушкой дитя;
Оба тогда мы болтали пустое,
Умные люди рѣшили другое:
Родъ человѣческій низокъ и золъ!

Авторъ объясняетъ намъ такую перемену тѣмъ, что онъ начитался новыхъ книжекъ:

Что ему книжка послѣдняя скажетъ,
То на душѣ его сверху и ляжетъ.

Они оба съ Рудинымъ „люди книжекъ“, потому что оба они выросли баричами, живущими въ отвлеченномъ мірѣ; разница только въ томъ, что онъ читаетъ болѣе разнообразныя книги, чѣмъ Рудинъ.

Книги читаетъ, да по свѣту рыщетъ,
Дала себѣ исполнскаго ищетъ,
Благо, наслѣдье богатыхъ отцовъ
Освободило отъ малыхъ трудовъ,
Благо, идти по дорогѣ избитой
Лѣнь помѣшала да разумъ развитой.

Да, будничной домашней работы они знать не хотятъ, потому что тутъ началась бы дѣйствительная работа. Вспомните еще слѣдующія разсужденія Агарина:

Нѣтъ, я души не растрachu моей
На муравьиной работѣ людей:
Или подъ бременемъ собственной силы
Сдѣлаюсь жертвою ранней могилы,
Или по свѣту звѣздой пролечу!
Міръ, говорить, осчастливить хочу!

Оно вѣдь почетнѣе,—да и легче: міръ ихъ не спрашиваетъ, до человѣчества, къ которому, въ цѣломъ его объемѣ, они такъ любятъ простирать руки, имъ не достать—значить, одними стремленіями, заманчивыми для самолюбія, все и покончится. Да, герой Некрасова, какъ и Рудинъ,—

баричъ; жизнь его не коснулась, онъ витаетъ, онъ сиба-ритствуетъ. Этотъ типъ рѣзко отдѣляется отъ другихъ типовъ,—отъ Базарова и Раскольникова. На этихъ людей, испытавшихъ такъ много въ жизни, книжки такого едино-властнаго вліянія не имѣютъ; изъ книжекъ люди эти по-черпаютъ только то, къ чему ихъ подготовила сама жизнь. Только люди, выросшіе въ барствѣ, и могутъ дѣйствовать, или воображать, что дѣйствуютъ, подъ исключительнымъ вліяніемъ книжекъ. Некрасовъ, какъ и Тургеневъ, вполне знаетъ цѣну книжкамъ, но не считаетъ ихъ чудотворными ни въ хорошую, ни въ дурную сторону:

Въ наши великіе, трудные дни
Книги не шутка: укажутъ они
Все недостойное, дикое, злое,
Но не дадутъ они силъ на благое,
Но не научатъ любить глубоко...
Дѣло въновь поправлять не легко!

У насъ въ послѣднее время явилось стремленіе отстаивать нѣкоторыя личности, представленныя, такъ сказать, мишурными у нашихъ писателей. Мы видѣли стараніе нѣкоторыхъ критиковъ отстоять Рудина противъ самого Тургенева, не оцѣнивашаго будто бы золотыхъ сторонъ своего героя. Но Некрасовъ отнесся къ своему Агарину, думается мнѣ, еще строже; защитить эту, такъ рѣшительно развѣнчанную имъ личность едва ли кому удалось бы; между тѣмъ Агаринъ все-таки вѣдь очень сходенъ съ Рудинымъ. Въ другой поэмѣ, написанной нѣсколько позже,—„Несчастные“, Некрасовъ попытался нарисовать идеальную личность, руководимую искреннимъ и дѣятельнымъ гражданскимъ чувствомъ. Но, чтобы вполне оцѣнить это произведеніе, слѣдуетъ сопоставить его съ „Записками изъ Мертваго дома“ Достоевскаго. И тутъ и тамъ — „Несчастные“ — въ томъ именно смыслѣ, въ какомъ ихъ понимаетъ народъ,—но у Достоевскаго они списаны съ натуры, оттого на его картину быта и нравовъ „Мертваго дома“ слѣдуетъ обращать особенное вниманіе, и этими картинами провѣрять другія...“ (Далѣе въ поэмѣ „Несчастные“ критикъ отгѣняетъ нѣкоторыя фальшивыя ноты).

Поэма „Тишина“ рисуетъ намъ возвращеніе поэта на родину:

Все рождь кругомъ, какъ степь живая;
Ни замковъ, ни морей, ни горъ.
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующій просторъ!
За дальнимъ Средиземнымъ моремъ,
Подъ небомъ, ярче твоего,
Искалъ я примиренья съ горемъ —
И не нашелъ я ничего!...

Какъ это напоминаетъ то, чтó говоритъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ, который, какъ извѣстно, не задолго до смерти, поѣхалъ за границу. Бѣлинскій, всегда тяготѣвшій къ западу, пріѣзжаетъ туда и страшно тоскуетъ, тоска его тянетъ на родину, и Тургеневъ объясняетъ это тѣмъ, что „очень ужъ былъ онъ человѣкъ русскій“. То же самое произошло и съ нашимъ поэтомъ; вотъ какъ продолжаетъ онъ противопоставлять чужіе края родинѣ:

Я тамъ не свой — хандрю, нѣмѣю,
Не одолѣвъ мою судьбу,
Я тамъ погнулся передъ нею,
Но тыдохнула, — и съумѣю,
Быть можетъ, выдержать борьбу!

Горе какъ-то легче выносится у себя дома: оно тутъ выносится заодно со своими! Какъ бы ни было хорошо тамъ за моремъ, — сердце нравственно здороваго человѣка тяготѣетъ къ родинѣ; онъ выдержалъ бы разлуку съ нею только въ томъ случаѣ, если бы убѣдилъ себя въ томъ, что, живя съ нею врозь, онъ только вѣрнѣе сослужитъ свою службу — ей же. Вотъ въ этомъ то духѣ поэтъ и говоритъ далѣе...“ (Приводится отрывокъ, начинающійся стихомъ: „Я твой. Пусть ропотъ укоризны“... и конч.: „И ни въ широкіе размѣры...“). Словомъ — рисуется отличающійся просторомъ, но незатѣйливый родной ландшафтъ, представляющійся Некрасову столько же обаятельнымъ, сколько въ свое время Пушкину и Лермонтову. Но въ Некрасовѣ пробуждается тутъ и болѣе глубокое желаніе слиться *душою* съ роднымъ

народомъ—искать утѣшенія въ томъ, въ чемъ народъ его ищетъ...“ (Приводится отрывокъ изъ поэмы, начинающійся стих.: „Храмъ Божій на горѣ мелькнулъ“ и кончающійся: „Предъ этимъ скуднымъ алтаремъ“)... — Далѣе, какъ извѣстно, слѣдуетъ обращеніе къ Севастополю, только что покрывшему насъ тогда такъ нерѣдко достававшейся намъ на долю „славой страданія“. На этотъ разъ страданіе служило предвѣстіемъ внутренняго благодѣтельнаго перелома. Поэту, переносящемуся мыслью въ родную непривѣтную глушь, уже какъ будто бы чувствуется впереди упраздненіе, когда-то отравившаго его дѣтство, крѣпостного права...“ (Приводится отрывокъ, начин. стихомъ: „Тамъ можно жить не отравляя“... и конч. „Безъ сожалѣнья умираетъ“).

Вотъ въ чемъ окончательно находить себѣ опору и назидающее поэтъ, — въ томъ чувствѣ бодрости, которое не оставляетъ народа:

Его примѣромъ укрѣпись
Сломившійся подъ игомъ горя; —
За личнымъ счастьемъ не гонись,
И Богу уступай не споря!..

Итакъ, вотъ окончательное заключеніе: личное горе должно утонуть въ этомъ морѣ общенароднаго горя, при существованіи котораго подло и глупо бы было думать о личномъ счастьи. Не трудно замѣтить, что по *основному скорбному своему настроенію*, Некрасовъ довольно близокъ съ міровымъ поэтомъ скорби Байрономъ (степень дарованія у того и другого оставляю я въ сторонѣ). Но Байронъ представлялъ главнымъ образомъ скорбь особенно выдающихся личностей, *нравственныхъ аристократовъ*, въ которыхъ выражаетъ онъ себя самого. До обыкновенныхъ людей, до обыкновеннаго, но, конечно, не менѣе тяжелаго горя народной массы англійскій поэтъ не спускается, оно было бы слишкомъ мелко для его нравственно-аристократической натуры. Совершенно другое видимъ мы у Некрасова—у него мы знакомимся со скорбью обыкновенныхъ людей, со скорбью *человѣческаго большинства*, передъ которою, по сознанью нашего поэта, должны замолкнуть всякія *личные жалобы*. У Байрона—ропотъ могучей, широко разившейся лично-

сти; у Некрасова въ его лучшихъ произведеніяхъ — личность готова молчать о самой себѣ, слиться съ общимъ человѣческимъ ропотомъ. Въ этомъ выражается у него народный, вовсе не аристократическій нашъ характеръ. Личность, умаляющая себя, сливающаяся съ цѣлымъ, давно уже является идеаломъ въ народномъ эпосѣ. Наши представители правоописательной повѣсти выставляли намъ ту же самоотверженную личность; мы видѣли ее у Тургенева, у Л. Толстаго; видѣли, наконецъ, и между Подлиповцами у Рѣшетникова.

Но какъ помирить это съ тѣмъ, что часто встрѣчается намъ въ жизни? Не напрасны вѣдь жалобы, что въ нашемъ обществѣ страшно развитъ эгоизмъ; но нерѣдко такой же эгоизмъ проявляется и въ простомъ народѣ. Какъ же согласить это съ тѣмъ, что выражали наши писатели, что выразилъ намъ народный эпосъ? Придется прибѣгнуть къ сравненію, которое, какъ и всѣ сравненія, объяснить, конечно, далеко не все. Какъ часто мы видимъ прекрасные всходы; но потомъ наступаетъ и долго держится холодъ: все замираетъ, гложнетъ. Но стоитъ только снова настать настоящему теплу — и все опять оживаетъ. То же самое и въ нравственномъ мірѣ; добрые всходы могутъ быть заглушены, пришиблены; но пусть только снова повѣетъ тепломъ — и все опять отойдетъ и распустится пышнымъ цвѣтомъ.

Ө. Миллеръ.

* * *

*) Скорбно-гражданскіе мотивы лиры г. Некрасова не измѣняются, несмотря на время, которое мы переживаемъ, и несмотря на то, что въ этихъ стихотвореніяхъ чуть ли не въ сотый разъ повторяются все тѣ же мысли. Оригинальность въ сочиненіи своихъ плаксивыхъ стишковъ à la poujik г. Некрасовъ гдѣ-то потерялъ на жизненной дорогѣ, и если къ этому прибавить, что въ плачахъ г. Некрасова надъ разными Трофимами и Степанами, подставляющими щеки для пощечинъ, шею для затрепчинъ, спины для кула-

*) „Гражданинъ“ 1874 г., № 52. („Замѣтки досужаго читателя“. Статья П. Павлова).

ковъ и нижнія части тѣла для розогъ, не слышится ни малѣйшаго, такъ-сказать, сердечнаго участія къ этимъ бѣднымъ щекамъ, шеямъ и спинамъ, то понятно, почему однообразіе скорбныхъ напѣвовъ г. Некрасова томить, томить и жестоко томить...

Ну да и стихи его послѣдніе, въ ноябрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“, больно ужъ плоховаты: небрежность такая, что какъ ни привыкаешь къ ней, читая иныхъ изъ нашихъ современныхъ поэтовъ, все-таки удивляешься.

Напримѣръ, вотъ нѣсколько строкъ изъ стихотворенія: „На постояломъ дворѣ“. Лакей говоритъ про барина:

„Однажды онъ сердитый всталъ,
Порѣзался, какъ брился,
Все не по немъ! весь день ворчалъ,
И вдругъ совсѣмъ озлился.
«Костить!... — Потише, господинъ!
Сказалъ я, вспыхнулъ тоже.
— «Какъ! что?... Зазнался, хамовъ сынъ!»
И хлопъ меня по рожъ!»
«По старой памяти, я прочь,
А онъ за мной—бѣдовый!...
— Такъ вотъ, продумалъ я всю ночь,
Каковъ онъ баринъ новый!»
«Такія рѣчи поведетъ,
Что слушать любо-мило,
А кончить тѣмъ же, что прибѣтъ!
Нѣтъ, прежде проще было!»
«Обидно! Я его считалъ
Не бариномъ, а братомъ...
Настало утро—не позвалъ,
Свернувшись, подъ халатомъ»,
«Стоналъ какъ раненый весь день,
Не выпилъ чашки чаю...
А ночью баринъ словно тѣнь
Прокрался къ Ермолаю»:
«Впередъ уставился лицомъ:
— «Ударь меня скорѣ!
Мнѣ легче будетъ!...» (Мертвецомъ
Глядѣлъ онъ, былъ бѣдѣ
Своей рубахи):— «Мы равны,
Да я сплосалъ... я знаю...
Какъ быть; сквитаться мы должны...
Ударь!... Я позволяю».

А вотъ изъ стихотворенія: „У Трофима“:

«И откуда чортъ приводитъ
Эти мысли? Бороню,
Управляющій подходитъ,
Низко голову клоню,
Поглядѣть въ глаза не смѣю,
Да и онъ-то не глядитъ —
Знай навладываетъ въ шею.
Шея, вѣришь ли? трещитъ!
Только стану забываться,
Голосъ барина: Трофимъ!
Недоимку! Кувыркаться
Начинаю передъ нимъ»...
— Страшно, видно воротиться
Къ недалекой старинѣ?
«Такъ ли страшно, что мутится
Вся утробушка во мнѣ!
И теперь уйдешь весь въ пятки,
Какъ посредникъ налетитъ,
Да съ Трофима взятки гладки:
Пошумитъ—и укатитъ!»

Гдѣ красота стиха, гдѣ оригинальность, гдѣ поэтическое вдохновеніе, гдѣ остроуміе?

Увы, нѣтъ ихъ!

Казенные ужъ больно выходятъ стихи!

Не знаю почему, но всякій разъ, когда я читаю стихи Некрасова, долго послѣ мысли во мнѣ складываются стихами *плаксиваго* размѣра.

Вотъ, напримѣръ, одна изъ мыслей:

Кряхтитъ все и стонетъ Некрасовъ,
Надъ бѣдной спиной мужичковъ,
И Прововъ, Трофимовъ и Власовъ
Все плеткою бьетъ изъ стишковъ.
Прочтетъ ихъ приказный чиновникъ,
Съ чернильной слезой на глазахъ,
Прочтетъ либераль ихъ сановникъ
Съ улыбкою плоской въ устахъ.
Прочтетъ ихъ студентъ медицины
И скажетъ: «вотъ это стишки»...
Но если, по волѣ судьбины,
Прочтутъ тѣ стишки мужички,

Они, головой покачая,
Уставятъ въ пространство глаза
И скажутъ; хоть скорбь-то родная,
Да только не наша слеза!

П. Павловъ.

* * *

*) Второй періодъ дѣятельности Некрасова, во многихъ отношеніяхъ, представляетъ повтореніе прежнихъ темъ, при значительно большемъ, однакоже, противъ прежняго развитіи одной стороны—сатирической. Но эту послѣднюю, представляющую у Некрасова во многихъ случаяхъ черты, общія съ Щедринымъ, мнѣ придется затрогивать впослѣдствіи, при разборѣ той или другой сатиры Щедрина. Теперь же я обращаюсь къ тѣмъ произведеніямъ Некрасова, относящимся ко второму періоду, въ которыхъ затрогивается его прежняя, любимая тема: положеніе народа и всѣхъ вообще людей, связанныхъ съ народомъ своей участью. Первый періодъ заканчивается началомъ шестидесятыхъ годовъ. 1861 годъ, съ его великимъ событіемъ—освобожденіемъ крестьянъ, не могъ не вызвать у нашего поэта сочувственнаго стихотворенія. И дѣйствительно, онъ привѣтствовалъ эту многознаменательную пору стихами:

Родина мать! по равнинамъ твоимъ
Я не вѣжалъ еще съ чувствомъ такимъ...

Замѣчая на рукахъ у матери-крестьянки ребенка, онъ обращается къ нему съ такими свѣтлыми предсказаніями:

Въ добрую пору дитя родилось,
Милостивъ Богъ! не узнаешь ты слезъ.
Съ дѣтства никѣмъ не запуганъ, свободенъ,—
Выберешь дѣло, къ которому годенъ.
Хочешь—останешься вѣкъ мужикомъ,
Сможешь—подъ небо взвѣсьешься орломъ.

Далѣе поэтъ, однако, чувствуетъ необходимость поудержать свой восторгъ:

*) О. Миллеръ. „Публичныя Лекціи. Некрасовъ. Произведенія второго періода (съ 1861 г.)“. Эта статья помѣщается здѣсь тоже въ нѣсколько сокращенномъ видѣ.

Въ этихъ фантазіяхъ много ошибокъ:
Умъ человѣческій тонокъ и гибокъ.
Знаю: на мѣсто сѣтей крѣпостныхъ
Люди придумали много иныхъ.

Въ концѣ, какъ извѣстно, онъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что эти новыя сѣти будутъ, однако, легче распутать. Но, кромѣ этихъ новыхъ сѣтей, придуманныхъ тою человѣческою изобрѣтательностью въ злѣ, отъ которой человечество нигдѣ, ни въ какой странѣ не умѣло еще избавиться,—кромѣ того остаются еще слѣды глубокіе, не скоро зажигающіе слѣды отъ старыхъ оковъ, вслѣдствіе чего не только большая часть произведеній Некрасова, написанныхъ до 1861 г., все-таки не устарѣла и не можетъ скоро устарѣть, но у него могли и послѣ того появляться стихотворенія на прежнюю печальную тему. Такъ, напримѣръ, въ 1867 г. написано имъ небольшое, но много содержащее стихотвореніе: „Съ работы“...

Во 2-й половинѣ пятидесятихъ годовъ, Некрасовымъ начатъ тотъ рядъ стихотвореній, который носитъ общее названіе: „О погодѣ“; я ихъ не затрогивалъ именно потому, что они въ то время были только начаты, а продолжались позже, уже въ половинѣ шестидесятихъ годовъ, при чемъ все болѣе и болѣе принимали сатирическій характеръ. Первое изъ этихъ стихотвореній еще полно лиризма и посвящено любимой Некрасовской темѣ—положенію бѣднаго человѣка; но и въ этомъ стихотвореніи мнѣ опять слышатся нѣкоторыя не совсѣмъ вѣрныя ноты. Дѣло, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, что, при сѣздѣ съ моста, коляска наѣзжаетъ на дроги и опрокидываетъ ихъ—гробъ падаетъ и раскрывается. Что подобный случай возможенъ—въ этомъ, конечно, нѣтъ никакого сомнѣнія; но что за надобность прибѣгать къ *случаямъ*, когда достаточно и того, что дѣлается каждый день, помимо всякой случайности, что вошло въ обыкновенный порядокъ вещей, но что не у каждого на глазахъ, а потому и не всѣхъ поражаетъ. Вполнѣ достаточно и такихъ заурядныхъ явленій, которыя должны быть только собраны съ разныхъ сторонъ и выставлены на показъ всѣмъ, чтобы самое безпечное сердце перевернулось,

чтобы самому равнодушному человѣку сдѣлалось жутко. Гонимой за случайностями только дается поводъ ему, этому такъ неохотно тревожащемуся человѣку, отдѣлаться именно тѣмъ, что вѣдь это только *случайности*; а поэтъ нашъ далѣе въ томъ же стихотвореніи представляетъ намъ цѣлое сгроможденіе несчастныхъ случайностей, не невозможное, разумѣется, но все же, по своей рѣдкости, дающее поводъ сказать, что это *придуманно*. Оказывается, что этотъ бѣдникъ-чиновникъ, котораго вывалили изъ гроба,—что онъ съ самаго начала не нашелъ себѣ покоя и въ немъ: въ то время, когда гробъ стоялъ еще въ комнатѣ, произошелъ пожаръ; въ теченіе же своей жизни погоралъ онъ 14 разъ! На кладбищѣ, въ довершеніе всего, онъ попадаетъ въ могилу, наполненную водой, что подаетъ поводъ провожающей его старушкѣ замѣтить:

„ вчера погоралъ,
„А сегодня, изволите видѣть,
„Изъ огня прямо въ воду попалъ“.

И авторъ, который приводитъ все это, какъ очевидецъ, тутъ только замѣчаетъ, что этой старушкѣ жаль своего несчастнаго жильца. Между тѣмъ, для читателя это представляется несомнѣннымъ съ самаго начала, по самому тону ея, лишь повидимому равнодушнаго разсказа, а потому и представляется неумѣстнымъ вопросъ, съ которыми обращается къ ней вначалѣ авторъ:

„И тебѣ его будто не жаль?“

Очевидно, что вопросъ этотъ заданъ съ цѣлью вызвать у нея отвѣтъ:

„Что жалѣть? Намъ жалѣть не досужно...“

Тогда какъ ей рѣшительно незачѣмъ говорить это: читатель и самъ изъ всего ея разсказа вывелъ бы, что *сентиментальничать* дѣйствительно ей не къ лицу, не по ея положенію—но что только этимъ-то и объясняется ея кажущееся равнодушіе. И такъ, уже въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ, предшествующихъ второму періоду, до извѣстной степени замѣчается у нашего поэта изысканность, преуве-

личенность, отсутствие жизненно-художественной правды. Съ другой стороны, мы замѣчаемъ и во 2-мъ періодѣ произведенія, служащія прямымъ продолженіемъ лучшихъ сторонъ перваго. Къ 1861 г. относится поэма „Коробейники“, отличающаяся отъ другихъ поэмъ Некрасова особымъ, живымъ и веселымъ тономъ, преобладающимъ въ ней почти до конца, т.-е. до той трагической развязки, которая тѣмъ болѣе насъ поражаетъ. Въ своей существенной части поэма рисуетъ намъ то своего рода оживленіе, которое вносится этими ходячими торговцами—коробейниками въ однообразную народную жизнь; впрочемъ, свѣтлое ея впечатлѣніе еще въ серединѣ поэмы до нѣкоторой степени нарушается обычнымъ Некрасовскимъ настроеніемъ: онъ совершенно естественнымъ образомъ представляетъ намъ то смѣшеніе веселаго съ грустнымъ, которое такъ часто встрѣчается въ жизни. Грустную сторону представляетъ рассказъ о крестьянинѣ, который случайно, по ошибкѣ, былъ усаженъ въ острогъ, и та печальная пѣсня странника, которая и сама по себѣ должна быть отнесена къ лучшимъ произведеніямъ Некрасова. Это та, весьма извѣстная, пѣсня, которой каждый куплетъ оканчивается стихами:

„Холодно, странничекъ, холодно!
„Голодно, родименькій, голодно!“

Нѣсколькими годами позже (1863) написана другая поэма: „Морозъ—красный носъ“, отличающаяся почти вся сплошь самымъ грустнымъ тономъ, но при этомъ и искренностью и задухебною, вполне напоминающею лучшія произведенія перваго періода. Личность крестьянской жены и матери, какъ мы знаемъ, не разъ выдвигалась Некрасовымъ и въ прежнихъ его произведеніяхъ; здѣсь этотъ образъ развитъ еще съ большей подробностью и съ особенно сочувственными чертами...“ (Приводится выдержка, начинающаяся стихомъ: „Есть женщины въ русскихъ селеньяхъ“... и конч.: „На праздникъ есть лишній кусокъ“. Также кратко пересказывается сюжетъ поэмы).

„Тутъ Некрасовъ воспользовался прекраснымъ мотивомъ русской сказки, осуществивъ морозъ въ образѣ живаго су-

щества, принимающаго бѣдную женщину въ свое холодное царство. Подобное замерзаніе, конечно, не совершенно рѣдкій случай въ народномъ быту, хотя обыкновенно оно происходитъ вдали отъ жилья, вслѣдствіе занесшей дорогу вьюги. Въ нашей поэмі ничего этого нѣтъ, и съ перваго взгляда можетъ показаться, что поэтъ представляетъ и тутъ какую-то рѣдкую случайность. Но если мы примемъ во вниманіе, что Дарья возвращается съ похоронъ усталая, безсознательно голодная, что сердце ея разбито, то становится понятнымъ, почему она могла, во время рубки дровъ, прислониться къ дереву, чтобы хотя нѣсколько отдохнуть и отдаться своимъ грустнымъ мыслямъ: такимъ образомъ замерзаніе оказывается достаточно обусловленнымъ, не представляется странной мелодраматической случайностью. Не то должны мы сказать о нѣкоторыхъ чертахъ другого произведенія, написаннаго нѣсколько позже. Некрасовъ въ своемъ посвященіи поэмы: „Морозъ—красный носъ“ сестрѣ называетъ эту поэму своей „последней пѣснью“; дѣйствительно, это послѣдняя большая поэма изъ народнаго быта, которую можно съ начала до конца прочесть съ однимъ и тѣмъ же чувствомъ удовлетворенности.

Къ 1864 году относится стихотвореніе: „Желѣзная дорога“. Тутъ совершенно вѣрно схваченъ одинъ изъ новыхъ видовъ неволи, придуманный „тонкимъ и гибкимъ умомъ чело-вѣка.“ народъ уже освобожденный изъ крѣпостной зависимости попадаетъ въ нелегкую также зависимость отъ тѣхъ *строителей*, которые думаютъ только о набиваніи своихъ кармановъ. Все это выражено въ видѣ разсказа учителя маленькому мальчику, который, вмѣстѣ съ нимъ и съ отцомъ, ѣдетъ по желѣзной дорогѣ. Есть люди, которые находятъ поведеніе этого учителя не педагогическимъ: „зачѣмъ“, говорятъ они, „смущать свѣтлую душу ребенка такими картинками?“ Взгляды на воспитаніе, конечно, бываютъ различны; кому нравится выдѣлывать изъ своихъ дѣтей нѣжен-ковъ, не знающихъ жизни Адуевыхъ, или отворачивающихся отъ нея Обломовыхъ, тотъ не можетъ не возставать противъ пріемовъ некрасовскаго учителя. Но и тѣ, которые сочувственно отнесутся къ его словамъ, открывающимъ ре-

бенку глаза, дающимъ ему почувствовать, что такое трудъ, какъ дорого стѣить, не въ одномъ только денежномъ смыслѣ, эта дорога, по которой ему такъ удобно и весело ѣхать,—даже и такіе люди не могутъ не признать въ этой поэмѣ кое-чего совершенно лишнімъ, впадающимъ въ мелодраму, или, вѣрнѣе сказать,—въ балладу. Все, что говорить учитель, само по себѣ прекрасно...“ (Приводятся выдержки изъ стихотворенія).

„Но къ чему было выводить въ этой поэмѣ, по основной своей мысли совершенно правдивой,—къ чему было вывести этотъ хоръ мертвецовъ, заставлять ихъ вставать по краямъ дороги и скрежетать зубами? То чувство правды, которое такъ рѣшительно со временъ Гоголя и которое такъ замѣтно и въ лучшихъ произведеніяхъ Некрасова,—должно бы было оградить его отъ такой напряженной неестественности. Последнее большое произведеніе Некрасова изъ народнаго быта, это—„Кому на Руси жить хорошо“. Во всей поэмѣ, какъ извѣстно, соблюденъ даже народный размѣръ, но нельзя не сознаться, что Некрасовъ пользуется имъ не особенно удачно: онъ у него отличается крайнимъ однообразіемъ, тогда какъ народъ умѣетъ его видоизмѣнять. Только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ у Некрасова попадаютъ прямые заимствованія изъ народныхъ пѣсенъ, нѣсколько нарушается однообразіе этого размѣра. Содержаніе нѣсколько сходно съ приѣмами народныхъ сказокъ, и этими приѣмами можетъ быть извинено то, что безъ этого могло бы представиться нѣсколько натянутымъ: странствованіе мужиковъ, бросающихъ работу, семью и бродящихъ по свѣту, чтобы узнать, кому на Руси хорошо живетъ? Если крестьяне отправляются странствовать въ романѣ Рѣшетникова „Гдѣ лучше?“ или въ „Подлиповцахъ“—то тамъ ихъ руководитъ практический интересъ, а не одно простое любопытство. Но у Некрасова народъ рисуется въ сказочной обстановкѣ, при участіи скатерти-самобранки и нѣкоторыхъ другихъ принадлежностей чудеснаго міра; самая же основа поэмы нѣсколько напоминаетъ тѣ народные сказки, въ которыхъ происходитъ споръ изъ-за того, что первенствуетъ въ мірѣ — „правда“ или „кривда“, и для рѣшенія этого спора тоже совершается

странствованіе. Несмотря на такую сказочность формы, поэма Некрасова, по своему содержанію, вполне отражаетъ въ себѣ нашу современность—а именно, многія изъ явленій поры, непосредственно слѣдовавшей за освобожденіемъ крестьянъ, и, подобно всякой переходной порѣ, представляющей много тяжелаго. Вспомните встрѣчи крестьянъ, отправившихся развѣдать, кому на Руси лучше живется съ различными лицами, рассказывающими имъ о своемъ положеніи. Тутъ прежде всего выдается рассказъ священника, напоминающій нѣкоторыя черты у Рѣшетникова, у Помяловскаго и у Стебническаго (въ „Соборнахъ“). Рассказъ этотъ съ такою полною откровенностью выставляетъ личное положеніе священника ухудшившимся послѣ того, какъ помѣщичье величіе потерпѣло подрывъ...“ (Слѣдуетъ выдержка изъ поэмы, начинающаяся стихомъ: „Перевелись помѣщики...“ и кончающаяся стихомъ: „Уйдешь домой“).

„Не менѣе сильно дѣйствуетъ и появленіе помѣщика, его испугъ при видѣ толпы крестьянъ, обращающейся къ нему съ совершенно мирнымъ вопросомъ, кому жить лучше?—испугъ, объясняемый тѣмъ, что ему мерещется, „ужъ не бунтъ ли это?“ Затѣмъ, когда онъ приходитъ въ себя, какъ натурально это величанье имъ крестьянъ „господами“, съ предложеніемъ, чтобы они садились, при иронической просьбѣ-вопросѣ:

„И мнѣ присѣсть позволите?“

Кому изъ насъ не приходилось быть свидѣтелемъ подобныхъ сценъ въ первые годы послѣ освобожденія крестьянъ,

Въ высшей степени замѣчательна и та глава поэмы, которая озаглавлена „Послѣдышъ“: этотъ старикъ помѣщикъ, до такой степени не могущій помириться съ новыми порядками, что у него отъ нихъ дѣлается ударъ; эти родственники, которые стараются его успокоить тѣмъ, что вся реформа отмѣнена, и все опять установилось по старому: эта комедія, которую, по просьбѣ родственниковъ помѣщика, разыгрываютъ крестьяне, чтобы наглядно его убѣдить въ восстановленіи крѣпостного права; — все это, конечно, явленія исключительныя, но нарисованныя такими красками, что

трудно не вѣрить возможности всего этого. Съ другой стороны, изъ ряда людей, принадлежащихъ самому народу, въ поэмѣ Некрасова выдвигается такая личность, какъ Ермилъ. Снискавъ своею честностью довѣріе другихъ крестьянъ, онъ, несмотря на молодость, выбранъ въ бурмистры; наконецъ, довѣріе къ нему крестьянъ такъ велико, что они въ одинъ часъ собираютъ тысячу рублей, чтобы выручить его изъ нужды. Но и онъ однажды провинился передъ міромъ:

Былъ случай, и Ермилъ мужикъ
Свихнулся: изъ рекрутчины
Меньшого брата Митрія
Повыгородилъ онъ...

Но зато же и замучила его послѣ этого совѣсть, зато же и каялся онъ передъ міромъ, а міръ послѣ этого покаянія сталъ только болѣе ему довѣрять... И загладилъ Ермилъ свое прегрѣшеніе еще болѣе вѣрною службою міру, за которую, наконецъ... и попалъ въ острогъ (дѣло было еще въ крѣпостное время). Это образъ совершенно живой, возможный, хотя въ основѣ своей и идеальный. — Съ другой стороны, въ этой же самой поэмѣ проявляется у Некрасова и реализмъ, доведенный до своихъ крайнихъ предѣловъ. Вспомните картину народнаго пьянства, которая слѣдуетъ за описаніемъ ярмарки:

По всей по той дороженькѣ
И по окольнымъ тропочкамъ,
Докуда глазъ хваталъ,
Ползли, лежали, вѣхали,
Барахталися пьяные,
И стономъ стонъ стоялъ.

Далѣе слѣдуютъ подробности:

Садятся два крестьянина,
Ногами упираются,
Крехтятъ—на скалкѣ тянутся,
Суставчики трещать!
На скалкѣ не понравилось:
„Давай теперь попробуемъ
Тянуться бородой!“
Когда порядкомъ бороды

Другъ дружѣ поубавили,
Вцѣпились за скулы!
Пыхтятъ, краснѣютъ, корчатся,
Мычатъ, визжатъ, а тянутся!

Во-первыхъ, нельзя не замѣтить, что пьяный человѣкъ не всегда же только дерется; нѣкоторые, опьянѣвъ, становятся особенно дружелюбны, цѣлуются, обнимаются; что бы, хоть для разнообразія, въ общей картинѣ пьяныхъ, выставить нѣсколько и такихъ? Нагроможденіе однихъ въ высшей степени безобразныхъ проявленій народнаго разгула, и нагроможденіе ихъ въ такомъ количествѣ можетъ быть объяснено только особеннымъ умысломъ — указать на то, до чего доходитъ народъ въ своемъ невѣжественномъ весельи. Но вѣдь подобныя указанія могутъ оказаться совершенно сподручными для людей, руководимыхъ особыми цѣлями, — совершенно, конечно, не тѣми, какія могли быть у нашего поэта. Правда, далѣе онъ заставляетъ одного крестьянина высказать многое въ защиту народа, который упрекается тутъ за свою слабость дворяниномъ Веретенниковымъ; но крестьянинъ, можно сказать, держитъ передъ нимъ цѣлую защитительную рѣчь, которая, и по своей длиннотѣ, и по своему тону, отзывается мѣстами совершенной риторикой. Нельзя не замѣтить и крайняго преувеличенія въ подробностяхъ той грубой комедіи, которую разыгрываютъ передъ „последышемъ“, чтобы увѣрить его въ томъ, что крѣпостное право возобновлено. Агапъ, осмѣлившійся сказать ему „грубость“, долженъ быть *для вида* наказанъ; чтобы онъ исправнѣе кричалъ, его спаиваютъ, и что же? Комедія кончается его смертью, происходящею съ перепоемъ. Можно бы было, мнѣ кажется, обойтись и безъ этой совершенно случайной трагической развязки, подающей только поводъ говорить о *придуманности* и заподозрѣвать вѣрность всей вообще картины.

Въ особомъ отдѣлѣ той же поэмы, носящемъ названіе „Крестьянка“, есть много прекраснаго, вѣрнаго, но отдѣльныя черты опять-таки отличаются нѣкоторой изысканностью. Въ числѣ бѣдствій, которыя приходится испытать этой бѣдной крестьянкѣ, замѣшивается и такое, какъ смерть ея

маленького сына, сдѣлавшагося жертвою прожорливости сви-ней, — случай, конечно, возможный въ крестьянскомъ быту, но все-таки *случай*. Въ другомъ мѣстѣ поэмы упоминается о расправѣ, происходившей еще въ помѣщичьи времена. Мать хочетъ изъавить отъ наказанія своего сынишку, про-винившагося въ томъ, что не съумѣлъ спасти отъ волка овцу, или, лучше сказать, — отдалъ ему овцу, видя, что овца уже мертвая. Мальчика ведутъ на судъ къ помѣщику, который признаетъ, что онъ, какъ ребенокъ, не виноватъ, и велитъ его оставить въ покоѣ, но вмѣсто него наказать его мать. Что подобный случай, какъ онъ ни рѣдокъ по своей странности, все-таки возможенъ при самодурствѣ по-мѣщичьяго самоуправства, это, конечно, не подлежитъ со-мнѣнію; но вспомнимъ, съ какой осторожностью поступалъ Тургеневъ — въ „Запискахъ Охотника“, которыя оттого и произвели такое неотразимое дѣйствіе, что въ нихъ воспро-изведены только совершенно обыкновенныя, каждый день, на каждомъ шагу встрѣчавшіяся черты крѣпостного вре-мени, такъ что ни про одну изъ нихъ нельзя было сказать: это рѣдкость или исключеніе. Нашъ поэтъ въ послѣдней своей поэмѣ, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ, напротивъ того, имѣлъ, очевидно, въ виду подобрать черты особенно выдающіяся по своей крайности, а потому и мо-гушія, какъ онъ думалъ, особенно поразить. Но чѣмъ объ-яснить появленіе въ его поэмѣ добродѣтельной губернаторши, нѣсколько отзывающейся — да простить мнѣ поэтъ такое сравненіе съ стариной — сентиментализмомъ повѣстей Карам-зинскаго періода? А вѣдь отъ этой идеальной губернаторши даже получило свое прозвище главное дѣйствующее лицо въ отдѣлѣ: „Крестьянка“, Матрена Тимофеевна. Въ лицѣ этомъ многое подмѣчено совершенно вѣрно, но оно далеко не такъ художественно обработано, не производитъ того впечатлѣнія, какъ Дарья въ поэмѣ „Морозъ — красный носъ“. Упомянутыя поэмы были послѣдними собственно изъ народ-наго быта. Затѣмъ Некрасовъ дѣлаетъ рѣзкій переходъ къ другому кругу: отъ простой русской женщины удрученной горемъ, онъ обращается къ русскимъ женщинамъ изъ выс-шаго класса, которыхъ сблизило съ народомъ внезапно по-

стигшее ихъ несчастіе. Поэтъ показываетъ на примѣръ этихъ двухъ княгинь, неполными фамиліями которыхъ озаглавлены оба отдѣла поэмы „Русскія Женщины“, какіе богатые задатки нравственныхъ силъ могутъ скрываться въ глубинѣ души и, не заглохнувъ отъ великосвѣтскаго воспитанія, выйти наружу подъ вліяніемъ вызывающихъ на борьбу обстоятельствъ.

Эта поэма—одно изъ тѣхъ послѣднихъ произведеній Некрасова, въ которыхъ онъ выходитъ на новую дорогу, и выходитъ такъ, что мы вполне узнаемъ его прежнюю поэтическую силу. Можетъ быть, двѣ-три черты отзываются и преувеличеніемъ, аффектаціей: можно было обойтись безъ этого нѣсколько натянутого проклятія, которымъ угрожаетъ княгинѣ В—ской ея отецъ; а тѣмъ болѣе безъ цѣлованія ею оковъ своего мужа; правдивѣе было бы, если бы она просто бросилась ему на шею, вмѣсто того, чтобы картинно опускаться на колѣни и прижимать его оковы къ губамъ. Но все это выкупается прекраснымъ впечатлѣніемъ отъ цѣлаго, а также и многими прекрасными подробностями, къ которымъ нельзя не отнести задушевнаго отзвука княгини В—ской о простыхъ русскихъ людяхъ, о ихъ добротѣ и ихъ сострадательности.—При разборѣ поэмы „Несчастные“ мнѣ пришлось указать на то, что вліяніе на простой народъ едва ли можетъ у насъ имѣть образованный человѣкъ—по причинамъ, указаннымъ Достоевскимъ, всегда представлявшійся народу какимъ-то *неровней*, а въ каторжникахъ изъ народа вызывающій какое-то съ завистью смѣшанное презрѣніе, какъ существо, до извѣстной степени и на каторгѣ оказывающеесяе *бѣлоручкою*. Но этимъ вовсе не исключается возможность состраданія, участія простыхъ людей къ горю людей изъ другого класса. Участіе, выраженное княгинѣ В—ской въ Сибири простыми солдатами, вполне возможно, вполне въ духѣ нашего простолюдина, а потому и нельзя не повторить съ полнымъ сочувствіемъ слѣдующихъ словъ:

„Въ дорогѣ, въ изгнаньи, гдѣ я ни была,
„Все трудное каторги время,
„Народъ, я бодрѣ съ тобою несла
„Мое непосильное бремя.

.

„Ты любишь несчастнаго, русскій народъ!

„Страданія насъ породнили.

„Примите мой низкій поклонъ, бѣдняки,

„Спасибо вамъ всѣмъ посылаю,

„Спасибо!.. Считали свой трудъ ни во что

„Для насъ эти люди простые,

„Но горечи въ чашу не подлилъ никто,

„Никто—изъ народа, родные!

Съ „Русскими Женщинами“ нѣкоторую связь представляетъ другая Некрасовская поэма, написанная нѣсколько ранѣе, — поэма „Дѣдушка“. Въ высшей степени счастливая мысль—въ этомъ сопоставленіи стараго дѣда, т.-е. стараго годами, но молодаго душой, — съ маленькимъ внукомъ, въ той трогательной дружбѣ, которая ихъ связываетъ. Въ высшей степени отрадное впечатлѣніе производитъ этотъ старикъ, нисколько не помятый годами, сочувствующій всему новому, свѣтлому, совершающемуся у него передъ глазами: въ этомъ новомъ онъ видитъ только осуществленіе того, къ чему самъ онъ стремился еще въ молодые лѣта. Нашу литературу много обвиняли въ несочувствіи къ „отцамъ“, въ стремленіи унижить ихъ передъ „дѣтьми“: но въ этой Некрасовской поэмѣ мы видимъ такое полное сочувствіе даже къ „дѣдамъ“, послѣ котораго всѣ подобныя упреки должны бы потерять силу. Дѣдушка, выведенный Некрасовымъ, съ самой искренней радостью привѣтствуетъ давно ожидаемую имъ эпоху освобожденія крестьянъ (онъ возвращается подъ самый конецъ крѣпостного времени), привѣтствуетъ и всякія другія перемѣны къ лучшему:

„Зрѣлище бѣдствій народныхъ

Невыносимо, мой другъ;

Счастье умовъ благородныхъ—

Видѣть довольство вокругъ.

Нынче полегче народу:

Стихъ, притаился въ тѣни

Баринъ, прослышавъ свободу...

Ну, а какъ въ наши-то дни!“

Вотъ что говоритъ дѣдушка своему внуку. Далѣе онъ подробно ему объясняетъ, какъ тяжело было прежде крестья-

янину, какъ тяжело было прежде и солдату; намекаетъ и на послѣдствія той чрезмѣрной тяготы, которая пришлось выносить народу...“ (Далѣе слѣдуетъ нѣсколько выдержекъ изъ поэмы).

„Кое-гдѣ только и въ этой поэмѣ замѣтны кое-какія подробности лишнія, впадающія въ другой, нѣсколько изысканный тонъ, напр., омовеніе ногъ старика, совершаемое при его возвращеніи сыномъ, — оно слишкомъ отзывается чѣмъ-то библейскимъ, патріархальнымъ, такъ же точно какъ и цѣлованіе возвращающимся родной земли. Можно бы также исключить нѣкоторые отдѣльныя выраженія, съ которыми дѣдъ обращается къ внуку; — напримѣръ, едва ли вразумительное для ребенка наставленіе:

„Честью всегда дорожи!“.

Но такіе незначительные недостатки не портятъ цѣлаго. Вообще нельзя не привѣтствовать съ самымъ полнымъ сочувствіемъ выхода нашего поэта на новую дорогу въ „Русскихъ Женщинахъ“ и въ „Дѣдушкѣ“. То, что составляло его любимую тему — непосредственное описаніе страданій народа и вообще бѣдняковъ, — уже имъ исчерпано, не потому, чтобы подобная тема сама по себѣ когда-либо могла быть вполне исчерпана, а потому, что поэтъ нашъ сталъ какъ-то повторяться, когда принимается за эту тему. Дѣло объясняется, я полагаю, просто: чтобы, возвращаясь къ этой темѣ, не повторяться, надо продолжать очень близко стоять къ народу, надо постояннымъ общеніемъ съ нимъ поддерживать свѣжесть впечатлѣній. Извѣстно, что стало случаться съ другимъ нашимъ славнымъ писателемъ — И. С. Тургеневымъ: съ тѣхъ поръ, какъ онъ долго живетъ за границей, мы почти вовсе не видимъ новыхъ типовъ въ его произведеніяхъ; — чтобы создавать ихъ, нужно слѣдить за ихъ рожденіемъ. — То же болѣе или менѣе можно примѣнить и къ Некрасову. Чтобы, говоря о положеніи народа, не повторяться, недостаточно, сидя у себя въ кабинетѣ — только припоминать его себѣ такимъ, какимъ мы его когда-то знали. При отсутствіи живого общенія съ тѣмъ, что воспроизводитъ художникъ, у него не можетъ не появиться нѣкоторая сдѣ-

ланность, его произведенія не могутъ не отзываться заказнымъ тономъ.

Въ концѣ прошлой лекціи я противопоставилъ Некрасова Байрону въ томъ смыслѣ, что, хотя скорбь развита у обоихъ въ сильнѣйшей степени, Байронъ не затрогивалъ скорби простого народа, а Некрасовъ именно съ нею-то главнымъ образомъ и имѣетъ дѣло.

Но для того, чтобы эта народная скорбь выражалась у него съ прежнею силою, ему не слѣдовало бы опускаться въ спокойное кресло своего кабинета. Между тѣмъ изъ поэтовъ Англіи выдаются нѣкоторые, вышедшіе изъ среды народа и сохранившіе съ нимъ связь до конца. Такимъ, на примѣръ, является во второй половинѣ прошлаго столѣтія Борнсъ, собственная доля котораго была до конца вполнѣ трудовая, полная скорби, несчастій, и который такъ преждевременно умеръ вслѣдствіе этого. Съ другой стороны, мы видимъ тамъ человѣка, который родился въ бѣдности, хотя и не отъ простолюдиновъ; впоследствии онъ составилъ себѣ хорошее положеніе, но обязанность сельскаго священника постоянно связывала его съ народомъ и вообще съ страдающими, а его рѣдкая благотворительность заставляла его еще болѣе, и уже вполнѣ добровольно, скрѣпить эту связь;— то былъ, какъ вы, конечно, догадываетесь — Краббъ. И что же? У этихъ двухъ поэтовъ вы не найдете фальшивыхъ нотъ.

Съ другой же стороны, у нихъ замѣтна способность съ любовью останавливаться и на тѣхъ свѣтлыхъ лучахъ, которыми озаряется иногда народная жизнь. Ихъ тонъ и не исключительно скорбный, не исключительно поющій объ одной нуждѣ, объ однихъ лишеніяхъ, какъ мы видимъ это у Некрасова — преимущественно во 2-мъ періодѣ. Но и у насъ были поэты, непосредственно вышедшіе изъ народа и сохранившіе съ нимъ связь, — стоить только вспомнить Кольцова, Шевченко. У нихъ у обоихъ до конца все оставалось просто, все непосредственно выливалось изъ души, ничто не написано на заданную себѣ тему; у нихъ у обоихъ среди мрака, среди скорби, сгустившихся надъ народ-

ною жизнью, появляются, особенно у Кольцова — и лучи свѣта.

Мы видимъ у нашего поэта-прасола не однѣ только жалобы на нужду и семейный деспотизмъ, не одинъ разгулъ съ отчаянья; мы видимъ у него и свѣтлую удалъ, и нѣжное чувство любви, и надежду съ вѣрой въ возможность лучшаго порядка вещей, видимъ, наконецъ, веселость въ самомъ процессѣ труда...

Общій тонъ Шевченко, конечно, болѣе скорбный. Крѣпостное право, деспотизмъ семейный, несчастная любовь при бѣдности,—все это любимыя его темы; но при этомъ у него живо слышится и нѣжность чувства, вниканіе въ жизнь природы, стараніе ея красотами хотя сколько-нибудь отвести себѣ душу, наконецъ, хотя и полная опять грусти. но живая и теплая,—стало быть, ободрительная, *свѣтлая* вѣра. Главными же лучами свѣта являются у Шевченко воспоминанія историческія, величавое прошлое его Малороссіи...

Присутствіе свѣтлой струи въ поэзіи людей, вышедшихъ изъ народа, совершенно понятно: то же самое замѣчаемъ мы и въ настоящей народной поэзіи. Шевченко недаромъ, описывая своего кобзаря, говоритъ про него, что онъ

Самъ кручинится, а людямъ
Горе разгоняетъ.

Недаромъ говоритъ онъ, что дума пѣвца облетаетъ весь міръ—

„И снова на небо—подальше отъ горя“.

Послѣ этого мы не можемъ не сознаться, что опредѣленіе пѣсни нашего народа, которое дѣлаетъ Некрасовъ въ концѣ своего стихотворенія „У параднаго подѣзда“—оказывается слишкомъ одностороннимъ. Сначала онъ говоритъ собственно о пѣснѣ бурлаковъ—

Выдь на Волгу: чей стонъ раздается
Надъ великою русской рѣкой?
Этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется,
То бурлаки идутъ бичевой.

И относительно ихъ пѣсенъ это опредѣленіе вѣрно. Но далѣе Некрасовъ обращается вообще къ русскому народу:

Гдѣ народъ, тамъ и стонъ.
—Эхъ, сердечный!
Что же значить твой стонъ безконечный?
Ты проснешься, исполненный силъ,
Иль, судебъ повинувся закону,
Все, что могъ, ты уже совершилъ, —
Создалъ пѣсню, подобную стону,
И духовно навѣки почилъ!...

Но сводить все содержаніе русской народной поэзіи къ одному только стону невозможно: въ ней есть совершенно другія ноты, — въ ней есть широкая, могучая удалъ, — во множествѣ пѣсенъ; въ ней есть идеалы силы, не покоряющейся ничему, кромѣ міра-народа — въ героическомъ эпосѣ; въ ней есть вѣра въ конечную правду, въ ея непремѣнное, рано или поздно наступающее торжество — въ цѣломъ рядѣ сказокъ. Такая многосторонность болѣе или менѣе замѣтна въ устной поэзіи всякаго народа; и это совершенно понятно. Въ жизни народа такъ много горькаго, что ему необходимо усладить свою долю хотя бы въ воображеніи, внести какой-нибудь лучъ свѣта въ окружающую его тьму; — вотъ онъ и свѣтитъ для него во многихъ произведеніяхъ его творчества. Если бы и они оставались исключительно мрачными, если бы и въ нихъ онъ постоянно только стоналъ, ему бы пришлось окончательно изнемочь подъ гнетомъ своего положенія. Поэты, непосредственно вышедшіе изъ народа и сохраняющіе съ нимъ связь, сохраняютъ и эту потребность *свѣта* въ своихъ созданіяхъ. Ее можно не ощущать только въ томъ случаѣ, если заживешься въ своемъ кабинетѣ, гдѣ и безъ того такъ свѣтло и тепло. Переносясь изъ него мечтой въ лачугу крестьянина, можно долго выдерживать въ стихахъ скорбный тонъ, обращающійся, наконецъ, въ поэтическую привычку. Въ такую привычку можетъ обратиться самое безвыходно-мрачное настроеніе, потому что на самомъ дѣлѣ *выходъ* вѣдь всегда есть... Стоить только прервать процессъ творчества, отдохнуть — возвратившись къ себѣ, къ дѣйствительной жизни,

со всѣми ея удобствами и уладами. Вотъ психологическое объясненіе той односторонности и того однообразія, которыми нѣсколько страдаютъ произведенія нашего поэта—преимущественно позднѣйшія—сравнительно съ поэтами, стоящими ближе къ народу и сравнительно съ поэзіею самого народа.

Въ заключеніе я долженъ привести нѣсколько стихотвореній Некрасова, въ которыхъ нельзя не видѣть его самопризнанія; но при этомъ я долженъ еще разъ напомнить о томъ, что когда поэтъ говоритъ отъ своего лица, говоритъ: я, слѣдуетъ читать — *мы*; видѣть въ его признаніяхъ только личную его исповѣдь мы не имѣемъ никакого права,—это вмѣстѣ съ тѣмъ исповѣдь всего общества, исповѣдь цѣлаго поколѣнія. Я разумѣю, во-первыхъ, стихотвореніе подъ названіемъ „Рыцарь на часъ“, находящееся въ непосредственной связи съ стихотвореніемъ „Поэтъ и гражданинъ“. Тамъ поэтъ на призывъ гражданина отвѣчаетъ смиреннымъ признаніемъ, что онъ считаетъ себя неспособнымъ на службу общественную — здѣсь мы видимъ цѣлую исповѣдь поэта, исповѣдь передъ тѣнью его матери, которая такъ часто, какъ мы уже знаемъ, и съ такою любовью упоминается у него. Но изъ-за этой матери какъ бы виднѣется тутъ и другая мать — родина, и поэтъ напѣвается передъ той и другой...“ (Слѣдуютъ выдержки изъ стихотворенія).

„Этому мучительному признанію можетъ быть противопоставлено то, что написано Некрасовымъ въ память такъ рано умершаго, близкаго къ нему отечественнаго писателя, отличавшагося другимъ закаломъ. Вотъ какъ обращается къ нему Некрасовъ:

Суровъ ты былъ, ты въ молодые годы
Умѣлъ разсудку страсти подчинять,
Училъ ты жить для славы, для свободы,
Но болѣе училъ ты умирать.
Сознательно мірскія наслажденья
Ты отвергалъ, ты чистоту хранилъ,
Ты жадѣ сердца не далъ утоленья.
Какъ женщину, ты родину любилъ;
Свои труды, надежды, помышленья
Ты отдалъ ей; ты честныя сердца
Ей покорялъ...

Въ стихотвореніи, носящемъ названіе „Возвращеніе“, поэтъ говоритъ опять отъ своего лица, или же отъ лица цѣлаго поколѣнія. Онъ возвращается на родину, въ тѣ грустныя мѣста, гдѣ онъ родился, и которыя когда-то такъ сильно на него дѣйствовали; но что же? Онъ сознается, что связь между нимъ и родиной почти порвана:

И вѣтеръ мнѣ гудѣлъ неумолимо:
Зачѣмъ ты здѣсь, изнѣженный поэтъ?
Чего отъ насъ ты хочешь? Мимо! мимо!
Ты намъ чужой, тебѣ здѣсь дѣла нѣтъ!

Вотъ что слышится ему при этомъ напрасномъ возвратѣ!.. И самыя, вслѣдъ затѣмъ, доносящіяся до него звуки родимой пѣсни только поднимаютъ въ его душѣ безплодныя угрызения совѣсти:

И пѣсню я слышалъ въ отдаленіи; —
Знакомая, она была горька,
Звучало въ ней безсильное томленье,
Безсильная и вялая тоска.
Съ той пѣсней вновь въ душѣ зашевелилось,
О чемъ давно я позабылъ мечтать,
И проклялъ я то сердце, что смутилось
Передъ борьбой—и отступило вспять!

Съ окончательною ясностью мысль эта выражена въ стихахъ, которые называются—Неизвѣстному другу, приславшему мнѣ стихотвореніе—„Не можетъ быть“. Поэтъ сначала оправдывается обстоятельствами:

На мнѣ года печальныхъ впечатлѣній
Оставили неизгладимый слѣдъ.
Какъ мало зналъ свободныхъ вдохновеній,
О родина, печальный твой поэтъ!
Какихъ преградъ не встрѣтилъ мимоходомъ
Съ своей угрюмой музой на пути.
За каплю крови общую съ народомъ
И малый трудъ въ заслугу мнѣ сочти!

Но вслѣдъ за оправданіями и указаньемъ своихъ заслугъ—вотъ и признанье въ винахъ:

Не торговалъ я лирой, но, бывало,
Когда грозилъ неумолимый рокъ,
У лиры звукъ невѣрный исторгала
Моя рука... Давно я одинокъ...

Это одиночество служить поэту опять оправданьем во многомъ:

Тѣ жребіемъ постигнуты жестокиѣмъ,
А тѣ прешли уже земной предѣлъ...
За то, что я остался одиновимъ,
Что я, друзей теряя съ каждымъ годомъ,
Встрѣчалъ враговъ все больше на пути —
За каплю крови общую съ народомъ
Прости, меня, о родина, прости!

Мы видѣли, что, описывая свое печальное „Возвращеніе“, Некрасовъ устами этой родины называетъ себя „изнѣженнымъ поэтомъ“; въ концѣ стихотворенія, которое должно было, по возможности, оправдать его передъ укоряющимъ другомъ, онъ говоритъ, обращаясь къ своему народу:

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ,
И бросить хотѣ единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ,
Но, жизнь любя, къ ея минутнымъ бланмъ
Прикованный привычкой и средой,
Я къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ,
*Я для нея не жертвовалъ собой *)*.

Тутъ уже прямо высказывается необходимость самопожертвованія, отреченія отъ жизненныхъ благъ. Но въ этомъ вѣдь слышенъ запросъ не на что иное, какъ на старый подвижническій идеалъ, — конечно, не съ той его стороны, которая когда-то заставляла людей удаляться въ пустыню для такъ называемаго „спасенія своей души“, но съ той его стороны, которая вѣчно должна заставлять насъ умѣть отказываться отъ личныхъ наслажденій — не ради тѣмъ-большихъ наслажденій въ будущемъ, а ради вѣрнѣйшаго служенія обществу. Да, ради его надо умѣть довести себя до того, чтобы всѣ приманки жизни: блескъ, роскошь, даже обыкновенныя, въ привычку обратившіяся, удобства могли быть поставлены ни во что, а цѣну для насъ сохранялъ только тотъ, никѣмъ неотъемлемый внутренній міръ, о ко-

*) Курсивъ, какъ здѣсь, такъ и выше принадлежитъ мнѣ. О. М.

торомъ еще въ отдаленнѣйшей древности сказалъ мудрый:
„все мое я ношу съ собою“. Да, и теперь, и впредь до
скончанья вѣковъ только тотъ, кто сѣмѣетъ повторить это,
т.-е. оказаться закаленнымъ противъ всякихъ угрозъ и вся-
кихъ искушеній, только тотъ и сможетъ стойко послужить
правдѣ, вѣрно постоять за свою идею!

Повторяю еще разъ: въ стихахъ нашего поэта мы не
имѣемъ ни малѣйшаго права видѣть исключительно его лич-
ную исповѣдь; — это исповѣдь цѣлаго поколѣнія. Но что
касается мольбы поэта о прощеніи, то повторить ее за
нимъ съ надеждою на услыханіе можетъ, конечно, не вся-
кій изъ насъ. Право на это имѣютъ только тѣ, которымъ
по совѣсти можно признать за собой хоть что-нибудь общее
съ народомъ. Да, только они могутъ повторить съ поэтомъ:

„За каплю крови общую съ народомъ
Всѣ, всѣ вины *намъ*, родина, прости“ *).

О. Миллеръ.

1875 г.

**) „Русскій Вѣстникъ“ очень часто дарить читающей
русской публикѣ „смѣтливые“ и по своему пикантно очер-
ченные абрисы современнаго положенія русской, преиму-
щественно печатаемой въ Петербургѣ, литературы. Публика,
по большей части, знакомясь съ этими характерными взгля-
дами „Вѣстника“ на нашихъ литераторовъ изъ газетныхъ
и журнальных рецензій и литературныхъ обозрѣній, — въ
концѣ концовъ пришла, кажется, къ убѣжденію, что зна-

*) Еще см. о Некрасовѣ за 1874 г.: „Journal de St.Petersbourg“, № 24
(„Комуна Руси жить хорошо“); „Нива“, №№ 16 и 36 (рисунки съ поясн. къ
„Дядѣ Власу“ и „Тройкѣ“); „Сынъ Отечества“, № 301 (маленькая за-
мѣтка о стих. „Ночлеги“); „Вѣстникъ Европы“, №№ 3, 4, 10, 11 и 12
(статьи А. Н. Пыпина, подъ заглавіемъ: „В. Г. Вѣлинскій“, оконченныя
въ 1875 г., въ №№ 2, 4, 5 и 6). Отдѣльно изданы эти статьи въ 1876 г. Въ
этомъ изданіи указаны страницы, имѣющія отношеніе къ Некрасову.

Прим. В. Зеллинскаго.

**) „Пчела“ 1875 г., № 28. „Значеніе гг. Некрасова и Щедрина въ ли-
тературѣ“ по „Русскому Вѣстнику“. Статья М. У.

ему приводилось касаться основного мотива поэзии Некрасова —

„великаго горя народнаго“....

Кто не помнит величественнаго образа русской „Крестьянки“, созданнаго Некрасовымъ въ его послѣдней поэмѣ?.. Критикъ „Русскаго Вѣстника“ находитъ здѣсь только поводъ для глумленія... Въ этомъ образѣ, предъ которымъ русскій читатель, обладающій сердцемъ, родственнымъ своему народу, готовъ преклониться съ благоговѣніемъ г. А. видитъ только „карикатурно-изломанную, сочиненную фигуру“, за которой только разъ въ одномъ мѣстѣ для его глазъ „промелькнула живая русская женщина“, именно въ тотъ моментъ, когда она

Молилась въ ночь морозную
Подъ звѣзднымъ небомъ Божиимъ.

Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ и положеніяхъ своей многострадальной жизни, критикъ видитъ передъ собой только сочиненную Некрасовымъ „Матрену“, — „корова холмогорская тожъ“. Этотъ эпитетъ, вложенный Некрасовымъ въ уста мужиковъ, очень понравился критику „Русскаго Вѣстника“ въ приложеніи къ образу русской крестьянки, созданному поэтомъ, и онъ не можетъ удержаться, чтобы не вставить его, говоря о Матренѣ, хотя бы рѣчь шла о самыхъ трогательныхъ моментахъ ея жизни и деликатныхъ чувствахъ ея материнскаго сердца. Игривость критика заходитъ въ этомъ отношеніи такъ далеко, что онъ не стѣсняется и приврать, бросая мимоходомъ замѣчаніе, что „корова холмогорская“ — *идеалъ бабы*, — по понятіямъ самого поэта. На стр. 493 безъ всякой оговорки онъ пишетъ:

„Первыя строки поэмы какъ нельзя лучше даютъ понятіе о томъ плоскомъ и грязномъ, мнимо-юмористическомъ тонѣ, въ которомъ задумано произведеніе:

Не все между мужчинами
Отыскивать счастливаго, —
Пощупаемъ-ка бабъ,

начинаетъ реальный поэтъ и тутъ же спѣшитъ обрисовать свой идеалъ бабы:

Корова холмогорская
Не баба. Доброумиѣ
И глаже бабы вѣтъ!“

Между тѣмъ въ подлинникѣ поэма начинается такимъ образомъ:

„Не все между мужчинами
Отыскивать счастливаго,
Пошупаемъ-ка бабъ, —
Рѣшили наши странники.
И стали бабъ опрашивать.
Въ селѣ Наготинѣ
Сказали, какъ отрѣзали:
„У насъ такой не водится,
А есть въ селѣ Клину:
Корова холмогорская —
Не баба!...“ и т. д.

Г. Некрасовъ даже ковычекъ не забылъ поставить, въ виду того, что это говорить не онъ, а другіе; а г. А. не стѣснился даже знаки грамматическіе припрятать, чтобы удобнѣе было скрыть отъ читателей продѣлку своего пера.

Да не подумаетъ читатель, что у г. А., можетъ быть, свои, отличныя отъ общихъ, понятія насчетъ такихъ приѣмовъ въ печати. Нисколько; переверните семь листиковъ отъ той страницы, гдѣ онъ, какъ выше показано, фальсифицировалъ некрасовскіе стихи, и вы встрѣтите слѣдующее мѣсто: „Навязывать намъ теорію, которая поставляетъ задачей искусства только виртуозность стиха и изящество слога, могутъ только, рѣшаясь на подтасовку и фальсификацію нашихъ идей. Это одна изъ тѣхъ многочисленныхъ уловокъ, къ которымъ прибѣгаетъ петербургская журналистика въ расчетѣ, что не всякій читатель станетъ повѣрять ее съ уликой въ рукахъ. Бороться противъ такого оружія мы считаемъ ниже себя“—хотя сами и прибѣгаемъ къ нему постоянно, даже въ этой самой статьѣ, — слѣдовало бы добавить критику но такъ какъ онъ этого не дѣлаетъ, то „съ уликой въ рукахъ“ мы вправѣ сдѣлать это добавленіе по его уполномочію.

Далѣе, передавая содержаніе поэмы Некрасова, критикъ между прочимъ говорить:

„Савелій является въ разсказѣ только для того, чтобы „скормить“ свиньямъ сына Матрены Тимофеевны, ненагляднаго Демущку. Необычайный (?) пассажъ этотъ придуманъ авторомъ очевидно только для того, чтобы изобразить совершенно невѣроятную сцену, повѣствующую, какъ по случаю смерти Демущки наѣзжаютъ чиновники *чинить судъ* неизвестно надъ чѣмъ и надъ кѣмъ (такъ какъ не видно, чтобы свинья, съѣвшая ребенка, была привлечена къ отвѣту)“.

Здѣсь я опять отмѣчу нѣсколько передержекъ, сдѣланныхъ г. А. въ передачѣ содержанія поэмы: во-первыхъ, въ ней нѣтъ ни слова о *судѣ*, а дѣло идетъ о слѣдствіи; во-2-хъ,—животныхъ къ суду не притягиваютъ, что г-ну А. вѣроятно хорошо извѣстно изъ дѣла о потравахъ. Но перейдемъ къ дальнѣйшимъ его шуточкамъ, и именно по поводу того мѣста поэмы, гдѣ авторъ описываетъ чувства матери-крестьянки, у которой на глазахъ вскрываютъ тѣло ея „ненагляднаго“ сына:

„Возмутительныя подробности этой сцены, пишетъ критикъ, переданы авторомъ съ реализмомъ, подобный которому можно отыскать развѣ въ учебникахъ судебной медицины, съ тою только разницею, что послѣдніе едва ли допускаютъ возможность вскрытія тѣла, уже съѣденнаго свиньями. Но, какъ мы не разъ уже видѣли, подобныя маленькія несообразности не смущаютъ поэтовъ и романистовъ реальной школы...“

Не смущается, однако, лишь критикъ „Русскаго Вѣстника“, ради „краснаго словца“ выдумывающій новую небылицу, въ очевидномъ расчетѣ, что выхваченное и искусно вставленное имъ словечко „скормилъ“ уже успѣло ввести въ заблужденіе тѣхъ читателей, которымъ незнакома поэма г. Некрасова: если бъ г. А. нашель гдѣ-нибудь у несимпатичнаго ему автора выраженіе „комары заѣли“ — онъ, вѣроятно, тоже прикинулся бы понимающимъ дѣло въ томъ смыслѣ, что заѣденный субъектъ безъ остатка переиѣстился въ пищеварительные органы насѣкомыхъ, а съ наивностью Иванушки дурачка сталъ бы докладывать читателямъ о „несообразности“ физическаго существованія субъекта послѣ

того, какъ онъ былъ заѣденъ комарами. Такой критическій пріемъ, очевидно, считается г. А. достойнымъ серьезной критики. Не говорю уже о томъ, что никакихъ судебно-медицинскихъ подробностей въ описаніи помянутой сцены, вопреки показанію г. А., не находится въ поэмѣ Некрасова: съ такимъ щекотливымъ въ эстетическомъ отношеніи сюжетомъ, какъ вскрытіе тѣла, поэтъ сумѣлъ совладать, не нарушая границъ, отдѣляющихъ судебно-медицинскую литературу отъ изящной.

Задавшись мыслью окарикатурить поэму изъ крестьянскаго быта, г. А. идетъ на проломъ, отвергая правдивость всѣхъ раздражительныхъ фактовъ, даже въ историческомъ прошломъ русской крестьянской жизни; не диво, что онъ назвалъ „необычайнымъ пассажемъ“ ужасную смерть крестьянскаго ребенка, „совершенно невѣроятной“ сцену пріѣзда чиновниковъ по этому случаю; по его мнѣнію, даже неправильная сдача въ солдаты крестьянина есть не болѣе, какъ продуктъ „изобрѣтательной фантазіи“ г. Некрасова, а причитанья матери, которой воображеніе рисуетъ картины жестокаго обращенія съ ея мужемъ-рекрутомъ,—это „тенденціозное коверканье злополучной героини“.

Ужасное положеніе крестьянки, изстрадавшейся до послѣдней степени, снова вызываетъ въ г. А. желаніе пошутить:

„Матрена соскакиваетъ съ печи, описываетъ онъ, и бросается бѣжать въ морозную зимнюю ночь, причитая на бѣгу:

Владычица! во мнѣ
Нѣтъ косточки не ломаной,
Нѣтъ жилочки не тянутой,
Кровинки нѣтъ не порченой,—
Терплю и не ропщу!..

Кто ей переломалъ косточки и повытянулъ жилочки, подсмѣивается критикъ, и какимъ образомъ можетъ бѣжать баба, приведенная въ такое состояніе,—реальный поэтъ не смѣлъ нужнымъ объяснить читателю...”

Другое дѣло, когда рѣчь идетъ о какомъ-нибудь князѣ Хвалынскомъ: этого героя „татарской крови“, всю жизнь

отличавшагося подвигами звѣрства, критикъ „Русскаго Вѣстника“ сочувственно называетъ „изстрадавшимся“. Г. А. не можетъ простить г. Некрасову даже того, что его героиня-крестьянка рождаетъ ребенка не у себя дома, а тамъ, гдѣ захватили ее хлопоты о возвращеніи неправильно-забритаго мужа, на губернаторскомъ крыльцѣ. Много глумится критикъ по поводу этого, по его мнѣнію, „балаганнаго фарса“: даже губернаторшу обзываетъ „малосмыслящей“ и „несмыслящей“ за то, что она приняла теплое участіе въ судьбѣ крестьянки—„вмѣсто того, чтобы отправить родильницу въ городскую больницу“; подсмѣивается и надъ губернаторомъ за то, что онъ „выходитъ въ филантропическую затѣю своей несмыслящей супруги, посылаетъ „на-рочно“ произвести дознаніе о неправильной сдачѣ въ рекруты Филиппа и возвращаетъ его счастливой Матренушкѣ, коровѣ холмогорской тожъ“.—„Читатель ожидаетъ,—заключаетъ г. А.,—что вслѣдъ затѣмъ въ губерніи, управляемой такими благодушными супругами, всѣ бабы, въ послѣдніе дни беременности, стали приходить разрѣшаться на губернаторское крыльцо...“

Не правда ли, читатель, какого элегантнаго тона всѣ эти шутки критика, стремящагося возвысить литературу, пониженную до уровня умственного мѣщанства! Воображаю, какъ гогочуть, читая эти милыя остроты, представители „культурнаго слоя“ во вкусѣ г. А! Нельзя не поблагодарить г. А. за такіе образчики хорошаго тона и высшаго порядка идей, какіе онъ представилъ публикѣ въ своемъ критическомъ этюдѣ по поводу поэмы Некрасова. Читая ихъ, такъ и хочешь воскликнуть, вмѣстѣ съ Чегловымъ, героемъ „Горькой Судьбины“: Чувствуешь ли ты, Сергѣй Васильевичъ, какія ты ужасныя вещи говоришь и какимъ отвратительнымъ тономъ Тараса Скотинина?!“

„Изъ Недѣли“.

* * *

*) Некрасовъ составилъ себѣ въ извѣстномъ кругу репутацію по преимуществу „народнаго поэта“; если мы

*) „Всемирная Иллюстрація“ 1875 г., № 333.

должны видѣть поэта въ этомъ писателѣ, то что за надобность въ приурочиваніи къ его титулу жреца Аполлона, эпитета „народный“. Да и справедливо ли это, строго смотря за точностью выраженій, если мы за извѣстное количество картинъ природы, хотя бы и съ мотивами изъ народной жизни, будемъ придавать единственное значеніе одной части изъ цѣльнаго образа творчества, игнорируя все прочее? Намъ кажется это не вполне справедливымъ, особенно припоминая силу извѣстныхъ гражданскихъ мотивовъ Некрасова, нисколько не слабѣйшихъ, если еще не болѣе сильныхъ, чѣмъ поэмы на народный складъ, въ родѣ „Коробейниковъ“.

Что, въ самомъ дѣлѣ, лучшаго въ поэмѣ Коробейники?—Очерки быта?—они не идутъ дальше бѣзглаго абриса. Стихъ—едва ли вездѣ поэтичный. Народность?—едва ли найдется она быющею живымъ ключомъ и въ выработанномъ стихѣ. А сколько на одинъ выработанный стихъ приходится не выработанныхъ? Въ цѣломъ поэма не выдержана и распадается на детали, глядящія, каждая въ свою очередь, совершенно самостоятельно, —нисколько не думая уступать своего значенія въ пользу слѣдующей картины. И набросокъ, передающій смыслъ нашего рисунка, нисколько не слабѣе своихъ дружекъ, и тутъ выходитъ картина своеобразная, хоть и невысокаго полета:

„Эй Оедорушки, Варварушки!
Отпирайте сундуки!
Выходите къ намъ, сударушки,
Выносите пятаки!“
Жены мужнія—молодушки
Къ коробейникамъ идутъ,
Красны дѣвушки-лебедушки
Новины свои несутъ.
И старушки важеватыя,
Глядь, туда же приплелись.
„Ситцы есть у насъ—богатые,
Есть митваль, кумачъ и плизъ.
Есть у насъ мыла пахучія—
По двѣ гривны за кусокъ.
Есть румяны не линючія—
Молодцы за пятачокъ!“

Видишь камни самоцвѣтные
Въ перстенькѣ какъ жаръ горять,
Есть и любчики завѣтные —
Хоть кого приворожать!“
Начались толки рьяные,
Посреди села базаръ,
Бабы ходятъ словно пьяныя,
Другъ у дружки рвутъ товаръ“.

Народности здѣсь столько же, какъ и въ другихъ твореніяхъ поэта, вѣрнаго себѣ во всемъ, начиная отъ гражданскихъ мотивовъ, до сатиры. И сила, какъ въ этомъ такъ и въ другомъ, нормальная, Некрасовская *).

„Изъ „Всемирной Иллюстраціи“.

1876 г.

**) Первая книжка „Отечественныхъ Записокъ“ подаетъ намъ, прежде всего, поводъ сказать нѣсколько словъ о томъ — какъ нынче стоитъ вопросъ, такъ называемаго, *направленія* въ нашей журналистикѣ. Въ послѣднее время начали раздаваться голоса въ пользу того, чтобъ ежемѣсячные журналы помѣщали все, что только найдется занимательнаго для читателя, не обращая вниманія на то: къ какому лагерю принадлежитъ писатель, какія идеи проводить онъ въ своемъ произведеніи. Стали указывать на нѣкоторые факты большей, будто бы, терпимости, явившейся въ петербургскихъ авторитетныхъ журналахъ, между прочимъ и „Отечественныя Записки“ цитировались въ доказательство такой перемѣны въ поведеніи нашихъ редакцій. Мы не станемъ защищать, ни въ какомъ случаѣ, крайностей тенденціи, мы не станемъ доказывать, что только исключительными взглядами и симпатіями можетъ питаться какое бы то ни было періодическое изданіе, но есть большая разница между крайней нетерпимостью и отсутствіемъ

*) За 1875-й годъ еще см. о Некрасовѣ въ „Библіотекѣ дешевой и общедоступной“, № 4, стр. 1—18, этюдъ П. Григорьева.

Примѣч. В. Зелинская.
**) „Молва“ 1876 г., № 6. („Литература и журнализмъ“).

последовательности. — Пускай известные журнады, строго держащіеся своего направленія, печатають, время отъ времени, статьи, способствующія разъясненію какого-нибудь вопроса и *за* и *противъ*, особенно когда вопросъ этотъ поднять самимъ журналомъ; но мы вовсе не желали бы, чтобъ для петербургской журналистики наступилъ періодъ безпринципіа, безпорядочнаго отношенія къ идеямъ и стремленіямъ, раздѣляющимъ нашу интеллигенцію на два, довольно рѣзко обособленныхъ лагеря. Мыслящему читателю вовсе непріятно будетъ, подписавшись на журналъ, ему симпатичный, видѣть на страницахъ этого журнала смѣшеніе именъ, тенденцій, идей въ одну разношерстную кучу. Въ нашемъ обществѣ литература, до сихъ поръ, едва ли не единственное руководящее мѣрило въ распознаваніи того насущнаго *добра*, безъ котораго немислимъ никакой прогрессъ. Поэтому то и пріятно видѣть, что лучшіе органы петербургской журналистики, хотя и дѣлають временныя попытки известнаго рода терпимости относительно крупныхъ литературныхъ именъ, остаются, все-таки вѣрны своей основной фізіономіи.

Съ такой последовательностью и цѣльностью являются и „Отечественныя Записки“ въ своемъ первомъ номерѣ. Этотъ номеръ, въ особенности, богатъ беллетристикой: даетъ почти все, что только могло быть сосредоточено въ первой книгѣ. Тутъ надо, кстати, прибавить, что, вопреки общимъ толкамъ нашей критики, литературные дѣятели, не записавшіеся въ разрядъ усталыхъ и отсутствующихъ, пишутъ вовсе не такъ мало, какъ у насъ кричать о томъ. Вы видите, что и г. Некрасовъ выступаетъ съ цѣлой поэмой, и г. Щедринъ съ цѣлой сатирой, и В. Крестовскій (пора бы этой даровитой писательницѣ прибавить къ своему псевдониму настоящее свое имя)—съ рассказомъ. Да и въ прошломъ году всѣ что-нибудь дали, а нѣкоторые даже по цѣлому большому роману. Вообще, количественно пишется у насъ совсѣмъ не мало, даже сравнительно съ западными литературами, гдѣ на цѣлую массу беллетристическихъ вещей, доставленныхъ прошлымъ годомъ, едва наберется два, три замѣчательныхъ произведенія.

Физиономія „Отечественныхъ Записокъ“, какъ журнала съ опредѣленнымъ направленіемъ, отражается во всѣхъ трехъ беллетристическихъ вещахъ, цитированныхъ нами. Всего рѣзче—въ сатирической поэмѣ или *траги-комедіи* г. Некрасова. Это уже неподкрашенное изображеніе — живьемъ — „злобы дня“, въ видѣ злокачественныхъ продуктовъ нашего денежнаго движенія. Читатель припомнить, что въ прошломъ году г. Некрасовъ анонимно напечаталъ начало той же траги-комедіи, въ формѣ отрывочныхъ застольныхъ сценъ, происходящихъ въ одномъ изъ петербургскихъ ресторановъ. Онъ продолжаетъ ту же тему и сосредоточиваетъ весь интересъ на одномъ обѣдѣ, гдѣ собрались всѣ представители русской плутократіи. Тема, стало быть, чисто сатирическая, безъ всякой почти примѣси лиризма, хотя бы и съ гражданскимъ оттѣнкомъ. Г. Некрасова упрекаютъ, обыкновенно, въ томъ, что онъ слишкомъ близко держится мотивовъ нашей обличительной прессы, недостаточно возсоздаетъ образы своей сатиры, ограничивается рѣзкими очерками и фотографіями, вмѣсто крупныхъ, творчески-созданныхъ фигуръ. Упрекъ этотъ всего сильнѣе могъ бы относиться къ послѣднимъ его произведеніямъ; но, чтобы быть объективнымъ, надо хорошенько попытаться: какой цѣлью задавался поэтъ-сатирикъ. Если ему хотѣлось вызвать въ читателѣ ѣдкое чувство горечи и отвращенія, то онъ, конечно, выполнилъ свою задачу и принесть ей въ жертву почти все то, что требуется отъ произведенія въ стихотворной формѣ, т.-е. изящество стиха, отдѣлку выраженій, завлекательность общаго колорита. Стихъ мѣстами поражаетъ даже своей рѣзкостью, непоэтичностью, своимъ сатирическимъ *намыреніемъ* (если намъ позволено будетъ такъ выразиться). Не думаемъ, чтобъ самъ поэтъ не понималъ и не чувствовалъ этого; но его сатира, за исключеніемъ нѣсколькихъ вещей, никогда не отличалась особенными прелестями формы. Отношеніе къ дѣйствительности было у него всегда одно и то же, т.-е. проникнуто тѣмъ протестомъ противъ темныхъ сторонъ нашей ложной культуры, который и собираетъ вокругъ себя всѣхъ лучшихъ людей нашего общества. Прежде г. Некрасову удавалось

задѣвать болѣе широкіе мотивы и давать при этомъ ходъ своему скорбному лиризму, въ которомъ, по нашему мнѣнію, заключается его *главнѣйшая сила*; теперь онъ выбралъ такой міръ, гдѣ всякій лирическій порывъ гложетъ, какъ отъ общей атмосферы этого міра, такъ и отъ множества подробностей, собранныхъ на одно полотно картины. Вся траги-комедія заключается въ рядѣ монологовъ съ комментаріями самого поэта, въ которыхъ фигуры различныхъ дѣльцовъ освѣщены подъ угломъ беспощадной сатиры. На этомъ „шабашѣ“ плутократовъ роль шута-прихлебателя, говорящаго каждому правду, играетъ какой-то князь Иванъ, резонеръ этой пьесы, изъ котораго авторъ сдѣлалъ родъ древне-греческаго хора. Этотъ князь Иванъ долженъ олицетворять собой глубокое и взаимное презрѣніе, какое всѣ пирующие должны чувствовать другъ къ другу. Въ его рѣчахъ выражается полнѣйшая нравственная безпашанность, полнѣйшій цинизмъ, съ которымъ весь этотъ міръ паразитовъ высасываетъ сокъ откуда можно; абсолютное отсутствіе какого бы то ни было принципа, идеи, правила или даже предразсудка. Самъ авторъ въ одномъ изъ своихъ, лично ему принадлежащихъ, отступленій отъ хода траги-комедіи, въ такой сатирической формѣ выражаетъ суть того, чѣмъ живутъ его герои въ настоящую минуту:

Да, постигла и Россія
Тайну жизни, наконецъ;
Тайна жизни—гарантія,
А субсидія—вънець!
Будешь въ славѣ равень Фидію,
Антокольскій! Изваяй
„Гарантію“ и „Субсидію“,
Идеаламъ форму дай!
Окружи свое творенье
Барельефамъ: толпой
Пусть идутъ израильяне
И другіе пришлецы,
И російскіе дворяне,
И моршанскіе скопцы...

Героическую фигуру этого дѣльцаго шабаша видимъ мы въ личности самаго крупнаго воротилы Зацѣпина. На него

въ концѣ пира налетаетъ припадокъ душевной скорби. Онъ клянеть себя, рыдаетъ и, какъ новый Іеремія плутократовъ, предрекаетъ разныя невзгоды и себѣ и другимъ хищникамъ. Авторъ отъ себя даетъ объясненіе душевной бури, поднявшейся въ утробѣ ненасытнаго дѣльца: его сынъ рѣзко разошелся съ нимъ, понявъ, кто такой его отецъ, удалился въ Москву, тамъ окончилъ курсъ, голодалъ и не бралъ отцовскихъ денегъ. И вдругъ приходитъ роковая телеграмма, что сынъ его раненъ, а причина дуэли та, что *при немъ обозвали его отца воромъ!* Этотъ Зацѣпинъ, или „Зацѣпа“, по народному прозванію, является какимъ-то Іоанномъ Грознымъ плутократическаго міра. Онъ даже кончаетъ такимъ возгласомъ—неизвѣстно надолго ли—уходя съ пиршества:

Прочь! гнушаюсь вашихъ устъ:
Проклинаю процвѣтающій,
Все—берущій, все—хватающій
Все—ворующій союзъ!

Въ одномъ мѣстѣ траги-комедіи вырывается, однако, скорбный лиризмъ поэта, въ видѣ мрачнаго контраста, освѣщающаго всю глубину той грязи и того безстыдства, какими переполненъ міръ денежныхъ паразитовъ. Всѣ эти кулаки и воротилы, понаторѣвшіе въ искусствѣ выжимать копейку изъ каждаго поденщика, вдругъ затягиваютъ пьяными глосами бурлацкую пѣсню, начинающуюся такъ:

Хлѣбушка нѣтъ,
Валится домъ,
Сколько ужъ лѣтъ
Камъ поемъ
Горе свое,
Плохо житье!
Братцы, подъемъ,
Ухнемъ, напредъ!

Вотъ эта-то пѣсня и была толчкомъ, вызвавшимъ въ Зацѣпинѣ пароксизмъ раскаянія. Безотрадно становится на душѣ отъ чтенія такихъ траги-комедій. Не хочется даже и входить въ разборъ ихъ литературныхъ достоинствъ и недостатковъ. На лицо тотъ фактъ, что человѣкъ съ большимъ дарованіемъ, съ наблюдательнымъ умомъ не могъ

остановиться на другомъ мотивѣ, на чемъ-либо, кажемъ намъ менѣе грязную перспективу. Это, конечно, односторонность; но она небезпричинна и, что еще вѣроятнѣе, непредназначенна. Почему-нибудь видимъ же мы, что даже молодые таланты, не успѣвшіе еще устать, нажать себѣ хандру и горькій скептицизмъ, не въ состояніи создать что-либо, ярко говорящее о новомъ, лучшемъ строѣ нашей общественной жизни. Сатирика влечетъ къ язвѣмъ и болячкамъ; но не онъ одинъ виноватъ въ томъ, что эти болячки и язвы въ данную минуту имѣютъ такой прозаическій, грубый, нестерпимо пошлый характеръ.

Изъ „Молвы“.

* * *

*) Передъ нами рисуется такая страшная, ужасающая картина, отъ которой кровь леденѣетъ въ жилахъ, и если бы мы жили въ средніе вѣка, то, при видѣ этой картины, мы новольно подумали бы облизкой кончинѣ міра. Прочтите новое произведеніе г. Некрасова „Герои Времени“—траги-комедію, напечатанную въ „Отеч. Зап.“ Передъ вами открывается здѣсь своего рода поэтический апофеозъ героевъ нашего времени. Но... еще разъ повторяю, морозъ подираетъ по кожѣ при подобномъ апофеозѣ. Зато для примѣра передъ вами одинъ изъ типовъ, выставляемыхъ г. Некрасовымъ:

„Прибылъ подрядчикъ на мѣсто работъ,
Вмѣсто науки съ однимъ „глазомѣромъ“,
Бѣдитъ по селамъ съ своимъ инженеромъ,
Рядить рабочихъ,—никто не идетъ!
Земли кругомъ тутъ дворянскія были,
Только дворяне о нихъ позабыли.
Всѣмъ тутъ орудовалъ грубый „кустарь“,
Пренебреженный окраины царь.
Жители рыбу въ озерахъ ловили,
Гнали бездѣнно изъ пенъевъ смолу,
Брали морошку, опенки солили,
И говорили: „Нейдемъ въ кабалу!“
Нѣтъ послушанья, порядка и прочаго,
Прежде всего: создавай тутъ „рабочаго“.

*) „Виржевыя Вѣдомости“ 1876 г., № 29. Статья *Зауряднаго читателя*.

Какъ же создать его?—Шкуринъ не спитъ:
Земли, озера, болота, графитъ—
Все откупилъ у помѣщика,
„Все до послѣдняго лещика!“
(Какъ энергически самъ говорить).
Дрогнула грубая сила „кустарная“,
Какъ изъ-подъ ногъ ея почва ушла...
Мысль эта, смѣю сказать, лучезарная
Наши доходы спасла.
Плодъ этой мѣры въ графѣ дивиденда
Акціонеры найдутъ:
На сорокъ три съ половиной процента
Разомъ понизился трудъ!..
„Ходко пошла земляная работа.
Шкуринъ, трудясь до кроваваго пота,
Не раздвигался въ ночи,
Жилъ безъ семейства въ степи безотрадной,
Обувь, одежду, перцовку, харчи
Самъ поставлялъ для артели громадной.
Онъ, раздѣляя съ рабочимъ труды,
Не пренебрегъ гигиеной народной:
Вмѣсто болотной, стоячей воды,
Далъ онъ рабочему квасъ превосходный!
Этимъ и наша достигнута цѣль:
Въ жаркіе дни, довалившись до кваса,
Меньше харчей потребляла артель
И обходилась свободно безъ мяса.
Быстро въ артели упалъ аппетитъ
На двадцать два съ половиной процента.
Я умолкаю... графа дивиденда
Краснорѣчивѣе словъ говорить!..“
„Ура!“ прокричали, героя сравнили
Съ находчивымъ янки...“

Произведеніе г. Некрасова представляетъ передъ вами цѣлый рядъ подобныхъ героевъ нашего времени. Всѣ они находятся на высотѣ поэтическаго апогеоза, пируютъ въ обширной, залитой огнями залѣ и въ пышныхъ рѣчахъ восхваляютъ подвиги другъ друга въ родѣ вышеприведенныхъ. Но этого мало: дальше г. Некрасовъ употребилъ смѣлый художественный приѣмъ, достойный великаго мастера. Представьте себѣ такого рода контрастъ, ужасающій своею трагичностью. Представьте себѣ, что въ этой залѣ, залитой огнями, среди роскоши и блеска, эти самые жирные

подрядчики, концессионеры и биржевые игроки, послѣ всей своей наглой открытой похвальбы своими грабежами, сытые, пьяные, заплѣли вдругъ хоромъ бурлацкую пѣсню, которую нѣкоторые изъ нихъ пѣвали въ былое время въ иномъ положеніи, болѣе соотвѣтствующемъ:

„Хлѣбушка нѣтъ,
Валится домъ;
Сколько ужъ лѣтъ
Камѣ поемъ
Горе свое.
Плохо житье!
Братцы, подъемъ!
Ухнемъ! напредъ!“ и пр.

И вдругъ изъ-за этого пѣнія начинаютъ раздаваться среди общаго пьянаго ликованія глухія рыданья и всхлипыванія... Это началъ каяться одинъ изъ героевъ этого пира, Зацѣпа. Вотъ что причиталъ онъ среди своихъ рыданій:

„Я—воръ! Я—рыцарь шайки той
Изъ всѣхъ племенъ, нарѣчій, націй,
Что исповѣдуетъ разбой
Подъ видомъ честныхъ спекуляцій!
Гдѣ сплошь да рядомъ—Видитъ Богъ!—
Лежатъ въ основѣ состоянья
Два-три фальшивыхъ завѣщанья,
Убійство, кража и поджогъ!
Гдѣ позабудь покой и сонъ,
Добычу зорко карауля,
Гдѣ въ результатъ—милліонъ
Или коническая пуля!“

Но оказывается, что не одна мрачная пѣсня каторжнаго труда и нищеты, цинически-нагло спѣтая жирными финансистами послѣ сытнаго обѣда, вызвала покаянные вопли ихъ опьянѣлаго собрата. Съ нимъ приключилась передъ тѣмъ трагедія такого рода:

Слухъ по столицѣ пронесся одинъ,—
Сдѣлано слишкомъ ужъ дерзкое дѣло!
Входитъ въ Зацѣпъ единственный сынъ:
„Правда ли? правда ли?“ юноша смѣло

Сыплеть вопросы,—и нѣтъ имъ конца.
Вспыхнула ссора. Зацѣпа сбѣгился.
Чтобъ не встрѣчать и случайно отпа,
Сынъ непокорный въ Москву удалился.
Тамъ онъ оканчивалъ курсъ, голодалъ,
Письма и деньги отцу возвращая.
Втайнѣ Зацѣпа о немъ тосковалъ...
Вдругъ телеграмма пришла роковая:
„Раненъ твой сынъ“. Черезъ сутки письмомъ
Другъ объяснилъ и причину дуэли:
„Воромъ отца обозвали при немъ...“
Черныя мысли отцомъ овладѣли,
Утромъ онъ къ сыну повхачъ хотѣлъ,
Но и другая пришла телеграмма...
Какъ ни крѣпился старикъ—не стерпѣлъ,
И разыгралась воочію драма...“

Вы только подумайте, что за невообразимый, чудовищный хаосъ представляетъ подобнаго рода картина? Вѣдь это—краски мрачнѣе ювеналовскихъ...

Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“.

* * *

*) Въ гораздо болѣе близкое соприкосновеніе съ современною русскою дѣятельностью (раньше шла рѣчь о Тургеневѣ) сталъ г. Некрасовъ въ своемъ новомъ, очень объемистомъ, стихотвореніи—„Герои Времени“ (напечатанномъ въ 1 № „Отечественныхъ Записокъ“). Но тутъ другая крайность: соприкосновеніе выходитъ уже слишкомъ близкое, или, вѣрнѣе говоря, сама эта дѣйствительность не та, которая имѣетъ право на вниманіе поэта,—и притомъ, такого, какъ г. Некрасовъ, обладающаго истинно поэтическимъ чутьемъ въ высшей степени и только въ послѣднее время начавшаго обращаться къ такимъ предметамъ, которые могутъ и должны служить матеріаломъ скорѣе для „обличительнаго“ стихотворенія, чѣмъ для произведенія поэтическаго въ истинномъ смыслѣ этого слова. О г. Некрасовѣ тоже сложилось въ послѣднее время мнѣніе, что онъ „исписался“. Это положительно несправедливо:

*) „Пчела“ 1876 г., № 4. Русская Журналистика. „Часы“ г. Тургенева и „Герои Времени“ г. Некрасова. Статья П. Вейнберга.

еще въ началѣ прошлаго года изъ подъ пера его вылилось „Уныніе“,—а кто способенъ написать такую вещь, о томъ невозможно сказать, что творчество его изсякло или пришло въ упадокъ. Дѣло только въ томъ, что направленіе сатиры г. Некрасова приняло въ послѣднее время болѣе частный, такъ сказать, спеціальный характеръ, т.-е. пошло по той же узкой дорогѣ, на которую вступилъ отчасти и поэтъ Гейне во второмъ періодѣ дѣятельности этого послѣдняго. Г. Некрасовъ, какъ и Гейне, по природѣ своего дарованія—сатирикъ-лирикъ, и когда вырываются у него звуки этого лиризма, тогда они сильно щемятъ за сердце, и вы понимаете не только національное, русское, но и общечеловѣческое значеніе ихъ. Благодаря этой сторонѣ своего таланта, г. Некрасовъ и занялъ такое почетное мѣсто въ русской литературѣ. Но такимъ звукамъ нѣтъ и не можетъ быть мѣста, когда поэтъ становится въ ту среду, гдѣ—

..... Шумно... Въ уши
Словно бьютъ колокола,
Гомерическіе куши,
Милліонныя дѣла,
Баснословные олады,
Недовыручка, дѣлежъ,
Рельсы, шпалы, балки, велады —
Ничего не разберешь.

А въ этой именно средѣ и происходитъ дѣйствіе „Героевъ Времени“. Прибавьте къ этому, что большинство этихъ „героевъ“—почти фотографическіе снимки съ натуры и что они, по большей части, мелкіе мошенники, только ворующіе крупные куши,—и вы, надѣюсь, согласитесь со мною, что новое произведеніе поэта въ значительной степени не удовлетворяетъ требованіямъ художественности. Я не спорю, что картина нарисована вообще удачно и мѣтко, не спорю противъ остроумія всего этого калейдоскопа, въ которомъ проходятъ передъ читателемъ: этотъ авторъ проэкта обь устройствѣ „Центрального дома терпимости“ въ виду того, что „времена наступаютъ тревожныя, кризисъ близится; мало даютъ предпріятія желѣзно-дорожныя, банки тоже не бойко идутъ“, и, слѣдовательно, надо придумать

что-нибудь повыгоднѣе;—эти братающіеся еврей и грекъ, при чемъ „кто-то низко клонить голову, кто-то на полъ льетъ вино, „кто-то Утина Ермолуу уподобилъ...“;—этотъ содержатель ссудной кассы;—этотъ биржевикъ, убѣждающій процентщика-еврея сдѣлаться редакторомъ журнала, нужнаго этому биржевику для его коммерческихъ видовъ, и доказывающій, что „не у насъ—во всей Европѣ прессой править капиталъ; былъ же Генкель, есть же Гоппе,—ты бы ярче ихъ сіялъ“;—„этотъ изыскатель-Авраамъ“, разбогатѣвшій на покупкѣ болотъ въ семьдесятъ семь десятинъ;—эти „витѣи по сословной части“, утверждающіе, что „вся бѣда Россіи въ недостатокъ власти“;—этотъ профессоръ-москвичъ, бывшій когда то „печальникомъ объ отечествѣ“, не имѣвшій ничего, кромѣ каменной болѣзни, кичившійся своимъ демократизмомъ,—а потомъ сдѣлавшійся плутократоромъ, который „спекуляторскія штуки ловко двигаетъ впередъ при содѣйствіи науки“;—этотъ баронъ фонъ-Руге, вывезшій изъ Россіи мильярдъ, окружившій себя за границею несслыханною роскошью и свѣдаемый отчаяніемъ вслѣдствіе того, что седанская катастрофа помѣшала ему приобрѣсть герцогскій титулъ, который онъ совсѣмъ уже приторговалъ за милліонъ р. сер. у Наполеона;—и т. д. и т. д. и т. д. Все это, повторяю, смѣшно, остроумно, мѣтко, какъ по содержанию, такъ и по формѣ (хотя послѣдняя иногда принимаетъ водевильный характеръ, такъ и просаясь на уста гг. Монаховыхъ, Никитиныхъ и т. п.),—но... слишкомъ мелко для г. Некрасова. Мы слишкомъ высоко ставимъ дарованіе этого поэта, мы отводимъ ему слишкомъ почетное мѣсто не только въ русской, но и въ европейской поэзіи, чтобы удовлетворяться подобными вещами. Не будь это произведение подписано его именемъ, мы, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ (о которыхъ скажемъ ниже), готовы были бы приписать этихъ „Героевъ Времени“ перу какого-нибудь—правда, талантливаго—изъ тѣхъ многочисленныхъ подражателей этого поэта, которыхъ создалъ онъ самъ и которые заимствовали у него только голое списываніе дѣйствительности, не почерпнувъ ни единой капли его „поэтического“ творчества, по той простой причинѣ, что творче-

ство не заимствуется. Мнѣ возразить, можетъ быть, что какое намъ дѣло до того, кѣмъ именно написана та или другая вещь, если она хороша сама по себѣ? Да, это такъ,—но, во 1-хъ, „Герои Времени“ хороши только какъ обличительное стихотвореніе, въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова,—а 2-хъ, для чего же и существуютъ перво-классные писатели, истинные художники, какъ не для того, чтобы они удовлетворяли тѣмъ нашимъ нравственнымъ и общественнымъ идеямъ, стремленіямъ, потребностямъ, которымъ не въ состояніи удовлетворить писатели дюжинные?

Я упомянулъ выше о нѣкоторыхъ мѣстахъ въ „Герояхъ Времени“, составляющихъ исключеніе. Не останавливаясь на всѣхъ ихъ, укажу на два. Богатый подрядчикъ Савва, вышедшій изъ простого народа и составившій себѣ состояніе всякими правдами и неправдами, любитъ вспоминать иногда простого „мужичка“,—и теперь, на этомъ празднествѣ, описаніе котораго составляетъ содержаніе „Героевъ Времени“, предлагаетъ тостъ за „братьевъ-мужиковъ“ и, въ то же время, запѣваетъ бурлацкую пѣсню, ту, что онъ пѣлъ когда-то, когда самъ тянулъ лямку на Камѣ. Къ нему присоединяются два-три подрядчика, прошедшее которыхъ было тоже не сладко для „братьевъ-мужиковъ“, и, между прочими, нѣкто Шкуринъ,—тотъ самый Шкуринъ, который особенно отличался въ этомъ отношеніи (и который подробно обрисованъ въ „Герояхъ Времени“). Соединили эти почтенные дѣятели свои голоса—и понеслась пѣсня:

Хлѣбушка нѣтъ,
Валится домъ,
Сколько ужъ лѣтъ
Камъ поемъ
Горе свое.
Плохо житье! —

И т. д...,—пѣсня, глубоко щемящая, чисто „некрасовская“, насквозь проникнутая тѣмъ сатирическимъ лиризмомъ, о которомъ я упоминалъ выше и трагическій смыслъ которой еще болѣе усиливается въ устахъ этого „разбойничьяго

хора“ (какъ выражается поэтъ), который „въ пѣніе душу кладетъ!“—Второе мѣсто, производящее глубокое впечатлѣніе—это эпилогъ, состоящій изъ исповѣди, самообличенія Григорія Александровича Зацѣпина (слышлага подъ именемъ Зацѣпы), играющаго огромную роль въ коммерческомъ мірѣ и дошедшаго до нея цѣлымъ рядомъ преступленій. Самообличеніе это совершается въ пьяномъ видѣ, и есть, какъ говоритъ въ превосходномъ монологѣ пріятель Зацѣпина, Леонидъ—

Явленіе—строго говоря,
Не ново съ русскими великими умами:
Съ Ивана Грознаго царя
До переписки Гоголя съ друзьями,
Самобичующій протестъ —
Россійскихъ гражданъ достойные!... и т. д.

Исповѣдь Зацѣпина и развязка ея, состоящая въ томъ, что всѣ присутствующіе, и въ томъ числѣ самъ онъ, садятся въ „горку“—положительно поражаютъ своимъ трагизмомъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и чистымъ трагизмомъ. Припомнимъ, напр., смерть единственнаго сына Зацѣпина...

II. В—б—з (Вейнбергъ).

* * *

*) ...Чествуя по имени, первое мѣсто—красный уголь нашей „Лѣтописи“—отводимъ г. Некрасову. Почему же не г. Щедрина? Чѣмъ онъ уступаетъ своему товарищу, или сопернику по сатирѣ? Или онъ менѣе сдѣлалъ въ сатирѣ прозаической, чѣмъ г. Некрасовъ въ сатирѣ ритмической? Нѣтъ, но г. Некрасова мы въ правѣ поставить выше, хотя бы потому, что онъ изъясняется языкомъ боговъ,—стихотворною рѣчью, да и, кромѣ того, г. Некрасовъ прежде г. Щедрина снискалъ на Руси извѣстность въ качествѣ сатирическаго поэта... Развѣ это плохіе резоны для первенства, предполагая другія достоинства равными? Впрочемъ, что сравнивать этихъ писателей, зачѣмъ

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1876 г., № 31. Литературная Лѣтопись. „Герои Времени“, траги-комедія Н. Некрасова. Статья В. М. (В. В. Маркова).

заставлять ихъ тягаться другъ съ другомъ! Не можетъ ли одинъ изъ нихъ, по примѣру величаваго творца „Фауста“, когда между нѣмцами загорѣлись споры объ его поэтическомъ превосходствѣ надъ Шиллеромъ, и наоборотъ, воскликнуть внушительнымъ тономъ: „чѣмъ спорить о томъ, кто изъ насъ лучше, вы должны бы радоваться, что въ русской литературѣ есть два такіе молодца!“ Что до насъ, мы радуемся ихъ славѣ, но только не можемъ скрыть, что лучи, исходящіе отъ этихъ литературныхъ свѣтилъ, т. е. отъ нашихъ сатириковъ, не всегда отличаются яркостью, а порою рѣшительно померкаютъ... Всего же чаще эти лучи блещутъ не на всемъ своемъ протяженіи; говоря проще, творенія двухъ корифеевъ нашей сатиры рѣдко бываютъ выдержаны, рѣдко хороши въ цѣломъ, и больше нравятся въ частностяхъ, отдѣльными мѣстами и эпизодами. Въ нихъ слишкомъ мало поэтическаго, слишкомъ мало художественнаго творчества. Это же замѣчаніе примѣняется и къ ихъ послѣднимъ вещамъ, при чемъ въ поэмѣ г. Некрасова найдется, пожалуй, больше удачныхъ чертъ, чѣмъ въ нынѣшнемъ очеркѣ г. Щедрина.

Поэма г. Некрасова, или траги-комедія, какъ онъ называетъ ее, озаглавленная „Герои Времени“ является прямымъ продолженіемъ „Современниковъ“, стихотворенія, напечатаннаго въ августовской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“, за прошлый годъ, и которое было направлено противъ извѣстнаго сорта юбилеевъ и торжествъ. Тогда г. Некрасовъ скрылъ свое имя, вмѣсто котораго подъ стихотвореніемъ скромно стояли три звѣздочки. Эта первая часть, исполненная пропусковъ, была слаба; и упреки за недостатки поэмы, высказанные критикою, обрушивались на неизвѣстнаго поэта, который предполагался слѣпымъ подражателемъ г. Некрасова. Теперь мы узнаемъ, что этотъ предполагаемый подражатель былъ никто иной, какъ самъ г. Некрасовъ. Правду сказать, нынѣшняя часть „Героевъ Времени“, или „Современниковъ“ страдаетъ тѣми же недостатками, какъ и первая, но только въ ней гораздо меньше пропусковъ, она цѣльнѣе, — больше удачныхъ стиховъ, и потому она производитъ болѣе благоприятное впечатлѣніе.

Главный ея порокъ—скудость поэзіи, недостатокъ общаго и типичнаго въ фигурахъ и фактахъ, изображаемыхъ въ поэмѣ? это—частные случаи, фотографическіе портреты, выхваченные изъ обыденной общественной хроники и почти вовсе не пересозданные въ горнилѣ искусства. Обо всемъ этомъ, съ тѣми же обстоятельствами и подробностями, мы читали и продолжаемъ читать въ газетахъ, въ газетныхъ фельетонахъ. Г. Некрасова не разъ упрекали, что онъ руководится въ выборѣ своихъ сюжетовъ указаніями текущей журналистики, что его поэзія, составляетъ нѣчто въ родѣ стихотворной хроники текущей жизни. Этотъ упрекъ отчасти справедливъ, но главная бѣда въ томъ, что его реализмъ переходитъ въ прозаичность, а его желаніе уловить животрепещущіе мотивы дня мѣшаетъ ему сообщить явленіе и придать ему ту типичность, какая неизбѣжно требуется законами поэтическаго искусства. Впрочемъ, и въ лучшіе свои годы самъ г. Некрасовъ сознавался, что въ его стихахъ мало свободной поэзіи и творящаго искусства; тѣмъ труднѣе ожидать, чтобъ это измѣнилось къ лучшему въ настоящее время... Итакъ, безъ напрасной требовательности, будемъ довольствоваться тѣмъ, что найдется хорошаго въ его произведеніяхъ, гдѣ по временамъ—охотно признаемъ это—проглядываетъ рука мастера.

Сюжетъ нынѣшней части поэмы, также какъ и первой—бесѣда за пиршествомъ, или юбилейнымъ торжествомъ, а герои поэмы—„Герои Времени“—концессионеры, желѣзнодорожные дѣятели, финансисты. Дѣйствіе происходитъ въ одномъ изъ ресторановъ. Чествуются одинъ изъ директоровъ желѣзнодорожной компаніи, купецъ Шкуринъ, съ крупными губами, одѣтый въ синюю чуйку. Изъ-за портьеры сосѣдняго маленькаго салона, авторъ—невидимый зритель—наблюдаетъ за торжествомъ. Въ залѣ кишатъ тузы—акціонеры, франты, гусары, и генералы, и банкиры, и кулаки. Савва Антихристовъ, старецъ, прошедшій сквозь огонь и мѣдныя трубы, говоритъ спичъ въ честь Шкурина. Между прочимъ, онъ восхваляетъ юбиляра за то, что тотъ умѣлъ привлечь рабочихъ на желѣзнодорожную линію, за постройку которой взялась компанія въ южныхъ краяхъ Россіи. За-

рабочная плата была высокая, потому что населеніе находило себѣ пропитаніе въ мѣстныхъ промыслахъ, пользуясь дворянскими землями, о которыхъ позабыли дворяне. Жители ловили въ озерахъ рыбу, безпошлинно гнали смолу изъ пеньевъ, собирали морошку, солили опенки и говорили: „вѣйдемъ въ кабалу“!

Всѣмъ тутъ орудовалъ грубый „кустарь“,
Пренебреженной окраины царь.

Но Шкуринъ догадался откупить у помѣщиковъ озера, болота, земли, графитъ, все—до послѣдняго лещика, по его энергическому выраженію. Дрогнула грубая „кустарная“ сила, какъ изъ-подъ ногъ ея ушла почва... Трудъ разомъ понизился на сорокъ три съ половиною процента!.. Рабочіе отыскались. Героя-тріумфатора присутствующіе сравниваютъ съ находчивымъ янки. Тріумфаторъ благодаритъ за это поклонами. Вообще, о всѣхъ герояхъ поэмы нужно разумѣть, что у нихъ „русская смѣтка, американскій пріемъ“...

Въ дальнѣйшей сценѣ авторъ впадаетъ въ сильнѣйшій шаржъ, желая рельефнѣе выставить алчность своихъ героевъ къ наживѣ. Выступаетъ новый ораторъ, который предлагаетъ ни болѣе, ни менѣе, какъ учредить общество центральнаго дома терпимости. Онъ увѣренъ, что въ это общество понесутъ свои сбереженія всѣ, кутящіе нынѣ вразбродъ. По его мнѣнію, невозможно желать болѣе вѣрнаго предпріятія съ точки вещественной и, равнымъ образомъ, трудно отрицать его пользу съ точки общественной. Онъ пророчествуетъ:

Прогрессъ подвигается,
И движенію не видно конца:
Что сегодня постыднымъ считается,
Удостоится завтра вѣнца...

Дѣловыя рѣчи кончились, гости раскутились нараспашку. Воцарился цинизмъ, часто отзывавшійся чѣмъ-то страшнымъ—страшною шутливостью и мрачнымъ остроуміемъ. Два собесѣдника обмѣниваются, на примѣръ, такими шутками (нѣкоторые стихи мы выписываемъ въ видѣ прозы для сбереженія мѣста): „Съ какой иконы ты скусилъ,—тотъ перлъ,

которымъ ты украшенъ?—Да съ той, которой помолясь,—ты Гасферу подсыпалъ яду!“

На торжествѣ участвуетъ князь Иванъ, съ которымъ читатель могъ познакомиться изъ первой части поэмы, — пустой шутъ и балагуръ, прямой наслѣдникъ придворныхъ шутовъ былого времени... Къ удивленію, этому-то шуту авторъ влагааетъ въ уста морально-сатирическія сентенціи съ насмѣшливыми характеристиками присутствующихъ на пиршествѣ гостей. Или мораль не могла найти себѣ лучшаго выразителя? Между разными толками не обходится, конечно, безъ нападокъ на адвокатовъ. Какой-то голосъ кричитъ: „адвокатамъ однимъ только рай:—за лишеніе правъ состоянія и за то теперь деньги подай“. Въ обрисовкѣ одного изъ героевъ, авторъ грубо грѣшитъ противъ вкуса, находя его лицо такимъ, что удивительно, какъ-де-ошибкою не высѣкли его по лицу... Въ этой остротѣ, кажется, мало аттической соли... На сцену выводятся и многоземельные дворяне съ ихъ толками о пьянствѣ мужиковъ, о вотчинной полиціи: „Графъ Д-довъ, князь Л-новъ — въ центрѣ этого кружка—излагаютъ пользу плановъ — не удавшихся пока“. По увѣренію этихъ сословныхъ витій, вся бѣда Россіи въ недостаткѣ власти... Далѣе читаемъ, что въ каждой группѣ плутократовъ русскихъ, евреевъ или нѣмцевъ—встрѣчаются ренегаты изъ семьи профессоровъ. Родоначальникъ этой фракціи дѣльцовъ—профессоръ-москвичъ: печальникъ объ отечествѣ, онъ встарь пѣлъ инныя пѣсни, былъ другомъ Искандера, у него не было ничего, кромѣ каменной болѣзни; въ оныя годы, какъ демократъ, другъ народа и свободы, онъ находился подъ опалою, а теперь — превратился въ плутократа. При содѣйствіи науки, этотъ старый патріотъ ловко выдвигаетъ спекуляторскія затѣи. Слѣдуетъ характеристика еще одного профессора изъ дѣльцовъ, также изобилующая намеками. Здѣсь кстати замѣтить, что поэма г. Некрасова, какъ фотографическое отраженіе текущей жизни, вполне понятна только для тѣхъ, которые близко слѣдили за всѣми лицами и событіями, занимавшими разные кружки общества въ послѣдніе годы,—для тѣхъ, кто отчасти знакомъ и съ закулисною стороною дѣлового міра, иначе на-

меки и уколыштоэмы доставятъ читателю мало удовольствія, за отсутствіемъ ключа къ ихъ разгадкѣ. Поэма требовала бы многочисленныхъ комментариевъ, какъ требуютъ ихъ древніе авторы. По крайней мѣрѣ, въ этомъ нуждалась бы масса публики. Это уже достаточно показываетъ, до какой степени поэма построена на частныхъ явленіяхъ, не достигшихъ, въ изображеніи автора, интересной для всѣхъ типичности.

Но возвратимся къ анализу. Упомянутые выше профессора умѣютъ отлично обставить всякое спекулятивное предпріятіе. Они приищутъ аргументъ экономическій, аргументъ патриотическій, и, наконецъ, важнѣйшій аргументъ, съ точки зрѣнія стратегической, которымъ все увѣнчается. Общій смыслъ изложенной части разсказа прекрасно резюмируется слѣдующею сатирическою строфою:

Да, постигла и Россія
Тайну жизни, наконецъ,
Тайна жизни — гарантія,
А субсидія — вѣнецъ!
Будешь въ славѣ равенъ Фидію,
Антокольскій! изваяй
„Гарантію“ и „Субсидію“,
Идеаламъ форму дай!
Окружи свое творенье
Барельефами: толпой
Пусть идутъ на поклоненье
И ученый, и герой;
Пусть идутъ израильтяне
И другіе пришлецы,
И російскіе дворяне,
И моршанскіе скопцы...

Отдѣльныя мѣста въ этомъ родѣ (въ нашемъ изложеніи мы стараемся цитировать всѣ, наиболѣе выразительные, по нашему мнѣнію, стихи поэмы) выкупаютъ, отчасти, прозаичность цѣлаго и свидѣтельствуютъ, что въ авторѣ не угасло еще сатирическое одушевленіе...

Въ эпилогѣ поэмы разсказывается, какъ одинъ изъ главныхъ участниковъ банкета, желѣзнодорожный тузъ, престарѣлый Зацѣпинъ, или, попросту, Зацѣпа, вдругъ пришелъ въ сокрушеніе и началъ предаваться публичному покаянію.

Кромѣ вина, которымъ онъ нагрузился, на него особенно повліяло полученное утромъ, роковое извѣстіе о смерти единственнаго его сына, честнаго юноши, убитаго на дуэли, причиною которой было то, что при немъ отца его обозвали воромъ. Потрясенный горемъ, Зацѣпа внезапно провозгласилъ на банкетѣ:

„Я—воръ, Я—рыцарь шайки той
Изъ всѣхъ племень, нарѣчій, націй,
Что исповѣдуетъ разбой
Подъ видомъ честныхъ спекуляцій!..
Къ религіи наклонность я питаю,
Мечталъ носить желѣзные вериги,
А кончилъ тѣмъ, что утверждаю
Завѣдомо подчищенные книги.

Онъ разражается рыданьями. Князь Иванъ успокоиваетъ его, замѣчая, что онъ, должно быть, начитался Шиллера или не въ мѣру хлебнулъ венгерскаго, но Зацѣпа не унимается и опять кричить:

Горе! Горе! Хищникъ смѣлый
Ворвался въ толпу!
Гдѣ же Руси неумѣлой
Выдержать борьбу?
Охъ! горька твоя судьбина,
Русская земля!
У мужицкаго алтына,
У дворянскаго рубля
Плутokratъ, какъ караульный,
Станетъ на часахъ,
И пойдетъ грабежъ огульный
И — случится крррахъ!

И въ заключеніе гремить: „Прочь! Гнушаюсь вашихъ узы!.. Проклинаю процвѣтающій — всеберущій, всехватющій, всеворующій союзъ“!..

Одинъ изъ гостей, для смягченія скандала, поясняетъ, что строго говоря, это явленіе, т. е. порывы покаянія, не ново въ русскихъ великихъ умахъ. Съ грознаго царя Ивана до переписки съ друзьями Гоголя, самобичующій протестъ всегда былъ достояніемъ російскихъ гражданъ. Какъ ржавчина ѣстъ желѣзо, такъ Зацѣпу разѣдаетъ сознаніе душев-

ной немощи... „Забыта, однако,—прибавляетъ ораторъ,— истина, что рыцарская честь невозможна въ Россіи... Мы безбожно искалѣчены, и развѣ на насъ падаетъ въ этомъ вина?“

Таковъ новый плодъ сатирической музы г. Некрасова... Читатель видитъ, что идея поэмы интересна и, конечно, исполнѣ современна, сообразно ея заглавію: но мы думаемъ, что манера автора трактовать свой сюжетъ рѣзко противорѣчить требованіямъ поэтической сатиры, и что только отдѣльныя счастливыя мѣста, на которыя большею частью нами указано, могутъ нѣсколько примирить цѣнителя съ фальшивымъ приѣмомъ исполненія...

В. М. (В. Марковъ).

* * *

*) У всѣхъ современныхъ писателей теперь одна тема и другой быть не можетъ: всѣмъ тяжело и душно въ общественной атмосферѣ, всѣ видятъ одни и тѣ же признаки общественной болѣзни. Безконечная тоска и скука жизни, паденіе всякихъ нравственныхъ идеаловъ, купля и продажа всего на свѣтѣ, циничная вакханалія торжествующаго золота,—вотъ картины, рисуемыя теперь большими и малыми нашими художниками. И тутъ многимъ придется ужасаться новыхъ явленій, которыя въ значительной степени ими же самими вызваны. Возьмемъ и посмотримъ новыя книги журналовъ. Первый № „Отечественныхъ Записокъ“ открывается траги-комедіей Н. А. Некрасова: „Герои Времени“.

Траги-комедія написана стихами, хотя въ ней очень мало поэтическаго; но дѣло тутъ не въ достоинствѣ стиховъ, а въ самомъ содержаніи. Дѣйствіе происходитъ въ извѣстномъ ресторанѣ. Авторъ въ другую комнату „заглянулъ изъ-за портьеры“:

Зала публикой кипитъ —
Все тузы-акціонеры!
На ловца и звѣрь бѣжитъ...

*) „Русскій Міръ“ 1876 г., № 31. Современная литература“. В. С.—въ.
(В. Соловьевъ).

Тутъ собрались всѣ члены акціонерной компаніи: франты, генералы, банкиры, кулаки, жида, — самыхъ разнородныхъ людей соединило одно общее вожделѣніе: нажива.

Теперь цинизмъ у нихъ царемъ,
И разговоръ былъ часто страшенъ:
— Съ какой иконы ты скусилъ
Тотъ перлъ, которымъ ты украшенъ?
„Да съ той, которой помолясь,
Ты Гасферу подсыпалъ яду...“
Такъ, остроумно веселясь,
Одни смѣялись до упаду,
Другіе хмурились...

Авторъ выводитъ такихъ людей, заставляетъ ихъ говорить такія рѣчи, что читателю становится гадко; напрасно ищетъ онъ хоть въ комъ-нибудь изъ нихъ признака человѣческаго чувства, — здѣсь все не люди, а хищные звѣри. Но вотъ и человѣческое чувство; въ какомъ видѣ оно выражается! Одинъ изъ главныхъ тузовъ, Зацѣпа, сильно пьетъ, и вотъ вдругъ раздается его голосъ: „я воръ!“ Онъ блѣденъ, въ глазахъ его страданіе, онъ рыдаетъ... Его окружаютъ, начинаютъ уговаривать; но все тщетно — онъ рыдаетъ и отрывисто произноситъ ужасныя признанія. Что же съ нимъ такое? По какому случаю, хотя бы и въ нетрезвомъ видѣ, могъ почувствовать угрызеніе совѣсти этотъ каменный человѣкъ, для котораго погубить, обмануть ближняго и высосать изъ него всю кровь, всегда было самымъ обыкновеннымъ дѣломъ? Разгадка въ томъ, что онъ только-что получилъ телеграмму о смерти своего единственнаго сына. Онъ какъ-то совершилъ ужъ черезчуръ смѣлое дѣло. Сынъ пришелъ къ нему съ вопросомъ, справедливы ли ходящія слухи? Зацѣпа взбѣсился, а сынъ уѣхалъ въ Москву, тамъ оканчивалъ курсъ, голодалъ, возвращая отцу письма и деньги, и, наконецъ, раненъ на дуэли.

Черезъ сутки письмомъ
Другъ объяснилъ и причину дуэли:
„Воромъ отца обозвали при немъ...“
Черныя мысли отцомъ овладѣли;
Утромъ онъ къ сыну поѣхать хотѣлъ,
Но и другая пришла телеграмма...

Какъ ни крѣпился старикъ — не стерпѣлъ,
И разыгралась воочію драма...

Положимъ, вся эта „траги-комедія“ только фантазія современной вальпургіевой ночи; но при внимательномъ взглядѣ вокругъ все это начинаетъ походить на дѣйствительность.

Вс. С—въ (Соловьевъ).

* * *

*) Старый обычай нашего журнальнаго міра, давать въ январскихъ книжкахъ журналовъ произведенія и статьи наиболѣе извѣстныхъ авторовъ, сохраняется и доселѣ: въ январѣ каждый журналъ старается и поисправнѣе выйти и щегольнуть чѣмъ-нибудь, пуская въ ходъ всѣ свои главные и лучшія силы. Такъ въ январской книжкѣ „Отеч. Запис.“ мы разомъ встрѣчаемся и съ г. Некрасовымъ, и съ г. Крестовскимъ (псевдонимомъ), и съ г. Щедринымъ. Всѣ они сочли за нужное купно начать годъ.

Большое стихотвореніе г. Некрасова носить названіе траги-комедіи и заглавывается: „Герои Дня“. Почему авторъ назвалъ его траги-комедіей—это трудно понять; самое вѣрное его названіе, по нашему мнѣнію, названіе сатиры. Да, это — одна изъ ѣдкихъ и мстительныхъ сатиръ на такихъ героевъ нашего времени, каковы концессионеры, желѣзнодорожные строители, финансисты и т. п., и при томъ сатира, видимо, направленная противъ живыхъ лицъ, т. е. противъ такихъ, какихъ сатирику-поэту дѣйствительно приходилось встрѣчать въ обществѣ. И поэтъ выбралъ для сатиры наиболѣе выдающіяся личности и воздастъ имъ должное, выводя наружу ихъ тайны. Какъ его сатира умѣетъ хватить за живое, лучше всего могутъ показать нѣкоторые примѣры, какіе мы хотимъ взять. Вотъ, на примѣръ, въ какихъ чертахъ поэтъ рисуетъ передъ нами Шкурина—производителя работъ акціонерной компаніи, который слыветъ за самородка русака... (Приводится отрывокъ изъ стихотворенія, начинающійся стихомъ: „Прибыль подрядчикъ на мѣсто ра-

*) „Сынъ Отечества“ 1876 г., № 32. „Русская Литература“.

боть...“ и кончающійся стихомъ: „Краснорѣчивѣй словъ говорить“).

И такой спитъ, въ такихъ чертахъ обрисовывающій дѣятельность Шкурина, никого, видите ли, не удивляетъ, напротивъ

„Ура“ прокричали, героя сравнили
Съ находчивымъ „янки“.

Но не однихъ Шкуриныхъ рисуетъ и бичуетъ поэтъ, достается и разнымъ другимъ дѣльцамъ и героямъ дня:

Въ каждой группѣ плутократовъ,
Русскихъ, нѣмцевъ ли, жидовъ,
Замѣчаю ренегатовъ
Изъ семьи профессоровъ.
Ихъ исторія известна:
Скромнымъ труженикомъ жилъ,
И служба наукъ честно,
Плутократію громилъ.
Былъ профессоромъ ученымъ
Лѣтъ до тридцати,
И казалось, миллиономъ
Не собьешь его съ пути...
Вдругъ конецъ исторіи —
Въ тридцать лѣтъ герой
Прыгъ съ обсерваторіи
Въ омутъ биржевой!

И указывая примѣръ подобнаго рода, поэтъ говоритъ:

Вотъ другой слыветъ за чудо:
Говорунъ и острословъ
(„Леонидъ“ — ему покуда
Кличка у шутовъ).
Онъ машиннымъ краснорѣчьемъ
Плутократію дивитъ,
Никакимъ противорѣчьемъ
Не смущаясь, говоритъ
Въ интересахъ господина.
Заплати да тему дай,
Говорильная машина
Зачудить: подниметь лай,
Будетъ плакать и смѣяться,
Цыфры, факты извращать,
На Бутовскаго ссылаться,

Марксомъ тону задавать.
Предпочтя ученой славѣ
Соблазнительный металлъ,
Леонидъ сперва при Саввѣ
На посылкахъ состоялъ,
Подалъ ему «идейки»
(И сигары иногда),
Зналъ къ редактору лазейки,
Къ представителямъ суда
Составлялъ «записки», «миѣнья»,
Сплетни прессы отражалъ
И въ директоры правленья
Наконецъ попалъ!
Тутъ ужъ торная дорога:
Нахваталъ десятокъ мѣстъ,
Какъ за пазухой у Бога,
Онъ живетъ, по-барски ѣстъ,
На балы къ концессионерамъ
Возить куколку-жену
И поетъ акціонерамъ
Вѣчно пѣсенку одну!
Смыслъ извѣстный: дивидендовъ
Нѣтъ покамѣстъ — ожидай!
И не медля шесть процентовъ
Намъ въ награду отчислай!»
Кризисъ: дѣло не спорится,—
Денегъ нѣтъ, должны кругомъ,
Въ дверь правленія стучится
Съ исполнительнымъ листомъ
Приставъ: кассу запираетъ,
Мебель штемпелемъ клеймить.
Леонидъ не унываетъ
И цинически острить:
«Мать, конечно, предпріятю,
А правленью — не бѣда!
Стулъ съ казенною печатью
Такъ же мягокъ, господа».

Въ такомъ язвительномъ родѣ поэтъ бичуетъ многихъ и многихъ, близко подходя къ дѣйствительности и указывая слабыя стороны современной жизни нашего общества. И видно, что душу поэта волнуютъ эти слабыя стороны, это ложное направленіе, давшее такой ходъ плутократіи, до самой глубины, вызывая по временамъ болѣзненные стоны:

Горе, Горе! хищникъ смѣлый
Ворвался въ толпу!
Гдѣ-же Руси неумѣлой
Выдержать борьбу?
Охъ, горька твоя судьбина,
Русская земля!
У мужицкаго алтына,
У дворянскаго рубля
Плутократъ какъ караульный
Станетъ на часахъ,
И пойдетъ грабежъ огульный
И — случится кррахъ!

Изъ „Сына Отечества“.

* * *

*) На берегу Волги, близъ Костромы, жилъ-былъ пятидесятилѣтній русскій мужикъ. Онъ имѣлъ пачочный заводъ и постоянный дворъ, куда охотно заходилъ народъ. Своей оборотливостью и привѣтливостью хозяинъ съумѣлъ себя такъ поставить, что мужички ему ни въ чемъ не отказывали: сядетъ ли барка на мель, другая ли бѣда приключится, — стѣбитъ Науму моргнуть — мигомъ помогутъ. Мало-по-малу, Наумъ нажилъ и во все время своей полувѣковой жизни ни разу не подумалъ о женщинѣ. Вдругъ разъ къ нему прѣзжаютъ на ночлегъ молодой парень и молодая дѣвушка. Выдаютъ себя за брата и сестру, идущихъ на богомолье. Ночуютъ. Глубокой ночью захотѣлось Науму квасу, который остался въ той же комнатѣ, гдѣ заночевали молодые постояльцы. Онъ пошелъ на цыпочкахъ, засвѣтилъ на мгновенье спичку и сдѣлался невольнымъ свидѣтелемъ слѣдующей сценки: „Покуримъ, Ваня, — говоритъ молодчику дѣвица. И спичка чиркнула, — горить... Увидѣлъ онъ ихъ лица: Красиво Ванино лицо, красивѣе у Тани! Рука, согнутая въ кольцо, лежитъ на шеѣ Вани. Нагая полная рука! У Тани грудь открыта, какъ жаръ горитъ одна щека, косою другая скрыта. Еще онъ видѣлъ на лету, какъ встрѣтились ихъ очи. И вновь на юную чету спустился пологъ ночи“. Эта картина подѣйствовала на Наума какъ-то особенно. Она перевернула всѣ его общественныя

*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1876 г., № 81. („Журнальные очерки“ С. С.).

и житейскія убѣжденія и правила. Онъ сдѣлался золь, сидѣлъ одинъ угрюмо, бродилъ одиноко по цѣлымъ днямъ въ окрестностяхъ, не ѣлъ соленыхъ рыжиковъ и не пилъ чаю, забылъ настоять наливки и даже путался на счетахъ. Отчего же это: Видите ли, — передъ нимъ безсмѣнно горѣли двѣ пары „блаженныхъ глазъ...“ „Я сладко пилъ, я сладко ѣлъ,—онъ думаетъ уныло,—а кто мнѣ въ очи такъ смотрѣлъ?... И жизнь ему постыла“.

Въ этомъ заключается „горе стараго Наума“ и содержаніе новой поэмки Некрасова, занимающей десять страницъ въ мартовской книжкѣ „Отеч. Зап.“ Поэмка эта лиро-эпическая. Въ ней авторъ выступаетъ, такъ же какъ и Байронъ, самолично, со своими мыслями и чувствами. У него есть и общія, — социальныя, такъ сказать, соображенія и картины и чисто личные куплеты, относящіеся къ его собственной особѣ. Вотъ, напримѣръ, картинка Волги около Костромы, во время мелководья: „Люблю я краткой той поры случайныя тревоги, и трудъ, и пѣсни, и костры. Съ береговой дороги я вижу сотни рукъ и лицъ, мелькающихъ красиво; а паруса—что крылья птицъ—колеблются лѣнливо; а мѣсяцъ медленно плыветъ, а Волга чуть лепечетъ. Чу! Свистнулъ рѣзко пароходъ! Бѣжить и искры мечетъ. Ущелья темныхъ береговъ согласнымъ эхомъ полны... Не все же пѣснямъ бурлаковъ внимаютъ эти волны. Я слушалъ жадно иногда и тотъ напѣвъ унылый; но гулъ довольнаго труда мнѣ слаще слышать было. Увы! Я дожилъ до сѣдинъ, но измѣнился мало. Иныхъ временъ, иныхъ картинъ провижу я начало въ случайной жизни береговъ моей рѣки любимой: освобожденный отъ оковъ, народъ неутомимый созрѣетъ, густо заселитъ прибрежныя пустыни; наука воды углубитъ; по гладкой ихъ равнинѣ суда-гиганты побѣгутъ несчетною толпою... И будетъ вѣченъ добрый трудъ надъ вѣчною рѣкою!“ Про себя же авторъ говоритъ: „Быль краткій мигъ: заря зажгла роскошно край лазури,—и буря новая пришла на смѣну старой бури. И новымъ силамъ новый бой готовился. Усталый, поникъ я буйной головой, померкли идеалы, ушло и время... Мѣста нѣтъ желанному союзу. Умру — и мой исчезнетъ слѣдъ! Надежда вся на музу...“

Вотъ и все новое произведеніе музы Некрасова. Я не стану разбирать его строго, но нельзя не сказать, что оно мелко, что въ немъ мало чувства, мало мысли, мало поэзіи... Что самое „горе“—которое онъ воспѣваетъ, является какъ-то непонятнымъ. Что это такое: раздраженная ли чувственность, надорванная ли струна идеализма, звучащая въ сердцѣ каждаго человѣка, — или еще что нибудь. Во всякомъ случаѣ, — общечеловѣческаго тутъ ничего нѣтъ... Некрасовъ „народный“ поэтъ. У него русскіе сюжеты, русская природа, русскія воззрѣнія... Отчего же онъ мелокъ? Мы видѣли, что его талантъ способенъ производить грандіозныя произведенія, въ родѣ „Русскихъ Женщинъ“, „Медвѣжьей Охоты“, „Сна на Волгѣ“... Въ его нѣкоторыхъ лирическихъ произведеніяхъ бьетъ ключомъ поэзія, несмотря на ихъ краткость... Припомните, напримѣръ, это восьмистишіе, вылившееся прямо изъ души:

Душно!... Безъ счастья и воли
Ночь безконечно длинна!...
Буря бы грянула, что ли!...
Чаша съ краями полна!...
Грянь надъ пучиною моря,
Въ полѣ, въ лѣсу засвищи!...
Чашу вселенскаго горя
Всю расплеши!...

Или эту очаровательную „Пѣсню Любы“: „Отпусти меня, родная! Отпусти не споря! Я не травка полевая. Я выросла у моря. Не рыбацій парусъ малый, — корабли мнѣ снятся... Скучно!... Въ этой жизни вялой дни такъ долго длятся!...“ и далѣе... „Если вырастетъ у моря,—не спастись цвѣточку: день настанетъ, буря грянетъ, валъ сердитый встанетъ, — въ день одинъ песку нагонитъ на прибрежный цвѣтикъ и навѣки похоронитъ... Отпусти мой свѣтикъ!...“ Въ обоихъ этихъ стихотвореніяхъ, отнюдь не въ ущербъ „народности“ поэта, выражается общечеловѣческое чувство: порывъ широкой свободной натуры къ счастью, къ волѣ, къ простору... Чувство это вполне доступно и понятно каждому и стѣбитъ поэтическаго образа... Національность же тутъ является оттѣнкомъ. Такъ бываетъ у

всѣхъ крупныхъ поэтовъ. Вездѣ — поэзія космополитична. Но какъ скоро г. Некрасовъ, оставляя поэтическую сферу общечеловѣческихъ страстей и идей, играетъ только на стрункѣ „народности“ или лучше „простонародности“ — онъ дѣлается миниатюрень до смѣшного. „Вѣстн. Европы“, помѣстившій поэму Байрона, и „Отеч. Записки“, помѣстившія поэму Некрасова, невольно доказали это на рѣзкомъ примѣрѣ. Я лично, читая „Лару“ и „Горе стараго Наума“, еще разъ вспомнилъ давно уже мною сознанную и не разъ высказанную мысль, что для поднятія уровня мысли и чувства въ нашей литературѣ намъ необходимо переводить, переводить и переводить крупнѣйшихъ представителей западнаго ума и таланта... На одной „народности“ далеко не уйдешь...

Изъ этого однако же отнюдь не слѣдуетъ, чтобы наша народная исторія или наши народные типы не представляли матеріала, годнаго для поэтической обработки. Все дѣло въ умѣнны выбрать и освѣтить. Все дѣло въ талантѣ поэта ¹⁾.

Изъ „Одесскаго Вѣстника“. С. С. (Сычевскій?).

* * *

*) Въ послѣдней, только что вышедшей, мартовской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ мы успѣли прочесть, привлеченные именемъ автора, стихотвореніе г. Некрасова „Горе стараго Наума“, почему-то названное волжскою былью. Пьеса, помѣченная еще 1874 годомъ, какъ годомъ ея написанія, совершенно окончена, продолженія ея не обѣщано, а между тѣмъ, она представляется какимъ-то отрывкомъ, несмотря на то, что занимаетъ около 10 страницъ. Никакой въ ней *были* нѣтъ, никакой фактической фабулы, да и горе стараго Наума, очень сантиментальное горе, очерчивается очень бѣгло — только въ послѣднихъ

¹⁾ Возврънія г. С. С., выраженные въ предыдущихъ строкахъ относительно космополитизма въ поэзіи и литературѣ, равно какъ и относящіяся къ этому предмету строки въ другихъ частяхъ фельетона, не вполне совпадаютъ съ воззрѣніями редакціи „Од. В.“, почему она и оставляетъ эти взгляды на ответственности автора.

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1876 г., № 86. Литературная лѣтопись. Статья В. М. (В. В. Маркова).

четырёхъ строфахъ.—Вотъ содержаніе этой мнимой были, рассказанной г. Некрасовымъ. Жилъ-былъ на Волгѣ мужикъ Наумъ, владѣлецъ паточнаго завода и хозяинъ постоялаго двора, торговалъ и хозяйничалъ удачно, и разбогатѣлъ. Авторъ велъ съ нимъ знакомство, пивалъ у него чай, водку и ѣдалъ янтарную стерлядку, „драгоценный даръ Волги“. На этихъ закускахъ, на которыхъ Наумъ, расхорившись, отбивалъ иногда „смоленую головку“, послѣ рябиновки и вишневки, велись задушевные бесѣды, и Наумъ любилъ хвастаться своими житейскими успѣхами. Науму было слишкомъ пятьдесятъ, а не было у него ни дѣтей, ни женки...

Наумъ былъ сердцемъ суховатъ,
Любилъ одни деньжонки,
Онъ говорилъ: «жениться—взять
Обузу! а «сударки»
Еще тошнѣй: и время трать
И деньги на подарки».

Здѣсь авторъ вдается въ отступленіе, касающееся его личности. Мы читаемъ, что онъ не опровергалъ мнѣній Наума о женитьбѣ, но самъ думалъ объ этомъ иначе. Онъ, авторъ, тоже не хотѣлъ жениться, да по инымъ причинамъ. Эти причины онъ передаетъ въ слѣдующихъ, едва-ли не лучшихъ во всей пьесѣ, стихахъ:

«Надъ одинокой головой
Не такъ и тучи грозны;
Пускай лѣнтян и рабы
Идутъ путемъ обычнымъ,
Я долженъ быть своей судьбы
Царемъ единоличнымъ!»

Таковы были гордыя думы автора. Онъ былъ бы радъ оставить міру „племя“, но жить ему пришлось въ тяжелыя времена—было не до того. Не надолго лазурь было прояснѣла, но вскорѣ опять пришлось готовиться къ бою. Усталый, онъ поникъ буйною головою, погибли идеалы, ушло и время. Погибли идеалы, но, спрашивается: какіе? Если гражданскіе, то женитьба могла состояться, и даже тѣмъ паче, если идеалы сердечные, рисующіе намъ мечтающій

образъ „лучшей“ женщины, съ которою мы желали бы сочетать свою участь, то... такъ бы и надо было сказать, хотя и этимъ было бы сказано нѣчто, требующее дальнѣйшаго объясненія...

Наумъ не зналъ ни гражданскихъ, ни другихъ идеаловъ, и просто не женился по „сухости сердца“, увлекаясь барышами; но разъ къ нему на постоянный дворъ зашли ночевать паренъ и молодая красивая дѣвка, любовница парня. Наумъ случайно подсмотрѣлъ ночью, при свѣтѣ чиркнувшей спички (дѣвица вздумала покурить), какъ красавица съ открытою грудью и распущенною косою, смотрѣла въ очи своему возлюбленному, и съ тѣхъ поръ Наумъ совсѣмъ измѣнился: забылъ ѣсть соленые рыжики, пить чай, настаивать наливки. Ему все опостылѣло, хозяйство пошло вверхъ дномъ, и онъ все думалъ уныло, что ему никто не смотрѣлъ въ очи такъ, какъ смотрѣла дѣвица въ очи своему другу... Что же дальше? Бросился ли онъ разыскивать эту дѣвицу, истомился ли онъ своими новыми чувствами, или что? Неизвѣстно, потому что ничего нѣтъ дальше. Мнимая была закончена. „Въ чемъ же ея мораль? — не знаемъ и этого, и предоставляемъ разгадывать самому читателю. Но, можетъ быть, въ пьесѣ есть замѣчательныя поэтическія черты? можетъ быть, разсказъ отличается особенною прелестью, особеннымъ искусствомъ? Увы, мы не нашли ни этихъ подробностей, ни этой прелести, и пьеса кажется намъ не болѣе, какъ посредственною.

В. М. (В. Марковъ).

* * *

*) ...Живо и мастерски обрисовываетъ Некрасовъ въ лицѣ Наума того русскаго человѣка, въ которомъ работаетъ житейскій умъ, весь направленный къ тому, чтобы сколотить копейку, — тотъ, прибавимъ, житейскій умъ, съ которымъ можно встрѣтиться, однако на Руси не рѣдко:

Науму паточный заводъ
И дворикъ постоянный

*) „Сынъ Отечества“ 1876 г., № 86. („Русская Литература“).

Даютъ порядочный доходъ.
Наумъ—не глупый малый.
Задаромъ снявъ клочекъ земли,
Брестьянину съ охотой
Въ нуждѣ ссужаетъ онъ рубли,
А тотъ плати работой.
Такъ обращенъ нагой пустырь
Въ картофельное поле.
Вблизи—«Бабайскій» монастырь,
Село «Большія Соли».
Недалеко и Кострома.
Наумъ живетъ не тужить,
И Волга-матушка сама
Его карману служить.
Питейный домъ его стоитъ
На самомъ «перекатъ»;
Какъ лѣто Волгу обмелить,
Къ пустынной этой хатѣ
Тропа знакома бурлакамъ:
Выходитъ много «чарки» и пр.

И работая своимъ житейскимъ умомъ, Наумъ прожилъ
пятьдесятъ лѣтъ, радуясь, какъ говорится, и веселясь:

— Ну, какъ дѣлишки? «Въ барышѣ»,
Съ улыбкой отвѣчаетъ,
Разговорившись по душѣ,
Подробно исчисляетъ,
Что дало въ годъ ему вино
И сколько отъ завода
«Накопчено, насолено,
Чай хватить на три года!
Все лѣто занято трудомъ,
Хлопотъ по самый воротъ.
Придетъ зима — лежу суркомъ,
Не то поѣду въ городъ:
Начальство — други — кумовья,
Стрясись бѣда — поправлять,
Работы много — свистну я:
Сосѣди не оставляютъ;
Округа нся въ горсти моей,
Базна надежнѣй дѣпи:
Ужъ нѣтъ помѣщичьихъ крѣпей,
Мои остались крѣпи».

И погруженный въ эту наживу, Наумъ оставался сухъ сердцемъ:

Онъ говоритъ: «жениться—взять
Обузу! а «сударки»
Еще тошнѣй и время тратъ
И деньги на подарки.

Но-тутъ то поэтъ и рѣшается заглянуть въ глубину души человѣка, чтобы показать, какъ для человѣка неестественна жизнь безъ сердца. Разъ къ Науму пришли ночевать молодчикъ и дѣвица. Наумъ принялъ ихъ и уложилъ спать на диванѣ. И самъ легъ въ своей каморкѣ спать, но вотъ проснулся ночью и захотѣлось ему кваску напиться, а

Квасокъ-то въ горницѣ стоитъ,
Гдѣ парочка осталась.

Наумъ порѣшилъ пробраться за кваскомъ тихонько:

Но только дверь пріотворилъ,
Услышалъ тихій шопотъ... (и т. д.

кончая стихомъ):

„А кто мнѣ въ очи такъ смотрѣлъ?..
И все ему постыло...

Такимъ образомъ, мы можемъ сказать, что въ стихотвореніи г. Некрасова читаемъ цѣлую повѣсть, полную психологическаго анализа и значенія. Въ этомъ небольшомъ разсказѣ о Наумѣ, поэтъ успѣваетъ затронуть одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, которыми болѣетъ наше время: онъ хочетъ сказать, что какъ бы ни была сильна страсть къ матеріальнымъ интересамъ, человѣку не сродно жить только ими одними, и при первомъ случаѣ потребность сердца даетъ знать о себѣ и жестоко отомститъ тому, кто пренебрегалъ и пренебрегаетъ ею. Таковъ смыслъ „Горя Наума“, выраженный, по нашему мнѣнію, поэтомъ очень удачно и живо.

Изъ „Сына Отечества“.

* * *

*) Хорошее стихотвореніе—очень большая рѣдкость въ нашихъ журналахъ за послѣдніе годы, а потому намъ почти

*) „Русскій Міръ“ 1876 г., № 95. „Современная литература. Новое Стихотвореніе Н. А. Некрасова“. Статья *Вс. Соловьева*.

и не приходится указывать читателямъ на современныхъ русскихъ поэтовъ. Стиховъ пишется и печатается много, но въ стихахъ этихъ можно найти все, что угодно, кромѣ поэзіи. Цѣлое десятилѣтіе не могло создать и выдвинуть ни одного талантливаго поэта. Умеръ Тютчевъ, умеръ гр. Алексѣй Толстой, и наличныя силы нашей поэзіи теперь находятся въ рукахъ только троихъ ея представителей—Майкова, Полонскаго и Некрасова. Самымъ плодовитымъ изъ нихъ является Некрасовъ: въ „Отечественныхъ Запискахъ“ постоянно встрѣчаются болѣе или менѣе пространныя его произведенія.

Но каковы эти произведенія, достойны ли они его репутаціи, сказывается ли въ нихъ присутствіе того таланта, который далъ поэту почтенное мѣсто въ нашей литературѣ? На эти вопросы самый снисходительный критикъ долженъ отвѣтить отрицательно. Если писатель—прозаикъ, перейдя за извѣстную черту жизни, весьма часто теряетъ силу и свѣжесть своего дара, начинаетъ блѣднѣть и повторяться, то съ поэтомъ это случается еще чаще, хотя и встрѣчаются, разумѣется, блестящія исключенія. Но Н. А. Некрасовъ не принадлежитъ къ несчастью, къ такимъ исключеніямъ. Уже не первый годъ, какъ его окончательно начинаетъ покидать вдохновеніе. Но онъ не хочетъ примириться съ этимъ обстоятельствомъ—онъ продолжаетъ писать въ стихотворной формѣ, не признавая, что каждое его новое стихотвореніе можетъ возбудить только печаль объ выдохшемся талантѣ.

Въ мартовской книгѣ „Отечественныхъ Записокъ“ помѣщена его волжская быль: „Горе стараго Наума“.

Эта быль—растянутый, не особенно интересный рассказъ, мораль котораго заключается въ томъ, что человѣку слѣдуетъ непременно жениться. Напиши такое стихотвореніе человѣкъ мало извѣстный—и мы видѣли бы полное основаніе пройти его молчаніемъ; но вѣдь здѣсь подписано имя Некрасова, стихи прочтутся весьма многими, они и напечатаны для того, чтобы быть всѣми прочтенными и произвести впечатлѣніе. Поэтому мы и должны на нихъ остановиться.

Науму паточный заводъ
И домикъ постоянный
Даютъ порядочный доходъ.
Наумъ не глупый малый:
Задаромъ снявъ клочекъ земли,
Крестьянину съ охотой
Въ нуждѣ ссужаетъ онъ рубли,
А тотъ плати работой—
Такъ обращенъ нагой пустыръ
Въ картофельное поле...
Вблизи—„Бабайскій“ монастырь,
Село „Большія Соли“,
Недалеко и Кострома.
Наумъ живетъ—не тужить,
И Волга-матушка сама
Его карману служить...

Вотъ начало „были“, дающее понятіе о теперешнемъ стихѣ г. Некрасова. Сразу является вопросъ: зачѣмъ все это написано *стихами*, и неужели поэту не извѣстно, что для того, чтобы стихотвореніе было поэтично, совершенно недостаточно гладкихъ строкъ и римъ: *постоянный, малый, поле, Большія соли*. А что же, кромѣ этихъ римъ, можно найти въ приведенныхъ куплетахъ?

Далѣе авторъ переходитъ къ картинѣ Волги, которую описываетъ такимъ образомъ:

Я вижу сотни рукъ и лицъ,
Мелькающихъ красиво,
А паруса, что крылья птицъ,
Колеблются лѣнливо...

Но эта картина заслоняется представленіями будущаго времени, когда „*наука*“ воды углубить“, а затѣмъ является воспоминаніе о годахъ, когда

Громъ непрестанно грохоталъ
И вихоръ былъ ужасенъ,
И человекъ подъ нимъ стоялъ
Испуганъ и безгласенъ.
Былъ краткій мигъ: заря зажгла
Роскошно край лазури,
И буря новая пришла
На смѣну старой бури.

И новымъ силамъ новый бой
Готовился... Усталый,
Поникъ я буйной головой,
Погибли идеалы...

Г. Некрасовъ давно уже злоупотребляетъ этими пустынными воспоминаніями и намеками, и до сихъ поръ не видѣть, что то время, когда были въ модѣ подобныя *туманности*, произносимыя горькимъ тономъ съ упоминаніемъ о своей особѣ и „буйной головѣ“, прошло безвозвратно. Теперь все это производитъ впечатлѣніе надоевшаго и безпричиннаго нытья по поводу старыхъ бѣдствій, разсматриваемыхъ въ сильно увеличивающее стекло. Но можно было бы помириться даже и съ туманностью, если бы она была облечена въ дѣйствительно поэтическую форму—новѣйшіе же стихи г. Некрасова, какъ видно изъ приведенныхъ выписокъ совершенно лишены всякой поэтичности. Мы тщетно ищемъ хотя сколько нибудь удачныхъ строкъ и постоянно встрѣчаемъ:

Закуску, водку, самоваръ
Вносили по порядку,
И Волги драгоценный даръ
Янтарную стерлядку.
Наумъ усердно предлагалъ
Рябиновку, вишневку,
А, расходившись, обивалъ
„Смоленую головку“...

Врядъ ли кто-либо не согласится съ нами, что эти куплеты производятъ впечатлѣніе стиховъ, въ шутку написанныхъ на заданныя рѣмы. Но, быть можетъ, всѣ эти печальныя погрѣшности искупаются значеніемъ стихотворенія, мыслію, въ него вложенной?.. Мы читаемъ дальше и нападаемъ на очень длинное сравненіе Наума съ паукомъ.

Его сосѣдъ, другой паукъ,
Качался такъ замученъ,
А мой—отъѣлся вонъ изъ рукъ!
Доволенъ, гладокъ, тученъ.
То мирно дремлетъ въ уголку,
То мухою закусить...
Живется славно пауку;
Не тужить и не трусить!..

Дальше... Къ Науму на постоянный дворъ приѣзжаютъ переночевать молодчикъ и дѣвица. Они называютъ себя братомъ съ сестрой; но тѣмъ не менѣе постоянно норовятъ задѣть другъ дружку плечами, ногой, рукой, а только стоять отвернутыя, такъ сейчасъ же начинаютъ *шалить губами*. Ночью Науму не спится, и хочется ему напиться кваску, а квасокъ остался въ комнатѣ, занятой *парочкой*. Наумъ идетъ туда, думая, что *парочка* крепко спитъ; но только что онъ пріотворилъ дверь, какъ слышитъ шопотъ:

„Покуримъ, Ваня!“ говоритъ
Молодчику дѣвица.
И спичка чиркнула — горить...
Увидѣлъ онъ ихъ лица:
Красиво Ванино лицо,
Красивѣе у Тани!
Рука, согнутая въ кольцо,
Лежитъ на шеѣ Вани,
Нагая, полная рука!
У Тани грудь открыта,
Какъ жаръ горитъ одна щека,
Косой другая скрыта.

Увидѣвъ эту соблазнительную картину, Наумъ тихонько вышелъ; но съ той поры онъ совсѣмъ измѣнился: вѣчно золь, сидитъ угрюмо или бродитъ весь день одинъ, не ѣстъ *соленыхъ рыжиковъ* и не пьетъ чаю. Кромѣ того, онъ сталъ дѣлать упущенія въ хозяйствѣ... Передъ нимъ постоянно горятъ двѣ пары блаженныхъ глазъ, подсмотрѣнныхъ имъ ночью.

„Я сладко пилъ, я сладко ѣлъ“,
Онъ думаетъ уныло:
„А кто мнѣ въ очи такъ смотрѣлъ?“...
И все ему постыло...

Этимъ заканчивается „волжская быль“. Мы остановились на ней и рѣшили сдѣлать эти печальные выписки для того, чтобы впредь уже не касаться ничего выходящаго изъ-подъ пера г. Некрасова и имѣть на это полное право. Съ мыслью, что талантливый поэтъ потерялъ даръ вдохновенія и уже не можетъ писать больше, еще можно помириться: онъ сдѣлалъ свое дѣло, сказалъ свое слово... Но

если поэтъ этотъ заставляетъ насъ слушать диссонансы, извлекаемые имъ изъ совершенно разорванныхъ струнъ— это явленіе весьма печальное.

Вс. С—въ. (Соловьевъ).

* * *

*) Едва ли кто-нибудь изъ русскихъ поэтовъ, за исключеніемъ Пушкина и Лермонтова, пользуется такою громадною популярностью, какъ Некрасовъ. Его произведенія извѣстны всей читающей Россіи, они у всѣхъ въ рукахъ, ихъ заучиваетъ наизусть каждый образованный человѣкъ, каждый школьникъ... Некрасовъ давно приобрѣлъ вполне заслуженную симпатію русской публики, и сочиненія его, ежегодно расходящіяся въ самомъ значительномъ количествѣ экземпляровъ, выдержали, въ небольшой промежутокъ времени, до семи изданій. Чѣмъ же объясняется тотъ рѣдкій, удивительный успѣхъ, который выпалъ на долю нашего даровитаго поэта? Некрасовъ первый открылъ новую, свѣжую струю въ нашей поэзіи;—въ то время когда большинство русскихъ поэтовъ, на всевозможные лады, воспѣвало „ласки милой“, „шопотъ, робкое дыханіе, трели соловья“ и тому подобныя, невинныя предметы, и черпало свое вдохновеніе изъ области фантазіи, „изъ міра дѣвъ и розъ“, настраивая лиру „для звуковъ сладкихъ и молитвъ“,—въ то время раздалось энергичное, пламенное слово Некрасова; онъ запѣлъ въ совершенно иномъ тонѣ, вопреки господствовавшему тогда, въ поэзіи, чисто эстетическому направленію. Поэтъ избралъ предметомъ своихъ пѣснопѣній дѣйствительную, реальную жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ и отбѣнкахъ. Его лира явилась не „томно настроенной“, а карающей мракъ и невѣжество.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ родился 15 октября 1822 г., въ Ярославлѣ, въ небольшой дворянской семьѣ. Его отецъ принималъ непосредственное и дѣятельное участіе въ отечественной войнѣ 1812—1814 гг., состоя въ

*) „Живописное Обозрѣніе“ 1876 г., № 13. „Современные русскіе писатели“. Статья П. В. Быкова.

качества адъютанта при графѣ П. Х. Витгенштейнѣ, командовавшемъ 1 корпусомъ и спасавшемъ Петербургъ и Псковъ отъ нашествія непріятели; двое же дядей поэта пали въ сраженіи подъ Бородинымъ. До семилѣтняго возраста мальчикъ пользовался полной и, можно сказать, неограниченной свободой, имъ занимались мало; когда же ему минуло шесть лѣтъ, то, благодаря настоянію и хлопотамъ матери, его начали учить грамотѣ и затѣмъ серьезно готовить для поступленія въ учебное заведеніе. На тринадцатомъ году его отдали въ ярославскую гимназію, куда онъ, хорошо подготовленный, поступилъ прямо въ четвертый классъ. Но здѣсь Некрасовъ пробылъ всего два года; несмотря на то, что онъ учился хорошо, оказывалъ большія способности и дѣлалъ видимые успѣхи, отецъ взялъ его изъ гимназіи, предназначая своему сыну военное поприще. Съ этою цѣлью онъ отправилъ шестнадцатилѣтняго юношу въ Петербургъ, для того чтобы тотъ поступилъ въ Дворянскій Полкъ, и снабдилъ сына рекомендательнымъ письмомъ къ генералу Полозову, — тогдашнему начальнику петербургскаго округа корпуса жандармовъ.

Но въ головѣ молодого человѣка созрѣлъ совсѣмъ другой планъ. Явившись къ Полозову съ названнымъ письмомъ, онъ откровенно объяснилъ ему, что рѣшительно не чувствуетъ ни охоты, ни призванія сдѣлаться военнымъ, поэтому и не хочетъ поступать въ Дворянскій Полкъ, а желаетъ избрать себѣ совершенно другую карьеру и, въ силу этого, намѣревается готовиться въ университетъ. Желаніе это онъ мотивировалъ, между прочимъ, своей сильной склонностью къ литературнымъ занятіямъ, которыя плохо должны вязаться съ военной службой. Такая прямота и твердая рѣшимость въ юношѣ очень понравились генералу Полозову, и онъ вполне одобрилъ образъ дѣйствій молодого человѣка, пожелавъ ему успѣха и возможно скорѣйшаго исполненія задуманнаго имъ плана. Съ особеннымъ рвеніемъ и усердіемъ засталъ Николай Алексѣевичъ за учебники и началъ готовиться ко вступительному экзамену, желая непремѣнно черезъ годъ сдѣлаться студентомъ университета. Однако на первыхъ же порахъ явились различныя препятствія, которыя

стали мѣшать осуществленію задуманнаго дѣла. Неисполненіе отцовской воли и возникшія, вслѣдствіе этого, семейныя непріятности, весьма худо отразились на дѣлахъ Никол. Алекс.; плохо или, говоря вѣрнѣе, вовсе необезпеченный въ матеріальномъ отношеніи, онъ испытывалъ нужду и долженъ былъ много трудиться для добыванія себѣ куска насущнаго хлѣба. Пылкій и стойкій, съ жаждою знанія и честолюбивыми мечтами въ душѣ, онъ самъ хотѣлъ пробить себѣ дорогу, неутомимо преслѣдуя свою завѣтную цѣль; а между тѣмъ, эта цѣль, повидимому, отдалялась; для поступленія въ университетъ нужно было готовиться, между прочимъ, и изъ такихъ предметовъ, какъ математика и латинскій языкъ, проходить которые безъ помощи преподавателя, весьма трудно, почти невысказуемо; но какъ добыть учителя, когда на это средствъ нѣтъ? Юноша, однако, не унывалъ, — неудачи и препятствія только сильнѣе раздражали его самолюбіе, заставляя его дѣйствовать еще упрямѣе и настойчивѣе, и укрѣпляя въ немъ силу воли и характера. Вскорѣ Некрасовъ нашелъ себѣ очень дешеваго учителя для занятій изъ математики и физики; латынь же преподавалъ ему хорошій знакомый, студентъ медико-хирургической академіи; но занятія послѣднимъ предметомъ шли довольно плохо, несмотря на всѣ старанія и усилія даровитаго наставника. Такимъ образомъ, латынь являлась тормазомъ всего дѣла; скоро однако случай помогъ энергичному юношѣ побѣдить и это затрудненіе.

Въ одномъ изъ скромныхъ трактирчиковъ Выборгской стороны, куда онъ ходилъ обѣдать и гдѣ иногда любилъ просиживать по вечерамъ, такъ какъ здѣсь представлялось широкое поле для его наблюдательности, Некрасовъ встрѣтился съ профессоромъ Духовной Академіи — Успенскимъ; изъ откровенной бесѣды съ молодымъ человѣкомъ профессоръ узналъ подробно о незавидномъ положеніи послѣдняго, о его благихъ намѣреніяхъ, пламенномъ желаніи поступить въ университетъ и о тѣхъ затрудненіяхъ, которыя онъ встрѣчалъ при этомъ. Успенскій, самъ прошедшій тяжелую школу жизни, хорошо понималъ своего собесѣдника, которому и не замедлилъ предложить безвозмездно свои услуги, от-

носительно занятій латинскимъ языкомъ, мало того, онъ пригласилъ Николая Алексѣвича поселиться на нѣкоторое время въ его квартирѣ. Некрасовъ съ радостью принялъ такое радушное предложеніе и подъ руководствомъ опытнаго наставника, хорошо знавшаго теорію языка и основательно изучившаго латинскихъ классиковъ, въ теченіи шести-семи мѣсяцевъ успѣлъ вполнѣ удовлетворительно приготовиться къ университетскому экзамену. Въ августѣ 1840 года должна была рѣшиться судьба молодого человѣка; по всѣмъ предметамъ, въ томъ числѣ и по латинскому языку, изъ котораго экзаменовалъ его профессоръ Фрейтагъ, отличавшійся чрезмѣрной строгостью, Николай Алексѣвичъ получилъ удовлетворительные баллы, но, увы, физика и математика сошли неблагополучно—и Некрасовъ не попалъ въ число студентовъ университета, а принужденъ былъ поступить туда лишь на правахъ вольнослушателя.

Университетскія лекціи онъ усердно слушалъ въ теченіе 1840—1842 гг., и въ это же время выступилъ и на литературное поприще, помѣщая стихотворенія и прозаическія статейки въ нѣкоторыхъ журналахъ и газетахъ. Некрасовъ началъ писать рано; еще въ гимназіи сочиненія его, писанныя имъ на заданныя темы, невольно обращали на себя вниманіе и преподавателей, и товарищей; тогда же, втихомолку, онъ пробовалъ свои силы, въ сочиненіи стиховъ, при чемъ первые опыты были настолько удачны, что когда онъ пріѣхалъ въ 1838 г. въ Петербургъ, и когда ему едва минуло пятнадцать лѣтъ, онъ, безъ труда, напечаталъ свое первое стихотвореніе, которое называлось „Мысль“ въ „Сынѣ Отечества“ Н. А. Полевого; затѣмъ, въ слѣдующемъ (1839) году въ 7-й книжкѣ „Библіотеки для Чтенія“ появилось его второе произведеніе „Жизнь“. Обѣ пьески были замѣчены и имѣли нѣкоторый успѣхъ, вслѣдствіе чего юноша рѣшился окончательно посвятить себя литературѣ. Съ 1840 года онъ сталъ ревностно сотрудничать въ „Пантеонѣ русскаго и всѣхъ европейскихъ театровъ“, — журналѣ, издававшемся книгопродавцемъ Василіемъ Поляковымъ, подъ редакціей Ѳедора Кони. Здѣсь Некрасовъ печаталъ очень много: коротенькія рецензіи,

статейки для смѣси, біографіи артистовъ, стихотворенія („Мелодія“, „Слеза разлуки“, „Офелія“, „Скорбь и слезы“ и др.)—иногда очень недурные, шуточные куплеты подъ псевдонимомъ: Ив. Ив. Грибовникова и Θεоклиста Боба, а также небольшіе рассказы и повѣсти, частію подъ собственнымъ именемъ, частію подъ псевдонимомъ Н. А. Перепельскаго, таковы, напр.: „Макаръ Осиповичъ Случайный“, „Безъ вѣсти пропавшій пѣнта“, „Пѣвица“ и пр. Въ этомъ же году имъ изданы отдѣльно; „Баба-Яга. Русская народная сказка въ восьми главахъ“ и первый сборникъ его стихотвореній, подъ названіемъ: „Мечты и звуки. Стихотворенія Н. Н.“. Объ этой книжкѣ, въ которой хотя и было много незрѣлыхъ, дѣтскихъ мыслей, но уже чувствовались задатки самобытнаго таланта, извѣстный нашъ поэтъ В. А. Жуковский отнесся съ большою похвалою, равно какъ и Н. А. Полевой, который, со времени помѣщенія въ своемъ журналѣ первыхъ опытовъ шестнадцатилѣтняго поэта, принималъ въ немъ самое живѣйшее, горячее участіе. Только Бѣлинскій отзывался очень несочувственно и неблагоприятно по поводу названной книжки, написавъ, между прочимъ, слѣдующее: „Прочестъ цѣлую книгу стиховъ, встрѣчать въ нихъ все знакомыя и истертыя чувствованія, общія мѣста, гладкіе стишки — много-много — если наткнуться иногда на стихъ, вышедшій изъ души, въ кучѣ римованныхъ строчекъ — воля ваша, это чтеніе, или, лучше сказать, работа для рецензентовъ, а не для публики, для которой довольно прочестъ о нихъ въ журналахъ извѣстіе въ родѣ: „выѣхалъ въ Ростовъ“. Посредственность въ стихахъ нестерпима. Вотъ мысли, на которыя навели насъ „Мечты и звуки“ г. Н. Н.“.

Тѣмъ не менѣе, послѣ такого, довольно строгаго отзыва, нашъ критикъ не только познакомился съ авторомъ разобранной имъ книжки, но даже очень коротко сблизился съ нимъ. Это сближеніе не прерывалось до самой кончины Бѣлинскаго. Это знакомство съ нашимъ первымъ критикомъ явилось въ то время какъ нельзя болѣе кстати и было большимъ счастьемъ для Некрасова, молодое, неокрѣпшее дарованіе котораго нуждалось тогда въ поддержкѣ и хорошемъ

вліяніи. А кто же могъ лучше и благотворнѣе вліять на начинающаго писателя, какъ не Бѣлинскій.

Въ 1841 году Некрасовъ продолжалъ дѣятельно сотрудничать въ „Павтеонѣ“, съ издателемъ котораго онъ даже сдѣлалъ контрактъ, — обязавшись за 1000 руб. ассигн. въ годъ поставлять въ журналъ Полякова значительное число стихотвореній, дѣлать переводы и писать рассказы, повѣсти, театральныя рецензіи и т. п. Много и неутомимо работалъ въ это время молодой поэтъ; помимо участія въ названномъ изданіи, онъ, какъ большой любитель театра, писалъ водевили и фарсы, — подъ тѣмъ же псевдонимомъ Перепельскаго, — изъ которыхъ многіе были весьма удачны, таковы, напримѣръ: „Шила въ мѣшкѣ не утаишь“, „Вотъ что значитъ влюбиться въ актрису“, „Феоклістъ Онуфричъ Бобъ“, „Актеръ“ и передѣланная съ французскаго мелодрама „Материнское благословеніе“, — послѣднія двѣ пьесы и до сихъ поръ еще держатся въ репертуарѣ, особенно на провинціальныхъ сценахъ. Съ этого же года Николай Алексѣевичъ сталъ участвовать и въ „Отеч. Записк.“ Краевского, гдѣ помѣщалъ рецензіи новыхъ книгъ, обратившія на себя вниманія Бѣлинскаго, и небольшія повѣсти: „Опытная женщина“ (1841 г., № 10), „Необыкновенный завтракъ“ (1843 г.) и друг. Но все, что Некрасовъ печаталъ въ теченіе 1841—1845 гг. не выходило изъ уровня посредственности, хотя и носило на себѣ печать нѣкотораго дарованія. Впрочемъ, сказать правду, многое писалъ онъ слишкомъ на скорую руку и чисто изъ-за денегъ, тѣмъ болѣе, что литература была единственнымъ средствомъ его къ существованію. Первые стихотворенія, въ которыхъ поэтъ становится на реальную почву и заявляетъ о своемъ несомнѣнномъ талантѣ, начали появляться съ 4-й книжки „Отеч. Зап.“ 1845 г., гдѣ продолжали печататься вплоть до 1847 года, т.-е. до изданія „Современника“. Всѣ эти стихотворенія: „Старушкѣ“, „Современная ода“, „Когда изъ мрака заблужденья“, „Огородникъ“, „Забятая деревня“ и друг. не имѣютъ уже ничего общаго съ первыми произведеніями Николая Алексѣевича ни по выбору сюжетовъ, ни по манерѣ, ни въ отношеніи технической обработки стиха. Съ этой поры имя

Некрасова становится все болѣе и болѣе извѣстнымъ и въ публикѣ, и въ литературномъ мірѣ, гдѣ Николай Алексѣевичъ пріобрѣтаетъ много знакомствъ и прочныхъ связей, посѣщая многочисленныя литературныя кружки того времени и зачастую дѣлаясь ихъ необходимымъ членомъ и душою нѣкоторыхъ изъ нихъ.

* * *

*) Въ то же время и матеріальное благосостояніе Некрасова сравнительно улучшается настолько, что онъ имѣетъ возможность, помимо удовлетворенія своихъ нуждъ и потребностей, откладывать копейку и на черный день; отъ природы обладая смѣтливымъ, практическимъ умомъ, онъ умѣлъ весьма удачно устраивать дѣла свои и рѣдко терялся, при неудачахъ и невзгодахъ, твердо вѣря въ свою счастливую звѣзду, въ свое „savoir vivre“. Эту практичность въ немъ подмѣтилъ и прозорливый Бѣлинскій и однажды пророчески выразился, что „Некрасовъ пойдетъ далеко...“ И дѣйствительно, уже и въ то время, Никол. Алекс. обнаруживалъ всѣ способности, всѣ задатки будущаго недюжиннаго журналиста. Между прочимъ, онъ занимался изданіемъ различныхъ альманаховъ и сборниковъ, бывшихъ, въ тѣ времена, въ большой модѣ, которые,—по словамъ покойнаго Панаева,—приносили Некрасову порядочную выгоду, такъ какъ всегда были, болѣе или менѣе, удачно составлены и быстро расходились въ публикѣ. Въ нихъ Никол. Алекс., главнымъ образомъ помѣщалъ свои собственныя произведенія, но у него были и другіе вкладчики, преимущественно изъ молодыхъ, талантливыхъ литераторовъ; съ 1843 по 1846 г. включительно, имъ изданы сборники: „Статейки въ стихахъ безъ картинокъ“ (Спб. 1843 г., 2 части), „Физиологія Петербурга“ (Спб. 1845 г., 2 части), „Первое апрѣля, комическій альманахъ“ (Спб. 1846 г.)—похваленный Бѣлинскимъ, и наконецъ „Петербургскій сборникъ“ (Спб. 1846 г.), въ которомъ помѣщены произведенія лучшихъ литераторовъ того времени, какъ старыхъ: Кн. В. Ѳ. Одоевскаго, гр. В. А.

*) „Живописное Обозрѣніе“ 1876 г. № 14. (Продолженіе той-же статьи).

Соллогуба, А. В. Никитенки, такъ и молодыхъ: Тургенева, Федора Достоевскаго, Панаева, Аполлона Майкова, А. Кронеберга и другихъ. Самому Некрасову во всѣхъ упомянутыхъ сборникахъ принадлежатъ слѣдующія произведенія: „Говорунъ“, „Новости“, „Стишки, стишки“, „Новый годъ“, „Чиновникъ“ („Физиол. Петерб.“, ч. 2-я), „Въ дорогѣ“ („Петербург. сборн.“) и рассказъ въ прозѣ „Петербургскіе углы“ („Физиол. Петерб.“, ч. 1-я)“. „Петербургскій сборникъ“, имѣвшій такой большой успѣхъ, являлся какъ бы провозвѣстникомъ „Современника“, который и началъ издаваться Панаевымъ и Некрасовымъ, въ слѣдующемъ 1847 году.

Некрасовъ много и неутомимо работалъ для своего журнала, особенно въ первые годы его существованія, помѣщая въ немъ, кромѣ стиховъ, свои повѣсти, романы, рецензіи, статьи для смѣси и разныя мелкія замѣтки, придававшія журналу интересъ и разнообразіе. Въ 1847 г. онъ напечаталъ только пять пьесъ: „Тройка“, „Если мучимый страстью мятежной“, „Нравственный челоѣкъ“, „Ѣду-ли ночью по улицѣ темной“ и большое стих. „Псовая охота“. Произведенія эти произвели сильное впечатлѣніе и увеличили массу поклонниковъ Некрасовскаго таланта; читателя невольно поражала замѣчательная сила и задушевность стиха, удивительная рельефность картинъ въ его поэзіи, посвященной самымъ обыденнымъ предметамъ. Но въ это время, по почину „Отечеств. Зап.“, почти всѣ журналы подняли гоненіе на стихи,—и это было причиною, что въ теченіе слѣдующихъ двухъ лѣтъ (1848—1849) Некрасовъ не печаталъ въ „Соврем.“ ни чужихъ, ни своихъ стиховъ, а ограничился, помимо редакціонныхъ работъ, помѣщеніемъ длиннаго, растянутого до-нельзя, романа въ восьми частяхъ, называвшагося „Три страны свѣта“ и написаннаго имъ въ сотрудничествѣ съ Н. Н. Станицкимъ (А. Я. Панаевой). Да и въ послѣдующіе 1850—1853 гг. Никол. Алекс. также помѣстилъ весьма немного стихотвореній, — всего семь пьесъ: „Буря“, „Ты всегда хороша несравненно“ („Совр.“ № 9, 1850 г.), „Мы съ тобою капризные люди“, „Пускай мечтатели осмѣяны давно“ (1851 г. №№ 2 и 12),

„Блаженъ незлобивый поэтъ“ (№ 4, 1852 г.), „Старики“ и „Ахъ были счастливые годы“ (изъ Гейне) (№№ 1 и 2, 1853 г.). За исключеніемъ превосходнаго стихотворенія „Блаженъ незлобивый поэтъ“, всѣ остальные пьесы не представляли ничего замѣчательнаго и мало напоминали Некрасовскую „музу мести и печали“, отличаясь эротическимъ содержаніемъ, такъ что самъ авторъ помѣстилъ многія изъ нихъ безъ подписи имени. Кромѣ стиховъ, онъ напечаталъ за это время въ „Совр.“ критическую статью: „Русскіе второстепенные поэты. Ѳ. И. Тютчевъ“, (февр., 1850 г.), еще одинъ длиннѣйшій романъ въ пятнадцати частяхъ съ эпилогомъ (также при сотрудничествѣ г-жи Панаевой) „Мертвое озеро“ (1851 гг. №№ 1—12) и „Новоизобрѣтенная привилегированная краска Дерлинга и Комп. Неправдоподобный рассказъ“ (апрѣль, 1850 г.).

Зато, послѣ продолжительнаго молчанія Некрасова,—съ 1854 года началъ появляться цѣлый рядъ лучшихъ его стихотвореній, прославившихъ имя поэта и упрочившихъ навсегда его громкую извѣстность. Съ невыразимымъ наслажденіемъ перечитывала публика такіа безукоризненно-прекрасныя вещи его, какъ: „Въ деревнѣ“, „Муза“, „Великихъ зрѣлищъ, міровыхъ судебъ“ (1854 г.), „Несжатая полоса“, „Памяти пріятеля“, „Маша“, „Извозчикъ“, „Русскому писателю“, „Власъ“, „Я сегодня такъ грустно настроенъ“, „Въ больницѣ“, „Свадьба“ (на мотивъ изъ Крабба), „Воспоминаніе“, „Я не люблю ироніи твоей“ (1855 г.), глубоко-поэтическая поэма „Саша“, „Внимая ужасамъ войны“, „Замолкни муза мести и печали“, „Княгиня“, „Филантропъ“, „Секретъ“, „Застѣнчивость“, „Прощай, завидую тебѣ“, „Я посѣтилъ твое кладбище“, „Самодовольныхъ болтуновъ“ (1856 г.) и проч. и проч. Кому не извѣстны всѣ эти чудныя, полныя обаянія пьесы,—и есть ли въ Россіи хотя одинъ мало-мальски образованный человѣкъ, который бы могъ отнестись холодно, безъ сочувствія, безъ невольнаго восторга къ такой глубокой, осмысленной поэзіи, къ задушевымъ строфамъ, которыя,—по выраженію самого поэта, „волнуютъ мягкія сердца, какъ внезапно хлынувшія слезы съ огорченнаго лица...“ Независимо отъ названныхъ пьесъ,

Никол. Алексѣев. печаталъ въ этотъ промежутокъ времени въ юмористическомъ отдѣлѣ „Современника“—„Ералашъ“ свои остроумныя, шуточныя стихотворенія, какъ, напр., „Признанія труженника“ (1854 г., Ноябрь), безъ подписи имени, и помѣстилъ разсказъ: „Тонкій человѣкъ, его заключенія и наблюденія“ (1855 г., январь); послѣ этого разсказа Некрасовъ уже болѣе ничего не печаталъ въ прозѣ, и всецѣло отдался поэзіи.

Въ 1856 году, впервые, вышла книжка его стихотвореній.—Публика съ интересомъ слѣдила за литературой, которая хотѣла идти съ ней рука объ руку. Въ тѣ дни литературныя дразги не вліяли на оцѣнку произведеній того или другого писателя, а потому критика наша, выражая общее настроеніе, отзывалась о названной книжкѣ съ рѣдкимъ единодушіемъ и горячо привѣтствовала пышно разцвѣтшій, симпатичный талантъ поэта, восхищаясь его чарующимъ, мастерскимъ стихомъ, звучащимъ неподдѣльнымъ чувствомъ, энергіей и силой. Книжка стихотвореній Некрасова разошлась неимоверно быстро и спустя годъ по выходѣ ея, продавалась вмѣсто объявленной цѣны (1 р. 50 к.) отъ 5 р. до 15 рублей.

Некрасовъ работалъ исключительно для своего журнала, но въ 1856 г., по просьбѣ А. В. Дружинина,—редактировавшаго тогда „Библ. для Чтен.“, — съ которымъ онъ былъ весьма друженъ, онъ помѣстилъ въ октябрьской книжкѣ упомянутаго изданія три стихотворенія: „Прекрасная партія“, „Прости“ и „Школьникъ“, — занявшій потомъ мѣсто во всѣхъ хрестоматіяхъ. Въ томъ же году книгопродавцемъ А. И. Давыдовымъ началъ издаваться періодическій сборникъ „Для легкаго чтенія“ (прекратившійся въ 1858 г. на 9 томѣ),—и Некрасовъ взялъ на себя его составленіе.

Въ 1857—1859 гг. Никол. Алексѣев. написалъ, сравнительно, мало и притомъ вещи не особенно капитальныя, за исключеніемъ пьесы: „О погодѣ“ (Вступленіе къ Сатирамъ) и всѣмъ и каждому извѣстной „Пѣсни Еремушки“. Къ этому времени относится его знакомство съ другимъ талантливымъ критикомъ нашимъ—Н. А. Добролюбовымъ, съ

которымъ Некрасовъ находился всегда въ самыхъ близкихъ, дружественныхъ отношеніяхъ.

Въ 1861 году вышло второе изданіе стихотвореній Некрасова; нечего и говорить, что оно было принято публикой такъ же благосклонно и съ тѣмъ же полнымъ сочувствіемъ, какъ и первое; но отзывы критики на этотъ разъ не представляли прежняго единодушія, — она раздѣлилась на два противоположныхъ лагеря, — на горячихъ хвалителей и на порицателей музы Некрасова.

Николай Алексѣевичъ нѣсколько разъ совершалъ поѣздки за границу, былъ во Франціи, Швейцаріи и Италіи; здѣсь написалъ онъ многія изъ своихъ лучшихъ пьесъ.

Съ возобновленіемъ „Отеч. Зап.“ въ 1868 г. публика снова встрѣтила его имя на страницахъ этого изданія, куда онъ перенесъ свою литературную дѣятельность, выразившуюся цѣлымъ рядомъ поэмъ, очерковъ, сатиръ и мелкихъ стихотвореній. Есть между этими стихотвореніями вещи довольно слабыя, въ отношеніи технической отдѣлки, но въ общемъ всѣ они отличаются глубиной, серьезностью мысли, задумчивостью и яркостью красокъ, словомъ всѣмъ тѣмъ, что составляетъ неизмѣнную принадлежность Некрасовской поэзіи. Особенно поражаетъ своей грандіозностью, теплотой и изяществомъ стиха его поэма: „Русскія женщины“, которая служитъ яснымъ доказательствомъ того, что талантъ нашего симпатичнаго поэта не только не изсякъ, не измельчалъ, но достигъ своего полнаго развитія и много еще обѣщаетъ въ будущемъ, тѣмъ болѣе что въ настоящее время Некрасову всего лишь 53 года. Въ самое послѣднее время Никол. Алекс. участвовалъ трудами своими въ обоихъ литературныхъ сборникахъ: „Складчина“ (1874 г.) и „Братская помощь“ (1876 г.), изданныхъ съ благотворительной цѣлью, помѣстивъ три „элегіи“: 1) „Ахъ! что изгнанье, заточенье?“ 2) „Бьется сердца безпокойное“, 3) „Разбиты всѣ привязанности...“ — въ первомъ сборникѣ и „Страшный годъ“ — отрывокъ изъ поэмы, — во второмъ. Эти стихотворенія, лирическаго характера, показываютъ намъ, что даровитый поэтъ можетъ безукоризненно писать и въ подобномъ направленіи — и, слѣдовательно, можетъ соперничать съ

лучшими нашими лириками. Стихотворенія Н. А. Некрасова были изданы, какъ мы уже сказали, шесть разъ *).

П. В. Быковъ.

1877 г.

Разбирая романъ А. Потѣхина: „Между Денегъ“, г. Скабичевскій между прочимъ говоритъ:

**) Прежде, чѣмъ я приступлю къ главному предмету моего письма, я намѣренъ представить двѣ параллели: одну въ видѣ контраста, относительно произведенія г. Потѣхина, другую же, наоборотъ, въ видѣ подобія ему. Это именно— двѣ поэмы г. Некрасова „Русскія женщины“ и повѣсти г. Григоровича изъ народнаго быта. Выборъ этихъ произведеній сдѣланъ мной не случайно, несмотря на то, что они относятся, повидимому, къ разнымъ эпохамъ и не имѣютъ ничего общаго между собою, по своему содержанию. Поэмы г. Некрасова я избираю на томъ основаніи, что я никакъ не могу припомнить ни одного художественнаго произведенія, вышедшаго въ послѣднія десять лѣтъ въ нашей печати, которое произвело бы на публику такое сильное и цѣльное впечатлѣніе и которое вмѣстѣ съ тѣмъ было бы такъ систематически односторонне, какъ именно эти самыя поэмы г. Некрасова. Что же касается до г. Григоровича, я не знаю писателя болѣе подобнаго г. А. Потѣхину, какъ именно этотъ беллетристъ 40-хъ годовъ.

Начинаю съ поэмъ г. Некрасова. Я уже сказалъ выше, что я не могу припомнить никакого другого произведенія изъ появившихся въ послѣднія десять лѣтъ, которое равнялось бы этимъ поэмамъ по силѣ и цѣльности производимаго ими впечатлѣнія. Изъ самыхъ произведеній г. Некрасова, написанныхъ до и послѣ этихъ поэмъ, вы не найдете

*) Еще въ 1876 г. см. о Некрасовѣ „Кругозоръ“ №№ 1 и 8 („Огородникъ“ и „Морозъ—красный носъ“. Рисунки съ пояснительными къ нимъ замѣтками).

Примѣч. В. Зелинскаго.

**) „Отечественныя Записки“ 1877 г., № 3. „Бесѣды с русской словесности“. Статья А. Скабичевского.

подобныхъ имъ по классически-строгой, если можно такъ выразиться, художественности. Это превосходство поэмъ г. Некрасова произошло, по моему мнѣнію, не изъ чего иного, какъ изъ того, что предметъ ихъ оказался столь близкимъ и дорогимъ душѣ художника, что всецѣло завладѣлъ имъ, возбудилъ его творчество до высшаго напряженія и заставилъ его забыть все остальное побочное, все, чѣмъ осложнялся въ свое время этотъ предметъ. Когда вы прочтете эти поэмы, несомнѣнно онѣ произведутъ на васъ впечатлѣніе реальной правдивости, въ васъ не закрадется и тѣни сомнѣнія, что авторъ измѣнилъ дѣйствительность, одни ея стороны совсѣмъ опустилъ, другія же выдвинулъ впередъ и представилъ въ нѣсколько преувеличенномъ видѣ. А между тѣмъ, при всей реальной правдивости поэмъ, авторъ все это продѣлалъ: не то, чтобы самъ онъ все это искусственно, преднамѣренно продѣлалъ, но какъ-то это само все совершилось силою его творческаго паюса. Цѣль поэмъ г. Некрасова заключается въ томъ, чтобы выставить въ наиболѣе яркомъ цвѣтѣ героизмъ тѣхъ нашихъ доблестныхъ соотечественницъ 20-хъ годовъ, которыя, покидая весь комфортъ роскошной жизни, всѣ прелести и приманки большаго свѣта, отправлялись за своими мужьями раздѣлять ихъ суровую каторжную, казематную жизнь въ далекихъ и глубокихъ снѣгахъ Сибири. И поэмы съ такою исключительностью направлены къ этой цѣли, что не найдете вы въ нихъ ни одной черты, ни одного стиха, которые были бы лишни, побочны, были бы сами по себѣ и отвлекали бы отъ главной цѣли поэмъ куда-нибудь совсѣмъ въ сторону. Каждая сцена, каждая деталь въ нихъ словно нарочно подобраны въ такомъ родѣ и духѣ, чтобы наиболѣе достигнуть цѣли выставленія героинь поэмъ въ наиболѣе обольстительномъ цвѣтѣ и величавомъ видѣ. Таковы контрасты золотыхъ сновъ и воспоминаній о прежней роскошной и веселой жизни, о молодости, балахъ, путешествіяхъ съ милымъ по южнымъ странамъ — съ печальною дѣйствительностью безконечнаго пути по унылымъ сибирскимъ сугробамъ, картина сибирской вьюги, и ночлега въ хатѣ лѣсника изнѣженной львицы, въ углу на мерзлой и жесткой цы-

новѣ, разсказъ о всей трудности семейной борьбы, выдержанной несчастной женщиной, сцена прощанья съ сыномъ, проводовъ, сцена уговариванья со стороны губернатора и самоотверженной готовности продолжать путь пѣшкомъ, съ колодниками по этапу, и проч., и проч. Переберите вы всѣ эти сцены подъ рядъ, и вы убѣдитесь, что единственная и главная сторона, которая выступаетъ въ нихъ на первомъ планѣ, это—доблесть и сила самоотверженія выводимыхъ передъ вами героинь. Но развѣ одною этою стороною вполне исчерпываются онѣ? Вы подумайте только: сколько другихъ сторонъ долженъ былъ бы г. Некрасовъ освѣтить и очертить передъ нами, если бы онъ вздумалъ гнаться за всестороннюю вѣрностью дѣйствительности. Обратите вниманіе хотя бы на то, что героини его мыслятъ, говорятъ и дѣйствуютъ совершенно подобно тому, какъ бы стали мыслить, говорить и дѣйствовать лучшія и образованнѣйшія женщины того же круга въ наше время. А между тѣмъ, въ поэмахъ представляется прошлое, отстоящее отъ нашего времени на цѣлое столѣтіе. Въ это время общій колоритъ нравовъ, складъ и умственныхъ и нравственныхъ качествъ людей, захваченныхъ струей цивилизаціи, успѣли значительно видоизмѣниться. Такъ, на примѣръ, намъ извѣстно, что 50 лѣтъ тому назадъ, въ высшихъ слояхъ общества, которые въ то время представлялись и образованнѣйшими слоями, были въ большой модѣ приторный сентиментализмъ и напускная экзальтація. Правда, что мужчины начинали въ значительной степени уже освобождаться отъ этихъ свойствъ вѣка и проникаться байроновскимъ романтизмомъ, но великосвѣтскія женщины, которыя въ то время, по своему умственному развитію, стояли далеко позади своихъ великосвѣтскихъ мужей, все еще были преисполнены и сентиментальности, и экзальтаціи. Качества эти, въ то время, не только не считались чѣмъ-либо позорнымъ и смѣшнымъ, но напротивъ того, выставлялись напоказъ и преувеличивались, потому что ими гордились, какъ признаками высшаго развитія и избранной натуры. Но тѣмъ не менѣе, въ нашихъ глазахъ они неизбежно придаютъ смѣшной колоритъ женщинамъ начала

нынѣшняго столѣтія не только въ мелочахъ ихъ обыденной жизни, въ родѣ проливанія горькихъ слезъ надъ раздавленной божьей коровкой, но и въ болѣе крупныхъ, роковыхъ и высокихъ эпизодахъ жизни ихъ, гдѣ вышеупомянутые признаки вѣка проявлялись, конечно, еще въ болѣе рѣзкихъ чертахъ. Такъ нѣтъ сомнѣнія, что и стремленіе къ мужьямъ въ ссылку въ Сибирь, изъ какихъ бы высокихъ и святыхъ побужденій оно ни происходило и какимъ бы ореоломъ героизма ни было окружено, тѣмъ не менѣе и оно, по всей вѣроятности, сопровождалось не малою дозою взрывовъ сентиментальности и экзальтаціи. Или вотъ вамъ и другая еще черта вѣка: извѣстно, что великосвѣтскіе люди начала нынѣшняго столѣтія отличались безумнымъ мотовствомъ, доходившимъ иногда до послѣднихъ предѣловъ вѣронтія. Женщины же того времени превосходили, конечно, въ этомъ отношеніи мужчинъ, потому что мужчины мотали только изъ одной барской прихоти и самодурства. женщины же, сверхъ того, слѣпо бросали деньги, потому что были по своему воспитанію безусловно лишены какого бы то ни было знанія практической жизни, существовавшихъ въ то время отношеній, цѣнъ на разные продукты, чѣмъ, конечно, пользовались со всѣхъ сторонъ и надували барынь самымъ чудовищнымъ образомъ, беря съ нихъ сотни и тысячи рублей тамъ, гдѣ слѣдовало бы платить конейками. Отъ такого недостатка, конечно, не были изъяты и героини наши, и надо полагать, что долгое и трудное путешествіе ихъ въ Сибирь не обошлось безъ цѣлаго ряда сценъ и комическихъ, и жалкихъ въ этомъ родѣ. По крайней мѣрѣ, вотъ что мы читаемъ по поводу женъ декабристовъ въ запискахъ г. Черепанова (см. „Древняя и Новая Россія“, № 7, 1876 года): „Дамы, какъ называютъ здѣсь женъ декабристовъ, рассыпали по здѣшней мѣстности кучи денегъ, съ такою щедростію, что я самъ однажды получилъ отъ княгини Трубецкой пять рублей за очинку ей пера (тогда не было еще стальныхъ перьевъ). Это обстоятельство выдвинуло смѣтливыхъ людей изъ ничего на степень богатей. Такъ разжился мясникъ Ефремовъ, ссыльно-каторжники“ и т. д. Хотя, конечно, сибирскій казакъ Черепановъ

новъ—не ахти какой авторитетъ относительно достовѣрности сообщаемыхъ имъ свѣдѣній, и въ той же „Древней и Новой Россіи“, номера за 2 за 3, былъ уличенъ въ сообщеніи невѣрныхъ свѣдѣній, именно относительно декабристовъ. Но если допустить даже, что онъ все это выдумалъ, что онъ совсѣмъ съ декабристами не былъ знакомъ и не видалъ даже ни ихъ самихъ, ни ихъ женъ и никакихъ пяти рублей за очинку пера отъ княгини Трубецкой не получалъ,—во всякомъ случаѣ, если даже все это выдуманно г. Черепановымъ, то выдуманно довольно правдоподобно, не въ частностяхъ, такъ въ общемъ. По крайней мѣрѣ, я вполне готовъ вѣрить, что различнымъ сибирскимъ плутамъ, въ родѣ хотя бы мясника Ефремова, выставляемаго г. Черепановымъ, пріѣздъ женъ декабристовъ былъ очень съ руки.

Представьте же вы теперь, что г. Некрасовъ, изъ желанія воспроизвести личности изображенныхъ женщинъ, какъ можно всестороннѣе и ближе къ дѣйствительности, не упустилъ бы придать имъ значительный оттѣнокъ сентиментальной экзальтаціи и вмѣстѣ съ тѣмъ ребяческой непрактичности, заставлявшей ихъ сорить деньгами безъ всякаго расчета и мѣры, да ужъ кстати, прибавилъ бы нѣсколько дозъ великосвѣтской щепетильной гордости, отъ которой онѣ, по старой привычкѣ, никакъ не могли сразу отрѣшиться въ своемъ новомъ положеніи, и которая, принося имъ миллионъ мелкихъ терзаній и уколовъ, омрачала и безъ того нерадостную жизнь ихъ. Относительно полноты и всесторонней вѣрности дѣйствительности, произведение, конечно, выиграло бы, но выиграло бы оно въ достиженіи существенной своей цѣли: увлеченія читателя картиною нравственной доблести героинь поэмы? Въ томъ то и дѣло, что въ этомъ именно, въ самомъ-то главномъ, оно и проиграло бы. Теперь читатель выноситъ изъ него одно цѣльное, ничѣмъ ненарушаемое впечатлѣніе, въ видѣ чувства восторга и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокой жалости къ судьбѣ героинь, а тогда эта цѣльность нарушилась бы: читатель вынесъ бы неопредѣленное чувство изъ нѣсколькихъ смѣшанныхъ впечатлѣній, изъ которыхъ одно парализовало бы

другое: хотя съ одной стороны героини и заслуживали бы поклоненія за свой подвигъ, но съ другой—были бы нѣсколько и смѣшны своею сентиментальностью, а съ третьей, возбудили бы и отвращеніе антипатичными чертами своей великосвѣтскости—въ родѣ надутой, щепетильной гордости, непрактичности, мотовства и проч. Такимъ образомъ, и здѣсь, въ поэмахъ г. Некрасова, мы видимъ тотъ же законъ обратно пропорціональнаго отношенія, всесторонней вѣрности дѣйствительности къ силѣ впечатлѣнія, возбуждаемаго произведеніемъ. Не трудно при этомъ доказать, что если бы, въ другомъ случаѣ, тотъ же г. Некрасовъ вздумалъ бы представить намъ весь комизмъ сентиментальной экзальтаціи, всю нелѣпость безумнаго мотовства нашихъ отцовъ и дѣдовъ или всю несообразность и дикость того ребяческаго познанія жизни, которымъ наши бабушки гордились, то опять-таки и въ такомъ случаѣ большаго успѣха онъ достигъ бы въ своемъ произведеніи только тогда, когда все вниманіе читателей исключительно обратилъ бы на эти выставляемые недостатки. Конечно, при этомъ было бы совершенно излишне заставлять героевъ или героинь сверхъ всего совершать какіе бы то ни было подвиги самоотверженія, и было бы величайшею художественною ошибкою и чистѣйшимъ абсурдомъ въ видѣ сентиментально-экзальтированныхъ, безумно-расточительныхъ и дѣтски непрактичныхъ барынь изобразить вдругъ доблестныхъ женъ декабристовъ.

Но можно предположить, что г. Некрасовъ въ поэмахъ своихъ представилъ дѣйствительность не только крайне односторонне, но и преувеличенно. Я убѣжденъ, по крайней мѣрѣ, что всѣ эти яркія, патетическія, потрясающія вась сцены, каковы, напримѣръ, сцены свиданія съ мужемъ въ темницѣ, губернаторскаго уговариванья, появленія въ рудникахъ—въ дѣйствительности далеко не были столь ярки и потрясающи, и носили тотъ колоритъ сѣренькой заурядности, какой носить наша русская жизнь во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, начиная отъ самыхъ низкихъ и комическихъ и до преисполненныхъ высокаго трагизма. Такъ, напримѣръ, возьмите вы хотя бы сцену свиданія въ темницѣ.

Женщина, ищущая такого свиданія, является у насъ обыкновенно не иначе, какъ въ видѣ хлопотливой просительницы въ приемныхъ людей, власть имущихъ, а затѣмъ слѣдуютъ и самыя свиданія, мало чѣмъ отличающіяся отъ заурядныхъ будничныхъ посѣщеній страждущихъ родныхъ въ больницахъ, при чемъ, я не спорю, бываютъ и слезы, и патетическія сцены, но преобладаютъ, конечно, самыя будничныя хлопоты о снабженіи заключеннаго деньгами и разными необходимыми продуктами. И опять-таки я спрашиваю у васъ: неужели поэмы г. Некрасова выиграли бы, если бы онъ вздумалъ педантически соблюдать буквальную вѣрность дѣйствительности и наполнилъ бы сцену свиданія разговорами княгини съ мужемъ о томъ, хорошо ли его кормятъ и не нуждается ли онъ въ сигарахъ или чистомъ бѣльѣ, и т. п.?

Вы сдѣлаете мнѣ, быть можетъ, такое возраженіе, что, положимъ, г. Некрасовъ имѣлъ свою специально одностороннюю цѣль изобразить своихъ героинь только въ моменты совершенія ими ихъ высокаго подвига; но развѣ иной художникъ не могъ бы задаться попыткой объективнаго всесторонняго воспроизведенія данной дѣйствительности ни съ какою иною цѣлю, какъ лишь съ тою, чтобы воспроизвести передъ нами ту или другую эпоху во всѣхъ ея хорошихъ и дурныхъ чертахъ, воскресить ее передъ нами во всѣхъ ея краскахъ? Неужели же я отрицаю историческій романъ, да и вообще всякій романъ, какъ эпопею современной или прошлой жизни? Нѣтъ, я все это допускаю, но я отрицаю только объективно-безстрастное отношеніе художника къ изображаемой имъ дѣйствительности, то объективное безстрастное отношеніе, при условіи котораго только и возможно вполнѣ вѣрное и всестороннее изображеніе дѣйствительности. Такого рода отношеніе художника къ изображаемымъ явленіямъ совершенно, по моему мнѣнію, выходитъ изъ области искусства въ его истинномъ смыслѣ. Это вовсе не художественное творчество, а техника, ремесло. Изображенія подобнаго рода могутъ блистать своего рода совершенствами, но совершенства эти будутъ именно

своего рода, не имѣющія ничего общаго съ совершенствами истинно-художественныхъ произведеній...“

А. Скабичевскій.

* * *

Послѣднія пѣсни. Стихотворенія Н. Некрасова. Спб. 1877 г., стр. 169, ц. 2 р.

*) Въ дополненіе къ шести частямъ полнаго собранія стихотвореній Н. А. Некрасова, которое доведено было до 1874 года, появился особый сборникъ за послѣдніе три года (1874—1877 г.). Въ его первый отдѣлъ вошли лирическія стихотворенія; второй—занятъ сатирою „Современники“, третій—отрывками изъ поэмы: „Мать“ и пѣснью „Баюшки-баю“. Многія изъ этихъ послѣднихъ стихотвореній напоминаютъ своею неподдѣльною красотою и высокимъ лиризмомъ лучшія изъ стихотвореній поэта, несмотря на то, что они писаны, или, вѣрнѣе сказать, продиктованы имъ въ минуты тяжкаго недуга. Отрывки изъ поэмы „Мать“ могутъ служить поэтическою автобіографіею—въ нихъ заключены воспоминанія изъ собственной молодости поэта.

Изъ „Вѣстника Европы“.

* * *

**) Ходившіе давно уже въ городѣ слухи объ опасной болѣзни г. Некрасова получаютъ въ январской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ печальное подтвержденіе: поэтъ напечаталъ свои „Послѣднія пѣсни“ и прощается съ друзьями. Эти пѣсни похожи на тонъ, вымученный страданіями изъ груди больного...

Итакъ, еще одна литературная жизнь подводитъ итоги... Желательно надѣяться, что для недуга, съ которымъ борется поэтъ, еще возможенъ болѣе благопріятный исходъ; но эти скорбныя „послѣднія“ пѣсни невольно заставляютъ оглянуться на поэтическое поприще, не безъ славы прой-

*) „Вѣстникъ Европы“ 1877 г., № 5.

**) „Русскій Міръ“ 1877 г., № 35. (Литературное Обозрѣніе. „Послѣднія пѣсни“ Н. А. Некрасова. Статья W).

денное г. Некрасовымъ, и съ особенною опредѣленностью вызываютъ въ мысли и въ памяти сильныя и слабыя стороны его дарованія. Мы не принадлежали къ тѣмъ жаркимъ и безусловнымъ поклонникамъ поэта, какихъ у него, мы надѣмся, очень много; но невозможно отрицать, что г. Некрасовъ займетъ въ нашей литературѣ весьма замѣтное мѣсто, и отголоски его поэзіи долго еще будутъ звучать и напоминать о немъ. Но г. Некрасовъ принадлежитъ къ тѣмъ поэтамъ, вся сила которыхъ заключается во вдохновеніи; онъ не обладаетъ ни богатой фантазіей, ни виртуозностью стиха, не обладаетъ даже чувствомъ формы, т.-е. ни однимъ изъ тѣхъ качествъ, благодаря которымъ другіе поэты могутъ даже безъ сильнаго подъема вдохновенія дѣлать очень хорошія стихотворенія. Оттого, изъ всего написаннаго г. Некрасовымъ, дѣйствительно хорошо только то, что вылилось въ минуты непосредственнаго вдохновенія. Когда онъ начинаетъ „дѣлать“ стихи, изъ этого ровно ничего не выходитъ. Къ сожалѣнію, въ послѣдніе годы г. Некрасовъ напечаталъ довольно много, а вдохновеніе посѣщало его очень рѣдко; оттого изъ-подъ пера его выходили такіа холодныя, дѣланная и непоэтическія вещи, какъ поэмы „Русскія женщины“ или „Кому на Руси жить хорошо“. Эта стихотворная проза, снабженная журнальными мотивами и тенденціями, взамѣнъ недостающаго ей вдохновенія, значительно содѣйствовала тому, что люди глубоко и искренно понимающіе поэзію въ послѣднее время очень охладѣли къ г. Некрасову. Въ охлажденіи ихъ много участвовало и то, что г. Некрасовъ, не будучи вовсе народнымъ поэтомъ, т.-е. не сочувствуя вовсе народному міросозерцанію и не нося въ себѣ ни одного изъ народныхъ идеаловъ, повидимому, во что бы то ни стало хотѣлъ быть народнымъ поэтомъ и не замѣчалъ фальшивой ноты, пронзительно звучавшей въ его стихѣ.

Къ большому нашему удовольствію, въ „Послѣднихъ пѣсняхъ“ мы нашли кое-что, напомнившее намъ г. Некрасова. Вспышки вдохновенія посѣтили его на одрѣ болѣзни и исторгли звуки, полные искренняго жара и угрюмой силы. Нельзя, напримѣръ, не остановиться на прекрасномъ,

хотя не новомъ по мысли, стихотвореніи „Святелямъ“, которое приводимъ здѣсь цѣликомъ:

„Святель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
Худы ль твои сѣмена?
Робокъ ли сердцемъ ты? Слабъ ли ты силами?
Трудъ награждается всходами хилыми,
Добраго мало зерна!
Гдѣ жъ вы, умѣлые, съ добрыми лицами,
Гдѣ же вы, съ полными жита кошницами?
Трудъ засѣвающихъ робко, крупичами —
Двиньте впередъ!
Сѣйте! разумное, доброе, вѣчное,
Сѣйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное
Русскій народъ!...“

Странная вещь: этотъ „русскій народъ“, какъ извѣстно, постоянно фигурируетъ во всѣхъ стихотвореніяхъ г. Некрасова, между тѣмъ самъ поэтъ, оглядываясь на одрѣ болѣзни на свое поэтическое поприще, приходитъ къ сознанію, которое, конечно не безъ скорби и боли, срывается съ устъ его:

„Я настолько же чуждымъ народу
Умираю, какъ жить начиналъ...“

И дѣйствительно, народъ не знаетъ поэта, посвятившаго ему такъ много пѣсней и такъ много сочувствія, и вѣроятно никогда его не узнаетъ — и на это онъ имѣетъ причину. Мы отчасти уже указали ее: она заключается въ томъ, что народность поэзіи г. Некрасова мнимая, что, скорбя о народѣ и даже неподдѣльно любя народъ, поэтъ не живетъ народными идеалами, и народная жизнь открывается ему только одною матеріальною стороною своей. При этомъ условіи духовное сближеніе, разумѣется, невозможно. Вотъ почему мы думаемъ также, что втунѣ обращается поэтъ къ своимъ „друзьямъ“ съ напутственнымъ пожеланіемъ:

„Вамъ же — не праздно, друзья благородные,
Жить, и въ такую могилу сойти,
Чтобы широкіе лапти народные
Къ ней проторили пути.“

Очень это трудно, и для друзей г. Некрасова едва ли достижимо! Пожелаемъ лучше, чтобы самъ поэтъ вышелъ побѣдителемъ изъ борьбы съ недугомъ, наславшимъ на него это угрюмое вдохновеніе, и чтобы его „Послѣднія пѣсни“ не были въ самомъ дѣлѣ послѣдними.

Изъ „Русскаго Мира“. Статья W.

* * *

*) На дняхъ вышелъ новый томъ стихотвореній Н. А. Некрасова, подъ заглавіемъ „Послѣднія пѣсни“. Книга раздѣляется на три отдѣла. Первый отдѣлъ заключаетъ въ себѣ лирическія стихотворенія 1876—1877 годовъ; во второмъ помѣщены двѣ части извѣстной траги-комедіи „Современники“; третій содержитъ отрывки изъ поэмы „Мать“ и пьесу „Баюшки-баю“ — вещи еще неизвѣстныя публикѣ и являющіяся въ первый разъ. Весь сборникъ производитъ глубокое впечатлѣніе: эти „послѣднія пѣсни“, безъ сомнѣнія, самые выстраданные и самые скорбные вопли души нашего поэта. Ихъ искренній лиризмъ, полный безнадежнаго страданія, полный тяжелыхъ предчувствій звучитъ надрывающей сердце тоскою и въ то же время великимъ нравственнымъ мужествомъ, которое, пересиливая терзанія жестокаго недуга, даетъ поэту силу и утѣшеніе во вдохновеніяхъ его музы. Мощная и стойкая въ борьбѣ натура отзывается въ этихъ гимнахъ страданія, несмотря на ихъ болѣзненный тонъ, ихъ скорбные мотивы. Въ поэтическомъ отношеніи хороши почти всѣ безъ исключенія чисто лирическія пьесы настоящаго тома; но если нужно называть перлы между ними, мы указали бы на отрывки изъ поэмы „Мать“ и на стихотвореніе „Баюшки-баю“. Помянутые отрывки, кромѣ ихъ высокаго поэтическаго достоинства, имѣютъ еще и автобіографическій интересъ: глубокопрочувствованными, вылившимися изъ любящаго, благодарнаго сердца стихами, поэтъ воспѣваетъ свою мать, которой онъ былъ обязанъ первоначальнымъ развитіемъ, которая заронила въ немъ первую любовь къ прекрасному и поэзии,

*) „Новое Время“ 1877 г., № 394. (Изъ литературы и жизни. „Послѣднія пѣсни“ Н. А. Некрасова).

которая „спасла въ немъ живую душу“ въ тяжелые годы жестокой жизненной борьбы. Такіе стихи, какъ, напримѣръ, нижеслѣдующіе, дѣйствительно, „рыдающіе звуки“, по выраженію самого поэта:

И если я легко стряхнулъ съ годами
Съ души моей глетворные слѣды,
Поправшей все разумное ногами,
Гордившейся невѣжествомъ среды,
И если я наполнилъ жизнь борьбою
За идеалъ добра и красоты,
И носить пѣснь, слагаемая мною,
Живой любви глубокія черты —
О мать моя, подвигнуть я тобою!
Во мнѣ спасла живую душу ты!

Пьеса „Баюшки-баю“, представляющая какъ-бы поэтическое эпилогъ къ „последнимъ пѣснямъ“, такъ хороша, что мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести ее въполнѣ для нашихъ читателей... (Далѣе слѣдуетъ самая пьеса).

Изъ „Новаго Времени“.

* * *

*) Странній чаша передо мной стояла,
Налитая цѣлебнымъ питіемъ.

Жуковский (с Камовъ).

Изданная недавно книжка стихотвореній любимаго нашего поэта, мы не теряемъ надежды, не останется на самомъ дѣлѣ сборникомъ его *последнихъ пѣсень*. Поэтъ не напрасно зывалъ къ своей музѣ:

Могучей силой вдохновенья
Страданья тѣла побѣди,
Любви, негодованья, мщенья
Зажги огонь въ моей груди!

Муза дѣйствительно откликнулась на его зовъ, раздавшійся съ одра болѣзни, и зажгла въ немъ такой огонь, который совсѣмъ не походить на огонь догорающій. Это

*) „Свѣтъ“ 1877 г., № 5. „Последнія пѣсни Некрасова“. Статья Ор. Миллера.

настоящій огонь его лучшей поры, огонь не только негодованія и мученья, но и *любви*. Но потому-то поэтъ и неправъ, говоря, будто бы онъ и былъ и остался „чуждымъ народу“. Съ народомъ его окончательно сблизила эта полнота любви въ средѣ самыхъ страданій. Его теплыя пѣсни на одрѣ болѣзни невольно напоминаютъ любвеобильныя думы больной крестьянки въ „Живыхъ Мощахъ“ Тургенева.

Многое въ книгѣ относится еще къ порѣ, предшествовавшей болѣзни,—напримѣръ, отдѣлъ сатирической, заключающій въ себѣ „юбиларовъ и триумфаторовъ“ и „героевъ времени“, невольно наводящихъ и читателя, вслѣдъ за поэтомъ, на выводъ:

Бывали хуже времена,
Но не было подлѣй.

Тутъ звучитъ та струна негодующей музыки Некрасова, которая сближаетъ его съ Щедринымъ, и если сатирикъ нашъ сводитъ современные идеалы къ куску, къ усовершенствованной способности *ждать*, то поэтъ нашъ иронически взываетъ къ художнику:

Будешь въ славѣ равенъ Фидію,
Автокольскій! изваяя
Гарантию и Субсидію,
Идеаламъ форму дай!

Поэтъ рисуетъ намъ съ разныхъ сторонъ оргію культа этихъ самоновѣйшихъ боговъ, оказывающихся въ сущности очень старыми. Оргію эту на время нарушили было событія прошлаго лѣта. Но, поспѣшивъ схоронить ихъ, мы стали опять такъ любовно возвращаться къ нарушенному священнодѣйствию передъ дорогими намъ идолами, — какъ вдругъ возстаютъ изъ гроба тѣ же событія, раздается опять запросъ не на однѣ юбилейныя жертвы, не на одни кармано-набивательные проекты или подарки madame Жюдикъ. Не готовыми къ историческому призыву оказываются недаромъ „раздосадованные имъ герои“ и „триумфаторы“ времени, а готовыми тѣ, что поютъ:

Хлѣбушка нѣтъ,
Валится домъ...

Послѣдніе оказываются готовыми потому, что въ пѣснѣ ихъ слышится не одна „истома“ съ „терпѣніемъ“, но также и то, что заставило поэта воскликнуть:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всепльная,
Матушка Русь!

Напрасно у „героевъ“ и „тріумфаторовъ“ является вдругъ такая сердобольная жалость къ раскошеливающемуся народу. Тотъ трудовой грошъ, которымъ онъ всегда такъ охотно дѣлится съ „несчастливыми“ всякаго рода,—его собственный. кровный грошъ, а никто не въ правѣ не только быть щедрымъ, но и быть скупымъ на чужое добро! Потрясающее дѣйствіе производитъ у нашего поэта бурлацкая пѣсня о народномъ бездолѣ, исполняемая послѣ тоста за „братьевъ-мужиковъ“, и исполняемая съ какимъ-то особеннымъ упоеніемъ „разбойничьимъ“ хоромъ ихъ разорителей—жрецовъ гарантіи и субсидіи. Не менѣе потрясаетъ у него и „покаянный паеосъ“ одного изъ этихъ жрецовъ, дающій поэту поводъ замѣтить, что это явленіе

Не ново съ русскими великими умами:
Съ Ивана Грознаго царя
До переписки Гоголя съ друзьями,
Самобичующій протестъ —
Россійскихъ гражданъ достойнѣ!

Да, насъ вообще подобно Зацѣпину,

...Какъ ржа желѣзо ѣстъ
Душевной немощи сознанье...

Оно съ какимъ-то особеннымъ сладострастіемъ было пущено у насъ въ ходъ еще такъ недавно, да и будетъ служить и теперь откровенною отговоркою отъ какого-либо подвига. Эта грязная исповѣдь вслухъ — совсѣмъ не задатокъ нравственнаго возрожденія, а признакъ малодушнаго отлыниванья отъ тѣхъ высшихъ задачъ, съ которыми, по выраженію Шиллера, невольно растетъ усмотрѣвшій ихъ человѣкъ.

Фальшь — въ сочувствіи народному горю, фальшь — въ самобичеваніи раскрываетъ намъ, вмѣстѣ со многими другими, сатира нашего поэта, эта безпощадная сатира на вѣкъ, которымъ, по его словамъ, „банкиръ посаженъ на тронъ земли“. Настоящее сочувствіе съ народомъ въ его горѣ и въ томъ, что даетъ ему утѣшеніе и силу, настоящее, вполне искреннее сознаніе своей душевной немощи — вотъ что сказывается въ лирикѣ этихъ, какъ ихъ называлъ поэтъ, *последнихъ* пѣсень, служащихъ живымъ отголоскомъ его самыхъ лучшихъ, всѣми нами давно перечувствованныхъ мотивовъ.

Въ предшествующіе годы не только придиричливой, но и добросовѣстной критикѣ приходилось указывать на немногія, не совсемъ вѣрно взятые ноты въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ нашего поэта. Ихъ объясняли тѣмъ, что, при измѣнившейся жизненной обстановкѣ, темы его какъ бы по привычкѣ остались тѣ же, но исполненіе уже не могло отличаться прежнею непосредственною свѣжестью. Теперь она снова всецѣло сказала на одрѣ болѣзни. Поэтъ на-шелъ на немъ *самъ себя*.

А это все, что нужно для поэта. Муза предстала ему опять въ томъ же строгомъ, безукоризненно чистомъ видѣ, въ какомъ она напутствовала его въ ту многотрудную пору, о которой онъ такъ тепло теперь воспоминаетъ:

Я отрокомъ покинулъ отчій домъ
(За славой я въ столицу торопился).
Въ шестнадцать лѣтъ я жилъ своимъ трудомъ
И между тѣмъ урывками учился.
Лѣтъ двадцати, съ усталой головой,
Ни живъ, ни мертвъ (я голодалъ подолгу),
Но горделивъ—пріѣхалъ я домой...

Поэтъ воспоминаетъ объ этой порѣ тепло и грустно; — въ немъ не стало той „горделивости“ юныхъ лѣтъ, онъ недоволенъ тѣмъ, какъ разыгралась его дальнѣйшая жизнь, онъ говоритъ:

...«Оглянемся назадъ,
Поищемъ дѣлъ достойныхъ человека...
Увы! ихъ нѣтъ! однихъ ошибокъ рядъ!»

Но если не гордость, то и не „смирение паче гордости“ слышится и в его словах о славѣ:

...Ей долгимъ яркимъ свѣтомъ
Не горѣтъ на имени моемъ:
Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ,
Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцомъ.
Кто, служа великимъ цѣлямъ вѣка,
Жизнь свою всецѣло отдаетъ
На борьбу за брата человѣка,
Только тотъ себя переживетъ...

Между тѣмъ онъ неоднократно обращается къ „поэту“, возлагая на него какъ бы единственную надежду въ такую пору, когда

Въ мірѣ нѣтъ святыхъ и кроткихъ звуковъ.
Нѣтъ любви, свободы, тишины.

Подобно Пушкину, онъ называетъ *толпою* тѣхъ, кто не признаетъ поэзіи, но онъ не видитъ въ поэтѣ аскета.

Толпа гласитъ: «пѣвцы не нужны вѣку!»
И нѣтъ пѣвцовъ... замолкло божество...
О, кто жъ теперь напомнить человѣку
Высокое призваніе его?

И вотъ онъ зоветъ назадъ удалившееся божество; онъ страстно вызываетъ его борьбу...

Казни корысть, убійство, святотатство!
Сорви вѣнцы съ предательскихъ головъ...

Но тяжкій выпадаетъ жребій тому, кого божество избираетъ своимъ сосудомъ... Все труднѣе и труднѣе дѣлается борьба:

Дни идутъ... все также воздухъ душенъ,
Дряхлый міръ—на роковомъ пути...
Человѣкъ до ужаса бездушенъ,
Слабому спасенья не найти!
Но... молчи во гнѣвѣ справедливомъ!
Ни людей, ни вѣка не кляни:
Волю давъ лирическимъ порывамъ,
Изойдешь слезами въ наши дни...

Однако же такое воздержаніе отъ борьбы, такая готовность, ради самосохраненія, опустить свое знамя передъ

силами тьмы, которыхъ не одолѣешь, такое малодушное настроеніе—только краткосрочный припадокъ. Существуетъ надежный изъ него выходъ:

Жить для себя возможно только въ мірѣ,
Но умереть возможно для другихъ...

Только поэтъ нашъ увѣряетъ себя, что онъ никогда не владѣлъ этою способностью, и потому-то портреты преждевременно сгibшихъ друзей и теперь, несмотря на испытанье тяжелымъ недугомъ, все-таки укоризненно смотрятъ на него со стѣнъ. Поэтъ нашъ увѣренъ, что не только они, но и другой судья—гражданинъ-читатель хорошо знаютъ, что въ немъ нѣтъ силъ героя:

Тотъ не герой, кто лавромъ не увить
Иль на щитѣ не вынесенъ изъ боя...

Такое самосознаніе и съ тою же самою искренностью и простотой, съ тѣмъ же отсутствіемъ всякаго щегольства въ раскаяніи, сказывалось у него нерѣдко и прежде. И стихи, въ которыхъ оно у него нерѣдко сказывалось, всегда принадлежали къ лучшимъ, самымъ задумевнымъ его стихамъ. И всегда, когда они нами читались, мы вкладывали въ нихъ нашу собственную, нашу общую исповѣдь; читая: я, мы внутренне понимали: мы. Самоосужденіе поэта, всегда говорили мы, *наше*, только въ немъ оно глубже, живѣе, потому что поэтическая душа одарена большею чуткостью и что высокое призваніе поэта побуждаетъ его къ большей требовательности отъ самого себя. И въ прежнее время, почти всякій разъ, когда поэтъ нашъ выражалъ глубокое недовольство самимъ собою, предъ нимъ носился образъ существа, благословлявшаго его на иную, высшую долю. Этому свѣтлому существу посвящена имъ теперь поэма, остававшаяся съ давнихъ поръ за нимъ... Онъ говорить:

...Мечусь въ безпамятствѣ, въ бреду!
Хаосъ! Едва мерцаетъ умъ поэта,
Но юности священнаго обѣта
Не совершивъ, въ могилу не сойду!
Поймутъ, иль нѣтъ, но будетъ пѣсня спѣта.

Поэтъ не увѣренъ въ томъ, поймутъ ли его, потому что:

Въ насмѣшливомъ и дерзкомъ нашемъ вѣкѣ
Большое, святое слово: мать
Не пробуждаетъ чувства въ человѣкѣ.

Но онъ — не боится „насмѣшливости модной“ и, посвящая стихи своей „родинѣ“, опять сливается въ чувства, въ предметъ любви, уваженія — съ народомъ. И стихи эти должны быть отнесены къ лучшимъ, когда-либо имъ написаннымъ. Сложивъ ихъ, пересиливая болѣзнь, въ честь той, которая, по словамъ его, „спасла въ немъ живую душу“, онъ влагаетъ ей въ уста колыбельную пѣсню, которая должна убаюкать его на одрѣ болѣзни.

Усни, страдалецъ терпѣливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою,
Баю-баю-баю-баю!

Вмѣстѣ съ образомъ матери и въ прежнее время возникалъ передъ нашимъ поэтомъ другой — образъ „родины-матери“, какъ онъ ее называетъ. И прежде нерѣдко винился онъ одновременно предъ обѣими. Теперь покойная мать, въ той же заgrabной колыбельной пѣснѣ, успокоительно обращается къ нему отъ имени живой, не умирающей матери родины:

Не бойся горькаго забвенья:
Ужъ я держу въ рукѣ моей
Вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья,
Даръ кроткой родины твоей...

Получивъ такое прощенье, можно умереть спокойно... Но вѣдь можно также жить, одолѣвъ недугъ... Отпраздновавъ и тѣлесное и душевное возрожденіе, можно еще послужить, и какъ послужить той же родинѣ!... Да благодарить же на это мать своего выздоравливающего сына!

О. Миллеръ.

* * *

Въ видѣ предисловія къ предыдущей статьѣ О. Миллера, въ журналѣ „Свѣтъ“ помѣщена отъ редакціи журнала слѣдующая замѣтка:

*) „По мѣрѣ развитія общества, передовые кружки его болѣе и болѣе отходятъ отъ элементарныхъ, неразвитыхъ массъ. Но эти массы составляютъ тотъ корень и стебель, которыми держатся конечныя вѣтви. Приближаясь къ „общечеловѣческому“ чуждому племеннымъ различіямъ—это верхніе слои—начинаютъ смутно понимать, что почва уходитъ изъ подъ ихъ ногъ, что они отрываются отъ корней. Темныя, несознанныя симпатіи влекутъ ихъ къ этому элементарному міру, изъ котораго развились они сами или вышли нѣкогда ихъ отдаленные незнаемые родичи. Они скорѣе чувствуютъ, чѣмъ понимаютъ, что въ ихъ міросозерцаніи — огромныя пробѣлы, что имъ только кажется, что эти пробѣлы наполнены чѣмъ-то неясно опредѣленнымъ, которое однако органически и логически вяжется съ общимъ строемъ этого односторонняго міросозерцанія. У массъ эти пробѣлы отданы тому широкому чувству, тѣмъ цѣльнымъ твердымъ инстинктамъ, безъ которыхъ жизнь становится односторонней и невозможной. Вслѣдъ за этими инстинктами онѣ идутъ покорно, съ непоколебимой вѣрой въ ихъ правильность и непреложность. И этого твердаго пути недостаетъ интеллигентному, анализирующему человѣку. Онъ яснѣе и яснѣе начинаетъ сознать всю солидарность съ той почвой, на которой выросла его жизнь.

Прежде другихъ это сознаніе является въ сердцѣ поэта. Онъ передовой, онъ „запѣвало“ въ строѣ общественнаго хора. Въ его душѣ звучать скорби и радости общества, его чувства и стремленія — цѣльныя и рѣзко выраженные симпатіи и антипатіи общества, какъ огромное зажигательное стекло, онъ собираетъ въ своемъ психическомъ центрѣ все, что неясно расплывается въ колеблющихся чувствахъ современнаго общества, и это общество, отзывчивое на

*) „Свѣтъ“ 1877 г., № 5. („Постѣднія пѣсни“ Некрасова). *Ред.*

страстныя ноты своего руководителя, съ полной вѣрой и горячими симпатіями откликается на его страстныя, скорбныя пѣсни, отвѣчающія строю общества; оно слышитъ въ этихъ пѣсняхъ симпатіи къ массамъ, оно сочувствуетъ въ нихъ одному великому стремленію, всепоглощающему, всезахватывающему и всеоправдывающему. Это стремленіе идетъ впереди всего, какъ свѣтъ руководящій, и люди на своемъ условномъ, измѣнчивомъ, переходномъ языкѣ зовутъ этотъ свѣтъ: „человѣчностью“.

Изъ „Свѣта“.

* * *

*) Нашъ знаменитѣйшій современный поэтъ, Некрасовъ, издалъ недавно новую книгу своихъ стихотвореній, написанныхъ имъ въ три послѣдніе года до настоящаго 1877 г. включительно, въ томъ числѣ отрывки изъ лирической поэмы: „Мать“ и сатирическую поэму „Современники“ (въ двухъ частяхъ), въ которой бичуются новѣйшіе герои биржи и концессій. Входящія въ книгу, въ небольшомъ количествѣ, лирическія пьесы частью написаны имъ во время тяжелой болѣзни, какъ слышно, до сихъ поръ не покидающей поэта, къ огорченію его многочисленныхъ почитателей. Эти вдохновенія своей музы Некрасовъ назвалъ „Послѣдними пѣснями“... Желаемъ, чтобъ заглавіе книги не оправдалось на дѣлѣ, чтобъ энергическій, благородный голосъ пѣвца продолжалъ слышаться между нами. Во всякомъ случаѣ, эта небольшая книжка какъ бы увѣчиваетъ всю дѣятельность Некрасова, какъ бы налагаетъ на нее печать окончательной полноты и зрѣлости... Сдѣланъ, такъ сказать, новый, завершительный ударъ кисти, и нравственно-поэтическая фізіономія пѣвца опредѣлилась еще тверже, еще яснѣе, еще выразительнѣе.

Эта книжка, въ библіографическомъ смыслѣ, служить дополненіемъ шести предшествующихъ частей сочиненій Некрасова, выходившихъ въ свѣтъ въ теченіе послѣднихъ го-

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1877 г., № 145. „Литературная Лѣтопись“. „Послѣднія пѣсни“, стихотворенія Н. Некрасова. Статья В. М. (В. В. Маркова).

довъ. Поэтическая производительность—не скудная даже и по вѣшнимъ своимъ размѣрамъ!

Въ нашей, по необходимости сжатой, рецензіи мы не будемъ пытаться опредѣлять систематически значенія или общаго характера поэзіи Некрасова, и кромѣ нѣсколькихъ отрывочныхъ замѣчаній объ его „Послѣднихъ пѣсняхъ“, обратимъ вниманіе только на нѣкоторыя, всего болѣе выдающіяся стороны его дѣятельности.

Самая рельефная черта некрасовской поэзіи обнаружится, если мы приведемъ себѣ на память то отношеніе, въ какомъ находились къ поэту разныя литературныя партіи и лагеря въ теченіе его долгой и популярной карьеры. Какъ только выяснился характеръ его поэзіи, какъ только онъ достигъ широкой и громкой извѣстности, столь широкой, что съ его популярностью, даже издадека, не могъ соперничать ни одинъ изъ нашихъ поэтовъ въ теченіе трехъ послѣднихъ десятилѣтій, — тотчасъ же обозначились чрезвычайно несходные, даже прямо противоположные взгляды въ оцѣнкѣ его поэтической дѣятельности, въ признаніи размѣра и вѣскости его поэтическихъ заслугъ. Съ самаго же начала онъ выступилъ поэтомъ общественнымъ, былъ и стремился быть „поэтомъ гражданиномъ“, и въ этомъ отношеніи его поэзіи таилось то яблоко раздора, которое, по отношенію къ нему, круто разъединило литературныя партіи.

„Муза мести и печали“, какъ самъ поэтъ называлъ свою поэзію, вызвала самое упорное разномысліе. Жаркіе его поклонники признавали въ немъ могучаго поэта, пѣвца протестующихъ чувствъ, истиннаго выразителя и пророка своего времени, съ его скорбными думами, съ его тревожнымъ озлобленіемъ и уныніемъ; другіе, напротивъ, во имя высшихъ законовъ искусства и поэтическаго творчества, а еще чаще подъ вліяніемъ мелочнаго раздраженія и устарѣлыхъ идей, почти вовсе не хотѣли признавать въ немъ поэта и видѣли въ немъ только искателя популярности, который стремится угождать извращенному вкусу, служа моднымъ направленіямъ и преходящимъ интересамъ минуты... Чтобъ показать, съ какою явною несправедливостью, съ какимъ предубѣжденіемъ, доходящимъ до чрезмѣрнаго озлобленія,

судили противники Некрасова объ его поэзіи, мы приведемъ отзывъ одного изъ критиковъ „охранительнаго направленія“ объ этой поэзіи, а именно отзывъ критика „Русскаго Вѣстника“, г. А., высказанный четыре года тому назадъ. Изъ чувства справедливости, мы должны прибавить, что это мнѣніе было высказано въ то время, когда еще въ воздухѣ гудѣли отголоски жестокой борьбы, происходившей между „разрушителями эстетики“ и поклонниками искусства для искусства, когда друзья „гражданскихъ идей“ и гражданскихъ тенденцій въ литературѣ и поэзіи низвергали въ прахъ всѣхъ русскихъ поэтовъ, за изъятіемъ, кажется, одного Некрасова, который пользовался постоянно ихъ благосклонностью. Эта борьба еще не стихала тогда, еще копья усердно ломались соперниками, и къ ихъ спорамъ примѣшивалась струя обоюднаго презрѣнія и досады. Съ тѣхъ поръ до настоящей минуты миновало четыре года, въ которое утекло довольно-таки воды; господствующіе литературные взгляды ощутительно измѣнились. Объ отрицателяхъ поэзіи, видѣвшихъ въ ней пустую погремушку, стало совсѣмъ не слышно, теорія ихъ какъ-то вдругъ обратилась въ преданія прошлаго, и теперь, мы не сомнѣваемся, критикъ „Русскаго Вѣстника“ иначе отозвался бы о поэзіи Некрасова, иначе, по крайней мѣрѣ, по манерѣ, по тону сужденій... Но тогда,—и пусть это будетъ матеріаломъ для литературной исторіи недавняго времени,—но тогда онъ не задумался напечатать гнѣвную, исполненную придирчивыхъ нападокъ статью. Въ этой статьѣ, характеристически озаглавленной: „Поэзія журнальныхъ мотивовъ“, предубѣжденный цѣнитель утверждаетъ, что поэзія Некрасова постоянно искала сближенія съ господствующимъ журнальнымъ направленіемъ, черпая изъ него свои силы и вдохновенія, и изсякла какъ разъ въ то время, когда изсякло движеніе въ петербургской журналистикѣ, растерявшей своихъ наиболѣе бойкихъ представителей и замкнувшейся въ узкій кругъ законченнаго отрицанія. По его словамъ, поэтическая дѣятельность Некрасова двигалась постоянно рядомъ съ движеніемъ нашихъ журнальныхъ идей (а если бы и такъ, то развѣ это всегда должно было вредить

его почти исключительно общественной поэзіи?) и наконецъ, вмѣстѣ съ ними, вступила въ періодъ неизлѣчимаго безплодія. Некрасовъ, какъ думаетъ критикъ, принималъ впечатлѣнія жизни изъ вторыхъ рукъ, и по скольку они отражались въ потокѣ журнальныхъ идей, будто бы служившихъ для него единственною духовной пищею. Поэзія Некрасова, на взглядъ г. А., вырабатывалась въ редакціяхъ и постоянно служила какъ бы иллюстраціею направленій, попеременно смѣнявшихся въ извѣстной части журналистики. О колоритѣ „народности“, присутствующемъ въ поэзіи Некрасова, критикъ отзывался, что это ряженая русская жизнь, что это поддѣльная народность, выражавшаяся только во внѣшнихъ примѣтахъ народности—сначала въ кумачевой рубашкѣ и въ плисовыхъ шароварахъ, въ ухорствѣ и бахвальствѣ, а затѣмъ, вмѣсто трактирной пѣсни, выставлившая рубища и стоны бурлаковъ, тянущихъ лямку. Не менѣе суровъ, не менѣе безпошаденъ и приговоръ его о сатирѣ Некрасова. Онъ говорилъ, что въ этой сатирѣ отразился всецѣло, и пропиталъ ее своимъ крѣпкимъ запахомъ—петербургскій букетъ, сложившійся изъ скуки чиновничьяго существованія и водевильныхъ развлеченій уличной трактирной жизни... Что остроуміе александринской сцены и развязная иронія, не чуждая разгильдяйства театральныхъ буфетовъ, окропила обильною струею эту часть петербургской сатиры. Въ видѣ поясненія, онъ прибавляетъ, что нерѣдко содержаніе Некрасовской сатиры замѣчательнымъ образомъ совпадаетъ съ благонамѣренными отмітками уличныхъ листковъ, обличительное усердіе которыхъ такъ высоко цѣнятся столичными дворниками и лавочниками. Поэтъ—читаемъ мы тамъ же—не брезгаетъ говорить своимъ „неуклюжимъ стихомъ“ о неудобствѣ петербургскихъ мостовыхъ, о цѣлой водѣ въ канавахъ и о дурномъ воздухѣ, какимъ дышать лѣтомъ столичные обыватели. Критикъ заключаетъ, что поэзія въ лицѣ Некрасова падаетъ окончательно и претерпѣваетъ величайшее униженіе, становясь подспорьемъ и случайнымъ орудіемъ „крохотныхъ журнальныхъ идеекъ“. — „Вмѣсто Пушкина, восклицаетъ онъ, наше время даетъ намъ Некрасова“!..

Повторяемъ, въ этомъ отзывѣ сразу слышны провзительныя ноты той безцеремонной и жестокой борьбы мнѣній, какая велась въ ту пору между защитниками гражданскихъ тенденцій въ искусствѣ и поклонниками чистой поэзіи. Но все-таки—вотъ яркій образчикъ непріязненныхъ некрасовской поэзіи взглядовъ.

Иначе относились къ поэзіи Некрасова люди, умѣвшіе сохранить спокойствіе и безпристрастіе даже въ самомъ разгарѣ борьбы, что не мѣшало имъ отъ всей души, отъ всего сердца отстаивать знамя поэзіи и искусства. Къ такимъ людямъ принадлежитъ даровитый, весь отдавшійся литературнымъ интересамъ, критикъ Ап. Григорьевъ, статья котораго о Некрасовѣ появилась въ болѣе ранній періодъ (см. „Сборн. критич. статей о Некрасовѣ“, ч. 1-я, стр. 113). Онъ не оставался слѣпымъ къ недостаткамъ и слабымъ сторонамъ поэзіи Некрасова, но проникнуть былъ глубокою симпатіею къ этой поэзіи и угадывалъ ея крупное общественное значеніе, хотя Некрасовъ едва перешелъ тогда за половину своей поэтической карьеры. Отмѣчая недостатки некрасовской поэзіи, онъ говорилъ, что въ ней, съ одной стороны есть желчныя пятна лихорадки, а съ другой (и это повторилъ за нимъ черезъ одиннадцать лѣтъ московскій критикъ)—водевильно-александринскія пошлости, оскорбляющія ея „возвышенный“ строй. Онъ указывалъ на ея болѣзненные капризы, на то, какъ склонна она брать угромо-раздражительный тонъ, говорилъ, что одной поэзіи желчи, скорби, негодованія, за которою только и гнались черезчуръ рьяные поклонники некрасовской музыки, слишкомъ мало для души человѣческой. Онъ осуждалъ въ этой музѣ неряшливость ея формы и высказывалъ, что Некрасовъ—пѣвецъ съ огромными средствами голоса, но съ попорченною манерою пѣнія, что вообще, эта „муза мести и печали“—великая, но попорченная народная сила. Но онъ же признавалъ въ поэтѣ громадныя достоинства, въ силу которыхъ пѣсни его дѣйствовали какъ событія на молодое читающее поколѣніе, и такъ же, какъ событія, „дразнили до пѣны у рта поколѣніе устарѣлое“. Оцѣнивая его съ точки зрѣнія народности, Ап. Григорьевъ, какъ защитникъ почвы и

духа народности, говорилъ, что Некрасовъ—человѣкъ съ народнымъ сердцемъ, человѣкъ закала Кольцова. Сопоставляя его, по значенію, съ Островскимъ и Кольцовымъ, проповѣдникъ „органической критики“ замѣчалъ, что это—поэтическія натуры, вышедшія прямо и непосредственно изъ народа, сохранившія очевидныя примѣты кровной связи съ народомъ въ языкѣ и чувствахъ. Говоря объ отрицательно-сатирической струѣ его поэзіи, онъ напоминалъ, что поэты истинные служили и служатъ одному—идеалу, разнясь только въ формахъ своего служенія. Онъ думалъ, что поэты съ положительнымъ или отрицательнымъ направленіемъ своей поэзіи одинаково нужны человѣчеству, поясняя эту мысль сравненіемъ,—что путеводный идеалъ, какъ Іегова израильтянамъ, является днемъ въ столбѣ облачномъ, а ночью въ столбѣ огненномъ.

Однако, критикъ, въ своей статьѣ о Некрасовѣ, все-таки не зналъ, какъ помирить, въ отношеніи къ поэту, принципъ требованія художественности съ принципомъ служенія общественнымъ пользамъ и интересамъ времени, и признавался, что онъ не мечтаетъ найти всесторонній принципъ, примиряющій эти требованія.

Мы тоже не будемъ искать этого принципа, такъ какъ, думается, намъ его и нельзя найти, но вопросъ, поставленный Ап. Григорьевымъ, долженъ же имѣть какое-нибудь рѣшеніе, даваемое, если не теорією, то практикою,—вопросъ, представляющійся вполне неизбѣжнымъ, вполне существеннымъ въ оцѣнкѣ поэзіи Некрасова.

Можно сказать, что въ этомъ здѣсь заключается весь нервъ дѣла, вся его суть. Вотъ собственно съ этой-то стороны мы и хотимъ бросить взглядъ на поэтическое творчество Некрасова.

Въ самомъ дѣлѣ, хорошо или дурно для поэзіи Некрасова, что въ ней такъ сильно и рѣзко отразились всѣ интересы и тревоженія современности? уменьшаетъ ли это внутреннюю ея цѣнность, или, напротивъ, увеличиваетъ? Можно ли упрекнуть поэта за то, что онъ сочувствовалъ страдающимъ, что страданія и недуги, подмѣченные имъ въ окружающей дѣйствительности, были постоянно темою

его пѣснопѣннѣй? Что онъ стремился заклеить все дурное и презрѣнное, оскорбляющее правду и совѣсть? Что онъ отдалъ весь свой талантъ на служеніе тѣмъ нуждамъ и пользамъ, о которыхъ всего громче вопіяла современная ему жизнь? За то, что въ немъ жило постоянное чувство протеста, желаніе лучшаго, „святое безпокойство?“ Упрекать ли его за все это? Онъ самъ отвѣчаетъ на эти вопросы такими словами:

Пускай намъ говорить измѣнчивая мода,
Что тема старая „страданія народа“,
И что поэзія забыть ее должна,—
Не вѣрьте, юноши! не старѣетъ она.
О, если бы ее могли состарить годы!
Прощѣлъ бы божій міръ!.. Увы! пока народы
Влачатся въ нищету, покорствуя бичамъ,
Какъ тощія стада по скошеннымъ лугамъ,
Оплакивать ихъ рокъ, служить имъ будетъ муза,
И въ мірѣ нѣтъ прочнѣй, прекраснѣ союза!..
Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ
Въ то время, какъ она ликуетъ и поетъ,
Къ народу возбуждать вниманье сильныхъ міра—
Чему достойнѣе служить могла бы лира?..
Я лиру посвятилъ народу своему.
Быть можетъ, я умру невѣдомый ему,
Но я ему служилъ и сердцемъ я спокоенъ..
Пускай наноситъ вредъ врагу не каждый воинъ,
Но каждый въ бой иди! А бой рѣшитъ судьба...
Я видѣлъ красный день: въ Россіи нѣтъ раба!
И слезы сладкія я пролилъ въ умиленіи...
„Довольно ликовать въ наивномъ увлеченіи“,
Шепнула муза мнѣ: „пора идти впередъ:
Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?..“

Въ послѣдней книжкѣ своихъ стиховъ, онъ о томъ же предметѣ говорить:

„Народъ! народъ! Мнѣ не дано геройства
Служить тебѣ,—плохой я гражданинъ,
Но жгучее, святое безпокойство
За жребій твой донесъ я до сѣдинъ!
Люблю тебя, пою твои страданья,
Но гдѣ герой, кто выведетъ изъ тьмы
Тебя на свѣтъ?.. На смѣну колебанья
Твоихъ судебъ чего дождемся мы?..“

Неужели поэтъ долженъ проигрывать отъ того, что онъ посвящаетъ свою лиру самому возвышенному, самому прекрасному, чему только могутъ быть посвящены звуки лиры? Поэтъ сомнѣвается, чтобъ могла устарѣть тема о народныхъ страданіяхъ, выражая при этомъ желаніе, къ которому, разумѣется, примкнетъ всякій, чтобъ она скорѣе состарилась... Конечно, и мы не ожидаемъ скорого наступленія золотого вѣка Астрей, но дѣло въ томъ, что народныя страданія, воспѣваемые поэтомъ, имѣли, такъ сказать, специальную, переходящую историческую форму—форму крѣпостного права, вмѣстѣ съ тягостями переходнаго состоянія наступившими за упраздненіемъ этого права. Это наложило также исключительный, специальный отпечатокъ на поэзію Некрасова, на сколько она касается быта народной массы. Въ большинствѣ своихъ стихотвореній, написанныхъ въ народномъ тонѣ, онъ прямо или косвенно задѣваетъ эту тему. Мы встрѣчаемся съ нею какъ въ первыхъ его пьесахъ народнаго пошиба: „Тройка“, „Огородникъ“, такъ и въ позднѣйшихъ: „Забятая деревня“ и проч... Наконецъ, въ его большой крестьянской поэмѣ: „Кому на Руси жить хорошо“, гдѣ тоже преобладаютъ мотивы, вращающіеся возлѣ крѣпостного права, хотя дѣйствіе поэмы происходитъ въ эпоху реформенную. Понятно, что съ устраненіемъ, изъ общественнаго строя, коренныхъ причинъ, возбуждавшихъ подобное настроеніе въ поэтѣ, неизбежно тускнѣютъ, теряютъ свою свѣжесть и тотъ колоритъ и тѣ формы, въ которыхъ его поэзія отражала отжившее историческое явленіе.

Это нимало не говоритъ противъ законности чувствъ поэта, въ которомъ здѣсь такъ очевидны искренность и одушевленіе, но не можетъ не причинять ущерба долговѣчности его поэзіи, продолжительности ея животрепещущаго интереса для общества. Человѣчный, свободный духъ, руководившій поэтомъ, не умереть, но формы, но реальное содержаніе поэзіи быстро ветшаютъ. Впрочемъ, многое въ дѣлѣ долговѣчности поэзіи зависитъ отъ художественности формъ, но эта художественность много страдаетъ у Некрасова. У него рѣдко можно найти строго художественныя

вещи, да и самъ поэтъ мало претендуетъ на эту художественность. Въ этомъ отношеніи онъ даже строже судить о себѣ, чѣмъ можетъ согласиться съ нимъ безпристрастный критикъ. Свой всюду выразительный, энергическій стихъ онъ называетъ „суровымъ и неуклюжимъ, тягучимъ“ стихомъ; онъ говоритъ, что элегіи его не новы, поэмы безтолковы, что сатиры его чужды красоты, что вообще нѣтъ въ немъ свободной поэзіи, творящаго искусства. Къ сожалѣнію, со многими здѣсь нельзя не согласиться; но самъ поэтъ, какъ замѣчено, желалъ быть не поэтомъ художникомъ, а поэтомъ гражданиномъ, какъ онъ и высказалъ это въ своемъ мужественномъ и прекрасномъ стихотвореніи, гдѣ передается бесѣда между поэтомъ и гражданиномъ... Онъ хочетъ, чтобъ и судилъ его не критикъ-эстетикъ, а читатель-гражданинъ. Онъ говоритъ:

Но мой судья—читатель-гражданинъ,
Лишь въ судъ его храню слѣпую вѣру.
Суди же ты, кѣмъ взысканъ я не въ мѣру!

Въ названномъ сейчасъ стихотвореніи онъ непосредственно возражаетъ на знаменитое стихотвореніе Пушкина „Чернь“, въ которомъ нашъ гениальный поэтъ тридцатыхъ годовъ, негодуя на порочность бездушнѣйшей толпы, высказываетъ, что поэзія не должна служить интересамъ дня, требованіямъ практической морали и пользы, что поэты рождены для вдохновенія, мира и сладкихъ звуковъ. Некрасовъ же такъ высказываетъ свой взглядъ на поэзію:

А ты, поэтъ, избранникъ неба,
Глаголетъ истинъ вѣковыхъ,
Не вѣрь, что неимущій хлѣба
Не стоитъ вѣщихъ струнъ твоихъ!
Не вѣрь, чтобъ вовсе пали люди;
Не умеръ Богъ въ душѣ людей,
И вопль ихъ вѣрующей груди
Всегда доступенъ будетъ ей!
Будь гражданинъ! служь искусству,
Для блага ближняго живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей любви...

Кто же правѣ: Пушкинъ или поэтъ, вдохновляемый музою скорби? Или это только субъективные взгляды, не имѣющіе принципиальнаго значенія? Нѣтъ, здѣсь выражаются мысли, неизбѣжно представляющіяся поэту въ его отношеніяхъ къ дѣйствительности. Безъ сомнѣнія, Пушкину можно повѣрить, когда онъ опредѣляетъ намъ натуру поэта, — онъ зналъ это лучше всякаго другого, — и вотъ онъ свидѣтельствуешь, что поэты рождены для провозглашенія вѣчныхъ, высокихъ истинъ, для сладкихъ звуковъ, умиляющихъ душу и приводящихъ ее къ гармоніи, — тѣмъ болѣе можно ему повѣрить, что вѣдь и всѣ люди рождены для мира, для свѣтлыхъ, добрыхъ чувствъ, а не для злобы, вражды или мести...

Но пока между людьми много зла, пока оно могущественно въ мірѣ, пока оно отравляетъ сердце людей и не позволяетъ жить въ мірѣ и ощущать сладость и наслажденіе бытія, до тѣхъ поръ, развѣ не такъ же законны, какъ и пѣсни мирнаго вдохновенія, чувства благороднаго гнѣва, бурнаго, кипящаго негодованія противъ зла, всѣ чувства, порождаемая борьбою противъ бѣдствій, угнетающихъ и искажающихъ человѣка?

Останется ли поэтъ нечувствительнымъ ко всему этому? Особенно можетъ ли онъ остаться равнодушнымъ въ тревожныя эпохи народной жизни, эпохи перелома, переворотовъ, когда въ обществѣ пробуждается неодолимая потребность лучшаго, когда съ необычайною живостью сознаются болѣзни и темныя стороны настоящаго, когда зло становится нестерпимѣе, и иное, лучшее тѣмъ желаннѣе, — какова и была та эпоха преобразовательныхъ стремленій и самихъ преобразованій, въ которую довелось жить Некрасову, и къ которой относится содержаніе его творчества? Впечатлительная душа поэта всего болѣе доступна этимъ тревоженіямъ и вѣяніямъ времени... Водоворотъ событій, идей, интересовъ, направленій захватываетъ его въ себя, все потрясаетъ его, волнуешь, требуетъ отзыва и отголоска. Ему некогда, да и нельзя разбирать, что въ этихъ шумящихъ вокругъ интересахъ дѣйствительно важно, что нѣтъ, гдѣ и въ чемъ

преходящіе, или даже минутные интересы, гдѣ, съ другой стороны, болѣе прочные, болѣе жизненные задатки...

Иногда незначительное увлекаетъ его наравнѣ съ значительнымъ, событія бываютъ поняты имъ односторонне, онъ увлекается въ исключительныя тенденціи, задается чисто утилитарными, а не поэтическими цѣлями, но современники ждутъ и требуютъ, чтобъ онъ жилъ современными ему интересами, и онъ выполняетъ эти требованія, часто въ ущербъ своей поэзіи. Онъ служитъ времени и является вполне сыномъ времени. Поэзія его страдаетъ, но гражданскій духъ, духъ освобожденія и протеста ярко въ ней выступаетъ. Таковъ и Некрасовъ. Въ поэзіи его встрѣчаются неровности, шереховатости, грѣхи противъ художественной формы и законовъ искусства: нѣтъ высшей художественной чеканки, многое высказывается какъ будто второпяхъ. Да и въ самомъ дѣлѣ: нужно спѣшить, нужно не запоздать отголоскомъ на то или другое явленіе, которымъ заняты современники, нужно, чтобъ „кипѣла живая кровь“, хотя бѣ страдало искусство. Поэтъ прежде всего хочетъ быть борцомъ, стремится ратовать противъ того, что представляется ему темнымъ, гнетущимъ, злымъ, и борьба его дѣйствительно неутомима, сильна...

Горячее слово его находитъ отвѣтъ въ сердцахъ, современники ему рукоплещутъ... Его превозносятъ—и справедливо—какъ глашатая и выразителя думъ и стремленій эпохи... Но эпоха измѣняется, исторія принимаетъ другой оборотъ, измѣняется настроеніе общества, и дѣятельность поэта представляется уже въ иномъ свѣтѣ. Многое въ ней оказывается отжившимъ свое время, поблекшимъ; всѣ художественные грѣхи рѣзче выступаютъ наружу, и поэзія, которая еще такъ недавно безусловно плѣняла общество, жившее подъ непосредственнымъ вліяніемъ событій, направлявшихъ эту поэзію, видимо обнаруживаетъ свои границы... Но виноваты ли въ этомъ поэтъ? Онъ честно и горячо служилъ своему времени и помогалъ, насколько было въ его силахъ, подниматься обществу на слѣдующую, высшую ступень гражданственности. Какъ поэтъ, онъ дѣлается отчасти жертвою времени, увлекшись его борьбами. Пови-

димому, самъ Некрасовъ, очень часто цѣнящій себя съ необыкновенною строгостью и съ большою критическою чуткостью, сознаетъ это. Уже давно онъ высказался о своихъ стихахъ, что не льстится надеждою на сохраненіе ихъ въ народной памяти... Въ „послѣднихъ пѣсняхъ“ онъ прямо высказываетъ, что „борьба мѣшала ему быть поэтомъ“, выражая это слѣдующими стихами:

‘ Ты еще на жизнь имѣешь право,
Быстро я иду къ закату дней.
Я умру — моя померкнетъ слава,
Не дивись — я не тужи о ней!
Знай, дитя: ей долгимъ, яркимъ свѣтомъ
Не горѣть на имени моемъ:
*Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ,
Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцомъ.*

Въ тѣхъ же пѣсняхъ, предрекая себѣ скорую смерть, онъ говоритъ:

Я дворянскому нашему роду
Блеска лирой моей не стяжалъ:
Я настолько же чуждымъ народу
Умираю, какъ жить начинать.

Мы не будемъ разбирать насколько правъ поэтъ, печалась о томъ, что стихи его чужды народу. По этому поводу мы припомнимъ только еще одно замѣчаніе покойнаго Ап. Григорьева—что если принимать народность поэта въ смыслъ доступности его твореній пониманію народной массы, то въ этомъ случаѣ никто изъ нашихъ художественныхъ поэтовъ, за исключеніемъ, и то условнымъ, одного Кольцова, не можетъ назваться народнымъ, потому что ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни Гоголь не интересуютъ народа и остаются ему чужды. Мы обращаемъ въ приведенныхъ стихахъ вниманіе только на то самое сознаніе поэта, что „борьба мѣшала ему быть поэтомъ“. Да, это сознаніе не обманчиво, и едва ли результатъ пережитой имъ борьбы могъ быть инымъ, потому что невозможно представить себѣ, чтобъ органически слились разнородные элементы—чтобъ элементы чистой поэзіи и общественные запросы современности, со всѣми ея задачами, колебаніями

и односторонностями, могли вполне дружно ужиться вместе. Поэзия едва-ли может выходить безнаказанною изъ такого испытанія.

И однако Некрасовъ—истинный поэтъ, обладающій неподдѣльнымъ поэтическимъ даромъ. Мы не будемъ выдѣлять и указывать въ его поэзіи все, что уже утратило интересъ современности, не сохранивъ за собою интереса художественнаго. Что многія изъ его произведеній сдѣлались только литературно-историческимъ фактомъ — это и безъ особенныхъ критическихъ указаній болѣе или менѣе чувствуется читателемъ. Но мы знаемъ также, что въ массѣ его произведеній есть истинно поэтическія, истинно прекрасныя вещи, которыя долго будутъ памятны и на которыхъ лежитъ печать сильнаго, вполне оригинальнаго, самобытнаго таланта. Назовемъ наудачу прекрасныя пьесы: „Школьникъ“, „Дядя Власъ“, „Въ больницѣ“... Есть превосходныя мѣста въ его первыхъ петербургскихъ сатирахъ „О погодѣ“, въ лирической комедіи „Медвѣжья Охота“, гдѣ встрѣчается замѣчательный юмористическій образъ либерала сороковыхъ годовъ, который послужилъ для г. Достоевскаго схемою при созданіи одного изъ удачнѣйшихъ характеровъ (Степана Трофимовича Верховенскаго) въ его романѣ „Бѣсы“. Сюда же относятся: цитированное нами стихотвореніе: „Поэтъ и Гражданинъ“, важное и замѣчательное по своей идеѣ, и еще нѣсколько другихъ, лирическихъ и повѣствовательныхъ.

„Послѣднія Пѣсни“, къ которымъ мы теперь переходимъ, можно сказать, обогатили поэтическій вѣнокъ Некрасова свѣжимъ и новымъ лавромъ. Быть можетъ, здѣсь онъ обнаружилъ болѣе поэтической тонкости, болѣе поэтическаго полета, чѣмъ во всѣхъ своихъ предшествующихъ трудахъ. Мы однако же исключаемъ отсюда двѣ сатирическія поэмы, которыя написаны въ обычной сатирической манерѣ Некрасова, т.-е. съ избыткомъ частныхъ фактовъ, случайныхъ чертъ чисто временнаго характера, не возведенныхъ въ общее, такъ что эти поэмы, не чужды счастливыхъ мѣстъ, неудовлетворительны въ художественномъ отношеніи. Но лирическія стихотворенія, вообще очень скудныя по коли-

честву, и нѣкоторыя строфы изъ поэмы „Мать“, о которой, впрочемъ, трудно судить, при ея настоящей отрывочности, написаны съ горячимъ, порывистымъ чувствомъ и порою въ очень изящныхъ, привлекательныхъ формахъ. Лучшія страницы этихъ „Послѣднихъ Пѣсень“ отмѣчены поэтическимъ отблескомъ, который вообще рѣдокъ въ Некрасовѣ. Какъ граціозны, какой поэтической грусти исполнены, напр., его „Три Элегіи“, въ которыхъ онъ вспоминаетъ о своей прошлой любви, о своей, судя по этимъ стихамъ, роковой, единственной въ жизни, глубокой сердечной привязанности. Но онъ былъ покинутъ; та, которая любила его, ушла въ „дальніе края“, и онъ горько оплакиваетъ свое одиночество, припоминая, какъ нанесла ему „смертельный ударъ“ та рука, которая ласкала его. Онъ чувствуетъ однако, что ушедшая не можетъ вовсе забыть его, такъ же какъ и онъ не въ состояніи изгнать ее изъ своего сердца. Ихъ связываетъ хотя горькое, но неистребимое воспоминаніе о прежнемъ ихъ чувствѣ...

Все, чѣмъ мы въ жизни дорожили,
Что было лучшаго у насъ —
Мы на одинъ алтарь сложили,
И этотъ пламень не угасъ!

Но вотъ съ неодолимою силою пахнуло на него памятью
прошлаго:

Бьется сердце безпокойное,
Отуманились глаза,
Дуновенье страсти знойное
Налетѣло какъ гроза.

Въ тоскѣ, въ томленіи онъ зоветъ къ себѣ свою дальнюю, желанную странницу, но это только томительный страстный порывъ, отъ котораго еще усиливается душевная пустота... Но нельзя подавить и заглушить въ себѣ этихъ сердечныхъ влеченій. Жизнь прожита, впереди могла, а сердце не унимается и ищетъ любви, которой нѣтъ конца... Въ чемъ же здѣсь тайна? Неужели потери, разбитыя упованія не могли очерствить, окаменить сердце? Съ увлекающею задумчивостью поэтъ говорить:

Разбиты все привязанности, разумъ
Давно вступилъ въ суровыя права,
Гляжу на жизнь невѣрующимъ глазомъ...
Все кончено! Сѣдѣть голова.
Вопросъ рѣшенъ: трудись, пока годишься,
И смерти жди! Она не далека...
Зачѣмъ же ты, о, сердце, не миришься
Съ своей судьбой?.. О чемъ твоя тоска?
Непрочно все, что нами здѣсь любимо,
Что день — сдаемъ могила мертвеца,
Зачѣмъ же ты въ душѣ неистребима
Мечта любви, не знающей конца?..
Усни... Уми!..

Но эта мечта не умереть, потому что она нераздѣльна
съ бессмертною природою... Приведемъ еще слѣдующія,
проникнутыя горячимъ чувствомъ, строки изъ поэмы „Мать“:

И если я стяхнулъ съ годами
Съ души моей тлетворные слѣды,
Поправшей все разумное ногами,
Гордившейся невѣжествомъ среды;
И если я наполнилъ жизнь борьбою
За идеалъ добра и красоты,
И носить пѣснь, слагаемая мною,
Живой любви, глубокия черты
О, мать моя, подвигнуть я тобою!
Во мнѣ спасла живую душу ты!

Торжественнымъ чувствомъ, напоминающимъ похоронный
реквиемъ, звучить также его пѣснь „Баюшки-баю“, и гдѣ,
вопреки своимъ прежнимъ предсказаніямъ, поэтъ надѣется,
что пѣсни его пройдутъ въ народъ и прозвучать надъ
Волгою, надъ Окою и Камою.

Въ заключеніе, не касаясь вопроса о народности Некра-
сова, скажемъ, что, по нашему убѣжденію, поэзія его
получить значительное, видное мѣсто въ исторіи нашего
литературнаго развитія. Если никто не назоветъ его вели-
кимъ поэтомъ, то всякій признаетъ, что это безспорно
высокодаровитый поэтъ. Значеніе его въ томъ, что онъ
поддерживалъ своимъ талантомъ стремленія къ обновленію
и духъ обновленія, когда начались преобразованія въ рус-
ской жизни... Онъ, какъ поэтъ, помогаль движенію обще-

ства, и нужно признать, что онъ, дѣйствительно, заслуживаетъ названіе „поэта - гражданина“. Тенденціозность вредила его поэзіи, какъ вредили ей мрачная настроенность и тѣ желчныя пятна лихорадки, на которыя указывали прежніе критики... Но эта горечь была вынесена имъ изъ горькихъ впечатлѣній дѣйствительности, тѣхъ впечатлѣній, которыя заставили поэта сказать, что для него молодость не была праздникомъ жизни. Въ историческомъ движеніи нашей поэзіи, значеніе его выразится тѣмъ, что отнынѣ духъ свободы, достоинства свободной личности, приведшій насъ къ преобразовательному періоду и нашедшій себѣ самое сильное поэтическое выраженіе въ Некрасовѣ, сдѣлается всегдашнимъ достояніемъ нашей поэзіи и войдетъ, какъ непремѣнная стихія, въ дѣятельность всѣхъ послѣдующихъ поэтовъ, будутъ ли они поэтами субъективными или объективными, будутъ ли посвящать свои таланты общественнымъ явленіямъ или внутреннему, психическому міру человека. Это сдѣлается ихъ естественною, природною принадлежностью. Въ указанномъ смыслѣ, наша поэзія, благодаря Некрасову, сдѣлала шагъ впередъ, и шагъ твердый, безповоротный, а это большая заслуга, достойная всякой благодарности.

В. М. (В. В. Марковъ).

* * *

*) Запоздавшая мартовская книжка „Отечественныхъ Записокъ“ содержитъ въ себѣ два стихотворенія г. Некрасова, изъ которыхъ послѣднее—„Мать“, хотя состоитъ изъ отрывковъ, мало между собою связанныхъ, имѣетъ довольно значительный объемъ. Еще раньше, чѣмъ появиться въ журналѣ, оно вышло въ свѣтъ въ отдѣльномъ изданіи „Послѣднихъ Пѣсень“, составляющемъ дополнительный томъ къ полному собранію стихотвореній поэта. Читатели знаютъ изъ газетъ, что здоровье г. Некрасова поправляется, и что этимъ „Послѣднимъ Пѣснямъ“, по всей вѣроятности, не суждено оправдать своего заглавія. Тѣмъ не менѣе

*) „Русскій Міръ“ 1877 г., № 108. Литературное Обзорѣніе. Еще „Послѣднія Пѣсни“ г. Некрасова. Статья W.

тяжелый недугъ, перенесенный поэтомъ, видимо отразился на его талантѣ, сообщивъ ему печать искренности, которой ему всегда недоставало. Мы, конечно, разумѣемъ искренность настоящую, а не напускную, искренность выстраданной скорби, прорывающуюся глубокими грудными звуками. Такія звуки слышатся въ стихотвореніи: „Баюшки-баю“:

Непобѣдимое страданье,
Неутолимая тоска...
Влечетъ, какъ жертву на закланье,
Недуга черная рука.

Поэтъ призываетъ свою музу: „Гдѣ ты, о муза? Пой какъ прежде!“ Но муза приходитъ къ нему на костыляхъ сказать: „умремъ!“ У нея „нѣтъ больше пѣсенъ, мразь въ очахъ“...

Костыль ли, заступъ ли могильный
Стучить... смолкаетъ... и затихъ...
И нѣтъ ея, моей всеильной,
И измѣнилъ поэту стихъ.

Только голосъ матери слышится поэту передъ этой „ночью непробудной“. Онъ внимаетъ ея тихому „Баюшки-баю“:

«Пора съ полуденнаго зноя!
Пора, пора подъ сѣнь покоя:
Усни, усни, касатикъ мой!
Прійми трудовъ вѣнецъ желанный,
Ужъ ты не рабъ — ты царь вѣнчанный;
Ничто не властно надъ тобой!
Не страшенъ гробъ, я съ нимъ знакома;
Не бойся молніи и грома;
Не бойся цѣпи и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы,
Ни человѣческаго стона,
Ни человѣческой слезы.
Усни, страдалецъ терпѣливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою.
Баю-баю-баю-баю!»

Значительными поэтическими достоинствами отличаются также отрывки изъ поэмы „Мать“. Къ сожалѣнію, отрыв-

вочность напечатаннаго вредить впечатлѣнію—тѣмъ болѣе, что въ содержаніи этой поэмы есть кое-что странное, не выясняющееся съ перваго раза. Насколько въ это произведеніе вошелъ элементъ субъективный и автобіографическій, мы судить не можемъ, и потому должны разсматривать его, какъ обыкновенный продуктъ поэтическаго творчества. Мысль произведенія — признательность памяти матери, укрощавшей своимъ вліяніемъ грубый и жестокій нравъ отца и воспитавшей въ ребенкѣ „живую душу“:

Твой властелинъ—наслѣдственные нравы
То повидалъ, то бурно проявлялъ;
Но если онъ въ безумныя забавы
Въ недобрый часъ дѣтей не посвящалъ,
Но если онъ разнузданной свободы
До роковой черты не доводилъ —
На стражѣ ты надъ нимъ стояла годы,
Покуда мракъ въ душѣ его царилъ...

Покажѣсть читатель еще не находитъ тутъ ничего „страннаго“ кромѣ того, что лицо, отъ котораго написана поэма, подвергается довольно рѣзкому публичному суду своего родного отца. Но вотъ что странно. „Мать“ была полька, вышедшая замужъ за русскаго, вопреки волѣ родителей. По смерти ея, въ ея бумагахъ сохранилось письмо матери, дышащее ненавистью и презрѣніемъ къ Россіи. Въ этомъ письмѣ говорится, что ея „косы не станеть на полгода“, потому что девизъ русскихъ—„любить и бить“; въ этомъ письмѣ выражается сомнѣніе, умѣетъ ли русскій офицеръ подписать свое имя; въ этомъ письмѣ русская жизнь изображается слѣдующими строками:

Какая жизнь! Полотна, тальки, куры
Съ несчастныхъ бабъ; сосѣди-дикари,
А жены ихъ безграмотныя дуры...
Сегодня пиръ... псари, псари, псари!
Пой, дочь моя! средь самаго разгара
Твоихъ руладъ, не выдержавъ удара,
Валится рабъ... засмѣйся! всѣмъ смѣшно...

Предсказаніе сбывается—участь польки въ русской семьѣ оказывается еще ужаснѣе, чѣмъ изображаютъ ее эти стро-

ки. Бѣдная „мать“ томится двадцать лѣтъ въ когтяхъ русскаго дикаря, и единственнымъ утѣшеніемъ ей служить слѣдующая мысль:

«Несчастлива я, терзаемая другомъ,
Но предъ тобой—о женщина—раба!
Передъ рабомъ, согнувшимся надъ плугомъ,
Моя судьба — завидная судьба!»

Не правда ли, очень странно? Мы нисколько не желаемъ оспаривать, что въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ русская жизнь отличалась грубостью; что крѣпостное право, псарь, палки играли въ ней большую роль; но развѣ польское общество было когда-нибудь впереди насъ со стороны человѣчнаго отношенія къ народу, къ крестьянству? Развѣ не русская власть надѣлила польскихъ крестьянъ землею? Развѣ не въ польскихъ губерніяхъ крѣпостное право вело къ самымъ вопіющимъ злоупотребленіямъ? Развѣ не у поляковъ народъ называется „быдломъ“? Да и помимо крестьянскаго вопроса, провинціальныя и деревенскія нравы въ Польшѣ въ двадцатыхъ годахъ едва-ли въ какомъ-нибудь отношеніи были культурнѣе нашихъ: тѣ же псарь, тѣ же плети, то же пьянство и развратъ — и, разумѣется, какъ тамъ, такъ и здѣсь, много свѣтлыхъ исключеній изъ общаго порядка. Культурное первенство Польши окончилось вмѣстѣ съ XVIII вѣкомъ, и съ тѣхъ поръ въ культурныхъ вопросахъ поляки постоянно отстаютъ отъ насъ, несмотря на то, что до 1831 года они пользовались благопріятными условіями для внутренняго національнаго развитія. Поэтому скорбь о рабѣ, согнувшемся надъ плугомъ, совсѣмъ не польская скорбь.

Изъ „Русскаго Мира“. Статья W.

* * *

*) Лучше или хуже Некрасову? Скоро ли встанетъ онъ съ возобновленными силами? Вотъ что хочетъ знать вся грамотная, вся серьезная, вся мыслящая Россія. Даже чиновничій Петербургъ—и тотъ справляется о здоровьи поэта, соболюзняетъ его томительнымъ, нестерпимымъ страданіямъ,

*) „Нашъ Вѣкъ“ 1877 г., № 13 „Поэтъ народной скорби“.

которые тянутся почти цѣлый годъ!.. Вѣсть о его тяжелой болѣзни проникла всюду—и вездѣ, прежде всего, молодежь шлетъ ему самыя горячія симпатіи и пожеланія. Передъ нами безхитростное стихотворное посланіе харьковскихъ студентовъ. Они призываютъ поэта къ жизни и творчеству, и не хотятъ, чтобы онъ считалъ себя чуждымъ „народу“, какъ онъ это горько выразилъ въ одной изъ своихъ „последнихъ пѣсень“, написанныхъ въ рѣдкіе роздыхи неумолимаго недуга:

Скоро стану добычею тлѣнья,
Тяжело умирать, хорошо умереть,
Ничего не прошу сожалѣнья,
Да и некому будетъ жалѣть.
Я дворянскому нашему роду
Блеска лирой моей не стяжалъ;
Я настолько же чуждымъ народу
Умираю, какъ жить начиналъ.

Приговоръ беспощадный, и суровость его бросилась всѣмъ въ глаза, въ особенности съ заключительнымъ, еще болѣе надсаднымъ аккордомъ, раздавшимся въ стихотвореніи: „Друзьямъ“.

Я примирился съ судьбой неизбежною,
Нѣтъ ни охоты, ни силы терпѣть
Невыносимую муку кромѣшную!
Жадно желаю скорѣй умереть.
Вамъ же—не праздно, друзья благородные,
Жить и въ такую могилу сойти,
Чтобы широкіе лапти народные
Къ ней проторили пути...

Тутъ, поэтъ опять дѣлаетъ косвенный упрекъ самому себѣ.—„Пишите и работайте (хочетъ онъ сказать друзьямъ)—не такъ, какъ я; постарайтесь о томъ, чтобы „лапти народные“ проторили тропу къ вашей могилѣ, чтобы тѣ, кто ихъ носятъ, знали васъ еще при жизни вашей“. И молодежь это болѣзненно тронуло. Она шлетъ больному поэту посланіе, прямо говорящее ему: *какъ онъ ошибается!*

Напрасно мнишь, что ты и жилъ
И умираешь—не любимъ

Никѣмъ; что рокъ тебѣ судилъ
Народу быть всегда чужимъ.
Пѣвецъ народныхъ золъ и бѣдъ,
Пѣвецъ крестьянскаго труда,
Ты былъ намъ дорогъ съ дѣтскихъ лѣтъ—
И будешь дорогимъ всегда.
И наша „сѣрая“ толпа
Тебя когда-нибудь прочтетъ,
Отъ „лаптя“ бѣднаго тропа
Къ тебѣ, повѣрь, не зарастетъ.
На пѣсни скорбныя твои
Мы племя сердечный нашъ отвѣтъ:
На пользу родины живи,
Живи, любимый нашъ поэтъ!

Сколько мы помнимъ, въ нашей общественной жизни не была еще проявлена такъ ярко связь между писателемъ и публикой. Тутъ почувствовалась нота давнишняго сердечнаго пониманія. Оно-то и сказалось въ безыскусственномъ стихотвореніи.

„Не смущайся, говорить выразитель симпатій молодежи, не смущайся тѣмъ, что *теперь* тебя не знаетъ и не читаетъ сѣрый людъ. Настанетъ время, когда вся трудовая народная масса будетъ повторять твое имя“.

Въ этомъ отвѣтъ—настоящая правда. И никакому поэту, проникнутому любовью къ народу, не слѣдуетъ смущаться тѣмъ, что онъ не сдѣлался пѣвцомъ „народнымъ“ въ тѣсномъ смыслѣ. Довольно и того, что онъ, чувствуя конецъ своего поприща, можетъ, глядя въ будущее, призывать своихъ собратьевъ къ долговому труду духовнаго посѣва на нивѣ народной, если онъ такъ горячо и твердо взываетъ къ нимъ:

Святель знанья на ниву народную!
Почву ты что-ли находишь бесплодную,
Худы ль твои сѣмена?
Робокъ ли сердцемъ ты? Слабъ ли ты силами?
Трудъ награждается всходами хилыми,
Добраго мало зерна!
Гдѣ жъ вы, умѣлые, съ бодрыми лицами,
Гдѣ же вы, съ полными жита кошницами?
Трудъ застѣвающихъ робко, крупницами,
Двиньте впередъ!

*Съйте разумное, доброе, вечное,
Съйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное
Русскій народъ!..*

Это такъ ясно, просто, цѣльно, что никакія горькія самообличенія поэта не смутятъ тѣхъ, кто вѣритъ его внутреннему чувству. И самая послѣдняя изъ всѣхъ напечатанныхъ пѣсень, стихотвореніе „Приговоръ“, написанный въ ночь съ 7 на 8 января, выдаетъ завѣтную думу поэта, его отпоръ всѣмъ тѣмъ, кто не признаетъ за русскими дѣятелями мысли и слова—ни заслуги, ни связи съ народомъ, ни какого-либо вліянія и высокой цѣли.

„...Вы въ своей землѣ благословенной
Париі,—не знаете васъ народъ,
Свѣтскій кругъ, бездушный и надменный,
Васъ презрѣниемъ хладнымъ обдаетъ.

И звучитъ безцѣльно ваша лира.

Вы—пѣвцами темной стороны,

На любовь, на уваженіе міра,

Не стяжавши права, рождены!..“

Камень въ сердце русское бросаю,

Такъ о насъ весь западъ говоритъ,

Заступись, страна моя родная!

Дай отпоръ... Но родина молчитъ...

Опять горькая заключительная нота. Поэтъ возмущился тѣмъ именно, что въ одной изъ „послѣднихъ пѣсень“ самъ выразилъ въ видѣ приговора цѣлой пережитой жизни—и тутъ же кончилъ возгласомъ: „родина молчитъ!“ Тяжелъ такой разладъ. Съ нимъ нестерпимо доживать. Но этотъ разладъ—только кажущійся. Если что подкрѣпляетъ поэта, то, конечно, сознаніе цѣльности, силы и народности его дѣла... Вотъ это-то „дѣло“ и пришла пора освѣтить заново.

Фигура Некрасова, среди русской дѣйствительности послѣдняго тридцатилѣтія, стоитъ особнякомъ, ярко, своеобразно, съ рѣзкими контурами, и на фонѣ, присущемъ только ей одной. Но она—окрашиваетъ цѣлую эпоху и находится въ кровной связи съ лучшими упованіями нѣсколькихъ поколѣній... Даже отрицательныя стороны творчества поэта—и тѣ сдѣлались достояніемъ этихъ генерацій, вошли

въ плоть и кровь ихъ, вызвали въ нихъ разныя полосы умственныхъ настроеній.

Въ Некрасовѣ сатирикъ не переставалъ бороться съ истиннымъ лирическимъ поэтомъ и очень часто вытѣснялъ поэта. Этому многіе были даже рады. Публика съ конца пятидесятихъ годовъ сдѣлалась падка на обличенье. И удивляться такому пристрастію нечего. Да и въ самомъ поэтѣ слишкомъ накипѣла жолчь гражданина, слишкомъ долго долженъ онъ былъ молчать на извѣстныя темы, чтобы не дать волю своему гражданскому негодованію и не облекать въ форму сатирическихъ обличеній свое внутреннее чувство, свой даръ поэтическихъ образовъ. Но онъ, съ первыхъ шаговъ своихъ, зналъ, что онъ поэтъ, а не другое что, даже и въ тотъ моментъ, какъ восклицалъ:

„Умолни, муза мести и печали!“

Общія эстетическія опредѣленія будутъ всегда ошибочны или безсодержательны, если не взглянуть на то, какъ человѣкъ прожилъ свой вѣкъ. Личная судьба Некрасова—вся въ его пѣсняхъ и сатирахъ, болѣе чѣмъ у кого-либо изъ его сверстниковъ. Не виноватъ онъ въ томъ, что случаю угодно было произвести его на свѣтъ въ средѣ деревенскаго барства. Много горя принесъ ему тотъ міръ крѣпостничества и распущенной грубости, гдѣ прошло его дѣтство и отрочество; но спрашивается: могъ ли бы онъ, родившись въ другой средѣ, сыномъ крестьянина, мѣщанина или купца—такъ скоро осмыслить разладъ между окружающимъ и своими идеалами? Да и самые идеалы могли ли бы такъ рано зародиться въ душѣ даровитаго отрока и юноши? Врядъ ли. Какъ ни талантливъ былъ Кольцовъ, какъ ни чисты были его поэтическіе помыслы, онъ не былъ въ силахъ до самой смерти освободить себя вполнѣ отъ всѣхъ путей пошлой, подавляющей среды; онъ не сѣмѣлъ и не смогъ уйти изъ нея; а Некрасовъ сдѣлалъ это, и потому именно, что контрасты правды и безправія были слишкомъ ярки въ томъ, что его окружало, и онъ самъ могъ ранѣе развиваться, чѣмъ любой мальчикъ въ крестьянской или разночинской семьѣ. Да и вообще наивно предполагать, что только человѣкъ

„изъ народа“ можетъ знать и чувствовать всю скорбную суть народной жизни, одушевляться настоящими симпатіями и сохранить поэтическую связь съ природой. Въ каждой европейской литературѣ вы найдете поэтовъ, романистовъ, моралистовъ, положившихъ всѣ свои душевныя силы на дѣло народной правды, хотя и не выходили прямо изъ темной массы.

Сохранить цѣльность натуры — дѣйствительно трудно во всякой не чисто-народной средѣ; но безъ нравственнаго разлада нѣтъ и глубины сознанія, и ѣдкой горечи, и лирической силы, и озлобленія, необходимыхъ для глубокаго и продолжительнаго протеста, на который обрекъ себя поэтъ-гражданинъ!.. Онъ разорвалъ связь съ той рабовладѣльческой тиной, куда другой бы на его мѣстѣ окунулся, и началъ одинокій и дѣйствительно горькій путь умственного пролетарія въ Петербургъ. Въ сердцѣ его накопила уже ненависть въ ту пору, когда другіе молодые люди празднуютъ весну жизни; иначе бы онъ не воскликнулъ съ такой полнотой чувства:

„То сердце не научится любить,
„Которое устало ненавидѣть!“

Въ послѣдніе десять-пятнадцать лѣтъ типъ литературнаго пролетарія народился; но въ годы юности Некрасова — только тѣ шли добровольно въ чернорабочіе умственного труда изъ дворянской среды, кто сознавалъ въ себѣ настоящую силу, и хранилъ свой идеалъ правды и независимости. Знаетъ ли читатель, что Некрасову (такъ рассказываютъ люди той эпохи) приходилось писать все: куплеты, фельетоны, повѣсти, статьи — за *еженедѣльную плату* въ пять, въ десять рублей... Вотъ на какой сладкій путь попалъ онъ, не успѣвъ осуществить свою завѣтную мечту: пройти университетское ученіе... Петербургъ сразу, безъ всякаго смягченія, сурово и бездушно схватилъ его въ свои когти и заставилъ отдавать за кусокъ хлѣба — юношескій пылъ знанія, любви, великодушныхъ порывовъ, поэтическаго творчества. Онъ потянулъ ляжку, и рьяная и стойкая натура чувствовала, что она пробьется, что черной работѣ будетъ конецъ. Такъ

оно и случилось. Печать петербургской борьбы и стяжання осталась навсегда, но она же заставила поэта задѣть сразу такія ноты, которыхъ ждали всѣ: и добрый баринъ, и чиновникъ, и разночинецъ, и всякій городской голякъ, и забитая русская женщина.

Настоящій лиризмъ прорвался уже тогда, когда можно было сколько-нибудь пошире вздохнуть. А передъ тѣмъ слишкомъ назойлива была потребность, хоть въ искусственной, жесткой, или полузабавной, куплетной формѣ, да высказать долго накопившій протестъ. Побужденіе было слишкомъ законно, а матеріаль слишкомъ тяжелый, горькій, тусклый и надсадный, чтобъ поэзія, въ тѣсномъ смыслѣ, не пострадала... Съ годами должна была явиться привычка къ сатирическимъ мотивамъ, которымъ безсознательно жертвовались другіе образы, другое настроеніе, думы и упованія... Въ психологій творчества — какъ и въ самой обыденной дѣятельности — привычка ведетъ къ цѣлому ряду умственныхъ движеній *по готовымъ русламъ*... И случалось, что, въ послѣдніе годы, публика и критика подмѣчали какъ-бы нѣкоторую преднамѣренность, дѣланность, писаніе на темы... Если оно и такъ было, то тутъ Петербургъ главный виновникъ. Но кто бы другой сохранилъ въ себѣ настолько душевныхъ силъ, чтобы развить свое народное чувство, не переставать питать и просвѣтлять его гуманными взглядами и симпатіями, углублять поэтическую почву народной жизни. Такой поступательный ходъ мы видимъ въ карьерѣ Некрасова, по крайней мѣрѣ, въ теченіе двадцати пяти лѣтъ, съ половины сороковыхъ до семидесятыхъ годовъ. Начавъ съ небольшихъ вещей, съ разрозненныхъ картинокъ, онъ дошелъ до настоящихъ поэмъ, гдѣ и нужды сѣрой массы, и ея радости, и удаля, и органическая связь съ природой — все перевилось въ рядѣ образовъ, лирическихъ звуковъ, діалоговъ и драматическихъ сценъ. Откиньте тенденцію изъ большинства такихъ произведеній, если она вамъ не нравится — и все-таки останется богатое, разнообразное и поэтическое содержаніе, облеченное въ своеобразную, одному Некрасову принадлежащую, форму. Выражаясь такъ, мы употребляемъ только общедоступные термины; но давно пора-бы оставить этотъ

избитый критическій дуализмъ, это дѣленіе на *содержаніе* и *форму*. Форма и есть содержаніе и наоборотъ. А объ Некрасовѣ это слѣдуетъ говорить болѣе, чѣмъ о комъ-либо. Его форма не въ однихъ ритмическихъ особенностяхъ, не въ предпочтеніи тѣхъ или иныхъ размѣровъ стиха; а въ соотвѣтствіи съ характеромъ его думъ, симпатій, народной рѣчи и народнаго чувства. Все это—психически неизбѣжно, разумѣется, тогда, когда мы имѣемъ дѣло не съ стихотворцемъ, лишеннымъ оригинальности, а съ настоящимъ поэтомъ. И посмотрите: какъ жизненно и послѣдовательно захватывала муза Некрасова міръ своихъ образовъ и мотивовъ. Болѣе десяти лѣтъ она подготавливала почву, возбуждая сочувствіе ко всему, что кряхтитъ и ноетъ, что борется съ жизненной неправдой, и давала чувствовать, въ то же время, какъ много истинно-поэтического въ пониманіи дѣйствительности, какъ оно есть, во всемъ, что дышитъ, любить или ненавидить,—будетъ ли это мужикъ, мастеровой, спившійся приказный или публичная женщина, будетъ ли это глухая русская деревня или большой, болотный, смрадный городъ...

И въ этихъ-то горячихъ, выстраданныхъ звукахъ и краскахъ Некрасовъ былъ и остался поэтомъ, лирикомъ, а не узкообличительнымъ сатирическимъ стихотворцемъ. Въ этомъ его главная сила и обаяніе. Онъ и не измѣнялъ бы своему лиризму, если бъ публика и критика не сбивали его съ пути. Сатиръ требовали, а не лиризма, хотя бы и одушевленного искреннимъ гражданскимъ чувствомъ. Сатиры и являлись, иногда очень сильныя, ядовитыя, проникнутыя чисто-некрасовскою горечью, иногда, и довольно часто, точно вымученныя или жесткія, незначительныя по мотивамъ... Въ это время сатира въ прозѣ ушла очень далеко, перебрала множество сторонъ русской жизни и въ особенности всего петербургскаго, лжекультурнаго, весь міръ эксплуатаціи, разврата, безпробудной пошлости самодовольныхъ буржуа, дѣльцовъ и чиновныхъ паразитовъ. Тягаться съ ней было трудно, да и не слѣдовало совсѣмъ. А стихотворныя обличенія разлились цѣлымъ потокомъ мелкихъ куплетныхъ пьесъ,

переполнившихъ газетные листки, сдѣлались достояніемъ дешевыхъ остроумцевъ, а то такъ и просто пасквильнтовъ.

Тѣмъ, кто всего больше дорожилъ поэтическимъ даромъ Некрасова, неприятно было видѣть, какъ онъ отдаетъ слишкомъ усердно дань недоразумѣнію, насилуетъ себя даже во имя сатирической „службы“. Имъ такъ хотѣлось бы крикнуть ему: „будьте сыномъ своей родины, плачьте, негодуйте, любите, ненавидьте; но только оставайтесь могучимъ, своеобразнымъ лирикомъ, не размѣнивайте себя на мелкую монету сатирическихъ изображеній, не занимайтесь всѣми этими пошляками, которые и въ прозѣ набили намъ оскомину!“ И они, эти истинные друзья поэта, не ошиблись; даже теперь, на ложѣ ужасныхъ страданій, онъ остался пѣвцомъ любви ко всему, что обездолено на Руси, и чуткимъ поэтическимъ глашатаемъ грядущаго свѣта и добра. Только творческій талантъ и помогаетъ ему жить. Только онъ и манитъ его въ міръ звуковъ, образовъ и чувствъ, которымъ онъ пребылъ и пребудетъ вѣренъ до могилы. И самая горечь его приговоровъ своей яко бы бесплодной дѣятельности есть не что иное, какъ чувство лирика, подъ которымъ должно жить убѣжденіе поэта-гражданина, исполнившаго свой долгъ...

Когда вы обозрите мысленно все, что вошло въ творчество Некрасова, вамъ ясна будетъ общность національныхъ симпатій, возбуждаемыхъ имъ и сказавшихся теперь по поводу его тяжкаго недуга. Всѣ его читатели, кто „мыслилъ и страдалъ“, всѣмъ онъ откликнулся на какую-нибудь боль или душевную думу, каждого онъ очистилъ отъ какой-нибудь спеси, гордыни, нравственной слѣпоты, самодовольства, отъ равнодушнаго прозябанія. Всѣхъ не злыхъ и черствыхъ русскихъ культурныхъ людей объединилъ онъ въ пониманіи того, чѣмъ всѣ они обязаны народу, его выдержкѣ, его труду, его тихой подвижнической доблести, въ чувствѣ того, что слѣдуетъ сдѣлать для этой сѣрой массы, чего желать ей и для нея въ ближайшемъ будущемъ... Нужды нѣтъ, что грамотные и безграмотные простолюдины не повторяютъ имени Некрасова. Они еще никого не знаютъ поименно: ни Пушкина, ни Гоголя, ни Островскаго,

ни Гончарова, ни Тургенева. Но когда они начнут читать дешёвые книжки, куда попадут лучшія вещи Некрасова, они поймутъ его навѣрно и скорѣе всѣхъ другихъ полюбить его и передадутъ его имя изъ рода въ родъ... На этомъ сознаніи поэтъ нашъ можетъ отдохнуть душой...

Но и мы—пишущіе люди—не должны забывать, что даровитѣйшій и вполне народный поэтъ нашъ послужилъ также усердно и русской мысли, литературѣ и журнализму. Извѣстно, какъ умѣлъ онъ всегда собирать вокругъ себя самыхъ талантливыхъ, свѣжихъ, истинно-передовыхъ сверстниковъ. Когда Некрасовъ лишился въ 1866 году журнала—онъ не сложилъ руки, не успокоился, не превратился въ дилетанта, доживающаго на покой свой вѣкъ и пописывающаго стихи. Онъ опять взялся за руководство журнала—и, конечно, не для одного себя, не изъ тщеславной привычки печататься. Въ послѣдніе годы въ немъ только и жила настоящая любовь къ журнальному дѣлу изъ всѣхъ литературныхъ предпринимателей. Каждый, каковъ бы ни былъ его взглядъ на человѣка—видѣлъ въ Некрасовѣ настоящаго литературнаго дѣателя, обязаннаго всѣмъ своему таланту и труду, а не случайнаго дѣльца, который сегодня промышляетъ подрядами или играетъ на биржѣ, а завтра дѣлается журналистомъ. И мы не сомнѣваемся въ томъ, что съ своимъ именемъ онъ свяжетъ что-нибудь великодушное, какое-нибудь доброе дѣло, обращенное, прежде всего, къ міру умственнаго труда—когда настанетъ его чередъ проститься съ жизнью. Никто лучше его не знаетъ: что такое литературный пролетаріатъ; какъ ужасно проходить черезъ рядъ униженій изъ-за куска хлѣба, когда у человѣка нѣтъ ничего, кромѣ его таланта и знаній, когда онъ посвятилъ себя той убійственной дорогѣ, гдѣ нѣтъ никакой гарантіи и обезпеченности... Но добрыя дѣла дѣлаются и при жизни, и русскому поэту-гражданину судьба, сжалившись, можетъ послать еще долгій и славный вѣкъ!..

Изъ „Нашего Вѣка“.

* * *

*) Въ послѣднее время не только Петербургъ, но и вся

*) „Всемирная Иллюстрація“ 1877 г., № 435. (Н. А. Некрасовъ).

Россія были встревожены извѣстіемъ о плохомъ состояніи здоровья нашего любимого современнаго поэта—Н. А. Некрасова. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали рѣшенія знаменитаго вѣнскаго хирурга Бильрота, и когда узнали, что операція, сдѣланная имъ, предвѣщаетъ благополучный исходъ, вздохнули свободнѣе.

Эти обстоятельства заставляютъ насъ считать настоящимъ моментъ самымъ удобнымъ какъ для помѣщенія портрета писателя, пользующагося такою любовью общества, такъ и вмѣстѣ съ тѣмъ для опредѣленія его значенія.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ родился 22 ноября 1821 г. въ Каменецъ-Подольской губерніи, въ мѣстечкѣ, гдѣ квартировалъ отецъ его, служившій въ военной службѣ. Въ 1832 году мы видимъ будущаго поэта въ ярославской гимназій, такъ какъ отецъ его вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ имѣніи Грешнево, находящемся въ Ярославской губерніи. Гимназическій курсъ Николай Алексѣевичъ прошелъ до 5-го класса, но потомъ, отчасти по волѣ отца, отчасти по собственному желанію, онъ вознамѣрился поступить въ военную службу и отправился въ Петербургъ съ рекомендаціей къ жандармскому генералу Полозову, который представилъ его всемогущему въ то время Якову Ивановичу Ростовцеву, съ цѣлью опредѣлить въ дворянскій полкъ. Случайная встрѣча Некрасова въ Петербургѣ съ однимъ изъ своихъ товарищей, который познакомилъ его съ профессоромъ духовной академіи Д. И. Успенскимъ, измѣнила намѣреніе юноши, и онъ пожелалъ поступить въ университетъ. Полозовъ одобрилъ его рѣшеніе, но отецъ Николая Алексѣевича былъ до крайности раздраженъ его неповиновеніемъ и прекратилъ высылку ему пособій на содержаніе.

Несмотря на то, энергическій юноша не упалъ духомъ и сталъ готовиться, подъ руководствомъ Успенскаго, къ экзамену въ университетъ, но, къ несчастію, не выдержалъ экзамена изъ одного предмета, и потому не былъ принятъ. Тѣмъ не менѣе, ректоръ университета, извѣстный Плетневъ, уговорилъ его посѣщать лекціи въ качествѣ вольнаго слушателя. Это было самое тяжелое время въ жизни Некра-

сова: онъ принужденъ былъ искать средствъ къ существованію въ занятіяхъ уроками, корректурою и литературою.

Первыя его произведенія были напечатаны въ „Литературной Газетѣ“ и „Отечественныхъ Запискахъ“ въ 1839 году, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ издалъ сборникъ стиховъ подъ названіемъ „Мечты и Звуки“, вызвавшій строгое осужденіе со стороны Бѣлинскаго, но встрѣтившій одобрителный отзывъ въ „Библіотекѣ для Чтенія“. Къ этому же періоду относятся водевили Некрасова: „Шила въ мѣшкѣ не утаишь, дѣвушки подъ замкомъ не удержишь“ и нѣкоторые другіе, писанные подъ псевдонимомъ Н. А. Перепельскаго. Во всѣхъ произведеніяхъ Некрасова, хотя многія изъ нихъ были не выдержаны, обнаружились задатки недюжиннаго таланта, что позволило Николаю Алексѣвичу предаться исключительно литературѣ, прекративъ посѣщеніе лекцій въ 1841 году. Втеченіе непродолжительнаго времени судьба Некрасова измѣнилась къ лучшему. Въ 1847 году онъ, вмѣстѣ съ Панаевымъ, пріобрѣлъ „Современникъ“, положившій начало его извѣстности, чему много способствовало то, что въ этомъ журналѣ сгруппировались всѣ лучшія литературныя силы того періода.

Апогея слава Николая Алексѣвича достигла въ 1856 году, когда вышло собраніе его стихотвореній. Тогда были подняты вопросы о послѣдовавшихъ потомъ реформахъ, преимущественно объ освобожденіи крестьянъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, общество занималось толками о злоупотребленіяхъ, обнаруженныхъ крымскою кампаніею, и о причинахъ нашего пораженія. Направление литературы сдѣлалось преимущественно обличительнымъ. Появленіе въ этотъ моментъ звучныхъ, полныхъ негодованія и желчи стиховъ Некрасова, какъ нельзя болѣе соотвѣтствовало общественному настроенію и было встрѣчено публикою съ восторгомъ. Поэтъ первый нашель въ себѣ смѣлость выразить въ опредѣленной формѣ смутныя желанія, волновавшія ее, и она сразу поставила его на пьедесталь, не соотвѣтствовавшій силѣ его таланта. Публицистическій характеръ его стихотвореній былъ для насъ новостью, и потому такое увлеченіе простиительно. Тѣмъ болѣе, что вслѣдъ за поэтомъ явилась цѣлая школа

подражателей, болѣе или менѣе подходившая къ своему образцу, но ни одинъ изъ нихъ не достигъ высоты и страстности первообраза, хотя нѣкоторые изъ нихъ и не безъ таланта. Во всякомъ случаѣ, это направленіе было серьезнѣе и полезнѣе господствовавшего до того времени воспѣванія луны, дѣвы и торжественныхъ праздниковъ.

Такимъ образомъ, главная заслуга Некрасова состоитъ въ пробужденіи общественнаго сознанія; самъ же онъ въ художественномъ отношеніи не только не пошелъ далѣе, но даже нѣсколько опустился, начавъ писать большія поэмы. Поэмы эти не выдержаны, страшно растянуты, и въ нихъ попадаетъ порядочное количество неотдѣланныхъ стиховъ, хотя недостатки эти выкупаются превосходными, какъ по языку, такъ и по чувству, отдѣльными мѣстами. Причина такого явленія заключается, по нашему мнѣнію, въ томъ, что Некрасовъ, обладая даромъ поэта, не обладаетъ даромъ критика, и потому не въ состояніи усмотрѣть слабой стороны своихъ произведеній. Повинуясь вдохновляющему его чувству, онъ высказываетъ его въ первой подходящей формѣ, но не даетъ себѣ труда исправить эту форму и придать ей то изящество, которымъ отличаются, не говоря уже о стихахъ Пушкина и Лермонтова—даже произведенія второстепенныхъ поэтовъ пушкинскаго періода. Этимъ объясняется, какъ намъ кажется, та неровность, которая замѣчается во многихъ стихотвореніяхъ Некрасова, гдѣ, рядомъ съ превосходными мѣстами, встрѣчаются мѣста невыдержанныя. Приписать такое явленіе упадку таланта мы не можемъ, потому что послѣднія небольшія произведенія Николая Алексѣевича въ большей части ознаменованы прежней теплотой и силой чувства и той неподдѣльной скорбью и негодованіемъ противъ общественныхъ золъ, которыми пріобрѣли ему расположеніе публики.

Пожелаемъ же, чтобы знаменитый нашъ поэтъ еще долго подвизался на избранномъ имъ поприщѣ, возбуждая юныя силы къ служенію тѣмъ высокимъ идеаламъ, которымъ поэзія его никогда не измѣняла. Недостатки его забудутся, но толчокъ, данный имъ нашему общественному развитію,

не изгладится изъ памяти никогда и поставить его имя на ряду съ величайшими именами русской поэзіи.

Изъ „Всемирной Иллюстраціи“.

* * *

*) Появившійся на дняхъ въ свѣтъ седьмой томъ „Русской Библіотеки“ заключаетъ въ себѣ произведенія Николая Алексѣевича Некрасова. Въ этой изящной, замѣчательной своей дешевизной, книгѣ читатель найдетъ отрывки поэмъ: „Кому на Руси жить хорошо“, „Русскія Женщины“, „Морозъ — красный носъ“, большія стихотворенія, въ родѣ „Поэтъ и гражданинъ“, „Филантропъ“ и до 30 мелкихъ стихотвореній. Къ сожалѣнію, выборъ вошедшихъ въ книгу произведеній не совсѣмъ удачный. Въ нее не вошли, напр., такія произведенія Николая Алексѣевича, какъ „Коробейники“, „Огородникъ“, „Власть“, т. е. характерныя стихотворенія. Къ книгѣ присоединена біографія поэта... (Далѣе идутъ свѣдѣнія, заимствованныя изъ біографіи Некрасова).

Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“.

* * *

**) На дняхъ вышелъ въ свѣтъ седьмой томъ „Русской Библіотеки“, посвященный на этотъ разъ стихотвореніямъ нашего любимаго народнаго поэта *Н. А. Некрасова*. Въ составъ сборника вошли лучшія произведенія поэта... (слѣдуетъ перечисленіе произведеній. Къ книгѣ приложена біографія и недурно литографированный портретъ поэта, снятый съ него въ 1872 году.

Говоря о Некрасовѣ, мы считаемъ долгомъ сообщить нашимъ читателямъ, что, къ крайнему прискорбію многочисленныхъ почитателей симпатичнаго поэта, серьезная болѣзнь, вотъ уже годъ приковывающая его къ кровати и нѣсколько облегченная послѣ недавней операціи, стала въ послѣднее время вновь внушать тяжелыя опасенія, въ виду того, что силы больного замѣтно слабѣютъ съ каждымъ днемъ.

Изъ „Нашего Вѣка“.

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1877 г., № 99.

**) „Нашъ Вѣкъ“, 1877 г., № 62.

Некрологи и посмертныя статьи.

*) Пали съ плечъ подвижника вериги,
И подвижникъ мертвымъ палъ.

Русская литература понесла видную потерю: во вторникъ, 27-го декабря, въ 8 часовъ 50 минутъ вечера, скончался *Николай Алексѣвичъ Некрасовъ*. Смерть эта, правда, не была неожиданностью. Послѣ операціи, сдѣланной въ мартѣ нынѣшняго года вызваннымъ изъ Вѣны знаменитымъ хирургомъ Бильротомъ, Николай Алексѣвичъ Некрасовъ былъ неустанно прикованъ къ болѣзненному одру. Только нѣсколько разъ, въ теченіе девяти мѣсяцевъ, по совѣту врачей его, такъ сказать, вывозили на воздухъ. Самъ онъ физически совершенно изнемогъ, хотя душевныя силы не измѣняли ему почти до послѣдняго момента. Съ ранняго утра, въ понедѣльникъ, 26-го декабря, онъ потерялъ сознаніе, и переходъ его въ вѣчность совершился тихо и безмятежно. Онъ скончался на рукахъ пользовавшаго его врача, доктора Н. Л. Бѣлоголоваго. Изъ близкихъ родственниковъ покойнаго поэта въ послѣднія минуты окружали его жена, братъ и сестра. Другой братъ, живущій въ Ярославлѣ, извѣщенъ о катастрофѣ по телеграфу, и его ждутъ завтра. Несмотря на роковую вѣсть, сообщенную г. Бѣлоголовымъ, домочадцы поэта, подъ вліяніемъ понятнаго чувства, въ первый моментъ, желали какъ бы подтвержденія ужасной вѣсти, и когда стало ясно, что Николай Алексѣвичъ Некрасовъ окончилъ свою страдальческую жизнь, тотчасъ была снята съ лица покойника полная маска для бюста. Съ сегодняшняго утра, въ квартиру, которую занималъ Н. А. Некрасовъ, въ домѣ Краевского, на углу Литейной и Басейной, приходили не одни друзья и знакомые, но и многіе почитатели таланта, поклониться его тѣлу. Между прочимъ, художникъ Микѣшинъ явился и поспѣшилъ удержать на бумагѣ черты дорогого русскаго поэта. На первой панихидѣ, происходившей сегодня, 28-го декабря, въ 8 ча-

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1877 г., № 358 („Памяти Н. А. Некрасова“).

совъ вечера, присутствовалъ довольно значительный кружокъ лицъ, въ которомъ литературный элементъ имѣлъ не мало представителей. Такъ, между прочимъ, можно было видѣть гг. Салтыкова (Щедрина), Гончарова, А. Потѣхина, Суворина, Плещеева и другихъ. Собственно вопросъ, отъ какой именно болѣзни скончался Н. А. Некрасовъ, долженъ разрѣшить профессоръ Груберъ, который приглашенъ родственниками для производства вскрытія. Завтра, въ четвергъ, 29-го декабря, будутъ отслужены панихиды, въ вышеупомянутой квартирѣ въ 1 часъ пополудни и въ 8 часовъ вечера, а выносъ, въ Новодѣвичій монастырь, послѣдуетъ въ пятницу, 30-го декабря, въ 9 часовъ утра. Не подлежитъ сомнѣнію, что, при отданіи этой послѣдней христіанской услуги въ лицѣ безвременно угасшаго для литературы дѣятеля, будетъ почтенъ народный поэтъ, который самъ вѣрно очертилъ значеніе своей музы:

Черезъ бездны темныя насилія и зла,
Труда и голода она меня вела —
Почувствовать свои страданья научила
И свѣту возвѣстить о нихъ благословила...

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“.

* * *

*) Сегодня, во вторникъ, 27-го декабря, въ исходѣ 9-го часа вечера скончался *Николай Алексѣевичъ Некрасовъ*. Годами нажитая болѣзнь въ послѣдніе три года окончательно измучила несчастнаго страдальца и свела его въ могилу. Смерть не была для него неожиданною: на дняхъ еще онъ признавался одному изъ друзей своихъ, что рѣшился, въ концѣ марта, на операцію, единственно тая въ душѣ сладкую надежду, что подъ ножомъ хирурга прекратятся невыносимыя, сверхчеловѣческія мученія. Онъ желалъ смерти, какъ избавленія отъ мучительной жизни.

Нѣтъ, не поможетъ мнѣ аптека,
Ни мудрость опытныхъ врачей:
Зачѣмъ же мучить человѣка?
О, небо, смерть пошли скорѣй!

*) „Голось“ 1877 г., № 318 (Некрологъ).

Это не поэтическая вольность—это стонъ, вызванный изъ груди страдальца страшными мученіями. Онъ любилъ жизнь и нѣкогда пользовался ею въ полной мѣрѣ; мысль о смерти явилась лишь послѣ трехлѣтней болѣзни. Съ конца марта, когда вѣнскій хирургъ Бильротъ сдѣлалъ ему операцію, онъ не вставалъ уже съ постели, которую справедливо называлъ „не ложемъ—иглами“. Онъ умеръ тихо, спокойно, въ полузабытіи...

Жизнь поэта—въ его стихотвореніяхъ; жизнь Некрасова всѣмъ извѣстна, и его біографію многіе знаютъ наизусть. У теплаго еще трупа, изъ полуоткрытыхъ еще устъ его, какъ бы слышится его поученіе „Сѣятелямъ знанья на ниву народную“, такъ вѣрно и точно характеризующее его сердечное желаніе, секретъ силы его поэзіи:

Сѣйте разумное, доброе, вѣчное,
Сѣйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное
Русскій народъ...

Изъ „Голоса“.

* * *

*) Съ глубокою грустью сообщаемъ мы печальное извѣстіе о великой утратѣ, понесенной русской литературой: сегодня 27-го декабря, въ 8 часовъ вечера, послѣ долгой и мучительной агоніи, продолжавшейся почти пятнадцать часовъ, скончался Николай Алексѣевичъ Некрасовъ. Вѣсть о кончинѣ этого поэта отзовется по всей Россіи, которая знала наизусть его энергическія и прочувствованныя пѣсни—задушевные отголоски и горя и мощи русскаго народа. Николай Алексѣевичъ родился 22-го ноября 1821 года, стало быть, прожилъ всего 56 лѣтъ. Въ теченіе неутомимаго, долгаго служенія русской поэзіи, покойный сдѣлалъ такъ много, что, безъ сомнѣнія, этого слишкомъ довольно для сохраненія за нимъ славы крупнаго поэта, достойнаго стать рядомъ съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ. Кромѣ поэтическихъ заслугъ. Некрасовъ имѣлъ продолжительное и большое вліяніе въ русской журналистикѣ, въ которой онъ былъ самымъ опытнымъ и энергическимъ дѣятелемъ. И все-таки,

*) „Новое Время“ 1877 г., № 658.

несмотря на долгіе и плодотворные труды покойнаго, невольно сжимается сердце при мысли о томъ, что роковой недугъ, преслѣдовавшій его въ послѣдній годъ его жизни, слишкомъ рано отнялъ этого человѣка у его родины. Некрасовъ, судя по его предсмертнымъ стихотвореніямъ, не утратилъ своего энергическаго таланта и вѣроятно могъ бы еще пропѣть такіа пѣсни, которыя отозвались бы во всѣхъ сердцахъ и прибавили бы новые лавры къ сумрачному терновому вѣнцу музы мести и печали. Но судьба судила иначе: смерть отняла у русскаго народа его лучшаго поэта преждевременно.

Изъ „Новаго Времени“.

* * *

*) Во вторникъ, 27-го декабря, въ 8¹/₂ часовъ вечера, окончились для Некрасова его тяжкія, невыносимыя муки. Онъ умеръ послѣ тяжелой агоніи, продолжавшейся болѣе полусутокъ.

Россія потеряла въ немъ поэта, который первый сумѣлъ заглянуть въ сердце простого русскаго человѣка и въ сильныхъ, невольно запечатлѣвающихся въ памяти каждого стихахъ высказать подавляющую его скорбь и его убогія упованія. Молодое поколѣніе прежде всего запоминало стихи Некрасова и по нимъ училось сочувствовать народному горю и сознать свои гражданскія къ народу обязанности. Скорбное извѣстіе о смерти Некрасова проникнетъ въ самые отдаленные углы нашего отечества и вызоветъ искреннее соболѣзнованіе о немъ, какъ о могучемъ общественномъ дѣятелѣ. Выступая на поприще своего гражданского служенія, поэтъ, оглядываясь вокругъ себя, имѣлъ полное право сказать глубоко выстраданныя слова:

Въ насъ подъ кровлею отеческой
Не запало ни одно
Мысли чистой, человѣческой
Плодотворное зерно.

Это-то зерно человѣческой мысли и насаждалъ Некрасовъ всею своею литературною дѣятельностью.

*) „Виржевыя Вѣдомости“ 1877 г., № 334 (Некрологъ).

Некрасовъ умеръ 56 лѣтъ отъ роду. Два года тому назадъ это былъ еще человѣкъ бодрый, крѣпкій, обладавшій такимъ здоровьемъ, что никому не приходила въ голову мысль объ его близкой кончинѣ. Болѣзнь быстро сокрушила его крѣпкій организмъ. Но даже и подъ гнетомъ тяжелыхъ страданій Некрасовъ не прекращалъ своего общественнаго служенія и какъ бы ловилъ всякую минуту облегченія отъ боли, чтобы выражать то, что ему казалось еще невысказаннымъ. Въ одну изъ такихъ минутъ онъ за-вѣщалъ друзьямъ своимъ:

Вамъ же не праздно, друзья благородные,
Жить и въ такую могилу сойти,
Чтобы широкіе лапти народные
Къ ней проторили пути.

Ударъ, постигшій Некрасова въ четвергъ на прошедшей недѣлѣ, ускорилъ его кончину. Онъ умеръ отъ задушенія.

Выносъ тѣла покойнаго назначенъ въ пятницу. По его желанію, онъ будетъ похороненъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ.

Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“.

* * *

*) 27-го декабря, въ 8 часовъ 50 минутъ вечера, скончался Николай Алексѣевичъ Некрасовъ. Почти два года продолжалась мучительная болѣзнь, сведшая поэта въ могилу. Она до такой степени истощила его, что этотъ дорогой всѣмъ намъ образъ неузнаваемъ... Отпечатокъ глубокаго страданія лежитъ на немъ... Въ послѣдніе дни недуга Н. А. уже не принималъ никакой пищи. Одинъ изъ пользовавшихъ его врачей говорилъ, что ему никогда не случалось видѣть больного, до такой степени исхудавшаго.

Хотя эта скорбная вѣсть не является для нашего общества неожиданностью, но тѣмъ не менѣе она не можетъ не произвести глубоко потрясающаго впечатлѣнія на всѣхъ, кому дороги судьбы русской литературы, теряющей въ покойномъ поэтѣ одного изъ великихъ своихъ представителей, — не говоря уже о людяхъ, имѣвшихъ счастье знать

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1877 г., № 334. „Николай Алексѣевичъ Некрасовъ“. Статья А. Плещеева.

его лично, находиться въ близкихъ и частыхъ сношеніяхъ. Для тѣхъ, кто посвятилъ себя поэтической дѣятельности, утрата эта особенно чувствительна, скажемъ болѣе—незамѣнима... Поэты, приносившіе къ нему свои произведенія, всегда могли рассчитывать на его сочувственное, ободряющее слово, на полезный и добрый совѣтъ. Часто случается, что даровитые писатели бываютъ плохими цѣнителями чужихъ произведеній, но къ покойному Н. А. никакъ нельзя было примѣнить этого; напротивъ, онъ обладалъ необыкновенной критической способностью, и отзывы его всегда были въ высшей степени вѣрны... Вообще это былъ человѣкъ сильнаго, выдающагося ума, и та же самая вѣрность и ширина взгляда замѣчалась у него при оцѣнкѣ людей и фактовъ.

Заслуги Некрасова, какъ журналиста, точно такъ же огромны. Онъ умѣлъ сгруппировать около себя въ „Современникѣ“ самыя крупныя литературныя силы той эпохи,—и кому не извѣстно вліяніе, которое имѣлъ на тогдашнее общество этотъ журналъ? Трудно, почти невозможно быть долгіе годы журналистомъ и не нажить себѣ враговъ, и у Некрасова было ихъ много... распускавшихъ о немъ часто самыя нелѣпыя, лишенные всякаго основанія слухи.

Къ нимъ, разумѣется, принадлежали всѣ тѣ, чье самолюбіе было задѣто выраженнымъ въ журналѣ мнѣніемъ объ ихъ дѣятельности. Но люди, постоянно работавшіе въ журналѣ и близко стоявшіе къ редакціи, засвидѣтельствуютъ, насколько было правды въ отзывахъ этихъ доброжелателей, часто даже заподозрѣвавшихъ искренность его поэтическаго настроенія, его сочувствія ко всему страждущему и угнетенному и той горячей любви къ народу, которою проникнуты лучшія созданія угасшаго поэта...

И не только добрымъ совѣтомъ и сочувственнымъ словомъ готовъ былъ всегда помочь Некрасовъ пишущей братіи, приносившей къ нему на судъ свои произведенія. Имѣя вполнѣ обезпеченныя средства къ жизни, но пройдя въ юности школу нужды, онъ никогда не оставался глухъ къ нуждамъ своихъ сотоварищей по профессіи, умѣлъ войти въ положеніе писателя и не только оказать ему помощь,

но оказать ее такъ, что она не оскорбляла самолюбія одолженнаго. Еще много голосовъ, безъ сомнѣнія, раздастся въ подтвержденіе моихъ словъ.

Спи мирно, нашъ дорогой, горячо любимый поэтъ... „Народная тропа не зарастетъ къ тебѣ“... И пока на Руси будетъ биться хоть одно сердце, желающее блага своей родинѣ и въ которомъ не изсякла любовь къ поэзіи,—твое имя, твои выстраданныя пѣсни не умрутъ...

А. Плещеевъ.

* * *

*) Первая панихида по кончинѣ Некрасова совершалась въ среду, 28-го декабря, въ 7 часовъ вечера. Грустная вѣсть о смерти любимаго поэта быстро разнеслась по городу и собрала на эту панихиду большое количество публики изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества. Прахъ усопшаго поэта лежалъ на столѣ въ средней комнатѣ (между кабинетомъ и пріемною, въ которой при жизни Некрасова собирались обыкновенно сотрудники „Отечественныхъ Записокъ“). Въ этой же комнатѣ, гдѣ стоитъ теперь гробъ, лежалъ больной поэтъ въ періодъ своихъ послѣднихъ страданій и здѣсь же онъ написалъ свои послѣднія предсмертныя пѣсни. Украшенный живыми цвѣтами поэтъ, нѣкогда полный жизни и здоровья,—увы!.. лежитъ теперь усопшій съ выраженіемъ страшныхъ страданій, запечатлѣвшихся на его выразительномъ, всѣмъ намъ знакомомъ лицѣ. Скромная обстановка комнаты, въ которой лежитъ теперь Некрасовъ. Въ головѣ покойнаго, на кругломъ столикѣ—небольшой образъ Спасителя... четыре большихъ подсвѣчника окружаютъ прахъ поэта... обыкновенный, церковный свѣтленькій покровъ... сильно измѣнившійся, страдальческій обликъ... монотонное чтеніе псалмовъ—все производитъ тяжелое, подавляющее впечатлѣніе, и только со вкусомъ уложенные живые цвѣты до нѣкоторой степени смягчаютъ мрачный колоритъ картины.

Вчера, 29-го декабря, Некрасовъ былъ положенъ въ гробъ. Его дубовый гробъ, обтянутый желто-золоченымъ

*) „Виржевыя Вѣдомости“ 1877 г., № 335.

позументомъ, такъ же простъ, какъ и вся остальная обстановка комнаты. На вчерашней панихидѣ собралось множество публики. Кромѣ всѣхъ сотрудниковъ „Отечественныхъ Записокъ“, на первой и на второй панихидѣ мы встрѣтили издателей и сотрудниковъ: „Новаго Времени“, „Недѣли“, „Биржевыхъ Вѣдомостей“, „Голоса“, „Вѣстника Европы“, „Слова“, „Дѣла“, „Новостей“ и многихъ другихъ ежедневныхъ и повременныхъ изданій. Третьяго дня въ числѣ посѣтителей были нѣкоторые извѣстные адвокаты, художники, цензора, нѣкоторые изъ членовъ управленія по дѣламъ печати. Вчера утромъ собралась на панихиду почти вся литература. Художникъ Микѣшинъ срисовалъ портретъ съ покойнаго Некрасова, другой художникъ предлагалъ снять маску. Посѣтителямъ нѣтъ конца. Самая пестрая, разнообразная публика является къ гробу покойнаго. Въ особенности много дамъ, молодыхъ и старыхъ,—всѣ въ слезахъ; молодежь съ утра до ночи прибываетъ и окружаетъ гробъ покойнаго.

Вчера, послѣ панихиды, изъ массы собравшейся публики выдѣлился господинъ среднихъ лѣтъ и, произнеся надъ гробомъ четверостишіе Лермонтова (изъ его стихотворенія на смерть Пушкина):

„Замолкли звуки дивныхъ пѣсень,
Не раздаваться имъ опять...
Пріютъ пѣвца угрюмъ и тѣсенъ
И на устахъ его печать,

прибавилъ: „Мы должны помнить: передъ нами лежитъ прахъ великаго человѣка, который училъ насъ быть добрыми!“—„Да, онъ научилъ меня быть доброй!“ воскликнула въ отвѣтъ одна изъ присутствовавшихъ дамъ и, кинувшись цѣловать покойнаго поэта, упала въ обморокъ около самаго гроба.

Какъ это ни кажется страннымъ, но въ безконечномъ числѣ прибывающей публики мы не встрѣтили ни одного артиста, за исключеніемъ г. Сазонова, между тѣмъ какъ артисты не должны собственно забывать того, что въ дни юности покойный Некрасовъ былъ друженъ со многими представителями русской сцены.

Въ ночь съ 28-го на 29-е число врачи, пользовавшіе Некрасова, произвели вскрытіе тѣла съ цѣлью опредѣленія его загадочной болѣзни. Результатъ пока неизвѣстенъ, но найденная изъязвленная опухоль, причинявшая столь большія страданія и вызвавшая подъ конецъ смерть, взята для микроскопическаго изслѣдованія. Сегодня, 30-го декабря, въ 9 часовъ утра назначенъ выносъ тѣла на кладбище Новодѣвичьяго монастыря.

Вчера съ покойнаго снята гипсовая маска.

Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“.

* * *

*) На панихидѣ, происходившей сегодня, въ четвергъ, 29-го декабря, въ часъ пополудни, въ квартирѣ Н. А. Некрасова, собралась масса посѣтителей, желавшихъ почтить память усопшаго поэта. Въ числѣ ихъ было не мало литераторовъ. Покойный былъ уже положенъ въ гробъ. Черты лица измѣнились до того, что нѣтъ возможности уловить хотя какое-либо сходство съ прежнимъ, живымъ Некрасовымъ. Результатъ вчерашняго вскрытія, произведеннаго профессоромъ Груберомъ, въ присутствіи ассистента и доктора Бѣлоголоваго, еще съ достовѣрностью констатированъ быть не можетъ, такъ какъ микроскопическое изслѣдованіе извлеченныхъ внутренностей еще не окончено. Тѣмъ не менѣе, вскрытіе это привело къ обнаруженію неожиданнаго факта; именно, оказалось, будто бы, одна изъ кишекъ приросла къ позвоночному столбу. Кромѣ того, въ желудкѣ усмотрѣна опухоль. Въ виду такихъ открытій не трудно понять, какія ужасныя страданія долженъ былъ выносить Некрасовъ въ послѣднія минуты своей жизни. Полное ослабленіе организма наступило, впрочемъ, лишь въ прошлый четвергъ, 22-го декабря, послѣ бывшаго съ нимъ удара. Хотя эта катастрофа прошла относительно благополучно, но непосредственнымъ ея послѣдствіемъ, кромѣ указаннаго упадка силъ, было то, что Н. А. Некрасовъ лишился способности владѣть лѣвою рукою. Собственно съ этого момента началась медленная агонія, несмотря на то, что сознаніе

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1877 г., № 359 (Хроника).

не покидало поэта. Въ понедѣльникъ, 26-го декабря, онъ впалъ въ безсознательное состояніе въ 5 часовъ утра, разрѣшившееся, 16 часовъ спустя, смертію.

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“.

* * *

*) Некрасовъ принадлежалъ къ числу тѣхъ русскихъ самородковъ, которые выработкою своего таланта, своимъ развитіемъ обязаны исключительно самимъ себѣ, своимъ собственнымъ усиліямъ. Дѣтство свое Некрасовъ провелъ, по его собственнымъ словамъ, въ обстановкѣ очень печальной. „Въ невѣдомой глуши, въ деревнѣ полудикой, я росъ—говоритъ онъ—среди буйныхъ дикарей, и мнѣ дала судьба, по милости великой, въ руководители псарей“. Шестнадцати лѣтъ, Некрасовъ, прибылъ въ Петербургъ безъ всякихъ средствъ къ жизни, безъ знаній, безъ образованія и вступилъ прямо на литературное поприще. Онъ пробовалъ свои силы въ разныхъ родахъ: писалъ стихи, рассказы, наконецъ, принялся за рецензіи, чтобъ пристроиться къ журналистикѣ. Съ какою египетскою работою было соединено для него сначала писаніе рецензій, можно судить по слѣдующему разсказу, слышанному нами отъ него самого:

„Я прочитывалъ—говорилъ онъ—книгу, на которую хотѣлъ писать рецензію; затѣмъ шелъ съ нею въ публичную библіотеку, обкладывалъ здѣсь себя всѣми имѣвшимися на русскомъ языкѣ реториками, внимательно перечитывалъ въ нихъ разные правила, какъ должно писать сочиненія, повѣрялъ, насколько и какъ прилагаются эти правила на разныхъ журнальныхъ рецензіяхъ, потомъ снова перечитывалъ книгу, на которую хотѣлъ писать рецензію, и тогда уже только принимался за собственную работу“. Мало по-малу, Некрасовъ приучался, такимъ образомъ, писать рецензіи и писалъ ихъ очень много въ „Литературной Газетѣ“, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ до 1846 года, потомъ въ первые годы „Современника“. Тотъ невѣроятно тяжелый путь, который проходилъ Некрасовъ, чтобъ добиться искусства писать, несомнѣнно, имѣлъ громадное вліяніе на раз-

*) „Голосъ“ 1877 г., № 320 (Некрологъ).

витіе его логической мысли, на приученіе ея къ строгому анализу, которымъ покойный владѣлъ въ замѣчательной степени. Благодаря этой внутренней работѣ надъ собою и вліянію Бѣлинскаго, Некрасовъ сталъ на настоящую дорогу какъ въ отношеніи оцѣнки литературныхъ явленій и значенія литературы вообще, такъ и относительно собственнаго своего развитія.

Некрасовъ рано понялъ, что, „хотя онъ не Пушкинъ, но откуда не видно солнца ни откуда, съ его талантомъ стыдно спать; еще стыднѣй въ годину горя, красу долинь, небесъ и моря, и ласку милой воспѣвать“, и посвятилъ свою музу на служеніе благу меньшей братіи. Повидимому, это немного. Но въ дѣйствительности это несомнѣнный признакъ таланта очень крупнаго, если вспомнимъ, что нѣкоторые изъ его талантливыхъ литературныхъ сверстниковъ остановились на тѣхъ самыхъ идеяхъ, на которыхъ стояли до освобожденія крестьянъ, встрѣтивъ даже враждебно дѣйствіе новыхъ идей въ жизни; Некрасовъ же постоянно шелъ впередъ. Онъ чутко прислушивался къ движенію новой жизни, быстро примѣчалъ каждое, едва только нарождающееся здѣсь вѣяніе и немедленно спѣшилъ проложить или облегчить ему путь своею вдохновенною пѣснью. Въ такомъ же направленіи шла его дѣятельность и въ качествѣ редактора-издателя журналовъ. Всякая свѣжая, живая мысль ко благу меньшей братіи, всякое горячее слово участія къ нимъ принималось имъ съ распростертыми объятіями. Одному изъ своихъ отсталыхъ талантливыхъ сверстниковъ Некрасовъ говорилъ, что если журналистика не ставитъ своею главною задачею помогать униженнымъ, забитымъ и угнетеннымъ и заботиться о ихъ благосостояніи, то нѣтъ смысла въ ея существованіи.

Многіе называли и называютъ Некрасова народнымъ поэтомъ. И онъ заслужилъ это названіе по всей справедливости. Правда, народъ нашъ пока безграмотенъ; онъ не читаетъ Некрасова, онъ не знаетъ его, не слыхалъ даже объ имени поэта; но когда народъ просвѣтится и познакомится съ нашею литературою доэмансипаціоннаго и даже послѣэмансипаціоннаго послѣднихъ двухъ десятилѣтій, онъ

оцѣнить Некрасова и самъ увѣнчиваетъ его именемъ народнаго поэта за тѣ горячія и глубокія симпатіи къ народу, которыми запечатлѣны его стихотворенія, за тѣ полныя силы и искренности протесты, которыми онъ гремѣлъ противъ притѣснителей народа, противъ всѣхъ тѣхъ домовъ, хотя бы они были и отчіе,

Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликованій
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій,
Гдѣ только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ,
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ.

Изъ „Голоса“.

* * *

*) Сегодня, въ пятницу, 30-го декабря, ровно въ 9 часовъ утра, тѣло Николая Алексѣевича Некрасова было вынесено изъ его квартиры для препровожденія на кладбище Новодѣвичьяго монастыря. Проводить поэта собрались его многочисленные знакомые изъ разныхъ слоевъ общества, почитатели его таланта, представители науки, литературы, журналистики, много молодежи, воспитанниковъ не только высшихъ учебныхъ заведеній, но и гимназій, гражданскихъ и военныхъ. Бренныя останки Некрасова были положены въ гробъ, обитый золотымъ позументомъ, на крышкѣ лежало нѣсколько роскошныхъ вѣнковъ изъ живыхъ и искусственныхъ цвѣтовъ. Приготовленная для перевезенія тѣла траурная колесница подъ балдахиномъ ѣхала позади печальной процессіи, такъ какъ до самаго кладбища гробъ былъ несенъ на плечахъ усердствующихъ. Впереди процессіи шли пѣвчіе, за ними несли громадныя лавровыя вѣнки съ различными надписями изъ мелкихъ цвѣтовъ: „Отъ русскихъ женщинъ“, „Пѣвцу народныхъ страданій“, „Безсмертному пѣвцу народа“, „Слава печальнику горя народнаго“, „Некрасову—студенты“. Во время шествія кортежа, масса народа, окружавшая гробъ, стройнымъ хоромъ пѣла „Святыи Боже“. Общее настроеніе было самое сочувственное памяти поэта. У церкви процессія останавливалась для краткой надгробной литіи и затѣмъ медленно продолжала путь среди сплошной массы народа:

*) „Голосъ“ 1877 г., № 321.

Въ рѣчи, произнесенной въ церкви, надъ гробомъ умершаго, профессоръ университета, священникъ М. П. Горчаковъ, указаль на значеніе покойнаго, какъ народнаго поэта, носителя и выразителя страдальческихъ чувствъ и думъ русскаго народа, соединенныхъ съ крѣпкою надеждою и вѣрою въ истину, добро и правду, и на отношеніе возрѣвнѣй поэта къ отечественной церкви. Ораторъ говорилъ, что въ мощныхъ стихахъ поэта вмѣстѣ съ сильными звуками народнаго горя, сильно и громко звучать тоны твердой надежды и вѣры народной, вѣры въ истину, правду и добро; и что Некрасовъ былъ выразителемъ не одного какого-нибудь класса народа и не кружка, но общій, народный поэтъ. Отношенія поэта къ отечественной церкви ораторъ изобразилъ превосходными стихами самого поэта, извлеченными изъ извѣстнаго произведенія „Рыцарь на часъ“.

Не блѣднѣть предъ правдой-царицею
Научила ты музу мою...
Сколько разъ я надъ бездною стоялъ,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падалъ...
Выводи на дорогу тернистую.

Изъ рѣчей, произнесенныхъ на кладбищѣ, надъ гробомъ поэта, обратила на себя вниманіе, между прочимъ, рѣчь В. А. Панаева, который, на основаніи своего 38-ми лѣтняго знакомства съ Н. А. Некрасовымъ, обрисоваль его какъ человѣка, нравственность котораго выше всякихъ сомнѣній. Такой талантъ—сказаль г. Панаевъ—могъ быть только въ человѣкѣ высокихъ нравственныхъ качествъ. Опустивъ гробъ въ могилу, бросивъ на нее послѣднюю слезу, родные, друзья, знакомые и почитатели таланта Н. А. Некрасова, уходя съ кладбища, уносили съ собою сознаніе исполненнаго послѣдняго долга къ поэту, пѣсня котораго получить должную оцѣнку лишь тогда, когда народъ, для котораго слагалась она, самъ прочтетъ ее, а не будетъ, какъ теперь, распѣвать съ чужого голоса...

Изъ „Голоса“.

*) Последняя почеть, оказанная смертным останкам угасшаго поэта, соответствовала той популярности, которая была его удѣломъ въ средѣ русскаго общества. Сегодня, въ пятницу, 30-го декабря, въ 9 часовъ утра, былъ назначенъ выносъ тѣла Некрасова изъ его квартиры, на углу Литейной и Бассейной. Уже въ 8 часовъ утра квартира стала наполняться посѣтителями обоего пола. Въ это же время былъ принесенъ и положенъ на гробъ вѣнокъ съ надписью въ серединѣ: „Отъ русскихъ женщинъ“. У подъѣзда стояла траурная колесница, запряженная четверкою лошадей, съ роскошнымъ балдахиномъ. На тротуарѣ передъ домомъ и на улицѣ, мало-по-малу, стекались массы народа. Петербургъ какъ будто проснулся ранѣе обычного часа, чтобы проводить достойнымъ образомъ высокодаровитаго поэта на мѣсто вѣчнаго успокоенія. Ровно въ 9 часовъ утра, гробъ былъ вынесенъ на рукахъ и, какъ слѣдовало ожидать, не былъ поставленъ на траурную колесницу. Гробъ несли первоначально нѣкоторые изъ литераторовъ, стоявшихъ близко къ покойному, и учащаяся молодежь. Передъ гробомъ несли шесть лавровыхъ вѣнковъ. Впереди шли двѣ женщины, держа вѣнокъ съ надписью: „Отъ русскихъ женщинъ“. Въ нѣкоторомъ разстояніи сзади, выстроившись въ одну линію, несли пять вѣнковъ, снабженныхъ также довольно характерными надписями. Всѣ надписи, составленныя изъ бѣлыхъ цвѣтовъ, весьма отчетливо выдѣлялись на зеленомъ фонѣ. Онѣ гласили: первая— „Поэту народныхъ страданій“, вторая— „Слава печальнику горя народнаго“, третья— „Некрасову— студенты“, четвертая— „Безсмертному пѣвцу народа“ и пятая— „Некрасову отъ сотрудниковъ“. Разстояніе между линією вѣнковъ и гробомъ, шаговъ около двѣсти, было, почти во всю ширину улицы, покрыто густою, сплошною массою народа. Литературный міръ былъ также почти въ полномъ сборѣ. Здѣсь были: Салтыковъ (Щедринъ), Плещеевъ, Шеллеръ, Михайловскій, Достоевскій, Мордовцевъ, Данилевскій, А. Потъ-

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“, 1877 г., № 360 („Похороны Некрасова“).

хинъ, Буренинъ, Стасюлевичъ, Григоровичъ, Вейнбергъ, Сергѣй Максимовъ и много другихъ. Вѣрнѣе, впрочемъ, было бы назвать отсутствовавшихъ, хотя такихъ, по видимому, не было. Университетъ на этомъ прощальномъ чествованіи имѣлъ двухъ представителей, въ лицѣ профессоровъ—Сухомлинова и Таганцева. Изъ художниковъ можно было видѣть гг. Маковского и Микѣшина, который, какъ слышно, снялъ съ покойнаго поэта весьма удачный портретъ. Непосредственно за гробомъ, во главѣ новой сплошной стѣны народа, шли ближайшіе родственники Некрасова—жена его, затѣмъ сестра, Анна Алексѣевна Еракова, съ мужемъ и дѣтьми и одинъ изъ братьевъ Николая Алексѣевича. Кorteжъ двигался медленно. Достаточно сказать, что, выступивъ съ угла Литейной и Бассейной въ 9 часовъ утра, онъ поравнялся съ Технологическимъ институтомъ въ 11 часовъ, а въ ограду Новодѣвичьяго монастыря вошелъ едва около часа пополудни. Толпа, по мѣрѣ движенія corteжа, все росла и росла, такъ что число участвовавшихъ въ corteжѣ представляло, по меньшей мѣрѣ, пятитысячную массу. На Загородномъ проспектѣ гробъ былъ прилаженъ на трехъ длинныхъ деревянныхъ шестахъ, и съ этого момента corteжъ приобрѣлъ какъ бы правильную организацію. Въ несеніи гроба, одновременно, могло участвовать 24 лица, по 12-ти съ каждой стороны. Порядокъ, во время движенія corteжа, несмотря на многотысячныя массы народа, не былъ нарушаемъ. Вокругъ гроба публика изъ своей среды выдѣлила много охотниковъ обо-его пола, составившихъ цѣпь, которая позволяла гробу безпрепятственно двигаться впередъ. Такая же цѣпь составилась вокругъ несомыхъ передъ гробомъ лавровыхъ вѣнковъ. Это придавало corteжу еще бѣльшую торжественность. Въ несеніи вѣнковъ и гроба, отъ поры до времени, принимали участіе и люди изъ простого класса. Такъ, при вступленіи corteжа на Обуховскій проспектъ, первый вѣнокъ держали двѣ женщины—одна представительница интеллигентной среды, а другая въ нагольномъ тулупѣ, очевидно, принадлежавшая къ сельскому сословію. Въ несеніи остальныхъ вѣнковъ участвовали также крестьяне. Кор-

тежъ былъ встрѣченъ у Новодѣвичьяго монастыря громадною массою публики, прибывшею прямо къ отпѣванію. Гробъ былъ внесенъ въ монастырскую церковь и установленъ по срединѣ. Несмотря на просторное помѣщеніе, далеко не всѣ могли проникнуть въ церковь. Болѣе счастливые пробрались на хоры, а затѣмъ значительная масса густою стѣною обложила мѣсто на кладбищѣ, приготовленное для принятія останковъ поэта. Понятно было желаніе всякаго приблизиться къ гробу, чтобы уловить черты лица человѣка, звучная лира котораго угасла навсегда. Страданія и смерть до того исказили это лицо, что, казалось, ничто не могло напомнить прежняго Некрасова. Только всмотрѣвшись ближе, особенно въ профиль, обликъ поэта представлялся вполнѣ отчетливо. Въ церкви надъ гробомъ Некрасова произнесъ прочувствованную рѣчь профессоръ университета Горчаковъ. Онъ, между прочимъ, сказалъ, что лучшимъ свидѣтельствомъ заслугъ передъ родиною отошедшаго въ вѣчность поэта служить собравшаяся вокругъ гроба молодежь, на которую въ правѣ отечество возлагать всѣ свои надежды. Но собственно чествованіе памяти Некрасова словомъ началось тогда, когда, по совершеніи отпѣванія, гробъ былъ внесенъ на кладбище, на заранѣе приготовленное мѣсто. Каждому хотѣлось быть какъ можно ближе, чтобы не проронить ни одного слова, а потому не трудно представить себѣ, какая была давка. Нѣкоторые устроили себѣ сидѣнья на кладбищенской оградѣ. По исполненіи установленной молитвы, пѣвчіе, подъ аккомпаниментъ громадной массы, мгновенно обнажившей головы, пропѣли „вѣчную память“ и тѣмъ обрядъ кончился. Установилась всеобщая тишина. Первымъ говорилъ Панаевъ. Сказавъ, что Некрасовъ, будучи самородкомъ, благодаря своей встрѣчѣ, на зарѣ своей жизни, съ другимъ самородкомъ, Бѣлинскимъ, вышелъ на путь, стяжавшій ему славу народнаго поэта; г. Панаевъ, на основаніи своего 38-ми лѣтняго близкаго знакомства съ покойнымъ, торжественно удостовѣрилъ, что Некрасовъ, и какъ человѣкъ, былъ на высотѣ своего поэтическаго дарованія. Вторымъ ораторомъ выступилъ г. Достоевскій. Онъ сказалъ, между прочимъ,

что Некрасовъ, какъ истинный человѣколюбецъ, въ своихъ произведеніяхъ изображалъ женщину въ образѣ матери, любящую своего ребенка, и что въ своихъ пѣсняхъ, бывшихъ вѣрнымъ отголоскомъ, человѣческихъ страданій, онъ явился продолжателемъ Пушкина и Лермонтова. Послѣдній, по мнѣнію оратора, если бы прожилъ долѣе, непременно выполнилъ бы то, что выпало на долю Некрасова. Вслѣдъ затѣмъ въ толпѣ раздался голосъ неизвѣстнаго оратора. Рѣчь его была импровизаціею на тему, что, со смертію Некрасова, Россія лишилась не только поэта, но и гражданина въ лучшемъ значеніи слова. Надъ могилою Некрасова были произнесены также стихотворенія. Вотъ одно изъ нихъ, вызвавшее знаки всеобщаго сочувствія:

Замолкла муза мести и печали,
Угасъ могучій нашъ поэтъ, —
Его словамъ съ восторгомъ мы внимали,
Его мы читали съ юныхъ лѣтъ.
Могильный сонъ, глубокій, непробудный,
Навѣкъ сковалъ уста пѣвца,
Изякъ родникъ живительный и чудный
Въ груди холодной мертвеца.
Родникъ любви той чистой неизмѣнной,
Что по лицу земли родной,
Какъ громкій зовъ, торжественный, священный,
Катилась свѣтлою волной.
И мощный стихъ, карающій, печальный,
Будилъ заснувшія сердца,
Громилъ порокъ—народъ многострадальный
Облекъ сіяніемъ вѣнца.
И злобою, огнемъ негодованья,
Кипучей местью онъ звучалъ,
Сатирой жгучей, словомъ отрицанья
Добру и правдѣ поучалъ.
Въ землѣ сырой, въ могилѣ одинокой
Спи мирно, славный нашъ поэтъ,
Съ тоской и скорбью, съ горестью глубокой
Тебѣ послѣдній шлемъ привѣтъ.
Рыдая, мы дрожащими руками
На гробъ бросаемъ твой цвѣты —
Весь въ зелени, межъ пышными вѣнками,
Лежишь въ гробу недвижимъ ты.
И знаю я, та зелень вся завянетъ,

И твой истлѣетъ бранный прахъ,
Въ сердца друзей забвеніе заглянетъ,
Какъ червь ползущій на цвѣтахъ.
Но будешь жить ты въ памяти народной,
Навѣки сохранишься въ ней,
Повѣтъ могучій, геній благородный
И слава родины твоей.

Изъ сказанныхъ еще рѣчей, заслуживаетъ быть отмѣченною рѣчь одного изъ литераторовъ, развившаго весьма краснорѣчиво мысль, что истинное торжество для Некрасова настанетъ далеко еще впереди, когда вдохновенныя пѣсни его будутъ повторяться въ каждой избѣ, въ каждой лачугѣ, словомъ, въ той средѣ, для которой его лира звучала особенно сильно... Впрочемъ, и сегодняшняя овація, импровизированная въ честь великаго поэта, была свидѣтельствомъ, что къ нему отнюдь нельзя примѣнить заключительной строфы одного изъ его стихотвореній:

Со всѣхъ сторонъ его клянуть
И только трупъ его увидя:
Какъ много сдѣлалъ онъ—поймутъ,
И какъ любилъ онъ—ненавидя!

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей.“

* * *

*) Вчера, въ пятницу, 30-го декабря, похоронили нашего дорогого незабвеннаго поэта Н. А. Некрасова. День былъ ясный, но чрезвычайно морозный. Выносъ тѣла былъ назначенъ въ 9 часовъ утра. Громадная толпа самаго пестраго народа сгруппировалась съ ранняго утра около квартиры, въ которой болѣе 20 лѣтъ жилъ Некрасовъ. Молча, спокойно, съ соблюденіемъ должной торжественности ожидала публика гроба на улицѣ, около самаго подъѣзда. Ровно въ 9 часовъ толпа молодыхъ людей вынесла гробъ на рукахъ. Впереди гроба несли вѣнки съ девизами изъ стиховъ покойнаго, и процессія двинулась по Литейной къ Загородному проспекту. Громадная масса народа, скучившаяся вначалѣ на одномъ мѣстѣ, стала постепенно

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1877 г., № 336 („Похороны Некрасова“).

растягиваться и по мѣрѣ движенія процессіи раздѣлилась на двѣ главныя группы. Во главѣ процессіи шла молодежь; сзади гроба двигалась толпа, собранная изъ самыхъ разнообразныхъ слоевъ нашего общества. Въ передовой группѣ молодежи можно было видѣть представителей почти всѣхъ учебныхъ заведеній: студентовъ университета, медицинской академіи и другихъ специальныхъ заведеній и воспитанницъ женскихъ курсовъ и гимназій.

Молодежь, схватившись за руки, образовала цѣпь четырехъугольникомъ. Въ серединѣ этой цѣпи впереди шли двѣ крестьянки въ полушубкахъ и несли небольшой вѣнокъ изъ зелени съ надписью: „Отъ русскихъ женщинъ“, высоко поднявъ его надъ головою. Повременамъ ихъ смѣняли другія женщины. За ними слѣдовали студенты и воспитанницы съ громадными вѣнками изъ живыхъ цвѣтовъ. На одномъ вѣнкѣ была надпись: „Слава печальнику горя народнаго“, на другомъ: „Некрасову—студенты“, на третьемъ: „Безсмертному пѣвцу Некрасову“ и на четвертомъ: „Некрасову—сотрудники“. Сейчасъ же сзади цѣпи шелъ хоръ студентовъ, пѣвшихъ, не переставая, вплоть до могилы молитвы и духовныя пѣсни. По обѣимъ сторонамъ этой группы ѣхало по одному жандарму. Затѣмъ шелъ священникъ съ дьякономъ, и наконецъ та же молодежь несла гробъ, постоянно смѣняя другъ друга. Сзади гроба двигалась толпа, состоявшая, кажется, изъ всѣхъ находящихся въ Петербургѣ литераторовъ, артистовъ и художниковъ, адвокатовъ, профессоровъ и пр. Нѣтъ такого органа печати, отъ котораго не было бы своего представителя. Большинство редакцій присутствовали въ полномъ составѣ. Наконецъ, были люди самыхъ разнообразныхъ профессій. Вся эта масса людей, нескончаемый рядъ экипажей, оригинальная цѣпь студентовъ—все вмѣстѣ взятое представляло такую своеобразную картину, которую очень рѣдко можно видѣть на улицахъ Петербурга. Выходившіе навстрѣчу примыкали къ толпѣ, провожали гробъ, отходили, снова примыкали и снова отходили, и такъ вплоть до могилы. Процессія двигалась чрезвычайно тихо и торжественно сперва по Литейной, по Загородному проспекту

и потомъ по большому Царскосельскому проспекту. Почти всѣ экипажи были пусты, публика провожала пѣшкомъ своего любимца. Замѣчательный порядокъ соблюдался безъ всякаго посторонняго вліянія. Процессія останавливалась около церквей и снова подвигалась далѣе, гробъ внесли въ большую церковь Новодѣвичьяго монастыря въ концѣ перваго часа пополудни, во время совершенія литургіи. Церковь была переполнена молящимися, на хорахъ помѣщалась также большая толпа народа; непопавшіе въ церковь направились прямо къ могилѣ. Послѣ обѣдни и панихиды о. Горчаковъ (профессоръ здѣшняго университета) произнесъ надгробную рѣчь, въ которой прекрасно выяснилъ значеніе умершаго поэта въ русской литературѣ. Рѣчь эта произвела на всѣхъ трогательное впечатлѣніе. На клиросахъ пѣли монахини. Послѣ рѣчи о. Горчакова толпа хлынула на могилу. Здѣсь, послѣ краткой литіи, тѣло опустили въ могилу. Толпа еще тѣснѣе надвинулась къ могилѣ. Многіе изъ присутствующихъ читали стихи и произносили рѣчи. Каждый изъ ораторовъ старался обрисовать ту или другую сторону поэтической дѣятельности покойнаго и опредѣлить мѣсто Некрасова въ ряду другихъ поэтовъ и писателей. Одинъ изъ близкихъ друзей покойнаго обрисовалъ характеристику Некрасова какъ человѣка. Долго толпа не расходилась отъ могилы, много тутъ говорилось, многое вспоминалось. Безконечнымъ числомъ вѣнковъ забросали свѣжую могилу, и публика начала расходиться только съ первыми признаками наступающаго вечера.

Съ давнихъ поръ Петербургъ не видѣлъ похоронъ, которыя производили бы такое впечатлѣніе, какъ похороны Некрасова. Поэту суждено было даже и самою смертію своею возвысить значеніе поэтическаго творчества въ глазахъ русскаго народа.

Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“.

* * *

*) Декабря 30 происходили похороны Н. А. Некрасова. Эти похороны отличались необыкновеннымъ характеромъ:

*) „Новое Время“ 1877 г., № 661 („Похороны Н. А. Некрасова“).

едва-ли когда-либо и кто-либо изъ русскихъ литературныхъ дѣятелей былъ почтенъ такимъ живымъ и знаменательнымъ сочувствіемъ общества при проводахъ его въ послѣдній пріютъ. Громадная толпа, по крайней мѣрѣ въ три-четыре тысячи человекъ, сопровождала гробъ поэта, который до самаго кладбища былъ несенъ на рукахъ. Большая часть этой толпы состояла изъ учащейся молодежи и литераторовъ. Всѣ наличныя литературныя силы были тутъ, начиная отъ сверстниковъ поэта, заслуженныхъ и извѣстныхъ писателей, и кончая начинающими дарованіями. Кромѣ того множество почитателей и поклонниковъ покойнаго положительно всѣхъ званій и всякаго состоянія, не исключая и простыхъ крестьянъ, шли за гробомъ „народнаго“ поэта. По увѣренію старожиловъ, подобная многолюдная процессія была только на похоронахъ Крылова. Впереди гроба несли нѣсколько вѣнковъ съ разными надписями. Дубовый гробъ съ золотымъ позументомъ былъ украшенъ цвѣтами и зеленью. За гробомъ ѣхалъ траурный катафалкъ съ малиновымъ балдахиномъ и затѣмъ длинная вереница экипажей заканчивала торжественное шествіе. У каждой церкви, по пути къ кладбищу, служили литіи. Во все время дороги многочисленный хоръ провожавшихъ непрерывно пѣлъ „Святый Боже“. Похоронное шествіе продолжалось три часа. Большой соборъ Новодѣвичьяго монастыря былъ полонъ народомъ. На монастырскомъ кладбищѣ, у могилы, готовый принять бранные останки поэта, дожидалась огромная сплошная масса: повсюду видѣлись люди, на окрестныхъ памятникахъ, на оградѣ кладбища. Отпѣваніе совершалось при двухъ хорахъ. Во время отпѣванія въ церкви, отецъ Горчаковъ сказалъ прочувствованное слово. Онъ характеризировалъ поэзію Некрасова, какъ народную, какъ поэзію народныхъ страданій. Но поэтъ говорилъ о страданіяхъ не какого-нибудь класса народа, сословія или кружка, а о страданіяхъ насъ всѣхъ, безъ различія сословій, состояній, пола, возраста. Потому-то онъ истинно народный поэтъ. Пѣсни его не отличались отчаяніемъ, въ нихъ не звучала струна безнадёжности, а напротивъ, онѣ исполнены были вѣры и надежды. Мы находили въ нихъ не

только отголоски своего горя, своей печали, но почерпали въ нихъ силу, которая насъ поддерживала этой вѣрой и надеждой. Все, чего коснулся покойный, все это выражено въ неумирающихъ образахъ и глубоко прочувствованныхъ строфахъ. Поэтъ не забылъ и нашу церковь, и ей, нашей народной святынѣ, онъ посвятилъ глубокія строфы. Отецъ Горчаковъ прочелъ вслѣдъ за тѣмъ отрывки изъ стихотворенія „Рыцарь на часъ“, какъ извѣстно, одного изъ самыхъ лучшихъ, самыхъ душевныхъ. Рѣчь прослушана была съ глубокимъ вниманіемъ. Затѣмъ настали минуты послѣдняго прощанія, и гробъ, колыхаясь надъ волновавшеюся толпою, тихо подвигался къ дверямъ. Мы были на хорахъ. Открытый ротъ покойнаго, глубоко впавшіе глаза, казавшіеся сверху открытыми, производили тяжелое впечатлѣніе: точно живой страдалецъ лежалъ въ гробу.

Гробъ былъ принесенъ къ могилѣ открытымъ. Нѣкоторые изъ присутствующихъ друзей поэта, литераторовъ и студентовъ, были произнесены у гроба рѣчи. Первымъ говорилъ г. Панаевъ, близко знавшій покойнаго. Затѣмъ Ѳ. М. Достоевскій. Въ рѣчахъ того и другого были высказаны глубоко теплые отзывы какъ о великомъ значеніи покойнаго въ русской поэзіи, такъ и о его многолюбомъ сердцѣ, отзывавшемся на горе и страданія угнетенныхъ. Рѣчи молодыхъ людей были переполнены восторженнымъ почтеніемъ и энтузіазмомъ къ поэту. Всѣ присутствующіе отзывались живымъ сочувствіемъ на слова ораторовъ, выражавшемся въ искреннихъ возгласахъ одобренія. Были читаны и стихи...

Уже и послѣ того, какъ могила была зарыта, долго не расходилась толпа, словно ей жалко было разстаться съ любимымъ своимъ пѣвцомъ, взятымъ холодною землею...

Изъ „Новаго Времени“.

Смерть Некрасова. О томъ, что сказано на его могилѣ *).

Умеръ Некрасовъ. Я видѣлъ его въ послѣдній разъ за мѣсяцъ до его смерти. Онъ казался тогда почти уже трупомъ, такъ что странно было даже видѣть, что такой трупъ говоритъ, шевелить губами. Но онъ не только говорилъ, но и сохранилъ всю ясность ума. Кажется, онъ все еще не вѣрилъ въ возможность близкой смерти. За недѣлю до смерти съ нимъ былъ параличъ правой стороны тѣла, и вотъ 28-го утромъ я узналъ, что Некрасовъ умеръ наканунѣ, 27-го, въ 8 часовъ вечера. Въ тотъ же день я пошелъ къ нему. Страшно изможденное страданіемъ и искаженное лицо его какъ-то особенно поражало. Уходя, я слышалъ, какъ псалтирщикъ чотко и протяжно прочелъ надъ покойнымъ: „Нѣсть человѣкъ иже не согрѣшитъ“. Воротясь домой, я не могъ уже сѣсть за работу; взялъ всѣ три тома Некрасова и сталъ читать съ первой страницы. Я просидѣлъ всю ночь до шести часовъ утра, и всѣ эти тридцать лѣтъ какъ будто я прожилъ снова. Эти первыя четыре стихотворенія, которыми начинается первый томъ его стиховъ, появились въ Петербургскомъ Сборникѣ, въ которомъ явилась и моя первая повѣсть. Затѣмъ, по мѣрѣ чтенія (а я читалъ сподрядъ) передо мной пронеслась какъ бы вся моя жизнь. Я узналъ и припомнилъ и тѣ изъ стиховъ его, которые первыми прочелъ въ Сибири, когда выйдя изъ моего четырехлѣтняго заключенія въ острогъ, добился наконецъ до права взять въ руки книгу. Припомнилъ и впечатлѣніе тогдашнее. Короче, въ эту ночь я перечелъ чуть не двѣ трети всего, что написалъ Некрасовъ и буквально въ первый разъ далъ себѣ отчетъ: какъ много Некрасовъ, какъ поэтъ, во всѣ эти тридцать лѣтъ, занималъ мѣста въ моей жизни! Какъ поэтъ, конечно. Лично мы сходились мало и рѣдко и лишь однажды вполне съ беззавѣтнымъ, горячимъ чувствомъ, именно въ самомъ началѣ нашего знакомства, въ сорокъ пятомъ году, въ эпоху „Бѣдныхъ

*) О. Достоевскій. „Дневникъ Писателя“ 1877 г., № 12.

Людей“. Но я уже рассказывалъ объ этомъ. Тогда было между нами нѣсколько мгновеній, въ которыя разъ навсегда, обрисовался передо мною этотъ загадочный человѣкъ самой существенной и самой затаенной стороною своего духа. Это именно, какъ мнѣ разомъ почувствовалось тогда, было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, и эта-то *никогда не заживавшая* рана его и была началомъ и источникомъ всей страстной, страдальческой поэзіи его на всю потомъ жизнь. Онъ говорилъ мнѣ тогда со слезами о своемъ дѣтствѣ, о безобразной жизни, которая измучила его въ родительскомъ домѣ, о своей матери, та сила умиленія, съ которою онъ вспоминалъ о ней, рождала и тогда предчувствіе, что если будетъ что-нибудь святое въ его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить ему маякомъ, путевой звѣздой даже въ самыя темныя и роковыя мгновенія судьбы его, то ужъ, конечно, лишь одно это первоначальное дѣтское впечатлѣніе дѣтскихъ слезъ, дѣтскихъ рыданій вмѣстѣ, обнявшись, гдѣ-нибудь украдкой, чтобъ не видали (какъ рассказывалъ онъ мнѣ) съ мученицей матерью, съ существомъ, столь любившимъ его. Я думаю, что ни одна потомъ привязанность въ жизни его не могла бы, такъ же какъ эта, повліять и властительно подѣйствовать на его волю и на инныя темныя неудержимыя влеченія его духа, преслѣдовавшія его всю жизнь. А темныя порывы духа сказывались уже и тогда. Потомъ, помню, мы какъ-то разошлись, и довольно скоро; близость наша другъ съ другомъ продолжалась не долѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Помогли и недоразумѣнія, и виѣшнія обстоятельства, и добрые люди. Затѣмъ, много лѣтъ спустя, когда я уже воротился изъ Сибири, мы хоть и не сходились часто, но несмотря даже на разницу въ убѣжденіяхъ, уже тогда начинавшуюся, встрѣчаясь, говорили иногда другъ другу даже странныя вещи—точно какъ будто въ самомъ дѣлѣ что-то продолжалось въ нашей жизни, начатое еще въ юности, еще въ сорокъ пятомъ году и какъ бы не хотѣло и не могло прерваться, хотя бы мы и по годамъ не встрѣчались другъ съ другомъ. Такъ, однажды въ шестьдесятъ третьемъ, кажется, году, отдавая мнѣ томикъ своихъ стиховъ, онъ

указалъ мнѣ на одно стихотвореніе, „Несчастные“ и внушительно сказалъ: „Я тутъ объ васъ думалъ, когда писалъ это“ (т.-е. объ моей жизни въ Сибири), „это объ васъ написано“. И наконецъ тоже въ послѣднее время мы стали опять иногда видать другъ друга, когда я печаталъ въ его журналѣ мой романъ „Подростокъ“...

На похороны Некрасова собралось нѣсколько тысячъ его почитателей. Много было учащейся молодежи. Процессія выноса началась въ 9 часовъ утра, а разошлись съ кладбища уже въ сумерки. Много говорилось на его гробѣ рѣчей,—изъ литераторовъ говорили мало. Между прочимъ, прочтены были чьи-то прекрасные стихи. Находясь подъ глубокимъ впечатлѣніемъ, я протѣснился къ его раскрытой еще могилѣ, забросанной цвѣтами и вѣнками, и слабымъ моимъ голосомъ произнесъ вслѣдъ за прочими нѣсколько словъ. Я именно началъ съ того, что это было раненое сердце, разъ на всю жизнь, и не закрывавшаяся рана эта и была источникомъ всей его поэзіи, всей страстной до мученія любви этого человѣка ко всему, что страдаетъ, отъ насилія, отъ жестокости необузданной воли, что гнететъ нашу русскую женщину, нашего ребенка въ русской семьѣ, нашего простолюдина въ горькой, такъ часто, долѣ его. Высказалъ тоже мое убѣжденіе, что въ поэзіи нашей Некрасовъ заключилъ собою рядъ тѣхъ поэтовъ, которые приходили со своимъ „новымъ словомъ“. Въ самомъ дѣлѣ (устраняя всякій вопросъ о художнической силѣ его поэзіи и о размѣрахъ ея), Некрасовъ дѣйствительно былъ въ высшей степени своеобразенъ и дѣйствительно приходилъ съ „новымъ словомъ“. Былъ, напримѣръ, въ свое время поэтъ Тютчевъ, поэтъ обширнѣе его и художественнѣе, и, однако, Тютчевъ никогда не займетъ такого виднаго памятнаго мѣста въ литературѣ нашей, какое, безспорно, останется за Некрасовымъ. Въ этомъ смыслѣ онъ, въ ряду поэтовъ (т.-е. приходившихъ съ „новымъ словомъ“), долженъ прямо стоять вслѣдъ за Пушкинымъ и Лермонтовымъ. Когда я вслухъ выразилъ эту мысль, то произошелъ одинъ маленькій эпизодъ: одинъ голосъ изъ толпы крикнулъ, что Некрасовъ былъ *выше* Пушкина и Лермонтова, и что тѣ были всего

только „байронисты“. Нѣсколько голосовъ подхватили и крикнули: „да, выше!“ Я, впрочемъ, о высотѣ и о сравнительныхъ размѣрахъ трехъ поэтовъ и не думалъ высказываться. Но вотъ, что вышло потомъ: въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“ г. Скабичевскій, въ посланіи своемъ къ молодежи по поводу значенія Некрасова, рассказывая, что будто бы когда *кто-то* (т.-е. я) на могилѣ Некрасова, „вздумалъ сравнить имя его съ именами Пушкина и Лермонтова, вы всѣ (т.-е. вся учащаяся молодежь) *въ одинъ голосъ хоромъ* прокричали: „онъ былъ выше, выше ихъ“. Смѣю увѣрить г. Скабичевского, что ему не такъ передали, и что мнѣ твердо помнится (надѣюсь, я не ошибаюсь), что сначала крикнулъ всего одинъ голосъ: „выше, выше ихъ“ и тутъ же прибавилъ, что Пушкинъ и Лермонтовъ были „байронисты“—прибавка, которая гораздо свойственнѣе и естественнѣе одному голосу и мнѣнію, чѣмъ *всѣмъ*, въ одинъ голосъ и тотъ же моментъ, т.-е. тысячному хору—такъ что фактъ этотъ свидѣтельствуется, конечно, скорѣе въ пользу моего показанія о томъ, какъ было это дѣло. И затѣмъ уже, сейчасть послѣ перваго голоса, крикнуло еще нѣсколько голосовъ, но всего только нѣсколько, тысячнаго же хора я не слыхалъ, повторяю это и надѣюсь, что въ этомъ не ошибаюсь.

Я потому такъ на этомъ настаиваю, что мнѣ все же было бы чувствительно видѣть, что *вся* наша молодежь впадаетъ въ такую ошибку. Благодарность къ великимъ отошедшимъ именамъ должна быть присуща молодому сердцу. Безъ сомнѣнія, ироническій крикъ о байронистахъ и возгласы: „выше, выше“,—произошли вовсе не отъ желанія затѣять надъ раскрытой могилой дорогаго покойника литературный споръ, что было бы неумѣстно, а что тутъ просто былъ горячій порывъ заявить какъ можно сильнѣе все накопившееся въ сердцѣ чувство умиленія, благодарности и восторга къ великому и столь сильно волновавшему насъ поэту, и который, хотя и въ гробѣ, но все еще къ намъ такъ близокъ (ну, а тѣ-то великіе прежніе старики уже такъ далеко!). Но весь этотъ эпизодъ, тогда же на мѣстѣ, зажегъ во мнѣ намѣреніе объяснить мою мысль

яснѣ въ будущемъ № „Дневника“ и выразить подробнѣе, какъ смотрю я на такое замѣчательное и чрезвычайное явленіе въ нашей жизни и въ нашей поэзіи, какимъ былъ Некрасовъ и въ чемъ именно заключается, по моему, суть и смыслъ этого явленія.

Пушкинъ, Лермонтовъ и Некрасовъ.

И, во-первыхъ, словомъ „байронистъ“ браниться нельзя. Байронизмъ хоть былъ и моментальнымъ, но великимъ, святымъ и необходимымъ явленіемъ въ жизни европейскаго человѣчества, да чуть ли не въ жизни и всего человѣчества. Байронизмъ появился въ минуту страшной тоски людей, разочарованія ихъ и почти отчаянія. Послѣ изступленныхъ восторговъ новой вѣры въ новые идеалы, провозглашенной въ концѣ прошлаго столѣтія во Франціи, — въ передовой тогда націи европейскаго человѣчества, наступилъ исходъ, столь непохожій на то, чего ожидали, столь обманувшій вѣру людей, что никогда, можетъ быть, не было въ исторіи западной Европы столь грустной минуты. И не отъ однихъ только внѣшнихъ (политическихъ) причинъ пали вновь воздвигнутые на мигъ кумиры, но и отъ внутренней несостоятельности ихъ, что ясно увидѣли всѣ прозорливыя сердца и передовые умы. Новый *исходъ* еще не обозначался, и все задыхалось подъ страшно понизившимся и сѣзвившимся надъ человѣчествомъ прежнимъ его горизонтомъ. Старые кумиры лежали разбитые. И вотъ, въ эту-то минуту и явился великій и могучій геній, страстный поэтъ. Въ его звукахъ зазвучала тогдашняя тоска человѣчества и мрачное разочарованіе его въ своемъ назначеніи и въ обманувшихъ его идеалахъ. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятія и отчаянія. Духъ байронизма вдругъ пронесся какъ бы по всему человѣчеству, все оно откликнулось ему. Это именно было какъ бы отворенный клапанъ; по крайней мѣрѣ, среди всеобщихъ и глухихъ стонovahъ, даже большею частью безсознательныхъ, это именно былъ тотъ могучій крикъ, въ которомъ соединились и согласились всѣ крики и стоны человѣчества.

Какъ было не откликнуться на него и у насъ, да еще такому великому, гениальному и руководящему уму какъ Пушкинъ? Всякій сильный умъ и всякое великодушное сердце не могли и у насъ тогда миновать байронизма. Да и не по одному лишь сочувствію къ Европѣ и къ европейскому человечеству издали, а потому, что и у насъ, и въ Россіи, какъ разъ къ тому времени, обозначилось слишкомъ много новыхъ, неразрѣшенныхъ и мучительныхъ тоже вопросовъ, и слишкомъ много старыхъ разочарованій... Но величіе Пушкина, какъ руководящаго генія, состояло именно въ томъ, что онъ такъ скоро, и окруженный почти совсѣмъ не понимавшими его людьми, нашелъ твердую дорогу, *нашелъ великій и вождельный исходъ для насъ русскихъ и указалъ на него*. Этотъ исходъ былъ—народность, *преклоненіе передъ правдой народа русскаго*. „Пушкинъ былъ явленіе великое, чрезвычайное“. Пушкинъ былъ „не только русскій человѣкъ, но и первымъ русскимъ человѣкомъ“. Не понимать русскому Пушкина, значитъ не имѣть права называться русскимъ. Онъ понялъ русскій народъ и постигъ его значеніе въ такой глубинѣ и въ такой обширности, какъ никогда и никто. Не говорю уже о томъ, что онъ всечеловѣчностью генія своего и способностью откликаться на всѣ многоразличныя духовныя стороны европейскаго человечества, и почти перевоплощаться въ геніи чужихъ народовъ и національностей, засвидѣтельствовалъ о всечеловѣчности и всеобъемлемости русскаго духа, и тѣмъ какъ бы провозвѣстилъ и о будущемъ предназначеніи генія Россіи во всемъ человечествѣ, какъ всеединяющаго, всепримиряющаго и всевозрождающаго въ немъ начала. Не скажу и о томъ даже, что Пушкинъ первый у насъ, въ тоскѣ своей и въ пророческомъ предвидѣніи своемъ, воскликнулъ:

Увижу ли народъ освобожденный
И рабство, павшее по манію царя!

Я скажу лишь теперь о любви Пушкина къ народу русскому. Это была любовь всеобъемлющая, такая любовь, какою еще никто не высказывалъ до него. „Не люби ты меня, а полюби ты *мое*“—вотъ что вамъ скажетъ всегда

народъ, если захочетъ увѣриться въ искренности вашей любви къ нему.

Полюбить, т.-е. пожалѣть народъ за его нужды, бѣдность, страданія, можетъ и всякій баринъ, особенно изъ гуманныхъ и европейски-просвѣщенныхъ. Но народу *надо*, чтобъ его не за одни страданія его любили, а чтобъ полюбили и *его самого*. Что же значить *полюбить его самого*? „А полюби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту“— вотъ что это значить и вотъ какъ вамъ отвѣтитъ народъ, а иначе онъ никогда васъ за своего не признаетъ, сколько бы тамъ объ немъ ни печалились. Фальшь онъ тоже всегда разглядитъ, какими-бы жалкими словами вы ни соблазняли его. Пушкинъ именно такъ полюбилъ народъ, какъ народъ того требуетъ, и онъ не угадывалъ, какъ надо любить народъ, не приготовлялся, не учился: онъ самъ вдругъ оказался народомъ. Онъ преклонился передъ правдой народною, онъ призналъ народную правду, какъ свою правду. Несмотря на всѣ пороки народа и многія смердящія привычки его, онъ съумѣлъ различить великую суть его духа тогда, когда никто почти такъ не смотрѣлъ на народъ, и принялъ эту суть народную въ свою душу, какъ свой идеалъ. И это тогда, когда самые наиболѣе гуманные и европейски развитые любители народа русскаго сожалѣли откровенно, что народъ нашъ столь низокъ, что никакъ не можетъ подняться до парижской уличной толпы. Въ сущности, эти любители всегда презирали народъ. Они вѣрили, главное, что онъ рабъ, рабствомъ же извиняли паденіе его, но раба не могли вѣдь любить, рабъ все-таки былъ отвратителенъ. Пушкинъ первый объявилъ, что русскій человекъ *не рабъ*, и никогда не былъ имъ, несмотря на многовѣковое рабство. Было рабство, но не было рабовъ (въ цѣломъ, конечно, въ общемъ, не въ частныхъ исключеніяхъ)—вотъ тезисъ Пушкина. Онъ даже по виду, по походкѣ русскаго мужика заключалъ, что это не рабъ и не можетъ быть рабомъ (хотя и состоитъ въ рабствѣ),—черта, свидѣтельствующая въ Пушкинѣ о глубокой непосредственной любви къ народу. Онъ призналъ и высокое чувство собственного достоинства въ народѣ нашемъ (опять-таки въ

цѣломъ, мимо всегдашнихъ и неотразимыхъ исключеній), онъ предвидѣлъ то спокойное достоинство, съ которымъ народъ нашъ приметъ и освобожденіе свое отъ крѣпостного состоянія,—чего не понимали, напримѣръ, замѣчательнѣйшіе образованные русскіе европейцы уже гораздо позднѣе Пушкина и ожидали совсѣмъ другого отъ народа нашего. О, они любили народъ искренно и горячо, но по своему, т.-е. по европейски. Они кричали о звѣриномъ состояніи народа, о звѣриномъ положеніи его въ крѣпостномъ рабствѣ, но и вѣрили всѣмъ сердцемъ своимъ, что народъ нашъ дѣйствительно звѣрь. И вдругъ этотъ народъ очутился свободнымъ съ такимъ мужественнымъ достоинствомъ, безъ малѣйшаго позова на оскорбленіе бывшихъ владѣтелей своихъ: „Ты самъ по себѣ, а я самъ по себѣ; если хочешь—иди ко мнѣ, за твое хорошее всегда тебѣ отъ меня честь“. Да, для многихъ нашъ крестьянинъ по освобожденіи своемъ явился страннымъ недоумѣніемъ. Многие даже рѣшили, что это въ немъ отъ неразвитости и тупости, остатковъ прежняго рабства. И это теперь, что же было во времена Пушкина? Не я ли слышалъ самъ, въ юности моей, отъ людей передовыхъ и „компетентныхъ“, что образъ Пушкинскаго Савельича въ „Капитанской Дочкѣ“, раба помѣщиковъ Гриневыхъ, упавшаго въ ноги Пугачеву и просившаго его пощадить барченка, а „для примѣра и страха ради повѣсить ужъ лучше его, старика“,—что этотъ образъ, не только есть образъ раба, но и апофеозъ русскаго рабства!

Пушкинъ любилъ народъ не за одни только страданія его. За страданія сожальють, а сожальніе такъ часто идетъ рядомъ съ презрѣніемъ. Пушкинъ любилъ все, что любилъ этотъ народъ, что тотъ чтить. Онъ любилъ природу русскую до страсти, до умиленія, любилъ деревню русскую. Это былъ не баринъ, милостивый и гуманный, жалѣющій мужика за его горькую участь,—это былъ человѣкъ, самъ перевоплощавшійся сердцемъ своимъ въ простолюдина, въ суть его, почти въ образъ его. Умаленіе Пушкина какъ поэта болѣе исторически, болѣе архангелски преданнаго народу, чѣмъ на дѣлѣ—ошибочно и не имѣетъ даже смысла.

Въ этихъ историческихъ и архаическихъ мотивахъ звучитъ такая любовь и такая *оцѣнка народа*, которая принадлежитъ народу *вѣковѣчно*, всегда и теперь и въ будущемъ. а не въ одномъ только какомъ-нибудь давно прошедшемъ историческомъ періодѣ. Народъ нашъ любитъ свою исторію главное за то, что въ ней встрѣчаетъ незыблемую ту же самую святыню, въ которую сохранилъ онъ свою вѣру и теперь, несмотря на всѣ страданія и мытарства свои. Начиная съ величавой, огромной фигуры лѣтописца въ Борисѣ Годуновѣ до изображенія спутниковъ Пугачева,—все это у Пушкина—народъ въ его глубочайшихъ проявленіяхъ, и все это понятно народу, какъ собственная суть его. Да это ли одно? Русскій духъ разлитъ въ твореніяхъ Пушкина, русская жилка бьется вездѣ. Въ великихъ, неподражаемыхъ, несравненныхъ пѣсняхъ будто бы западныхъ славянъ, но которыя суть явно порожденіе русскаго великаго духа, вылилось все сердце русское, объявилось все міровоззрѣніе народа, сохраняющееся и доселѣ въ его пѣсняхъ, былинахъ, преданіяхъ, сказаніяхъ, высказалось все, что любить и чтить народъ, выразились его идеалы героевъ, царей, народныхъ защитниковъ и печальниковъ, образы мужества, смиренія, любви и жертвы. А такія прелестныя шутки Пушкина, какъ, напримѣръ, болтовня двухъ пьяныхъ мужиковъ или Сказаніе о Медвѣдѣ, у котораго убили медвѣдицу—это уже что-то любовное, что-то милое и умиленное въ его созерцаніи народа. Еслибъ Пушкинъ прожилъ дольше, то оставилъ бы намъ такія художественныя сокровища для пониманія народнаго, которыя, вліяніемъ своимъ, навѣрно бы сократили времена и сроки перехода всей интеллигенціи нашей, столь возвышающейся и до сихъ поръ надъ народомъ въ гордости своего европеизма, — къ народной правдѣ, къ народной силѣ и къ сознанію народнаго назначенія. Вотъ это-то поклоненіе передъ правдой народа вижу я отчасти (увы, можетъ быть, одинъ я изъ всѣхъ его почитателей) и въ Некрасовѣ, въ сильнѣйшихъ произведеніяхъ его. Мнѣ дорого, очень дорого, что онъ „печальникъ народнаго горя“ и что онъ такъ много и страстно говорилъ о горѣ народномъ, но еще дороже для меня въ немъ то, что въ великіе,

мучительные и восторженные моменты своей жизни, онъ, не смотря на всѣ противоположныя вліянія и даже на собственные убѣжденія свои, преклонялся передъ народной правдой всѣмъ существомъ своимъ, о чемъ и засвидѣтельствовалъ въ своихъ лучшихъ созданіяхъ. Вотъ въ этомъ-то смыслѣ я и поставилъ его, какъ пришедшаго послѣ Пушкина и Лермонтова, съ тѣмъ же самымъ отчасти новымъ словомъ, какъ и тѣ (потому что „слово“ Пушкина до сихъ поръ еще для насъ новое слово. Да и не только новое, а еще и не узнанное, не разобранное, за самый старый хламъ считающееся).

Прежде, чѣмъ перейду къ Некрасову, скажу два слова и о Лермонтовѣ, чтобъ оправдать то, почему я тоже поставилъ и его, какъ увѣровавшаго въ правду народную. Лермонтовъ, конечно, былъ байронистъ, но по великой своеобразной поэтической силѣ своей и байронистъ-то особенный, — какой то насмѣшливый, капризный и брюзгливый, вѣчно невѣрующій даже въ собственное свое вдохновеніе, въ свой собственный байронизмъ. Но еслибъ онъ пересталъ возиться съ больною личностью русскаго интеллигентнаго человѣка, мучимаго своимъ европеизмомъ, то навѣрно бы кончилъ тѣмъ, что отыскалъ исходъ, какъ и Пушкинъ, въ преклоненіи передъ народной правдой, и на то есть большія и точныя указанія. Но смерть опять помѣшала. Въ самомъ дѣлѣ, во всѣхъ стихахъ своихъ онъ мраченъ, капризенъ, хочетъ говорить правду, но чаще лжетъ и самъ знаетъ объ этомъ и мучается тѣмъ, что лжетъ, но чуть лишь онъ коснется народа, тутъ онъ свѣтелъ и ясенъ. Онъ любитъ русскаго солдата, казака, онъ чтитъ народъ. И вотъ онъ разъ пишетъ безсмертную пѣсню о томъ, какъ молодой купецъ Калашниковъ, убивъ за безчестіе свое государева опричника Кирибѣвича, и призванный царемъ Иваномъ предъ грозныя его очи, отвѣчаетъ ему: что убилъ онъ государева слугу Кирибѣвича „вольной волею, а не нехотя“. Помните ли вы, господа, „раба Шибанова?“ Рабъ Шибановъ былъ рабъ князя Курбскаго, русскаго эмигранта 16-го столѣтія, писавшаго все къ тому же царю Ивану свои оппозиціонныя и почти ругательныя письма изъ-за границы, гдѣ онъ безопасно пріютился. Написавъ одно письмо, онъ призвалъ

раба своего Шибанова и велѣлъ ему письмо свести въ Москву и отдать царю лично. Такъ и сдѣлалъ рабъ Шибановъ. На Кремлевской площади онъ остановилъ выходившаго изъ собора царя, окруженнаго своими прислѣзниками и подалъ ему посланіе своего господина, князя Курбскаго. Царь поднялъ жезлъ свой съ острымъ наконечникомъ, съ размаху вонзилъ его въ ногу Шибанова, оперся на жезлъ и сталъ читать посланіе. Шибановъ съ проколотой ногою не шевельнулся. А царь, когда сталъ потомъ отвѣчать письмомъ князю Курбскому, написалъ, между прочимъ: „Устыдися раба твоего Шибанова“. Это значило, что онъ самъ устыдился раба Шибанова. Этотъ образъ русскаго „раба“, должно быть, поразилъ душу Лермонтова. Его Калашниковъ говоритъ царю безъ укора, безъ попрека за Кирибѣевича, говоритъ онъ, зная про вѣрную казнь, его ожидающую, царю всю правду истинную“, что убилъ его любимца „вольной волею, а не нехотя“. Повторяю, остался бы Лермонтовъ жить, и мы бы имѣли великаго поэта, тоже признававшего правду народную, а можетъ истиннаго „печальника горя народнаго“. Но это имя досталось Некрасову...

Опять таки, я не равняю Некрасова съ Пушкинымъ, я не мѣряю аршиномъ, кто выше, кто ниже, потому что тутъ не можетъ быть ни сравненія, ни даже вопроса о немъ. Пушкинъ, по обширности и глубинѣ своего русскаго гения, до сихъ поръ есть какъ солнце надъ всѣмъ нашимъ русскимъ интеллигентнымъ міровоззрѣніемъ. Онъ великій и непонятый еще предвозвѣститель. Некрасовъ есть малая точка въ сравненіи съ нимъ, малая планета, но вышедшая изъ этого же великаго солнца. И мимо всѣхъ мѣрокъ: кто выше, кто ниже, за Некрасовымъ остается безсмертіе, вполне имъ заслуженное, и я уже сказалъ почему — за преклоненіе его передъ народной правдой, что происходило въ немъ не изъ подражанія какого-нибудь, не вполне по сознанію даже, а потребностью, неудержимой силой. И это тѣмъ замѣчательнѣе въ Некрасовѣ, что онъ всю жизнь свою былъ подъ вліяніемъ людей, хотя и любившихъ народъ, хотя и печалившихся о немъ, можетъ быть, весьма искренно, но никогда не признававшихъ въ народѣ правды, и всегда

ставившихъ европейское просвѣщеніе свое несравненно выше истины духа народнаго. Не вникнувъ въ русскую душу и не зная, чего ждать и просить она, имъ часто случалось желать нашему народу, со всею любовью къ нему, того, что прямо могло бы послужить къ его бѣдствію. Не они-ли въ русскомъ народномъ движеніи, за послѣдніе два года, не признали почти вовсе той высоты подъема духа народнаго, которую онъ, можетъ быть, въ первый разъ еще, выказываетъ въ такой полнотѣ и силѣ и тѣмъ свидѣтельствуешь о своемъ здоровѣ, могучемъ и непоколебимомъ доселѣ живомъ единеніи въ одной и той же великой мысли и почти предузнаешь самъ будущее предназначеніе свое. И мало того, что не признають правды движенія народнаго, но и считаютъ его почти ретроградствомъ, чѣмъ-то свидѣтельствующимъ о непроходимой безсознательности, о заматерѣвшей вѣками неразвитости народа русскаго. Некрасовъ же, несмотря на замѣчательный, чрезвычайно сильный умъ свой, былъ лишень, однако, серьезнаго образованія, по крайней мѣрѣ, образованіе его было небольшое. Изъ извѣстныхъ вліяній онъ не выходилъ во всю жизнь, да и не имѣлъ силъ выйти. Но у него была своя, своеобразная сила въ душѣ, не оставлявшая его никогда,—это истинная, страстная, а главное непосредственная любовь къ народу. Онъ болѣлъ о страданіяхъ его всей душою, но видѣлъ въ немъ не одинъ лишь униженный рабствомъ образъ, звѣрское подобіе, но смогъ силой любви своей постичь почти безсознательно и красоту народную, и силу его, и умъ его, и страдальческую кротость его и даже частію увѣровать и въ будущее предназначеніе его. О, сознательно Некрасовъ могъ въ многомъ ошибаться! Онъ могъ воскликнуть въ недавно напечатанномъ въ первый разъ экспромтѣ его, съ тревожнымъ укоромъ созерцая освобожденный уже отъ крѣпостнаго состоянія народъ,

...„Но счастливъ-ли народъ?“

Великое чутье его сердца предсказало ему скорбь народную, но еслибъ его спросили: „чего же пожелать народу и какъ это сдѣлать?“, то онъ, можетъ быть, далъ бы и

весьма ошибочный, даже пагубный отвѣтъ. И ужь конечно его нельзя винить: политическаго смысла у насъ еще до рѣдкости мало, а Некрасовъ, повторяю, былъ всю жизнь подъ чужими вліяніями. Но сердцемъ своимъ, но великимъ поэтическимъ вдохновеніемъ своимъ, онъ неужержимо при-мыкалъ, въ иныхъ великихъ стихотвореніяхъ своихъ, къ самой сути народной. Въ этомъ смыслѣ это былъ народный поэтъ. Всякій, выходящій изъ народа, при самомъ маломъ даже образованіи, пойметъ уже много у Некрасова. Но лишь при образованіи. Вопросъ о томъ, пойметъ-ли Некрасова теперь прямо весь народъ русскій—безъ сомнѣнія, вопросъ явно немыслимый. Что пойметъ „простой народъ“ въ шедеврахъ его: „Рыцарь на часъ“, „Тишина“, „Русскія Женщины?“ Даже въ великомъ „Властѣ“ его, который можетъ быть понятенъ народу (но не вдохновитъ нисколько народъ, ибо все это поэзія, давно уже вышедшая изъ непосредственной жизни), народъ отличить два-три фальшивые штриха навѣрно. Что разберетъ народъ въ одной изъ самыхъ могучихъ и самыхъ зовущихъ поэмъ его: „На Волгѣ?“ Это настоящій духъ и тонъ Байрона. Нѣтъ, Некрасовъ пока еще — лишь поэтъ русской интеллигенціи, съ любовью и со страстью говорившій о народѣ и страданіяхъ его той же русской интеллигенціи. Не говорю въ будущемъ, — въ будущемъ народъ отмѣтитъ Некрасова. Онъ пойметъ тогда, что былъ когда-то такой добрый русскій баринъ, который плакалъ скорбными слезами о его народномъ горѣ и ничего лучше и придумать не могъ, какъ, убѣгая отъ своего богатства и отъ грѣшныхъ соблазновъ барской жизни своей, приходитъ въ очень тяжкія минуты свои къ нему, къ народу, и въ неужержимой любви къ нему очищать свое измученное сердце, — ибо любовь къ народу у Некрасова была лишь *исходомъ его собственной скорби по себѣ самомъ...*

Но прежде, чѣмъ разъясню: какъ понимаю я эту „собственную скорбь“ дорогого намъ усопшаго поэта по себѣ самомъ, — не могу не обратить вниманія на одно характерное и любопытное обстоятельство, обозначившееся почти во всей нашей газетной прессѣ, сейчасъ послѣ смерти Некрасова, почти во всѣхъ статьяхъ, говорившихъ о немъ.

Поэтъ и гражданинъ. Общiе толки о Некрасовѣ, какъ о человѣкѣ.

Всѣ газеты, чуть только заговаривали о Некрасовѣ, по поводу смерти и похоронъ его, чуть только начинали опредѣлять его значенiе, какъ тотчасъ-же и прибавляли, всѣ безъ изъятiя, нѣкоторыя соображенiя о какой-то „практичности“ Некрасова, о какихъ-то недостаткахъ его, порокахъ даже, о какой-то двойственности въ томъ образѣ, который онъ намъ оставилъ о себѣ. Иныя газеты лишь намекали на эту тему чуть-чуть, въ какихъ-нибудь двухъ строкахъ, но важно то, что все-таки намекали, видимо по какой-то даже необходимости, которой избѣжать не могли. Въ другихъ же изданiяхъ, говорившихъ о Некрасовѣ обширнѣе, выходило и еще страннѣе. Въ самомъ дѣлѣ: не формулируя обвиненiй въ подробности и какъ бы избѣгая того, отъ глубокой и искренней почтительности къ покойному, они все таки пускались... оправдывать его, такъ что выходило еще непонятнѣе. „Да въ чемъ же вы оправдываете?“ срывался невольно вопросъ; если знаете что, то прятаться нечего, а мы хотимъ знать, нуждается-ли еще онъ въ оправданiяхъ нашихъ? Вотъ какой заигался вопросъ. Но формулировать не хотѣли, а съ оправданiями и съ оговорками спѣшили, какъ будто желая поскорѣе предупредить кого-то, и, главное, опять таки,—какъ будто и не могли никакъ избѣжать этого, хотя-бы, можетъ быть, и хотѣли того. Вообще, чрезвычайно любопытный случай, но если вникнуть въ него, то и вы, и всякій, кто бы вы ни были, несомнѣнно придете къ заключенiю, чуть лишь размыслите, что случай этотъ совершенно нормальный, что, заговоривъ о Некрасовѣ, какъ о поэтѣ, дѣйствительно никакъ нельзя миновать говорить о немъ, какъ и о лицѣ, потому что въ Некрасовѣ поэтъ и гражданинъ—до того связаны, до того оба не объяснимы одинъ безъ другого, и до того, взятые вмѣстѣ, объясняютъ другъ друга, что, заговоривъ о немъ, какъ о поэтѣ, вы даже невольно переходите къ гражданину и чувствуете, что какъ бы принуждены и должны это сдѣлать и избѣжать не можете.

Но что же мы можемъ сказать, и что именно мы видимъ? Произносится слово „практичность“, т. е. умѣніе обдѣлывать свои дѣла, но и только, а затѣмъ спѣшать съ оправданіями: „онъ-де страдалъ, онъ съ дѣтства былъ заѣденъ средой“, онъ вытерпѣлъ еще юношей въ Петербургѣ, безпріютнымъ, брошеннымъ, много горя, а слѣдственно и слѣбался „практичнымъ“, (т. е. какъ будто и не могъ ужъ не слѣлаться). Другіе идутъ даже дальше и намекаютъ, что безъ этой то вѣдь „практичности“ Некрасовъ, пожалуй, и не совершилъ бы столь явно полезныхъ дѣлъ на общую пользу, напр., совладалъ съ изданіемъ журнала и проч. и проч. Что же, для хорошихъ цѣлей оправдывать, стало быть, дурныя средства? И это говоря о Некрасовѣ-то, человѣкѣ, который потрясалъ сердца, вызывалъ восторгъ и умиленіе къ доброму и прекрасному стихами своими. Конечно, все это говорится, чтобъ извинить, но мнѣ кажется, Некрасовъ не нуждается въ такомъ извиненіи. Въ извиненіяхъ на подобную тему всегда заключается какъ бы нѣчто принизительное, и какъ бы затемняется и умалется образъ извиняемаго чуть не до пошлыхъ размѣровъ. Въ самомъ дѣлѣ, чуть я начну извинять „двойственность и практичность“ лица, то тѣмъ какъ бы и настаиваю, что эта двойственность даже естественна при извѣстныхъ обстоятельствахъ, чуть не необходима. А если такъ, то совершенно приходится примириться съ образомъ человѣка, который сегодня бьется о плиты родного храма, кается, кричитъ: „я упалъ, я упалъ“. И это, въ безсмертной красоты стихахъ, которые онъ въ ту же ночь запишетъ, а на завтра, чуть пройдетъ ночь и обсохнутъ слезы, и опять примется за „практичность“, потому-де, что она, мимо всего другого—и *необходима*. Да что же тогда будутъ означать эти стоны и крики, облекшіеся въ стихи? Искусство для искусства не болѣе и даже въ самомъ пошломъ его значеніи, потому что онъ эти стихи самъ похваливаетъ, самъ на нихъ любитъ, ими совершенно доволенъ, ихъ печатаетъ, на нихъ разсчитываетъ: придадутъ, дескать, блескъ изданію, взволнуютъ молодыя сердца. Нѣтъ, если все это оправдывать, да не разъяснивъ, то мы рискуемъ впасть въ большую ошибку и

порождаетъ недоумѣніе, и на вопросъ: „кого вы хороните“? мы, провожавшіе гробъ его, принуждены бы были отвѣтить, что хоронимъ „самаго яркаго представителя искусства для искусства, какой только можетъ быть“. Ну а было-ли это такъ? *во истину это не было такъ*, а хоронили мы во истину „печальника народнаго горя“ и вѣчнаго страдальца о себѣ самомъ, вѣчнаго, неустаннаго, который никогда не могъ успокоить себя, и самъ съ отвращеніемъ и самобичеваніемъ отвергалъ дешевое примиреніе.

Нужно выяснить дѣло, выяснить искренно и безпристрастно, и что выяснится, то принять какъ оно есть, не смотря ни на какое лицо и ни на какія дальнѣйшія соображенія. Тутъ надо именно выяснить всю суть по возможности, чтобы какъ можно точнѣе добыть изъ выясненій фигуру покойнаго, лицо его; такъ наши сердца требуютъ, для того чтобы не оставалось у насъ о немъ ни малѣйшаго такого недоумѣнія, которое невольно чернить память, оставляетъ нерѣдко и на высокомъ образѣ недостойную тѣнь.

Самъ я зналъ „практическую жизнь“ покойника мало, а потому приступить къ анекдотической части дѣла не могу, но еслибъ и могъ, то не хочу, потому что прямо окунусь въ то, что самъ признаю сплетнею. Ибо я твердо увѣренъ (и прежде былъ увѣренъ), что изъ всего, что рассказывали про покойнаго, по крайней мѣрѣ, половина, а можетъ быть и всѣ три четверти—чистая ложь. Ложь, вздоръ и сплетни. У такого характернаго и замѣчательнаго человѣка, какъ Некрасовъ,—не могло не быть враговъ. А то, что дѣйствительно было, что въ самомъ дѣлѣ случалось,—то не могло тоже не быть подъ часъ преувеличено. Но принявъ это, все-таки увидимъ, что нѣчто все таки остается. Что же такое? Нѣчто мрачное, темное и мучительное безспорно, потому что—что же означаютъ тогда эти стоны, эти крики, эти слезы его, эти признанія, что „онъ упалъ“, эта страстная исповѣдь передъ тѣнью матери? Тутъ самобичеваніе, тутъ казнь? Опять таки въ анекдотическую сторону дѣла вдаваться не буду, но думаю, что суть той мрачной и мучительной половины жизни нашего поэта какъ бы предсказана имъ же самимъ, еще на зарѣ дней его, въ одномъ

изъ самыхъ первоначальныхъ его стихотвореній, набросанныхъ, кажется, еще до знакомства съ Бѣлинскимъ (и потомъ ужъ позднѣе обдѣланныхъ и получившихъ ту форму, въ которой явились они въ печати). Вотъ эти стихи:

Огни зажигались вечерніе,
Вылъ вѣтеръ и дождикъ мочилъ,
Когда изъ Полтавской губерніи
Я въ городъ столичный входилъ.

Въ рукахъ была палка предлинная,
Котомка пустая на ней,
На плечахъ шубенка овчинная,
Въ карманахъ пятнадцать грошей.

Ни денегъ, ни званья, ни племени,
Малъ ростомъ и съ виду смѣшонъ,
Да сорокъ лѣтъ минуло времени,—
Въ карманѣ моемъ миллионъ.

Миллионъ—вотъ демонъ Некрасова! Чтожъ, онъ любилъ такъ золото, роскошь, наслажденія, и чтобы имѣть ихъ пускался въ „практичности“. Нѣтъ, скорѣе это былъ другого характера демонъ; это былъ самый мрачный и унижительный бѣсъ. Это былъ демонъ гордости, жажды, самообезпеченія, потребности оградиться отъ людей твердой стѣной и независимо, спокойно смотрѣть на ихъ злость, на ихъ угрозы. Я думаю, этотъ демонъ присосался еще къ сердцу ребенка пятнадцати лѣтъ, очутившагося на петербургской мостовой, почти бѣжавшаго отъ отца. Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотѣла, войти въ соглашеніе съ этой чуждой толпою людей не желала. Не то, чтобы невѣріе въ людей закралось въ сердце его такъ рано, но скорѣе скептическое и слишкомъ раннее (а стало быть и ошибочное) чувство къ нимъ. Пусть они не злы, пусть они не такъ страшны, какъ объ нихъ говорятъ (навѣрно думалось ему), но они, всѣ, все-таки слабая и робкая дрянь, а потому и безъ злости погубятъ, чуть-лишь дойдетъ до ихъ интереса. Вотъ тогда-то и начались, можетъ быть, мечтанія Некрасова, можетъ быть, и сложились тогда же на улицѣ стихи: „въ карманѣ моемъ миллионъ“.

Это была жажда мрачнаго, угрюмага, объединеннаго самообезпеченія, чтобы уже не зависѣть ни отъ кого. Я думаю, что я не ошибаюсь, я припоминаю кое-что изъ самаго перваго моего знакомства съ нимъ. По крайней мѣрѣ, мнѣ такъ казалось всю потомъ жизнь. Но, этотъ демонъ все же былъ низкій демонъ. Такого-ли самообезпеченія могла жадать душа Некрасова, эта душа, способная такъ отзываться на все святое и непокидавшая вѣры въ него. Развѣ такимъ самообезпеченіемъ ограждаютъ себя столь одаренныя души? такіе люди пускаются въ путь босы и съ пустыми руками, и на сердцѣ ихъ ясно и свѣтло. Самообезпеченіе ихъ не въ золотѣ. Золото—грубость, насиліе, деспотизмъ! Золото можетъ казаться обезпеченіемъ именно той слабой и робкой толпѣ, которую Некрасовъ самъ презиралъ. Неужели картины насилія и потомъ жажда сластолюбія и разврата могли ужиться въ такомъ сердцѣ, въ сердцѣ человѣка, который самъ бы могъ воззвать къ иному: „брось все, возьми посохъ свой и иди за мной“,

Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви.

Но демонъ осилилъ, и человѣкъ остался на мѣстѣ, и никуда не пошелъ.

За то и заплатилъ страданіемъ, страданіемъ всей жизни своей. Въ самомъ дѣлѣ, мы знаемъ лишь стихи, но что мы знаемъ о внутренней борьбѣ его съ своимъ демономъ, борьбѣ, несомнѣнно мучительной и всю жизнь продолжавшейся? Я не говорю уже о добрыхъ дѣлахъ Некрасова: онъ объ нихъ не публиковалъ, но они несомнѣнно были, люди уже начинаютъ свидѣтельствовать объ гуманности, нѣжности этой „практичной“ души. Г. Суворинъ уже публиковалъ нѣчто; я увѣренъ, что обнаружится много и еще добрыхъ свидѣтельствъ, — не можетъ быть иначе. „О, скажутъ мнѣ, вы тоже вѣдь оправдываете, да еще дешевле нашего“. Нѣтъ, я не оправдываю, я только разясняю и добился того, что могу поставить вопросъ,—вопросъ окончательный и всеразрѣшающій.

Свидѣтель въ пользу Некрасова.

Еще Гамлетъ дивился на слезы актера, декламировавшаго свою роль и плакавшаго о какой-то Гекубѣ: „что ему Гекуба“? спрашивалъ Гамлетъ. Вопросъ предстоитъ прямой: былъ ли нашъ Некрасовъ такой же самый актеръ, т. е. способный *искренно* заплакать о себѣ и о той святыньѣ духовной, которой самъ лишалъ себя, излить затѣмъ скорбь свою (настоящую скорбь!) въ безсмертной красоте стихахъ и на завтра же способный дѣйствительно утѣшиться... этой красотой стиховъ. Красотой стиховъ и только. Мало того: взглянуть на эту красоту стиховъ, какъ на „практическую“ же вещь, способную доставить прибыль, деньги, славу, и употребить эту вещь, въ этомъ смыслѣ? Или, напротивъ того, скорбь поэта не проходила и послѣ стиховъ, не удовлетворялась ими: красота ихъ, сила въ нихъ выраженная, угнетала и мучила его самого, и если, будучи не въ силахъ совладать съ своимъ вѣчнымъ демономъ, съ страстями, побѣдившими его на всю жизнь, онъ и опять падалъ, то спокойно ли примирялся съ своимъ паденіемъ, не возобновлялись ли его стоны и крики еще сильнѣе въ тайныя святыя минуты покаянія, — повторялись ли, усиливались ли въ сердцѣ его съ каждымъ разомъ такъ, что самъ онъ, наконецъ, могъ видѣть ясно, чего стоитъ ему его демонъ, и какъ дорого заплатилъ онъ за тѣ блага, которыя получилъ отъ него. Однимъ словомъ, если онъ и могъ *примиряться* моментально съ демономъ своимъ, и даже самъ могъ пускаться оправдывать „практичность“ свою въ разговорахъ съ людьми, то оставалось ли такое примиреніе и успокоеніе навѣчно, или, напротивъ, улетало мгновенно изъ сердца, оставляя по себѣ еще жгуче боль, стыдъ и угрызенія? Тогда, — еслибъ только можно было рѣшить этотъ вопросъ, — тогда намъ что жъ-бы оставалось? Оставалось бы только осудить его за то, что, будучи не въ силахъ совладать съ соблазнами своими, онъ не покончилъ съ собой, напимѣръ, какъ тотъ древній печерскій многострадалецъ, который, тоже будучи не въ силахъ совладать

съ змѣю страсти его мучившей, закопалъ себя по поясъ въ землю, и умеръ, если не изгнавъ своего демона, то ужъ конечно побѣдивъ его. Въ такомъ случаѣ мы сами, т. е. каждый изъ насъ, очутились бы въ унижительномъ и комическомъ положеніи, еслибъ осмѣлились брать на себя роль судей, произносящихъ такіе приговоры. Тѣмъ не менѣе поэтъ, который самъ написалъ о себѣ:

Поэтомъ можешь ты не быть,
Но гражданиномъ быть обязанъ,

тѣмъ самымъ какъ бы и призналъ надъ собой судъ людей, какъ „гражданъ“. Какъ лицамъ намъ бы, конечно, было стыдно судить его. Сами-то мы каковы, каждый-то изъ насъ? Мы только не говоримъ лишь о себѣ вслухъ, и прачемъ нашу мерзость, съ которою вполнѣ миримся, внутри себя. Поэтъ плакалъ, можетъ быть, о такихъ дѣлахъ своихъ, отъ которыхъ мы бы и не поморщились, еслибъ совершили ихъ. Вѣдь, мы знаемъ о паденіяхъ его, о демонѣ его изъ его же стиховъ. Но не было бы этихъ стиховъ, которые онъ въ покаянной искренности своей не убоился огласить, то и все, что говорилось о немъ, какъ о человѣкѣ, о „практичности“ его и о прочемъ—все это умерло бы само собою, и стерлось бы изъ памяти людей, понизилось бы прямо до сплетни, такъ что всякое оправданіе его оказалось бы вовсе и ненужнымъ ему. Замѣчу кстати, что для пракческаго и столь умѣющаго обдѣлывать дѣла свои человѣка, дѣйствительно, непрактично было оглашать свои покаянные стоны и вопли, а стало быть онъ, можетъ быть, вовсе былъ не столь практиченъ, какъ иные утверждаютъ о немъ. Тѣмъ не менѣе, повторяю, на судъ гражданъ онъ долженъ идти, ибо самъ призналъ этотъ судъ. Такимъ образомъ, еслибъ тотъ вопросъ, который поставился у насъ выше: удовлетворялся ли поэтъ стихами своими, въ которые облакалъ свои слезы, и примирялся ли съ собою до того спокойствія, которое опять позволяло ему пускаться съ легкимъ сердцемъ въ „практичность“, или же — напротивъ того — примиренія бывали лишь моментальныя, такъ что онъ самъ презиралъ себя, можетъ быть, за позоръ ихъ,

потомъ мучился еще горче и больше, и такъ во всю жизнь, — еслибъ этотъ вопросъ, повторяю, могъ бы быть разрѣшенъ въ пользу втораго предположенія, то ужъ, конечно, тогда мы бы тотчасъ могли примириться и съ „гражданиномъ“ Некрасовымъ, ибо собственныя страданія его очистили бы передъ нами вполне нашу память о немъ. Разумѣется, тутъ сейчасъ является возраженіе: если вы не въ силахъ разрѣшить такой вопросъ (а кто можетъ его разрѣшить?), то и ставить его не надо было. Но въ томъ-то и дѣло, что его можно разрѣшить. Есть свидѣтель, который можетъ его разрѣшить. Этотъ свидѣтель — народъ.

То-есть любовь его къ народу! И, во-первыхъ, для чего бы „практическому“ человѣку такъ увлекаться любовью къ народу. Всякій занятъ своимъ дѣломъ: одинъ практичностью, другой печалью по народѣ. Ну, положимъ, прихоть, такъ вѣдь, поигралъ и отсталъ. А Некрасовъ не отставалъ во всю жизнь. Скажутъ: народъ для него—это та же „Гекуба“, предметъ слезъ, облеченныхъ въ стихи и дающихъ доходъ. Но я уже не говорю о томъ, что трудно до того поддѣлать такую искренность любви, какая слышится въ стихахъ Некрасова (объ этомъ споръ можетъ быть безконечный), но я о томъ только скажу, что мнѣ ясно, почему Некрасовъ такъ любилъ народъ, почему его такъ тянуло къ нему въ тяжелыя минуты жизни, почему онъ шелъ къ нему и что находилъ у него. Потому, какъ сказалъ я выше, что любовь къ народу была у Некрасова, какъ бы *исходомъ его собственной скорби по себѣ самомъ*. Поставьте это, примите это — и вамъ ясенъ весь Некрасовъ, и какъ поэтъ и какъ гражданинъ. Въ служеніи сердцемъ своимъ и талантомъ своимъ народу онъ находилъ все свое очищеніе передъ самимъ собой. Народъ былъ настоящею внутреннею потребностію его не для однихъ стиховъ. Въ любви къ нему онъ находилъ свое оправданіе. Чувствами своими къ народу онъ возвышалъ духъ свой. Но что главное, это то, что онъ не нашелъ предмета любви своей между людей, окружавшихъ его, или въ томъ, что чтутъ эти люди и предъ чѣмъ они преклоняются. Онъ отрывался, напротивъ, отъ этихъ людей и уходилъ къ оскорбленнымъ, къ терпящимъ, къ про-

стодушнымъ, къ униженнымъ, когда нападало на него от-
вращеніе къ той жизни, которой онъ минутами слабодушно
и порочно отдавался; онъ шелъ и бился о плиты бѣднаго,
сельскаго, родного храма, и получалъ испѣленіе. Не из-
бралъ бы онъ себѣ такой исходъ, *еслибъ не втрѣилъ въ*
него. Въ любви къ народу онъ находилъ явѣ что незыблемое,
какой-то незыблемый и святой исходъ всему, что его мучило.
А если такъ, то стало быть и не находилъ ничего святѣе,
незыблемѣе, истиннѣе, передъ чѣмъ преклониться. Не могъ
же онъ полагать все самооправданіе лишь въ стихкахъ о
народѣ. А коли такъ, то стало быть и онъ преклонялся пе-
редъ *правдой народною*. Если не нашелъ ничего въ своей
жизни болѣе достойнаго любви, какъ народъ, то стало быть
призналъ и *истину народную* и *истину въ народѣ*, и что
истина есть и сохраняется лишь въ народѣ. Если не вполнѣ
сознательно, не въ убѣжденіяхъ признавалъ онъ это, то
сердцемъ признавалъ, неудержимо, неотразимо. Въ этомъ
порочномъ мужикѣ, униженный и унижительный образъ ко-
торого такъ его мучилъ, онъ находилъ стало быть и что-то
истинное и святое, что не могъ не почитать, на что не
могъ не отзываться всѣмъ сердцемъ своимъ. Въ этомъ смы-
слѣ я и поставилъ его, говоря выше объ его литературномъ
значеніи, тоже въ разрядъ тѣхъ, которые признавали правду
народную. Вѣчное же исканіе этой правды, вѣчная жажда,
вѣчное стремленіе къ ней—свидѣтельствуютъ явно, повто-
ряю это, о томъ, что его влекла къ народу внутренняя
потребность, потребность высшая всего, и что стало быть
потребность эта не можетъ не свидѣтельствовать и о вну-
тренней, всегдашней, вѣчной тоскѣ его, тоскѣ, не прекра-
щавшейся, не утолявшейся никакими хитрыми доводами со-
блазна, никакими парадоксами, никакими практическими
оправданіями. А если такъ, то онъ стало быть страдалъ всю
свою жизнь... И какіе же мы судьи его послѣ того? Если
и судьи, то не обвинители.

Некрасовъ есть русскій историческій типъ, одинъ изъ
крупныхъ примѣровъ того, до какихъ противорѣчій и до
какихъ раздвоеній, въ области нравственной и въ области
убѣжденій, можетъ доходить русскій человѣкъ въ наше пе-

реходное время. Но этотъ человѣкъ остался въ нашемъ сердцѣ. Порывы любви этого поэта такъ часто были искренни, чисты и простосердечны! Стремленіе же его къ народу столь высоко, что ставить его какъ поэта на высшее мѣсто. Что же до человѣка, до гражданина, то опять-таки, любовью къ народу и страданіемъ по немъ, онъ оправдалъ себя самъ, и многое искупилъ, если и дѣйствительно было, что искупить...

Θ. Достоевскій.

* * *

*) Считаю своимъ долгомъ, въ виду огромнаго интереса, который питала русская публика съ своему поэту, сообщить краткія свѣдѣнія о послѣднихъ дняхъ продолжительныхъ страданій Н. А. Некрасова; присовокуплю, что не меньшимъ долгомъ для себя считаю со временемъ опубликовать подробную исторію его болѣзни. Операция, сдѣланная 12-го апрѣля нынѣшняго года, спасла Некрасова отъ неминуемо угрожавшей смерти, въ нѣкоторой степени облегчила его страданія и продлила существованіе на восемь съ половиною мѣсяцевъ, хотя существованіе это оставалось далеко незавиднымъ. Большую часть дня онъ продолжалъ проводить въ постели, но все-таки вставалъ по нѣскольку разъ въ день, сидѣлъ ежедневно часа по два за чтеніемъ газетъ и журналовъ и, видимо, интересовался событіями общественной и литературной жизни. Но въ общемъ значительнаго улучшения не было, и это вліяло на нравственное состояніе его духа. Около же 20-го ноября стали появляться приступы изнурительной лихорадки съ небольшими ознобами и потами, но настолько не рѣзкими, что больной не измѣнялъ обычный распорядокъ своего дня, хотя его крайнее исхуданіе и слабость еще замѣтно усилились за это время. Такъ продолжалось до 14-го декабря; въ этотъ день, въ седьмомъ часу вечера, онъ всталъ съ кровати и перешелъ въ столовую, чтобъ посидѣть и пить чай, но съ первымъ же глоткомъ съ нимъ сдѣлался потрясающій ознобъ; его тотъ-

*) „Новое Время“ 1877 г., № 661. „Болѣзнь и послѣдніе дни жизни Н. А. Некрасова“. Статья Д-ра Н. Вѣлоголоваго.

часть же перевели и уложили въ постель; ознобъ продолжался около четверти часа и подъ исходъ его началась рвота, во время которой, безъ видимой потери сознанія, онъ сталъ несвязно говорить и затѣмъ лишился употребленія правой руки и ноги. Когда черезъ полчаса я пришелъ къ нему, то нашелъ его въ видимо-возбужденномъ состояніи, какъ бы подъ влияніемъ страха; тѣмъ не менѣе онъ удивился, увидавъ меня въ неположенное время, и прежде всего сказалъ: „Зачѣмъ это васъ тревожили?“ Затѣмъ менѣе ясно сталъ жаловаться на чай съ лимономъ, который онъ пилъ, говорилъ, что было кисло и что это возбудило въ немъ рвоту. Рвота при мнѣ была уже нѣсколько тише, а къ утру, подъ влияніемъ холоднаго шампанскаго, почти совсѣмъ прекратилась. Всю ночь онъ провелъ безпокойно, но не произнесъ ни одного слова, такъ что окружающіе думали, что онъ лишился совсѣмъ языка, но когда я пришелъ утромъ, то онъ сталъ просить, чтобы его подняли съ постели, надѣли на него сапоги и поводили его по комнатѣ. Въ виду неотступныхъ просьбъ, ему помогли подняться, и, опираясь на двухъ человѣкъ, онъ два раза прошелся по комнатѣ, волоча правую ногу и, очевидно, не понимая происшедшей съ нимъ перемѣны и только постоянно повторяя одну и ту же фразу: „Ну, что это?“ Затѣмъ его уложили, и съ этого времени онъ уже болѣе не вставалъ съ постели, хотя параличныя явленія обнаружили быструю наклонность къ улучшенію: рѣчь стала гораздо чище, движеніе въ ногѣ становилось все болѣе и болѣе, только правая рука оставалась до конца жизни совершенно парализована. Съ этого же дня больной постепенно все ослабѣвалъ, очень мало ѣлъ, но много страдалъ отъ жажды и разныхъ болей, преимущественно въ лѣвой ногѣ, на которой стали появляться ограниченные инфильтраты въ клѣтчаткѣ, особенно на бѣдрѣ. 26-го декабря слабость достигла крайнихъ предѣловъ, рѣчь стала менѣе внятной и односложной, глотанье затруднительнымъ; около 5 часовъ этого дня у больного явилось какъ бы желаніе проститься съ окружающими; онъ каждого изъ нихъ подозвалъ къ себѣ и произнесъ какое-то односложное слово, какъ бы „простите“. Часа черезъ три по-

слѣ этого я нашелъ его уже въ начавшейся агоніи, которая развивалась въ теченіе всего 27-го числа. Эти послѣднія сутки тѣло его оставалось совершенно неподвижнымъ: мышцы лица не выражали никакого признака страданія и какъ бы застыли, равно и самый взглядъ, не фиксировавшій уже предметовъ; работала только грудная клѣтка, и лѣвая рука все время находилась въ постоянномъ движеніи; онъ то поднималъ ее къ головѣ, то подносилъ къ губамъ, то клалъ на грудь. Такъ было еще въ 5 час. вечера, но когда я пріѣхалъ три часа спустя, то эти движенія руки уже прекратились, пульсъ почти исчезъ, дыханье стало нѣсколько рѣже и шумнѣе, и такъ продолжалось до самаго конца, передъ которымъ вылетѣлъ легкій, короткій хрипъ изъ груди, — и въ 8 часовъ 50 минутъ Некрасова не стало.

Д-ръ Н. Бѣлоголовый

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

именъ и предметовъ, относящихся къ литературе.

- Авсѣенко. 39—68.
 „Арина, мать солдатская“. 74.
 „Ахъ были счастливые годы“. 162.
 „Баба-Яга“. 158.
 Байронъ. 86, 103, 143, 145.
 „Баюшки-баю“. 172, 175, 176, 198, 200.
 „Безъ вѣсти пропавшій шита“. 158.
 „Библиотека дешевая и общедоступная“. 118.
 „Библиотека для Чтенія“. 157, 163, 213.
 Бильротъ. 212, 216, 218.
 „Биржевыя Вѣдомости“. 123—126, 215, 219—224, 233—235, 241.
 „Блаженъ незлобивый поэтъ“. 162.
 Бобъ, Θεοκλυστ. (псевд. Некрасова). 158.
 „Болезнь и послѣднiе дни жизни Н. А. Некрасова“, статья д-ра Н. Бѣлоголова. 260—262.
 „Борисъ Годуновъ“, Пушкина. 246.
 Борнсъ. 103.
 „Братская Помощь“. 164.
 Буренинъ, В. П. 1—13, 230.
 „Буря“. 161.
 Быковъ, П. В. 154—165.
 „Бѣдные Люди“, Достоевскаго. 239.
 „Бѣжинъ Лугъ“, Тургенева. 75.
 Бѣлинскiй. 1, 69, 85, 158—160, 213, 226, 231, 254.
 Бѣлоголовый, Н. Л. 216, 224, 260.
 „Бѣсы“, Достоевскаго. 66, 196.
 „В. Г. Бѣлинскiй“. статья А. Пыпина. 109.
 Вейнбергъ, П. 126—130, 230.
 „Великихъ артелищъ, мировыхъ судебъ“. 162.
 „Вельможа“, Державина. 80.
 „Вино“. 79.
 „Власть“. 72, 109, 162, 196, 215, 250.
 „Внимая ужасамъ войны“. 162.
 „Возвращенiе“. 107, 108.
 „Война Θεοδосi съ Китайцами“. 61, 64, 111.
 „Воспоминанiе“. 162.
 „Вотъ что значитъ влюбиться въ актрису“. 159.
 „Всемирная Иллюстрацiя“. 116—118, 211—215.
 „Въ Больницѣ“. 162, 196.
 „Въ Водоворотѣ“, Писемскаго. 66.
 „Въ Деревнѣ“. 72, 162.
 „Въ Дорогѣ“. 69, 161.
 „Вѣстникъ Европы“. 109, 145, 172, 222.
 „Гадающей Невѣстѣ“. 77.
 „Гдѣ лучше?“, Рѣшетникова. 95.

- Гейне. 127, 162.
 Гербель. 19.
 „Герои Времени“. 123—142.
 „Герои Времени“, траги-комедія Н. Некрасова“, статья В. Маркова. 130—137.
 „Говорунъ“. 161.
 Гоголь. 31, 32, 110, 195, 210.
 „Голось“. 66, 217, 218, 223, 225—228.
 Гончаровъ. 211, 217.
 „Горе стараго Наума“. 145—154.
 Горчаковъ, М. П. 228, 231, 235—237.
 „Горькая Судьбина“. Писемскаго. 116.
 „Гражданинъ“. 23, 87.
 Груберъ. 217, 224.
 Грибовниковъ, Ив. Ив. (псевд. Некрасова). 158.
 Григоровичъ. 69, 165, 230.
 Григорьевъ. Ап. 77, 79, 82, 188, 189, 195.
 Григорьевъ, П. 118.
 Давыдовъ, А. И. 163.
 Данилевскій. 229.
 „Дворянское Гнѣздо“, Тургенева. 66.
 „Деревенскія Новости“. 70.
 Державинъ. 80.
 „Дешевая Покупка“. 77.
 „Для легкаго чтенія“. 163.
 „Дневникъ Писателя“, Достоевскаго. 238, 242.
 Добролюбовъ, Н. А. 163.
 Достоевскій. 56, 66, 72, 84, 100, 161, 196, 229, 231, 237—260.
 „Древняя и Новая Россія“. 168, 169.
 Дружининъ, А. В. 163.
 „Друзьямъ“. 203.
 „Дѣдушка“. 101, 102.
 „Дѣло“. 223.
 „Дѣловой Разговоръ“. 44.
 „Дѣтство“. 41.
 „Если мучимый страстью мятежной“. 161.
 „Желѣзная Дорога“. 94.
 „Живописное Обзорѣніе“. 154, 160.
 „Живыя Мощи“, Тургенева. 177.
 „Жизнь“. 157.
 Жуковский. 158, 176.
 „Journal de St. Pétersbourg“. 109.
 Жюдякъ. 177.
 „Забытая Деревня“. 69, 159, 191.
 „Замолчки муза мести и печали“. 162.
 „Замѣтки досулаго читателя“, статья П. Павлова. 23—31, 87—90.
 „Записки графа Гаранскаго“. 70.
 „Записки изъ Мертваго Дома“, Достоевскаго. 84.
 „Записки Охотника“, Тургенева. 99.
 „Застѣнчивость“. 78, 162.
 Заурядный читатель (А. Счабичевскій). 123—126.
 „Зеленый Шумъ“. 75.
 „Знахарка“. 70.
 „Значеніе гг. Некрасова и Щедрина въ литературѣ“ по „Русскому Вѣстнику“, статья М. У. 109, 110.
 „Извозчикъ“. 162.
 „Изъ Деревни“, Энгельгардта. 9.
 „Иллюстрированная Недѣля“. 31.
 „Калистратъ“. 71.
 „Камоэнсъ“, Жуковскаго. 176.
 „Капитанская Дочка“, Пушкина. 245.
 „Княгиня“. 162.
 „Когда изъ мрака заблужденья“. 159.
 Кольцовъ. 2, 103, 104, 189, 195.
 „Кому на Руси жить хорошо“. 3—36, 40, 47, 48, 50, 95, 109, 173, 191, 215.
 Кони, О. 157.

„Коробейники“. 117, 215.
 Краббъ. 103, 162.
 Краевскій. 159, 216.
 Крестовскій, В. 119, 139.
 „Крестьянка“. 17, 48, 50, 98, 99, 112.
 „Крестьянскія Дѣти“. 75.
 Кронебергъ, А. 161.
 „Круговоръ“. 165.
 Крыловъ. 236.
 Курочкинъ. 39.
 „Лара“. 145.
 Лермонтовъ. 1, 2, 31, 40, 85, 154, 195, 214, 218, 225, 232, 240—242, 247, 248.
 „Литературная Газета“. 213, 225.
 Майковъ, А. 150, 161.
 „Макаръ Осиповичъ Случайный“. 158.
 Маковский. 230.
 Максимовъ, С. 230.
 Марковъ, В. 130—137, 145—147, 184—199.
 „Мать“. 172, 175, 184, 197, 199, 200.
 „Маша“. 162.
 „Медвѣжья Охота“. 144, 196.
 „Между Денегъ“, А. Потѣхина. 165.
 „Мелодія“, 158.
 „Мертвое Озеро“. 162.
 „Мечты и Звуки“. 158, 213.
 Микѣшинъ. 216, 223, 230.
 Миллеръ, О. 31, 32, 68—87, 90—109, 176—183.
 „Мнѣнія и отзывы нашей свѣтской литературы о русскомъ духовенствѣ“, статья Н. Б. 32—36.
 „Мими“, Половскаго. 2.
 Михайловскій. 229.
 „Молва“. 118—123.
 Мордовцевъ. 229.
 „Морозъ-красный носъ“. 93, 94, 99, 165, 215.
 „Муза“. 162.

„Мы съ тобою капризные люди“. 161.
 „Мысль“. 157.
 „На Волгѣ“. 73, 250.
 „На постояломъ дворѣ“. 88.
 „Наслѣдники“, Стахѣва. 110.
 „На Улицѣ“. 79.
 „Нашъ Вѣкъ“. 202—211, 215.
 „Недѣля“. 111—116, 223.
 „Неизвѣстному другу, приславшему мнѣ стихотвореніе—“ Не можетъ быть“. 107.
 Некрасовъ. Произведенія перваго періода (по 1861 г.)“. статья О. Миллера. 68—87, 90—109.
 „Некрологи и посмертныя статьи“. 216—262.
 „Не можетъ быть“. 107.
 „Необыкновенный Завтракъ“. 159.
 „Несжатая Полоса“. 71, 162.
 „Несчастные“. 84, 100, 240.
 „Нива“. 109.
 Никитенко. 161.
 „Николай Алексѣевичъ Некрасовъ“, статья А. Плещеева. 220—222.
 „Новое Время“. 175, 176, 218, 219, 223, 235, 237, 260.
 „Нововозбрѣтенная привилегированная краска Дерлинга и Комп. 162.
 „Новости“. 161, 223.
 „Новый Годъ“. 161.
 „Ночлеги“. 109.
 „Нравственный Человѣкъ“. 79, 161.
 „Огородникъ“. 3, 69, 159, 165, 191, 215.
 „Одесскій Вѣстникъ“. 142—145.
 Одоевскій, В. Ѳ., кн. 160.
 „О Погодѣ“. 91, 163, 196.
 „Опытная Женщина“. 159.
 Островскій. 38, 189, 210.

- „Отечественныя Записки“. 9, 16, 31, 36, 37, 65, 66, 88, 118—120, 123, 126, 131, 137, 139, 143, 145, 159, 161, 164, 165, 172, 199, 213, 222, 223, 225.
- „Отцы и Дети“, Тургенева. 66.
- „Оселя“. 158.
- Павловъ, П. 23—31, 87—90.
- „Памяти Пріятели“. 162.
- Панаева, А. Я. 161, 162.
- Панаевъ, В. А. 160, 161, 213, 228, 231, 237.
- „Пантеонъ русскаго и всѣхъ европейскіхъ театровъ“. 157, 159.
- „Первое апрѣля, комическій альманахъ“. 160.
- Перепельскій, Н. А. (псевд. Некрасова). 158, 159, 213.
- „Петербургскіе Углы“. 161.
- „Петербургскій Сборникъ“. 160, 161, 238.
- Печерскій, А. 66.
- Писемскій. 66.
- Плетневъ. 212.
- Плещеевъ, А. 217, 220—222.
- „Подлиповцы“, Рѣшетникова. 73, 95.
- „Подростокъ“, Достоевскаго. 240.
- Полевой, Н. А. 157, 158.
- „Полицейскія Вѣдомости“. 36—39.
- Полозовъ. 155, 212.
- Полонскій. 2, 82, 150.
- Поляковъ, В. 157, 159.
- Помяловскій. 96.
- „Портретъ“, гр. А. Толстого. 2.
- „Послѣднія Пѣсни“. 172—203.
- „Послѣднія Пѣсни, Некрасова“, статья Ор. Миллера. 176—182.
- „Послѣднія Пѣсни“, стихотворенія Н. Некрасова“, статья В. В. Маркова. 184—199.
- „Послѣдышъ“. 2, 48—50, 63, 96.
- „Потѣхинъ, А. 165, 217, 229.
- „Похороны“. 76.
- „Поэзія журнальныхъ мотивовъ“. 186.
- „Поэтъ и Гражданинъ“. 82, 106, 196, 215.
- „Поэтъ и Гражданинъ. Общественныя о Некрасовѣ, какъ о человѣкѣ“, статья Достоевскаго. 251—256.
- „Поэтъ народной скорби“. 202—211.
- „Прекрасная Партія“. 77, 163.
- „Приговоръ“. 205.
- „Признанія Труженика“. 163.
- „Притча о Киселѣ“. 44.
- „Прости“. 163.
- „Прощай, завидую тебѣ“. 162.
- „Псовая Охота“. 69, 70, 161.
- „Пушкѣ мечтатели осмѣяны давно“. 161.
- Пушкинъ. 2, 31, 66, 81, 82, 85, 154, 187, 192, 193, 195, 210, 214, 218, 223, 226, 232, 240—248.
- „Пушкинъ, Лермонтовъ и Некрасовъ“, статья Достоевскаго. 242—251.
- „Пчела“. 109, 126.
- Пыпинъ, А. 66, 109.
- „Пѣвица“. 158.
- „Пѣсня Еремушкѣ“. 163.
- „Пѣсня Любы“. 144.
- „Пѣсня объ Аргусѣ“. 43.
- „Размышленія у параднаго подъезда“. 80, 104.
- „Разоренье“, Г. Успенскаго. 57.
- „Реальнѣйшій Поэтъ“, статья Авсѣенко. 39—68, 111.
- „Родина“. 80.
- Розенгеймъ. 39, 42.
- Ростовцевъ, Я. И. 212.
- „Рудинъ“, Тургенева. 82.
- „Русская Библіотека“. 215.
- „Русская литература въ 1874 г.“. По поводу статьи въ „Русскомъ

- Вѣстникъ": „Реальнѣйшій Поэтъ". 111. 116.
- „Русскіе второстепенные поэты. Ѳ. И. Тютчевъ". 162.
- „Русскій Вѣстникъ". 39, 65, 109—112, 114, 116, 186.
- „Русскій Міръ". 16, 36—39, 137, 149, 172—175, 199—202.
- „Русскія Женщины". 100—102, 144, 164—173, 215, 250.
- „Русскому Писателю". 162.
- „Рыцарь на часъ". 106, 228, 237, 250.
- Рѣшетниковъ. 72—75, 87, 95, 96
- Сазоновъ (артистъ). 223.
- Салиасъ, гр. 66.
- Салтыковъ (Щедринъ). 217, 229.
- „Самодовольныхъ болтуновъ". 162.
- „Саша". 2, 82, 162.
- „Свадьба". 162.
- „Свидѣтель въ пользу Некрасова", статья Достоевскаго. 256—260.
- „Свѣтъ". 176, 183, 184.
- „Секретъ". 162.
- „Семиногъ Вакула". 64, 111.
- Скабичевскій, А. 165—172, 241.
- „Складчина", сборникъ Я. П. Полонскаго. 82, 164.
- „Скорбь и Слезы". 158.
- „Слеза Разлуки". 158.
- „Слово". 223.
- „Смерть Некрасова. О томъ, что сказано на его могилѣ", статья Достоевскаго. 238—242.
- „Соборяне", Стебницкаго. 96.
- „Современная литература. Новое стихотвореніе Н. А. Некрасова", статья Вс. Соловьева. 149—154.
- „Современная Ода". 78, 159.
- „Современники". 131, 172, 175, 184.
- „Современникъ". 43, 159, 161—163, 213, 221, 225.
- „Современные русскіе писатели", статья П. В. Быкова. 154—165.
- Соллогубъ, В. А., гр. 161.
- Соловьевъ, Вс. 137—139, 149, 154.
- „Сонъ на Волгѣ". 144.
- „С.-Петербургскія Вѣдомости". 1, 66, 130, 145, 184, 216, 217, 224, 225, 229—233.
- „Съ Работы". 91.
- Станицкій, Н. Н. (А. Я. Панаева). 161.
- „Старики". 162.
- Стасюлевичъ. 230.
- „Статейки въ стихахъ безъ картинокъ". 160.
- Стаховъ. 110.
- Стебницкій. 96.
- „СТИШКИ, стишки". 161.
- Страховъ. 110.
- „Страшный Годъ". 164.
- Суворинъ. 217, 255.
- Сухомлиновъ. 230.
- „Сынъ Отечества". 13—15, 109, 139—142, 147—149, 157.
- Сычевскій. 145.
- „Святелямъ". 174, 218.
- Таганцевъ. 230.
- „Тишина". 2, 85, 250.
- Толстой, А., гр. 2, 72, 150.
- Толстой, Л., гр. 56, 87.
- „Тонкій человекъ, его приключенія и наблюденія". 163.
- „Три страны свѣта". 161.
- „Три Элегіи". 164, 197.
- „Тройка". 3, 109, 161, 191.
- Тургеневъ. 56, 66, 69, 72, 75, 82, 84, 85, 87, 99, 102, 126, 161, 177, 211.
- Тютчевъ. 150, 162, 240.
- „Ты всегда хороша несравненно". 161.
- „Убогая и Нарядная". 76.
- „Уныніе". 127.
- Успенскій, Г. 57, 58.
- Успенскій, Д. И. 156, 212.

- „Утро“. 36, 46.
„У Трофима“. 89.
„Фауст“, Гете. 131.
„Физиологія Петербурга“. 160, 161.
„Филантропъ“. 78, 162, 215.
„Фрейтагъ“. 157.
„Хрестоматія“, Гербея. 19.
„Христіанское Чтеніе“. 32—36.
„Часы“ г. Тургенева и „Герои Времени“ г. Некрасова, статья П. Вейнберга. 126.
„Часы“, Тургенева. 126.
Черепановъ. 168, 169.
„Чернь“, Пушкина. 82, 192.
Шевченко. 103, 104.
Шеллеръ. 229.
„Шла въ мѣшкѣ не утаишь“. 159, 213.
Шиллеръ. 131, 178.
„Школьникъ“. 75, 163, 196.
Щедринъ (Салтыковъ). 90, 109, 110, 119, 130, 131, 139, 177, 217, 229.
Щербина. 65, 66.
„Вду-ли ночью по улицѣ темной“. 161.
Энгельгардтъ. 9.
„Я не люблю ироніи твоей“. 162.
„Я посвѣтилъ твое кладбище“. 162.
„Я сегодня такъ грустно настроенъ“. 162.
Өдоровъ. 9.
„Өеоклистъ Онуфричъ Бобъ“. 159.





**THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE
STAMPED BELOW**

**AN INITIAL FINE OF 25 CENTS
WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN
THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY
WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH
DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY
OVERDUE.**

APR 7 1933

DEC 16 1936

3Mr'62DC

**RECEIVED
AUG 22 '66 - 8 AM
LOAN DEPT.**

MAY 31 1968

RECEIVED

MAY 20 '68 - 5 PM

LOAN DEPT.

U. C. BERKELEY LIBRARIES



C046524638

159211

Zelinskii

